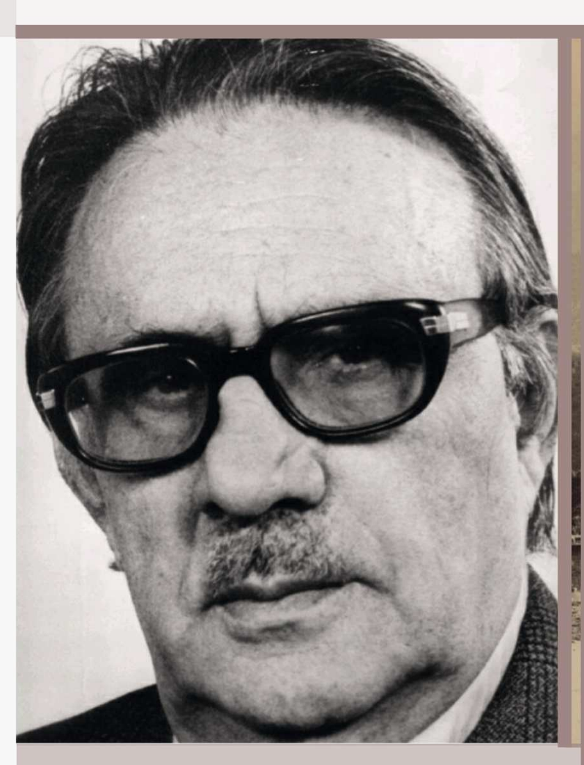
МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. Г. АВТОРХАНОВ







МЕМУАРЫ



А. Г. Авторханов

Мемуары



Москва
Берлин
2018

УДК 82-3
ББК 83.3(2)6
А22

Авторханов, А. Г.

А22 Мемуары / А. Г. Авторханов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 663 с.

ISBN 978-5-4475-2811-9

На страницах книги воспоминаний разворачивается удивительный рассказ о долгом пути, который довелось пройти простому пареньку из затерянного в горах чеченского аула через партийную верхушку, подвалы ЧК, суровые военные годы и жизнь в эмиграции.

Это рассказ о жизни всего чеченского народа, чьим истинным сыном был и оставался всю свою жизнь автор этой книги – известный политолог русского зарубежья, писатель и публицист Абдурахман Геназович Авторханов (1908–1997 гг.)

УДК 82-3
ББК 83.3(2)6

ISBN 978-5-4475-2811-9

Из биографии моего народа

Кавказская война и имам Шамиль

Именем моего народа русские матери пугали на Кавказе своих детей:

«По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю».

(М. Ю. Лермонтов)

Другой великий поэт предупреждал, чтобы при этом сам «старый воин» не спал:

«Не спи, казак: во тьме ночной
чеченец ходит за рекой».

(А. С. Пушкин)

На берегах той реки Терек стоят два поселения: одно на правом берегу (с незапамятных времен) – это чеченский аул Лаха Неври (т. е., по-русски, – Нижний Наур), где я родился Бог весть когда, что-то между 1908 и 1910 годами (во время депортации чеченцев Советами аул этот уничтожен, и само его название исчезло с карты Чечни), а напротив, на левом берегу, казачья станица – Наурская, созданная в начале XVIII в. вместе со всей Терской линией казачьих военных поселений, которые Россия рассматривала как форпост своей будущей экспансии на юго-восток Кавказа. Но предшественники терских казаков – гребенские казаки (староверы),

бежавшие на Терек от крепостного права и религиозного преследования, жили с чеченцами в мире, дружбе и многие даже в родстве. Участник Кавказской войны, большой кунак чеченцев Лев Толстой писал в «Казаках»: «На юг за Тереком – Большая Чечня... (...) Очень, очень давно предки их (казаков – А. А.), староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев... Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляют главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтоб защищать его станицу...» Когда Россия приступила к покорению Кавказа, казаки и горцы очутились во враждебных лагерях и стали воюющими сторонами.

Чеченцы и ингуши, по существу, один народ. Язык у них тоже один, с незначительными диалектическими отклонениями. Культивируемая как до революции, так и сейчас теория о двух народах и двух языках – чеченском и ингушском – лингвистический ляпсус, анахронизм. Есть один народ – «нах» (по терминологии ингушского ученого Заурбека Мальсагова), или «вайнах» (по терминологии самих чеченцев и ингушей, использованной в литературе русским ученым Н. Ф. Яковлевым), есть и один язык – нахский, или вайнахский. Чеченцы и ингуши термин «вайнах» («вай» – «наш», «нах» – «народ», «вайнах» – «наш народ») используют, когда они хотят сказать, что они составляют один «наш народ» в отличие от соседа «нехи-нах», «другого» или «чужого» наро-

да. В лингвистике чечено-ингушский язык относят к нахско-дагестанской группе иберийско-кавказских языков (сюда входят также грузинский и абхазо-адыгейские языки). Чеченцы и ингуши вместе составляют (по переписи 1979 г.) около миллиона человек. Они аборигены Кавказа. Чеченцы и ингуши живут также за границей, где они поселились после покорения Кавказа во второй половине XIX столетия, – в Турции, Сирии и Иордании. Чеченцы сами себя именуют «нохчи», а ингуши – «галгай». Чеченцами и ингушами их назвали русские в XVI столетии, впервые столкнувшись с их пограничными аулами – «Чечен аул» и «Ангушт аул».

Почему чеченцы называют себя «нохчи» или «нахчуо», тоже неизвестно. Чеченский ученый-лингвист И. А. Арсаханов пишет: «Этноним нохчи или нахчуо, до сих пор не получил в вайнахской литературе удовлетворительного объяснения. Он – древнего происхождения. На это указывают армянские письменные памятники VII в. н. э., в которых упоминаются кисти, туши и нахчаматьяны («Армянская география» Моисея Хоренского, русский перевод Паткова, 1877). Слово нахчаматьян легко расчленяется на почве чеченского языка – нахча/нахчуо – «чеченцы», – мат/мот – «язык», – яны (в древнеармянском – «еанк») – суффикс множественного числа имен существительных» (И. А. Арсаханов, Чеченская диалектология. Под ред. З. А. Гавришевской. Грозный, 1969, с. 5). Еще со средневековых времен на мусульманском Кавказе арабский язык играл такую же роль, что и латынь в средневековой Европе. На основе арабской графики развивалась и письменность чечено-ингушского народа. Арабская письменность была заменена, при Советах, сначала латинской, потом русской. Первый русский алфавит для чеченского языка составил еще до революции Т. Э. Эльдарханов (Мариам Чентиева. История чечено-ингушской письменности. Грозный, 1958).

Интересно, что сообщала русская литература о чеченцах и ингушах до их покорения Россией. Передо мной лежит редкая книга, изданная в Москве в 1823 г.; она называется «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», часть II, Семена Броневского. Вот его «известия» (с сохранением стиля подлинника) об ингушах: «...ингуши, называемые также кисти-галгаи – сильное кистинское племя. В древнейшие времена ингуши, как и все кисти, были христиане... Ингуши разделены на маленькие независимые общества под управлением выборных старшин... Ингуши, не столько наклонные или менее других имеющие удобности к грабительству, почитаются за добрых и кротких людей. Они довольно прилежат хлебопашеству и изрядное имеют скотоводство. Дома строят каменные или деревянные... Частые разорения, наипаче от кабардинцев им причиняемые, побудили ингушей в 1770 г. предаться российскому покровительству... Могут выставить 5000 вооруженных людей, следовательно население ингушской земли должно быть не менее 5000 дворов» (сс. 160–166).

Чеченцам автор дает крайне отрицательную характеристику: «Нравы сего колена отличают его от всех кавказских народов злобой, хищностью и свирепым бесстрашием. По сей причине соседство их с российскими границами почиталось весьма беспокойным. Так что отношений с ними других не бывает, кроме воинских... Со времени императора Петра Великого для усмирения чеченцев предпринимаемы были неоднократно воинские поиски... чеченцы не имеют своих князей, коих они в разные времена истребили... управляются они выборными старшинами, духовными законами и древними обычаями. Дружба (куначество) и гостеприимство соблюдаются между ними строго по горским правилам и даже с большей против прочих народов разборчивостью: гостя в своем доме или кунака в дороге, пока жив, хозяин не

даст в обиду. Из ружья стреляют метко, имеют исправное оружие и сражаются большей частью пешие. В сражении защищаются с отчаянной храбростью, которую можно назвать ожесточением: ибо никогда не отдаются в плен, хотя бы один остался против двадцати; и буде кому случиться нечаянно быть схваченну, такая оплошность причитается семейству его в поношение. ...В образе жизни, воспитания и внутреннего управления чеченцы поступают, как следует отчаянным разбойникам, но, взяв сию разбойничью республику в политическом ее составе и в отношении с соседями по примеру других подобных же в Кавказе республик, только в степенях злодейств от чеченцев отличных, должно бы ожидать, что для собственной безопасности они будут стараться о сохранении какой-либо стороны дружественных связей и доброго соседства. Напротив, только чеченцы отличаются от всех кавказских народов оплошным непредвидением, ведущим их к явной гибели... Чеченцы так обуяли в злодействе, что никого не щадят и не помышляют о будущем. Нередко сами старшины их предлагают им благоразумные советы и наипаче, изъявляя желание пребывать в мире с Россией, но ветреники их, как они называют своих зачинщиков или разбойничьих атаманов, на то не соглашаются. Из всех чеченских отделений собраться может до 15 000 вооруженных людей; из того заключить должно, что население чеченской области простирается до 20 000 дворов» (сс. 171–183).

Кавказ – страна древнейших народов мира. Сложна его история, мозаична его культура, изумительны его легенды. Кавказ – страна гор и горы языков, народов, рас. Здесь говорят на 50 языках, из которых 40 чисто кавказских. Кавказ – страна ландшафтных и климатических контрастов, от континентальных до субтропических. Кавказ – страна чарующих равнин и долин, тянущихся к омывающим его двум морям:

Черному и Каспийскому. Кавказ – страна вечных снегов его величавых гор, где к скале был прикован ревнитель народной свободы, враг тирании, герой греческой мифологии титан Прометей.

Кавказ – древнейшие и часто использовавшиеся завоевателями геополитические ворота из Азии в Европу и из Европы в Азию. Через эти ворота огнем и мечом проносились всеистребляющие орды великих полководцев Кира Персидского, Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана. Через эти ворота двигались скифы, сарматы, хазары, аланы, монголы, татары, арабы, турки, русские, оставляя за собой не только следы своей культуры, но и кровоточащие раны на теле аборигенов. Кавказ – страна, где представлены все мировые религии – христианство, ислам, иудейство, буддизм; страна, где христианство стало впервые в истории государственной религией еще до Рима (Армения), а магометанство – государственной религией через семь лет после смерти Магомета (Азербайджан). Кавказ – страна, где кавказские народы с феодально-аристократической конституцией (армяне, грузины, азербайджанцы, дагестанцы, осетины, кабардинцы, черкесы) жили по соседству с такими же кавказскими народами с патриархально-родовой демократией (чеченцы, ингуши). Кавказ – страна, по имени которой антропология назвала белую расу – «кавказской расой».

Откуда же произошло слово «Кавказ»? Никто этого не знает. Впервые слово «Кавказ» встречается в трагедии «Прикованный Прометей» у древнегреческого драматурга Эсхила (около 500 лет до христианской эры). В своей «Греческой мифологии» Ранке-Гравес говорит, что название «Кавказ», вероятно, происходит от греческих слов «Кау казос», что означает «Трон богов».

Тяжелой была доля кавказских горцев, оказавшихся волей судьбы на перекрестке стратегических ворот Евро-Азии. Тра-

гедия – или величие – горского народа заключалась еще в том, что он никогда в своей истории не признавал над собой иноземной власти. Отсюда – вечная борьба за самосохранение. Многочисленные войны против во много раз превосходящего завоевателя – иногда безумно наступательные.

Северокавказцы, несмотря на разные языки и диалекты, составляют единую социально-этническую общность по своей расе, истории, культуре, адатам, психологическому складу, территории, религии (они мусульмане, кроме большой части осетин и малой части кабардинцев). Поэтому до революции их называли и общим именем: в русской литературе – «горцами», а в европейской – «черкесами». По сути дела они – племена одной северокавказской нации. Это национально-историческое единство горцев засвидетельствовано и в их неоднократных совместных попытках создать общее государство: движение шейха Мансура (1780–1791), государство Шамиля – «имамат Шамиля» (1834–1859), Республика Северного Кавказа (1918–1919), Северокавказское эмирство (1919–1920) и, наконец, Советская горская республика (1920–1924), которую Москва потом ликвидировала, как ликвидировала она подобные федерации в Закавказье и в Туркестане, ибо убедилась в мудрости староримского принципа «разделяй и властвуй».

Указания о северокавказских племенах под разными наименованиями встречаются в летописях и трудах древних писателей – греков, римлян, арабов, персов, армян и грузин. Непрестанное движение через Кавказские ворота чужеземных народов прибавляло все новые и новые экспонаты к «этнографическому музею», как историки назвали Кавказ. Вот и получилось, что не найти на Земле другого такого места, где на столь малом участке скучилось бы так много разных языков, как на Кавказе. Однако, как уже указывалось, это разнообразие языков не мешало северокавказским племенам

чувствовать себя одним народом и совместно отстаивать свою независимость. Когда в VII–VI вв. до Рождества Христова огромное царство скифов, распространившее свое господство до Центральной Европы, завоевало и Кавказ, северокавказские племена все же успешно отстаивали свою внутреннюю автономию. Вот что писал об этом древнем периоде истории горцев известный русский историк Ростовцев: «Хотя северокавказские племена и находились под властью скифов, но они пользовались, однако, далеко идущей самостоятельностью, которая все более усиливалась... они уже долгое время имели стабильный оседлый образ жизни, находились в постоянных торговых отношениях с южными и восточными соседями и жили при относительно развитых хозяйственных условиях, как земледельцы, скотоводы, рыболовы. Греческие колонии нашли в них быстро готовых клиентов для своих товаров и посредников для своих сношений с югом и востоком» (Проф. М. И. Ростовцев. Эллинство и Иранство на юге России. Петроград, 1918, с. 75).

В V и VI вв. северокавказцы участвуют в войнах между Персией и Восточно-Римской империей. Знаменитый император Юстиниан делает безуспешные попытки ввести среди северокавказцев христианство. С приходом арабов в VII в. появляется и мусульманская религия на Северном Кавказе, правда, пока только в Дагестане, другие северокавказские племена приняли христианство, занесенное сюда грузинскими миссионерами. Но позднее они тоже перешли в мусульманство.

Торговые сношения северокавказцев с внешним миром, развивавшиеся раньше через греческие колонии на Черном море, значительно расширились в средние века, только вместо греков появились, начиная с XII в., генуэзцы. Генуэзцев в XV в. сменили турецкие купцы. В XVI столетии впервые и русские обратили свои взоры на Кавказ, сразу после завоева-

ния Казанского и Астраханского ханства Иваном IV (Грозным). Первоначальный план Ивана Грозного, вероятно, предусматривал мирное покорение Кавказа, чем, собственно, и объясняется женитьба Ивана Грозного на черкесской княжне Марии Темрюковой (1561 г.), но мирное покорение так и не состоялось. В дальнейшем царь Борис Годунов предпринял ряд новых попыток – мирных и вооруженных – проникнуть на Кавказ, но и они оказались безуспешными. После этого Россия уже целое столетие не дает о себе знать. Только Петр I предпринимает большую военную экспедицию для покорения Кавказа. Эта экспедиция тоже не увенчалась успехом. Петр успел только заложить крепость Терки на северокавказском побережье Каспийского моря, как бы символический знак будущего направления русской экспансии. Новую экспедицию, но уже в более широком масштабе и с более основательной подготовкой, предприняла Екатерина II. Ее лучший стратег, знаменитый Суворов, командует экспедиционной армией, но встречает неожиданный и хорошо организованный отпор северокавказцев – чеченцев, черкесов, кабардинцев, ногайцев (последнее племя было почти целиком уничтожено). Во главе оборонительной войны этого периода становится чеченец из Алдов шейх Мансур Ушурма (1785 г.), который сумел объединить под знаменем священной войны «Газават» значительные силы чеченцев, кабардинцев и черкесов.

Новое оборонительное движение горцев произвело на русских такое большое впечатление, что Екатерина II, по свидетельству современников, одно время носилась даже с идеей закончить войну с горцами, заключив с ними выгодный мир. Однако вступление в войну Оттоманской империи на стороне своих единоверцев-горцев резко изменило положение: Россия двинула сюда новые войска. Ожесточенные сражения продолжались целых шесть лет. Новые усилия и новые переброски русских войск предрешили победу России. Силы

Мансура и турок были разбиты. Командующий турецкими войсками Мустафа-паша и имам Мансур были взяты в плен. Пленный Мансур был перевезен в Петербург, представлен императрице и заточен в Соловецкий монастырь, где он и скончался.

Но война этим не кончилась. Под властью России оказались только некоторые плоскостные районы Предкавказья. Самая страшная и самая большая война, так называемая Кавказская война, – а по существу, русско-кавказская война – была еще впереди. Скоро последовали три важнейших исторических события, которые, в конечном счете, должны были окончательно решить и судьбу горцев: в 1801 г. Грузия была присоединена к России, в 1813 г. – Азербайджан и в 1828 г. – Армения были завоеваны Россией у персов. Свободный и независимый Северный Кавказ неожиданно очутился в тылу Российской империи.

К большому несчастью, правительство ложно признало эти качества вредными своим видам и не только не поощряло их, а напротив того, к большому стыду и вреду своему, сильно их преследовало и тем, вооруживши против себя всех благородно мыслящих туземцев, наделало много и много зла краю и России.

Доказательством сему я из множества бывших плачевных дел помещаю только те из них, которые случились в мое время и более врезались в мою память. Например. В Большой Чечне старшина Майр Бей-Булат своим личным достоинством успел соединить вокруг себя всю Чечню и, твердо держа сторону справедливости, часто, по народным делам, обращался к ближайшему русскому начальству, которое, согласно своей политике, употребляя в дело обман, на словах желало и обещало ему много добра, а на самом деле оказывало большое пренебрежение к обрядам, обычаям и справедливым просьбам чеченцев. Вследствие чего Майр Бей-

Булат, окончательно потерявший терпение и доверие к русским, посоветовал народу восстать и силой оружия требовать от русских управлять чеченцами по народному обычаю, а не по произволу местного начальника.

Таким образом начались враждебные действия между русскими и чеченцами.

В 1818 г. главнокомандующий кавказскими войсками генерал Ермолов, заложив крепость Грозную, двинулся с сильным отрядом в Большую Чечню в аул Майр-Туп, где двум чеченцам предложил триста червонцев за голову Майр Бей-Булата («Майр» по-чеченски – «храбрый»).

Чеченцы, отказавшись от коварного предложения Ермолова, немедленно дали об этом знать Майр Бей-Булату. Но, к немалому удивлению этих чеченцев, Майр Бей-Булат вместо того, чтобы порицать Ермолова, был чрезвычайно обрадован намерением главного начальника края и, подаривши чеченцам по одной хорошей лошади, отпустил их домой.

Вскоре вслед за этим он попросил к себе народного кадия со всеми членами народного махкеме (суда) и обратился к ним так:

– Я сегодня перед приходом вашим составил план выгодного мира или вечной войны с русскими. Если только народ верит тому, что я из любви к нему и к его свободе готов пожертвовать собой, то прошу уполномочить меня на исполнение задуманного мною плана, и не дальше как завтра вы все будете знать, что угодно Богу: мир или война.

– Ты не раз доказал народу, – ответили члены суда, – что готов умереть за него, и поэтому Чечня тоже готова без малейшего возражения исполнить все то, что ты найдешь для нее полезным.

Бей-Булат, поблагодарив их, приказал, чтобы все конные и пешие ополчения были готовы к бою. Между отрядами генерала Ермолова и чеченскими сборищами было расстояние не более пяти верст.

В ту же ночь из передовой русской цепи дали знать главному караулу, что трое лазутчиков имеют сказать весьма важное дело лично главнокомандующему. Караульный офицер доложил об этом состоявшему при корпусном командире по политическим видам полковнику князю Бековичу-Черкасскому, а он генералу Ермолову. Скоро лазутчики эти с князем Бековичем и с переводчиком без оружия вошли в Ставку Ермолова. Один из них, тщательно окутавший голову башлыком, обратился к нему через переводчика со следующими словами: «Сардар! я слышал, что вы за голову Бей-Булата отдаете 300 червонцев, если это справедливо, то я могу услужить вам и не дальше как в эту ночь голова Бей-Булата будет здесь перед вами, не за триста червонцев, а за то, что вы из любви к человечеству избавите бедный чеченский народ и ваших храбрых солдат от кровопролитных битв».

Ермолов, будучи удивлен и заинтересован словами, бойко и твердо выходившими из-под башлыка, спросил его, кто он такой и каким образом он может исполнить все, что он говорит и обещает.

– Прошу вас не спрашивать, – ответил лазутчик, – вы узнаете, когда я представлю вам голову Бей-Булата.

Ермолов, еще сильнее заинтересованный, жадно ловил слова лазутчика и, желая хорошенько понять его, спросил:

– Сколько же червонцев он хочет за голову Бей-Булата?

– Ни одной копейки, – ответил лазутчик.

Ермолов и любимец его Бекович-Черкасский взглянули друг на друга с недоумением. Ермолов с иронической улыбкой, назвавши этого чеченца небывало бескорыстным лазутчиком, потребовал от него сказать решительно и откровенно его желание.

– Мое желание, – продолжал тот, – состоит в том, чтобы вы, получивши в эту ночь Бей-Булата, завтра или послезавтра повернули свои войска обратно в крепость Грозную и там, пригласивши к себе всех членов народного махкеме, заклю-

чили с ним прочный мир на условиях, что отныне русские не будут строить в Большой и Малой Чечне крепостей и казачьих станиц, освободили всех арестантов, невинно содержащихся в Аксаевской крепости, и управляли ими не иначе, как по народному обычаю и шариату в народном суде (махкеме). Если вы, сардар, согласитесь на указанные условия и дадите мне в безотлагательном исполнении их верную поруку, то прошу вас верить тому, что голова Бей-Булата будет в эту ночь здесь, но повторяю, не за деньги, а на вышесказанных условиях.

– Не правда ли, мы имеем дело с весьма загадочным человеком, – заметил Ермолов любимцу своему Бековичу-Черкасскому.

– При всем моем желании, – сказал Бекович, – я не верю ни одному из его слов.

– Чем черт не шутит, – сказал Ермолов, – чем меньше мы ему будем верить, тем больше нас обрадует, если сверх ожидания нашего через несколько часов он явится к нам с головой любезного нам Бей-Булата.

– Скажи ему, – приказал Ермолов, – все, что он желает, есть благо народа, и потому я охотно соглашусь с ним, пусть он только скажет, кого он хочет иметь порукой.

– Честное слово сардара Ермолова и милость царя Александра, – сказал лазутчик.

– Пусть будет так, – заключил Ермолов и протянул ему руку: – вот тебе моя рука и с ней даю тебе честное слово, что, получивши от тебя голову Майр Бей-Булата, нарушителя спокойствия целого края, исполню с большим удовольствием все то, что между нами сказано, и кроме того народные кадии и достойные члены суда будут получать от правительства хорошее содержание, а тебя, как достойного, щедро наградит царь. Теперь, – продолжал Ермолов, – я свое кончил, также

требую от тебя, как истинного мусульманина, верную присягу на Аль-Коране, что ты исполнишь в точности свое обещание.

Лазутчик, не выпуская руку Ермолова, благодарил Бога, назвал себя чрезвычайно счастливым, что надежды и ожидания его совершенно оправдались и что чеченцы избавлены от разорительной войны; затем, выпустив руку Ермолова, сказал:

– Теперь вам, сардар, присяга моя не нужна, и – (снявши башлык) – вот вам голова Бей-Булата. Она всегда готова была быть жертвой для спокойствия бедного чеченского народа. Поручаю себя Богу и Его правосудию.

– Он сам!.. Он сам!.. – воскликнули одновременно изумленные Бекович и переводчик.

– Да кто же он? – поспешно спросил Ермолов.

– Сам Майр Бей-Булат, Ваше Высокопревосходительство, – ответил Бекович» (журнал «Кавказ», № 1(25), 1936, Париж).

И что же происходит дальше?

Верный своему честному слову, генерал Ермолов отпустил Бей-Булата. Даже больше, от имени русского правительства он его назначил «старшиной всей Чечни», а через непродолжительное время тот же генерал Ермолов, заманив Бей-Булата в ловушку, убил его руками наемника, его же кровника.

Бесстрашный вояка, герой Бородинской битвы с острым стратегическим умом, один из представителей выдающейся плеяды генералов штаба Кутузова, победивших Наполеона, – Ермолов в войне с горцами стоял и через одиннадцать лет своего командования кавказскими войсками в кровопролитнейших сражениях на том же самом месте, с которого он начал эту войну, – на границах Чечни. К неуспехам на Кавказе прибавились тяжкие огорчения из Петербурга: в списке членов будущего Временного правительства, составленном восставшими декабристами, Николай I, к своему ужасу, обнаружил имя человека, которому верил, как самому себе, имя генерала Ермолова, намеченного на должность военного

министра (само по себе это ни о чем не говорило, ибо там числилось и имя великого русского реформатора, богобоязненнейшего и преданнейшего слуги императора, Сперанского, намеченного на пост министра иностранных дел). Но уже и одного того, что декабристы могли рассчитывать на Ермолова, было достаточно в глазах Николая I, чтобы в 1827 г. снять его и даже отставить от военной службы. Назначая на его место фельдмаршала Паскевича, победителя в русско-персидской войне 1928 г., завоевателя Армении, названного в честь этого князем Эриваньским, – Николай I в рескрипте на его имя писал: «После того, как выполнена и эта задача, задача покорения Армянского нагорья, предстоит Вам другая задача, в моих глазах не менее важная, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшая, – это покорение горских народов или истребление непокорных» (М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России в XIX в.).

Легко догадаться, что верный этой программе Николай I теперь форсирует темпы и расширяет театр войны на Кавказе. Тридцать лет продолжается Кавказская война при нем, действующую кавказскую армию он доводит до 200 тыс. солдат. Трезвые наблюдатели говорят о неоправданно высоких жертвах русских, но Николай I упорствует. Результат? Умирая в 1855 г., Николай I стоял на Кавказе там же, откуда он убрал генерала Ермолова, – на границах Чечни. Но была и разница: при Ермолове были «мирные» и «немирные» чеченцы, но когда правительство Николая I в 1840 г. предъявило ультиматум о разоружении мирных чеченцев, они ответили: «Чеченцев никто не разоружал – разоружали только их трупы» – и, восставши, присоединились к знаменитому имаму Шамилю, написав на своем знамени стих из Корана: «О избранники Бога, вы не знали ни страха, ни траура» (X, 63).

За три года до этого Николай I посетил Кавказ. Побывал он и в «мирной» Чечне. Чеченцы решили, воспользовавшись этим, подать царю жалобу о причинах своего недовольства

местным начальством. Вот что пишет об этом цитированный выше генерал Кундухов: «В 1837 г. император Николай I, первый из русских царей, осчастливил приездом своим Кавказ. На другой день государь принимал депутатов с народными просьбами, говорил с ними очень благосклонно, исключая из этого злополучных чеченцев, которых упрекал в неверности ему и его русским законам. Чеченцы в свою очередь ответили: «Вашему Императорскому Величеству мы преданы не менее других горцев и уважаем законы не менее других, но, к несчастью нашему, ближайшее начальство, затемняя истину и не соблюдая никаких законов и обычаев, управляет нами совершенно по своему произволу, отзываясь о нас с дурной стороны...». Резкий, но очень справедливый ответ чеченцев не понравился государю, и, назвав его клеветой, он приказал им выкинуть из головы вредные мысли. Царь вместо того, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать ожидания народа, приказал держать чеченцев под сильным страхом» (журнал «Кавказ», № 1 (25), 1936, Париж).

Однако, вернувшись в Петербург, царь несколько изменил свое мнение о чеченцах. Царь писал своим подчиненным: «…я хочу не победы, а спокойствия... для интересов России надо стараться приголубить горцев и привязать их к русской державе.... я написал инструкцию и приказал учредить в разных местах школы для детей горцев, как вернейшее средство к их обрусению и к смягчению их нравов» (Л. И. Барат. Кавказцы в собственном Его Имп. Величества конвое. – «Часовой», 1981).

Но война оставалась войной. Командующий войсками в Чечне генерал-майор Пулло, по словам Кундухова, «начал ходить с отрядами по аулам мирных чеченцев под предлогом ловить там непокорных тавлинцев, будто в аулах их скрывающихся. На ночлег солдат и казаков расставляли по домам чеченцев и, отыскивая небывалых тавлинцев, забирали все,

что понравится солдату. На жалобы хозяев, на слезы женщин и детей Пулло смотрел со зверским равнодушием и, гордясь своими позорными делами, называл жалобу чеченцев, как и император Николай I, клеветой. В следующем, 1839 году, он опять повторил этот поход» (генерал Кундухов, там же). Вот это и привело ко всеобщему чеченскому восстанию. Чечня отныне стала частью территории имамата Шамиля. Так начался новый этап Кавказской войны. Правда, был еще один генерал, более гуманный и более разумный, который хотел предупредить расширение восстания. Это командир корпуса генерал Головин. Он послал вышеназванного генерала Кундухова к чеченцам, чтобы они ему рассказали причины, почему они восстали. Чеченцы ему ответили: «Если корпусному командиру угодно узнать причину нашего восстания, то пусть спросит генерала Пулло, начальника чеченского округа, он причины знает лучше всех чеченцев, которым теперь остается только просить Бога, чтобы навсегда избавиться от всех Пулло или умереть на штыках их» (там же). В одном из первых же сражений с чеченцами пал и сам генерал Пулло.

С этого времени русская кавказская армия несла огромные потери в войне с горцами, совершенно не оправдывавшиеся успехами в деле их покорения. При этом горцы, постоянно переходя от обороны к наступлению, сводили на нет первые кажущиеся успехи. Корреспондент «Московских ведомостей» писал из действующей русской кавказской армии: «...в Чечне только то место наше, где стоит наш отряд; двинулся наш отряд, то и это место немедленно переходит в руки противника». Из десятков крупных военных экспедиций и походов на Чечню и Дагестан сошлемся только на одну из них, на так называемую «Сухарную экспедицию Воронцова» в 1847 г. Военные сводки кавказского главного командования о ходе этой экспедиции начинались обычно трафаретной фразой: «Предпринятая по Высочайшей воле

Императора Николая I военная экспедиция на Большую Чечню проходит...» Этой экспедицией руководил лично сам новый главнокомандующий кавказскими войсками генерал граф Воронцов. Немецкий писатель Фридрих Боденштедт, писавший свою книгу о Кавказе по свежим следам этой экспедиции, так рисует ее ход по рассказу одного русского офицера, участника этой экспедиции:между тем из Петербурга последовал приказ снарядить новую, более значительную экспедицию в Большую Чечню, которая и началась в конце сентября. Гигантский корабль, плывущий по морю, оставляет за собой видимые длинные борозды, на время впереди и по бокам волны расходятся, но тут же сходятся вновь, как только корабль поплывет дальше. Так шел и наш военный поход по Чечне. Там, где мы только что прошли, не находилось больше врагов, но впереди и по бокам они беспрерывно выплывают, и как только мы двинемся, они вновь немедленно смыкаются между собою. Экспедиция не оставляет среди них каких-либо заметных следов, только там и здесь из лесного моря виднеются русские сигнальные флаги – горящий аул. Единицы пленных и некоторое количество скота – таковы наши трофеи. Может, с точки зрения Петербурга, такой поход и кажется более успешным, чем он есть на самом деле» (Кавказские народы в борьбе за свою свободу, ч. II. Берлин, 1855).

Эта «сухарная» экспедиция в горную Чечню (Дарго) оказалась роковой для Воронцова. Дав Воронцову возможность углубиться в горы и уступив ему даже очищенное Дарго, Шамиль отрезал генералу пути отступления и снабжения. Посаженному на голодный паек – сухари – и полностью отрезанному от своего тыла, Воронцову ничего не оставалось, как просить помощи из России. Прибытие новых частей генерала Фрайтага спасло его от полного разгрома. Вместе с ним спасся и участвовавший в экспедиции, как гость генера-

ла Воронцова, принц Александр Гессенский. При этом экспедиция потеряла убитыми трех генералов, 195 офицеров и 4 тыс. нижних чинов, много боеприпасов и оружия. Таковы были данные самого русского командования. Численность всех русских сил, участвовавших в экспедиции на Дарго и поддерживавших ее из окружающих районов, доходила, по официальным данным русских военных историков, до 150 тыс. человек, а по сведениям того же Боденштедта даже до 200 тыс. человек.

Официально Кавказская война кончилась в 1859 г., когда действующая кавказская армия была доведена, по словам генерала Фадеева, до 280 тыс. чел. – при постоянной армии у Шамиля 20 тыс. с трофейными пушками и снарядами, отлитыми национальными мастерами и русскими пленными. (Вся русская армия в Отечественной войне 1812 г. против Наполеона составляла всего 500 тыс. чел.)

В августе 1859 г. новый главнокомандующий кавказскими войсками генерал князь Барятинский мог издать свой победный приказ: «Гуниб взят, Шамиль в плену. Поздравляю кавказскую армию. Князь Барятинский».

Таким образом, преемник Воронцова князь Барятинский при огромной концентрации новых вооруженных сил и модернизации военной техники (у Барятинского уже было нарезное оружие, чего не было у горцев) взял Шамиля в плен, а в 1864 г. пала и последняя область независимого государства Шамиля – Черкессия, возглавляемая выдающимся наибом Шамиля Магометом Эминым. Своеобразный итог русско-кавказской войны подвел исследователь русской военной старины и пламенный монархист наших дней, вышецитированный Леонид Иванович Барат, писавший: «Плоды русского покорения Кавказа один из его участников, офицер Терского казачьего войска, сформулировал так:

Ведь Кавказ добыть не шутка!
Храбрый там гнездился враг,
Приходилось часто жутко –
Крови стоил каждый шаг».

К пленному Шамилю русское правительство отнеслось как к пленному государю. После продолжительной почетной ссылки в Калуге ему был разрешен выезд вместе с семьей в Аравию, где он и умер в Медине в 1872 г.

Хотя горцы были побеждены силой оружия в столь кровопролитной для России войне, царское правительство воздало дань их стремлениям к независимости и любви к свободе, объявив горцам определенные свободы по внутреннему самоуправлению. Вот что гласит прокламация чеченскому народу от имени императора Александра II: «Прокламация чеченскому народу: Объявляю вам от имени Государя Императора – 1) что правительство русское предоставляет вам совершенно свободно исполнять навсегда веру ваших отцов, 2) что вас никогда не будут требовать в солдаты и не обратят вас в казаков, 3) даруется вам льгота на три года со дня утверждения сего акта, по истечении сего срока вы должны будете для содержания ваших народных управлений вносить по три рубля с дома. Предоставляется, однако, аульным обществам самим производить раскладку этого сбора, 4) что поставленные над вами правители будут управлять по шариату и адату, а суд и расправы будут отправляться в народных судах, составленных из лучших людей, вами самими избранных и утвержденных начальством, 5) что права каждого из вас на принадлежащее вам имущество будут неприкосновенны. Земли ваши, которыми вы владеете или которыми наделены русским начальством, будут утверждены за вами актами и планами в неотъемлемое владение ваше... Подлинную подписал Главнокомандующий кавказ-

ской армией и Наместник Кавказа генерал-фельдмаршал князь Барятинский» (см. Воспоминания генерал-майора Мусы-Кундухова, – журнал «Кавказ», май 1936, № 5/29). Если бы сегодняшняя «автономная» Чечено-Ингушская республика имела такую конституцию, – я ее считал бы сверхсчастливой страной.

Однако, боясь новых восстаний на Кавказе и желая избавиться от наиболее активного элемента в движении за независимость, царское правительство предпринимает переселение около 800 тыс. черкесов, чеченцев, дагестанцев и осетин в Турцию. Оно началось в 1864 г. Переселение было проведено в настолько тяжелых условиях, и жертвы во время самого переселения были столь велики, что это вызвало крупные протесты на Западе. В Англии был создан комитет помощи этим переселенцам, делавший большие денежные сборы в их пользу.

О Кавказской войне и о ее трагическом исходе для горцев существует огромная историческая, повествовательная и поэтическая литература. В глазах официальной России задача Кавказской войны была чисто стратегическая – обеспечение экспансии Русской империи покорением народов Северного Кавказа, которые после присоединения Азербайджана, Армении и Грузии остались независимыми в самом тылу Империи. Даже либеральствующий историк Ключевский считал, что дагестанцы, чеченцы и черкесы – просто «дикие племена», которых надо было покорить, чтобы Россия могла решать свои стратегические задачи (В. О. Ключевский, т. 5, Москва, 1958, сс. 195–196).

Иностранные писатели, современники и свидетели Кавказской войны не разделяли мнения Ключевского о «диких племенах». Они находили, что внутренняя социальная организация и формы правления горцев в период их независимости стояли на более высокой ступени развития, чем в самой

крепостнической России. Вот два из этих свидетельств: вышецитированный немецкий писатель Боденштедт, который участвовал в одной из экспедиций против чеченцев, констатирует: «Чеченцы имеют чисто республиканскую Конституцию и имеют одинаковые права» («Die Völker des Kaukasus und ihre Freiheitskämpfe gegen die Russen, von Friedrich Bodenstedt. Berlin, 1855). Французский писатель Шандре писал в 1887 г.: «Во время своей независимости чеченцы жили в отдельных общинах, управляемых через народное собрание. Сегодня они живут как народ, который не знает классового различия. Видно, что они значительно отличаются от черкесов, у которых дворянство занимает такое высокое место. В этом и состоит значительное различие между аристократической формой республики черкесов и совершенно демократической Конституцией чеченцев и племен Дагестана. Это и определило особенный характер их борьбы... У жителей Восточного Кавказа господствует отчеканенное равенство и все имеют одинаковые права и одинаковые социальные положения. Авторитет, который они передоверяют племенным старшинам выборного совета, был ограниченным во времени и объеме... Чеченцы веселы и остроумны. Русские офицеры называют их французами Кавказа» (E. Chantre. Recherches anthropologiques dans la Caucase. Paris, 1887).

Александр Дюма, путешествуя по территории имамата Шамиля, в своей очередной корреспонденции в Париж замечает: «Шамиль – титан, который воюет против владыки всех русских». Маркс в своих высказываниях, посвященных Кавказской войне, называет Шамиля «великим демократом».

Энциклопедия Брокгауза, говоря о роли чеченцев в Кавказской войне, констатирует: «До 1840 г. отношение чеченцев к России было более или менее мирное, но в этом году они изменили своему нейтралитету и, озлобленные требованием со стороны русских о выдаче оружия, перешли на сторону

известного Шамиля, под руководством которого в течение почти 20 лет вели отчаянную борьбу против России, стоившую последней огромных жертв... неукротимость, храбрость, ловкость, выносливость, спокойствие в борьбе – черты чеченцев, давно признанные всеми, даже их врагами... Во время своей независимости чеченцы, в противоположность черкесам, не знали феодального устройства и сословных разделений. В их самостоятельных общинах, управлявшихся народными собраниями, все были абсолютно равны. Мы все «уздены» (то есть свободные, равные), говорят теперь чеченцы... Этой социальной организацией (отсутствие аристократии и равенство) объясняется та беспримерная стойкость чеченцев в долголетней борьбе с русскими, которая прославила их геройскую гибель» (Энциклопедический словарь, т. 38, сс. 785–786, Спб., Брокгауз-Ефрон, 1903, С.-Петербург).

Концепция большевиков о характере борьбы горцев за независимость менялась несколько раз. Первоначальная советская концепция говорила о прогрессивности движения Шамиля и реакционности политики царей. Она отражена в Большой Советской Энциклопедии первого издания в статье о Чечне. В рекомендованных к этой статье моих книгах я тоже держался этой концепции. БСЭ писала: «Исключительно упорную борьбу с наседающим царизмом горцам пришлось выдержать с конца XVIII века (1785–1859). Наиболее активными и сильными противниками царского правительства при завоевании Северного Кавказа справедливо считались чеченцы. Натиск царских войск на горцев вызвал их объединение для борьбы за свою независимость, и в этой борьбе горцев чеченцы играли выдающуюся роль, поставляя главные боевые силы и продовольствие для Газавата (священной войны). Чечня была «житницей» Газавата. Выдвинувшийся из чеченцев пастух Мансур Ушурма, ставший в качестве имама во главе организованных сил горцев, вел

ожесточенную борьбу с царскими войсками в течение шести лет (1785–1791). В первой половине XIX в. велась непрерывно организованная борьба горцев против царизма под руководством имамов Чечни и Дагестана – Кази-муллы и Гамзат-бека; но наибольшей силы борьба достигла в эпоху знаменитого вождя горцев – Шамиля (1834–1859), который, опираясь на широкое народное движение, сумел блестяще организовать длительный отпор царизму не только в силу своих военных талантов, но и в силу проводимых им социально-политических реформ... Шамиль организовал централизованную военно-гражданскую систему власти (имамат Шамиля). Николаевские генералы после ряда поражений поняли, что путь завоевания горцев лежит через Чечню. Началось методическое вытеснение чеченцев с плоскости путем уничтожения аулов, рубки лесов, устройства крепостей и заселения освобожденных земель казачьими станицами» (БСЭ, первое издание, т. 61, 1934, сс. 530–531). Об имаме Шамиле: «Шамиль – вождь национально-освободительного движения горских народов Кавказа, направленного против колонизационной политики царской России. Шамиль, по выражению Маркса, «великий демократ», был захвачен с горсточкой своих людей двухсоттысячной царской армией и отвезен в Петербург» (там же, сс. 804–806).

В полном согласии с этой концепцией азербайджанский профессор Г. Гусейнов написал книгу об Азербайджане в XIX в., в которой движение Шамиля по-прежнему оценивалось как национально-освободительное движение, а сам Шамиль как вождь и герой Кавказа в этом движении. За эту книгу проф. Гусейнов, по постановлению Совета министров СССР за подписью его председателя Сталина, получил Сталинскую премию. Но очень скоро – в мае 1950 г. – последовало новое постановление Совета министров, опять-таки за подписью Сталина: лишить профессора Гусейнова Сталин-

ской премии. Причину объяснил Комитет по Сталинским премиям: «Шамиль вел переписку с турецким султаном. Шамилю был обещан по взятии Тифлиса титул короля Кавказа, Шамиль официально получил от Порты звание Генералиссимуса черкесских и грузинских армий. Мюридизм ориентировался на Турцию и Англию» («Правда», 14 мая 1950 г.). Ставленник Сталина и Берии в Азербайджане, первый секретарь ЦК Багиров в своей статье объяснил дело проще: оказывается, человек, с которым Россия не могла справиться четверть века, был всего-навсего «шпионом Турции»! (журнал «Большевик», № 9, 1950 г.).

После разоблачения культа Сталина советские историки перевели Шамиля из шпионов в главаря реакционного государства – имамата. В третьем издании Большой Советской Энциклопедии сказано: «Имамат Шамиля представлял из себя государство, которое прикрывало религиозной оболочкой мюридизма свои чисто светские цели: укрепление классового господства дагестанских и чеченских феодалов» (БСЭ, т. 10, 1972, стр. 142). Общая историческая концепция осталась ортодоксально сталинская: цари и их генералы, насильственно покоряя Кавказ и Туркестан, делали великое прогрессивное дело, а вожди национально-освободительного движения этих народов, сопротивляясь покорению, выступали как реакционные вожди. Такова сущность нынешней исторической концепции советских историков по отношению к народам Кавказа и Туркестана, покоренным силой оружия.

Русские классики с глубоким сочувствием и пониманием относились к борьбе горцев за независимость. Начало положила бессмертная поэзия Пушкина о Кавказе, кавказских горцах, русско-кавказской войне. За ней последовали шедевры кавказской поэзии и прозы Лермонтова, который воспел кавказскую свободу и осудил Кавказскую войну. Великий кавказский цикл завершил гениальный Толстой в рассказах

«Набег», «Рубка леса», в повестях «Казаки» и «Хаджи Мурат». (Пушкин был свидетелем, а Лермонтов и Толстой и сами участвовали в Кавказской войне, но, став выше великодержавных предрассудков, они были вдохновлены на свои великие творения неистребимой любовью горцев к свободе!)

Совершенно особое место в этом цикле занимал Лермонтов. Для северокавказцев Лермонтов не просто «певец Кавказа», он для них – свой, кавказский поэт по духу. Он даже психологически физически – мужественный, мечтательный, свободолюбивый, со смуглым лицом и темными глазами – больше походил на горца, чем на русского. Сравнивая кавказскую поэзию Пушкина с поэзией Лермонтова, русский поэт П. Антокольский не без упрека по адресу Пушкина заметил: «С головокружительной, сверхальпийской крутизны увидел Пушкин Кавказ:

«Кавказ подо мною:
Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят».

Лермонтов прочел то же самое – ту же точку и то же негодование, но в противоположном. Никогда он не сказал бы: «Кавказ подо мною», потому что был внутри Кавказа» (М. Ю. Лермонтов, Избранные произведения, т. 1, вступительная статья П. Г. Антокольского, Москва, 1964, с. 23).

Неудивительно, что мое поколение горской молодежи училось любви к Кавказу в одинаковой мере как у величественной кавказской поэзии Лермонтова, так и у богатого кавказского фольклора (вот что писал о чеченском фольклоре Лев Толстой в письме к поэту А. А. Фету от 26 октября 1875 г.: «Читал я это время книги, о которых никто понятия не име-

ет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о кавказских горцах, изданный в Тифлисе. Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические необычайные. Хотелось бы Вам послать. Мне, читая, беспрестанно вспоминались Вы. Но не посылаю, потому что жалко расстаться. Нет-нет и перечитываю. Вот Вам образчик: «Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать. Прорастет кладбище могильной травой – заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей – и улетит и горе из ее сердца». Конец этой песни по-чеченски звучит так: «Только брат не забудет, пока не ляжет рядом со мною». Мы знали, что царь сослал Лермонтова за вольнодумство к нам, на Кавказ, в виде наказания, а он, дерзкий и неумолимый, со своей родной страной прощался, как узник прощается с неволей, предвкушая блаженство свободы среди нас, на Кавказе:

«Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей».

Побывав на Кавказе, он не разочаровался в своих ожиданиях, он вернулся к себе, в Россию, глубоко влюбленным в Кавказ:

«Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:

Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ».

Он не только любил Кавказ, он глубоко сочувствовал и переживал его трагедию:

«Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!..
……………………………….
Нет! прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество свое:
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для нее».

В двух шедеврах своей кавказской поэзии – в «Валерике» и «Измаил-Бей» Лермонтов особенно ярко осудил Кавказскую войну России и воспел героизм горцев в борьбе за свою свободу и независимость:

«Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам...

... Вон кинжалы,
В приклады! – и пошла резня,
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...

(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна...
...Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой; я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: *Валерик*,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми.
– А сколько их дралось примерно
Сегодня? – Тысяч до семи.
– А много горцы потеряли?
– Как знать? – зачем вы не считали!
Да! будет, кто-то тут сказал,
Им в память этот день кровавый!
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал...»

Это не поэтический вымысел, а описание действительного сражения, участником которого был и сам Лермонтов. Накануне сражения на Валерике Лермонтов писал своему другу В. А. Лопухину: «Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму...» 12 сентября 1840 г. Лермонтов сообщил тому же Лопухину: «У нас каждый день дело, и одно довольно жаркое, которое продолжалось шесть часов сряду. Нас было две тысячи пехоты, а их до шести тысяч; и все время дрались

штыками. У нас убыло 30 офицеров и до трехсот рядовых, а их шестьсот тел осталось на месте. Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью» (Лермонтов, там же, т. 2, с. 690).

Сюжет знаменитой поэмы «Измаил-Бей» рассказал Лермонтову «старик-чеченец, хребтов Кавказа бедный уроженец». Он сохранился в чеченском фольклоре и до сих пор. Его ведущий мотив: свобода – это бог Кавказа. Война – это меч свободы. Верность в дружбе и беспощадность во мщении – исконные правила гор. Эту «философию адатов» Лермонтов обобщил во вступительной части «Измаил-Бея»:

«И дики тех ущелий племена,
Им Бог – свобода, их закон – война...
... Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро – добро, и кровь – за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь».

Кавказская поэзия Лермонтова стала кораном каждого интеллигентного горца. Горские интеллигенты зачитывались Лермонтовым, обожествляли его, они проклинали тот день, когда появился на свет негодяй Мартынов, так безжалостно потушивший это кавказское солнце. Мое личное увлечение Лермонтовым было так велико, что я начал думать, не попробовать ли писать по-чеченски стихи под Лермонтова или хотя бы перевести Лермонтова на чеченский язык. Я решил посоветоваться с нашей учительницей русского языка и литературы Мариам Исаевой. Учительница была чеченка, окончившая гимназию и какие-то еще учительские курсы. Молодая учительница, необыкновенной красоты, типа лермонтовских черкешенок, в которую мы все, конечно, тайно были влюблены, сама тоже писала стихи. По-женски нежные

и безмятежные, стихи ее до нас, мятежников, совсем не доходили. Когда я во время чтения Лермонтова в классе сказал ей, что хочу перевести Лермонтова на чеченский язык, учительница, сделав удивленное лицо и большие глаза, так и застыла в той самой позе, в которой ее застало мое сообщение. «Восхищение моей дерзостью или удивление моей наивностью», – мелькнула у меня мысль. Ответ ее убил во мне еще не родившегося чеченского поэта. «Смешной ты мальчик, – сказала она, – ведь чтобы перевести Лермонтова, самому надо быть поэтом, а ты считаешь себя поэтом?» – «Да!» – вырвалось у меня совершенно непроизвольно. «Что же ты написал?» – полюбопытствовала она. «Ничего», – ответил я под хохот всего класса. Я был осрамлен, уничтожен в своих лучших возвышенных чувствах. Я перестал мечтать быть чеченским поэтом и писать под Лермонтова.

Кавказское абречество и абрек Зелимхан

«Абрек» – это чеченское слово, которое впервые вошло в русский язык со времени русско-кавказской войны. Первым абреком Чечни в начальный период ее покорения был Бей-Булат, о котором мы уже рассказывали, а последним – Зелимхан. Абрек, в чеченском понимании, – революционер-одиночка, который мстит чужеземной власти за ее несправедливость и жестокости против чеченского народа. С приходом советской власти абреческое движение не прекратилось. Наоборот, в эпоху Сталина оно стало наиболее распространенной и острой формой народного сопротивления режиму. В советское время абречество претерпело и известную эволюцию в отношении своего объекта. Оно теперь направлено не вообще против власти, а исключительно против ее карательных органов и их представителей. Абреки советской Чечни и Ингушетии ощущали себя народными мстителями, контртеррористами против террористического аппарата

Сталина, но в русской и советской литературе абреки – это просто «бандиты» и «хищники». Русская эмигрантская литература тоже величает абреков, да и самих чеченцев вообще, «хищниками», как о том говорится в компиляции из старой бульварной печати «От Тифлиса до Парижа», изданной в 1976 г. в Париже. Ее автор, бывший белый офицер, пишет: «От кабардинцев и черкесов резко отличаются чеченцы. Это хищники... наружностью народ красивый. Проворный в движениях, ловкий чеченец весел и остроумен и в то же время он подозрителен, вспыльчив, вероломен, коварен, мстителен. Хищные инстинкты породили среди чеченцев абречество». Несколькими строчками ниже автор приводит «присягу абрека», которую выдумал для него другой бульварный писатель. Вот она: «Клянусь отнимать у людей все, что дорого их сердцу, их совести, их храбрости. Отниму грудного младенца у матери, сожгу дом бедняка и там, где радость, принесу горе» (с. 86). Если я цитирую всю эту белиберду, то только потому, что в своем предисловии к ней один русский парижанин, носящий титул профессора, хвалит эту книгу за ее «объективность». Однако ни автор, ни профессор не нашли нужным указать, что этот же чеченский народ за свое сопротивление тирании Сталина был поголовно депортирован советским правительством в пески Казахстана, где большая часть чеченцев погибла. На этой же точке зрения стоят и московские советские профессора. В Большой Советской Энциклопедии дано следующее определение абреков: «Абрек (вероятно, от осетинского абыраег... скиталец, разбойник), в прошлом у народов Северного Кавказа изгнанники из рода, ведшие скитальческую или разбойничью жизнь, среди последних известен: Зелимхан Гушмазакаев из Карачая...» (т. 1, с. 29, 1970, 3-е издание). Как видно, московские красные и парижские белые профессора в оценке роли абреков в освободительном движении Кавказа между собою единодушны. Но

есть и разница: если господа из Парижа просто сочиняют небылицы, то товарищи из Москвы умудрились в одном предложении дать четыре фальсифицированных справки: 1) слово абрек – чеченского происхождения, как и само явление чисто чеченское, возникшее в борьбе с экспансией царизма на Кавказе, 2) Чечня никогда не знала ни нищих, ни скитальцев, 3) членство в чеченских родах («тайпа») считалось одним из священных уз и поэтому никто не имел права кого-нибудь изгонять, 4) любой горец на Кавказе и каждый интеллигентный русский в Советском Союзе знает, что знаменитый, нашумевший в свое время на всю Россию, абрек Зелимхан был чеченец из Харачоя, а не из Карачая. Знает это, конечно, и БСЭ (во втором издании БСЭ вообще нет слов «Чечня» и «чеченцы», поэтому там и первого имама Кавказа чеченца Мансура Ушурма тоже намеренно назвали дагестанцем). Почему же допущены такие фальсификации? Расчет ясен: молодое поколение чеченцев и ингушей не должно знать свою историю, а внешний мир должен думать, что абреки, как и все чеченцы, – хищники и разбойники.

К сожалению, экзотические басни о чеченцах и ингушах проникают и в европейскую литературу. Так, в том же Париже, в известном издательстве Фаярд (в котором, кстати, вышла и моя книга о Брежневе) в 1978 г. издана книга одного французского дипломата под названием «Странный Кавказ». Восхищаясь эрудицией автора в области истории Кавказа, рецензент «Русской Мысли» в Париже пишет, «автор книги открывает нам жизнь различных кавказских народностей – чеченцев, у которых был свирепый обычай украшать себя ожерельями, составленными из ушей своих врагов, которых всегда было великое множество, ингушей с их странным обычаем венчать мертвых хевсуров, еще недавно носивших кольчугу в качестве привычной одежды... Можно только удивляться, что широкие круги читателей до сих пор не

знакомы с этим краем, скрывающим столько чудес» (газета «Русская Мысль», 9 ноября 1978 г.). Выдумки иностранного автора, позаимствовавшего свои «сведения», по-видимому, у вышеназванных русских сочинителей или просто решившего прославиться сенсационной книгой, превратились под пером сотрудника «Русской Мысли» в «чудеса Кавказа».

Зелимхан абречествовал в дни моего детства. С его сыном Омар-Али мы были друзьями юности. Мы кончили почти одновременно и среднюю школу. Советы очень ухаживали за ним, предлагали ему вступить в партию, но он предпочел оставаться беспартийным. В наших отношениях с ним его беспартийность и моя партийность не играли никакой роли. Нас обоих больше интересовала история нашего народа. Весьма начитанный в области кавказоведения, он усердно собирал все данные – устные и письменные – о своем знаменитом отце, на которого он походил только мужеством, но не агрессивностью. Иногда просто не верилось, что такой миролюбивый сын мог родиться у профессионального бунтаря. Он знал, что ореол отца чеченцы невольно переносят и на него. Это его очень тяготило. С обезоруживающей скромностью природного горского дипломата Омар-Али отводил всякие надежды насчет возможности его собственного абречества. Я не знаю, уцелел ли он во время большой трагедии своего народа. Если уцелел, то я шлю ему через эти строчки мой братский салам-маршалла. Многие сведения, которые он мне дал, тоже лежат в основе очерка о его отце.

Легендам и рассказам о Зелимхане, о его подвигах и героизме в защиту своего народа не было конца. Русская печать, центральная и кавказская, того времени полна сенсационными сообщениями о неумолимом «хищнике» и неуловимом «разбойнике» Зелимхане, который грабит бедняков, убивает женщин и детей, если они русские. После революции большевики объявили его национальным героем Кавказа, в кни-

гах и журналах о нем писали, что Зелимхан не просто абрек, а абрек-революционер. Так писал о нем и я в книгах, изданных в Советском Союзе. Интересную биографию Зелимхана с приложением многочисленных документов издал осетинский писатель – современник Зелимхана, друг и сотрудник Кирова по газете «Терек» – Дзахо Гатуев. На страницах журнала «Революция и горец» (Ростов-на-Дону, 1932, № 4) я в порядке «марксистского анализа» раскритиковал книгу Гатуева «Зелимхан» за игнорирование автором «классовой борьбы в Чечне». После этого при нашей встрече Дзахо рассказал мне, что, напротив, Киров не нашел в его книге никаких грехов, поблагодарил его за восстановление исторической правды о революционере-абреке Зелимхане, да еще обещал предпринять меры для ее экранизации. Действительно, скоро в СССР вышел художественный фильм «Зелимхан» по книге Гатуева, он демонстрировался и в ряде стран на Западе. Но Кирова убили в 1934 г., Гатуева расстреляли в 1938 г. и Зелимхана вновь объявили обыкновенным «разбойником». Однако нет конца советским чудесам. После разоблачения культа Сталина реабилитировали не только Дзахо Гатуева, но и его героя Зелимхана. Издательства в Москве и на родине Гатуева в Осетии переиздали «Зелимхана», а чеченский писатель Магомет Мамакаев издал в Грозном собственную книгу о Зелимхане. Но в эру Брежнева произошло опять новое «чудо»: Зелимхана вновь перевели в обыкновенного «разбойника».

Как смотрел Зелимхан сам на свое абречество? В письме на имя председателя Третьей государственной Думы Зелимхан писал: «...для меня было бы большим нравственным удовлетворением, если бы народные представители знали, что я не родился абреком, не родились ими также мой отец и брат и другие товарищи. Большинство из них избирают такую долю вследствие несправедливого отношения властей...» (Дз. Гатуев, «Зелимхан», Орджоникидзе, 1965, с. 152, везде

далее цитаты, особо не оговоренные, – из этой книги). Каковы же были несправедливости, за которые Зелимхан мстил властям? Вот некоторые из них: «В воскресенье 10 октября 1905 г. грозненские власти учинили на базаре чеченский погром. Начало обычное. Поссорилась с чеченом баба. Шум. Толпа. То ли он кого из толпы убил, то ли толпа его убила за чеченское происхождение. В результате вышел из казарм под командой полковника Попова Ширванский полк и расстрелял 17 чеченцев. «Мы все готовы были тогда в абреки уйти, – прибавил мне рассказчик, – чеченский интеллигент» (с. 53). Ужасная весть дошла до Зелимхана, который при каждой молитве после «дуа» повторял обращение к Аллаху: «Аллах, если я задумал что-нибудь несправедливое, то отврати мои мысли и удержи мою руку. Если я задумал дело правое, то укрепи мою волю: сделай глаз мой метким и руку твердой. Прости мне мои грехи, прости грехи всем несчастным, вынужденным идти моей дорогой». Зелимхан решил, что месть за чеченский погром в Грозном – богоугодное дело, а на самом деле совершил такое же преступление, как и полковник Попов: в воскресенье 17 октября около станции Кади-юрт он со своим отрядом остановил пассажирский поезд, отобрал 17 пассажиров из числа «начальников» и расстрелял их. «Передайте полковнику Попову, что жизни, взятые им в Грозном, отмщены», – простился он с уцелевшими пассажирами (с. 53).

Незадолго до этого Зелимхан убил начальника Веденского округа полковника Добровольского. За что же? Зелимхан объяснил: «Полковник думал, что он все может и ничего ему не будет за это: за то, что обругал сестер зелимхановских, за арест зелимхановской жены, за преследование отца, братьев... за присылки в Харачой солдат, лапавших харачоевских девушек... осквернивших чистоту мусульманских жилищ» (с. 46).

Вместо убитого Добровольского появился новый начальник округа «свой» горец, полковник Галаев. Галаев думал, что

Добровольский погиб из-за своей интеллигентской мягкотелости. Кроме того, Добровольский – русский – не знал психологии чеченцев и поэтому не сумел проучить их, как следует. Галаев во всеуслышание заявлял, что он всю Чечню согнет в бараний рог. Гатуев рассказывает: «Галаев свирепствовал, Галаев сам горец из казаков моздокских. Как горец Галаев подошел к корню вопроса... Родовый быт и существовавшее в нем право и мораль решил уничтожить действием административным. Всех так или иначе заподозренных в сношениях с Зелимханом он ссылал или в Россию, или в Сибирь. Ссылал Галаев беспощадно... Ссылки предшествовавших администраторов не давали желанного результата. Ссыльные возвращались и пополняли абрекские кадры. Чтобы уничтожить тоску по родине, по семье, Галаев начал высылать семьями. Каждой высылке предшествовал арест, и тюрьмы наполнялись преступниками в возрасте от грудного и до старческого» (сс. 60–61). Одним словом, свой горец Галаев оказался хуже русского Добровольского. Добровольский, хотя был сущим дьяволом, но он все же не ссылал чеченцев семьями или целыми родами, как это делает теперь Галаев. Зелимхан решил сообщить Галаеву, что с ним он покончит еще быстрее, чем с Добровольским, если он не прекратит массовые ссылки людей. Если же он одумается, то оставит его в покое. Зелимхан прибег к своему обычному методу «коммуникации» – написал Галаеву письмо на чеченском языке арабским шрифтом. Сохранились два письма Галаеву, написанные чисто в горском незамысловатом стиле, но они довольно красноречиво объясняют суть дела. В первом письме Зелимхан пишет: «Я думаю, что из головы твоей утекло масло, раз ты думаешь, что царский закон может делать все, что угодно. Не стыдно тебе обвинять совершенно невинных? На каком основании наказываешь ты этих детей? Ведь народу известно, что сделанное в крепости Ведено сделал я. Знаешь

это и ты. Вы же не можете подняться на крыльях к небу и не можете также влезть в землю. Или же вы будете постоянно находиться в крепости, решая дела так несправедливо, зная это хорошо... Куда вы денетесь?.. Я, Зелимхан, решающий народные дела. Виновных убиваю, невинных оставляю. Я вам говорю, чтобы не нарушали вы закон... Возьмите всю казну и войска, преследуйте меня и все равно не найдете меня... Когда вам понадобится схватить меня – я буду от вас далеко; когда же вы мне понадобитесь – будете вы очень близко ко мне... Вы нехорошие люди! Вы недостойные люди! Не радуйтесь, не гордитесь за взятую вами неправду и за утверждение таковой... После будете плакать несомненно. Эй, полковник! Я тебя прошу ради создавшего нас Бога и ради возвысившего тебя – не открывай вражду между мною и народом» (сс. 144–145).

Зелимхан опровергает пущенную начальством ложь, что он убивает не только представителей власти, но и любого русского: «Эй, начальствующие! Я вас считаю очень низкими. Смотрите на меня: я нашел казаков и женщин, когда они ходили в горы, и я их не тронул. Я взял у них только гармонию, чтобы немного повеселиться, а потом вернул ее им (с. 145).

В ответ на письмо Зелимхана Галаев начал аресты семей сородичей Зелимхана по материнской линии (по чеченскому родовому праву за действия того или иного лица отвечает только его род по отцовской линии, а не по материнской). В военной крепости Ведено не хватало помещения для заключенных детей, женщин, мужчин. Вереницей тянулись эшелоны арестованных из Горной Чечни до самого Грозного. Зелимхан все это видел и решил объясниться с Галаевым еще раз. Он написал ему второе, уже более сердитое письмо, нарушая адат, который требует, чтоб чеченец не позволял себе ругани даже с врагом. Вот отрывок из этого, второго письма: «Полковник Галаев, пишу тебе последнее мое письмо... Мнение мое такое: ты, кажется, знаешь, что я сделал с

Добровольским, с таким же полковником, как ты; что мое привлекает сердце в необходимость сделать с тобой за незаконные действия твои из-за меня заключенных людей, которые совсем невинные. Я тебе говорю, чтобы ты освободил всех заключенных. Я тебе дам запомнить себя. Губить людей незаконными действиями из-за себя я не позволю тебе, гяур. Раз я говорю «не позволю», значит правда. Если я, Зелимхан Гушмазукаев, буду жив, я же заставлю тебя, как собаку, гадить дома... Трус ты! В конце концов проститутка, – убью тебя, как собаку... Ты, кажется, думаешь, что я уеду в Турцию? Нет, этого не будет, чтобы люди не обложили меня позором бегства. Не кончив с тобою, я шаг дальше не уйду. Слушаю о твоих делах, и ты мне кажешься не полковником, а шлюхой. Освободи же людей невинных, и я с тобою ничего иметь не буду. Если же не послушаешь, то будь уверен, что жизнь твою покончу или увезу в живых, чтобы казнить тебя» (сс. 146–147).

Однако и второе письмо тоже не произвело должного впечатления на полковника. Да и как оно может произвести какое-либо впечатление: Ведено – большая горная военная крепость, в которой находится гарнизон из отборных войск, обнесена высокой стеной с проволочным заграждением. В крепости имеет право жить, кроме солдат, только русское гражданское население. Каждого чеченца, который приезжает сюда на базар или к начальству, обыскивают у входа в крепость, – будь он даже поставленным властью старшиной аула. Если полковник выезжает из крепости, то его сопровождает эскадрон казачьей конницы. Лишь одна сторона крепости не обнесена стеной, да и зачем – ведь это та сторона, где глубокий обрыв оврага с крутой скалой, а там, далеко внизу, журчит горная река. Человек отсюда может легко свалиться в пропасть, но подняться сюда он никак не может. Однако, на всякий случай, обрыв обнесен высоким заграждением из колючей проволоки и охраняется круглые сутки

бдительными часовыми. Вот над этим обрывом, в сказочном тенистом парке, после плотного завтрака, в окружении личных телохранителей Галаев сидел на скамейке, то любуясь величественными вершинами гор, то заглядывая в бездонную пропасть, как вдруг в каких-нибудь сотнях шагов со стороны оврага раздался выстрел.

«Не в нас ли стреляют?» – пошутил полковник и обернулся на выстрел. Тогда вторая пуля ударила в висок полковника: первым выстрелом Зелимхан заставил полковника обернуться, чтоб попасть в него наверняка» (с. 64). Галаев был убит.

Зелимхан на чеченском участке делал то, что делали большевики-«эксы» в Закавказье и эсеры-террористы в Центральной России. Он действовал до сих пор в одиночку, а теперь, после убийства Добровольского и Галаева, Чечня и Ингушетия признали его своим национальным героем – за его справедливость – и к нему потянулись новые абреки. Кавказское начальство начало опасаться, что Зелимхан может стать новым Бей-Булатом или даже новым Шамилем и поднять всех горцев против России. Поэтому по приказу кавказского наместника Воронцова-Дашкова начальник Терской области генерал Михеев объявил 7 марта 1909 г. о создании «специального временно-охотничьего отряда» из двух тысяч отборных вояк, куда было набрано также некоторое количество даже добровольцев-уголовников для поимки или уничтожения Зелимхана. Так как войска в Терской области не нашли подходящего героя, чтоб поставить во главе этого отряда, то из Кубанской области выписали прославившегося подвигами против революции войскового старшину Вербицкого. Официальная пресса подняла большой шум о предстоящем походе, превознося изобретательность, решительность и героизм Вербицкого.

Вербицкий, хотя и герой, но психологии горцев совершенно не понимал. Это он обнаружил в своем обращении к чечено-ингушскому народу на русском и арабском языках,

написанному накануне похода против Зелимхана. Вот некоторые отрывки из него:

«Приказом по области я, войсковой старшина Вербицкий, назначен искоренить разбойничество в родном нам крае. Обращаюсь поэтому к чеченскому и ингушскому народам и всему туземному населению. Вы – храбрые племена. Слава о Вашем мужестве известна по всей земле: ваши деды и отцы храбро боролись за свою независимость, бились вы и под русскими знаменами во славу России... Призываю честных людей сплотиться и перестать якшаться с ворами и разбойниками... Я обращаюсь и к вам, воры и разбойники. Объявляю вам, что ваше царство приходит к концу. Я поймаю вас, и те, на ком лежит пролитая при разбоях кровь, будут повешены по законам военного времени. Поэтому советую вам помнить мои слова и отнюдь не отдаваться моим отрядам живыми, а биться до последней капли крови. Кто не будет трус, умрет как мужчина с оружием в руках.

Теперь ты, Зелимхан! Имя твое известно всей России, но слава твоя скверная. Ты бросил отца и брата умирать, а сам убежал с поля битвы, как самый подлый трус и предатель. Ты убил много людей, но из-за куста, прячась в камни, как ядовитая змея... Я понимаю, что весь чеченский народ смотрит на тебя, как на мужчину, и я, войсковой старшина Вербицкий, предоставляю тебе случай смыть с себя пятно бесчестия, и если ты действительно носишь штаны, а не женские шаровары, ты должен принять мой вызов. Назначь время, место и укажи по совести, если она у тебя еще есть, число твоих товарищей, и я явлюсь туда с таким же числом своих людей, чтобы сразиться с тобою и со всей твоей шайкой, и чем больше в ней разбойников, тем лучше. Даю тебе честное слово русского офицера, что свято исполню предложенные тобой условия» (с. 70).

Так Вербицкий предложил Зелимхану нечто вроде коллективной рыцарской дуэли, конечно, только для того, чтобы произвести, во-первых, шум в печати (письмо Вербицкого было опубликовано во всех газетах на Кавказе) и, во-вторых, в

полной уверенности, что Зелимхан не осмелится выйти на дуэль.

Да, Вербицкий плохо знал психологию чеченцев. Ни один чеченец, публично объявленный трусом, не может уклониться от дуэли. Если бы это случилось, его бы убили представители собственной «тайпы» (род).

Зелимхан не только принял вызов Вербицкого, но указал также время и место, где он встретится с Вербицким и его отрядом: в 12 часов дня 10 апреля 1910 г. в городе Кизляре у государственного казначейства, чтобы заодно захватить с собой и казну. Это свое решение Зелимхан изложил в письме к Вербицкому, которое кончалось словами: «Жди меня, баба-атаман, в Кизляре».

Хотя о письме Зелимхана говорилось всюду, сам Вербицкий не придавал ему никакого значения, по крайней мере, внешне. Современники засвидетельствовали нам все-таки его странное поведение. Прежде всего Вербицкий покинул свой штаб в Кизляре и накануне назначенного ему времени поехал в Грозный играть в карты в офицерском клубе. Когда члены клуба спрашивали Вербицкого о письме Зелимхана, то Вербицкий отделывался шутками: «Думает, дурака нашел. Так я ему и поверю. Святослав, подумаешь, нашелся: «Я иду на Вы». Эти времена, милостивые государи, давно прошли. Не Зелимхану в Святославы играть» (с. 88).

Зелимхан совсем не знал Святослава, но, видимо, хорошо знал натуру людей типа Вербицкого, – главное, Зелимхан совсем не шутил. У него появилось и много боевых соратников-добровольцев. Появились также и учителя. В соседней Грузии действовали другие «боевые дружины» – «эксы» Коба и Камо, которые подавали наглядные уроки, как организовать «экспроприацию» царских казначейств. Вспомним хотя бы знаменитейшую «экспроприацию» казначейства, которая произошла за три года до этого – 11 июня 1907 г. – в Тифлисе

на Эриванской площади. После пятого лондонского съезда партии (1907) Ленин направил в Тифлис делегата этого съезда Коба (Сталина), который вместе с Камо и организовал ее. Результаты этой «экспроприации» хорошо известны. Отряд Коба-Камо захватил 340 тыс. рублей, оставив на площади убитыми трех и ранеными до 50 человек. Захваченные деньги Коба направил через Литвинова Ленину за границу.

Почему же чеченец Зелимхан не может сделать то, что смогли сделать грузин Коба и армянин Камо? Во всяком случае, в письме к Вербицкому Зелимхан уверенно писал, что он увезет из Кизляра деньги казначейства и голову Вербицкого. Кроме того, у Зелимхана были и особые счеты с Вербицким: так, на базаре в Гудермесе в Чечне и в селении Цох в Ингушетии Вербицкий устроил античеченский и антиингушский погромы, в результате которых погибло много людей. Возмущаясь этим, Зелимхан напоминал в письме к полковнику Данагаеву: «Такие страшные действия, которые совершал Вербицкий за один час, убивая бедных людей, я десять лет абреком и то не сделал» (с. 153).

Зелимхан создал отряд из 60 бойцов, на их черкесках нашил погоны кизляро-гребенского полка, а на свою черкеску Зелимхан нацепил погоны полковника (ведь то же самое сделали Коба и Камо). 9 апреля Зелимхан со своим отрядом переночевал в кизлярских камышах, а 10 апреля, как и было обещано, Зелимхан вошел в город Кизляр во главе своего отряда, принимая, как это положено по уставу, приветствие встречных нижних чинов.

Перед вступлением в город Зелимхан прочел своим бойцам нотацию – помните, что всякая опасность может продолжаться самое большее полчаса: или тебя убьют, или ты убьешь – иметь терпение на полчаса!

Без единого выстрела вступив в город, Зелимхан занял на центральной площади казначейство и, поскольку было некоторое сопротивление охраны казначейства, пришлось

пустить в ход оружие. И вот тогда только поднялась тревога, военные двинулись к казначейству с целью окружить отряд Зелимхана. Завязался бой. Биограф Зелимхана пишет: «Сотни лет не слышал сонный Кизляр такой пальбы. Вербицкий принял письмо Зелимхана за шутку. Вербицкого не было в городе. Начальник гарнизона выслал на тревогу две команды пехоты: одну на мост перерезать путь к отступлению, другую к казначейству – на выручку перебитой уже казначейской охране» (с. 87). Отряд Зелимхана ушел без единой потери. Гарнизон потерял 19 человек убитыми и четырех ранеными. Зелимхан выполнил свою задачу только наполовину: деньги казначейства он захватил, но встретиться на дуэли с Вербицким ему не удалось – не по его вине. Все-таки Зелимхан добился одного: правительство сняло Вербицкого и отдало его под суд за «преступное бездействие».

После Вербицкого за Зелимхана взялся князь Андроников, тоже «свой», кавказец, начальник ингушского Назрановского округа, куда теперь с семьей перекочевал и сам Зелимхан. Андроников начал свою карьеру тоже с «письма», – правда, не Зелимхану, а своему другу: «Мой святой долг во что бы то ни стало, хотя бы и ценой жизни, уничтожить этого подлого труса Зелимхана, нападающего из-за скал и горных трущоб» (с. 92).

15 сентября 1910 г. князь Андроников начал с четырех сторон наступление на горную резиденцию Зелимхана и его отряда войсками от двух до трех тысяч солдат специальной горной службы. Войска Андроникова не щадили никого: ни мирных жителей, ни их семей – бомбили аулы, сжигали хутора, угоняли скот «бандитов» и, наконец, взяли горную «крепость», в которой полагали найти Зелимхана. Но Зелимхана не нашли, а захватили его семью. Андроников арестовал его жену и детей (потом их доставили во Владикавказскую тюрьму). Князь лично допрашивал с подобающим пристрастием – и угрожая расстрелом – жену Зелимхана.

Ингуш-переводчик умудрился во время перевода сообщить жене Зелимхана: «Не верьте ему, он не имеет права вас расстрелять». Допрашивали даже старших детей (у Зелимхана было две дочери и три сына). Ничего не добившись от них, князь Андроников двинулся дальше к горной реке Асса и скоро добрался до цели: он нарвался на засаду Зелимхана и его группы. Сначала абреки спорили, кому же убить Андроникова, но едва лошадь Андроникова вступила на мост, Зелимхан принял решение уступить Андроникова своему ингушскому другу Азамату Цариеву, так как Андроников все-таки был не чеченским, а ингушским начальником. Азамат выстрелил в Андроникова. Андроников упал мертвым. Абреки ушли.

Хитрость в человеческих трагедиях играет иногда коварную роль, но так называемая военная хитрость часто помогает выиграть целые сражения. Кавказский наместник решил, что и Зелимхана можно взять хитростью: он предложил распространить среди населения слух, что кавказская инженерная комиссия будет отстраивать «царское шоссе» в Керкете (Дагестан) и что в состав этой комиссии будто бы входит один военный инженер, зять самого наместника царя на Кавказе. К Зелимхану прибыл с этой вестью Жамалдин, который когда-то сам был абреком. Жамалдин внушил Зелимхану, что, если тот возьмет в плен зятя наместника, он сможет обменять его на свою семью. Семья Зелимхана уже находилась в ссылке в Минусинске, где, кстати, в то время был и сам грузинский абрек Коба. Зелимхану идея эта понравилась. Вместе с маленькой группой, включив туда и Жамалдина, Зелимхан прибыл на «царское шоссе», но инженерная комиссия оказалась переодетым в гражданскую форму военным отрядом, а сам Жамалдин – его лазутчиком. Завязался бой, в результате которого были убиты два гражданских чиновника, один ротмистр дагестанского полка, несколько всадников, а раненый командир отряда полковник Чекалин

был взят в плен (потом ему удалось бежать). С Жамалдином Зелимхан покончил как с предателем. Абреки потеряли одного человека – им был последний брат Зелимхана. «Хитрость» наместника не удалась.

Укажу еще на один эпизод из абреческой карьеры Зелимхана, который в чеченских легендах трактуется как чудо «святого Зелимхана». После «Керкетского дела», как обычно после каждой групповой операции, Зелимхан распустил группу и предложил абрекам в дальнейшем действовать опять в одиночку, чтоб принудить противника распылить свои силы. Сам он укрылся там, где, по здравому рассуждению, его не должно было бы быть: в ущелье родного аула Харачоя. Но Зелимхан пренебрег обычаем своего народа: самые сокровенные тайны обсуждать на майдане. О тайне возвращения Зелимхана в родной аул говорили на всех майданах, добавляя, что Зелимхан не просто абрек, а святой, подсудный только Аллаху, но никак не земным властям. Агенты, посланные начальником округа на разведку, доложили, что Зелимхан действительно обосновался в горной трущобе в трех верстах от Харачоя и десяти верстах от самого начальника округа! Начальник немедленно окружил пещеру военными и полицейскими частями и открыл огонь из всех видов оружия, включая пушки. Кадетская газета «Терский край» дала броский аншлаг на всю первую полосу: «Зелимхан окружен», «Накануне ликвидации Зелимхановской эпопеи». Офицер дагестанского полка Данагуев хвалился: «Не взойдет еще два раза луна на небе, как абрек абреков будет убит». Начальник Веденского округа тоже выражался образно: «Зелимхан у меня в кармане». 11 декабря 1912 г. все газеты Терской области напечатали информационные сообщения этого начальника. В корреспонденции «Терского края», например, говорилось:

«Начальник Веденского округа телеграфирует начальнику области, что нашел Зелимхана и окружил в Харачоевских горах, где он заперся в пещере. С восьми часов утра идет перестрелка. К вечеру, с нашей стороны убито двое, ранено четверо. Потребованы из Ведено пироксилиновые шашки для взрыва... На скалу против пещеры послано несколько человек охотников и кровников Зелимхана... В подкрепление к первой партии охотников были посланы еще команды пластунов... к вечеру пещера была окружена сторожевыми постами. К утру на скалу ввезено полевое орудие, из которого и решено начать стрельбу по пещере...»

Что происходило дальше, сообщает пристав Саадуев:

«Бомбардировка продолжалась до заката солнца. Зелимхан же сидел спокойно и не стрелял. Когда войска перестали стрелять, Зелимхан произвел четыре выстрела, которыми убил двух и поранил двух. Тогда начальник округа стал посылать для переговоров людей. Зелимхан ответил: «Скажи начальнику, чтобы он сейчас же по телеграфу просил прощения всем, кто сослан и арестован из-за меня. Если к полночи не передадут мне ответа, что они помилованы, то я уйду из пещеры, хотя бы все русские войска ее окружали» (с. 132).

Начальник округа, конечно, не ответил Зелимхану, ибо по-прежнему был уверен, что Зелимхан у него «в кармане». Но карман начальника оказался дырявым: Зелимхан из него выпал! О том, как это случилось, сохранился рассказ самого Зелимхана. Вот он в изложении его биографа:

«Зелимхан ушел просто, почти как из дому... перед зарей. Когда лег в ущелье туман, Зелимхан скользнул из пещеры. Вниз. На дно. Он омылся в речке, сделал намаз (молитва) и пополз вверх по скату, на котором оцепление. – Два пластуна сидели. Один направо сидел, другой налево сидел. Я иду – смотрю, они сидят – тоже смотрят. Тогда я на середину пошел между ними, тогда они к скалам

прижались. Чтобы, как скалы быть. Я пришел, ничего не сказал. Я прошел, они ничего не сказали. Баркалла (спасибо). В каждом деле на полчаса надо иметь терпение».

Биограф замечает: «Власть меньше всего предполагала эдакую гениальную упрощенность ухода и, сконфуженная, ударилась в версетворчество» (с. 133).

Рассерженный начальник округа Караулов решил отомстить Зелимхану: во второй половине декабря он сослал в Сибирь из окружающих сел 190 человек, к тем почти тысяче человек, которые уже были сосланы с семьями, все из-за одного Зелимхана. Супруга начальника, княгиня Караулова, тем временем занялась филантропией: она пригласила мусульманских детей мирных чеченцев на рождественскую елку петь «В лесу родилась елочка»... и одарила их восточными сладостями. С Нового года она занялась еще и просвещением Чечни, создав школьный кружок, в котором учила чеченских детей декламировать: «Петушок, петушок, золотой гребешок... почему ты Магомету спать не даешь?» Появление в «Петушке» Магомета уже само по себе считалось несомненным прогрессом в «туземной политике» кавказской администрации.

На военном совете у наместника Кавказа был принят новый план ликвидации Зелимхана: выслать виднейших чеченских шейхов в Сибирь, если они откажутся участвовать вместе со своими мюридами в поимке Зелимхана. Кроме того, начальство решило мобилизовать против Зелимхана и все те тайпы (роды), которые находились в кровной вражде с Зелимханом. Было решено также выдать всем им, мюридам и кровникам, оружие. Это был план отчаяния, глупее и опаснее которого выдумать было невозможно, ибо вооруженные мюриды и кровники Зелимхана искали не Зелимхана, а начали сводить свои счеты с местными старшинами и при-

ставами. Администрация явственно увидела дно пропасти, к которой она сама себя подвела, и была очень довольна, когда ей удалось хотя бы частично вернуть свое оружие.

Отмечу еще одно интересное явление. Русские левые партии старались вовлечь Зелимхана в свои организации. Из Тифлиса к нему приезжали представители большевиков-«эксов», а из Ростова приезжали анархисты-социалисты. Они учили Зелимхана метанию бомб, а ростовские анархисты вручили ему даже красно-черный флаг и именную печать с надписью: «Группа кавказских горных террористов-анархистов. Атаман Зелимхан».

Зелимхану хорошо было известно, что русская печать о нем пишет, как о разбойнике, а бульварная пресса даже сочиняла легенды о том, что Зелимхан – кутила, изгнан из своего рода и избрал для легкой и веселой жизни профессию грабителя, хотя все знали, что Зелимхан – как правоверный мусульманин – не пил, не курил, притонов не посещал, а награбленные деньги, как Робин Гуд, раздавал бедным и семьям, кормильцы которых были сосланы из-за него. Но Зелимхана все-таки очень тяготила эта слава грабителя. Главное – он уже часто задумывался, как бросить абречество, исчезнуть навсегда. Думал даже и об эмиграции в Турцию. Вот в этот период кризиса Зелимхан решил объяснить публично причины и мотивы своего абречества. Он нашел, что лучше всего будет обратиться непосредственно к Государственной думе. Надо было только найти из среды чеченцев такого знатока русского языка, который без искажений изложил бы его прошение. И такой человек нашелся. Это был сын первого чеченского генерала на русской службе Орцу Чермоева, будущий президент Независимой «Республики Северного Кавказа» – Абдул-Межид (Тапа) Чермоев. Вот краткая справка о нем из БСЭ: «Чермоев Абдул-Межид Орцуевич (3/15.3.1882–1936) чеченский буржуазно-националистический деятель

1917–1919, нефтепромышленник. Окончил Николаевское военное училище (1901), служил в кавалерии, в т. ч. в собственном конвое Николая II. В 1908 г. вышел в отставку, во время Первой мировой войны 1914–1918 – офицер кавказской туземной конной дивизии (т. н. «Дикой дивизии»). После февральской революции 1917 г. один из организаторов контрреволюционного «Союза объединенных горцев» и руководитель буржуазного «Терско-Дагестанского правительства». После установления советской власти в Дагестане в эмиграции, где продолжал антисоветскую деятельность» (БСЭ, 1978, Москва, том 29, с. 81).

Зелимхан, как горец, любил выражаться образно, но решительно, а Чермоев, как горский интеллигент, «корректировал» его. В результате появилось названное прошение, которое я считаю «исповедью» Зелимхана, поэтому привожу его (с сокращением):

«Его Высокопревосходительству,

Господину

Председателю Государственной думы Чеченского абрека Зелимхана Гушмазукаева

П р о ш е н и е

Так как в настоящее время в Государственной думе идет запрос о грабежах и разбоях на Кавказе, то депутатам небезынтересно будет познакомиться с причинами, заставившими меня... сделаться абреком.

Все рассказывать не стоит – это займет слишком много вашего драгоценного временем. Я ограничусь, как сказал, указанием обстоятельств, при которых я ушел в абреки...

Чтобы г.г. депутаты имели хоть какое-нибудь представление о драме моей жизни, я должен упомянуть в коротких словах о месте моего рождения и о своей семье. Родом я из чеченского селения Харачой, Веденского округа, Терской области. В то время, о котором идет рассказ (1901 г.), семья наша состояла из старика-отца, меня и двух братьев, из которых один был уже взрослый юноша, а

другой совсем еще ребенок; кроме того, был у нас еще и столетний дед. Жили мы богато.

Все, что бывает у зажиточного горца, мы имели: крупный и мелкий рогатый скот, несколько лошадей, мельницу, имели богатейшую пасеку... добра своего было достаточно, чужого мы не искали. Но случилось несчастье. Произошла у нас ссора с односельчанином из-за невесты моего брата. В драке был убит мой родственник. Теперь надо отомстить кровникам за смерть родственника, выполнить святую для каждого чеченца обязанность.

...Я совершил акт кровомщения втайне, ночью, накануне Рамазана месяца, и без соучастников. Все в ауле вздохнули свободно, – канлы должны были окончиться, и между сторонами состояться полное примирение. Но стали производить дознание. Начальник участка показал, что он застал нашего врага живым и последний будто бы указал на виновников своей смерти – на меня, на моего отца и двух братьев.

Таким образом было найдено юридическое основание для того, чтобы нас обвинить. Суд нас четверых присудил в арестантское отделение. На запрос палаты, каким образом покойный ночью мог узнать, кто в него стрелял, тот же начальник участка ответил, что была светлая лунная ночь и лица были хорошо замечены умершим. Это была с его стороны явная ложь и пристрастное отношение к делу. Во-первых, как всему народу, ему было известно, что мой отец и мои два брата ни в чем не виноваты, а во-вторых, накануне Рамазана месяца луна не светит. Люди говорят, что ему дали взятку наши враги... Один из моих братьев умер в тюрьме, а другой в ссылке. Я бежал из грозненской тюрьмы с единственной целью отомстить виновнику всех несчастий нашей семьи, начальнику участка...

Теперь я вам расскажу, за что я убил полковника Добровольского. В то время Добровольский был старшим помощником начальника Веденского округа... Естественно, на нем лежала обязанность меня преследовать, но как он это делал!

Прежде всего предпринял в Харачое экзекуции, затем всячески давил моих родственников... Мой старый отец, уже вернувшись домой, отбыв свой срок наказания, и брат – самый тихий и добродушный из харачоевцев, – подверглись со стороны Добровольского гонениям, аресту на продолжительное время под тем или иным

предлогом, штрафам и проч., и проч. мелочам, пересказать которые я сейчас не сумею, но которые тем не менее жизнь делают тягостной, а иногда и невыносимой...

Тогда мой брат ушел из дома и стал бродить один по горам, боясь присоединиться ко мне, чтоб не опорочить себя навсегда. А скитаясь один, он надеялся, либо начальник смилостивится, либо на его место назначат другого, более доброго. Но его поймали и посадили в Петровскую тюрьму. Тогда через год он бежал из тюрьмы прямо ко мне. С этого момента он сделался уже настоящим абреком. Отец мой еще раньше брата присоединился ко мне, предпочитая жизнь абрека тюремному заключению, которое должно было длиться, пока меня не убьют или не поймают. За все это Добровольский поплатился своей жизнью.

Далее я вам расскажу, Ваше превосходительство, за что я убил полковника Галаева. Вскоре после смерти Добровольского Веденский округ был объявлен самостоятельным в административном отношении и к нам прислали начальника округа, именно Галаева. Это оказался человек деятельный и энергичный, он сразу выслал из Веденского округа 500 человек... которые вернулись все уже в качестве абреков и наводнили Веденский округ... Меры его, направленные против меня, отца и брата, выражались в том, что приблизил к себе нашего кровника Эльсанова из Харачоя и стал по его указанию сажать в тюрьму и высылать наших родственников и друзей, а иногда лиц, совершенно не имевших к нам никакого отношения. Я ему письменно предлагал оставить всех этих ни в чем не повинных лиц в покое, а меня преследовать всеми способами, какие он может изобрести: полицией, подкупом, отравлением, чем только хочет, но Галаев находил, что борьба с мирными людьми гораздо легче, чем с абреками. Некоторые сосланные им лица находятся в северных губерниях России, быть может, они и умерли. Между ними, например, два моих двоюродных брата и два зятя. Затем, посаженные Галаевым в тюрьму до сих пор сидят еще там.

Хозяйства сосланных и заключенных совершенно разорились, жены и дети их живут подаянием добрых людей, да тем, что я иногда уделяю им из своего добра после удачного набега.

Окончательно убедившись, что Галаев твердо держится своей системы, что он будет ссылать и арестовывать все новые и новые

лица и что разоренные семейства станут молить Бога о моей гибели, я решил с ним покончить. Решение свое я выполнил летом истекшего 1908 г.

Все изложенное в этом прошении, безусловно – правда, ибо я стою вне зависимости от кого бы то ни было, и лгать мне нет никакой нужды. Голова моя, говорят, оценена в 8 000 рублей. Конечно, деньги эти будут собраны с населения. Отец и брат убиты, и теперь я одиноко скитаюсь по горам и лесам, ожидая с часу на час возмездия за свои и чужие грехи. Я знаю, дело мое кончено, вернуться к мирной жизни мне невозможно, пощады и милости тоже я не жду ни от кого. Но для меня было бы большим нравственным удовлетворением, если бы народные представители знали, что я не родился абреком, не родились ими также мой отец и брат и другие товарищи. Большинство из них избирают такую долю вследствие несправедливых отношений властей... Все изложенное покорнейше прошу, Ваше превосходительство, довести до сведения Думы. Если же вы не найдете возможным, чтоб мое прошение было предметом внимания народных представителей, то покорнейше прошу вас отдать его в какой-нибудь орган печати.

Зелимхан Гушмазукаев.
15 января 1909 г. Тверская область» (сс. 147–152).

В конце 1911 г. Зелимхан заболел тяжкой болезнью, и никто не знал, что это за болезнь. Его лечили народной медициной, но не могли вылечить. В аулах врачей не было, а обращаться к врачам в городе было опасно. Неоднократные предложения друзей переехать в Турцию для лечения Зелимхан отвергал, чтобы его не посчитали дезертиром с поля битвы. Чеченцы придают слишком преувеличенное значение народной молве: «Если я уеду, народ меня назовет зайцем, а я хочу умереть, как волк, молча, достойно и с молитвой Аллаху на устах», – сказал он друзьям. Он сознательно начал искать эту достойную в его глазах смерть – смерть в газавате с врагом. Этим, вероятно, и объяснялось, что он принял самоубийственное решение предать себя в руки своих кровников

Бойщиковых, которые обратились к нему с великодушным предложением вызвать русского врача, если он переселится к ним на хутор под Шали. Переезд еще больше ухудшил его состояние. Он не мог ни есть, ни пить, даже не мог вставать для молитвы. Он весь горел, разговаривать стало тяжело, и вместо врача Бойщиковы привели карательный отряд. С девяти часов вечера до рассвета Зелимхан вел бой и беспрерывно пел «Ясын» (отходная молитва мусульман). К рассвету Зелимхан вдруг перестал молиться. Не ранен ли он, спрашивают офицеры друг друга. Но не осмеливаются войти в дом. «Зелимхан притворяется мертвым, продолжать стрельбу», – приказал командир отряда Кибиров и долго, долго стреляли в него, но стреляли в труп. Зелимхан был мертв. Это было 27 сентября 1913 г. Кавказская администрация ликовала. Бойщиков получил офицерский чин и 18 000 рублей награды. Кибирова повысили в чине и назначили полицейским начальником всего Туруханского края, где с ним дружил грузинский абрек Коба-Сталин.

1. Побег из дому

Если бы мой отец умел читать по-русски и заглянул в словарь Брокгауза, то он знал бы: «...чеченцы никогда не бьют своих детей, но не из особенной сентиментальности, а из страха сделать их трусами» (т. 38, с. 786).

Поскольку отец этого и знать не хотел, то он однажды отлупил меня нещадно, да еще в присутствии чужого человека, что увеличивало боль позора вдвойне, – и я решил убежать из дому. Вообще отец был для меня человек чужой. Он развелся с моей матерью, когда я был еще младенцем, переселился в город, а меня воспитали мои незабвенные дед и бабушка. Я хорошо помню своего деда. Помню и прадеда, который умер уже позже деда. Они родились еще тогда, когда на старой географической карте Кавказа Чечня значилась как «Вольное горское общество». По рассказам, прадед был в свое время бесстрашным абреком, участвовал и отличился во многих сражениях против войск генерала Ермолова. Дед, напротив, вырос «мирным» чеченцем и даже получил какое-то русское образование, ибо помню его читающим русские газеты и книги. Книги были о Кавказе и Кавказской войне со многими иллюстрациями и фотографиями русских царей, генералов, имама Шамиля и его наибов. Я любил листать эти книги, рассматривая иллюстрации. Дед много и занимательно рассказывал о чеченских абреках – Бей-Булате, Джамирзе и о последнем абреке Зелимхане, его современнике. Дед часто брал меня с собою на своем шарабане в гости к своим кунакам, где для деда устраивали вечер чеченской песни. Под аккомпанемент народного инструмента «дечиг-пондур» какой-нибудь местный певец распевал унылым, монотонным голосом целую героическую поэму о подвигах храбрых джигитов. У других народов назвать героя «волком» – это ругань,

а у чеченцев это – высшая похвала. Поэтому в чеченских песнях настоящий джигит должен быть храбрый, как волк. Одна народная песня считает «турпало нохчи» («богатыря чеченца») ровесником волка:

«Мы, турпало нохчи,
Родились в ту ночь,
Когда волчица ощенилась,
Нам имя «нохчи» дано в то утро,
Когда ревел лев».

Однажды я спросил деда, кто сильнее, волк или лев? Дед ответил, что, «конечно, лев сильнее, но мы, «нохчи», сравниваем себя не с сильным, а со смелым: лев идет только против тех, кто слабее его, а если его убивают, издает дикий крик. А волк идет и против тех, кто сильнее него, но если он при этом погибает, то погибает достойно и молча. Так и мы, «нохчи», всегда воевали с противником сильнее себя, но умирали молча...»

В нашем ауле было две школы: одна арабская (мектеб), другая русская. Дед меня отдал в обе: в арабской я изучал Коран и арабскую грамматику, а в русской – светские науки и русский язык. Это, конечно, вначале создавало какой-то ералаш в голове, но потом я убедился, что зубрежка Корана и изучение чудесной в своей логической последовательности и в богатстве словообразования арабской грамматики были для меня одновременно и умственной гимнастикой, и сравнительным введением в изучение русской грамматики. Сельская русская школа имела только пять классов. Кончив ее, мне ничего не оставалось, как продолжать учение в медресе (духовной семинарии). Курс обучения в медресе рассчитан лет на десять. Главные предметы, кроме арабского языка и литературы, сосредоточены вокруг философии (логика, диалектика, астрология, космография, метафизика), исламского богословия (толкование Корана) и юриспруденции (учение о теократии, каноническое право – шариат). Но весь этот

курс редко кто проходит в сельском медресе – тут существует ограниченный минимум обучения для подготовки сельских мулл, а наиболее даровитых среди муталимов (семинаристов) посылали для продолжения курса в Дагестан, Татарстан (Казань), даже за границу – в Истамбул и Каир. Чтение любой другой литературы, кроме предусмотренной семинарской программой, не поощрялось, иногда даже преследовалось. Но старшие семинаристы читали в оригинале «Тысячу и одну ночь», «Легенды и описания походов Искандера Зулкорни (Александра Македонского)», запрещенные «жития» наследников пророков, особенно Али и его сыновей Хасана и Хусейна (шиитская ветвь ислама) и пересказывали нам, младшим муталимам.

Разумеется, запретный плод и здесь был слаще всех абстрактных богословских трактатов, поэтому в медресе образовался нелегальный кружок по чтению светской литературы. Наши вероучители забывали, что юность, бурная, как горная река, переливаясь через край, стремилась как раз в глубины запретной зоны. Скоро наш старший мулла по тем вопросам, которые задавали ему семинаристы о некоторых арабских художественных терминах, почуяв неладное, назначил в медресе обыск в поисках крамольной литературы. Результат обыска был для него неожидан – мулла нашел не только арабскую запрещенную литературу, но, о ужас, еще нечто худшее и невообразимое: весь мой семинарский ящик оказался набитым не только арабскими запретными книгами старших муталимов, но и моих русских учебников – книг самих «гяуров». Мулла тут же исключил меня из медресе. Надо заметить, что наше чеченское духовенство особенно отличалось закоренелым консерватизмом, крайним фанатизмом и нетерпимостью; по сравнению с ними муллы на родине самого Магомета показались мне, во время моего позднейшего путешествия по арабским странам, сущими безбожниками.

Избил меня отец все-таки зря – из-за того, что я не уследил за нашими быками, которые за считанные минуты успели перейти на кукурузное поле соседа. Не в меру разъяренный сосед пригнал наших быков и начал жаловаться отцу: сын ваш вместо того чтобы читать гяурские книги (сосед, очевидно, видел, что я сидел под деревом и читал, когда наши быки травили его кукурузу), должен сторожить ваших быков.

В его же присутствии отец отхлестал меня тем кнутом, который едва выдерживали и наши быки. Сосед ушел очень довольный, а я сделал свой вывод – решил убежать из дому.

Русскую аульскую школу я окончил, из медресе меня выставили, и никаких перспектив дальше учиться у меня не было. Отец этому был только рад и ежедневно брал меня с собой на поле. Либо помогать в пахоте, либо пасти быков во время прополки или уборки. Правда, некоторое время я брал уроки у одного хорошего грамотея, но теперь и эта возможность отпала, так как средства мои были исчерпаны. Грамотеем был Наурский казак, бывший белый офицер Александр Щерпутовский, который работал писарем у председателя нашего Надтеречного окрисполкома, бывшего красного партизана Исрапила. О них я должен сказать несколько слов. Никто, кажется, так хорошо не понимал друг друга, как эти бывшие враги, словно по принципу «крайности сходятся». Щерпутовский был интеллигентный и убежденный монархист, который этого вовсе не скрывал. К тому же он совершенно не верил в долголетие «совдепии», как он выражался, а Исрапил был и остался красным партизаном не только по убеждению, но и по методам своего правления. О его храбрости во время гражданской войны против белых ходили легенды, но вот теперь, работая с белогвардейцем Щерпутовским, в мирное время и за мирным столом, он его ужасно боялся по причине весьма веской: Исрапил был не-

грамотным и умел только коряво начертить свое имя на официальной бумаге. Поэтому когда Щерпутовский приносил ему на подпись очередную бумагу, Исрапил вынимал из кобуры свой маузер и клал его на стол перед носом Щерпутовского с комментарием на своем ломаном русском языке: «Щерпутовский! Если ты мне подсунешь на подпись плохую бумагу, – с тобой будет разговаривать вот этот маузер!»

Щерпутовский, который втайне симпатизировал своему шефу за прямоту характера и частенько приглашал его к себе в станицу на винцо, в ответ только шутил: «Зачем тебе плохая бумага, когда ты сам плохой и власть твоя плохая».

Большинство бумаг того времени, исходящих из канцелярии исполкома, были «удостоверениями о благонадежности», которыми, разумеется, запасались как раз неблагонадежные: «Дано сие (имярек) что он в списках порочных элементов не числится и в банде не участвовал», но устно Щерпутовский обычно добавлял: «Кроме красной банды», и это сходило ему с рук, ибо Исрапил отвечал: «Языком можешь болтать, но плохой бумаги не давай!»

Дождавшись, пока отец, половший кукурузу, скрылся из виду, я бросил быков и помчался в аул с твердым решением, захватив нужные мне личные вещи, отправиться в город Грозный. Я, конечно, размышлял и над тем, что меня ждет в чужом городе и в незнакомой среде: ученик на промыслах, мальчишка в лавке, продавец газет, но о самом своем дерзком желании – попасть в школу на казенном содержании (да и есть ли вообще такие школы) – я даже и думать не смел: настолько это казалось мне фантастической мечтой.

Чтоб добраться из Нижнего Наура до Грозного пешеходу нужно два дня. Это значит, где-то около Терского хребта надо переночевать. Поселений там никаких нет. Хребет этот считается все еще диким и славится волками (впрочем, волки водились в то время даже в окружности нашего аула). Но

сказано: «Волков бояться – в лес не ходить». Хотя я и думал о волках, но решение мое было окончательное. Забрав свои вещи и указав мачехе (она была добрейшей женщиной) ложное направление, чтоб отец не мог поймать меня, я ушел ночевать в огород к родственникам, где была высокая кукуруза, с тем, чтобы двинуться в путь на рассвете. Я подстелил себе сено и устроился довольно уютно, чутко прислушиваясь к каждому шороху: неровен час, отец настигнет меня здесь, тогда уже «хана» всем мечтаниям. Но уже далеко за полночь, а сон еще не приходит, в мыслях я уже давно в Грозном, шляюсь по его не известным мне закоулкам в поисках пристанища, как вдруг издалека слышу голос моего двоюродного брата Мумада. Он с кем-то живо спорит, потом спор затихает, а Мумад, посвистывая, приближается к моему убежищу. В этот миг мне пришла спасительная идея: предложить Мумаду двинуться вместе со мной в Грозный искать счастья. Я вышел из огорода и пошел ему навстречу. Он ничуть не удивился, встретив меня в столь неурочный час, вероятно, слышал о случившемся со мной, и только, как бы для приличия, задал вопрос: куда я так поздно собрался. Я честно ответил: «Я собрался, Мумад, в Грозный. Не хочешь ли ты идти со мной?»

Мобилизовав всю свою фантазию и красноречие, я начал рисовать Мумаду сказочный мир Грозного с большими заработками и материальным благополучием, о котором, разумеется, я имел такое же смутное представление, как и он. Зато я хорошо знал самого Мумада. Ему было около 20 лет. Юноша решительный и смелый, Мумад бывал заводилой всех опасных игр и джигитовок, неизменно участвовал во всех видах горской «вольной борьбы». Дружбой с Мумадом гордился каждый из его ровесников.

Я знал, что с ним мне волки не страшны. Это подтвердилось, когда Мумад, приняв мое предложение, сказал, что с

нами будет еще и третий товарищ, и указал на наган, который я впервые увидел у него. Тогда оружие в Чечне носили все, кто себя считал мужчиной, власти еще не осмеливались запрещать его ношение, но стоило оно страшно дорого.

Мы двинулись в путь после первых петухов. Когда поздно вечером мы подошли к подножию Терского хребта, нас настигла неожиданная беда: поднялась буря неимоверной силы, валившая с ног, затем разразилась гроза с адским громом и такая продолжительная, что, казалось, вообще ей не будет конца. А там начался и проливной дождь, который лился, словно из бочек.

Мы все еще шли вперед, теперь уже не зная, куда, то падая в огромные лужи, то спотыкаясь о камни. Только временами блеск молнии на мгновение освещал близкие горы, которые казались страшными и непреодолимыми. Наша одежда превратилась в мокрые тяжелые тряпки. Я долго и упорно сопротивлялся стихии и, чтобы не ударить лицом в грязь, на этот раз уже в обоих смыслах – буквально и иносказательно – и не осрамиться перед Мумадом, я выбивался из сил. Но, видно, я дошел до предела и, крикнув идущему впереди Мумаду, что я его скоро догоню, опустился прямо в лужу, как бы покоряясь судьбе. В моей безнадежной сдаче стихии я даже почувствовал какое-то облегчение и состояние, близкое к сладостному сну. Это, наверное, я начинал терять сознание от усталости и ужаса. Я не знаю, сколько лежал я в таком положении, но хорошо запомнились оглушительная пощечина и пучок искр из глаз – это Мумад приводил меня в сознание. Потом резким движением он поднял меня из лужи, грубо потряс и объяснил: «Мы вот-вот достигнем вершины, а там я знаю тоннель и тогда мы спасены». Дальше начал стыдить меня: «Ты же не девушка, чтобы бояться дождя и бури!» Действительно спасение пришло так же неожиданно, как началась беда: дождь перестал, буря стихла, и небо стало

ясным. Мы уже шли, вероятно, часов шестнадцать с двумя привалами – около часа мы отдохнули и пообедали у моей доброй тети в Кени-юрте (она потом рассказывала мне, что сейчас же после нашего ухода прискакал на коне отец со своим бычачьим кнутом, но она его направила по ложному адресу, сказав, что мы пошли в Шеди-юрте, к другой моей тете). Второй привал мы сделали перед самой бурей. Ну, слава Аллаху! Мы поднялись на вершину хребта, и перед нашими глазами открылась удивительная панорама, которую я видел впервые: словно звездное небо опустилось на долину среди гор – это горели электрические лампы на бесчисленных нефтяных вышках Старых промыслов!

На вершине нашли мы и хорошее убежище для ночевки. Здесь производились каменоломные работы, рыли тоннели, в одном из которых мы и расположились. Притащили сюда сено, дрова. У Мумада были и «шамилевские спички» – кремень с железиной для высекания огня. Скоро мы сидели у большого костра и сушили нашу одежду. Уже было, вероятно, ближе к рассвету, когда мы легли и уснули тем сном, который называют богатырским. Когда мы проснулись, солнце уже приближалось к зениту. Мы хорошо закусили (тетя дала нам на дорогу крутые яйца, овечий сыр, кусок курдюка и вдоволь чурека) и спустились в долину к промыслам. Между Старыми промыслами и Грозным проложен узкоколейный железнодорожный путь, но мы решили идти и дальше пешком, чтобы не тратить наши гроши на билет. Гроши эти были нашим «неприкосновенным фондом», предназначенным только для Грозного. Так, наверное, все и произошло бы, если бы, двигаясь вдоль узкоколейки, по шоссейной дороге, мы не заметили, что многие, особенно молодежь и дети, на ходу вскакивают на буфера товарных вагонов или цистерн и таким образом едут без билетов. Мы решили сделать то же самое. Здесь нас настигла вторая беда: те русские опытные «зайцы»,

не доезжая до очередной остановки, спрыгивали с буферов с тем, чтобы залезть обратно, когда состав начнет двигаться. Так кондуктора и не могут их поймать (на то они и зайцы), а этого мы, аульские зайцы, не знали и поэтому преспокойно продолжали наше путешествие. Довольные нашей беспечностью, кондуктора нас не трогали, но когда мы прибыли в Грозный, сняли нас с буферов и вручили железнодорожной охране. Только потом я узнал, что тогда охота на «зайцев» была очень сильная и наказания не шуточные (взрослым давали сроки, а детей направляли в трудовые колонии для беспризорных). Охранники нас повезли в тюрьму, в которой сидели не только «зайцы», но и заведомые головорезы. Это первое знакомство с городом не предвещало ничего утешительного. Первый страшный удар пришелся по Мумаду – при обыске у него забрали наган, что было для него равносильно лишению половины жизни. Нас начали оформлять на суд. Поскольку Мумад не говорил по-русски, то меня брали на его допрос переводчиком. Допрашивал чиновник с лысой и круглой, как арбуз, головой, с длинными рыжими усами, со сплющенным, как у свиньи носом, на котором торчало золотое пенсне. Чиновник явно не был другом чеченцев.

– Ну, чеченская гололобая орда, – начал он свой первый допрос, – в каких бандах вы до сих пор участвовали?

Когда мы ответили, что в бандах мы не участвовали, люди мы совершенно честные и чистые, чиновник громко и ехидно разразился тем издевательским хохотом, слушая который сам невольно начинаешь думать: может быть, ты и впрямь совершил приписываемое тебе преступление, о том и не догадываясь. Придя в себя и приняв подобающую начальнику позу, чиновник начал кричать, главным образом на Мумада, сопровождая угрозы такой богатой и изощренной руганью, что многие из этих слов я вообще слышал впервые.

Мумад постоянно спрашивает:

– Почему он кричит, что он говорит?

Чиновник в свою очередь тоже требует, чтоб я ему переводил все, слово в слово. Я был достаточно благоразумен, чтобы этого не делать. Вероятно, ни один народ так не чувствителен к личному оскорблению, как чеченцы. В таких случаях они пускают в ход кинжалы. У чеченцев есть даже поговорка: «Рану кинжалом залечит медик, но рану словом залечит лишь кинжал».

Весь допрос свелся к крикам и ругани чиновника. Под конец он предложил перевести «этому бандюге» свои, как ему казалось, наиболее веские вопросы: сколько он ограбил магазинов и сколько он убил людей вот этим наганом? – спросил он, играя за столом наганом Мумада и этим еще более раздражая его.

Мумад ответил, что высокий «хаким» (начальник) ошибается, что он мирный человек, а наган носит только для самозащиты.

Чиновник задал тогда новый вопрос, который он держал напоследок, как наиболее убийственный:

– Спроси его, какой же он чеченец, если он не вор, не бандит и не убийца?

На этот раз я все перевел точно.

Тогда произошло то, чего я опасался с самого начала. Мумад с большой силой природного атлета размахнулся – по лицу чиновника, из сплющенного носа, струей полилась кровь, а золотое пенсне разбилось о каменный пол. Прибежавшие из приемной охранники связали и увели Мумада. Меня вернули в общую камеру. Первый допрос кончился.

Через несколько дней меня вновь вызвали на допрос в тот же кабинет, в котором нас допрашивали в первый раз. В кабинете сидели другой чиновник и мой Мумад в необыкновенно бодром настроении, хотя на лице были видны следы избиения. Без слов, взглянув только на пояс Мумада, я узнал

причину его бодрости – ему вернули наган. Дальнейшее объяснил новый чиновник: на вас получены «удостоверения» из Окрисполкома (я уже заметил размашистую подпись Щерпутовского и закорючку Исрапила), что вы люди честные, а чиновник, который оскорбил чеченский народ, наказан. Вы первый раз в городе, но запомните, что, когда вы едете на поезде, надо покупать билеты. Он пожал нам руки и объявил нас свободными. Одновременно дал нам сопровождающего, чтобы доставить нас в ночлежный «Дом горца». Оказывается, что нас там уже ждали, и слава о «подвиге» Мумада, с преувеличенными подробностями, давно гуляла в чеченских кварталах города. То было время борьбы с великодержавным шовинизмом, и поскольку наш случай был не единичным, то чеченское «автономное» правительство заявило протест перед грозненским начальством против шовинизма его чиновника. Грозненское начальство, вероятно, решило, что лучше замять дело, и поэтому нас выпустило.

В конечном счете все обернулось выигрышем для Мумада – новые друзья нашли Мумаду службу, которой он был очень доволен: его приняли в Чеченский конный эскадрон, а мне разрешили находиться при нем, пока я устроюсь. Я жил в казарме с Мумадом, который честно делил со мной свой паек. Чтобы меня не выставили, я старался быть полезным: чистил и поил лошадей, убирал навоз, накладывал сено, иногда мне разрешали джигитовать. И вот однажды на джигитовке эскадронный командир-ингуш, заметив, что я хорошо джигитую (какой чеченец и ингуш не умел тогда джигитовать!) и умею обращаться с лошадьми, легализовал мое положение в казарме. Я стал чем-то вроде «полкового мальчика». Эскадрон носил две формы: обычную солдатскую и парадную – кавказскую. Меня нарядили в кавказскую форму – мягкие сапожки, брюки, бешмет, черкеска с газырями, кинжальчик, кавказская каракулевая шапка (теперь эта

форма появляется только на театральной сцене, да и оригинальное право на нее мы потеряли – ее считают казачьей формой, а ведь казаки ее приняли от нас). Я был необыкновенно горд, но, кажется, столь же смешон в этой форме: чеченцы мне прохода не давали, чтобы не посмеяться надо мною, ибо мальчишек в кавказскую форму чеченцы совсем не одевают. Но я вовсе не собирался оставаться «полковым мальчиком». Я хотел поступить в школу-интернат. Мне рассказывали, что существуют такие школы, но никто толком не знал, где они и как туда попасть. Я больше месяца жил в Грозном, но не имел никакого представления о его учреждениях. Позже я узнал, что в этом городе были два правительства – русское правительство Грозненского округа на левом берегу Сунжи и чеченское «автономное правительство», называемое «чеченским ЦИК», на правом берегу. Я жил на левом берегу в казармах 82 полка. Кинотеатра тоже было два – на левом берегу, прямо у моста, кино «Солэй», а в чеченской части города кино «Гигант».

И вот, стою я однажды вечером у кино «Солэй» и обозреваю афишу кинокартины. Вдруг слышу команду: «Магомет, направо!» Смотрю – с моста по направлению к кино движется большой отряд детей в коротеньких трусиках, белых полотняных рубашках, ярких красных галстуках. Отряд остановился у кино, и дети шумно беседуют по-чеченски. Они разных возрастов, старшие из них как раз моего возраста. Подхожу к тому, которого предводитель отряда назвал Магометом. Спрашиваю, кто и откуда они? Магомет отвечает, что они из детского дома. На вопрос, как и кого туда принимают, Магомет объясняет, что для этого надо обратиться в чеченский «Наробраз». Это слово мне ничего не говорило, но я его запомнил и, вернувшись в казарму, сообщил Мумаду о своем открытии и попросил его пойти со мною в этот самый «Наробраз». На второй или третий день мы уже были в при-

емной шефа «Наробраза» (отдела народного образования) Ибрагима Чуликова (мог ли я даже подумать, что через несколько лет я сам буду шефом этого облоно?). Тут почти все говорили по-чеченски, и Мумад, любящий разводить горскую дипломатию, был в своей стихии. Его блестящая летняя форма, кавалерийские сапоги со шпорами, «буденовка» с красной звездой, сабля на боку да еще собственный наган в новой кобуре производят впечатление в нашу пользу. Нас сейчас же пускают в кабинет шефа. Едва успел Мумад сказать «салам алейкум», как Чуликов со словами «ва-алейкум салам» встает со стула и, широко улыбаясь, идет навстречу Мумаду, пожимает ему руку и указывает на стул около себя, а мне при старших не положено садиться. Вот тут-то я по-настоящему оценил не только физические, но и дипломатические возможности моего Мумада. Мумад был неграмотный (потом в эскадроне он довольно быстро выучился грамоте), но какой он был тонкий восточный дипломат. Он начал издалека – похвалил высокие качества Чуликова, как справедливого «хакима» и добродетельного человека, о чем, разумеется, ему ничего не было известно. Потом начал хвалить мои способности к наукам, о которых ему тоже мало что было известно. Словоохотливый Мумад, наверное, еще долго говорил бы, если бы Чуликов не догадался, в чем дело:

– У нас единственный интернат – это детский дом, но туда, к сожалению, принимают только круглых сирот со справкой от окрисполкома. Круглый ли сирота этот мальчик?

Мумад уверенно соврал: «круглее» него сирот нет, а что справка о том будет представлена в следующий «базарный день» (день «коммуникации» чеченцев со своей столицей). Мумад просил о принятии меня под его ручательство, не дожидаясь справки.

Чуликов согласился. Диктуя секретарше направление в детский дом о зачислении меня в число его воспитанников,

Чуликов спросил меня, как звали моего покойного отца (чеченцы свои фамилии записывают по имени отца). Не успел я открыть рот, как Мумад соврал второй раз: «Его покойного отца звали Авторхан» (Мумад назвал имя моего умершего деда). Чуликов написал мою фамилию, как это было принято после покорения Кавказа, с русским окончанием: «Авторханов». Огромное счастье, что сбылись мои мечты попасть в городскую школу, немножко было омрачено самоуверенным обещанием Мумада представить в «Наробраз» справку о моем сиротстве в следующий «базарный день». Когда после выхода из кабинета я начал рассуждать вслух, как он может достать такую ложную справку у Щерпутовского, пишущего свои бумаги под маузером Исрапила, то Мумад утешил меня:

– Не беспокойся, Аллах велик и «базарных дней» много. Если же Щерпутовский и Исрапил не дадут тебе справки, то их дети тоже могут стать сиротами, – при этих словах Мумад окинул многозначительным взглядом так шедшие к нему казенную саблю и собственный наган.

Аллах действительно велик. Справки от меня больше никто не потребовал, и дети моего аульского начальства сиротами не стали.

2. Школьные годы

2 июля 1923 г., в возрасте около 14 лет, я перешагнул порог детского дома – это был шаг из мира привычного и родного в мир чужой, в мир розовых надежд и манящей неизвестности, оказавшийся миром лжи, лицемерия и ужасающих катастроф.

Детский дом находился недалеко от реки Сунжа, в благоустроенном особняке с большим садом. Его питомцами были те дети, которых я встретил у кино. Старшая группа, в которую был зачислен и я, готовилась сдать экзамены в школу 2-ой ступени имени Таштемира Эльдарханова, большого чеченского просветителя, в то время председателя «автономного» правительства Чечни (он был членом Государственной думы, подписал «Выборгское воззвание», его имя встречается в сочинениях Ленина). Заведующим детдомом был бывший царский и белый офицер Ахмет Тортиков, который до смерти боялся нашего «шефа» – ГПУ (ведь председатель ОГПУ Ф. Дзержинский был одновременно и председателем Детской комиссии по борьбе с беспризорностью при ВЦИК, словно по правилу: «Любишь отцов убивать – люби их детей кормить»). Тортиков был очень строгий воспитатель, любил порядок, предлагал соблюдать кавказский адат, о религии ничего не говорил, но если кто молился или соблюдал уразу, то это молчаливо поощрялось. Тортиков следил за тем, чтобы мы не только изучали науки, но учились также и хорошим манерам поведения. Его наставление насчет манер запомнилось навсегда: как-то после урока, оживленно беседуя с нашей умной и очаровательной воспитательницей Натальей Михайловной, я грыз семечки; незаметно подошедший Гортиков влепил мне довольно увесистую пощечину да еще назвал самым оскорбительным для правоверного мусульманина словом:

– Ты, паршивая свинья, как смеешь, разговаривая с воспитательницей, грызть семечки!

Были у Гортикова две жены – одна, чеченка, жила в ауле и редко приезжала к мужу; другая – австрийская немка, «трофейная» жена, которую он привез с карпатского фронта. Красивая, худенькая блондинка с голубыми глазами лет около двадцати пяти, она хорошо научилась говорить по-русски и по-чеченски. Я забыл, как ее звали, она тоже была нашей воспитательницей, и нам было сказано называть ее «мамой», как Гортикова мы называли «папой». «Мама», видно, очень любила «папу». Сам Гортиков – мужчина стройный, с покавказски закрученными длинными усами, с военной выправкой и манерами офицера, ревниво следил за тем, чтобы никто не смел обижать «маму». Гортиков никогда ничего не рассказывал нам о своих военных приключениях. Зато тщеславная «мама» тайком показывала нам его георгиевские кресты и другие медали, полученные за храбрость на войне, с комментарием, который не мог исходить от осторожного «папы»: «Они вернутся!» Если бы они, действительно, вернулись, то эти награды могли бы пригодиться. Это мы тоже понимали. Через лет десять, когда некоторые из его бывших воспитанников занимали видные посты в обкоме партии и чеченском правительстве, Гортикова арестовало ГПУ и без суда расстреляло. Мы ничем не могли ему помочь, ибо уже тогда Чечней руководили не чеченцы, а чекисты. Прошло еще только пять лет, как в тот же подвал ГПУ, где погиб бедный Гортиков, были посажены и все его воспитанники, которые сделали какую-нибудь видную карьеру.

Месяца через два наш детский дом переименовали в Детский учебный городок и перевели в Асланбековск, недалеко от Грозного. После интенсивной подготовки я сдал экзамен в старший класс школы 2-ой ступени им. Эльдарханова. Это был интернат с шестью классами. Но скоро, в том же году,

создали и седьмой класс, куда перевели и меня. Класс этот был странным прежде всего по своему возрастному составу: рядом с подростками, как я, на партах сидели усатые женихи. Подростки учились лучше, чем эти взрослые мужчины. И за это нам от них доставалось. Запомнилось: учитель русского языка Халид Яндаров ведет урок грамматики. Идет грамматический разбор частей предложения. У доски его брат, тоже уже усатый, Эльберт. Когда он дошел до части речи «себе», то растерялся и не смог сказать, как называется эта часть речи. Тогда Яндаров обращается к классу – кто ответит? Все молчат. Я робко поднимаю руку.

Яндаров: «Ну, скажи».

Я: «Местоимение».

Яндаров: «Какое местоимение?»

Я: «Возвратное».

Тогда Яндаров хватает за голову Эльберта и бьет ею о доску: «Старый балбес, видишь, мальчик знает, а ты не знаешь».

Кончился урок. Яндаров уходит. Тогда Эльберт ведет меня к доске и еще похлеще бьет моей головой о доску, приговаривая:

– Ты чеченец или осел: если старший не знает, так не смей знать и ты!

Яндаров был самый большой нигилист, какого я когда-либо встречал. Он хорошо знал цену этому грешному миру, еще лучше – его циничным правителям. До революции он кончил учительскую семинарию в родном городе Сталина – Гори, во время первой мировой войны ушел на фронт со старшего курса Харьковского политехнического института, при Советах кончил аспирантуру языкознания и кавказоведения при РАНИОН, под непосредственным руководством академика Н. Я. Марра, с которым находился в личной дружбе. Зная немецкий и французский языки, Яндаров постоянно следил за европейской литературой по своей специальности. Будучи талантливым лингвистом, Яндаров, как

автор, все-таки был ужасным интеллектуальным лентяем. Он не любил писать. Его фундаментальная «Грамматика чеченского языка» при участии А. Мациева и при моем формальном участии (как руководителя бригады от обкома партии) была составлена по прямому решению обкома. Написал он еще одну работу, которую Н. Я. Марр назвал самым оригинальным открытием в морфологии чеченского языка. Называлась она: «Инфикс «р» в чеченском языке». Объем ее тоже был оригинален – она была издана брошюрой всего в семь страниц! Когда его спрашивали, почему его труд имеет такой маленький объем, то он, делая серьезное лицо, отвечал: «Если вам нравится большой объем, так читайте «Капитал» Карла Маркса, – а потом, шутя, добавлял: – Впрочем, у меня есть и предшественник – «Теория относительности» Эйнштейна тоже написана на семи страницах». Высокий и худой, как аскет, Яндаров в жизни совсем не был аскетом. Кавказцы известны своим радушным гостеприимством, а у Халида гостеприимство было его главной страстью. Насколько он любил приглашать и щедро угощать гостей, настолько же скрягой была его жена, которую он почему-то называл «Хаджи» (титул паломника в Мекку). Вообще, адат запрещает супружеской паре называть друг друга по их именам, поэтому придумывают себе клички или говорят просто: «да» – «отец», «нана» – «мать».

В семье часто бывали столкновения. Собственно, «сталкивалась» только одна Хаджи, а Халид оставался самим собою – невозмутимым стоиком и миролюбивым дипломатом, разве только иногда сделает маленькое замечание, если уж хозяйка при гостях слишком разошлась:

– Хаджи, что ты там на кухне ворчишь, признаюсь – я виноват, что не предупредил тебя.

А потом, обращаясь к очередным гостям, начинал уверять их совершенно серьезно:

– Знаете, почему «нана» расстроена – такие кавказские блюда нигде не отведаете между нашими двумя морями, какие умеет готовить она, но она всегда злится, когда я ее заранее не предупреждаю, что нас посетят важные гости.

Разрядка наступала сразу: Хаджи, хотя она ни капли не верила мужу, что он и всерьез такого высокого мнения о ее кулинарных талантах, все же бывала довольна, что муж ее выводит из неловкого положения, а гости должны были верить и талантам хозяйки, и словам хозяина об их собственной важности.

Как только гости уходили, Хаджи начинала жаловаться на мужа:

– Ужасный ветреник, прямо копия его покойной матери. Та тоже была такая же. Стоило какому-нибудь бездельнику остановиться у нашего забора и расспросить ее о здоровье, как она тут же растает и станет приглашать его в дом: «Ради Аллаха, заходите, вот-вот готовы хинкали и калмыцкий чай», а на самом деле мы еще печи не истопили! Ох эти Яндаровы, мое несчастье...

Однажды, уже в период, когда Сталин начал «дополнять» марксизм, я поинтересовался у Халида, читал ли он что-нибудь из классиков марксизма?

– А как же, конечно, читал.

– Что именно?

– Маркса читал в оригинале: «Подвергай все сомнению», а Ленина, правда, только по-французски: «Мефианс абсолю!» – «абсолютное недоверие» любому правительству, даже «временному» (первая телеграмма Ленина большевикам в России после Февральской революции была написана по-французски и начиналась с этих слов).

Это было, кажется, в сентябре 1923 г. На ученическом собрании нам сообщили, что через пару дней нашу школу посетят члены правительства и по этому поводу мы устраиваем

большую вечеринку с музыкой, кавказскими танцами, декламацией стихотворений. В связи с этим почти вся школа переключилась на усиленные репетиции номеров будущего вечера художественной самодеятельности. Ученики гадали, кто же к нам приезжает. Подходили к групповой фотографии, которая у нас висела в большом зале: «Совет народных комиссаров СССР». В центре – Ульянов (Ленин), как председатель, по бокам – его заместители Рыков и Каменев, под Лениным – Троцкий и Чичерин, а дальше идут менее известные или совсем неизвестные члены правительства и среди них, сбоку, обидно далеко от Ленина – наш единственный кавказец в правительстве, в полувоенной куртке, в кепке со звездой, из-под козырька которой торчит, как у цыгана, пучок волос, а глаза хитрющие, как у базарного кинто: Джугашвили (Сталин). Мы ожидаем визита кого-нибудь из них и усердно готовимся, чтобы показать себя с лучшей стороны. Наш чеченский композитор-самородок Георгий Мепурнов составил попурри из разных чеченских мелодий. (Позже, в 1936 г., он окончил Московскую консерваторию, но так как в каком-то английском музыкальном журнале появилась о нем статья как о даровитом кавказском композиторе, то его в 1937 г. расстреляли, объявив «английским шпионом».) Наш «танцмейстер» из учителей подбирает танцоров – соло, дуэт – в них недостатка нет. Коронные номера – «танец Шамиля» и «Наурская лезгинка». У кого хороший русский язык, удостаиваются чести декламировать кавказские стихи Пушкина и Лермонтова. Я попал в группу танцоров. Мой напарник Сайди, дуб в науках, но тигр в лезгинке (потом он был заместителем начальника тюрьмы, в которой я сидел). Судя по интенсивности наших репетиций и нервозности нашего начальства, можно было подумать, что к нам приезжают сам Ленин с Троцким. Начальство, вероятно, само тоже не знало, кто именно приезжает, но было уверено, что этот визит может повлиять на судьбу школы, и поэтому предупреждало: если

покажем себя «молодцами», то высокие гости, может быть, отпустят нам деньги на строительство нового здания для школы (школа ютилась в частном конфискованном доме).

Приехали гости в самое неожиданное время. Мы только сели пообедать, как кто-то вбежал в столовую и крикнул: «Прибыли!» Стихийный взрыв любопытства, которое у нас росло день ото дня в связи с беспрерывными репетициями и строгими нотациями начальства, моментально выбросил нас на улицу, и то, что мы увидели, было достойно не только нашего любопытства, но и восхищения: из большого открытого черного автомобиля вышел человек в военной форме, о котором рассказывали фантастические легенды, как о непобедимом богатыре гражданской войны – Буденный! Никем не подготовленные к этому, мы спонтанно начали аплодировать и неистово кричать: «Ура, ура, ура Буденному!» С ним были еще три человека – один тоже в военной форме, другой в гражданской и наш чеченский «падишах» (так чеченцы его называли) с официальным титулом «председателя чеченского ЦИК» – Таштемир Эльдарханов. Нас, конечно, занимал только один Буденный. Буденный, подтянутый, в летней форме, при всех своих «доспехах и регалиях», правда, весьма скромных (щедрая на героизм, революция была скупа на награждения, по четыре – единственного тогда – ордена Красного знамени имели во всей Красной армии только четыре человека, позже убитых чекистами... это была не нынешняя брежневская вакханалия самозванного присвоения бесчисленных орденов и званий), выглядел тем молодцом, каким мы его себе представляли. Но было и небольшое разочарование: такой волевой герой, а ростом оскорбительно мал.

– Видишь, Семен Михайлович, – сказал его товарищ в гражданской одежде, – джигиты признают только джигита!

– А как же, – отозвался Буденный и, явно довольный нашим вниманием, начал гладить свои знаменитые длинные усы.

Обед, конечно, был забыт. Все двинулись в зал. Таштемир Эльдарханов представил нам гостей, к нашему удивлению, не с важнейшего, по нашему мнению, – Буденного, – а по «табели о рангах»: «У нас в гостях большие кунаки чеченского народа, – сказал он, – секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) Анастас Иванович Микоян, командующий Северокавказским военным округом Климентий Ефремович Ворошилов и помощник Ворошилова Семен Михайлович Буденный...»

Убил нас чеченский «падишах»... Никто не знал и никого не интересовало, кто такие Микоян и Ворошилов, а вот наш идол и кумир, оказывается, всего-навсего только помощник какого-то Ворошилова! Вероятно, наш старик не читает газет и журналов и все перепутал, а мы много раз видели в журналах фотографию Буденного вместе с самим Лениным. А кто побил Деникина, кто побил Врангеля, кто побил всех белых генералов? Один Буденный! Мы решили, что старикам, вероятно, свойственна забывчивость, поэтому простили «падишаху» его историческое «невежество». О Ворошилове я тоже ничего не слышал, но лицо Микояна показалось мне очень знакомым. Смуглолицый и кареглазый, с черной бородой, отпущенной для солидности, с живым пронзительным взглядом и повадками торгаша, он удивительно походил на того армянина-торговца на грозненском базаре, который отпускал мне в кредит рахат-лукум, халву, хурму, инжир. Я познакомился с ним случайно. Однажды, прохаживаясь по базару в надежде встретить Мумада с деньгами, я прочел у его лавки надпись на дощечке: «Сегодня за деньги – завтра в кредит». Я, аульский мальчик, принял надпись, как говорится, за чистую монету. Пришел на следующий день – та же самая надпись. Думая, что хозяин забыл ее убрать, пришел в третий день – надпись не исчезла. Но на этот раз хозяин, который, вероятно, следил за моими визитами, пригласил меня в лавку и, изучающе посмотрев в глаза, спросил:

– Деньги есть?

– Нет, – честно признался я.

– Будут?

Я пустился в рассказ о моем доблестном Мумаде, который вот-вот ожидает своей очередной получки.

– Тогда «сегодня в кредит, а завтра за деньги», – сказал хозяин и отвесил мне фунт халвы.

Когда сегодня человек с черной бородой и лукавой улыбкой вылез из машины, я буквально опешил: мой базарный армянин пришел потребовать с меня долг. Первое впечатление оказалось обманчивым лишь отчасти: Микоян потом стал первым «красным купцом» СССР.

После того как Эльдарханов кончил представлять гостей, Микоян прочел нам лекцию о советской власти и ее национальной политике. Не помню содержания, но все, что он говорил, было скучно и для нас слишком «умно». Запомнилась реакция Яндарова: на вопрос кого-то из коллег о впечатлении от доклада Микояна он ответил:

– Чистейшей воды Лорис-Меликов, чье-то кресло в Кремле скучает по нему!

Пророчество Яндарова сбылось очень скоро: через три года, в возрасте 30 лет, Микоян стал наркомторгом СССР вместо Каменева.

После речи Микояна началась наша художественная часть, за которой гости следили с возрастающим интересом. Сначала декламаторы читали кавказские стихи Пушкина и Лермонтова, которые, как я сейчас думаю, Буденный и Ворошилов, вероятно, слышали впервые. Мепурнову его музыкальная программа удалась на славу, поскольку она сопровождалась и хором, исполнявшим такие вещи кавказской лжеэкзотики, которые тогда очень нравились русским, как «Алаверды» и «Хазбулат удалой». Великолепно был исполнен и «танец Шамиля», в котором вначале величавая

пластичность нарастающего движения как бы подготовляет зрителя и слушателя к внезапному порыву темпераментного кавказского танца. Никто не исполнял его с таким страстным вдохновением, как очеченившийся грузин Жора Мепурнов.

Началась последняя танцевальная часть – уже на соревнование: соло и дуэт. Мы с Сайда вместе станцевали «Наурскую лезгинку». Не боясь упреков в нескромности, скажу, что мы превзошли даже самых опасных наших конкурентов. Наш строгий судья, сам «танцмейстер», сказал потом: «Вы неслись по залу с легкостью пуха и быстротой лани, едва касаясь пола». И действительно, мы волчком вертелись в бешеном темпе, все более вдохновляясь столь же бешеными, но ритмичными ударами в ладоши всего зала и гостей и электризуемые их мерными выкриками: «Леса, асса, асса!..» Наш успех был бы полным, если бы в наш танец не ворвался совершенно неожиданный конкурент, который произвел всеобщий фурор, – Микоян! По легкости и ловкости он не уступал нам, мальчишкам, по грациозности танца несомненно превосходил нас. Недаром Микоян впоследствии, во время визита в Америку, признался, что в юности он мечтал стать танцором.

Нас ожидал еще один сюрприз. Спровоцированный триумфом Микояна и задетый всеобщим возбуждением на вечере, Буденный пустился плясать гопака. Это был воистину героический гопак в его первозданном виде: стремительные и ловкие присядки удивительно гармонировали с буйно нарастающим темпом вращения. В наших чеченских легендах герой не герой, если он одновременно еще и не лихой танцор. Нашим восторгам не было конца, когда Буденный подтвердил нашу правоту.

Все попытки Микояна заставить Ворошилова показать нам русскую пляску успеха не имели. Он начал божиться, что не умеет танцевать. Что он говорил правду, мы убедились через десять с лишним лет, когда он, возглавляя делегацию

Красной армии на юбилейных торжествах Турецкой армии, участвовал вместе с Буденным на балу в Анкаре. Все главы многочисленных иностранных военных делегаций непринужденно танцевали со своими дамами, а вот когда супруга главы правительства сделала Ворошилову почетное предложение танцевать с ней, то Ворошилов осрамил советский офицерский корпус: он и там начал божиться, что не умеет танцевать. Тут тоже выручил Буденный. Буденный, конечно, тоже не знал западных танцев, но рассказывали, что он туркам закатил такой гопак, что восхищенные Ататюрк и его гости начали требовать Буденного на бис!

Инцидент с Ворошиловым остался бы незамеченным, если бы о нем не раструбили на весь мир иностранные журналисты. Скоро последовало личное указание Сталина – обучить Ворошилова, а потом и весь командный состав Красной армии и даже актив партии и правительства западным танцам, в том числе официально запрещенным в стране модерным танцам. Все это так хорошо запомнилось, потому что нас, в красной профессуре, тоже начали срочно обучать западным танцам, а на «практику» модерных танцев мы с удовольствием ходили в роскошный ресторан для иностранцев и советской элиты – «Метрополь», единственное место в Москве, в котором в 30-х годах можно было слушать джазовую музыку, под руководством, кажется, Утесова, и любоваться танго и фокстротом.

Вернемся к нашему вечеру. Судя по тому, как гости были довольны, наша художественная самодеятельность вполне удалась. В заключение Микоян сообщил, что благодарные гости решили сделать школе подарок – купить нам новый рояль. О другом подарке он ничего не сказал, но его притащили нам на следующий же день: два ящика различных восточных сладостей! Жаль, школьного здания мы не «вытанцевали».

На другой день наш старший класс повели на открытие 1-го съезда Советов Чечни. Тогда мы узнали, почему Микоян, Ворошилов и Буденный находились в Чечне. Они вместе с чеченским правительством сидели в Президиуме съезда. Микоян впоследствии писал в своих воспоминаниях как о своем участии на этом съезде, так и о посещении накануне этого съезда самого большого чеченского аула – Урус-Мартана. Там была намечена встреча Микояна, Ворошилова и Буденного с весьма влиятельным национально-политическим лидером Чечни – с Али Митаевым-Автуринским.

Торжества в Урус-Мартане проходили под девизом «братание с чеченским народом» в связи с объявлением чеченской автономии. На самом деле торжества оказались хорошо замаскированной ловушкой против Митаева. В журнале «Юность» Микоян рассказывал, как они боялись этой встречи. Ехать в Урус-Мартан с вооруженным отрядом чекистов считалось нетактичным, хотя точно знали, что сам Али Митаев туда приедет с вооруженными всадниками. Ехать же без вооруженной охраны было рискованно, так как Али, в случае несогласия со статутом объявляемой «автономии» Чечни, может взять их в плен и предъявить Москве какие-нибудь требования. Всегда находчивый Микоян и на этот раз блестяще вышел из положения: делегация забрала с собой целую роту... оркестра. Под музыкантов был замаскирован хорошо вооруженный отряд красной конницы Буденного.

Али Митаев был исключительно популярным деятелем национального движения в Чечне. Он заключил блок с большевиками против Деникина на условиях признания советским правительством шариата как основы будущей чеченской автономии. Это было в 1919 г., когда большевики на Северном Кавказе были загнаны в подполье (Чрезвычайный комиссар на Кавказе от Ленина – Серго Орджоникидзе – скрывался в горах Ингушетии и Чечни), а генерал Деникин от Орла двигался на Тулу и Москву.

Когда Красная армия в марте 1920 г. пришла на Северный Кавказ, Советы действительно признали шариат. На учредительных съездах в 1921 г. Дагестанской советской республики и Горской советской республики Сталин признал не только «сосуществование» между советами и шариатом, но и право горцев жить по шариату. Поэтому советское правительство объявило ряд привилегий для ислама и его духовных учреждений, ввело арабский алфавит и даже народные суды были объявлены шариатскими.

Через года два-три все это было ликвидировано. Сторонники Али Митаева считали, что их обманули. Отсюда большое, но мирное движение чеченцев во главе с Митаевым за восстановление прежнего положения. Москва учуяла здесь опасность взрыва, тем более, что в соседней Грузии тоже росло движение за восстановление независимости. Поэтому было решено ликвидировать Али Митаева, но так, чтобы не было никакого шума, и без массовых арестов среди его сторонников. Эта миссия и была возложена на Микояна, Ворошилова и Буденного.

Заманить Митаева в Грозный оказалось невозможным, но в ауле он был фактическим хозяином. Вот под предлогом проведения торжеств по поводу создания чеченской автономии в Урус-Мартан и приглашаются все видные представители Чечни. Приезжает сюда со своим вооруженным конным отрядом и Али Митаев. На личном свидании с делегацией Микояна Али повторяет свое требование: основой «автономии» должен быть шариат. Микоян и его спутники заявляют, что они согласны с требованием Али Митаева, но для окончательного решения вопроса они должны поговорить с Москвой по прямому проводу из Грозного. Микоян и его спутники предложили и самому Митаеву участвовать в этих переговорах. Митаев согласился при условии, что его будет сопровождать собственная конная охрана. Микоян условие

принял. Все вместе они прибыли на станцию в Грозный. Поднялись в салон-вагон правительственного поезда, чтобы начать переговоры по прямому проводу с Москвой. Но поезд тотчас же двинулся на Ростов. Конной охране сообщили вежливо и торжественно, что Митаев поехал в Москву, чтобы встретиться с самим Лениным. На самом же деле через несколько часов Али очутился в одиночной камере Ростовского краевого ГПУ с обвинением: «Митаев готовил вместе с грузинскими националистами совместное чечено-грузинское вооруженное восстание».

Я живо помню сцену на 1-м съезде советов Чечни, где вопрос о судьбе Митаева стал главной темой. Об этом съезде рассказывает и Микоян, но только по-своему. Съезд происходил в большом зале бывшего реального училища. Зал был набит людьми до отказа. Многие стояли в проходах у стен. В Президиуме находились Эльдарханов, его заместители Заурбек Шерипов и Махмуд Хамзатов, Микоян, Ворошилов, Буденный и другие. Первый ряд занимали почетные старики, среди которых много седобородых хаджей, шейхов и мулл из «советских шариатистов». Едва Эльдарханов объявил об открытии съезда, – на сцену выходит в траурном платье высокая худая старая чеченка, вдруг скидывает с головы длинный черный платок и с обнаженной седой головой бросается к ногам Микояна со словами:

«Мой любимый сын, красный вождь Чечни, Асланбек Шерипов отдал жизнь в боях за Советскую власть, его присяжного брата Али Митаева без вины арестовала советская власть. Я не встану и не уйду отсюда, пока вы не дадите слова, что его освободят!»

Эльдарханов тут же переводит Микояну ее просьбу. Весь зал встает и бурно аплодирует, возгласы и крики в поддержку просьбы нарастают с такой силой, что в зале воцаряется на

время необузданный и дикий шум. Микоян старается поднять просительницу, что ему явно не удается, а крики и шум еще больше усиливаются. Микоян догадывается, почему кричат делегаты, но их слов не понимает. Не понимает он и того, что, по чеченским законам, просительница должна стоять на коленях, пока ее просьба не будет принята к рассмотрению, а зал будет шуметь, пока Микоян не попросит слова. На помощь пришел тот же Эльдарханов. Он что-то сказал Микояну и потом предоставил ему слово. В зале водворяется напряженная тишина. Кратко перекинувшись словами со своими спутниками, Микоян выходит на трибуну и говорит: «Али Митаев скоро будет освобожден!»

Шквалом восторгов и ликования приветствует зал великодушие советской власти. Кругом кричат: «Инш-Аллах, инш-Аллах!» («Волей Аллаха, волей Аллаха!»).

Микоян вернулся в Ростов. Шли недели, месяцы, а Али Митаева нет и нет. Делегация за делегацией посещают Ростов с просьбой выполнить требование 1-го съезда Советов Чечни, но безрезультатно. Микояну все это тоже начинает, видимо, надоедать. Он обращается к Сталину, как быть? Чеченскому правительству скоро стал известен совет, который дал изобретательный Сталин Микояну: «Если ты хочешь, чтобы чеченцы тебя оставили в покое, то отдай им труп Митаева!» Сталин хорошо знал и это имя, и роль Митаева в Чечне. Микоян так и поступил. Ростовские чекисты, чтобы на теле не оставить следов пулевых ран, задушили Митаева и чеченцам вернули его труп, высказав сожаление, что накануне освобождения Митаев «внезапно скончался от разрыва сердца...»

Обществоведение нам преподавал «товарищ Цырулин» (так он представился нам). Товарищ Цырулин занимал крупный пост в Грозненском окружкоме партии, у нас появлялся

два-три раза в неделю, а свое школьное жалованье отдавал МОПРу. Об образовании Цырулина ничего не было известно. Может быть, он не имел даже и среднего образования, но в политике он был – как у себя дома. С Лениным познакомился до войны в Париже, где входил в «Ленинскую группу» РСДРП. В войну он был во флоте – сначала на Черном, потом на Балтийском морях – матросом первой статьи; служил на легендарном крейсере «Аврора». Вероятно, «Аврора» была первым военным кораблем на Балтике, на котором матросы захватили власть еще в первые дни Февральской революции.

Вскоре Цырулин стал связным между Военно-революционным комитетом Петроградского Совета и «Авророй». Получал личные инструкции от Троцкого, Лазомира, Бубнова, Невского. Он рассказывал, что знаменитый «холостой выстрел» из пушек «Авроры» по Зимнему дворцу в ночь на 25 октября, как сигнал к восстанию, вовсе не был «холостым», а был боевым, «ибо снаряды в орудия закладывал я сам, – говорил он без бахвальства, как бы между прочим. – Но стреляли и по нам», – и в подтверждение показывал свою правую руку с ампутированными после ранения двумя пальцами.

Рассказы Цырулина о хронике двух русских революций в 1917 г. были любопытны, красочны и интригующи, как героический эпос. Замечательный мастер революционного фольклора, с языком грубым, «матросским», зато сочным и выразительным, он и вождей революции – Ленина и Троцкого – сводил с небес на землю и показывал нам их обыкновенными людьми с обыкновенными человеческими слабостями, которых у них не было лишь в одной области – в области революционного творчества. Революция была не просто их профессия – она была их стихия. А нам просто не верилось: вот этот самый наш учитель товарищ Цырулин мог видеть, пожимать руки и разговаривать с самими Лениным и Троц-

ким! Мы уже много знали от Цырулина о жизни «гимназиста Володи», «революционера Ульянова» и «вождя мирового пролетариата» Ленина», когда в январскую стужу 1924 г. долетела и до кавказских гор весть о событии, которое, казалось, изменит ход мировой истории, – о смерти Ленина.

Грозный был вторым после Баку пролетарским центром на Кавказе, где большевики безраздельно господствовали в местных советах. Грозный был первым революционным центром в стране, который за «стодневные бои» против белых получил орден Красного знамени. В траурные дни смерти Ленина в Грозном, вопреки Маяковскому, я видел «плачущих большевиков». Чеченцы, которые, поддержав Ленина в революции, завоевали право на возвращение из горных трущоб на свои былые земли на плоскости, не плакали (адат предписывает переносить самые тяжкие переживания с сохранением внешнего хладнокровия), но были печальны и задумчивы. Многие открыто говорили: «Теперь нас опять загонят назад в эти каменные мешки...»

Никому в голову не приходило, что их могут загнать гораздо дальше – в тундры Сибири и пески Туркестана. Горцы Кавказа отправили в Москву на похороны Ленина большую делегацию во главе со старым революционером карачаевцем Курджиевым. В полной кавказской форме, как бы олицетворяя собой Кавказ, Курджиев, высокий, крупный мужчина с большими усами, вместе с Крупской стоял в почетном карауле у гроба Ленина – эта фотография считалась чем-то вроде экзотической находки советского фотоискусства и поэтому перекочевывала из одного ленинского альбома в другой, пока ее не изъяли вместе с Курджиевым во время «Великой чистки».

В день похорон Ленина во всех городах страны были траурные митинги. Многотысячный митинг в Грозном происходил за городом. На полигоне 82-го полка. У всех на рукавах черные нашивки. Выставлен и весь полк – в том числе и

чеченский конный эскадрон в национально-военной форме. Издалека вижу моего Мумада – он восседает, как правофланговый, на отлично ухоженном вороном коне. Перед импровизированной трибуной на столе стоит портрет Ленина с черной каймой, с почетным военным караулом по обеим сторонам, полковой оркестр беспрерывно играет траурную музыку, исполняя также сочиненный в эти дни в Москве похоронный марш с хоровым пением: «Ты умер, Ильич, но живет РКП – стальная колонна рабочих...» Потом открылся митинг. Выступали ораторы из простого народа, некоторые плача, другие с трудом сдерживая слезы. Под конец командир полка, человек маленького роста, но с невероятно зычным голосом (потом я узнал, что он бывший царский офицер и его фамилия Сахаров), дал команду отсалютовать Ленину выстрелами в те же самые минуты, что и на Красной площади в Москве.

Митинг кончился, но траур еще долго продолжался. В отличие от ханжеского словоблудия и крокодиловых слез рифмоплетов во время смерти Сталина, на похоронах Ленина даже поэты были искренни. Александр Безыменский в «Партбилете» писал: «...один лишь маленький, один билет упал, а в теле партии зияющий провал», а поэтесса Вера Инбер добавляла, что в дни похорон Ленина «...стужа над Москвой такая лютая была, как будто он унес с собой частицу нашего тепла». Некоторые поэты даже справляли «партийные поминки», переходящие в пьянки, но для очистки совести тут же сочиняли: «В этом вине и водке мысль утопить не хочу, но немало партийных пьют и верны Ильичу» (везде цитирую по памяти).

Несомненно, было в стране много и таких людей, которые со смертью Ленина связывали надежду на гибель его режима. Но многие в это не верили, как не верила та знаменитая старушка из Рязани, которая, читая бесчисленные плакаты с

надписью «Ленин умер, но дело его живет», сказала с искренним сокрушением: «Лучше бы Ленин жил, а дело его умерло».

В отношении школьных дисциплин я сначала страстно увлекался математикой. Может, это объясняется тем, что наш учитель математики симпатичный грек Колпахчиев сам был влюблен в свой предмет. Весь его духовный мир состоял из аксиом, теорем, формул, цифр. Ученики, шутя, говорили о нем: если Колпахчиев обожжет себе палец, то выскочит не волдырь, а цифра. Мое увлечение математикой носило чисто спортивный характер, как при разгадывании кроссворда. Решение трудной задачи доставляло мне большое удовольствие. Я твердо знал: интереснее и важнее математики науки нет и вся моя жизнь будет посвящена ей. Но внезапно возникшая ситуация и мое легкомысленное решение воспользоваться ею опрокинули все мои планы.

Мы кончили только седьмой класс, когда прибыл представитель Чеченского оргбюро РКП(б) для вербовки учеников во вновь открывающуюся областную партийную школу. Условия приема легкие, а материальное положение исключительное: кроме полного казенного содержания – общежитие, питание, обмундирование – учащиеся получают еще большую стипендию. После партийной школы – прямая путевка в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ) им. Сталина в Москве, на еще лучших условиях. Представитель оргбюро красочно изложил нам эти условия и перспективы. Мы, конечно, долго думать не стали. Ведь все школы в стране партийные, все университеты тоже коммунистические, но вот эти новые школы – это что-то особенное, вроде царских лицеев, где учились лишь дети дворян. Нас как бы зачисляли в сословие новых «партийных дворян». Мы записались всем классом, но приняли не всех: такие, как

Мустафа Домбаев или брат Али Митаева – Абубакир, – не были приняты из-за «социально-чуждого происхождения».

Программа школы оказалась перегруженной такими дисциплинами, о существовании которых мы до сих пор не имели ни малейшего представления: «партстрой», «Госстрой», «хозстрой», «политэкономия». Классические дисциплины были на вторых ролях. Сразу выяснился и профиль школы: из нас хотят готовить людей, способных управлять местной властью. Поэтому мы изучаем механизм власти от мотора, «приводных ремней» и до малейших винтиков. Прощай, математика! Теперь я решительно не знал, что из меня выйдет, но я твердо знал другое – я всем обеспечен, перспектива учиться дальше неограниченна.

Вполне возможно, что я исправил бы свою ошибку в выборе школы, если бы не общая политическая волна, которая захлестнула страну и партию: эпидемия внутрипартийных дискуссий между ЦК и разными оппозициями с их бесконечными «тезисами», «контртезисами», «платформами», «заявлениями».

Я с большим любопытством погрузился в литературу лидеров партии и оппозиции: о чем же наши вожди спорят? Все это было ново, интригующе и даже поучительно. Лев Троцкий всех пленял красноречием, Сталин – простотой аргументации, Бухарин отталкивал вычурной манерой теоретизирования. У всех троих можно было поучиться приемам полемики, но подспудные мотивы, двигающие полемикой, оставались неясными.

Хотя я вступил в партию, добавив себе пару лет, еще во время дискуссии с Троцким, мое политическое понимание происходящих событий было крайне ограниченным, даже наивным – мне все время казалось, что лидеры партии и оппозиции просто упражняются в красноречии или не ладят между собою из-за неправильного толкования отдельных ци-

тат Ленина. Три вопроса, известные даже из советской литературы, стояли в центре дискуссии: социализм в одной стране, судьба нэпа и перспективы мировой революции. Но удивительнее всего, что стороны вели дискуссию по этим вопросам не от своего имени, а от имени Ленина. Один Ленин противопоставлялся другому Ленину. Сталин, Рыков и Бухарин приводили сто самых убедительных цитат из Ленина в пользу своей позиции, а Троцкий, Каменев и Зиновьев приводили двести еще более убедительных цитат из того же Ленина, опровергающих сталинско-рыковско-бухаринского Ленина. В конце концов в цитатах победил троцкистско-зиновьевский Ленин. Вот тогда мы с великим удивлением прочли свидетельство Зиновьева, что Сталин ему сказал: «Не надо много цитировать Ленина – у Ленина можно найти любую цитату – как у лавочника дяди Якова товара всякого».

На низах борьба принимала, как и подобает провинции, более дикие формы. Запомнились некоторые моменты собрания Грозненского партийного актива. Заранее было известно, что выступят два докладчика: один от ЦК, другой от оппозиции. Краснознаменный Грозный считался важнейшим пролетарским центром на Северном Кавказе, и поэтому партаппарат придавал большое значение исходу этого собрания. Грозненский окружком проводил большую кампанию под лозунгом: «Молодежь отвечает Троцкому». Троцкий назвал молодежь «барометром партии» и требовал, чтобы консервативные аппаратчики прислушивались к голосу революционной молодежи. Это, конечно, льстило молодежи, и учащаяся молодежь везде выступала за оппозицию (в московских вузах более 80% членов партии голосовали за «тезисы» «Объединенного оппозиционного блока»). Вероятно, этого не хотели допустить в Грозном, поэтому было создано нечто вроде семинара, на котором особо подобранные молодые коммунисты и комсомольцы готовились к выступлению против оппозиции на предстоящем собрании.

Наша школа выдвинула меня в эту группу. Я долго сопротивлялся, а когда узнал, что мне надо будет ответить Троцкому от имени «чеченской революционной молодежи», то просто обалдел. В дни созревания моей политической симпатии или антипатии у меня, вообще говоря, были среди партийных вождей только два кумира: Троцкий как публицист и Коба-Сталин как кавказский абрек.

В то время уже вышли, по решению IX съезда, в государственном издательстве собрания сочинений Ленина, Троцкого, Зиновьева. Ленин, несомненно, писал дельные вещи, но был сух и скучен, Зиновьев был развязен, самоуверен и демагогичен, а вот Троцкий, что ни статья, то высокостильная политическая поэзия с неожиданными метафорами, с запоминающимися эпитетами, звонкими лозунгами. И действительно, мы не только зачитывались произведениями Троцкого, но и заучивали наизусть многие его выражения (вот некоторые выражения, которые еще с тех пор остались в памяти – может быть, не буквально, но по смыслу: «Если солнце будет светить только для буржуазии, мы потушим такое солнце», «Молодость, молчащая в революционное время, – это не молодость, а дряхлость ʹ, «Революционная Европа в союзе с кабальным Востоком вырвет контрольный пакет мирового хозяйства из рук американского капитала и заложит основу социалистической федерации народов всего мира». Позже, из-за границы: «Сталин меня обвиняет, что я выступил в буржуазной прессе, но весной 1917 г., чтобы добраться до русских рабочих и руководить революцией, Ленин вынужден был сесть в запломбированный вагон немецких гогенцоллернов; точно так же, загнанный термидорианцами в клетку Константинополя, я вынужден был сесть в запломбированный вагон буржуазной прессы, чтобы сказать правду всему миру»... – и т. д. и т. п.). Такие книги Троцкого, как «Литература и революция», «1905», «1917», я читал и перечитывал от корки до корки (Троцкий рассказывал о своем

путешествии в ссылку «с охотничьим... ружьем и с гарантированной субсидией правительства на проживание». Впрочем, такими же были ссылки Ленина, Сталина и других).

Вот против этого исполина революции, соратника Ленина и «короля памфлетистов», как назвал Троцкого Бернард Шоу, должен выступить представитель «чеченской революционной молодежи», и этот представитель я. Анекдот! Я наотрез отказался. Тогда заведующий нашей школой, старый большевик Мутенин лично взялся за мою «обработку». Это был симпатичнейший человек. Моздокский казак, он хорошо знал психологию горцев и взывал к моей воспитанной адатом слабости. «Да не посмеет молодой противоречить старшему», – приказывает адат. – «Не как начальник, а как твой старший я прошу тебя записаться для выступления», – настаивает Мутенин. В том, что школа выдвигала именно меня, виновато было мое – не по разуму – усердие: я уже «прославился» тремя докладами – «Коба – абрек Кавказа», «О великой французской революции», а третий доклад я читал в городском кино «Гигант» для чеченской молодежи о третьей годовщине Болгарского восстания 1923 г. Но все это было по-ученически дерзко, поверхностно и в органиченном кругу, а теперь я должен держать речь в присутствии всего чеченского и грозненского актива партии против самого Троцкого!

Чтобы отделаться, я сказал, что могу выступить только по-чеченски.

– Ну и отлично, – обрадовался Мутенин, – так и быть – будешь говорить по-чеченски, это даже лучше, мы же ведь Интернационал, черт нас побери! – добавил он с хитрецкой улыбкой, прищуривая по неизбывной привычке один глаз.

Я должен был сдаться. Через несколько дней состоялось собрание, которое оказалось более бурным, чем мы предполагали. Еще до открытия собрания актива мы узнали потрясшие нас своей неожиданностью новости: оказывается, руководитель Чеченской областной парторганизации Эшба

и наш учитель Цырулин – оппозиционеры. Ефрем Эшба, абхазец по национальности, был человеком благородной души и исключительного личного обаяния. Он был один из немногих по-европейски образованных кавказцев, которых в ряды революционеров привели идеалы гуманизма. Эшба кончил в 1914 г. Московский университет, в том же году вступил в партию большевиков. В годы революции он входил в состав Кавказского комитета РСРП(б) и возглавлял окружной комитет партии. Встречался с Лениным, лично знал Сталина и дружил с Орджоникидзе. Эшба возглавлял и первое абхазское «автономное» правительство. Скоро Сталин заменил его своим личным ставленником – Лакобой, которого, впрочем, по его заданию, Берия убил еще до начала «Великой чистки». Сталин постоянно преследовал Эшбу, еще до того как он присоединился к оппозиции, только за одно: фанатично преданный Ленину, Эшба видел в Сталине все еще не разоблаченного уголовника. Будучи во главе чеченской парторганизации, он никогда не выступал на ее собраниях за оппозицию, а выступал только в грозненской парторганизации, которая тогда не входила в чеченскую организацию. Когда впоследствии в Москве я напомнил ему этот загадочный для меня факт, он ответил:

– Мы затеяли тогда бой, исход которого не располагал к оптимизму. В случае гибели оппозиции я не хотел загубить и молодых коммунистов Чечни, которые, безусловно, все пошли бы за мною, хотя бы потому, что я старший горец.

Вернусь к собранию актива. Собрание открылось в очень нервной и напряженной атмосфере, готовой взорваться от одной лишь искры. После докладчика ЦК, который говорил долго и которого никто не прерывал, выступил и представитель от оппозиции – Ефрем Эшба. Слово «выступление», конечно, надо взять в кавычки. Он стоял на трибуне, через каждые пять-десять минут ему удавалось произнести пару слов, и они тотчас же тонули в шуме диких криков: «Вон с

трибуны, холуй Троцкого!», «Долой троцкистов – сторожевых псов империализма!», «Дай по морде троцкистско-белогвардейской сволочи!». Потом перешли от слов к делу: на трибуну полетели не какие-нибудь тухлые яйца, а разные жесткие предметы – палки, ножки от стульев, пепельницы, – но оратор парировал удары тем, что вовремя прятал голову под трибуну и умудрялся при этом продолжать «выступление». Так бы, наверно, продолжалось еще некоторое время, если бы какой-то верзила с «группой рабочих» не подошел к трибуне – он с ходу с таким размахом ударил оратора по лицу, что у него из носа, как из кумагана, струей полилась кровь, но он, хилый и беспомощный, геройски сопротивлялся, увы, недолго: верзила дал команду, его «рабочие» схватили Эшбу за ноги и руки и поволокли через весь зал к выходу. Но тут произошло то, чего можно было ожидать: группа бывших чеченских партизан-коммунистов мигом окружила верзилу и «рабочих», обнажив кинжалы, и только решительный приказ Эшбы вложить кинжалы в ножны предупредил кровопролитие. Эшба вернулся к трибуне и снова начал свою речь. На этот раз никто ему не мешал.

После Эшбы слово дали и Цырулину. Его первые же слова: «Только что устроенная по заданию сталинско-бухаринских узурпаторов расправа над товарищем Эшбой есть начало термидорианской контрреволюции», – вновь утонули в неистовом вое, криках и свистах. Опять полетели в сторону трибуны разные предметы. Когда председатель хотел лишить Цырулина слова, а верзила со своими «рабочими» двинулся было, чтобы стащить его с трибуны, то «рабочая дружина» самого Цырулина, спустившись с галерки, вступила с ними в рукопашную, поддержанная чеченской группой. Началась настоящая свалка. Сквозь эту кутерьму едва были слышны слова председателя собрания: «Собрание зак-ры-то!». Мое «революционное крещение» от имени «чеченской революционной молодежи» так и не состоялось.

3. В Москву и обратно

После окончания областной партийной школы многие из моих друзей уехали в Москву и поступили в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ) им. Сталина, а я решил закончить среднее образование и поступил на Грозненский рабфак. Я учился еще на втором курсе, когда неожиданное знакомство с инструктором ЦК Сорокиным сорвало все мои дальнейшие планы. Он разъезжал по национальным областям Северного Кавказа по заданию ЦК, вербуя коммунистов из местных национальных кадров в КУТВ и на подготовительное отделение Института красной профессуры (ИКП). По рекомендации Мутенина, он вызвал меня в Чеченское Оргбюро партии на беседу. Я и представления не имел ни о нем, ни о его миссии. Встретил он меня с подкупающей простотой, которая сразу располагает к искренности. Не сказав ничего по существу вызова, он спросил меня:

– Что ты читал по марксизму?

Я перечислил некоторые книги: «Экономическое учение Маркса» Карла Каутского, «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, «Монистический взгляд на историю» Плеханова, «Теория исторического материализма» Бухарина, а также брошюры Сталина, Зиновьева и Троцкого о Ленине и ленинизме. Из последних трех брошюр работа Сталина «Об основах ленинизма» пользовалась наибольшей популярностью среди молодых коммунистов, как нечто вроде «катехизиса» ленинизма. Впоследствии мне стало ясно и другое ее достоинство: в ней давалось сжатое изложение синтеза идей мастера революции – Ленина с идеями мастера власти – будущего Сталина.

Сорокин перешел к делу. Он сообщил мне, что ЦК создал при Институте красной профессуры двухгодичное подгото-

вительное отделение, которое дает слушателям полное среднее образование и политические знания в объеме комвуза. «Нацмены» туда принимаются при малых мандатных и академических требованиях. Окончившие его зачисляются на первый курс соответствующего факультета ИКП. Основная задача ИКП – подготовка высших теоретических кадров партии и профессоров общественных наук для университетов и институтов. Он сообщил мне также, что Чечоргбюро партии рекомендует ЦК мою кандидатуру на это отделение.

Предложение это меня и озадачило и испугало. ИКП был мечтой, вершиной стремлений молодых партийцев, решивших делать карьеру в области общественных наук – истории, философии, литературоведения, экономики... Чтобы быть принятым на подготовительное отделение, надо было иметь гораздо большее знакомство с марксистской литературой, чем у меня, к тому же держать конкурсный экзамен, а в то, что я его выдержу, я совершенно не верил.

Сорокин не разделял моих сомнений; что же касается экзаменов, то тут, сказал он, для «нацменов» существуют определенные «скидки» (эти «скидки» меня всегда оскорбляли, хотя по слабости человеческой натуры я от них и не отказывался).

Аргументы Сорокина меня не убедили, и я боялся, что никакие «скидки» не спасут, если другие «нацмены» окажутся лучше подготовленными, чем я. С тех пор как я начал учиться, еще в медресе, у меня появился какой-то болезненный комплекс – чувство, что нет в жизни большего позора для учащегося, как провалиться на экзаменах. Я искренне завидовал хладнокровию моих товарищей, для которых провал на экзаменах был, как говорится, что с гуся вода. Когда Сорокин увидел, с каким незаурядным паникером имеет дело, он выложил свои последние два аргумента: во-первых, я упускаю редкую возможность попасть в ИКП, а во-вторых, он

ручается за мой успех перед экзаменационной комиссией ИКП, ибо он в ней представитель от ЦК.

Последний аргумент показался мне более убедительным. Так-таки уговорил меня Сорокин. Я дал согласие, хотя далекий незнакомый мир пугал и отталкивал. Чеченцы фанатично привязаны к своей земле. Нет для них большего наказания, как оторвать их от нее. Я не был исключением. Но Сорокин разбудил во мне другое чувство – любопытство или, скорее, любознательность, глубоко сидевшую в подсознании: посмотреть и послушать в Москве самих вождей Октябрьской революции. Сорокин рассказывал, что Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Луначарский, Сталин часто посещают ИКП и читают лекции на самые различные темы советской и мировой политики. Советская доктрина «культа вождей» кажется смешной и даже наивной, когда не вникаешь в суть дела. Она целенаправлена и рассчитана на то, чтобы путем беспрерывной долбежки вкоренить в подсознание людей представление, даже убеждение, что ницшеанская теория о будущем «сверхчеловеке» есть быль советской революции: Ленин, Троцкий, Бухарин, Сталин – все они сверхлюди... Кто же не хочет полюбоваться сверхлюдьми?! «Культы» Ленина и Троцкого были спонтанными, а остальные – «долбежными». Власть знала, что предрассудок, ставший мистической силой, может сдвигать горы. Ведь знал же Камиль Демулен: «Великие мира сего только потому кажутся людям великими, что они созерцают их, стоя на коленях». Вот так, «стоя на коленях», я поехал в Москву послушать и посмотреть «великих мира сего» – наших вождей.

Путешествие от Грозного до Москвы продолжалось трое суток. Но поездка эта не была ни скучной, ни утомительной. Она была полна контрастных наблюдений, интересных встреч, иногда и приключений. С питанием проблем тоже не было: в великолепном вагоне-ресторане выбор блюд был бо-

гатый и разнообразный – от зернистой икры до шашлыка, – цены были умеренные, ибо ценность советских денег тогда была очень высока (в любом госбанке советский червонец вы могли поменять на золотую десятку). Русские вагоны, рассчитанные на дальние расстояния, удобны для сна. Влезешь на верхнюю полку, мерный стук колес о рельсы тебя убаюкивает пуще всякой «колыбельной песни», и ты всю ночь напролет дрыхнешь себе на здоровье. Когда подъезжаешь к Москве, все меняется, меняются даже люди: одни делаются оживленными и веселыми, предвкушая приятные встречи, другие, вроде меня, – угрюмыми и задумчивыми, не зная, что их ожидает. Меняется и сама природа за окном: леса, леса, высокие, стройные, густые, даже не знаешь, как сюда мог добраться на своей походной тележке основоположник Москвы, сын Мономаха – князь Юрий Долгорукий. Потом идут такие же высокие и стройные заводские трубы. Началась Москва.

Когда я стараюсь образно представить себе день моего приезда в Москву, мне на память приходят стихи великого поэта:

«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора».

Правда, стоял не ноябрь, а октябрь, но какой-то пасмурный, необычно холодный, не такой гостеприимный, каким я оставил наш кавказский солнечный октябрь всего три дня назад.

Прямо с вокзала я поехал на извозчике в ГУМ, где находилось представительство «автономной» Чечни при президиуме ВЦИК РСФСР. Оттуда меня направили на временное жительство в первый Дом советов. На второй день я поехал в ЦК и встретился с Сорокиным. На меня, для которого еще вчера весь мир укладывался в пространство между моим аулом и городом Грозным, Москва произвела потрясающее впечатление. Вспомнилось, как чеченцы иронизировали над ингушами, у которых самая важная клятва якобы гласит: «Клянусь Аллахом, который сотворил два чуда – город Владикавказ и пистолет маузер!» Я был теперь готов поклясться всеми богами, что гениальный монах из средневекового Пскова оказался пророком: «Москва – третий Рим», «Два Рима были, третий стоит, а четвертому не бывать!». Все здесь величаво и удивительно: высокие дома, величественные соборы (собор Христа Спасителя еще не был снесен), Большой театр, Кремль, Царь-колокол, Царь-пушка, Сухаревский рынок, Охотный ряд, целый «интернационал народов», среди которых есть и люди чернее сажи – негры, которых я видел впервые в жизни.

Первый визит я сделал, как и полагается правоверному коммунисту, Ленину в его мавзолее. Долго стоял в очереди (кстати, это была в то время единственная очередь в Москве – страна жила еще при, увы, последнем годе нэпа, продуктами и вещами были набиты не только частные рынки и магазины, но и ГУМ). Когда, несмотря на протесты жены Ленина Н. Крупской и Троцкого против превращения революционера в марксистского бога, Сталин решил забальзамировать, как фараона, труп Ленина и положить его в мавзолей на поклонение фанатиков и как зрелище для любопытствующих зевак, он действовал как великий эксплуататор чужой славы в личных целях. Ведь на самом деле мстительный Сталин должен был больше ненавидеть Ленина за его письма против не-

го («Завещание», письма о разрыве личных отношений из-за оскорбления Сталиным Крупской, статья об «автономизации»), чем его ненавидела вся русская и мировая буржуазия за октябрьский переворот. Тем не менее Сталин решил превратить Ленина в марксистского божка, чтобы себя объявить его верховным жрецом. Ленин лежал в стеклянном гробу, лицо какое-то восковое, рыжая бородка, на лацкане пиджака значок «ЦИК СССР», кажется, еще орден Красного знамени. Великий в партийных легендах, он не показался мне велик ростом, и это как-то не гармонировало с представлением, созданным легендами о его физическом и умственном величии. И за какие-нибудь секунды, в продолжение которых вы проходите около него, в воображении встают те знаменитые «Десять дней, которые потрясли мир», религиозные клятвы Сталина в верности Ленину у его гроба («Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним и эту твою заповедь»), предупреждение Троцкого – не лезть в Ленины, а стать ленинцем («Лениным никто не может быть, но ленинцем может быть каждый»), рассказы о слезах Зиновьева, Каменева, Бухарина на похоронах Ленина... Обидно, жутко, что и великие люди тоже смертны... «О, небо, неправ твой святой приговор!»

Скоро на горьком опыте я убедился, что, насколько всем доступен был мертвый бог, настолько же недоступны оказались боги живые. Когда я уже был принят на первый курс подготовительного отделения ИКП, в списке лекторов я заметил только вождей второго ранга, вроде Покровского, Ярославского, Луначарского, но ни Троцкого, ни Зиновьева, ни даже Радека там не было. Правда, был неизменный Бухарин. Я не замедлил сообщить об этом открытии Сорокину.

– Как я много дал бы, чтобы увидеть живого Троцкого, – вырвалось у меня.

– Ты его увидишь совершенно бесплатно на этих же днях, – заверил меня Сорокин.

Сорокин объяснил, что Троцкий и его сторонники боятся заглядывать в ИКП – так как все его слушатели стоят за ЦК, – но они выступают в других вузах Москвы. Он обещал меня взять на одно такое собрание. Но это оказалось далеко не легким делом. Троцкий всегда появлялся неожиданно, без объявления, когда же он появлялся, то его люди из «лейб-гвардии» закрывали вход для «холуев фракции Сталина». Так нас не пустили на собрание в МВТУ, где выступали Троцкий и Каменев. Велико было мое разочарование, хоть тут же выйди из «холуев» и запишись в троцкисты. Сорокин это заметил и был крайне удивлен этим моим прямо-таки ребяческим любопытством. Он даже был озадачен, как молодой коммунист, который так увлечен Троцким, может голосовать за Сталина. Сорокин сам же объяснил это противоречие: ведь в музей идут лицезреть экспонат ихтиозавра не из увлечения, а из любопытства... Троцкий – ихтиозавр нашей революции.

И все-таки на другой день Сорокин сжалился надо мной. Он придумал для меня кратчайший путь к Троцкому. Объяснив мне, что Троцкий очень любит, когда у него просят автографы на его книгах, Сорокин предложил мне поехать к нему в Главконцесском при Совнаркоме СССР и тут же подарил мне книгу Троцкого «Литература и революция».

По данному Сорокиным адресу я и поехал. Главконцесском при СНК СССР находился на Малой Дмитровке, в маленьком дворе, в двухэтажном особняке. Он не охранялся, по крайней мере, внешне. Несмотря на совет Сорокина прямо пойти в приемную Троцкого, я все-таки не набрался такой смелости, а решил подкараулить Троцкого у ворот. Ожидание оказалось безуспешным. Я повторил то же самое на второй день, но теперь меня самого подкараулил злой сюрприз: быстро подъехала черная открытая машина, вылезшие оттуда два человека в военной форме обшарили мои карманы и

грубо толкнули меня в машину. Пока я успел опомниться, машина помчалась дальше. По обе стороны меня сидели два здоровенных дяди, один внешний вид которых внушал полное доверие к силе их все еще неведомого мне учреждения. Через несколько минут меня привезли на большую площадь и ввели в большое здание, потом на часа два закрыли в темной комнате, наконец привели в кабинет на втором этаже. В кабинете было несколько человек. Один из тех, кто сидел за столом, встал, быстро подошел ко мне и в упор задал вопрос:

– Почему ты хотел зарезать Троцкого?

Я от неожиданности онемел и, вероятно, страшно побледнел, и уж одно это должно было доказать чекистам, что я не способен «зарезать» Троцкого.

Но чекист не унимался:

– Мы все знаем, выкладывай быстро, а то сгниешь у нас в подвале и на прощание еще получишь пулю в затылок!

Это все производило впечатление: я уже достаточно наслышался об ужасах в подвалах Чека.

Перебивая друг друга, крича во все горло, в допрос включились и его коллеги:

– Кто твои сообщники?

– Куда спрятал пистолет?

– Где твоя бомба?

Весь этот допрос состоял из криков и угроз и продолжался несколько часов.

Едва ли было проявлением слабодушия то, что я, ошеломленный и убитый происходящим, да и самим диким обвинением, даже не пытался ни отвечать на вопросы, ни оправдываться. Вероятно, я вел себя так, как пойманный с поличным неопытный преступник. Мои следователи, определенно, так и думали.

Когда следователи обратились к «вещественным доказательствам», только тогда я понял, почему и чем я хотел

«зарезать» Троцкого: на стол положили отобранную у меня при аресте финку. Я ее купил на Сухаревке для самозащиты, так как начитался в вечерней газете сообщений о всякого рода хулиганских и бандитских нападениях ночью на московских улицах.

Поздно вечером меня бросили в какой-то каменный мешок с тусклым электрическим светом. На цементном полу валялся соломенный матрас; в углу стояла какая-то бочка, которая, как я узнал потом, называлась «парашей»; рядом какая-то глиняная чашка, которая называлась «миской», а то, что в ней дают кушать – «бурдой». Вечером я получил эту бурду и кусок хлеба. Разумеется, я до еды не дотронулся и матрасом не воспользовался: всю ночь, ни разу не сомкнув глаз, я шагал по камере, как тигр в клетке, но походил я не на тигра, а на жалкого щенка, которому грубо наступили на хвост. Только теперь, в камере, я понял всю трагичность своего положения и нелепость своего поведения. Я должен был перекричать своих следователей, объявить их жандармскими держимордами и потребовать немедленно связать меня с чеченским представительством при ВЦИК. Я вел себя как болван и тем укрепил этих насильников в их заблуждении, что они поймали «террориста».

Зато на второй день, когда меня повели на новый допрос, я взял «реванш»: чекисты удивленно переглядывались и не узнавали во мне вчерашнего безмолвного, близкого к раскаянию «убийцу», когда я на их глазах за одни сутки вырос в нового Демосфена. Я начал с цитаты из Дзержинского, которая красовалась на плакате в кабинете следователя: «У чекиста должны быть холодный разум, горячее сердце и чистые руки!» Если чекисты должны быть такими, то те, кто меня вчера арестовал, – не чекисты, а насильники. Я требую связать меня с чеченским представителем при ВЦИК Арсановым и инструктором ЦК Сорокиным. Впрочем, мое «красноречие» не

произвело на них особенного впечатления. Только один сухо заметил: «Ну и арап же!»

Последовал допрос, который на этот раз происходил без выкриков и угроз, хотя и допрашивали о том же: «почему хотел убить Троцкого?» Все мои ответы заносились в протокол. Вторая часть допроса была посвящена выяснению моей личности. Я добросовестно изложил несложную биографию пионера, комсомольца и молодого коммуниста, который никак не мог быть убийцей «вождя Октябрьской революции». Этот мой «аргумент» вызвал раздражение: «Он такой же вождь, как я китайский богдыхан», – сказал один из следователей. Вопреки ожиданию, и биография моя тоже не произвела на них никакого впечатления. Гораздо позже я узнал, что в этом учреждении принцип презумпции невиновности был запретным понятием юриспруденции.

В связи с этим вспоминаю одну из интересных лекций прокурора СССР Вышинского накануне ежовщины на курсах марксизма при ЦК. Лекция была на тему советского уголовно-процессуального права. Вышинский доказывал, почему соответствующая статья УПК о необходимости выяснения в одинаковой мере вины и невиновности подследственного не распространяется на обвиняемых в политических преступлениях против советского режима. Дело в том, говорил лектор, что следователи в органах НКВД (КГБ) еще до ареста обвиняемого устанавливают его виновность, а потому органы НКВД никогда не ошибаются в своих карательных действиях. Поэтому сам формальный следственный процесс в кабинете следователя есть по существу судотворческий процесс, который окончательно оформляется в обвинительном заключении. В этом следственно-судебном процессе так называемые вещественные доказательства играют подчиненную, а личные признания решающую роль, что же касается суда, то это – простая формальность, чтобы соблюсти декорум. На этой

доктрине Вышинского и были основаны физические пытки подследственных во время допросов, чтобы заставить их подписывать вымышленные «признания» о несодеянных преступлениях, а практическая система пыток, названных коротко «методами» «органов», была разработана двумя «звездами» ГПУ – Курским и Федотовым – во время «Шахтинского дела», о чем я подробно рассказывал в «Технологии власти».

На другой день меня увезли из внутренней тюрьмы ГПУ во внешнюю тюрьму – в Бутырки. Бутырская тюрьма была знаменита тем, что через нее прошла вся элита русских бунтовщиков – от мятежных стрельцов при Петре I, Пугачева и пугачевцев при Екатерине II, польских повстанцев при Александре II, народовольцев при Александре III и до большевиков, меньшевиков и эсеров при Николае II. Сидел здесь и сам организатор Чека Дзержинский перед отправкой на каторгу. Упорная молва, пущенная в ход самими чекистами, утверждала, что здесь в библиотеке тюрьмы работает и эсерка Фаина Каплан, стрелявшая в Ленина в 1918 году. Ленин, по мотивам гуманности, якобы запретил ее расстреливать, и поэтому Президиум ВЦИК заменил расстрел заключением в тюрьму. До чего правдоподобным этот слух казался даже в высших идеологических кругах партии, показывает задание, которое дал мне в 1936 г. наш профессор Н. Н. Ванаг – поработать в архиве Истпарта за 1918 г., чтобы установить судьбу Ф. Каплан. Я нашел в деле «Покушение на В. И. Ленина» краткую биографическую справку с приложением выписки из протокола коллегии ВЧК о суде над «левой эсеркой Ф. Каплан». В справке лаконично сообщалось, что ее в августе 1918 г. судила коллегия ВЧК, приговорила к расстрелу, и приговор приведен в исполнение. Мне запретили делать выписки и ссылаться на сами документы, ибо следственно-судебное дело покушения на Ленина считалось все еще сек-

ретным – и это в 1936 г.! – иначе рушилась вся красивая легенда о «гуманизме» Ленина. Только в 1959 г., при Хрущеве, власть осмелилась нанести удар собственной версии о «гуманизме» Ленина, когда бывший комендант Кремля П. Д. Мальков в «Записках коменданта Московского Кремля» сообщил, что он сам лично привел в исполнение приговор о расстреле Ф. Каплан. Но и здесь не обошлось без лжи. Партаппарат вложил в уста Малькова утверждение, которому может поверить только обыватель, не знающий механизма чекистской власти и функций коменданта Кремля. До самого переворота Сталина обязанности коменданта Кремля были скромные – охрана правительственных зданий и самих правителей на территории Кремля – Кремль был открытым тогда, – а также функции «завхоза», то есть административно-хозяйственное управление Кремля и надзор за персоналом, его обслуживающим.

Убивать – это всегда было и оставалось привилегией и монополией заплечных дел мастеров из чекистских подвалов, которые они ревниво сохраняли за собой. Так что Мальков, по чьему-то велению, присвоил себе чужую славу. В 1937 г. сам Мальков (член большевистской партии с 1904 г., командир знаменитого отряда матросов, штурмовавших 25 октября 1917 г. Зимний дворец), очутившись в том же подвале на Лубянке, в котором расстреляли Ф. Каплан, каждую ночь ожидал той же участи. Ему, однако, «повезло»: Сталин его оставил в живых по той единственной причине, что он был не политик, а самый обыкновенный «винтик» – службист, но уже достаточно изношенный, чтобы на него можно было надеяться. Поэтому, пробыв некоторое время на Лубянке и в Бутырках, он попал в один из политизоляторов в Сибири, где просидел 17 лет. Его освободили только в 1954 г., через год после смерти Сталина, а в утешение Хрущев нацепил ему еще орден Ленина.

Вот с этой исторической достопримечательностью Москвы – Бутырками, в которой изменилось лишь то, что одни надзиратели сменили других, я познакомился не из собственного любопытства, а по воле новых надзирателей. Но знакомство это оставило по себе неизгладимое впечатление. Здесь я очутился в том мозаичном старом мире, который далеким метеором пролетел через мое детское сознание, оставив лишь яркий блеск, но без близкого знакомства с ним. Я, дитя окраины Империи, о старом мире знал только то, что вычитал из писаний вождей нового советского мира. Теперь, в большой следственной камере Бутырок, история как бы вернулась к исходной позиции – к 1917 г., – и я оказался в самой гуще старого мира: в камере сидели почти все его представители – бывшие офицеры, лица духовного сословия, старые профессора, монархисты, кадеты, меньшевики, эсеры, контрабандисты, даже террористы.

Разумеется, я чувствовал себя здесь сначала не очень уютно и с кем-либо в разговоры не вступал. Позже, приглядевшись поближе к представителям «старого мира», прислушавшись к их бесконечным дискуссиям о политике и революции, я понял, что, еще не добравшись до красной профессуры, я оказался слушателем «Института белой профессуры». Внутренне «старый мир» остался верен тем политическим традициям, воспользовавшись которыми большевики и загубили его: прямо-таки болезненной страсти взаиморазоблачения.

По вечерам до поздней ночи камера дискутировала один и тот же вопрос: «Кто виновен в гибели России?» Монархисты находили, что все началось с измены офицерского корпуса (царь записал в дневнике, накануне отречения, что «кругом измена»), а из генералитета до конца верными ему остались только три генерала, и то нерусского происхождения (немец – генерал Келлер, армянин – генерал Хан Нахчиван-

ский и чеченец – генерал-от-артиллерии Эрисхан Алиев). Офицеры доказывали, что могилу монархии вырыл пройдоха Распутин; меньшевики уверяли, что без партии эсеров большевики никогда бы не пришли к власти; а один левый эсер, который вместе с другими левыми эсерами входил в состав Совнаркома до заключения Брестского сепаратного мира с Германией, читал весьма интересную лекцию «Как меньшевики привели к власти большевиков?». Однако самый нравоучительный «синтез» из истории русских социалистических партий сделал ученик Ключевского, кадетский профессор, сравнив три партии – большевиков, меньшевиков и эсеров – с теми бешеными конями гоголевской тройки, на которой Ленин, захватив с собой Россию, помчался в бездну истории. Ирония той же истории: в 30-х годах этот же историк, Сергей Владимирович Бахрушин, меня учил в красной профессуре «марксистско-ленинскому» пониманию исторического процесса в русском средневековье.

В этих дискуссиях меня поразила и другая сторона дела: оппоненты, непримиримые и беспощадные по существу споров, по форме оставались сдержанными, даже вежливыми, – это так контрастировало с дискуссиями на большевистских сборищах. В личных обращениях часто слышались и титулы, которые тогда мне ни о чем не говорили: «Ваше превосходительство», «Ваше сиятельство», «Ваше высокопреосвященство», а меньшевики и эсеры их называли «господами», а самих себя «товарищами». Духовные лица в дискуссиях не участвовали, но слушали внимательно. Среди них выделялся один, к которому часто обращались сокамерники по богословским и философским вопросам: архиепископ, кажется, из Пскова или Новгорода. Он приехал в Москву жаловаться на банду, которая ограбила местный собор, забрав из него все драгоценности и древнерусские иконы. Местные власти отказались вести следствие, когда

выяснилось, что банда – это переодетые чекисты. Архиепископ приехал к самому «Всероссийскому старосте» Михаилу Калинину с целой папкой свидетельских показаний об ограблении его собора чекистами. Калинин попросил у него папку для выяснения дела, а ночью в монастырь, в котором он остановился, пришли чекисты и арестовали его. И дело ограбления собора чекисты повернули против самого архиепископа: он, мол, сам организовал собственное ограбление! Это вызвало такое возмущение верующих в его епархии, что началось их массовое паломничество к Калинину с требованием освободить арестованного. Московская власть, вероятно, опасалась осложнений, ибо архиепископа скоро выпустили.

Чужеродными элементами среди этой элиты старой России были два человека, которые попали сюда по обвинениям чисто уголовным. Один – очень интеллигентный польский еврей, а другой – грузинский студент. Еврей был арестован по обвинению в контрабанде, но он сам себя называл честным «красным купцом», так как работал в системе Внешторга, рассказывал уморительные еврейские, порою даже антиеврейские анекдоты. Карла Радека, настоящая фамилия которого была Собельсон, обзывал «крадеком», мелким воришкой, который его вечно обкрадывал, когда он во время войны, по поручению Ленина, перевозил за небольшую плату литературу из Швейцарии в Россию. (Я слышал позже от других, что славой вора Радек пользовался еще среди своих польских соучеников, которые и наградили его за мелкие кражи кличкой «Крадек», а он, отделив «К», превратил «Крадека» в свой псевдоним «К. Радек».) На радость всей камере Троцкого он называл «жидовским ублюдком» с претензиями красного Наполеона, и тоже «Крадеком», ибо теперь знаменитую свою фамилию он украл у тюремного надзирателя одесской тюрьмы, где сидел в начале века. О Ленине,

которого он лично знал, помалкивал, но Надежду Константиновну хвалил очень (он в советскую Россию тоже приехал с ее помощью).

Один раз камера начала разбирать и Ленина по косточкам: одни доказывали, что Ленин вовсе не был русским, а каким-то гибридом из смеси русской, калмыцкой, еврейской крови; другие напирали на то, что он был изменником, немецким агентом; кто-то заметил, что Ленин был «хроническим сифилитиком», а такие больные бывают гениальными ясновидцами. «Красного купца», хранившего до сих пор молчание, все это взорвало не на шутку: господа хорошие, если Ленин действительно был таким, каким вы его рисуете, то тогда ваша великая Россия – мишура, и ее следующий правитель может оказаться чистокровным уголовником. Я никогда не забуду этого пророчества, которое, может быть, было произнесено ради красного словца, но которое сбылось с невероятной точностью, когда грабитель и убийца Коба занял трон Ленина. Вот грузинский студент и сидел за то, что хотел предупредить восхождение Сталина к трону Ленина, правда, по другим, чисто грузинским мотивам.

Когда в августе 1924 г. в Грузии произошло мощное народное восстание под руководством подпольного паритетного комитета грузинских меньшевиков и национал-демократов, то приехавший в Тифлис Сталин лично руководил его подавлением. Сталин наводнил Грузию войсками из соседних республик. Вторая оккупация Грузии сопровождалась неслыханной даже в практике Чека свирепостью массового террора. В «исторической» речи на тифлисском партактиве Сталин дал и обоснование террора: «В Грузии накопилось много сорняка. Надо перепахать Грузию!» Сталин поручил эту «перепашку» молодому чекисту – Л. Берия. Берия оправдал доверие – было репрессировано до пяти тысяч человек, активные участники восстания все до единого

были расстреляны. Среди расстрелянных был и брат нашего студента Джинария. Джинария поклялся отомстить за брата. Мингрелец, как и Берия, Джинария легко мог бы убить Берия, но он считал, что не собака сама по себе виновата, а хозяин, который ее выдрессировал на злодейства, а потом, сняв с нее намордник, пустил ее на беззащитных людей. Этим «хозяином» в глазах Джинария был Сталин. Скоро представился хороший случай предъявить Сталину счет – летом, в связи с приездом в Москву председателя ЦИК Грузии Миха Цхакая (старый большевик, соратник Ленина, Цхакая вернулся в Россию из Швейцарии вместе с Лениным в знаменитом «запломбированном вагоне» через Германию), собралось на банкет в его честь грузинское землячество в Москве (в те годы в Москве существовали землячества всех национальных республик). Как полагается на грузинском вечере, пили много вина, ели шашлык, тосты шли за тостами, а тамадой был самый старший – сам виновник торжества Цхакая. Пир удался на славу, все были навеселе, но никто не перепился, студенческая группа художественной самодеятельности пела грузинские песни, танцевали лезгинку на кинжалах. К концу вечера появился и Сталин. Он произнес тост за Миха Цхакая, назвав его одним из своих учителей в тифлисский период. Польщенный этим Цхакая произнес ответный тост «за ученика, который превзошел всех учителей». И вот в это время Джинария, член артистической группы, держа руки на кинжале, подошел к столу тамады и задал Сталину в упор вопрос: «Сосо, почему ты убил моего брата?»

«Сосо – сука, он не ответил мне, зная, что его жизнь в моих руках», – рассказывал Джинария. Тамада замял инцидент, объявив Джинария пьяным и приказав вывести его из зала. Но Сталин был иного мнения – через пару дней Джинария арестовали за «попытку убить Сталина». Джинария был словоохотливый малый, не чуждый бравады, и мне казалось, что он такой же липовый террорист, как и я. Но и здесь Сталин

был другого мнения. Через несколько месяцев я узнал от товарищей Джинария, которым я передал после своего освобождения его записку, что коллегия ОГПУ приговорила Джинария к длительному тюремному заключению. Какова была его дальнейшая судьба, не знаю. Сокамерники охотно верили Джинария, что он хотел убить Сталина, как и мне, что я не хотел убить Троцкого, только очень сожалели, что я этого не хотел. Симпатии их в происходящей внутрипартийной борьбе были явно на стороне Сталина. «Старый мир» жил теми же предрассудками, что и на воле: Сталин устраивает «еврейский погром» наверху, чтобы вернуть Россию на «национальные рельсы».

Меня больше не вызывали на допрос, и все считали это хорошим признаком. Ожидая моего освобождения, сокамерники начали делать мне разные устные поручения, даже зашивали записки в мою одежду. И действительно – через недели две меня выпустили. Чекисты извинились передо мной за «недоразумение».

Впоследствии я долго думал над этим инцидентом. Уже не только на партийных собраниях, но и в партийной печати Троцкого и троцкистов называли «бешеными собаками мировой контрреволюции», а вот заколоть или пристрелить «бешеную собаку», оказывается, нельзя было. Потом только я узнал, что Сталин дал специальное указание Чека охранять Троцкого против возможного покушения, боясь, что физический террор против Троцкого может спровоцировать волну контртеррора со стороны троцкистской молодежи, как об этом рассказывал Троцкому и сам Зиновьев. В конечном счете выяснилось, что Сталин оберегал Троцкого от других, чтобы убить его самому, и не финкой в живот, а киркой по голове.

Первая мысль после освобождения – «вон из Москвы, сюда я больше не ездок» – на Кавказ, на Кавказ! Потом постепенно я пришел в себя, тем более, что сам во всем был

виноват. Однако «белая профессура» осталась в моей памяти критической прелюдией к профессуре красной. В моем нетронутом мозгу молодого простака революции пробила она и первую критическую трещину: я начал думать, что в мире политики единой общечеловеческой правды нет. Правда обернулась категорией партийной, где между истиной и ложью нет ни мертвой зоны, ни демаркационной линии. Оказалось, что бывает ложная правда и правдивая ложь.

Институт красной профессуры сыграл роковую роль в моей жизни. Дважды я старался окончить подготовительное отделение ИКП, но оба раза безуспешно: один раз я сам ушел, второй раз меня исключили. Третий раз – в 1934 г. – я выдержал конкурсный экзамен на первый основной курс ИКП истории, но было это уже не по моей инициативе, о чем расскажу после. Как глубоко я жалел потом, что выдержал его...

Что же представлял собой столь вожделенный и столь же разочаровавший меня ИКП? Вот краткая справка из БСЭ (т. 10, третье издание):

«Институт красной профессуры (ИКП), специальное высшее учебное заведение, готовившее преподавателей общественных наук для вузов, а также работников для научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных органов. Организован согласно подписанному В. И. Лениным постановлению СНК РСФСР от 11 февраля 1921 г. в Москве, находился в ведении Наркомпроса, общее руководство осуществлялось агитпропом ЦК партии. Ректором ИКП с 1921 по 1932 был М. Н. Покровский. Первоначально единый ИКП через год имел три отделения: экономическое, историческое и философское. В 1924 было организовано Подготовительное отделение, к 1930 ИКП был разделен на самостоятельные институты: истории, историко-партийный, экономический, философии и естествознания. В 1931, после присоединения к ИКП аспирантуры

научно-исследовательских институтов Коммунистической академии, были созданы институты: аграрный, мирового хозяйства и мировой политики, советского строительства и права, литературный, техники и естествознания, подготовки кадров (б. подготовительное отделение). В ИКП преподавали В. В. Адоратский, Н. Н. Баранский, А. С. Бубнов, Е. С. Варга, В. П. Волгин, А. М. Деборин, С. М. Дубровский, Н. М. Лукин (Антонов), А. В. Луначарский, Ю. Ю. Мархлевский, В. И. Невский, М. Н. Покровский, В. М. Фриче, Ем. Ярославский и др. Из рядов слушателей ИКП вышли видные партийные и советские работники, деятели науки и культуры (Н. А. Вознесенский, Я. Э. Калнберзин, Б. Н. Пономарев, М. А. Суслов, М. Д. Каммари, И. И. Минц, М. В. Нечкина, А. М. Панкратова, П. Н. Поспелов, Н. Л. Рубинштейн, А. Л. Сидоров, А. А. Сурков, С. П. Щипачев и др.)». Вот эти «и др.» – что-то около трех тысяч человек, окончивших ИКП с 1921 по 1937 годы, были во время «Великой чистки» расстреляны или окончили жизнь в заточении в политизоляторах, а сам ИКП был тогда же ликвидирован – после того как мастер по наклеиванию ярлыков Сталин назвал его «осиным гнездом врагов народа». Остались в живых и сделали научную и партийную карьеру лишь единицы, указанные выше. Только в этом перечне почему-то отсутствуют наиболее известные «красные профессора», будущие члены ЦК, по заявлению которых и был посажен в НКВД почти весь состав ИКП и Комакадемии – это нашумевшая в свое время «сталинская тройка» в идеологии: П. Ф. Юдин, М. Б. Митин и Ф. В. Константинов. Среди преподавателей ИКП не указаны, разумеется, и «враги народа» – Бухарин, Радек, Пионтковский, Фридлянд, Пашуканис, Ванаг, Крыленко, Стэн, намеренно обойден и Вышинский. Обошли молчанием, если взять только ИКП истории, и выдающихся беспартийных преподавателей, таких, как академики Греков,

Струве, Тарле, Косминский, Бахрушин, профессор Преображенский, Грацианский, Сергеев и др. Наш ИКП истории, вместе с ИКП государства и права и ИКП литературы, помещался в бывшем лицее цесаревича Николая (на Остоженке, 53). Вместе с подготовительным отделением (оно было двухгодичное) учение в ИКП продолжалось пять лет. На основной курс, как правило, принимали лиц с высшим образованием, ибо, по теперешним понятиям, ИКП представлял собой аспирантуру. На подготовительное отделение принимались люди со средним образованием. Те и другие должны были быть членами партии и иметь рекомендации областных комитетов и Центральных комитетов нацкомпартий. При ЦК партии существовала Мандатная комиссия, которая проверяла политическое и деловое лицо каждого кандидата в слушатели ИКП. Допущенные Мандатной комиссией лица подвергались конкурсным экзаменам в самом ИКП. Выдержавшие экзамен, каждый индивидуально, утверждались на заседании Оргбюро ЦК.

Среди принятых на подготовительное отделение я был самым молодым и малоподготовленным, особенно это касалось общего образования.

Когда я здесь начал заглядывать в «Капитал» Маркса, а особенно в «Анти-Дюринг» и Диалектику природы» Энгельса, я убедился, что, не пройдя полный школьный курс математики, физики и химии, ученым-марксистом быть не сможешь. Ко всему этому пошла мода на изучение «Математических рукописей» Маркса, которые начали выдавать чуть ли не за вершину математической мысли в XIX столетии. Что же касается представителей немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах) или представителей английской классической политэкономии (Смит, Рикардо), которых Ленин считал, наряду с французским утопическим социализмом (Сен-Симон, Фурье), главными ис-

точниками марксизма, туда лучше и не заглядывай, если не окончил полной программы средней школы. Я начал думать о возвращении обратно на Грозненский рабфак.

В это же время я стал свидетелем двух событий, которым суждено было стать историческими: 7 ноября 1927 г. я слушал выступление Троцкого в день десятой годовщины Октябрьской революции, а 28 мая 1928 г. в ИКП доклад Сталина «На хлебном фронте».

Накануне октябрьских торжеств «группа большевиков-ленинцев» (так называл себя блок Троцкого-Зиновьева) распространяла по Москве и Ленинграду многочисленные листовки, которые призывали московских и ленинградских рабочих явиться 7 ноября на демонстрации и митинги, устраиваемые «большевиками-ленинцами» в честь десятой годовщины Октября отдельно от «фракции Сталина». К этому празднику обе стороны – оппозиция и партия – готовились весьма интенсивно. По данным Ем. Ярославского, оппозиция распространила свою платформу, отпечатанную в подпольной типографии, в количестве 30 тыс. экземпляров. Ее подписали более пяти тысяч активных деятелей «Объединенного блока» оппозиции Троцкого и Зиновьева, то есть столько большевиков, сколько их было, по Зиновьеву, в России накануне Февральской революции. Однако Россия теперь была другая – нэповская, правая, антиреволюционная. Сталин бил в эту точку. Накануне десятой годовщины Октября он выпустил «Манифест» ЦИК СССР, в котором торжественно сообщалось:

1. Отныне в СССР вводится семичасовой рабочий день с полным сохранением существующей зарплаты;

2. 35% крестьянских хозяйств освобождаются от налогов.

Оппозиция посчитала все это за демагогию и голосовала против «Манифеста». Сталину это только и было надо, ибо тем самым оппозиция сама убила себя политически – задолго до того момента, когда Сталин убьет ее и физически.

Одну из листовок «большевиков-ленинцев» я подобрал в кинотеатре на Арбате (листовки бросали с балкона в зал, и никто не мешал подбирать их). В ней сообщалось, что митинг оппозиции, на котором выступят Троцкий и Каменев, будет происходить перед зданием Моссовета. Я с этой листовкой поехал в КУТВ имени Сталина к моим землякам. Они, как и я, очень заинтересовались митингом, на котором можно послушать самого Троцкого. Я, несмотря на свой печальный урок с Троцким, вместе с Магометом Бектемировым, Даудом Мачукаевым и еще с кем-то утром 7 ноября 1927 г., раньше назначенного времени, помчались к Моссовету, чтобы занять удобные места. День был пасмурный, временами моросил дождь, но людей было много. Одни останавливались у Моссовета, чтобы посмотреть на Троцкого и Каменева, другие двигались дальше на Красную площадь, чтобы слушать Сталина, Бухарина и их соратников.

Постепенно у Моссовета народу набралось так много, что, как говорится, яблоку некуда было упасть. Мы занимали хорошие места, прямо напротив балкона Моссовета, где висели портреты Ленина и Троцкого и большое красное полотнище с лозунгом: «Вечная слава вождям Октября – Ленину и Троцкому!» Милиционеры, которые беспрерывно отталкивали толпу от центра, нас не трогали, принимая нас, вероятно, за важных лиц, так как студенты КУТВ носили полувоенную форму. Толпа пока ведет себя дисциплинированно, но чувствуется растущая напряженность в нетерпеливом ожидании появления вождей на трибуне. В этой напряженной атмосфере часам к десяти с боковой улицы на площадь выезжает большой открытый автомобиль, и в этот миг, как по команде, на площади, на которой еще несколько секунд назад царили тишина и порядок, поднимается невероятный гвалт, – вой, перекрестный свист, громкие выкрики «ура, ура!» чередуются с неистовыми «долой, долой!». В человека, сидящего в

автомобиле, летят со всех сторон то тухлые яйца, то букеты цветов. Сопровождающие его лица, в свою очередь, вступают в борьбу с какой-то сплоченной группой людей в рабочих блузах, оказавшихся переодетыми в рабочую форму чекистами. Завязывается драка, исход которой трудно предвидеть. В это время на помощь «рабочим» спешит с противоположной стороны конная милиция, которая не очень разборчиво давит «своих» и «чужих», и в этой суматохе слышно несколько выстрелов, может быть, предупредительных. Однако человек в автомобиле, решительно не обращая внимания на происходящее, в сопровождении своей личной охраны входит в здание Моссовета и через несколько минут появляется на балконе – это Лев Давыдович Троцкий. Около него становятся Каменев, Пятаков. Зычным командирским голосом легендарный герой гражданской войны, бывший командующий Московским военным округом, Муралов объявляет митинг открытым. Как бы в ожидании, что же будет дальше, шум на несколько секунд затихает, затем вновь раздаются оглушительные свистки и «рабочая группа» старается прорваться через толпу и конную милицию к зданию. Тогда уже «дружина» Троцкого вступает в действие. Она переходит в контрнаступление. Положение спасает Муралов. Он кричит с балкона во все горло: «Кто хочет слушать товарища Троцкого, прошу поднять руки!» Вся толпа единодушно голосует «за», кроме небольшой группы «рабочих». Угрожающая позиция толпы оказывает на них воздействие – водворяется тишина. Муралов предоставляет слово Троцкому.

Если бы я здесь стал излагать свои мысли о Троцком как об ораторе и политике в свете позднейших событий, то я воспроизвел бы картину своего тогдашнего впечатления искаженно. Ореол славы какого-нибудь большого человека действует на нас как психологический гипноз на далеком расстоянии – чем дальше расстояние, чем недоступнее этот

человек, тем блистательнее в наших глазах нимб, который окружает его воображаемый образ. Нет лучшего средства развенчать этот образ, чем непосредственное общение с ним. Поэтому-то пророков и не признавали в собственной стране. Орудие оратора – это слово, орудие политика – это слово, переходящее в дело. Слово политика, не переходящее в дело, – пустословие. Чтобы политическое слово стало движущей силой массы, непременно нужны два условия: во-первых, чтобы оно было поставлено на службу определенной политической концепции, во-вторых, чтобы эта концепция была бы сознательным выражением бессознательных чаяний самой массы. Только это гарантирует психологический контакт с массой, которую хочешь привести в движение. Все великие исторические движения возникали именно так. Но история знает и много великих ораторов, слово которых оставалось «гласом вопиющего в пустыне». Это те ораторы, которые появились или слишком рано или совсем поздно. Такие ораторы, проспав историю, проспали и наступление другой эпохи, с другой массой, с другими чаяниями. К последней категории и принадлежал Троцкий. Его идеи 1917 г. зажигали массы, повторение этих идей в 1927 г. звучало донкихотством. Прошло всего десять лет со дня революции, но масса уже была другая: та масса хотела только разрушения, а этой массе нужна была спокойная и сытая жизнь, которую ей обещал Сталин и против которой выступал Троцкий, требуя сужение нэпа и разгула репрессий.

Безо всякого преувеличения, Троцкий – выдающийся мастер красноречия, украшавший свою речь меткими эпитетами и остроумными метафорами, – с первых же слов завладел вниманием толпы. Плохо помню содержание речи, но хорошо помню ее «музыку», ее эмоционально насыщенную гамму контрастов – то в мажоре, когда он говорил об Октябре, как об увертюре к мировой революции, то в миноре, когда он

говорил о низком предательстве идеалов Октября фракцией Сталина. Он разоблачал демагогию «сталинской фракции» в упомянутом «Манифесте», не прибегая сам к демагогии, что было его явным недостатком как оратора в данных условиях. Его красноречие увлекало, но он не овладевал массой, ибо его слушали люди, которые давно разочаровались в идеалах революции, а сюда пришли из обыкновенного любопытства. Да, слушали его с увлечением, но слушали именно из-за высокого класса его ораторского искусства, точно так же, как даже неверующие с упоением слушают, скажем, «Реквием» Моцарта или «Страсти по Матфею» Баха...

Оппозиционеры объясняли провал Троцкого 7 ноября не политической апатией рабочего класса, а пулеметами, которые Сталин устрашающе направил в этот день против участников митинга. В одной из листовок группы Сапронова говорилось, что по приказу Сталина «в Москве, на площади Свердлова, для устрашения строптивых рабочих несколько часов стояли горцы с пулеметами» («Пятнадцатый съезд ВКП(б)». Стенографический отчет, с. 557). Это, разумеется, полнейшая фантазия. На этой площади нас, горцев, было лишь три или четыре человека, но у нас не было не только пулеметов, но и перочинных ножей (я свою финку, возвращенную мне после освобождения, предусмотрительно оставил дома).

Попытка Зиновьева и Радека организовать антисталинскую демонстрацию 7 ноября в Ленинграде совсем не удалась. Сталинские «дружинники» вождей Коминтерна просто заперли в каком-то помещении, пока не кончились торжества.

Оппозиционеры из группы Сапронова так оценили итоги обеих антисталинских демонстраций: «День 7 ноября 1927 г. будущий историк отметит как неудачное выступление пролетариата за новую революцию» (Ем. Ярославский, Краткая история ВКП(б), с. 485).

Нет, «будущие историки», к которым я смею причислить и себя, не могли его так отметить по той простой причине, что ни Троцкий, ни Зиновьев, ни Каменев, ни вся оппозиция в целом не хотели никакой революции, если под революцией понимать свержение существующего режима. В условиях, когда слово не действовало ни на глухонемой «пролетариат», ни на волчьи нервы Сталина, альтернативным средством революции оставалось применение материальной силы. «Перманентный революционер» Троцкий в борьбе с режимом Сталина был способен на пламенные речи и умозрительную философию, но никак не на революцию. Это он признавал и сам, когда писал о тех же итогах 7 ноября 1927 г.:

«Мы шли навстречу непосредственному разгрому, уверенно подготовляя свою идейную победу в более отдаленном будущем. Применение материальной силы играло и играет огромную роль в человеческой истории; иногда прогрессивную, чаще реакционную... Но отсюда бесконечно далеко до вывода, будто насилием можно разрешить все вопросы и справиться со всякими препятствиями» (Лев Троцкий, Моя жизнь, ч. II, сс. 276–277).

Что же можно сказать об этом рассуждении Троцкого? Я могу только повторить то, что я писал в книге «Происхождение партократии»:

«В этом утверждении и заложен ключ к разгадке катастрофы Троцкого – в борьбе со слабой демократией Керенского «применение материальной силы» – категорический императив, а в борьбе с утверждающейся тиранией Сталина – категорическое табу! Чтобы Троцкий вошел в историю как великий революционер, нужны были прямодушный пленник демократии Керенский и его слабый режим, но чтобы доказать, что из революционера может получиться запоздалый Дон Кихот, нужны были «кинто» – Сталин и его всесильный партийно-полицейский режим. История «Объ-

единенного блока» очень поучительна в этом отношении. Она поучительна и в идеологическом плане – объединенная оппозиция с ее программой форсированной ликвидации нэпа, налогового переобложения крестьянства, искусственного разжигания классовой борьбы, усиления революционных репрессий «диктатуры пролетариата» против «правой опасности» внутри страны, с ее ставкой на мировую «перманентную революцию» за счет жизненных интересов народов СССР – со всей этой программой оппозиция отталкивала от себя не только «разложенную партию», но и широкие слои населения города и деревни. Единственный положительный пункт в ее программе – борьбу против диктатуры партаппаратчиков (Радек: «В СССР не диктатура пролетариата, а диктатура секретариата») – народ да и партия расценивали как драку олигархов между собой за власть.

Сталин, отстаивающий нэп, отвергающий репрессии, осуждающий искусственное разжигание классовой борьбы; Сталин – союзник «правого оппортуниста» Бухарина с его проповедью «мирного врастания кулака в социализм» и зажигательным капиталистическим лозунгом по адресу крестьянства – «Обогащайтесь!»... отвергающий авантюристическую политику «подталкивания мировой революции» Троцкого; Сталин, проповедующий «социализм в одной стране», означающий, по его интерпретации, строительство общества материального изобилия и высокого стандарта жизни; наконец, Сталин, проповедующий мир не только с капиталистами, но и с социалистами (Англо-русский профсоюзный комитет) и с националистами (вхождение китайской компартии в Гоминдан Чан Кайши), – вот этот умеренный, спокойный, миролюбивый Сталин куда больше импонировал народу, чем вечно беспокойный, агрессивный «перманентный революционер» Троцкий. Даже мировая буржуазия сочувствовала национал-коммунисту» Сталину, а

не интернационалисту Троцкому. Раковский говорил на XV съезде: «У меня в руках „Нью-Йорк таймс“. В нем напечатано: „Сохранить оппозицию означает сохранить то взрывчатое вещество, которое заложено под капиталистический мир“» («Происхождение партократии», т. 2, сс. 244–245).

Чем все это кончилось, хорошо известно: руководствуясь правой программой Бухарина, Сталин ликвидировал «левую оппозицию» Троцкого, руководствуясь левой программой Троцкого, Сталин ликвидировал «правую оппозицию» Бухарина. «Нас обокрали!..» – кричали троцкисты, «нас обманули!» – жаловались бухаринцы и приводили ужасающие факты сталинского вероломства. Невозмутимый Сталин спокойно отвечал: «Если таковы факты, то тем хуже для самих фактов».

За год, проведенный в Москве, я полностью разочаровался и в политике, и в общественных науках. Хотя меня и перевели на второй курс подготовительного отделения, я все же решил вернуться в Грозный, чтобы, окончив там рабфак, поступить в какой-нибудь технический вуз. Не скрою, что на это решение повлияла и необыкновенная, даже болезненная ностальгия, тем более что Москва с самого начала встретила меня негостеприимно. Я поехал к чеченскому представителю при Президиуме ВЦИК Саид-бею Арсанову и сообщил ему о своем решении. Арсанов не был в восторге от этого, но все же добился через Наркомпрос, чтобы меня направили на грозненский рабфак.

Преподавательский состав на рабфаке был высококвалифицированный – бывшие учителя гимназий и реальных училищ, профессора Грозненского нефтяного института. Я вспоминаю их имена с благодарностью – Власов (география), Маклашин (математика), Гриднев (математика), Чистяков (физика), Гавришевская (русский язык и литература), Синюхаев (русский язык и литература), Белоусова (биология) и совсем молодая химичка Каплун. Студенческий состав был в

основном русско-украинский. Было несколько дагестанцев, осетин, армян, пара чеченцев и один кабардинец. Чеченцы неохотно шли в школу, хотя для них было создано специальное подготовительное отделение при рабфаке. Многие из тех, кто шел учиться, едва окончив пару классов школы или первый курс рабфака, бросали учение, покупали «наркомовский» портфель, дорогую каракулевую шапку, надевали модные тогда брюки галифе и лакированные сапоги, нацепляли маузер и поступали на работу. Они быстро делались «хакимами» (начальниками). В этом отчасти вина лежала и на власти, ибо для выполнения плана «коренизации» (занятия административных должностей представителями коренной национальности), который был разработан партией на X (1921) и XII (1923) съездах по национальному вопросу, происходила вербовка чиновников из среды чеченской учащейся молодежи. Но, с другой стороны, правительство всячески поощряло привлечение «нацменов» к учению на рабфаках, в техникумах и вузах, для чего существовала двойная стипендиальная система – в то время как русские студенты получали лишь одну государственную стипендию, «нацмены» получали две: государственную стипендию плюс так называемую «дотацию» от своей «Автономии». Рабфаки были более привилегированными учебными заведениями, чем обыкновенные средние школы. Сюда принимали по строгому социальному отбору, а выпускников рабфака брали в любой вуз без экзамена.

Здесь меня ввели в состав бюро ячейки, секретарь которой, Иваненко, был человеком добрым, обладавшим редким юмором. Не представляю себе, чтобы он когда-нибудь стал «винтиком» бездушной машины власти. Иные из преподавателей были своего рода «оригиналами», которых так и запомнишь на всю жизнь.

Таким был прежде всего наш географ старик Всеволод Васильевич Власов. До революции он служил директором

женской гимназии в Варшаве. Власов знал земной шар, как свой собственный карман. Это были не просто академические знания – на земле не было материка, где бы он не побывал. Бог весть, какая судьба забросила его в нашу глушь, но преследовала она его нещадно: сыновей потерял в гражданскую войну – одного на стороне красных, другого на стороне белых (нередкое тогда явление), жена умерла от удара, единственная дочь – красавица, студентка нефтяного института, – разочаровавшись в изменнике-ухажоре, бросилась под поезд. Но старик не сдавался и в преподавании своей любимой географии находил, видимо, утешение и забвение. Но как он ее читал! Путешествуя с Власовым по бесчисленным островам, по далеким материкам, морям и океанам, вы как будто все сами видели, слышали, переживали, – только бесконечно жаль было сознавать, что никогда вам не собрать столько денег, чтобы побывать в тех местах. Власов на старости лет решил посвятить себя любительским занятиям по изучению Кавказа в чисто краеведческом плане – его географии, флоры, фауны, людей (антропология и этнография). Так он создал Грозненское общество краеведения и начал выпускать «Известия» общества. Однажды моя учительница по партийной школе Блазомирская пригласила меня посетить вместе с ней одно из собраний общества. Эпизод, который разыгрался при попытке расширить программу, я запомнил навсегда. На собрании общества Блазомирская предложила Власову несколько раздвинуть рамки своего общества – включить в программу чтение докладов по истории народов Кавказа. Блазомирская перечислила ряд тем от завоевания Кавказа до победы Советов – «Революционное абречество и большевизм», «Достижения и недостатки советского строительства» и т. д. Власов обещал к следующему собранию общества представить новую дополненную программу. Власов был великий географ, но абсолютно невинный младенец в полити-

ке – о власти, под которой он живет, Власов имел совершенно смутное представление. Когда студент к нему обращался: «Товарищ Власов», – он резко обрывал: «Вы – невежда, какой я вам товарищ?!» Но чтобы его не называть господином, ничего не оставалось, как звать его по имени и отчеству. Он не был каким-нибудь злонамеренным контрреволюционером, он просто проспал смену власти и систем. В этом мы убедились очень скоро. С Блазомирской чуть было обморок не случился, когда она услышала на новом собрании общества свои предложения в редакции Власова: «Революционное разбойничество большевизма», «Достижения и недостатки советской власти»...

– Простите, Всеволод Васильевич, вы что, не можете отличить красных от белых, большевиков от разбойников? – ехидно спросила Блазомирская.

– Не могу, те и другие убили у меня двух сыновей, – всхлипывая от волнения, старик опустился в свое кресло.

Все осудили «неловкий вопрос» Блазомирской и бросились успокаивать Власова. Эпизод не имел никакого последствия.

«Известия» общества краеведения тоже были «оригинальным» органом, в котором среди полезного материала печаталось и много белиберды. Крайне возмутила меня в этих «Известиях» статья заведующего учебной частью Чеченского педагогического училища Знаменского. Названия статьи не помню, но главный тезис его статьи помню, как будто это было вчера: «Мой долгий педагогический опыт и специальные исследования убедили меня в том, что горские дети не способны к творческому мышлению»! Ни больше ни меньше. Разумеется, меня, горца, это задело и оскорбило. Я решил высмеять автора, написал нечто вроде фельетона-юморески и направил его в газету «Грозненский рабочий». Через день меня вызвал главный редактор Давид Вайнштейн

и, в свою очередь, начал высмеивать меня: «Да что ты, милый друг, человек проповедует на страницах советской печати махровый шовинизм, а ты упражняешься в шутках-прибаутках. Надо дать этой вылазке политическую оценку и осудить ее». Он предложил написать новую статью, что я и сделал. Заодно ее подписал и М. Мамакаев. Из статьи Знаменский мог видеть, что «горские дети», по меньшей мере, огрызаться все-таки способны. Статья тоже не имела никаких последствий для Знаменского, он продолжал работать завучем в бытность мою сначала директором того же училища, а потом и заведующим Чеченским облоно.

Совсем не от мира сего был преподаватель физики Чистяков. Он, вероятно, был большой знаток физики, но педагог – никудышный. Человек невероятно рассеянный, он жил в мире физических формул или витал в небесах, редко опускаясь на нашу грешную землю. Он вечно путал наш класс с другим классом в соседней школе, где он преподавал математику, – начинал нам читать лекцию по математике вместо физики, пока старосте группы не удавалось наконец внушить ему, что у нас сейчас урок физики. Писать при нем контрольные работы по физике не составляло никакой проблемы. Мы свободно заглядывали в учебник или списывали друг у друга, а Чистяков, хоть бы хны, сядет где-то в угол, чуть ли не спиной к нам, роется в каких-то физических журналах. Случалось часто и так. Иные задачи для контрольных работ бывали трудные, в учебниках ответа мы не находили и тогда студент обращался к Чистякову, чтобы получить наводящее объяснение. Но это «объяснение» сводилось к тому, что Чистяков сам аккуратно решал задачу, а мы это решение переписывали и за это от Чистякова получали «отлично»! Вообще говоря, задавать вопросы Чистякову было делом трудным. Разговор с ним в форме диалога редко удавался. Он имел обыкновение на все вопросы или обращения к нему отвечать фразой-«паразитом»:

– Да, знаете ли...

Создавалось впечатление, что он вообще не слушает, что ему говорят. Один из студентов в нашем классе, бойкий и немножко хулиганистый парень, Луговой, решил проверить, так ли это, и устроил «эксперимент», не предусмотренный физикой:

– Товарищ Чистяков, в сегодняшних газетах пишут, что вы вовсе не Чистяков, а китайский император – правда ли это?

Последовало обычное:

– Да, знаете ли...

Только громкий смех класса, кажется, немного потревожил его, и он повторил: – Да, знаете ли...

Всеобщим любимцем студентов был преподаватель математики Василий Иванович Гриднев. Математика не относится к любимым предметам в школе, но мы жаждали как раз уроков математики Василия Ивановича. Непревзойденный педагог, он начинал преподавание с критики распространенных предрассудков, что «трудней и скучней математики науки нет»; но, добавлял он, у математики есть один страшный враг – умственная лень! Кто поборол в себе этого врага, тот будет наслаждаться математикой, как правоверный мусульманин феерией рая. А язык математики – это же сплошная поэзия: синус и косинус, тангенс и котангенс, дифференциалы и интегралы... Только тому, кто лаптем щи хлебает, заказана дорога в эту поэзию! Однако не это и не подобные этому назидания Василия Ивановича покоряли нас, а тот неисчерпаемый кладезь иронии, юмора и анекдотов, которыми он украшал каждую свою лекцию. Впервые от него мы слышали в классе и анекдот, которым он иллюстрировал раздел алгебры «Уравнения».

– Друзья, – обратился он к нам однажды, – Ленин сказал: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация». Чему же тогда равняется сама советская власть?

Никто не отозвался. Тогда Василий Иванович ответил сам:

– Советская власть равняется коммунизму минус электрификация!

Через пару лет за такие анекдоты рассказчиков расстреливали, а слушателей заключали в концлагеря «за недонесение».

Преподавательница русского языка и литературы Зинаида Афанасьевна Гавришевская, женщина большой эрудиции и тонкого ума, соединяла в себе одной те выдающиеся качества старой русской интеллигенции, за которые мы, «нацмены», особенно уважали эту интеллигенцию: гуманизм, чуждый расовым предрассудкам; идеализм, чуждый честолюбия; доброта, переходящая в самопожертвование. Зинаида Афанасьевна не только глубоко любила русскую классическую литературу, но и щедро делилась этой любовью со своими учениками. С особенным вниманием и тактом она относилась к чеченцам и ингушам, которым трудно давался русский язык. Многие из ее чеченских и ингушских учеников впоследствии успешно кончили высшие школы. Собственно, одной Зинаиде Афанасьевне обязан я тем, что во мне пробудилась тяга к писанию. У чеченцев есть рассказик: Осман чистит кукурузное поле от сорняков. Подходит Магомет:

– Салам алейкум, Осман, как замечательно ты мотыжишь!

– Ваалейкум салам, Магомет, я в этом сильно сомневаюсь, но когда ты так говоришь, мне хочется еще усерднее орудовать мотыгой.

Прополка пошла куда лучше.

Нечто подобное происходило и со мною под влиянием поощрений Зинаиды Афанасьевны.

Русский язык был для меня иностранным языком. Как таковой, я начал его изучать по законам русской грамматики, как я изучал в свое время арабский язык. Русская грамматика – сложная вещь, но у нее своя внутренняя логика и стройные нормы литературного языка; конечно, есть коварные исключения, но с исключениями надо поступать так, как поступают со всем своим словарным фондом англо-

американцы: заучивать правописание каждого слова отдельно («спеллинг»). Так изучал и я русский язык. Скоро выяснилось преимущество моего изучения русского языка. С сочинениями у меня бывало меньше трудностей, чем у моих русских товарищей. Когда же Зинаида Афанасьевна, выделяя меня, единственного чеченца в русском классе, часто читала перед соучениками мои классные сочинения на ту или иную литературную тему, то это не только льстило моему самолюбию, но и обязывало к большему усердию. В дальнейшем я старался, как тот чеченец с мотыгой, еще больше оправдать похвалы моей учительницы. Это даже толкнуло меня в область публицистики. Уже на последнем курсе рабфака я начал писать статьи в областной и краевой печати. Через год я выпустил и первую книгу, потом последовал ряд книг на темы истории Чечни. Правда, впоследствии все эти, по существу ученические, упражнения были оценены как намеренное «вредительство на идеологическом фронте» и изъяты из обращения вместе со мною, но тут не было вины моей благородной учительницы.

Я вернулся из Москвы с некоторым балластом сомнений в отношении правильности той линии, которая требовала бить по «правой опасности». О людях, носителях этой опасности, еще не было речи в печати, но на закрытых партийных собраниях их уже начали «обрабатывать», особенно Бухарина. Начиная с 1929 г., аппарат ЦК практикует рассылку инструкций и командировку ответственных инструкторов на места, чтобы психологически подготовить партию к открытию тайны, которая в Москве уже не была тайной: в Политбюро сидят люди, которые хотят «реставрировать капитализм» в СССР! И называли их имена: Бухарин, Рыков, Томский.

Каждая местная парторганизация и каждая ячейка партии отныне включались в активную борьбу с «правым оппортунизмом, как главной опасностью» в партии и «примиренчеством» к нему. Очередное месячное партсобрание

посвящалось борьбе с правыми, докладчики присылались из горкома партии, между собраниями бюро ячеек вызывались на инструктивное совещание в горком, им давались конкретные задания вести учет и собирать сведения о тех коммунистах, у которых замечено колебание в отношении «генеральной линии». После каждого собрания принимается развернутая политическая резолюция с осуждением «правых». При голосовании стараются выявить «колеблющихся». У нас в ячейке таким оказался только один коммунист – демобилизованный красноармеец Руденко. Когда его заставили выступить на собрании и изложить свои мотивы, почему он голосует против резолюции, то он сослался на украинскую поговорку: «Когда паны дерутся, у холопов чубы трясутся!»

Штатным сочинителем почти всех резолюций Иваненко сделал меня. Бывало, докладчик горкома только начинает разносить Бухарина и возносить Сталина, подбегает Иваненко и торопит – ты, «злой чечен», давай, катай «две стороны одной и той же медали». Это его код для резолюции: я в одной из резолюций писал, пользуясь, вероятно, чьей-то «находкой» из «Правды», что «левый уклон» и «правый уклон» – это две стороны одной и той же медали. Иваненко «находка» понравилась, и он сделал ее отныне своим кодом.

Я уже упомянул, что у меня самого появилось «колебание» в отношении нового курса партии, но тогда спрашивается, почему же я составлял резолюции и не занял честно ту позицию, какую занял Руденко? Ответ подскажет читателю судьба Руденко: мы его исключили из партии, а директор выгнал с рабфака за месяц до его окончания. Двери в вуз перед ним были навсегда закрыты, а там дальше маячил и концлагерь... Такова была цена честности. После того как Сталин сначала покончил с троцкистами и зиновьевцами, а теперь и с бухаринцами, бессмысленной казалась любая попытка выправить общую политику через голосование. Если бы даже

произошло чудо и вся партия голосовала против Сталина, то из этого тоже ничего не получилось бы. Сталин достиг к концу двадцатых годов той степени власти, что мог разогнать такую партию и управлять страной, опираясь на партийно-полицейский аппарат. Этого, конечно, тогда мы точно не знали, но явно чувствовали.

4. Обком – ОНО – Партиздат

Вот и кончился учебный год. Мы получили дипломы. Вывешены списки университетов и технических вузов страны. Мы можем выбрать любой из них и поступить туда без экзаменов. Выбор такой широкий, каждый вуз так по-своему соблазнителен, что выпускники теряются – какой выбрать. На вопросы товарищей, какой же я выбрал вуз, отвечаю не без наигранной скромности – «Пчеловодческий техникум!» Бравирую «сенсацией». Хотел удивить товарищей, но потом два раза в жизни мне пришлось горько каяться, что я и всерьез не выбрал этот техникум: первый раз, когда сидел в НКВД, а второй раз, когда очутился в эмиграции без нужной здесь профессии. Однако и то решение, которое я принял, было неожиданным не только для моих товарищей, но и для преподавателей: я поступил на химический факультет Грозненского нефтяного института. Химия казалась мне чудесной наукой, а наша симпатичная химичка Каплун к тому же уверяла нас, что в Периодической системе элементов Менделеева еще много свободных клеточек и кто серьезно займется химией, тот имеет шанс заполнить их новыми элементами. Это будет эпохальным открытием. Я знал, что у меня этих шансов нет, и в новые Менделеевы не лез. Мое решение, вероятно, было результатом инстинктивного отталкивания от политических наук, после того что я видел, слышал и пережил в Грозном и Москве. Но я, что называется, попал из огня да в полымя.

Вскоре меня, во время занятий (я уже проходил практику на крекинг-заводе в Заводском районе), вызвали в Чеченский обком партии и сообщили крайне удивившую меня новость: я мобилизован и в порядке «коренизации» партаппарата назначаюсь исполняющим обязанности заведующего оргот-

делом обкома партии. Каждый обком имел тогда лишь одного секретаря, а заведующий орготделом считался прямым заместителем секретаря обкома. Секретарем обкома работал Хасман, член большевистской партии со дня ее создания, входивший в состав высшего партийного суда в Москве (Хасман состоял членом ЦКК). При первой же беседе с Хасманом я заявил, что желаю кончить высшую школу и поэтому прошу не «мобилизовывать» меня. Я был искренен – никакая другая карьера, кроме академической, меня не интересовала. Я еще вчера издевался над теми, кто, едва научившись читать и писать, бросал учение и «самомобилизовался» на «коренизацию»; теперь та же участь грозила и мне.

– С тех пор, как мы вступили в партию, мы больше себе не принадлежим. Я здесь тоже не добровольно, а по мобилизации, – сказал Хасман. Хасман прочел мне целую лекцию, после которой возражать имело смысл только, если вы решили расстаться с партбилетом.

Я занял кабинет рядом с Хасманом и был единственным чеченцем во всем обкоме Чеченцев, подходящих и желающих туда попасть, конечно, было достаточно, но в партаппарат брали не желающих, а «мобилизованных» по определенным критериям. Начав работать в обкоме, я распознал эти критерии и впервые увидел другое лицо партии, о котором до сих пор и понятия не имел. Это свое открытие я сформулировал впоследствии в книге «The Communist Party Apparatus», вышедшей в Америке, в следующем утверждении: в партии существует два права: одно открытое партийное право, основанное на фиксированном Уставе – «уставное право», – а другое закрытое партийное право, нигде не зафиксированное, но всегда действующее – это «партаппаратное право». Внешняя жизнь партии строится на «уставном праве», но живет и функционирует партия на основе «партаппаратного права». На этом праве основан режим управления партией и

государством, который я находил уникальным режимом в истории государственных образований и назвал его «тоталитарной партократией». Не только названная книга, но некоторые другие книги остались бы ненаписанными, если бы я не видел партаппарат и его «право» изнутри. С самого начала надо рассеять одно возможное недоразумение – исходя из всего того, что я писал на предыдущих страницах о своих сомнениях и разочарованиях, не следует делать вывод, что я пришел в партаппарат как чужеродный элемент. Ничуть не бывало. Это была моя власть, моя партия, мой аппарат. Социальная философия марксизма – создание бесклассового социального общежития с материальным изобилием; духовная философия марксизма – господство неограниченной творческой свободы в науке, искусстве, литературе без всякой цензуры; правовая философия марксизма – ликвидация насилия человека над человеком и постепенное отмирание аппарата этого насилия – самого государства, – таковы были наши идеалы.

Когда я пришел в аппарат партии, она все еще уверенно исповедовала эти идеалы. Я был готов им служить лояльно и преданно, невзирая на все неизбежные в таком великом эксперименте издержки и провалы. Служил бы, вероятно, и до сих пор, если бы как раз русский опыт не доказал всю утопичность философии марксизма и банкротство его теоретических позиций, когда от теории перешли к практике. Вот это банкротство марксизма в вопросах отмирания органов насилия и самого государства как аппарата власти я наблюдал именно на примере возникновения «партаппаратного права», поставленного над «уставным правом». Если прибегнуть к юридической аналогии, это означало, что административное право, да еще неписаное, ставится над государственным правом, то есть над самой конституцией. Ведь устав и есть конституция партии.

Пока Ленин стоял во главе государственного аппарата, он писал и говорил, чтобы партаппарат не вмешивался в дела госаппарата. На высшем уровне партия определяет общую политику, а в остальном госаппарат занимается государственными, а партаппарат партийными делами. Сталин держал теперь курс на «отмирание государства» в том смысле, что функции его постепенно и методически делегировались к аппарату партии. Происходило это не по решению съездов Советов и даже съездов партии, а закрыто в двух формах: во-первых, через секретные инструкции аппарата ЦК по истолкованию основополагающих решений съездов партии, во-вторых, через периодический устный инструктаж ответственных работников аппарата ЦК. В центре вех инструкций стояли два вопроса: 1) критерии подбора кадров, 2) характер и масштаб тоталитаризации руководства партаппарата над государством и над самой партией.

В 1923 году, через год после своего избрания генсеком, Сталин сформулировал общую идею своей организационной доктрины в следующих словах:

«Руководящая роль партии должна выразиться не только в том, чтобы давать директивы, но и в том, чтобы на известные посты ставились люди, способные понять наши директивы и способные провести их честно. Необходимо каждого работника изучить по косточкам... Необходимо охватить все без исключения отрасли управления» (Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет, 1923, с. 56–57).

Сталин словно перефразировал Ленина из «Что делать?» – «Дайте мне организацию партаппаратчиков, я переверну советскую Россию!» Но когда Сталин обнародовал эту доктрину, он был лишь одним из членов Политбюро, а пост «генсека» все еще считался технически-исполнительной должностью, да еще и Ленин был в живых. Поэтому предложение Сталина осталось его личным мнением.

Теперь Сталин был на путях к единоличной власти. Условием успешного завершения единоначалия Сталина и была реконструкция всей партии, которая была поставлена под контроль и руководство своего собственного аппарата, как этого хотел Сталин еще в 1923 г. Все инструкции ЦК на этот счет поступали на имя секретаря обкома (под инструкциями, как правило, стояло факсимиле подписи Сталина яркими красными чернилами, факсимиле должно было создать впечатление, что данная инструкция есть выдержка из протокола заседания Оргбюро, подписанного Сталиным). Секретарь обкома передавал их по назначению в мой отдел. Одно из главных обвинений, выдвигаемых против Сталина как левой, так и правой оппозицией, было то, что в партии уже больше нет выборных секретарей, а есть только назначенные. Практика «назначенства» привела к тому, что партаппарат поставил себя над партией и таким образом вышел из-под ее контроля. Сталин это отрицал, хотя и не очень убедительно. Теперь, когда было покончено с оппозициями, Сталин подписал ряд закрытых постановлений и инструкций, в которых объяснял, почему «нельзя пускать на самотек» дело укрепления аппарата партии. Все аргументы в основном сводились к тому, что, поскольку большевистская партия – правящая партия, то нельзя ставить руководящий костяк аппарата в зависимость от меняющегося настроения партийной массы. Отныне звание «партработник» делалось пожизненной профессией, назначать, перемещать или снимать его имел право только вышестоящий партаппарат, хотя формально его и пропускали через «выборы». Точно так же нельзя проводить дискуссий по важным тактическим и стратегическим проблемам страны на собраниях ячеек и местных конференций, – иначе партия может превратиться в дискуссионный клуб, выдавая внутренним и внешним врагам тайны партии и государства. Полная внутрипартийная демократия будет вве-

дена, когда будет ликвидировано «капиталистическое окружение».

Поэтому вводилась, вопреки существующему уставу ленинского времени, новая система занятия руководящих партийных должностей: секретарей ячеек назначали райкомы и горкомы, секретарей райкомов и горкомов назначали обкомы, крайкомы и центральные комитеты республик, а их секретарей назначал сам ЦК партии. Секретарям каждого уровня давалось право назначать не только заведующих отделами партийного комитета, но даже и членов его бюро. С тех пор, как существует Чеченский обком, ни один его секретарь не был ни выборным, ни чеченцем. Так, в свое время, непосредственно ЦК был назначен и наш Хасман. Он и назначил меня заведующим орготделом и ввел в состав членов бюро обкома.

Но Сталин был большой демократ. Скоро последовала новая инструкция – то ли под влиянием критики с низов, то ли для удобства самих «верхов», – что каждое такое назначение обязательно надо оформлять на партийных собраниях и конференциях как «выборы» руководителей, рекомендуемых вышестоящей партийной инстанцией. Противоречить этой высокой рекомендации тоже не рекомендовалось, ибо голосующих против «рекомендованных» обвиняли в нарушении принципов «демократического централизма», а иных даже изгоняли из партии. Вся эта система потом была «узаконена» включением в устав партии принципа назначения секретарей всех уровней, вплоть до райкома, Центральным Комитетом партии, только термин «назначение» был заменен словом «утверждение». Это должно было означать, что партийные организации на своих конференциях и съездах республик сами «выбирают» своих секретарей, а ЦК только «утверждает» их.

Требование Сталина «изучить каждого работника по косточкам» стало теперь внутрипартийным законом: ЦК вынес

специальное постановление (которое никогда не публиковалось, но которое действует и поныне) о введении новой формы учета коммунистов. В персональной учетной карточке коммуниста теперь имелись два раздела: один раздел заполнял лично коммунист (здесь указывались основные даты биографии и службы), а аппарат райкома или горкома заполнял другой раздел, занося в него деловые и политические оценки данного коммуниста партаппаратом; оценки эти периодически дополнялись или пересматривались по мере движения карьеры коммуниста (такой порядок до сих пор существовал только для чекистов и командиров Красной армии). Последовала специальная инструкция и насчет охвата партийным руководством «всех без исключения отраслей управления» страны. При Ленине существовал определенный дуализм в управлении: все оперативные функции государственной власти в области администрации, экономики и культуры были сосредоточены в самом государственном аппарате в лице Советов, а ЦК партии, в лице Политбюро и Оргбюро, занимался «большой политикой»; местные органы партии занимались осуществлением этой «большой политики», не вмешиваясь сами в оперативные функции советских государственных органов.

Этот порядок отменили сейчас радикально. Партийный комитет каждого уровня отныне брал на себя новые функции: во-первых, каждое решение советских органов (съездов Советов, Совета народных комиссаров, исполкомов) было лишь дублированием решений параллельных партийных органов; во-вторых, все назначения кадров в советский аппарат происходили по решению партийного аппарата; в-третьих, соответствующие отделы партийного аппарата непосредственно и оперативно руководили администрированием, экономикой, культурой, а также общественными организациями (Советы, профсоюзы, комсомол, творческие

организации), используя их оперативный аппарат как свой вспомогательный технический аппарат (на этом и был основан один из моих выводов в названной выше книге: «Современное коммунистическое государство может существовать без своего государственного аппарата, но оно не может существовать без своего партийного аппарата»). Этим объяснялось, почему партаппарат перевели от функциональной системы управления к системе отраслевой (например, в ЦК сейчас около 25 отраслевых отделов, каждому отраслевому отделу подчинено несколько министерств однотипного характера, по этому же принципу работает вся партийная иерархия до самых низов).

Мое назначение в обком совпало как раз с этой перестройкой партаппарата. До чего наивен я был во внутрипартийных делах, показал один диалог, который произошел у нас с Хасманом в связи с одной из упомянутых инструкций ЦК. Хасман был человек, которому можно было задавать каверзные вопросы, но с которым не рекомендовалось делиться своими сомнениями. Я спросил его однажды, не противоречат ли последние мероприятия ЦК уставу нашей партии. Двусмысленный ответ Хасмана просветил меня на всю жизнь:

– Дорогой мой, устав партии – это бумага, а ЦК – это жизнь, что тебе дороже: бумага или жизнь?

Впоследствии за такие «каверзные вопросы» коммунисты платили жизнью, но Хасман наградил меня лишь ехидной улыбкой. Потом на многих примерах я увидел, что Хасман выразил этой фразой не свое внутреннее убеждение, а создающийся сейчас новый внутрипартийный режим. Будучи сам «нацменом» (он был евреем), Хасман выступал против перенесения социалистических шаблонов из Центральной России на окраины. Когда секретарь Северокавказского крайкома партии Андреев, низкопоклонничая перед Сталиным, объявил Северный Кавказ, включая его национальные области,

первым по СССР краем сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, то Хасман направил в ЦК письмо, указывая, что Чечня ответит на коллективизацию восстанием, и советовал отложить проведение здесь коллективизации, пока горцы не увидят преимущества колхозного строительства на примерах русских районов.

Критически относился Хасман и к методам провокации, которые широко практиковало ГПУ в Чечне для предупреждения восстания. Обком получал от областного ГПУ копии ежемесячных сводок «Политическое положение в Чечне», которые посылались в Москву. Я часто бывал свидетелем резких столкновений между Хасманом и начальником областного управления ГПУ Крафтом как раз по поводу этих сводок. Человек прямолинейный и откровенный, Хасман обвинял Крафта, что его учреждение искусственно создает «бандитов», чтобы выслужиться перед Москвой и заработать ордена. Примеры были известны в обкоме – не столько из фальсифицированных сводок ГПУ, сколько из собственных расследований на местах. О них я говорю в другой главе этой книги, а здесь хочу рассказать о внутренней работе аппарата обкома.

В обкоме тогда было пять отделов и один сектор:

1) орготдел (распределение и учет кадров, инструктаж и руководство над окружными парторганизациями);

2) агитпропотдел (руководство партийной пропагандно-агитационной работой, руководство культурными учреждениями);

3) деревенский отдел (все вопросы сельского хозяйства, руководство колхозным движением, посылки уполномоченных обкома в деревню на сельскохозяйственные кампании – посев, уборка и заготовка хлеба, мяса и т. д.);

4) женотдел (отдел по работе среди горянок);

5) общий отдел (общая канцелярия, где регистрируют все входящие и исходящие бумаги);

6) спецсектор (связь с крайкомом и ЦК).

Все заведующие этими отделами назначались секретарем обкома, только заведующий спецсектором Соковых был назначен из ЦК «Особым сектором», во главе которого стоял пресловутый Поскребышев, шеф «внутреннего кабинета» Сталина. Формально «спецсектор» числился при моем отделе – в орготделе, а на самом деле не Соковых мне подчинялся, а наоборот, я ему. Он очень скоро дал мне это почувствовать. Было это так. Хасман находился не то в отпуске, не то в командировке. И вот в его отсутствие пришла телеграмма из крайкома с требованием согласия обкома партии на назначение некоего Журавлева заведующим одного из отделов Чеченского обкома. Соковых явился ко мне и попросил меня, как формально заменяющего Хасмана, подписать ответную телеграмму в крайком о согласии Чеченского обкома. Я отказался, сославшись на то, что такой важности организационный вопрос решает только сам секретарь обкома. Соковых вежливо, но настойчиво начал требовать моей подписи. Я еще раз наотрез отказался, добавив, что я его шеф, а не подчиненный. Это, видимо, взорвало обычно молчаливого и уравновешенного начальника «спецсектора»:

– Вы обязаны подписать телеграмму, – сказал он вызывающе, в тоне приказа.

Это, в свою очередь, взорвало меня. Поскольку Соковых хорошо знал, как мало я дорожу партийной карьерой, то он извинился и начал меня по-хорошему просвещать о технике партаппаратного правления, приоткрыв некоторые неизвестные мне до сих пор функции своего «спецсектора». В обкоме все, в том числе и я, считали, что Соковых занимается тем, что входило в официальную функцию «спецсектора»: учетом кадров, партийной статистикой, хранением секретных документов, партийным кодом, шифровальной службой. Соковых занимал две комнаты, куда никто не имел доступа,

кроме секретаря обкома и заведующего орготделом. Это считалось в порядке вещей, поскольку там хранились строго секретные документы из ЦК и направляемые в ЦК. И все-таки мы считали, что Соковых – самый обыкновенный технический служащий, с которым даже не всякий здоровался. Теперь, после нашей стычки, Соковых конфиденциально и многозначительно сказал мне:

– Я работник ЦК на службе в обкоме.

Когда через некоторое время я прочел донос Соковых на самого Хасмана, который он не успел зашифровать и оплошно оставил на столе в своем кабинете, то я понял, что значит быть «работником ЦК на службе в обкоме». На человеческом языке это означало, что Соковых – шпион «Особого сектора» ЦК в нашем обкоме, поставленный надзирать не только над нами, работниками обкома, но и над самим Хасманом. Я был достаточно благоразумен, чтобы сохранить эту тайну при себе и в дальнейшем относиться к Соковых с должным респектом.

Скоро состоялась смена руководства в Чечне: сняли Хасмана и председателя облисполкома Дауда Арсанукаева. ЦК их обвинил в «левых загибах», в результате которых якобы произошли Бенойское, Шалинское и Гойтское восстания. Между тем вина их заключалась лишь в том, что они против своей воли, но скрупулезно выполняли директивы ЦК по сплошной коллективизации и личные приказы секретаря крайкома Андреева по ее форсированию, что и привело к восстаниям. Все ожидали теперь, что последует изменение и в карьере ненавистного всем из-за своей жестокости нашего краевого вождя – Андреева. И оно произошло: Андреева назначили за «успехи» в «сплошной коллективизации» членом Политбюро.

Преемником Хасмана был назначен бывший секретарь Дагестанского обкома, ответственный инструктор ЦК Г. Кариб. Армянин по национальности (его настоящая фамилия Товмасян), член партии с 1916 г., Кариб был протеже

двух влиятельных членов Политбюро, с которыми он работал до революции в кавказском подполье, – Орджоникидзе и Микояна. Кроме того, ему покровительствовал и Каганович, у которого он работал в ЦК. Этим он никогда не бравировал, но это выводило его из-под контроля крайкома, хорошо знавшего, с кем он имеет дело. Эти связи помогали и Чечне по поднятию ее экономики и культуры. Кариб хорошо знал психологию и историю народа, над которым начальствовал теперь. Искусный дипломат, человек мягкий в обращении, он скоро завоевал авторитет среди чеченского партийного актива. Толерантность к чужому мнению и терпимость к критике собственных действий – редкие качества у партработника – с наилучшей стороны характеризовали Кариба.

В этой связи запомнилось мое выступление против Кариба на первом организационном заседании бюро обкома, когда Кариб представил на утверждение список новых руководителей отделов обкома. Запомнилась также и фальшь карьеристов, толкавших меня на это выступление. В партаппарате установился существующий и поныне неписаный закон: каждый новый секретарь имеет право привезти с собой почти весь новый состав обкома, вплоть до технических сотрудников. Когда такое происходило в русских областях, мало кто обращал на это внимание, но в национальных областях и республиках это слишком бросалось в глаза и вызывало неудовольствие, тем более что партийная пропаганда постоянно трубила о необходимости «коренизации» партийного и государственного аппарата. С таким собственным обкомом из Москвы приехал в свое время и предшественник Кариба – Хасман, который все-таки «скоренизировал» обком в моем единственном лице. А вот теперь приехал из ЦК Кариб, захватив с собою тоже свой собственный обком. Чеченский партийный актив был этим явно недоволен. Многие ответственные работники приходили ко мне в обком с

требованием, чтобы я выступил за «коренизацию» обкома. К этому времени произошла новая реорганизация партийного аппарата, количество отделов в обкоме было увеличено до семи-восьми (мой отдел был разбит на два отдела – оргинструкторский отдел и отдел кадров; отдел агитпропа – на культпропотдел и отдел массовых кампаний и т. д.). Кариб привез с собой половину заведующих всеми этими отделами, а других подобрал на месте из русских работников. Он представил этот список заседанию бюро обкома для формального утверждения. Я искренне верил каждому слову о «коренизации», в данном случае о «чеченизации», хорошо знал и основы хваленой ленинской национальной политики, помнил все партийные решения на этот счет. И вот с этим своим «теоретическим» багажом и с неподдельным идеализмом я решил дать бой Карибу. Как сегодня помню начало своего выступления (о нем потом много говорили в партийном активе): – «Бесконечно жаль, что товарищ Кариб начинает свою партийную карьеру в *Чеченском* обкоме с того, что не нашел ни одного *чеченца*, достойного работать в обкоме. Не нашел, потому что он их не искал». Я начал широко цитировать Ленина, Сталина, решения X (1921) и XII (1923) съездов партии о «коренизации»: «Есть много чеченских коммунистов, которые не уступают по своим заслугам и опыту тем, которых привез Кариб из Москвы или подобрал среди русских здесь». Под конец я назвал имена чеченских коммунистов, которые могут быть поставлены во главе отделов обкома: организатор чеченского комсомола, владелец комсомольского билета № 1, рабочий-коммунист, выпускник КУТВ имени Сталина, заведующий облздравотделом – Саид Казалиев; представитель Чечни при президиуме ВЦИК, заслуженный коммунист с высшим образованием – Саид-бей Арсанов, – и я назвал на выбор около десяти таких лиц с подробными биографическими данными, которые хранились в моем отделе.

Вот тогда я впервые в жизни испытал, что значит фальшь, помноженная на лицемерие, если имеешь дело с карьеристами. Едва я кончил свою не в меру темпераментную и по форме оскорбительную для Кариба речь, как со всех сторон на меня начались атаки тех ответственных работников, которые накануне как раз и требовали от меня, чтобы я выступил в защиту «коренизации». Некоторые даже обвинили меня в «уклоне» в «местный национализм». Иные отводили мои «националистические выпады» против линии партии, один коммунист, который особенно негодовал на Кариба за то, что тот, будучи армянином, привез с собою только русских, с пеною у рта стал защищать правильную «интернациональную» политику Кариба. Я был крайне ошеломлен – не нападками на себя, а людской подлостью, которая воистину не признает ни веры, ни национальности. Но ошеломлены были и мои обвинители, когда последним выступил сам Кариб: «Товарищ Авторханов абсолютно прав, снимаю вопрос с обсуждения до следующего заседания бюро обкома».

На следующем заседании Казалиев стал заведующим отделом кадров, а Арсанов завкультпропом. Такая положительная реакция Кариба на мое выступление, несмотря на демагогические выпады против меня моих же товарищей, вызвала у меня уважение к нему. Я очень жалел о своей бестактности, сказавшейся в выражении «начал карьеру», и о той горячности, с которой отводил кандидатов Кариба.

Чисто человеческую симпатию Кариб завоевал у меня, когда в мою личную жизнь ворвалось событие, которое угрожало кончиться драмой. Оно было связано с моей женитьбой на Сепиат Курбановой, с которой я познакомился на рабфаке. У меня решительно не было желания жениться, пока не кончу высшей школы, но я вдруг заболел «есенинской болезнью», которой заболевает каждый в этом возрасте, и Есениным начал бредить:

«Я не знал, что любовь – зараза,
Я не знал, что любовь – чума,
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума».

Бред кончился тем, что я женился на Сепиат по-чеченски: я ее украл! Конечно, есть у чеченцев и нормальный обряд женитьбы: будущий жених, – собственно его родители – засылают сватов из почетных лиц к родителям будущей невесты. Ритуал сватовства обставляют весьма торжественно, платят калым (который потом с лихвой возвращается в виде приданого невесты), а после этого через месяц невесту увозят в дом жениха в сопровождении целого эскорта джигитов, и устраивается «пир на весь мир». На этой свадьбе молодоженам делают деньгами и вещами такие богатые подарки, что пир себя вполне окупает. Кому такая церемония казалась слишком сложной, тому ничего не оставалось, как взять и увезти невесту, нормально – с ее согласия, ненормально – против ее воли. В последнем случае ее родственники объявляют жениху кровную месть. Такую кровную месть объявили и мне; я вынужден был вместе с невестой скрываться по чужим домам. Когда я сообщил Карибу о причине моей неявки на работу, то он сам приехал ко мне и предложил мне вместе с невестой переехать в его дом, который охранялся. Переехать я отказался, но попросил его связаться со старшим братом невесты Исрапилом Курбановым, который работал ответственным инструктором Северокавказского крайкома партии в Ростове. В ответ от него получили телеграмму – сделать так, как хочет сестра. Тогда родители и другие братья невесты предъявили мне два условия: во-первых, разрешить нейтральному лицу посетить девушку, чтобы установить, согласна ли она выйти за меня замуж, во-вторых, чтобы бракосочетание происходило не по-граждански, а по-магометански, то есть по шариату. Я принял оба условия, и дело кончилось миром. Я

все-таки «исповедался» у Кариба, предупреждая сообщения других, что совершил «антикоммунистический грех» – женился по-шариатски у муллы, но Кариб засмеялся: «Грех небольшой, я был шафером у Микояна, а он у меня на свадебном обряде в армяно-григорианской церкви».

Карибу было что-то около 35 лет, но он имел уже богатый организационный опыт и необыкновенный талант партийного организатора. И не удивительно – после кратковременного возглавления Дагестанского обкома он все последние годы работал в ЦК, в орготделе под непосредственным руководством Кагановича, регулярно участвовал на инструктивных совещаниях Молотова и Сталина, объездил почти всю страну, проверяя и инструктируя местные партийные организации во время борьбы с внутрипартийными оппозициями. Действие внутренних пружин механизма партийной власти я узнал впервые именно от Кариба. Его устные комментарии к указанным выше инструкциям ЦК были достойны университетских кафедр по анатомии большевизма и технологии его власти. У Кариба была довольно цельная философия «организационной доктрины», которой он выучился, вероятно, у своих непосредственных учителей из ЦК. Ее основные компоненты, цинично обнаженные, хорошо иллюстрировали моральную природу нашей власти:

– Не верь ни бумагам, ни людям снизу, которых ты сам не проверил;

– не толкуй партийные директивы по тексту, а толкуй по их подтексту;

– абсолютная власть партии требует абсолютного контроля над партией, поэтому поставь контроль над контролем.

Философия Кариба много внесла в мое понимание как причин поражения всех оппозиций внутри партии, так и тайны всепобеждающей организационной техники сталинского партаппарата. И все-таки неисповедимы глубины философии самого Сталина – в 1937 г. Кариба расстреляли.

Работа чиновника в аппарате была чужда моим интересам и призванию. Я просил Кариба перевести меня на работу в печати, но безуспешно. В книге «Технология власти» я уже рассказывал, как после отзыва из ИКП я попал на работу в отдел печати ЦК (его возглавлял сначала Ингулов, потом Б. Таль). Я был сотрудником сектора национальной печати, которой заведовал таджик Рахимбаев, человек доброй души и исключительной скромности. В возрасте 24 лет он был секретарем ЦК Туркестана и председателем ЦИК Туркестана, работал со Сталиным в качестве члена коллегии Наркомнаца. Потом он стал председателем правления Центриздата народов СССР, заместителем председателя Национальной комиссии ЦК, позже – председателем Совнаркома Таджикистана и одним из председателей президиума ЦИК СССР. На этом посту он был арестован и расстрелян в 1938 г.

В упомянутой книге я также уже рассказывал о тогдашних функциях отдела печати и о его руководителях. Здесь я не стану повторяться. Только отмечу: я должен был анализировать не только политическое содержание русскоязычной прессы национальных республик, но и то, как соблюдаются редакторами скрупулезные инструкции Главлита. На устных инструкциях нам внушали, что по микроскопическим крупицам информации в республиканских газетах враг может составить полную картину, например, не только о количестве войск, но и об их дислокации там. Поэтому надо было читать, как бы будучи «военным цензором», каждую статью, заметку, письмо и даже еще практиковавшиеся тогда рекламные объявления. Но самым трудным было не это, а другое, до чего могли додуматься только сталинские алхимики – искать в собственных газетах зашифрованную «классовым врагом» тайную информацию, которую он может протащить либо эзоповским языком, либо просто кодом, как это делали сами большевики до революции и продолжали делать за границей после революции.

Самый интересный положительный опыт, который я приобрел в отделе печати – это как вообще читать свою, советскую прессу. Идеологическая машина ЦК – машина бесподобная, вездесущая, неотступная, назойливая и результативная по силе разложения и пленения человеческой психики. Ее работой разрушения и созидания, действия и противодействия, информации и дезинформации насыщена жизнь каждого советского человека, начиная с дворника и кончая академиком. Эту машину можно и нужно ненавидеть, но нельзя не удивляться виртуозному мастерству ее организованной, систематической, научно разработанной лжи. Этой лжи нет в кристально чистом виде – тут всегда комбинация элементов правды с большой ложью, фактов с выдумками, событий с фантазией. Ведь сам же Сталин сказал, что нам нужны «критика и самокритика», если даже там только 5–10% правды. Значит, 90% может составить несусветную ложь!

Это все – позднейшие выводы, но в те годы агитпроп ЦК представлялся мне Олимпом мудрых учителей, изрекающих святые истины. Только мучил один вопрос: каким будет конечный облик величественного здания социализма, когда он у нас окончательно победит? Даже всезнающий, мудрый Сталин и тот отмалчивался, когда его об этом спрашивали. Но когда через пять лет – в 1936 г. – он сказал, что мы уже в основном построили в СССР социализм, то все еще сохранившиеся в партии идейные марксисты, которых я встречал даже в ЦК, лишились дара речи – настолько потрясающим показалось им очередное марксистское «открытие» Сталина: оказывается, социализм означает всего-навсего – абсолютизация власти, огосударствление средств производства и расширение сети концлагерей! Мы этого не поняли даже тогда, когда Сталин на январском Объединенном пленуме ЦК и ЦКК (1933) сделал первое эпохальное и

для судьбы миллионов трагическое открытие – именно об абсолютизации власти государства.

Оказывается, процесс «отмирания государства» тоже протекает не по Марксу, Энгельсу и Ленину, что после национализации средств производства и ликвидации эксплуататорских классов происходит постепенное ослабление государственных органов насилия вплоть до их отмирания. До сих пор мы читали во всех произведениях классиков марксизма, во всех учебниках, что государство – орган классового господства, орган насилия одного класса над другим. Буржуазное государство – последнее государство угнетателей и насильников. Пролетарское государство, которое придет на смену буржуазному государству в виде «диктатуры пролетариата», будет держать курс на постепенное ослабление своих карательных функций и максимальное усиление культурнических, воспитательных функций. Сталин лишь одной фразой объявил всю литературу классиков марксизма по данному вопросу ненужным и вредным историческим хламом. Фраза эта памятна ее жертвам: «Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление» (Сталин. Вопросы ленинизма, с. 394).

Партия яростно аплодировала этой фразе, а марксистские правоведы типа Вышинского писали о гениальном открытии товарища Сталина в марксистском учении о государстве, но никто не догадывался, что уже тогда, почти за два года до убийства Кирова, в голове Сталина сложились ясные контуры инквизиции 1937–1939 годов, неизбежность которой надо было марксистски обосновать. В необыкновенном заблуждении была сама партия – она не могла и в мыслях допустить, что Сталин больше половины ее членского состава отнесет к «остаткам умирающих классов» и тоже ликвидирует. Но что говорить о миллионной партии, когда даже ее

опытная, много видавшая и много знающая элита – ЦК и ЦКК – тоже не догадывалась, что Сталин планирует ее почти тотальное уничтожение: из общего состава Объединенного пленума ЦК и ЦКК, аплодировавшего на этом пленуме его «марксистскому открытию», было физически уничтожено более 90%.

Вернусь к хронологии событий.

Однажды Кариб предложил мне пост секретаря Урус-Мартановского окружкома партии (тогда было не районное, а окружное административное деление). Назначению этому я нисколько не был рад. Я убедил Кариба, что я не подхожу для данной должности: Урус-Мартан – традиционный исторический центр Чечни, где живет почти одна треть ее населения; там очень считаются со старыми обычаями, традициями, которые никак не признают за «молокососами» права давать приказы старшим (на чеченском языке даже нет слова «приказ»), а тем более учить их, как они должны жить.

– А ты отпусти бороду, как Микоян, и будешь стариком, – сказал Кариб и тут же засмеялся, зная, что я этого не сделаю (между прочим он так-таки заставил моего ровесника Магомета Омарова отпустить бороду – он ему предложил пост председателя облисполкома, если он отпустит бороду, тот принял условие и носил большую бороду. Но когда его сняли, он сбрил и бороду).

Мой второй аргумент показался ему веским: я рассказал ему, что начал собирать материалы для книги по истории гражданской войны в Чечне и Ингушетии, а работая в деревне, да еще на такой «трудоемкой должности», как руководитель округа, я должен буду отказаться от этой затеи. Вот на это он клюнул.

– Превосходная идея, я даже тебе устрою интервью с Орджоникидзе, Кировым, Гикало, Костериным – они руководили здесь борьбой против Деникина и всегда с восхищением

рассказывают о героизме чеченцев и ингушей, выступавших за дело революции (Сталин и Киров писали об этом статьи, Костерин – целую книгу «В горах Кавказа», а Орджоникидзе докладывал об этом в телеграммах и письмах самому Ленину). Партия высоко оценит такую работу, – добавил неутомимый оптимист Кариб (увы, партия ее оценила совсем по-другому, о чем речь тоже будет потом).

Главное, Урус-Мартан отпал, и Кариб предложил мне новый пост, более отвечающий моим интересам: я был назначен заведующим облоно и членом президиума облисполкома Чеченской автономной области. Работа тоже была не из легких, но здесь у меня было несколько энергичных помощников, между которыми я распределил текущую оперативную работу. Мое дело было играть в «начальника», подписывать разные документы, соблюдать финансовую дисциплину и представлять интересы моего ведомства в президиуме облисполкома и бюро обкома. Кроме того, я установил и новый порядок приема посетителей: городских посетителей принимать до обеда, сельских в любое время дня. Таким образом я выигрывал некоторое свободное время и для написания книги. На этой почве однажды получился скандал. Как-то раз, после обеда, приходит в мой кабинет секретарша и сообщает, что в приемную явился, вероятно, важный посетитель и требует, чтобы его немедленно приняли. Я велел, чтобы она уведомила его о нашем распорядке, пусть приходит в часы приема завтра. Потом из приемной доносится громкий разговор «важного посетителя» с секретаршей, она, как ужаленная, вновь прибегает в кабинет и, явно нервничая, докладывает, что, по его словам, он какой-то «интегральный инспектор» и требует, чтобы я немедленно вышел к нему. Это меня крайне раздражило, ибо важнее меня считал себя каждый мой второй посетитель, к тому же должность инспектора с математическим прилагательным

мне ни о чем не говорила. Поэтому я не только не вышел к нему, но еще и предложил выставить его из приемной. Через полчаса – звонок от Кариба:

– Зайдите ко мне.

Через минут пять я у Кариба (тогда обком и облоно находились в одном здании, у Ленинского моста). Кариб обращается ко мне, представляя единственного посетителя в кабинете: «Познакомься с интегральным инспектором Наркомпроса РСФСР, – (называет фамилию, которую я забыл). А потом Кариб обращается к гостю и говорит: – Расскажите, как наш завоблоно вас не принял».

Тот рассказал все, как было, добавив, что через полуоткрытую дверь он видел, что я ничего не делал, занят какими-нибудь бумагами не был, а восседал за столом и преспокойно читал газету «Правда». Гость, обращаясь лично ко мне, сказал, что он не только интегральный инспектор Наркомпроса, но прямо подчинен самому наркому Бубнову, а Бубнов, да будет вам это известно, член Оргбюро ЦК партии.

Слово взял Кариб. Став спиной к гостю и лицом ко мне, Кариб начал порицать мое поведение, повышая голос и одновременно мне подмигивая. Я Кариба сразу понял – надо умиротворить этого типа, так как он своим доносом Бубнову может всем повредить. Кариб потребовал – на этот раз без подмигивания, – чтобы я признал, что поступил неправильно, и я признал свою неправоту. Кариб тут же пригласил нас обоих вечером к себе на ужин. «Умиротворение» удалось как нельзя лучше, но «интегральный инспектор» оказался по части выпивки слабаком и уже после нескольких рюмок коньяка начал на радостях поочередно целовать то Кариба, то меня. Карибу пришлось уложить его у себя. На второй день Кариб рассказал мне, что давно добивался, чтобы Бубнов прислал к нему своего представителя, который, изучив на месте катастрофическое состояние нашего школьного

строительства, просил бы правительство об отпуске нам новых субсидий. Он предложил всячески угождать «интегральному инспектору», что я, конечно, и делал. Через месяц мы получили копию его докладной записки на имя Бубнова о великих усилиях чеченского руководства повысить темпы проведения в жизнь «всеобщего обязательного начального обучения», которое тормозится отсутствием средств на школьное строительство. Сравнительными таблицами автор доказывал необходимость новых субсидий. Еще через месяц последовало распоряжение правительства об отпуске средств на народное образование. Мы в долгу не остались: на следующий год пригласили инспектора с семьей на наш курорт Серноводск. Конечно, «рука руку моет». Это и есть тот единственный принцип, который безотказно действует при «социализме» и поныне. Если даже первый секретарь обкома с его высокими связями в Москве позволял себе прибегать к «блату» (ведь тогда же возникла поговорка «блат выше Совнаркома»), то это доказывало лишь всесилие централизованной бюрократии. Как я вижу из сообщения советской и западной прессы в 1981 г. о нашумевшем деле «подпольного капитализма» в Чечено-Ингушетии с участием «коммерсантов» из Грузии, министра из Грозного, заместителя министра из Москвы, теперь уже происходит сочетание лично приятного с общественно полезным: советские министры берут взятки, чтобы организовать в интересах населения производство дефицитных товаров. Это – прогресс по сравнению с моим временем.

Было у меня много неприятностей по службе, во-первых, из-за моей неопытности, во-вторых, просто потому, что я служебной карьерой совершенно не дорожил, ибо собирался продолжать свое образование. Частые столкновения бывали со старыми чиновниками в аппарате облоно, в глазах которых я был «политкомиссаром»-выскочкой. Они не были не-

правы, но их мелкие подвохи, подчеркнутое игнорирование моей персоны, порою ехидные замечания с чисто шовинистическим душком (один даже заметил мне, что мой кабинет не мечеть, и я не должен здесь сидеть в кавказской шапке) не настраивали меня в их пользу. На особом счету у меня был мой давнишний «враг» – главный бухгалтер Лаптев. «Нацмены», кроме государственной стипендии, получали еще дотации от своих «автономий», мы, студенты Грозненского рабфака, получали ее из рук Лаптева. Через какие унижения надо было пройти, пока Лаптев даст распоряжение кассирше Зейц выдать нам эти несчастные шесть или семь рублей!

Поскольку я не упускал случая обвинить Лаптева в бюрократизме, то я тоже был у него на особом счету. Но вот теперь как раз я должен был стать его начальником. Это было ему как снег на голову в летний день. Такого нахальства старый скептик, русский интеллигент и, безусловно, большой знаток своего дела, не ожидал даже от советской власти. Смирившись с этим фактом только внешне, он, вероятно, решил отравить мне жизнь мелкими придирками, чтобы в конце концов я сам сбежал отсюда.

Самая большая доля государственного бюджета Чечни, естественно, приходилась на дело народного образования – что-то около 13 млн. рублей. Расход каждой копейки этих денег должен был оформляться двумя подписями – моей и Лаптева. Особым решением правительства в Москве главным бухгалтерам учреждений и предприятий было предоставлено право опротестовывать незаконное денежное распоряжение своего начальника письменно на той же бумаге, на которой оно дано. Если же и после этого начальник повторяет свое распоряжение, то главный бухгалтер должен его выполнить, сообщив о его незаконности в КК-РКИ (Контрольная комиссия партии и Рабоче-крестьянская инспекция). Я должен поставить себе в заслугу, что в обращении с

финансами государства я был аккуратным до скрупулезности и никакие Лаптевы тут меня учить не могли. Если ко мне поступали планы, предложения, просьбы по материальной части, в которых я чувствовал что-то неладное и незаконное, то такие бумаги до Лаптева вообще не доходили. Но была у меня одна небольшая слабость: если ко мне поступали заявления от студентов – как местных, так и приезжающих из Ростова, Москвы, Ленинграда, – с просьбой выдать им их дотации за пару месяцев вперед или кому-нибудь, в чрезвычайных случаях, оказать помощь в виде единовременного пособия, то случалось, что я шел навстречу, – вероятно, как бывший и будущий студент, знающий, как трудно им сводить концы с концами своего мизерного бюджета. Вот тут Лаптеву и представился подходящий случай подкузьмить меня и одновременно продемонстрировать свою власть.

В материальном отношении случай был пустяковый. Какой-то студент подал заявление, чтобы облоно выплатило ему дотации за летние месяцы вперед, приведя какие-то мотивы, которые показались мне убедительными. Я поставил резолюцию: «Главбух. Выдать». Лаптев поставил контррезолюцию: «Это незаконно». Я повторил свою резолюцию, то же самое сделал и Лаптев, причем вернул мне эту бумагу не через свою помощницу, как в первый раз, а через самого подателя заявления: пусть, мол, все знают, что тут хозяин Лаптев, а не этот «выскочка», – между тем речь шла о каких-нибудь двадцати рублях. Лаптев добился своего: он толкнул меня на дерзкий, на этот раз явно незаконный шаг, граничащий с самонадеянностью, будто я сам Сталин! – я наложил новую резолюцию: «Главбух – если незаконно, то узаконьте», с размашистой подписью, которой красоваться бы не здесь, а на червонцах... Разумеется, Лаптев, долго не мешкая, побежал в областную КК-РКИ и торжественно вручил им мою резолюцию. Не помню, чем эта история кончилась. Скорее всего,

мне напомнили, что я не законодатель, а Лаптеву – не солидно стрелять из пушек по воробьям. Зато – как возносили меня студенты!

Если говорить о положительных результатах моей двухлетней работы на посту завоблоно, то кроме резкого расширения школьной сети, я могу сослаться на мое участие в создании Чеченского педагогического техникума на базе Учебного городка, из которого потом вырос Чечено-Ингушский государственный педагогический институт. Последний реорганизован ныне в Чечено-Ингушский государственный университет, являющийся им только по названию (БСЭ хвалится, что в этом университете в 1978 г. училось около 6 тыс. студентов из 30 национальностей, – т. 29, с. 178, третье издание). Я был инициатором и организатором Чеченского национального драматического театра-студии в 1931 г. Пригласил в театр-студию учителями-режиссерами А. А. Туганова и Алили (из Азербайджанского театра), драматургом – основоположника чеченской литературы Саида Бадуева, по музыкальной части – знаменитого в Чечне гармониста-виртуоза Умара Димаева, набрал около 3040 студентов театра-студии, из которых многие стали, как я вижу по БСЭ, заслуженными и народными артистами. Я решил совершенно переключиться на литературную работу и приступить к написанию своей основной книги – «Революция и контрреволюция в Чечне». Поэтому попросил обком освободить меня от работы в облоно и назначить меня директором Национального театра, что и случилось.

Оставил я некоторые следы и в литературе, которые советские колонизаторы тщательно замалчивают или уничтожают. Будучи председателем Чеченской «Ассоциации пролетарских писателей», помогал писателям издавать их произведения, писал предисловия – в частности, к сборнику произведений Бадуева, – критические статьи, рецензии. Был

назначен в 1931 г. решением бюро обкома, по инициативе его первого секретаря Г. Махарадзе, руководителем авторской группы по составлению «Грамматики чеченского языка». Эта грамматика вышла в Грозном в 1933 г. с моим предисловием, Главную работу над ней провели первый чеченский ученый-лингвист Халид Яндаров и «чеченский Даль» – лексиколог Ахмат Мациев, а я был в лингвистическом отношении их «ассистентом» (имея опыт сравнительного изучения двух грамматик – арабской и русской – я мог быть им полезным, тем более что под влиянием Яндарова я очень увлекался яфетической теорией академика Н. Я. Марра). Поэтому я сам предложил перечисление авторов «Чеченской грамматики» сделать не по алфавиту, а по степени важности участия каждого из нас: «Х. Яндаров, А. Мациев, А. Авторханов. Грамматика чеченского языка».

Все это я рассказываю, чтобы показать, как велик страх атомной сверхдержавы, когда ее ученым приходится ссылаться на эмигрантов. Вот наглядный пример: известному знатоку чеченского и родственных чеченскому языков, профессору Ю. Дешериеву, при перечислении авторов и названий литературы в своей книге «Сравнительно-историческая грамматика нахских языков» (Грозный, 1963) в отношении нашей грамматики, чтобы выкинуть мое имя, пришлось проделать следующий трюк: «Грамматика чеченского языка», «Х. Яндаров и другие». Вот этим «и другие» профессор умалил труд ученого Мациева, ибо если писать «Яндаров, Мациев», то «и другие» не получается, так как остаюсь неназванным только я один, а сказать «и другой» нельзя Проще вышел из положения автор «Чеченской диалектологии» И. Арсаханов (Грозный, 1969). Он, назвав авторами грамматики Яндарова и Мациева, поставил точку. По форме – научная нечестность, но по существу он тоже не мог иначе поступить.

Однако мои главные литературные интересы лежали не в области изучения грамматики чеченского языка, а в области изучения чеченской и кавказской истории вообще. За три года – с 1931 по 1934 гг. – я написал три книги: «Краткий историко-культурный и экономический очерк о Чечне» (Ростов-Дон, «Севкав-книги», 1931, она указана в разделе «Литература о Чечне» – БСЭ, т. 61, с. 536); «Революция и контрреволюция в Чечне. Из истории гражданской войны в бывшей Терской области» (гор. Грозный, Партиздат, 1933); «Объединение, рожденное революцией» (гор. Грозный, Партиздат, 1934). Они написаны до получения мною высшего исторического образования и поэтому это скорее работы любителя истории своего народа. Конечно, они написаны с советских позиций, но, увы, в моей первой книге «К основным вопросам истории Чечни» имя Сталина вообще не упомянуто, а в книге «Революция и контрреволюция в Чечне» упомянуто только в предисловии в связи с письмом Сталина в журнал «Пролетарская революция». Зато вывод, который я сделал из этого письма Сталина, можно было бы повторить в передовой статье газеты «Правда» даже сегодня. Я писал так: «Не история для истории, не чистая наука для науки, а непримиримая большевистская партийность во всех науках – таково основное требование ленинизма. Нет и не может быть правильной разработки истории революционного движения, не помогающей практическому осуществлению генеральной линии партии на сегодняшний день».

Забегая вперед, скажу, что как раз эту цитату положил прокурор на моем суде в основу своей обвинительной речи, когда он, кроме прочих, более страшных обвинений, инкриминировал мне еще и контрреволюционное вредительство на идеологическом фронте. Аргументация прокурора была лишена всякой человеческой логики, не говоря уж о ее юридической абсурдности, но она вполне стояла на уровне сталинской антилогики. Прокурор заявил, что данная

цитата – классический образец утонченного двурушничества «матерого врага народа», чтобы, прикрываясь предисловием с таким тезисом, протащить через советское издательство антисоветскую вредительскую книгу, в тексте которой почти на 200 страницах имя Ленина встречается только один раз, а имя нашего вождя и учителя товарища Сталина – ни разу.

Весной 1932 г. приехал в Грозный от ЦК мой прежний шеф Рахимбаев, чтобы организовать Чеченское отделение Партиздата при ЦК партии. Рахимбаев сообщил мне, что, по его предложению, на пост директора нового партийного издательства ЦК рекомендует меня. Обкому оставалось только утвердить меня. Заодно Рахимбаев привез мне упомянутую рукопись моей «Революции и контрреволюции», которую я посылал директору Партиздата при ЦК Г. Бройдо. К рукописи была приложена его рекомендация напечатать книгу в Грозном. Принял я предложение Рахимбаева не без задней мысли, подсказанной им же:

– Вот будете директором и, наверное, первой же – издадите собственную книгу, – сказал он.

Так оно и получилось.

Таким образом, я неожиданно для самого себя вновь стал партийным работником и возглавил издание всей оригинальной и переводческой партийной литературы. Работа эта была не только чрезвычайно трудоемкой, но и исключительно опасной в той крайне изуверской атмосфере, которая установилась в духовной жизни страны в результате названного письма Сталина. Особенная опасность грозила по линии переводов. Я и мои сотрудники отвечали не только за точность переводов на чеченский язык «классиков марксизма-ленинизма», но – в буквальном смысле – и за каждую неправильно поставленную запятую. Общеизвестно, что партийное начальство в советском государстве весьма щедро в бессмысленной растрате народных средств, но мало кому

известно, что многомиллионные суммы денег, отпускаемых на переводы «классиков» и очередных вождей на местные языки – это преступная безмозглость: ведь кому они нужны, тот читает их на русском языке, а кому не нужны, тому их навязывают в магазинах как принудительный ассортимент к дефицитному товару. Правда, эти переводы могут читать и сами русские, если у них нет под руками оригинала, ибо, страхуясь от роковых ошибок в толковании того или иного термина, переводчики не затрудняют себя поисками национальных эквивалентов, отчего переводный текст состоит на одну треть из иностранных слов, бытующих в русском языке, на другую треть – из самих русских слов, а на остальную треть – из слов данного языка. Начальство даже поощряет такой порядок, ибо это способствует практическому осуществлению политики партии по «интернационализации», то есть русификации языков нерусских народов (здесь дело доходит до того, что переводчики должны сохранять русские окончания прилагательных от таких слов, как «коммунизм», «социализм», «большевизм», «ленинизм» и т. д., вопреки законам собственных языков).

Поскольку речь зашла о переводах, несколько слов и о переводах художественной литературы с национальных языков на русский язык. Партия упорно и систематически воспитывает у национальных поэтов и прозаиков комплекс неполноценности. Национальные писатели, окончившие русские средние и высшие школы, владеющие русским литературным языком не хуже своих русских коллег, если хотят издаваться по-русски, должны и до сих пор прикреплять к хвосту своего произведения ярлычок с пометкой: «авторизованный перевод» такого-то. Между тем в большинстве случаев это не перевод, а литературная правка, к тому же русский писатель, указанный как переводчик, понятия не имеет о языке, на котором написано данное произведение. Говорят о «подстрочниках», но подстрочники можно писать к стихам, какой же

подстрочник напишешь, скажем, к объемистым романам на кабардинском языке Алима Кешокова, который свободно владеет русским языком и окончил два русских вуза. Даже за ним, высоким литературным чиновником (он секретарь Союза советских писателей СССР), не признают официального права быть собственным переводчиком, хотя фактически переводит свои произведения он сам. Или другой пример: известный не только в СССР, но и за рубежом балкарский поэт Кайсын Кулиев, который свои стихи на русский язык переводит куда лучше его «присяжных» переводчиков, не нашелся, что ответить, когда кто-то спросил его, почему он своих стихов не переводит сам. Таким же отличным переводчиком собственных стихов был и известный чеченский поэт Магомет Мамакаев, но он должен был писать подстрочники к своим стихам. Я всегда находил, что «подстрочники» Мамакаева превосходили не только по сохранению их национального колорита, но и по литературной отделке «продукцию» его так называемых переводчиков. Однако главная беда в том, что русские переводчики делают «подстрочники», даже отдаленно не походящие на оригинал. Иной раз совершают подтасовку образов и метафор, заменяя их несвойственными языку и мышлению данного народа образами, взятыми из русского фольклора или просто из литературных трафаретов. Порою даже совершают намеренный подлог, но уже по указанию цензуры. Так, у того же Мамакаева есть трагедийная поэма о советских концлагерях, где он провел 17 лет. Я читал ее сначала на чеченском языке, а потом на русском, в переводе, изданном в Москве. Тема та же, герой тот же, но на русском языке мамакаевский концлагерь из Сибири «попал» в Центральную Германию, а герои его погибают не от рук башибузуков из НКВД, а в когтях башибузуков другого цвета из гестапо.

Редко какому-нибудь национальному писателю (даже родственных славянских языков – украинского и белорусско-

го) удается разбить миф, что сам он не в состоянии перевести свои произведения на русский язык. Им с литературной «колыбели» неизменно внушают мысль: писать по-русски могут только русские! Только евреям удалось в СССР пробить эту стену из-за того, что уже был прецедент: сам «проклятый царизм» пустил их в русскую литературу. Из кавказцев я знаю только двух – Г. Гулиа и Ф. Искандера; и из среднеазиатов тоже двух – Ч. Айтматова и О. Сулейменова, которые добились признания права писать по-русски талантливые, хорошо известные и за рубежом романы, повести, поэмы. Эти исключения как раз подтверждают правило. Разумеется, есть и весьма добросовестные и выдающиеся переводчики – поэты, без которых литература малых народов осталась бы вообще неизвестной. Не о них у меня речь.

Вернусь к Партиздату. Надо признать, что со дня изобретения письменности вообще не было ничего подобного порядку прохождения политических рукописей – оригинальных и переводных, – установившемуся в советских издательствах после письма Сталина. Так как этот порядок в основном господствует и поныне, расскажу вкратце об инструкции, которую я получил от Партиздата ЦК. Каждую рукопись, согласно этой инструкции, читали независимо друг от друга два рецензента, члены партии, и под свою личную ответственность выносили обоснованное заключение, можно ли ее принять к производству. Если отзывы обоих рецензентов были положительны, то рукопись принималась, если рецензенты расходились во мнениях, то рукопись отвергалась. После принятия рукопись читали литературный редактор с точки зрения точности политической терминологии, технический редактор с точки зрения соблюдения технических формальностей. Потом рукопись направлялась на политическое редактирование персонально назначенному обкомом партии ответственному редактору. Если ответственный редактор на свой страх и риск ставил свою подпись в

конце рукописи, то тогда издательство приступало к ее выпуску в свет, но в набор книга шла, если ее подписали все контролеры: ответственный редактор, издательский редактор, литературный редактор, технический редактор, ответственный корректор, «читчик» (читает вслух рукопись), «подчитчик» (сравнивает набор) и поставлен номер цензуры (выданный под личную ответственность руководителя издательства). Завершающее действие после набора должен был предпринять я сам: «сдать в печать». Вот книга уже готова. Отпечатаны тысячи экземпляров, но ни один экземпляр не может быть выдан кому бы то ни было, пока НКВД не будут посланы так называемые «сигнальные экземпляры» и на одном из них не появится штамп и подпись начальника СПО НКВД: «Разрешено к распространению». Всю эту процедуру прошла и моя «Революция и контрреволюция...» до того, как стать «вредительской».

В истории не было ни одного режима, который так панически боялся бы свободного слова как устного, так и печатного, как советский режим. Сравнивать его в этом отношении с режимом царским могут лишь исторические невежды, злостные дезинформаторы или невинные жертвы, отравленные идеологической сивухой партии. Даже в эпоху Николая I Россия в духовной жизни была в тысячу раз свободнее, чем в наши дни. Ведь недаром Сталин и его наследники объявили Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, живших в эпоху Николая I, чуть ли не «пролетарскими писателями», ибо они осмеливались и им удавалось издавать не только критиковавшие существующий строй произведения, но и выпускать журналы, где такие произведения печатались («Отечественные записки», «Современник» и др.). Особенный размах свободная мысль (художественная, философская, критическая, публицистическая) получила после «Великих реформ» Александра II, когда по закону о печати вообще отменялась цензура для книг и периодических изданий (цензура

сохранялась только для книг объемом менее 160 страниц, а «пузатый» «Капитал» Маркса вышел на русском языке в Петербурге в 1872 г. в типографии Министерства путей сообщения). Что же касается России в эпоху Николая II, после «Манифеста 17 октября 1905 г.», то духовные свободы – свобода совести, свобода слова, свобода объединения, объявленные этим «Манифестом», – стояли на уровне свобод демократических стран на Западе. Достаточно указать на тот общеизвестный пример, с которым ежедневно сталкивается советский человек, – на газету «Правда». В ее шапке сказано: «Газета основана 5 мая 1912 г. В. И. Лениным», но умышленно выпущено место основания – «Санкт-Петербург», – ибо тогда читатели увидели бы, что Ленин организовал свою большевистскую газету легально, по закону, в столице царской России, а в Государственной думе Ленин имел свою легальную большевистскую фракцию. Ну и уж совсем незачем говорить о режиме Временного правительства после Февральской революции. Об этом времени сам Ленин писал, что Россия – самая свободная страна в мире.

В первые годы советской власти даже среди большевиков были политические деятели, которые непрочь были ослабить цензуру и предоставить хотя бы интеллигенции право свободного творчества. Один из старых большевиков, бывший одним из организаторов Октябрьской революции, секретарь Московского комитета партии Г. Мясников в брошюре «Больные вопросы» писал, что, ввиду монополии партии в области печати, в советском государстве процветают коррупция, взяточничество, злоупотребление властью, а партийная печать молчит и прикрывает партийных бюрократов (сейчас это происходит в гигантском масштабе). Мясников пришел к выводу: «У нас куча безобразий и злоупотреблений: нужна свобода печати их разоблачать». Ленин, чтобы резко пресечь такие требования, – поскольку точно знал, что советский режим вообще не продержится без монополии партии на

печать, – ответил Мясникову с откровенностью осведомленного циника: «Мы самоубийством кончать не желаем и поэтому этого не сделаем» (Ленин, Соч., т. 32, сс. 479–480).

Но даже и эти ленинские времена, когда все еще существовали частные книжные издательства, когда иные эмигрантские писатели печатались в советской России, когда происходило нечто вроде обмена «идей и информации», кажутся «демократическими» по сравнению с тем, что ожидало нас в эпоху Сталина. Я слышал о случае, когда весь многомиллионный тираж газеты «Правда» был уничтожен только из-за того, что корректор допустил символическое «рассечение» Сталина, т. е. перенесение второго слога на новую строку – Сталин. С тех пор ввели должность «ответственного корректора». Я знал случаи, когда за цитирование в своих статьях Троцкого – разумеется, чтобы его критиковать, – изгоняли людей из партии, обвиняя их, что они под видом цитирования протаскивают «троцкистскую контрабанду» в советскую литературу. Немного позже, к концу тридцатых годов, за такие действия, совершенные безо всякого злого умысла, можно было очутиться в концлагере. Помните знаменитый анекдот Карла Радека по адресу Сталина: «Я ему цитату, а он мне ссылку!»

Бывало, конечно, и хуже. У нас в Чечне был очень талантливый поэт Абади Дудаев. Он в свое время кончил медресе, но муллой не был, собирал чеченский фольклор, сочинял песни и стихи о «счастливой советской эпохе». Однажды он прочел на республиканском собрании писателей свои стихи, посвященные смерти Орджоникидзе. Серго Орджоникидзе был большой друг чеченцев и ингушей, и стихи всем понравились. В заключительном слове Дудаев, очень тронутый похвалами, выразился трагически неосторожно: «Когда Сталин умрет, я напишу еще лучше». На второй же день его арестовали и за подготовку «террористического акта против Сталина» расстреляли. Невероятно, но исторический факт.

5. Как началось строительство социализма

Даже убежденные критики социализма думают, что существующий ныне в СССР «реальный социализм» построила партия, опираясь на свои идеи и людей. Этот глубоко укоренившийся в сознании многих предрассудок, поддерживаемый и культивируемый самой партией, извращает истину и дезориентирует внешний мир. Мое поколение хорошо помнит, что нынешний «реальный социализм» в СССР построили чекисты, после того как была закончена чекизация большевистской партии по завету Ленина (Ленин: «Хороший коммунист – хороший чекист», т. XXX, с. 450). Те же критики социализма, которые правильно считают, что советское государство является «полицейским государством», никак не могут выговорить другую истину: «реальный социализм» есть советская маска доподлинного «полицейского социализма» не потому только, что его построили на штыках карательных войск ОГПУ, но в первую очередь и главным образом потому, что своим противоестественным долголетием он обязан перманентному и универсальному физическому и духовному террору чекистской системы.

Прежде всего одно общее замечание об истоках большевизма. Теорий и мудрствований на эту тему уйма, начиная от объявления Ивана Грозного и Емельяна Пугачева духовными предтечами большевизма и кончая кропотливым копанием в «загадочной душе» русского человека в поисках той феноменальной ее фибры, от которой исходят наследственные «мессианские» наклонности большевизма. Между тем, дело обстояло очень просто: «нигилисты» Тургенева и «бесы» Достоевского, русские ублюдки, выращенные на антирусской западной духовной почве, перекочевав в XX век, создали беспрецедентную в других странах «пролетарскую» партию: партию по уничтожению собственного исторического

отечества. Написав на своем знамени слова Маркса «У пролетариата нет отечества», она назвала себя «партией нового типа» – партией большевиков. Столь же простой была и ее концепция достижения цели. Ее лапидарно выразил Ленин в известных словах: «Дайте нам организацию революционеров и мы перевернем Россию» («Что делать?», 1902). После того как Ленин ее «перевернул», перед этой партией встала другая задача, по его мнению, даже более трудная: как удержать захваченную власть. Но и тут у большевиков был заранее разработанный план, о котором они, будучи еще на путях ко власти, ничего не говорили: чтобы новая власть была неуязвимой, надо тотально уничтожить не только старые классы, но и старую интеллигенцию, чтобы новая власть была тоталитарной, надо национализировать не только богатства страны, но и ее народы, и каждый советский человек должен работать на государство, а не на себя. Потом само государство будет возвращать ему мизерную часть его же собственного хлеба как «прожиточный минимум», постоянно напоминая ему, что он живет на «иждивении государства», которому должен быть бесконечно благодарен. В деревне строительство вот этого «реального социализма» началось с коллективизации. Я стоял у ее истоков на таком маленьком кусочке гигантского советского государства, как Чечено-Ингушетия, и наблюдал, в каких муках она рождалась. То, что происходило у нас, происходило и по всей стране. Разница была только в степени и масштабе сопротивления. Забегая вперед, скажу, что Чечено-Ингушетия была и единственным клочком в Советском Союзе, где колхозы существовали только на бумаге. Правда, сеяли чеченцы и ингуши вместе, но львиную долю хлеба забирали себе, а остатки отдавали государству. (Колхозов у них нет и сейчас, есть только совхозы.)

Когда началась коллективизация, я работал заведующим оргтделом обкома партии. Хотя на тему о коллективизации много говорили и писали, но никто толком не знал, как ее

будут проводить в жизнь, если крестьяне откажутся войти в колхозы. Мы читали речь Сталина от 27 декабря 1929 г. на конференции марксистов-аграрников о переходе к «сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса», читали и постановление ЦК партии от 5 января 1930 г. о плане проведения этой коллективизации по отдельным районам СССР, но и в них тоже не было ответа на этот главный вопрос. Даже наш секретарь обкома Хасман думал, что коллективизация – дело добровольное, и в национальных областях она будет проведена в последнюю очередь. Пока мы гадали и судили, получаем телеграмму секретаря Северокавказского крайкома Андреева, которая прозвучала как гром среди ясного неба: ЦК партии объявил Северный Кавказ первым по СССР краем сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, а Северокавказский крайком объявил первым районом ее осуществления среди национальных областей как раз Чечню.

Когда телеграмма А. Андреева, в виде решения советской власти, была объявлена чеченскому народу, то, странным образом, чеченцы ей не придали особого значения. Но когда прибыли в аулы отряды ГПУ и уполномоченные областного и краевого комитетов ВКП(б) и начали забирать – у одних крестьян все имущество, движимое и недвижимое, арестовывая их самих вместе с семьями для выселения в Сибирь, как «кулаков», у других – все движимое имущество, чтобы сдать его в общий «колхоз», – произошел взрыв: вся Чечня восстала как один человек.

Незачем описывать весь кошмар происходивших событий, ограничусь здесь рассказом о тех восстаниях, свидетелем которых был я сам. Наиболее крупными и наиболее организованными были восстания в Гойти (руководители – мулла Ахмет и Куриев), Шали (руководитель – Шита Истамулов), Беное (руководители – Яроч и Ходжас). Восставшие заняли

все сельские и районные учреждения, сожгли казенные архивы, арестовали районное начальство, в том числе и шефов ГПУ, в Беное захватили еще и нефтяные разведки, учредили временную народную власть. Эта временная власть обратилась к советскому правительству с требованием: 1) прекратить незаконную конфискацию крестьянских имуществ под видом «коллективизации»; 2) прекратить произвольные аресты крестьян, женщин и детей под видом ликвидации «кулачества»; 3) отозвать из всех районов Чечни начальников ГПУ, назначив на их место выборных гражданских чинов из самих чеченцев, имеющих право преследовать лишь уголовные элементы; 4) ликвидировать назначенные сверху «народные суды» и восстановить институт шариатских судов, предусмотренных учредительным съездом Горской советской республики 1921 г. во Владикавказе; 5) прекратить вмешательство краевых и центральных властей во внутренние дела Чеченской автономной области, а всякие хозяйственно-политические мероприятия по Чечне проводить только по решению Чеченского съезда выборных представителей, как это предусмотрено в статуте «Автономии».

Все эти свои требования повстанческое руководство направило непосредственно в Москву и при их выполнении соглашалось сложить оружие и признать советскую власть. Москва быстро почувствовала серьезность положения. Для «мирной ликвидации» восстания из Москвы прибыла «правительственная комиссия» в составе кандидата в члены ЦК ВКП(б) Кл. Николаевой, заместителя председателя Совнаркома РСФСР Рыскулова и других высоких сановников. Из представителей областной власти туда вошли председатель областного исполнительного комитета Д. Арсанукаев, секретарь Областного комитета ВКП(б) Хасман. Я выполнял в этой комиссии роль переводчика. Первым мы посетили Шали – крупный окружной центр. Необычно суровый декабрьский

холодище перехватывал дыхание, но от картины, которую я увидел на огромной площади, перехватило дух еще больше: тысячи и тысячи людей, полуодетых и плохо одетых, лежали лицом к земле, окруженные вооруженной охраной. Вот к этим лежащим полумертвым от адского холода людям обратилась с речью Кл. Николаева, начав речь с каламбура: «Шали, больше не шалите!», но кончила ее миролюбиво. Она заявила, что ответственность за происшедшие события несут исключительно местные работники, действовавшие вопреки установкам партии и правительства, и что эти работники будут строго наказаны, как только повстанцы прекратят борьбу. Что же касается требований повстанцев о восстановлении статута «Автономии», то было оглашено от имени советского правительства «Обращение к чеченскому народу», в котором говорилось, что «внутренние чеченские дела будет решать и впредь сам чеченский народ». Повстанцы признали эти объяснения удовлетворительными и согласились вернуться по домам в ожидании выполнения обещаний советского правительства. Однако Кремль, по своему обычному вероломству, не сдержал обещаний. Началась новая волна арестов.

Тогда вновь восстали те же районы. К границам Чечни начали прибывать регулярные части войск ОГПУ. К концу января 1930 г., под личным руководством командующего Северокавказским военным округом – командарма I ранга Белова, в центры восстания было двинуто и несколько дивизий Красной армии. Концентрацией такой солидной силы на относительно маленьком участке Шали-Гойти (население 150 тыс. человек) при отсутствии каких-либо естественно-географических укрытий для ведения оборонительной войны, к середине февраля 1930 г. были взяты оба центра восстания: Гойти – после поголовного уничтожения штаба повстанцев во главе с Курневым и Ахмет-Муллой, а Шали – после организованного отступления сил вождя восстания Шиты Истамулова в Горную Чечню.

Потери с обеих сторон были велики. В конце марта 1930 г. Белов, получив свежие силы из Закавказья, развернул большое горное наступление, чтобы овладеть последним пунктом повстанцев – Беноем. После двухмесячных тяжелых боев и больших жертв, в апреле 1930 г. Белов вошел в Беной, но в ауле не застал ни одного жителя: все жители, включая женщин и детей, эвакуировались дальше в горные трущобы. Победитель Белов послал к повстанцам парламентеров с предложением почетного мира: всем, кто добровольно возвращался обратно в аул и сдавал оружие, объявлялась амнистия. Повстанцы ответили, что они вернутся в аулы только тогда, когда Белов уйдет со своими войсками.

Тем временем в самой политике партии произошел тактический поворот: Сталин и ЦК пересмотрели обанкротившуюся политику партии в колхозном движении. Специальным решением ЦК ВКП(б) были осуждены «левые загибщики» в колхозном движении, колхозы были объявлены добровольными объединениями, и в национальных районах, как Чечня и Ингушетия, колхозы были вообще отменены как «преждевременные». В национальных районах разрешалось организовывать только «товарищества по совместной обработке земли», так называемые ТОЗы. Чеченское партийное и советское руководство (Хасман, Журавлев, Арсанукаев) за то, что оно точно выполняло приказы Андреева, то есть Сталина, было снято – их объявили «левыми загибщиками». Из Чечни были отозваны войска и одновременно завезено огромное количество промышленных товаров по весьма низким ценам (сначала кнут, а потом пряник). Всем участникам восстания, в том числе и вождям, была объявлена амнистия (который раз!) от имени центрального правительства.

Повстанцы вернулись в свои аулы. Вождь повстанцев – впрочем, в прошлом бывший красный партизан – Шита Истамулов тоже вернулся в Шали. По указанию сверху, Иста-

мулов даже был назначен председателем Шалинского сельского потребительского общества. Осенью 1931 г. Истамулов был вызван к начальнику районного ГПУ Бакланову для вручения ему официального акта амнистии из Москвы – вручая ему одной рукой акт, Бакланов из-под стойки другой рукой выпустил в него весь заряд из маузера. Тяжело раненный Истамулов успел заколоть насмерть кинжалом вероломного Бакланова. Наружная охрана добила Истамулова. Трупы Бакланова и Истамулова завернули в бурки и на машине ГПУ увезли в Грозный.

Почти с предначертанной аккуратностью в горах Чечни происходили каждой весною крестьянские восстания, а партизанское движение было перманентным. На эти восстания народ толкало не только постоянное стремление к национальной свободе, не только провокационная политика самих чекистов, но и просто тупоумие московских правителей в Чечено-Ингушетии, не считавших нужным принимать во внимание религиозный фанатизм и национальные адаты чеченцев и ингушей. В этой связи запомнилось одно абсолютно глупое и интересами дела не вызванное решение обкома.

Обком партии, во главе которого стоял москвич Егоров, решил организовать свиноводческую ферму в бывшей столице Шамиля – в Дарго. Настойчивые советы его чечено-ингушских коллег не делать этого, ибо это вызовет возмущение фанатичных чеченцев (чеченцы и ингуши, как магометане, не едят свинины), не возымели действия – Егоров, наоборот, обвинил своих коллег в «националистических предрассудках». «Если чеченцы не едят свинины, тем лучше для самих свиней – не будут красть», – пояснил Егоров своим коллегам по обкому. Свиноводческая ферма была организована, она просуществовала ровно один день: днем привезли свиней, ночью чеченцы их закололи. Конечно, при этом не

украли ни одной свиньи. Психологически действия чеченцев были легко объяснимы: завозом свиней в магометанское село, жители которого никогда их не видели раньше, власть совершила, по их мнению, величайшее святотатство.

Больше свиней в горы не завозили, но зато, вместо заколотых что-то около десяти свиноматок, из Дарго НКВД вывез до 30-ти «бандитов» для отправки в Сибирь. Подобных случаев тупоумной провокации советская действительность в Чечено-Ингушетии знает немало. Вскоре чекисты додумались и до новой идеи: организаторов всех антисоветских восстаний в аулах надо искать в городе, в каком-то едином «национальном центре», куда, несомненно, должны входить представители чеченской интеллигенции. Идея создания мифического центра оказалась настолько соблазнительной, что за нее взялись со всей энергией и рвением секретарь Северокавказского крайкома Евдокимов и Северокавказское ОГПУ под личным руководством Курского (потом «застрелился» на посту заместителя главы НКВД СССР – Н. Ежова). В этот «центр» было включено много близких мне людей: родной брат моей жены инженер Курбанов, мои школьные друзья инженер Мустафа Домбаев, проф. Халид Батукаев (профессор Грозненского нефтяного института), родственники жены Беймурзаев, Мациев, Чермоев; начальник Облфо Шамилев, секретарь окружкома партии Сотаев и др. По сценарию НКВД, «национальный центр» готовил на этот раз всеобщее чеченское восстание по указаниям из-за границы бывшего президента Северокавказской республики Тапы Чермоева и внука имама Шамиля – Саид-бека Шамиля. Для организации таких «указаний» Грозненское ГПУ командировало за границу своего секретного сотрудника, бывшего белого офицера Виса Харачоева. Скоро начали приходить письма – из Стамбула, Парижа и Лондона, адресованные разным лицам из «национального центра». Письма эти приходили в Грозный не на адрес прямых получателей, а на имя подставных лиц,

«для передачи» такому-то. Одним из таких подставных лиц в Грозном был мой друг Хас-Магомет Яхшатов, показывавший мне эти письма. Он был, в свою очередь, предупрежден ГПУ, что будет получать «заграничные письма» для других и что он обязан доставлять их немедленно в ГПУ. Письма были написаны Мациеву, Курбанову, Баймурзаеву и другим. Автором большинства писем был Тапа Чермоев, который писал их то из Стамбула, то из Парижа и Лондона. Однажды мы договорились, что я вскрою одно из очередных писем, а он скажет ГПУ, что я его вскрыл из любопытства (оно действительно так и было) в его отсутствие, так как письмо было «заграничное». Я знал, что ГПУ со мной ничего не может сделать: тогда члены обкома не были поднадзорны ГПУ, – а с его начальником Крафтом я встречался каждую неделю на заседании бюро обкома. Мы распечатали одно из писем, и нас ожидал сюрприз: Чермоев и Шамиль обещали оружие из Англии, когда начнется чеченское восстание. Однако за сюрпризом последовало и разочарование: письмо было написано рукой нашего близкого знакомого, почерк которого мы оба отлично знали: Харачоевым. Об этом я немедленно доложил Хасману, а Хасман в ЦК, но из ЦК последовало указание: обком не должен вмешиваться в «оперативные дела» ГПУ.

Осенью 1932 г. была арестована вся эта группа. Вслед за тем были произведены массовые аресты по Гудермескому и Ножай-Юртовскому районам. В общей сложности по этому делу, делу «Чеченского Национального Центра», было арестовано до трех тысяч человек. Арестованным было предъявлено обвинение в создании «контрреволюционного национального центра Чечни для подготовки и проведения вооруженного восстания». В связи с этим, выступая на Краевой партийной конференции в 1934 г., секретарь краевого комитета Евдокимов цитировал упомянутые «письма миллионера Чермоева» из-за границы к чеченскому народу. Евдокимов рассказывал, что Чермоев призывал в этих письмах

своих единомышленников подготовиться ко всеобщему вооруженному восстанию чеченского народа, которое будет поддержано средствами и оружием западными державами, в первую очередь Англией.

Очутившись впоследствии за границей, я еще раз убедился, что версия о письмах Чермоева была ложью, а сами письма – фальшивками ОГПУ. Но как раз эти письма и служили «вещественными доказательствами» против «национального центра». Почти все арестованные были осуждены коллегией ГПУ. Из членов «центра» Абдулкадиров, Шамилев, Моца-Хаджи, Сотаев были расстреляны. Э. С. Беймурзаев умер в ГПУ, мне удалось получить его труп, но живым помочь я не мог. Другие получили по 10 лет. Впоследствии, в 1937 г. в концлагере, были расстреляны брат жены Курбанов и мой незабвенный друг Домбаев.

За раскрытие этого мнимого «контрреволюционного национального центра Чечни» были награждены орденами «Красного знамени» – Евдокимов, Курский, Федотов из Краевого ОГПУ, Павлов, Крафт, Миркин, Васильев, Трегубов из Чеченского областного ОГПУ. Отныне восторжествовала «теория», что «бандитов» надо искать в Чечне не только в горах и лесах, но и за столом ученого, в заводских цехах и лабораториях, в кабинетах чиновников и даже в составе партийных комитетов. Это, пожалуй, и было началом конца самой Чечено-Ингушской республики.

Расскажу и о событиях в Ингушетии, которые наиболее ярко запечатлелись в памяти. Они были спровоцированы чисткой в Ингушетии от «буржуазных националистов», шейхов и мулл, которая коснулась ее позже всех, потому что Ингушетию возглавлял умеренный «национал-коммунист» и личный друг Орджоникидзе по гражданской войне ингуш Идрис Зязиков. «Национал-коммунисты» в других областях Кавказа давно были изгнаны, в их креслах сидели национальные марионетки, которых тогда называли «выдвиженцами», а

Зязиков продолжал строить свой собственный «ингушский социализм» без классов и классовой борьбы, без арестов и судов, в полной гармонии со своими шейхами, мюридами и муллами. Соседи завидовали Ингушетии, – что у нее такой миролюбивый «падишах», а чекисты доносили в Ростов и Москву, что Зязиков «якшается с классовыми врагами». Проверить жалобу Сталин поручил секретарю крайкома Андрееву. Когда приехавший во Владикавказ Андреев на экстренном заседании бюро обкома вызывающе спросил у Зязикова, сколько врагов он арестовал за время своего секретарства, то Зязиков со столь же вызывающим хладнокровием ответил: «Ни одного, ибо в Ингушетии живут только одни ингуши». Зязикова сняли с должности и послали учиться на Курсы марксизма при ЦК. На его место секретарем Ингушского обкома назначили Черноглаза.

Вступление в должность Черноглаза ознаменовалось резким поворотом в политике областного руководства. Черноглаз начал с того, что открыл в стране фанатиков ислама поход против религии и развернул борьбу против «реакционного духовенства». Во Владикавказе (Владикавказ был тогда общей столицей Осетии и Ингушетии) Черноглаз объявил об учреждении «Областного союза безбожников Ингушетии», а областной газете на ингушском языке «Сердало» дал директивы развернуть широкую кампанию по вербовке ингушей в этот «Союз безбожников».

Даже больше. Многих мулл прямо вызывали в ГПУ и заставляли подписывать заявление об отказе от религиозной службы, как от «антинародной, реакционной деятельности». Их заявления печатались в «Сердало». Дело этим не ограничилось. Черноглаз дал установку своим помощникам перейти в борьбе с религией «от болтовни к делу». Первым отозвался на этот призыв начальник Назрановского окружного ГПУ Иванов. Очевидец рассказывал мне, как летом 1930 г. Иванов приехал в селение Экажево и предложил

председателю сельского совета срочно созвать пленум сельского совета и вызвать на этот пленум местного муллу. Председатель исполнил приказ. Вызванному на пленум мулле Иванов заявил: «Вот уже в разгаре хлебозаготовка, между тем у вас в ауле ощущается сильный недостаток в зернохранилищах, а у крестьян конфисковывать дома для казенного зерна я не хочу. Поэтому я предлагаю такой выход: надо отдать вашу аульскую мечеть под амбар, а мулла с сегодняшнего дня должен отказаться от своей религиозной службы».

Не успел передать переводчик содержание речи Иванова, как в помещении сельского совета поднялся неистовый шум. Некоторые громко кричали: «Надо убить этого гяура!» «Вонзить в него кинжал!» Только вмешательством самого муллы был наведен порядок. При этом он заявил начальнику Иванову: «Ваши действия противны не только народу, но и Всемогущему Богу. Я боюсь Бога и не могу подчиниться вашему приказу». Сам председатель сельского совета внес предложение: мы найдем другое помещение для зерна. Чтобы не закрывать мечеть, любой ингуш отдаст свой собственный дом. Присутствующие единодушно поддержали председателя. Но Иванов был неумолим: «Под зерно мне нужен не всякий дом, а именно мечеть». Ингуши вновь стали громко протестовать и угрожать. Предчувствуя недоброе, Иванов покинул собрание. Но уже было поздно: при выезде из Экажева он был убит членом секты Кунта-Хаджи Ужаховым. За это убийство было расстреляно пять человек (Ужахов и мулла в том числе) и до трех десятков ингушей было сослано в Сибирь.

Из этого убийства Черноглаз сделал совершенно ложные выводы. Он считал, что убийство начальника ГПУ свидетельствует о наличии всеобщего антисоветского заговора в Ингушетии. Он решил раскрыть этот заговор и наказать его участников. Но как раскрыть мнимый заговор? Тут вновь на помощь пришло ГПУ.

Осенью 1930 г. в Ингушетию прибывает таинственный «представитель» Японии. Он нелегально разъезжает по крупным аулам Ингушетии, завязывает связи с авторитетными среди ингушей людьми, проводит с ними нелегальные совещания, делает на этих совещаниях весьма важные сообщения о планах войны Японии против СССР. Свою штаб-квартиру «японский представитель» устанавливает у Раджаба Евлоева в Долаково. После «инспекционного объезда» по аулам этот «представитель Японии» созвал междуаульское объединенное собрание, на которое были приглашены влиятельные и заведомо антисоветски настроенные лица из ингушей. Сам хозяин квартиры – в прошлом известный царский офицер – пользовался у ингушей, как человек явно несоветский, полным доверием. Все приглашенные были известны и друг другу, и ингушскому народу, как люди верные, энергичные и решительные. В числе их были – Хаджи Ибрагим Ташхоев, мулла Иса Гелисханов, Чада Шибилов, Саид Шибилов, Раис Далгиев, Мурад Ужахов и другие (из аулов Назрань, Долаково, Базоркино, Галашки и т. д.). На этом нелегальном совещании «представитель Японии» и Раджаб Евлоев сначала привели к присяге на Коране всех присутствующих, что они обязуются держать в строжайшей тайне «планы», которые им будут тут сообщены. После окончания этой церемониальной части «представитель Японии» изложил суть дела: Япония собирается вступить в самое ближайшее время в войну против Советского Союза. В этой войне на стороне Японии будут еще и другие мировые державы. Кроме того, ее поддерживают и многие из угнетенных большевиками народов. На Кавказе уже почти все народы, кроме ингушей, заверили Японию в поддержке ее с тыла в этой будущей войне. Теперь он уполномочен своим правительством пригласить ингушей присоединиться к общему «освободительному фронту народов». Представитель Японии говорил

долго, убедительно и с большой логикой. Его действительно японская физиономия придавала его словам вес и убеждала в его правдивости. В заключение он заявил, что еще до начала войны Япония намерена поддержать своих союзников деньгами и оружием. Закончив информацию, «японец» спросил, принимают ли присутствующие японский план «освобождения Ингушетии». Когда присутствующие ответили согласием, «японец» назначил каждого из присутствующих «командиром сотни». «Командиры» получили револьверы японского образца и японские военные знаки отличия. Приказ к выступлению ингуши должны были получить в начале войны. «Японский представитель» уехал вполне довольный успехом своего предприятия. Оружие ингуши спрятали в ожидании «войны и приказа». Но как и надо было ожидать, война не началась, а Ингушетия была наводнена войсками ГПУ: в одни и те же сутки были произведены массовые аресты почти во всех крупных аулах. При этом был арестован весь «японский штаб» заговорщиков, у членов которого нашли японские револьверы и японские знаки отличия, как «вещественное доказательство». На воле остался помощник «японского представителя» Раджаб Евлоев и сам «японец», оказавшийся монголом из Среднеазиатского ОГПУ. 21 человек расстрелянных, до 400 человек сосланных без суда и следствия – таков был результат для ингушей этой очередной провокации ГПУ. Зато почти все лица начальствующего состава Владикавказского Объединенного отдела ОГПУ были награждены высшими советскими орденами за выполнение «специального задания советского правительства».

Секретарь обкома Черноглаз вырос в глазах ЦК ВКП(б) на целую голову. Теперь он задумал вторую операцию: искоренить в Ингушетии ислам и ликвидировать его проповедников. Черноглаз искренне был убежден, что под видом религиозных сект (секты Кунта-Хаджи, Батал-Хаджи и Шейха

Дени Арсанова) в Ингушетии существуют почти легальные контрреволюционные организации. Поэтому сейчас же после «японской операции» Черноглаз дал распоряжение об изъятии всех возглавителей указанных сект. Аресты возглавителей сект произвели на ингушей исключительно удручающее впечатление. Множество жалоб посыпалось в Москву на самовольные действия Черноглаза. Даже специальная делегация, в числе которой было много соратников Орджоникидзе и Кирова, ездила в Москву к Калинину с просьбой убрать Черноглаза, «чтобы восстановить в Ингушетии мир и порядок». Но все эти «жалобы» в конце концов возвращались к тому же Черноглазу – «для разбора». Подобный разбор заканчивался обычно арестом лиц, подписавших «контрреволюционно-муллльскую клевету». Но от этого жалобы не прекращались. Тогда Черноглаз решил объездить Ингушетию и раз и навсегда разъяснить ингушам, что религиозные секты объявлены контрреволюционными организациями, поэтому все, кто будет посещать собрания этих сект, немедленно будут арестованы. Первый визит был сделан в Галашки. На антирелигиозное выступление Черноглаза, как рассказывал ингушский партработник, сопровождавший его, старик Бекмурзиев ответил под всеобщее одобрение присутствующих: «Вот на этой самой площади, на которой мы находимся, 25 лет тому назад выступал такой же, как и вы, царский начальник над всеми ингушами, полковник Митник. Митник от имени сардара (наместник Кавказа) предъявил нам ультиматум – сдать оружие, которого мы не имели. Митник был плохой человек, а власть еще хуже. Поэтому вот таким кинжалом (старик указал на свой кинжал) я его и убил на этой же площади. Я был приговорен к пожизненной каторге, но через 12 лет революция меня освободила. Советская власть – хорошая власть, но ты, Черноглаз, нехороший человек. Я тебя убить не хочу. Только даю тебе мой совет: уезжай

ты из Ингушетии, пока цела твоя голова. Весь народ зол на тебя. Ей-Богу убьют».

Старик говорил по-русски, говорил внушительно и горячо, как юноша. Вместо того, чтобы действительно подумать над «советом» Бекмурзиева, Черноглаз распорядился об аресте «старого бандита» и поехал созывать очередное собрание в следующем ауле – в Даттахе. Там повторился вариант той же картины. В тот же день вечером, под Галашками, там, где дорога проходит через маленький лесок, Черноглаз был убит в своей машине. Простреленная машина и обезглавленный труп Черноглаза остались на месте. Голову ингуши увезли с собою – ее никогда так и не нашли.

Убийство Черноглаза дорого обошлось ингушам. Первым был арестован по совершенно ложному обвинению в организации этого убийства Идрис Зязиков вместе со своей женой Жанеттой. Были арестованы все его друзья и родственники. По аулам были произведены аресты среди всех тех лиц, которые числились в так называемых «списках порочных элементов» ГПУ, куда обычно заносились имена не только «бывших», но и «будущих бандитов». Зязикова и террористов побоялись судить во Владикавказе. Их судили в Москве в Верховном Суде РСФСР.

Террористы объяснили мотивы убийства Черноглаза его провокационной политикой в Ингушетии. Из одной реплики между председателем суда и одним из подсудимых ингушей родился даже анекдот: на вопрос председателя суда, куда же делась голова Черноглаза, не совсем понявший вопрос ингуш ответил:

– У Черноглаза совсем не было головы, если бы у него была голова, он не творил бы такие безобразия в Ингушетии.

Подсудимые, в том числе и непричастный к убийству Зязиков, были приговорены к расстрелу, но вмешательство Орджоникидзе спасло тогда Зязикова. Его расстреляли в 1937 г.

6. Утопист Бухарин и реалист Сталин

Пользуясь данными из собственных исследований и наблюдений, я хочу здесь восстановить в памяти развитие внутрипартийной жизни 20-х годов, которые подготовили тридцатые годы с кровавой коллективизацией, кровавыми чистками и триумфом сталинской тирании.

Мое поколение вступило в политическую жизнь в переходную эпоху – в эпоху агонии партии и революции и торжества сталинской реакции. Как любая переходная эпоха, она была полна резких поворотов и драматических событий. Человеческая трагедия и человеческие жертвы этой эпохи не знают прецедентов в мировой истории. Тщетно вы будете искать следов всего этого в советской историографии. С тех пор прошло более пятидесяти лет, но партийный и государственный архив той эпохи все еще держится в строжайшей тайне. В этом есть свой резон – нынешняя КПСС не может раскрыть свою родословную, не рискуя совершить самоубийство. Настолько чудовищным оказались эти жертвы.

Период восхождения Сталина к власти преподносится в советских учебниках как «триумфальное шествие» социализма и социалистического гуманизма. Власть, которая боится правды, вынуждена фальсифицировать собственную историю. Впрочем, это совсем не советский феномен (только здесь он стал виртуозным). Еще Бальзак заметил: «Имеются два вида мировой истории – один вид официальный, лживый, для преподавания в школе, другой вид – тайная история, в которой таятся подлинные причины событий». Вся история переходной эпохи остается тайной, как тайнами оставались мотивы поведения Сталина до самой «Великой чистки». Трагедия самой партии, ее тогдашней элиты заключалась в том, что она воспринимала Сталина таким, каким он

рисовался в своих речах и докладах. Выступления Сталина выдавались за его мотивы. Это было величайшее заблуждение. Троцкий и Бухарин говорили то, что они думают. Их мотивы были в их словах. У Сталина, наоборот, слова служили маскировкой мотивов. Так было и в том, воистину историческом, выступлении Сталина 28 мая 1928 г. в ИКП, на котором я присутствовал. В «Технологии власти» я подробно рассказывал об этом. Здесь же я хочу сравнить Сталина как оратора с другими тогдашними лидерами. До Троцкого из большевистских вождей я слышал председателя Совнаркома Рыкова и наркома по иностранным делам Чичерина. Это было летом 1926 г. Они приехали в Чечню, и прием в их честь чеченское «автономное» правительство устроило перед самым правительственным зданием (это был тогда единственный четырехэтажный дом в Грозном, раньше он принадлежал чеченцу Абубакиру Мирзоеву). День выдался погожий, чеченский духовой оркестр играл революционные и кавказские мелодии с таким подъемом и так громко, что его можно было слышать за городом. Через всю улицу от правительственного здания к противоположному зданию ВЛКСМ протянулся транспарант чеченского комсомола с надписью из слов популярной тогда песни: «Предсовнаркома товарищу Рыкову мы, комсомольцы, шлем свой привет!» Приглашенные со всех уголков Чечни лучшие танцоры демонстрировали свое виртуозное искусство кавказских танцев. Казачий хор пел народные песни, но всеобщий хохот высокого начальства вызвали красавицы-казачки с революционными частушками, одна из которых прямо была адресована самому Чичерину: «В своей красоте я глубоко уверена, если Троцкий не возьмет, выйду за Чичерина!».

В разгар торжества гости выступили с речами. Сначала говорил Алексей Иванович Рыков. Стройный, выше среднего роста, с продолговатым лицом, с черной бородкой с еле за-

метной проседью, он говорил, что старая царская политика на Кавказе «разделяй и властвуй» канула в вечность и отныне горцы Северного Кавказа сами стали хозяевами своей судьбы. Рыков был страшный заика, куда больше, чем его преемник Молотов. Поэтому он каждое слово, чтобы осилить его, как бы распевал: «г-г-го-р-цы Сссе-вер-но-го Каа-вкаа-за». Чичерин, круглый, с рыжеватой бородкой, глазастый, говорил о героической борьбе горцев за свободу, об исторической миссии Кавказа помочь всему порабощенному Востоку освободиться от ига английского империализма. «Это вы, сыны Кавказа, надежда Востока, будете маршировать в авангарде борьбы против империализма», – закончил он свою речь под наше всеобщее ликование. В те годы советская дипломатия не лицемерила, как сейчас, это была открытая и честная дипломатия мировой революции – «идем на вы!» Поэтому Запад знал, кто и как идет, а Восток – почему и куда идет...

После я слышал доклады на международные темы Карла Радека, Анатолия Луначарского, Бухарина, Серго Орджоникидзе, Ярославского, выступление Троцкого (о котором я уже писал). Радека я несколько раз слушал в 1934–36 годах в Комакадемии на Волхонке. Слава о его остроумии, публицистической находчивости была обоснована, был он и непревзойденным мастером политических афоризмов, хотя многие из «анекдотов Радека» сочинял не он, а другие от его имени. Владея всеми европейскими языками (правда, знатоки говорили, что ни одним из них он не владеет в совершенстве), вращаясь всю жизнь в гуще политических событий на европейском континенте, тесно связанный с вождями социал-демократии Германии, Австро-Венгрии, Польши и России, целиком поставивший себя на службу Ленину во время войны и революции, Радек был гениальным авантюристом в большой политике. Это он, закадычный друг и ученик Парвуса, доверенный и орудие Ленина, стоял за спиной

Ганецкого, через которого немецкая разведка в лице Парвуса финансировала революцию Ленина. Поэтому Радек был единственным человеком после Ленина, знавшим не только всю подноготную подготовки Октябрьской революции, но и ее финансовой базы. Недаром на выборах в ЦК после революции по количеству голосов он шел вслед за Лениным, впереди Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сталина... Партия, конечно, ничего не знала конкретно об истинной роли Радека, но она догадывалась, что если немецкое правительство было финансистом, Парвус посредником, Ганецкий кассиром, то Радеком был «главбухом» Октябрьского переворота, над которым стоял только один Ленин. Никто из них не был настолько идиотом, чтобы давать расписки за немецкие миллионы (это главный и смехотворный аргумент западных либеральных историков против получения Лениным денег). Макиавеллист больше, чем Макиавелли, марксист больше, чем Маркс, Ленин принадлежал к тому типу людей, которых не вербуют, а которые вербуют. Поэтому не немецкая разведка его вербовала, а наоборот, он завербовал немецкое правительство для финансирования большевистской революции. Такая революция должна была подготовить военное поражение России. Здесь интересы кайзера и Ленина шли рука об руку.

Радек не был оратором для массы, он скорее был интеллектуальным информатором для политической элиты. Он говорил без бумаги, думаю, даже без заметок, но с глубоким знанием всех подробностей текущих событий в самых разных уголках мира. Один мой знакомый так выразил свое впечатление от выступления Радека: «Радек так искусно оперирует земным шаром, как опытный футболист мячом». Радек был из числа тех ораторов, которые бьют на сенсацию и эффектность фразы, и бывал очень доволен, если за это его награждали оживлением в зале, смехом или аплодисментами. Он не

был стилист, как Троцкий, но был мастером броских определений и неожиданных исторических экскурсов. Но он был, как и Троцкий, рабом формы и пленником собственного красноречия. Ленин однажды заметил, что в писаниях Троцкого «много шума и блеска», но нет содержания. Точно так же от блестящих острот в речах Радека в памяти оставались только эти остроты, а не содержание речи.

Луначарский считался накануне Октябрьской революции вторым после Троцкого оратором. Ленин сам, оратор среднего класса, предпочитал, чтобы на больших митингах в Петрограде выступали Троцкий или Луначарский. Первый раз Луначарского я слышал летом 1930 г. в ИКП, второй раз в 1933 г., незадолго до его смерти, на курсах марксизма при ЦК. Видимо, к старости его ораторский темперамент сдал, или он намеренно приспособился к обстановке и аудитории, но говорил он слишком академически, абстрактно, как бы философствуя вслух на ту же тему международного положения.

Это было в то время, когда из-за преступной политики Сталина Гитлер совершенно легально, парламентским путем, рвался к власти. На верхах партии, да и в самом Коминтерне, были люди, хорошо знавшие западные условия, обстановку в Германии и военно-стратегические расчеты Гитлера, и они (в их числе были и Луначарский с Радеком) предупреждали Сталина: «Гитлер – это война», и единственно, чем можно предупредить и Гитлера и войну – создать широкий «единый фронт» коммунистической и социал-демократической партий против национал-социалистической партии Гитлера. В одном из выступлений на Курсах марксизма заведующий агитпропом ЦК А. Стецкий сообщил нам то, что Сталин сказал на этот счет – национал-социалисты и социал-демократы не антиподы, а близнецы: первые – «национал-фашисты», вторые – «социал-фашисты». Поэтому проповедующие «единый фронт» с социал-демократами проповедуют союз с фашизмом вообще. Для нас, доказывал Сталин,

главным врагом была и остается международная социал-демократия, в первую очередь – немецкая. Приход Гитлера к власти, разъяснял Сталин, будет означать не войну, а обострение классовой борьбы и ускорение пролетарской революции в Германии. Я не знаю, насколько такая установка Сталина была популярна в самой немецкой компартии, но ее представитель в Коминтерне Фриц Геккерт повторял эту же концепцию в брошюре, выпущенной в Москве накануне прихода Гитлера к власти. (Я хорошо запомнил ее содержание, так как мы пользовались ею как учебным материалом для перевода на русский язык.)

Так вот, в этих условиях Луначарскому, который явно не был согласен в данном вопросе со Сталиным, ничего не оставалось, как философствовать на отвлеченные темы, чтобы не нарваться на сталинские подводные рифы. По этой же причине он был более конкретен в анализе центробежных сил в Британской империи. Тогдашняя официальная партийная философия гласила: мир идет навстречу «второму туру войн и революций». Луначарский пророчествовал: в результате от Британской колониальной империи останется только одна островная Англия. Само по себе одно только существование Советского Союза – залог этого (в связи с этим я вспоминаю, что рассказывал мне один туркестанский деятель Р. Назар о своей беседе с П. Неру. Когда представитель Туркестана спросил Неру, почему Индия так тесно сотрудничает с последней колониальной империей – с СССР, – то Неру ответил: «Своей независимостью мы обязаны существованию Советского Союза»). Феноменальная вещь человеческая память: во-первых, далекие события она лучше фиксирует, чем ближние, во-вторых, она, сортируя события, щедра на удержание совершеннейших мелочей – так запомнилась мне одна деталь в речах Луначарского: мы все произносили фамилию тогдашнего английского премьера Макдональда с неправиль-

ным ударением, впервые от Луначарского я узнал, что фамилию Макдональда надо произносить с ударением на «о».

По своей общей культуре Сталин стоял куда ниже любого из перечисленных мною ораторов, да и оратором он был ниже всякой критики. Этим, наверное, объяснялось, что ЦК партии никогда не поручал ему выступать на митингах во время революции и гражданской войны. Будучи членом Совета рабочих и солдатских депутатов с марта 1917 г., он умудрился принимать руководящее участие по превращению этого Совета в легальный орган большевистского восстания, ни разу не выступив на его почти ежедневных сессиях. Здесь постоянно выступали все лидеры большевиков, кроме Сталина. На съездах партии после Октября он выступал только в тех случаях, когда ему поручалось делать доклад на его специальную тему – о национальном вопросе и/или отчитаться об оргработе ЦК, но в прениях и дискуссиях других съездов, какие бы там важные и спорные вопросы ни обсуждались, он не участвовал. Так, на съездах партии, обсуждавших ратификацию сепаратного мира с Германией (1918), разногласия с «военной оппозицией» (которую он поддерживал исподтишка) (1919), разногласия по профсоюзным делам (1920), разногласия с «децистами» и «Рабочей оппозицией» и введение в партии «осадного положения» в виде резолюции Ленина «О единстве партии» (1921), при окончательной ликвидации «Рабочей оппозиции» и избрании его самого генеральным секретарем, – Сталин в прениях ни разу не выступал, хотя по всем названным вопросам бывали острейшие дискуссии и разногласия. Зато всегда голосовал с Лениным, кроме тех заседаний ЦК накануне Октябрьского переворота, когда Ленин предлагал начать восстание еще в сентябре – тут он голосовал против Ленина, за Троцкого: оттянуть восстание до открытия II съезда Советов (25 октября 1917). Поэтому неудивительно, что имя Сталина редко появлялось в

печати, и кто он такой, откуда взялся, какова его истинная роль, даже в самой партии знали только на ее верхнем этаже. Там говорили о Коба, и этим было сказано все.

Может быть, была и другая причина неучастия Сталина в прениях: на всех съездах партии до самого сталинского переворота и докладчики и ораторы говорили без шпаргалки, без письменного текста, импровизируя свои выступления по заметкам. Сталин не был мастером импровизации – он умел говорить только по заранее составленному тексту, который, правда, в отличие от нынешних вождей партии, писал сам. Не умея импровизировать, он вообще запретил на съездах партии вольное ораторское искусство. Каждый оратор должен был выступать по заранее представленному в ЦК написанному тексту. Низы последовали этому новому правилу уже добровольно и не без умысла – когда «бдительность» в партии достигла уровня абсурда, то за каждое неудачное выражение иди двусмысленное слово людей начали «обрабатывать» как «уклонистов» или «примиренцев». Вот тогда партийные ораторы предпочитали даже на общих партийных собраниях не говорить, а читать готовые тексты, чтобы таким образом «застраховать» себя от «уклона». Поэтому в КПСС и сегодня нет ни одного оратора, а есть лишь чтецы чужих текстов наверху, своих текстов внизу партии.

Эта новая сталинская школа «чтецов-ораторов» обезличила таланты, но зато заковала в цепь не только возможное проявление какого-либо неконтролируемого свободомыслия в партии, но и творческую мысль, даже ортодоксальную. Дар слова и талант оратора важны в странах парламентской демократии. Там выдающиеся ораторы и делают выдающуюся карьеру. При советском режиме действуют другие законы. Здесь – обезличивание талантов, унификация мысли, бюрократизация идей. Здесь мудрость и величие сосредоточены в одном месте – в партаппарате, а привилегия их проявлять в

одном лице – в генсеке. Он возвышается над всеми, как маяк. Каждый должен ориентироваться по этому маяку, но никто не посмеет по нему равняться, а кто попытается его превзойти, тот провалится в бездну. Сколько таких провалов мы видели, от Ленина и Сталина до Хрущева и Брежнева!

Я был свидетелем рождения новой школы «чтецов-ораторов» и несколько раз сам писал доклады для нашего секретаря обкома партии Вахаева, правда, не по службе, а по дружбе. Но истинный смысл новой школы стал мне понятным не тогда, когда я впервые послушал Сталина, а гораздо позже. Первое впечатление от его выступления в ИКП 28 мая 1928 г. было неважное: у него не было главного физического инструмента, необходимого оратору для успеха – металла в голосе. Его глухой, как бы придавленный голос не трогал, а наводил уныние. Он, казалось, говорил животом, как чревовещатель. Медлительность и большие паузы между предложениями вызывали нетерпение. Это, вероятно, помогало оратору сглаживать свой грузинский акцент, но раздражало слушателя. Отсутствие эмоциональной нагрузки в речи делало его выступление сухим и скучным. Это был не боевой оратор, а тишайший проповедник. Так, по всем внешним признакам классического ораторского искусства, Сталин был безнадежным антиоратором. Зато в речах и докладах Сталина красной нитью проходит единая и целеустремленная линия, поставленная на службу его концепции власти. Сталину не было чуждо чувство юмора – дефицитная черта в характере тиранов, – однако даже его анекдоты в речах, редкие, но меткие, тоже выполняли служебную функцию: они били в цель.

На XII съезде (1923), когда Ленин боролся со смертью, а его ученики – за его наследство, отчет ЦК, который обычно делал сам Ленин, был разбит на две части: политический отчет ЦК сделал Зиновьев, а организационный отчет ЦК –

Сталин. Сравнивая оба доклада, делегаты съезда говорили, что развеселый балагур Зиновьев занимался болтовней, а вот скучный Сталин сделал умнейший доклад. Вот как раз в этом организационном, «техническом» докладе Сталин впервые изложил в развернутом виде свою концепцию «тоталитарной партократии». Центральной идее этой концепции – как покорить человека государством, государство партией, партию аппаратом, аппарат вождем – было подчинено каждое слово в речах и писаниях Сталина. Это покорение началось с введения нового государственного крепостного права – с коллективизации крестьянства. Ее программу и изложил Сталин сначала 28 мая 1928 г., а потом 27 декабря 1929 г. Тогда никто не знал, во что все это развернется и каковы будут человеческие издержки. Предыстория доклада Сталина поясняет, почему ему так легко удалось провести эту чудовищную акцию, которую он сам назвал новой «революцией сверху», равной по своему значению Октябрьской революции.

Когда я впервые слушал Бухарина – в 1928 г. в ИКП – ему было 40 лет. Когда в 1938 г. Сталин его расстрелял, ему было 50 лет. Но он казался мне уже в 1928 г. стариком, может быть, из-за бородки и лысины. Я его ни разу не видел в костюме с галстуком или одетым по тогдашней «партийной» моде в «хаки а ля Сталин», – а только в рубахе-косоворотке, пиджаке и козырьке. Он не был похож ни на одного из слышанных мною большевистских ораторов. Он скорее походил на университетского профессора, – но не на сухого рутинного академика, бесстрастно излагающего много раз им же разжеванные научные истины, а на живого и острого полемиста, опровергающего как раз эти истины. Он учился в Московском университете, слушал в 1912 г. лекции знаменитого Бем-Баверка в Венском университете, здесь же подготовил свою первую теоретическую работу «Политическая экономия

рантье», когда ему было всего 24 года. Тогда же в Австрии Бухарин впервые встретился с Лениным и Сталиным. По поручению Ленина Бухарин помог Сталину написать его работу «Марксизм и национальный вопрос» (все цитаты Сталина из Отто Бауэра и Карла Реннера были переведены с немецкого Бухариным). Бухарин преклонялся перед умом Ленина и мужеством легендарного тогда «Кобы», но оставался всегда критическим и независимым в теоретических вопросах, – качества, которые Ленин в нем очень ценил, а Сталин столь же презирал.

Близкие ему люди находили его как политика слишком мягкотелым, сентиментальным. Ленин имел случаи отметить характерные черты своих учеников: Бухарина за мягкость характера Ленин сравнивал с воском, а о Сталине выражался иносказательно: «Сей повар может готовить только острые блюда»! Ленин находил у Бухарина-марксиста один недостаток, о котором и написал, – что Бухарин «никогда не понимал вполне диалектики».

Чтобы понять истинное значение этой ленинской критики, надо представить себе, что же такое диалектика в понимании большевизма. Это не знаменитая гегелевская диалектика. Диалектика в философии большевизма есть чистейшая софистика, по которой антиподы: черное и белое, зло и добродетель, ложь и правда имеют «диалектическую» способность менять свои свойства или трансформироваться одно в другое, если это требуется обстоятельствами времени и интересами цели. При Ленине мы видели только цветы этой «диалектической» софистики, ягоды вырастил Сталин. Люди типа Бухарина пасовали перед такой «диалектикой». Один пример непонимания Бухариным «ленинской диалектики» является сегодня актуальным, в связи с историей профсоюза «Солидарность» в Польше.

В Программе партии 1919 г. Ленин, чтобы выиграть гражданскую войну, записал, что власть на производстве

постепенно перейдет в руки профсоюзов. Когда война была выиграна, Ленин от этого тезиса отказался, но Бухарин, совершенно не «диалектически», требовал, в согласии с Программой, передачи власти на производстве в руки профсоюзов и даже провел соответствующую рекомендацию на пленуме ЦК от 7 декабря 1920 г. (о введении «рабочей производственной демократии»). Ленин, возмущаясь «недиалектичностью» Бухарина, говорил: «Если профсоюзы, то есть на 9/10 беспартийные рабочие, назначают управление промышленностью, тогда к чему партия?» (Шестой съезд РСДРП(б), 1958, Москва, с. 92). Однако наиболее кричащее «непонимание диалектики» Бухарин выказал при Сталине.

В названном выше докладе Сталин подчеркивал: окончательно решить проблему хлеба можно, только охватив всю страну колхозами и совхозами, а когда один слушателей спросил: «Если крестьяне не пойдут в колхозы добровольно, то стоите ли вы на точке зрения насильственной коллективизации?», – Сталин ответил словами Ленина: «Диктатура пролетариата есть неограниченная власть, основанная на насилии».

Месяца за два до этого Бухарин читал в ИКП цикл лекций «Аграрная политика партии и кооперативный план Ленина». Основная мысль лекций была прямо противоположна сталинской интерпретации знаменитого «Кооперативного плана» Ленина: путь к социализму в деревне лежит через добровольную кооперацию, и этот путь исключает насилие. Крестьян надо убедить в преимуществе крупного социалистического землевладения на практических примерах. Кто стоит за насильственную коллективизацию, тот порывает с ленинизмом и играет в авантюризм. Ленин завещал нам «архиосторожность» как раз по отношению к крестьянству, ибо, говорил Ленин, высший принцип диктатуры пролетариата – это союз рабочего класса с трудовым крестьянством. Эти

лекции, застенографированные, ходили по рукам слушателей, когда Сталин делал свой доклад. Значительно позже мы узнали, что доклад Сталина и был косвенным ответом Бухарину. Кроме того, Бухарин считал нэп, ссылаясь на Ленина, экономической политикой, рассчитанной на целый исторический период, а Сталин считал его тактически вынужденным эпизодом, передышкой для подготовки нового «наступления социализма по всему фронту», тоже ссылаясь на того же Ленина.

Кто же был прав? Почти все считали тогда, что интерпретация Бухариным ленинского «кооперативного плана» отвечает духу ленинизма в крестьянском вопросе, а Сталин бессознательно искажает точку зрения Ленина и поэтому грубо ошибается. Теперь-то мы знаем, что не умеющий «диалектически» думать Бухарин тактику Ленина принял за стратегию, а «диалектик» Сталин действовал так, как собирался действовать и Ленин в будущем. Разница, может быть, была в темпах и методах, но не по существу дела.

Разные интерпретации «кооперативного плана» Ленина в докладе Сталина и лекциях Бухарина предвещали новую бурю на верхах партии. Еще 13 февраля 1928 г. Сталин от имени Политбюро ЦК сделал ясное и категорическое заявление: «Разговоры о том, что мы будто бы отменяем нэп, вводим продразверстку, раскулачивание и т. д., являются контрреволюционной болтовней... Нэп есть основа нашей экономической политики, и остается таковой на длительный исторический период» (Сталин, Соч., том 11, с. 15). Доклад Сталина в ИКП от 28 мая того же года явно противоречил этому заявлению. Где же правда?

Правда выяснилась на теоретической конференции ИКП и Комакадемии в июле 1928 г., скоро после июльского пленума ЦК, где обсуждался тот же вопрос о судьбе нэпа. На этой конференции докладчиками выступали известные деятели «бухаринской школы» Марецкий и Бессонов.

Приглашенный на конференцию сам Бухарин только отвечал на вопросы. Участники конференции были в курсе острых столкновений между Бухариным и Сталиным на этом пленуме, так как читали стенографический отчет пленума. Введенные с 1926–1927 гг. так называемые «экстраординарные меры» на хлебозаготовках, то есть безвозмездная конфискация у крестьян хлебных излишков, уже означали фактическую ликвидацию нэпа. Сталин в речи 9 июля заявил на пленуме ЦК: 1) так как отживающие классы добровольно своих позиций не сдадут, то неизбежно обострение классовой борьбы; 2) «экстраординарные, или чрезвычайные меры» неизбежны и дальше; 3) нет других источников финансирования индустриализации, как «брать нечто вроде дани», сверхналог с крестьянства; 4) нет другого выхода получения товарного хлеба, как превращение крестьянских хозяйств в колхозы (Сталин, Соч., т. 11, сс. 159, 172, 181).

На это Бухарин ответил в речи 10 июля: «...Проблема настоящего времени состоит в том, чтобы устранить опасность раскола со средним крестьянством, которая сейчас существует. Ни в коем случае мы не должны отожествлять «экстраординарные меры» с решениями XV съезда... Вообразите себе, что вы пролетарская власть в мелкобуржуазной стране, но *вы толкаете насильственно мужика в коммуну*. Но тогда вы будете иметь восстание мужика, руководимое кулаком. Мелкобуржуазный элемент восстанет против пролетариата и в результате жестокой классовой борьбы пролетарская диктатура исчезнет. Этого вы хотите?

Сталин: Страшен сон, да милостив Бог (смех)...

Бухарин: Мы ни в коем случае не должны вернуться к практике расширенного воспроизводства экстраординарных мероприятий.

Косиор: Это верно.

Лозовский: Но это не зависит от нас.

Бухарин: Большей частью это еще зависит от нас. Поэтому центром нашей политики должно быть следующее: ни при каких условиях не допускать угрозу для смычки (между рабочим классом и крестьянством. – А. А.). В противном случае мы не выполним политического завещания Ленина» (Из Стенографического отчета пленума ЦК, июль 1928 г., Архив Троцкого).

Брать «дань» с крестьянства, говорил Бухарин, это политика не Ленина, а Чингисхана (недаром Бухарин сказал, что Сталин – это «Чингисхан с телефоном»).

На теоретической конференции как раз и дискутировался весь этот комплекс вопросов, которые разбирались на пленуме. Конечно, многое из того, что там говорилось, улетучилось из памяти, но, как обычно в таких ситуациях, память сохранила необычное и скандальное. Началось с того, что кто-то из аудитории предложил включить в повестку дня конференции новую тему – «концепцию правого оппортунизма школы Бухарина». Когда председательствующий заявил, что такой «школы» нет и поэтому нет и ее концепции, то совершенно неожиданно раздались громкие протесты против произвола председателя. Когда решили поставить вопрос на голосование, то выступил от имени ЦК А. Стецкий (тогда зам. зав. агитпропом) с поддержкой предложения. Это крайне удивило всех: ведь Стецкий числился в первых учениках Бухарина. В ЦК он тоже был выдвинут Бухариным. Однако конференция большинством голосов провалила предложение. Тогда вышел на трибуну Стецкий и от имени ЦК объявил конференцию распущенной, как антипартийное собрание. Последние слова утонули в шуме. Со всех сторон в адрес Стецкого кричали: «Хамелеон», «Каин», «Тушинский вор». Бухарин спокойно наблюдал за всем этим и не обмолвился ни одним словом. Он первым покинул зал. Разошлась и конференция.

Трагедия всех антисталинских оппозиций внутри партии заключалась в том, что они, начиная с Троцкого («левая оппозиция»), Зиновьева и Каменева («новая оппозиция») и кончая Бухариным («правая оппозиция»), были сильны знаменитым русским «задним умом». Когда Ленин предложил снять Сталина с поста генсека и сохранить Троцкого, то Зиновьев и Каменев составили со Сталиным известную заговорщицкую «тройку» в Политбюро и против Троцкого, и против «Завещания» Ленина. Таким образом спасли Сталина и скрыли от партии «Завещание» Ленина. Когда под влиянием растущей критики внутри партии сам Сталин предложил (два раза!) уйти в отставку с поста генсека, то те же Зиновьев и Каменев плюс Троцкий (!) отклонили отставку Сталина. Разумеется, предложение отставки Сталина было чисто дипломатическим трюком, но им можно было воспользоваться, чтобы предупредить собственную гибель и будущую тиранию (ведь Троцкий пишет, что они – Зиновьев, Каменев и он сам – еще в 1925 г. угадали в Сталине человека, способного организовать против них террористические акты, чтобы заложить основу будущей тирании). Когда в 1925 г. вся ленинградская партийная организация – организация, которая руководила Октябрьской революцией, – предложила на XIV съезде снять Сталина, то «крупнейший теоретик» и «любимец партии» Бухарин, глава советского правительства Рыков, лидер советских профсоюзов – носителей «диктатуры пролетариата» – член Политбюро Томский спасли Сталина с молчаливого согласия самого Троцкого (Троцкий сидел в президиуме съезда и не поддержал ленинградскую делегацию во главе с Зиновьевым и Каменевым). Но вот прошел только один год, и Троцкий в 1926 г. создает «блок объединенной оппозиции» вместе с Зиновьевым и Каменевым. А Сталин, укрепившись у власти путем натравливания их друг на друга, торжествует победу, да еще открыто издевается над своими незадачливыми противниками – на пленуме ЦК он

называет «объединенный блок» «блоком оскопленных», а лидеров блока – «генералами без армии». Решающую роль в разгроме «объединенного блока» играет союз новой «тройки» в Политбюро – Сталина, Бухарина, Рыкова.

Прошло только два года, и Сталин сообщает им: мавры сделали свое дело, мавры могут уходить! И вот тогда только Бухарин бежит к Каменеву и предлагает ему новый «блок». Интересны мотивы Бухарина. Вот отрывок из архива Троцкого о беседе Бухарина с Каменевым:

«Мы чувствуем, что линия Сталина гибельна для революции. Разногласия между нами и Сталиным во много раз серьезнее, чем разногласия, которые мы имели с вами. Рыков, Томский и я согласны в следующем: было бы куда лучше, если Зиновьев и Каменев были бы в Политбюро вместо Сталина. Я совершенно откровенно говорил об этом с Рыковым и Томским. Я уже несколько недель не разговариваю со Сталиным. Он беспринципный интриган, который любое дело подчиняет интересам сохранения своей собственной власти. Он меняет свои теории в зависимости от того, от кого он хочет избавиться»... (из архива Троцкого, везде мой обратный перевод из «Documentary History of Communism», ed. by R. V. Daniels – А. А.). Но удивительное дело: явно одержав победу над Сталиным на июльском пленуме, Бухарин и не думает бороться за устранение его от руководства партией. В самом деле, пленум принял резолюцию, предложенную Бухариным. В ней сказано: «1) «чрезвычайные меры» («экстраординарные меры») носили временный характер и не вытекали из решений XV съезда; 2) нэп останется в силе... и борьба с кулачеством должна вестись отнюдь не методами раскулачивания и поэтому необходима: немедленная ликвидация практики обхода дворов, незаконных обысков...» («КПСС в резолюциях...», ч. II, 1953, сс. 395–396).

Бухарин знает, что, допустив принятие такой резолюции, Сталин лишь маневрирует, но выводы отсюда делает странные. Вот продолжение беседы с Каменевым:

«Теперь Сталин сделал концессии, так что он может заткнуть нам глотки. Мы это понимаем, но он маневрирует так, чтобы представить нас в качестве раскольников. Вот его *линия* на пленуме: 1) капитализм развивается за счет колоний, займов и эксплуатации рабочих. Мы не имеем ни колоний, ни займов, поэтому мы должны брать «дань» с крестьянства; 2) чем больше растет социализм, тем выше и больше будет сопротивление против этого... Это же идиотская безграмотность. 3) Поскольку необходимо брать «дань» и будет расти сопротивление, мы нуждаемся в твердом руководстве... В результате мы стали на путь создания полицейского режима... С такой теорией любое дело можно загубить... *Ленинградцы* (Киров! – А. А.) в основном снами, но они пугаются, когда речь заходит о возможности снятия Сталина... Наши потенциальные силы огромны, но 1) средние члены ЦК до сих пор не понимают глубины разногласий, 2) велик страх расколов. Поэтому, когда Сталин уступает нам в отношении «чрезвычайных мер», то он затрудняет наши атаки против него. *Мы не хотим быть раскольниками*, в этом случае он быстро расправился бы с нами» (Архив Троцкого, сс. 308–309).

Бухарин и бухаринцы боялись быть обвиненными в раскольничестве, хотя на том же пленуме, по словам того же Бухарина, «Томский в своей последней речи ясно доказал, что раскольником является именно Сталин» (там же). Выводы? Через недели три после беседы с Каменевым Бухарин, Рыков, Томский вместе со Сталиным подписывают следующее заявление на имя Коминтерна: «Нижеподписавшиеся члены Политбюро заявляют..., что они самым решительным образом протестуют против распространения каких бы то ни было слухов о разногласиях среди членов Политбюро ЦК» («КПСС в резолюциях...», 1953, ч. II, сс. 438439).

Обвиняя Сталина в «маневрировании» и «беспринципности» в политике, Бухарин не умеет ни маневрировать, ни быть верным собственным принципам. Подписывая одной рукой заявление на имя Коминтерна об отсутствии разногласий в Политбюро, Бухарин, Рыков, Томский через шесть ме-

сяцев – 30 января 1929 г. и 9 февраля того же года – подписывают другой рукой документы на имя ЦК, в которых сообщают об острых разногласиях в Политбюро уже с 1927 г. Великий мастер маневрирования Сталин в ответ оглашает вышеприведенное секретное заявление членов Политбюро на имя Коминтерна и, сличая его с новыми документами бухаринцев, обвиняет их, в свою очередь, в политическом двурушничестве и партийной беспринципности. Сталин, продолжая маневрировать, уводит дискуссию от существа темы, чтобы перейти в контрнаступление с выгодных ему позиций. Он выдвигает против бухаринцев как раз те обвинения, которых они боялись как черт ладана: обвинения в раскольничестве. Заявление «трех» от 30 января и 9 февраля, в которых Бухарин, Рыков и Томский предлагали свои отставки из-за невозможности поддерживать губительную политику Сталина, Сталин объявил попыткой расколоть партию. Сталин предлагает новому пленуму ЦК отклонить отставки бухаринцев, создать нормальные условия для их работы, чтобы избежать раскола! Новым маневром «миротворца» Сталин убеждает пленум, что он хочет мира любой ценой, а вот бухаринцы хотят раскола из-за надуманных обвинений по адресу его личности. Это производит свое впечатление. Пленум хвалит «миролюбие» Сталина и призывает бухаринцев к совместной «дружной» работе со Сталиным.

Тактика Сталина ясна и последовательна – подменить, пользуясь его же терминологией, – политику политиканством, свести борьбу за политику к личным капризам бухаринцев, политические обвинения против своей политики – к попыткам раскола, разоблачения, что не партия правит страной, а наемные чиновники партаппарата – клеветой на партию, отстаивание политики нэпа – попыткой реставрации капитализма... Уже обвинения Бухарина, что Сталин всегда маневрирует и все действия его подчинены интересам

сохранения власти, показывают, до чего Бухарин наивен, как политический стратег. Искусное маневрирование в политической борьбе – такое же легитимное средство, как маневрирование воюющих армий на фронте. Так называемые «принципы», какими бы они идеальными ни казались, в политике тоже подчинены интересам завоевания власти или сохранения власти уже завоеванной. Эти элементарные правила в политической игре Бухарин ставил в вину Сталину, между тем как раз в этом и заключалось преимущество Сталина, как ловкого стратега, над партийными «рыцарями чести» типа Бухарина.

Сталин слишком хорошо знал, что оппозиция группы Бухарина, в отличие от оппозиции блока Троцкого и Зиновьева, была популярна не только в партии, но и в стране. Платформа «правых» отвечала насущным интересам народа по трем важнейшим вопросам: 1) сохранение нэпа, 2) поднятие стандарта жизни крестьянства (лозунг: «обогащайтесь!»), которое составляло тогда 80% населения страны, 3) отказ от всех видов репрессий в стране. Она отвечала и интересам самой партии, когда требовала поставить партаппарат под контроль партии и отказаться от начатой Сталиным практики «назначенства» партийных секретарей сверху, отменив их выборы снизу. Когда Троцкий и Зиновьев вышли 7 ноября 1927 г. на улицу со своей программой ликвидации нэпа, репрессии против нэпманов и кулачества, «перманентной мировой революции» за счет жизненных интересов страны, их народ не поддержал. Если же Бухарин и бухаринцы выйдут на улицу со своей программой, то им гарантирована всеобщая поддержка. Сталин знал и это. В этом и заключалась смертельная опасность программы «правых» для уже обозначившегося, как Бухарин говорил, «полицейского режима» Сталина. Но Бухарин и бухаринцы боялись этой улицы больше, чем Сталин. Сталин это точно знал и этим гениаль-

но воспользовался: намеренно сочиняя ложные обвинения по адресу «правых», Сталин мобилизовал в стране «общественное мнение», а в партии яростные атаки против «правых капитулянтов», «реставраторов капитализма», «фальсификаторов ленинизма». Вся печать была наводнена этими обвинениями. Партаппаратчики со всех уголков страны, выдавая свое мнение за мнение партии, категорически требовали выкинуть вон из Политбюро и ЦК «правых». Опять-таки в отличие от «левой оппозиции» Троцкого и «новой оппозиции» Зиновьева и Каменева, которым давали возможность защищаться на съездах партии и в партийной печати, Бухарину и бухаринцам было запрещено защищать свою программу и опровергать ложные обвинения в печати, на съезде или на собраниях партийных ячеек. И Сталин знал, что делал: троцкисты и зиновьевцы со своими непопулярными в народе экстремистскими, «левыми» требованиями разоблачали самих себя, а программа бухаринцев, будучи вынесена на суд народа и партии, взорвала бы режим Сталина, ибо Сталин задумал и уже начал проводить в жизнь такой чудовищный план всеобщих репрессий – от ликвидации нэпа до ликвидации всего крестьянства, как собственников, – до которых не додумался бы ни один крайний троцкист.

Сталин убрал последнее препятствие на путях к своей тирании: апрельский пленум ЦК 1929 г. осудил «правую оппозицию» и принял отставку Бухарина и Томского, а ноябрьский пленум ЦК вывел Бухарина из Политбюро, предупредив заодно Рыкова и Томского, что «в случае малейшей попытки с их стороны продолжать борьбу», с ними будут поступать точно так же («ВКП(б) в резолюциях...», Москва, 1933, сс. 611–612). Никаких попыток сих стороны и не потребовалось – их тоже скоро выкинули из Политбюро. Теперь Сталин открыл свою первую карту: 27 декабря 1929 г., без решения Политбюро, он объявил на конференции

марксистов-аграрников свою программу по крестьянскому вопросу: «сплошная коллективизация и ликвидация кулачества как класса на ее основе».

Вот с этих пор и доныне советское сельское хозяйство находится в перманентном кризисе недопроизводства. Богатейшая хлебная страна, которая постоянно экспортировала хлеб – не только до революции, но и во время нэпа, – сегодня вынуждена импортировать его. Почему же Сталин придумал колхозы, хорошо зная, что они экономически не могут быть рентабельны? Сталин ничего не делал зря. При нэпе государство целиком зависело от крестьянства, а надо было, чтобы, наоборот, крестьянство зависело от государства. Партийная диктатура никогда не будет эффективной, а тем более тоталитарной, пока существуют классы, материально не зависящие от государства. Таким последним классом было крестьянство – Сталин его ликвидировал, загнав в колхозы. Сталин отнял у крестьянства хлеб, чтобы, возвращая ему этот хлеб по частям (как в «Великом инквизиторе» Достоевского), заслужить еще благодарность у этого крестьянства за то, что он кормит его, выдавая мизерные доли отобранного хлеба («трудодни»). Правда, ни государство, ни крестьяне никогда не были сыты, но зато контроль над крестьянством был тотальным. По этим же причинам наследники Сталина сохранили это самое кричащее «последствие культа Сталина».

Конечно, все, что я пишу здесь, – мои позднейшие выводы. В то время не только я, «зеленый» коммунист, но и более опытные и начитанные люди не понимали сути спора между Бухариным и Сталиным. Главное – не понимали, почему Бухарин не апеллирует к партии, не отводит ложные обвинения против него, наконец, не идет к рабочим и крестьянам с ясным и открытым изложением своей программы. Да, ясно, Сталин наложил запрет, но какой же ты революционер, если ты без боя сдаешься на милость врага. Революционер, кото-

рый боится улицы, не революционер, а карикатура. Вокруг Бухарина была, как я писал в «Технологии власти», революционная молодежь, готовая при первой же команде убрать Станина физически, но когда об этом заходила речь, Бухарин начинал философствовать, что из-за плохого генсека нельзя рисковать гибелью идеальной социальной системы.

К концу двадцатых годов стало ясно, что Сталин добивается окончательной ликвидации «коллективного руководства» (это убедительно было доказано в «Заявлении» правых лидеров от 30 января 1929 г.) и установления своей единоличной диктатуры. Этой цели служил целый ряд организационных мер по созданию материальной базы этой диктатуры: 1) общая чистка командного состава армии от людей, которые служили под началом Троцкого и Фрунзе (Фрунзе был сторонником Зиновьева; чтобы освободить занимаемые им должности наркома по военно-морским делам и председателя Реввоенсовета для своего ставленника Ворошилова, Сталин, вопреки воле Фрунзе, заставил его лечь на операционный стол, с которого он уже не встал). Во главе армии были поставлены сослуживцы Сталина на фронтах гражданской войны, особенно на Царицынском фронте; 2) чистке подверглись и органы ОГПУ, откуда выгоняли людей, которые были когда-то в подчинении или в близких отношениях с бывшими лидерами оппозиций, и заменяли их лицами, персонально подобранными Сталиным (больной Менжинский еще некоторое время оставался во главе ОГПУ, но фактическим руководителем ОГПУ стал личный ставленник Сталина – Ягода); 3) весь аппарат партии сверху и донизу был реорганизован, а выборные секретари партии были заменены назначенными самим аппаратом ЦК функционерами, которые отличились в борьбе с оппозициями; 4) формально высшими органами партии все еще были Политбюро (большая политика), Оргбюро (назначение и снятие кадров) и

Секретариат (исполнение решений Политбюро и Оргбюро), но Сталин постепенно переместил власть от Политбюро и Оргбюро к Секретариату, а потом к своему личному кабинету, который в документах ЦК носил невинное название «Секретариат тов. Сталина», с «Особым секретарем» при нем.

Все эти мероприятия Сталин провел без каких-либо затруднений, так как после изгнания из высших органов ЦК лидеров оппозиций авторитет самого Сталина колоссально вырос, и каждое его предложение автоматически приобретало законодательное значение. Но в самой партии, особенно среди партийной учащейся молодежи, росло критическое отношение к происходящему. Троцкий назвал эту молодежь «барометром партии», который чутко реагирует на всякое болезненное колебание атмосферы в партии. В определенном смысле это и было так. Однако вся беда партии в том и заключалась, что произошел разрыв между «стариками» и «молодыми» как раз по вопросам: как реагировать на превращение Сталиным советского государства в государство полицейское? Как реагировать на массовый сталинский террор против старых большевиков? (Весь цвет партии, люди, совершившие Октябрьскую революцию и выигравшие гражданскую войну, были депортированы в Сибирь, Троцкий был сослан, Зиновьева и Каменева вернули из ссылки после капитуляции.) Как предупредить массовые репрессии против крестьянства под лозунгом «раскулачивания»? Как предупредить, наконец, ликвидацию Сталиным думающей партии, заменив ее «партией в партии» – бюрократической элитой?

Примерно таков был круг вопросов, обсуждавшихся в «салоне» Королевой и кружке Сорокина. Об этом я уже писал в «Технологии власти». Здесь хочу осветить тот аспект, о котором там писалось лишь в общих словах. Самый острый вопрос, который ставили именно молодые коммунисты, – но участники гражданской войны, – гласил: нужно ли ответить

на массовый террор группы Сталина контртеррором против самого Сталина? Если Сорокин отвечал на этот вопрос положительно и оправдывал террор историческими экскурсами, то идеологию террора разрабатывал его наиболее убежденный сторонник Миша, которого члены кружка шутя называли «Кибальчич». Эта кличка подходила к нему не меньше, чем к оригиналу. Миша был и в самом деле уникальным типом в большевистской партии: марксист на словах, по методам он был убежденным народовольцем. Он составил нечто вроде «катехизиса» революции на основе анализа советской революции, который ходил тогда по рукам оппозиционеров. Его философия революции была та же, что и у народовольцев: историю делает не народ, не быдло, пусть он даже называется «пролетариатом», а героические личности. Удачная операция против главы тирании – это больше, чем все книги Маркса. Истинная свобода только тогда воцаряется на земле, когда сносят головы революционерам, лезущим в деспоты. Это первый и последний урок Великой французской революции. Гибель нашей собственной революции обозначилась с тех пор, как мы отказались сносить головы тем, кто лезет в деспоты.

«Кибальчич» не был каким-нибудь «мелким буржуа», случайно затесавшимся в партию. Его отец был питерским рабочим, членом РСДРП. От преследования полиции бежал на Кавказ, работал в депо тифлисских железнодорожных мастерских. Там родился Миша. Отец Миши работал в тифлисском подполье вместе с Коба. Этим объяснялось и то обстоятельство, что после того как Сталин стал генсеком, отец Миши получил крупный партийный пост. Сын почти ничего не рассказывал об отце, но когда ему напоминали о заслугах его отца перед Сталиным, Миша отвечал: «Папа – покорный холоп Сталина!». Ему было всего каких-нибудь 16–17 лет, когда он из последнего класса гимназии ушел добровольцем в Красную армию. Там же вступил и в партию.

Несколько раз перебрасывался в тыл Белой армии со специальными заданиями. За успешное выполнение этих заданий был награжден боевым орденом Красного знамени (это был в то время единственный орден и он давался редко, за исключительное личное мужество). После гражданской войны ему предложили большой пост в Чека, но он отказался. Поступил в университет, который и окончил. Ни в каких оппозициях не участвовал, но болезненно переживал репрессии против оппозиционеров. И нынешняя волна против «правой оппозиции» тоже прошла бы мимо него, если бы не случилось одно событие: в разгар «чрезвычайных мер» по хлебозаготовкам его, как старого чекиста, сделали в 1927 г. политкомиссаром одного из продотрядов на Украине. «То, что мы там творили, – рассказывал он, – не могли творить ни печенеги на Киевской Руси, ни Мамай на Московской Руси: после прохождения наших отрядов в деревне не оставалось ни фунта хлеба, ни единой головы скота». Когда Миша пожаловался наверх, доложив об этом произволе, то на заседании партийного органа, где председательствовал его отец, обвинили Мишу в «якшании с кулачеством», в «притуплении революционного сознания» и объявили ему выговор. Он молча проглотил эти популярные тогда «пилюли», но для себя сделал вывод: Сталин метит в диктаторы. С этих пор для него началось время мучительных размышлений над тем, как предупредить наступление эпохи тирании. В кружке Сорокина Миша и обосновал свою новую теорию: чтобы спасти советскую власть и большевистскую партию, надо убить Сталина. Как я уже рассказывал в «Технологии власти», создать террористическую группу против Сталина не разрешил сам Бухарин, потом к этой идее остыл и Сорокин. Я не знаю, какова была дальнейшая судьба Миши, но отец его умер естественной смертью. Один московский холуй Кремля меня упрекнул, почему я не раскрываю псевдонимы уже умерших людей: потому что их детей Кремль преследует и сегодня.

7. Я открыл и закрыл национальную дискуссию в «Правде»

Знаменитый французский философ Вольтер сказал, что он завидует животным двояко – во-первых, они не знают, что о них говорят, во-вторых, они не знают, когда им угрожает беда. Я был в счастливом положении такого животного, не зная, что с тех пор, как я стал руководящим работником, на меня заведено секретное личное дело не только в «спецсекторе» обкома, над которым формально стоял я сам, но и в ГПУ, и что мои литературные упражнения, самым невинным из которых была моя первая книга «К основным вопросам истории Чечни» (1930), могут оказаться жизнеопасными. Совершенно не ведал я о такой опасности и тогда, когда полез в «большую политику», опубликовав статью в газете «Правда» против тезисов Политбюро накануне XVI съезда (1930). Сначала о книге. Ее я написал, уже работая в обкоме, с самыми лучшими намерениями. Несмотря на ограниченность моих знаний в области истории Кавказа, а самое главное в данных условиях – несмотря на бедность моей методологической закалки в области марксистской софистики, – в книге не было того, что мне приписывали после ареста: «идеологического вредительства». Все написанное, даже в свете моих сегодняшних познаний, было точным воспроизведением исторической действительности, и удалось это мне именно потому, что я все еще плохо владел сталинским марксизмом. Говорят, что книги тоже имеют свою судьбу. Своеобразной оказалась судьба и этой моей первой книги. Когда меня судили во время ежовщины, она была приложена к судебному делу как «вещественное доказательство» моей контрреволюционности, а после XX съезда книгу эту реабилитировали без указания фамилии автора. Вот что сообщает один англий-

ский советолог об этом: «Труд Авторханова по чеченской истории «К основным вопросам истории Чечни» цитируется в «Большой Советской Энциклопедии» (первое издание) как источник, имеется на него ссылка даже после войны (но без указания имени автора) в сборнике «Музыкальная культура автономных республик РСФСР» (Robert Conquest, The Nation Killers, 1970).

Однако непоправимой бедой обернулось бы для меня другое произведение того же года – мною уже упоминавшаяся статья в газете «Правда», если бы чекисты ее обнаружили в 1937 г. Это было накануне XVI съезда, когда Сталин все еще вынужден был играть во «внутрипартийную демократию». Поэтому, как и накануне предыдущих съездов, ЦК опубликовал одобренные Политбюро тезисы докладов на XVI съезде и открыл по ним дискуссию на страницах «Правды». Работая в обкоме, я имел доступ к неопубликованным документам партийного аппарата, касающимся проведения в жизнь национальной политики партии в национальных областях и республиках, особенно на Кавказе и в Туркестане. Из этих же закрытых документов я имел почти точную картину того, как и в каком масштабе развернулись антиколхозные восстания на окраинах Советского Союза. Анализ положения дел привел меня к выводу, что партия выносит правильные решения, а аппарат саботирует их выполнение, теория у нас хороша, а практика – порочна. Ответ, который дал, по словам Кагановича, один коммунист на вопрос, что он понимает под большевистской теорией, вполне мог быть и моим ответом: «Теория это то, что не применяется на практике» («Правда», 1 июля 1930 г.). Этой теме была посвящена первая часть моей статьи. Поэтому статья и называлась: «За выполнение директив партии по национальному вопросу». Другая – и более опасная – часть статьи была посвящена колхозной теме, а именно: почему колхозы не подходят для национальных об-

ластей и республик. Иначе говоря, для национальных республик я проповедовал то, что проповедовал уже осужденный партаппаратом Бухарин для всего Советского Союза. Знал ли я, что меня могут объявить за это сторонником Бухарина и нещадно бить? Конечно, я догадывался, что рискую, но что значит риск, когда автор искренне хочет помочь партии выправить положение, а автору этому едва 22 года! В этом возрасте люди ходят в рыцарских доспехах и носят розовые очки.

Вот основные положения статьи, в цитатах: 1) *о национальной политике:*

«...В реконструктивный период практическое разрешение национального вопроса в свете устранения фактического неравенства, которое еще, безусловно, не устранено, приобретает сугубую актуальность как в хозяйственно-культурном, так и в политическом отношении... Однако нынешний темп нашего культурного и экономического строительства в национальных районах и имеющиеся достижения не обеспечивают выполнения весьма ясных и практических директив X и XII съездов партии не только за эту пятилетку, но и за ближайшие пятилетки... К сожалению, после XII съезда партии на последующих съездах, конференциях и пленумах к национальной проблеме не возвращались, и ее практическое решение идет от случая к случаю... Вот с этой точки зрения, с точки зрения практического разрешения актуальных проблем национального вопроса в реконструктивный период, тезисы товарищей Куйбышева (член Политбюро, председатель ВСНХ СССР. – А. А.) и Яковлева (наркомзем СССР. – А. А.) не могут быть признаны достаточными. Каждый из них национальную проблему затрагивает вскользь, «кстати», «между прочим» и таким образом обходит актуальнейшие вопросы хозяйственного развития в национальном разрезе... Не говорит нам т. Куйбышев ничего и о том, насколько

выполняются директивы XV партсъезда, которые гласили: «Пятилетний план должен уделить особое внимание вопросам подъема экономики и культуры отсталых национальных окраин, ...соответственно предусматривая более быстрый темп развития их экономики и культуры... Тезисы т. Куйбышева, точно так же, как R тезисы т. Яковлева, не уделяют этого «особого внимания»... Как обстоит дело с максимальным вовлечением местного населения в промышленность? Все данные с различных национальных окраин и республик говорят о том, что более чем плачевно. Это констатировал ЦК партии по докладу ряда национальных компартий за последнее время (Узбекистан, Туркменистан, Вотская область, Карелия, Азербайджан, Северный Кавказ и др.)... Вот характерный документ. Правление треста Грознефти в своей докладной записке бюро Чечобкома ВКП (б) от марта 1929 г. пишет: «Истекший год работы по вовлечению чеченцев на производство показал *полную* неспособность и нежелание чеченцев идти на подлинную производственную работу»... Комментарии излишни. Разве только напомнить читателю, что это не единичные случаи высокого, барского, насквозь держимордовского отношения наших некоторых чиновников из хозяйственных аппаратов к выполнению важнейших директив партии – к созданию пролетарских национальных кадров. И эту проблему, проблему национальных кадров, тов. Куйбышев обошел» («Правда», 22 июня 1930 г. – А. Авторханов, «За выполнение директив партии по национальному вопросу»).

2) О коллективизации в национальных областях и республиках:

«Одной из основных предпосылок извращения партийной линии в колхозном движении в национальной деревне нашего Союза было отсутствие у руководства местных партийных организаций ленинского учета специфических условий каждой национальной республики, области, района,

аула – и отсюда «копирование тактики русских коммунистов». Ленин говорил:

«Было бы ошибкой, если бы товарищи по шаблону списывали декреты для всех мест России, если бы советские работники на Украине и на Дону стали бы без разбору, огулом распространять их на другие области. Мы не связываем себя однообразным шаблоном, не решаем раз навсегда, что наш опыт, опыт Центральной России, можно перенести целиком на все окраины» (т. XVI, с. 106). В другом месте, в своем известном письме коммунистам Кавказа, Ленин призывает их к тому, чтобы они «поняли своеобразие своей республики от положений и условий РСФСР, поняли необходимость не копировать нашу тактику, а обдуманно видоизменять ее применительно к развитию конкретных условий» (т. XVII, ч. 1, с. 200).

Одной из главных ошибок в колхозном движении т. Сталин считает «нарушение ленинского принципа учета разнообразных условий в различных районах СССР применительно к колхозному строительству». В тезисах т. Яковлева нет указания на эту важнейшую сторону колхозного строительства в национальных районах, а между тем извращение партийной линии колхозного движения и отсюда «в ряде районов не только антиколхозные выступления... но и перерастание их в антисоветские выступления», мы имели в больших масштабах в национальных районах, чем русских, но и все это именно потому, что наши товарищи националы весьма недвусмысленно выдвинули лозунг:, Догнать и перегнать русские районы в колхозном движении». Так было в Туркестане и Закавказье, так было дело и в чрезвычайно отсталой Чечне...

Подготовка к массовому колхозному движению в национальных районах должна начаться, по Яковлеву, с товарищества общественной обработки земли (тоз). *Мы думаем, что эта*

подготовительная работа к массовому колхозному и тозовскому движению должна начаться с самого начала – с землеустройства. Известно, что многие национальные районы не землеустроены и землеустройство у них дореволюционное. В Узбекистане мы окончательно провели землеустройство в прошлом году, и то с большими извращениями... Ведь землеустройство – начало аграрной революции... Если бы начали подготовку к массовому колхозному движению с тозов, то это было бы не по-ленински. Начать нужно с простейшего и пока неразрешенного – с землеустройства... Необходимость максимальной организационной, финансовой поддержки отсталого сельского хозяйства многочисленных отсталых народов Союза осталась без внимания в тезисах т. Яковлева...

Исключительная отсталость некоторых национальных окраин требует, чтобы профсоюзы повернулись, наконец, лицом к ним. Отсутствие указания роли профсоюзов и практических мер в быстрой переделке отсталого участка нашего Союза – национальных окраин – есть серьезный недостаток тезисов тов. Шверника (преемник Томского на посту председателя ВЦСПС. – А. А.)... Все это требует, чтобы партия еще раз обратила свое внимание на национальный вопрос и призвала центральные и местные организации к выполнению весьма четких и ясных директив по национальному вопросу, данных X, XII и XV съездами партии» (там же).

Эти длинные выдержки я привел, чтобы показать читателю свой тогдашний образ мышления правоверного ленинца по национальному вопросу. Критическое мышление – да, но ни фальши, ни злопыхательства в моей критике не было. Меня потом обвиняли, что я тянул партию назад. И это правда, я ее действительно тянул назад, но назад к Ленину и к Сталину ленинских времен, наивно полагая, что партия заблуждается. Однако глубоко заблуждался я сам. Несмотря на все сигналы извне, несмотря на весь опыт расправы с оппозици-

ями внутри партии, несмотря на свои собственные наблюдения в самом партаппарате, как этот аппарат ставил себя над партией, я приписывал Сталину противные его натуре душевные качества: искренность и благие намерения. Идеалист – такое животное, что пока его самого не стукнут обухом по голове, он героически держится за мир иллюзий.

Таким обухом стали для меня устные и печатные нападки после публикации статьи. Атаковали меня в партийной ячейке слушатели ИКП, куда я вернулся на подготовительное отделение, атаковали меня и выпускники ИКП на страницах «Дискуссионного листка» «Правды». Сравнивая свою статью со статьями против меня, могу похвалиться задним числом: анализ невыполнения партией собственной программы по национальному вопросу более убедителен в статье слушателя подготовительного отделения ИКП, чем возражения его уже патентованных «красных профессоров». Причина тоже ясна: я был искренен до бездумья, а они фальшивили с чисто карьеристским умыслом.

Первым выступил член национальной комиссии ЦК Коста Таболов. Осетин по национальности, выпускник ИКП, способный публицист и преуспевающий партаппаратчик, он считался ведущим теоретиком по национальному вопросу. Меня с ним познакомил другой икапист, карачаевец Ахмет Бегеулов, бывший редактор журнала «Революция и горец» в Ростове-на-Дону, в котором я напечатал в 1929 г. и свою первую статью «К некоторым вопросам истории Чечни». Знакомство наше состоялось в ЦК уже после дискуссий. Человек с репутацией «национальной звезды» на сталинском небосклоне и весьма заносчивый в полемике, он показался мне в личном разговоре неожиданно скромным. Ни я, ни он о его статье против меня не упомянули («в доме повешенного о веревке не говорят»), а при выполнении «партийного долга», который каждый из нас понимал по-своему, «кавказская

дипломатия» должна была молчать. Вот этот самый Коста Таболов, который тогда чувствовал себя в роли партийного судьи, писал в статье «О национальной политике партии» («Правда», 26 июня 1930 г.): «...т. Авторханов смазал наши успехи в нацполитике. В своей статье т. Авторханов пишет: «Нынешний темп нашего культурного и экономического строительства в национальных районах и имеющиеся достижения не обеспечивают выполнения весьма ясных и практических директив X и XII съездов партии не только за эту пятилетку, но и за ближайшие пятилетки...» Итак, даже за ближайшие пятилетки темп экономического и культурного строительства национальных окраин, по мнению т. Авторханова, не обеспечивает успешное выполнение директив X и XII съездов. Отсюда у т. Авторханова требование «сверхфорсированных» темпов для национальных окраин, если они даже хозяйственно нецелесообразны. Во-первых, неверно, что успешное выполнение решений X и XII съездов требует ряда пятилеток, ибо часть этих постановлений уже сейчас выполнена полностью. Во-вторых, т. Авторханов отрывает национальную политику от общей политики партии... В-третьих, т. Авторханов явно замазывает громадные достижения в национальной политике пролетариата... В-четвертых, недооценив наши успехи, развивая пессимизм, т. Авторханов дает пищу представителям местного национализма в их нападках на партию... т. Авторханов (требует) «*практическое,* более чем форсированное устранение фактического неравенства национальностей...» Характерно, что тут же выдвигает требование провести все это «практически». Спрашивается, разве мы до сих пор решали задачу установления фактического равенства не практически? По существу т. Авторханов не согласен с существующими темпами социалистического строительства нацокраин и требует сверхпомощи центра, если даже это экономически нецелесообразно.

К этому сводится его аргументация... В результате успешного осуществления пятилетки многие республики и нацобласти из аграрных превращаются в индустриально-аграрные. Партия таким образом решает экономическую проблему нацвопроса. Кто с этим не согласен, кто требует «сверхфорсированных» темпов, тот должен выйти с цифрами в руках, доказать ошибочность пятилетки и обосновать свое предложение. Нечего заниматься фантазией и пустой болтовней...»

Идет только второй год первой пятилетки, а у Таболова «многие республики и надобласти» уже превращаются «из аграрных в индустриально-аграрные». Это ли не фантазия и болтовня? Даже сегодня, через десять пятилеток и одну семилетку, Узбекистан остался аграрно-хлопковым и Казахстан аграрно-хлебным придатками советской Империи, индустрия там развивается в виде замкнутых оазисов, как интегральная часть общесоюзной индустрии, а не национальной экономики.

В середине 30-х годов Таболова назначили первым секретарем Алма-Атинского обкома. Он очень гордился этим назначением, потому что его кандидатуру на этот пост предложил сам Сталин. Отсюда от секретаря обкома до синклита, или, как выражался Сталин, до «ареопага» – до членства ЦК, – был лишь один шаг. Но, увы, как выяснилось потом, ничто на свете не было столь опасно, как обратить на себя внимание товарища Сталина – 99% работников партии и государства, которых лично знал Сталин, умерли от чекистских пуль, по знаменитым «спискам», какие Ежов в 1937–1938 годах представлял Сталину для утверждения им смертных приговоров. В этом списке оказался и бедный Коста Таболов.

Другой критик, тоже партаппаратчик и узбек по национальности (с ним я познакомился на Северном Кавказе), У. Ишан-Ходжаев предоставил мне случай позлорадствовать по адресу Таболова. Переплюнув Таболова по части самоуверенности, он назвал всех участвующих в дискуссии –

Диманштейна, Авторханова, Таболова и др. – «поверхностными авторами», к тому же он опроверг и главный аргумент Таболова против меня: «...т. Таболов сам смешивает теоретическое разрешение вопроса с практической реализацией его». Он обнаружил также у всех нас и одинаковый первородный грех, непростительный для марксиста, – оказывается, нам всем чужд классовый подход к национальному вопросу. Вот его рассуждение:

«В связи с XVI съездом нашей партии естественно усилить внимание партийной общественности к проводимой теперь национальной политике. Кроме основных тезисов порядка дня съезда, в которых этот существенный вопрос затронут, хотя *недостаточно конкретно и детально*, на страницах «Дискуссионного листка» «Правды» высказалось уже несколько товарищей (тт. Диманштейн, Авторханов, Таболов и др.). Внимательное отношение к высказываниям названных товарищей вскрывает один общий недостаток в понимании ими корня текущей политики партии по практическому разрешению национального вопроса. Недостаток в толковании тт. Диманштейна, Авторханова и Таболова проявился в двух отношениях: во-первых, они *не подчеркивают классовую сущность национальной политики*, во-вторых, в своих практических предложениях не учитывают имеющиеся в национальных окраинах *классовые сдвиги* в общественно-производственных отношениях. Отсюда практические предложения указанных авторов страдают чрезмерной «практичностью» (в смысле их поверхностности). Относительно моих личных грехов Ишан-Ходжаев говорит: «Тов. Авторханов в своей статье пишет: «Бесспорно, что за время XII съезда на наших национальных окраинах, на Востоке в частности, произошли громадные социальные, экономические и культурные сдвиги». Хотя термин «социальный» включает в себя и классовый момент, но автор не подчеркивает этот момент и в

своих практических предложениях не исходит из факта значительных классовых сдвигов, имеющих место в национальных окраинах. В силу этого вся статья Авторханова оказалась бесхребетной, классовая бесхребетность и фактическая неверность статьи т. Авторханова проявляется и в следующем положении его: «Если бы мы начали подготовку к массовому колхозному движению национальных районов с тозов, то это было бы не по-ленински. Начать нужно с простейшего и пока неразрешенного – с землеустройства». Было бы абсурдным начинать дело колхозного движения с землеустройства в тех национальных областях и республиках, где землеустройство уже проведено и задача коллективизации частично разрешена в форме сельскохозяйственной артели (Татарстан, Украина, среднеазиатские республики) и где вплотную подошли к задаче сплошной коллективизации (Татарстан и некоторые районы Закавказья)» («Правда», 2 июля 1930 г. – У. Ишан-Ходжаев, «Классовое содержание национальной политики»).

Цитируя мое положение, что вместо тозов в национальных республиках и областях надо провести землеустройство, Таболов тоже коснулся этого вопроса, но сути дела все-таки не понял. Он утверждал: «Первая ошибка этой формулировки т. Авторханова заключается в том, что условия самой отсталой Чечни он неправильно распространяет на все окраины. Это большая политическая ошибка. Во-вторых, ошибочно противопоставлять землеустройство развитию тозов и артелей. Нечего оспаривать, в колхозном строительстве нацрайонов огромное значение имеет землеустройство. Но задача не в том, чтобы создавать новую «стадию» «землеустроительной революции»..., а правильно сочетать землеустройство с развитием колхозов. Иначе выйдет: землеустройство, не ускоряющее социалистическую переделку деревни, а увековечивающее индивидуальное хозяйство» («Правда», 26 июня 1930 г.).

Совершенно особое место в дискуссии заняла статья Л. Готфрида. Само название ее уже говорит и о ее содержании: «О правильных и правооппортунистических предложениях тов. Авторханова». Соответственно и статья разбита на две части. В первой части мои предложения, чтобы в тезисах Куйбышева, Яковлева и Шверника еще резче были подчеркнуты задачи ликвидации фактического неравенства национальностей СССР, – Готфрид решительно поддержал, а вот во второй части, за предложение вместо тозов заняться в национальных республиках *землеустройством*, Готфрид прямо заявил о моей связи с «правыми оппортунистами». Вот некоторые выдержки о том и другом: 1) в Дискуссионном листке» (№ 17) напечатана статья т. Авторханова «За выполнение директив партии по национальному вопросу». Автор совершенно справедливо и своевременно заостряет внимание партии на особой необходимости «именно теперь... подвести итоги выполнения директив X и XII съездов партии по национальному вопросу и поставить в нынешний реконструктивный период перед собою практическое, более чем форсированное устранение фактического неравенства национальностей». Нужно со всей решительностью поддержать предложение о значительном усилении в тезисах тт. Куйбышева, Яковлева и Шверника разделов о еще большем усилении темпов ликвидации фактического неравенства... Имеется острая необходимость в том, чтобы в тезисах съезда этот вопрос нашел свое четкое освещение. Мы не согласны с мотивировкой т. Авторханова этой необходимости как «жертвы». Извините, партия никогда *так* не ставила вопроса об индустриализации национальных окраин – это не «жертва», а единственно возможная в СССР политика... Сопротивление чиновнических, бюрократических элементов госаппарата и хозорганов коренизации, выковыванию пролетарских кадров огромно. Тов. Авторханов прав, когда указывает на весьма скромные количественные достижения в этой области».

Здесь я хочу дать одну справку по поводу критики оппонентами употребляемых мною выражений «хозяйственная целесообразность», «хозяйственная эффективность» и «жертва». Оппоненты не знают, что они критикуют меня за редакционный произвол Л. Мехлиса, редактора «Правды». Дело обстояло так. Выступая на Северокавказской краевой партийной конференции, первый секретарь крайкома, будущий член Политбюро А. Андреев в ответ на требования представителей Дагестана, Чечено-Ингушетии, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачая, чтобы и им, как и в русских районах, отпускали тракторы, вызывающе ответил: отпускать тракторы горским областям «хозяйственно нецелесообразно», использование их там «хозяйственно неэффективно» и на такие «жертвы» мы «идти не можем», хотя в горной полосе этих областей никакого земледелия не было, а тракторы они хотели использовать в плоскостных земледельческих районах. Этот пассаж великодержавного пренебрежения к «колониям» я целиком включил в свою статью и начал доказывать Андрееву, что «пролетарская революция» руководствуется не одной лишь «хозяйственной целесообразностью» и идет сознательно на хозяйственные жертвы, если это помогает стратегической цели революции. Прямо в адрес Андреева я писал: «Нельзя утверждать, что все, что хозяйственно нецелесообразно и неэффективно в данное время, пролетарская революция не делает. Широкая хозяйственная, военная и политическая поддержка (с чисто «экономической» точки зрения) революционного движения на национальных окраинах 1917–20 гг. русским пролетариатом не была непосредственно «хозяйственно целесообразной» при чрезвычайном истощении материальных сил самого же молодого советского государства, но эта поддержка привела к окончательной победе пролетарской революции в них, что превыше всякой «хозяйственной целесообразности». Были моменты, когда

наша революция по серьезным политическим мотивам шла иногда на хозяйственные жертвы» («Правда», 22 июня 1930 г.).

Я, кажется, предвосхитил то, что сегодня делает Кремль в Африке, Азии и Латинской Америке: материальная помощь Советского Союза, направленная на поддержку коммунистических режимов в Эфиопии, Йемене, Вьетнаме, на Кубе (называю лишь немногие), есть хозяйственно неоправданная жертва, широкое снабжение их советским оружием за бесценок, а иногда бесплатно, – дополнительная жертва, и все это не только «хозяйственно нецелесообразно», но и проводится при снижении жизненного уровня самого советского населения. Однако политически такая акция Кремля оправданна – над советской империей скоро не будет заходить солнце, как говорили о британской империи до второй мировой войны.

Мехлис разрешил мне критиковать «тезисы Политбюро», но начисто выбросил из моей статьи критику в адрес Андреева, а также критику произвола Кагановича по подавлению так называемого «кубанского саботажа» (на Кубани по приказу Кагановича, действовавшего с экстренными полномочиями от Сталина, была расстреляна группа казаков во главе с коммунистом Котовым, а десятки тысяч женщин, детей и стариков депортированы в Сибирь). Но поскольку мои доводы против Андреева были сохранены (убрано было только его имя), то мои оппоненты придирались к ним, не зная, что, говоря о «жертвах» и «нецелесообразности», они критикуют не меня, а Андреева.

Продолжим разбор статьи Готфрида. Вторая часть статьи Готфрида была достойна самых изощренных изуверов сталинской школы. Бели я пишу эти строки, а не «реабилитирован посмертно», то только потому, что в 1937 г. чекисты не знали ни о существовании моей статьи, ни об этом разносе меня «Правдой». В самом деле, вот что писал Готфрид во второй части своей статьи: «Соглашаясь целиком с теми во-

просами, которые поднял тов. Авторханов в отношении индустриализации национальных районов СССР, мы должны категорически возразить *против явно ликвидаторской и правооппортунистической теории и предложений Авторханова по вопросу о путях коллективизации национальных окраин и в том числе Средней Азии* (здесь и дальше курсив Готфрида. – А. А.)... Что выходит, если пойти по пути, предлагаемому тов. Авторхановым? Это означает снятие всерьез и надолго лозунга сплошной коллективизации национальных районов... так как землеустройство будет землеустройством индивидуальных крестьянских хозяйств, оно зафиксирует «статус-кво»... Съезды нацкомпартии Средней Азии и пленум Средазбюро целиком поддержали и одобрили тезисы тов. Яковлева о тозах. Вот почему мы не можем расценивать это предложение т. Авторханова иначе, как *попытку потащить партию назад и в сторону от генеральной линии партии*, *на ту самую дорожку*, *о которой ноют и скулят все правооппортунистические элементы. Тов. Авторханов определенно заболел правооппортунистической близорукостью и паническими настроениями*. Он не видит того, что уже есть на национальных окраинах, а «не признавать того, что есть, нельзя – оно само заставляет себя признать» (Ленин). Почему мы так резко возражаем т. Авторханову? Да хотя бы потому, что «время более трудное, вопрос в миллион раз важнее, заболеть в такое время – значит рисковать гибелью революции» (Ленин. Из речи на VII съезде против тов. Бухарина). *Предательские уши правых дел мастера торчат из рассуждений т. Авторханова о путях коллективизации национальных окраин*» («Правда», 30 июня 1930 г. – Л. Готфрид, «О правильных и правооппортунистических предложениях тов. Авторханова»).

Итак, я «правых дел мастер», я проповедую «правооппортунистическую теорию», а еще ноябрьский пленум ЦК 1929 г. записал: «Пропаганда взглядов правого оппортунизма несовместима с пребыванием в ВКП(б)».

Моя оппозиция против «сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса» выросла из того, что я наблюдал в русских районах. Я никогда не забуду виденного мною в январе 1930 г. на станции Минеральные воды. Я ехал на какое-то краевое совещание в Ростов и слез на этой станции, чтобы забежать в буфет. Какой там буфет! Вся вокзальная площадь, прилегающие улицы, платформа, вся полоса по обе стороны железной дороги набиты огромной толпой – детьми, женщинами, мужчинами. Они плохо одеты, многие просто в лохмотьях, а мороз лютый. Их держат здесь уже чуть ли не целые сутки. Дети отчаянно кричат, матери плачут, мужчины угрюмо молчат. Многие держат иконы, взывают к Божьей помощи и усиленно молятся. Санитары беспрерывно подбирают замерзших, лишившихся чувств, а грузовики и крестьянские повозки подвозят к станции все новые и новые партии таких же рваных, беспомощных и безжизненных, как трупы, людей. Пассажирское движение задерживается, пропуская товарные поезда с этими несчастными. Я спрашиваю одного железнодорожника: «Что здесь происходит и что это за люди?» Он косо посмотрел на меня и выпалил: «Ты что, из Персии едешь или с луны свалился? Партия производит ликвидацию кулачества как класса!» Эти же сцены повторялись на всех станциях вплоть до Ростова, ибо ссылали крестьянские семьи всех русских районов – Ставрополья, Терской, Кубанской и Донской областей. На узловой станции Ростова, окруженной чекистскими войсками, творился такой невероятный хаос, словно начался второй всемирный потоп. Дикий плач голодных и мерзнущих детей, виновных лишь в том, что родились они не в семьях партийных дикарей, истерические крики матерей, бессильных вынести страдания своих младенцев, громкие протесты иных смельчаков против произвола современных людоедов не производят никакого впечатления на волчьи нервы чекистов.

Происходит беспрерывная погрузка этих измученных и нищих людей, названных «кулаками», в нетопленные товарные вагоны для скота. Тех, кто может двигаться, загоняют по доскам, приставленным к дверям вагонов, больных тащат волоком, протестующих бьют прикладом и силой бросают в вагоны. Эта жуткая картина стояла у меня перед глазами, когда я прочел слова украинского проф. Ширенко, процитированные писателем Киршоном на том же XVI съезде: «Кулаки на селе умирают с голоду и ликвидировать их значит добивать голодных людей» («Правда», 4 июля 1930 г.). После всего этого разве можно винить того мужика, который, спасаясь от коллективизации и раскулачивания, прямо пошел... в партию! О нем рассказал XVI съезду Каганович:

«Один крестьянин на вопрос, почему он вступает в партию, отвечает: «Лошадь взяли, обобществили, вот я и подал заявление в партию: кому в партию, кому в конюха», – а когда его уличили, что он раньше срывал партийные собрания, то мужик нашелся и тут: «Я их не срывал, а так, прикрачивал!»

Когда я выступил со статьей, коллективизировалась только Россия, и я питал иллюзию, что, ссылаясь на Ленина, Сталина и все предыдущие съезды партии, можно спасти от этой трагедии окраины. Доклад Сталина на XVI съезде, речь Кирова и поведение лидеров правой оппозиции на съезде убедили меня, что Готфрид в одном действительно прав: я «заболел близорукостью», всерьез подумав, что моим заурядным лбом можно пробить сталинскую железную стену. Совершенно нереальными оказались и мои расчеты, что стоит кому-нибудь поставить на обсуждение те острые проблемы, которые коммунисты национальных областей втихомолку обсуждали между собою, как все выступят за землеустройство против колхозов, за коренизацию против великодержавности, и тогда Сталин вынужден будет вернуться к старой ленинской национальной политике. Меня никто

не поддержал, а на Сталина, который и карьеру-то свою начал как эксперт по национальному вопросу, мое выступление не произвело никакого впечатления. Правда, он удостоил мое требование о «землеустройстве» кратким ответом. Но как? Делая Отчетный доклад ЦК 26 июня, то есть через четыре дня после моей статьи, Сталин лаконично заявил: «Партия пересмотрела метод землеустройства в пользу колхозного движения».

Это звучит смешно, но заявление Сталина, кажется, на меня тоже не произвело надлежащего впечатления, иначе я должен был бы в тот же день написать в «Правду» покаянное письмо. Этого я не сделал. Я выжидал исхода прений по докладам Сталина, Куйбышева и Яковлева. Я встречался и с некоторыми национальными делегатами съезда, которые покровительственно хлопали меня по плечу, продолжая хлопать ушами на самом съезде. Недельные прения по докладу Сталина были сплошным потоком отборной ругани, инсинуаций, подтасовок, провокаций и самой дикой лжи (и все это против людей, которые давно покаялись в своих мнимых преступлениях), – вещи абсолютно невозможные в нормальной политической партии.

Сторонники правых с величайшим нетерпением ожидали ответных выступлений лидеров правой оппозиции, но их надежды были обмануты. Бухарин вообще не явился на съезд, выдумав «дипломатическую болезнь». Мой друг Сорокин, который посетил его за день до открытия съезда, шутя заметил, что Бухарин здоров как бык, но решил лишить Сталина удовольствия слушать его покаянную речь. Зато это удовольствие ему доставили Томский и Рыков. Первым выступил Томский: «В своей борьбе, которую я вел против ЦК, я был неправ с начала до конца», хотя и заметил не без ехидства, как бы по личному адресу Сталина: «У некоторых товарищей есть такое настроение – кайся, кайся без конца и

только кайся. Дайте же немножко поработать» («Правда», 2 июля 1930 г.). Рыков, все еще председатель правительства и член Политбюро, начал речь с заявления: «Я полностью и целиком присоединяюсь к тому, что было только что сказано с трибуны товарищем Томским». Рыков доказывал, что их бьют зря, они давно признали и признают свои ошибки и правоту партии, они не знают, что еще надо сделать, чтобы им, наконец, поверили и дали спокойно работать. Речь его была жалкой, политическое падение глубоким, но она объективно разоблачала ту гнусную процедуру, которую придумал Сталин, чтобы унизить своих бывших соперников. Рыков сказал: «Вопрос, который теперь поставлен на обсуждение, заключается в том, признаем ли мы действительно свои ошибки или есть ли семимесячная совместная работа (после капитуляции правых на ноябрьском пленуме ЦК 1929 г. – А. А.) маневрирование?.. Если допустить такую постановку вопроса, то что это значит? Это значит, один из членов Политбюро маневрирует в составе Политбюро и делает это так, что, работая в Совнаркоме, выступая открыто, он проводит политику партии, а тайно маневрирует против Политбюро и ЦК... Во-первых, я должен сказать, что с политической точки зрения тайная борьба в нашей партии – это глупость и чепуха (*голос с места:* «реальный факт»). Тайно бороться за миллионную партию может только идиот (*голос с места:* «А Бухарин?»). Тройки нет, если вы говорите о Бухарине, то разговаривайте с Бухариным. Вы великолепно знаете, когда обсуждался разговор Бухарина с Каменевым, я относился к его разговору с величайшим порицанием и заявил об этом немедленно... Сам Бухарин также признал свою ошибку... Мы говорим, работаем, выступаем на основе генеральной линии в защиту ее... Что нужно еще для того, чтобы доказать, что мы не ведем борьбы против партии, а работаем на основе генеральной линии партии? (*Любченко:* Активная борьба

против вчерашних сторонников. *Рыков:* Значит, я должен бороться с Томским, Томский должен бороться со мною, мы оба должны бороться против Бухарина, а Бухарин против каждого из нас...) *(шум, смех).* По ошибочным идеям Бухарина, ясное дело, я буду бить, но скажите, что ошибочного теперь у Бухарина? Мне предлагают здесь по поводу моих разногласий с ЦК до ноябрьского пленума указывать на Бухарина и кричать: «Вот он, вор, лови его!» Те ошибки, которые я допустил, я за них сам отвечаю и ни на каком Бухарине отыгрываться не буду. И требовать этого от меня нельзя. За ошибки, сделанные мною, нужно наказывать меня, а не Бухарина».

Однако теперь сталинцы доказали, что они способны превзойти самих себя – после речей Томского и Рыкова члены ЦК и назначенные лично Сталиным секретари обкомов (Бухарин в 1928 г.: «Где вы видели выборного губернского секретаря?») начали соревноваться между собою, кто поставит рекорд в неотразимости поношения и виртуозности лжи. Одним это хорошо удавалось, но другие, с бедной фантазией и менее изобретательные, искали легких путей – они обращались просто к пройденной истории. Так, председатель ЦКК Серго Орджоникидзе сказал: «Вот вам заявление Бухарина от 3 января 1929 г., к которому демонстративно присоединились Рыков и Томский: 'Серьезные больные вопросы не обсуждаются. Вся страна мучается над вопросом хлеба и снабжения, а конференции господствующей пролетарской партии молчат. Вся страна чувствует, что с крестьянством неладно, а конференции молчат. Зато град резолюций об уклонах (в одних и тех же словах). Зато миллионы слухов и слушков о правых – Рыкове, Томском, Бухарине и др.» Орджоникидзе продолжал: «Буквально все сводилось к тому, что во всех разногласиях виноват Сталин. Если бы не было Сталина, в партии была бы тишь, гладь и Божья благодать».

Бухарина здесь нет, сказал далее Орджоникидзе, но мы знаем, что он умеет писать... Почему он съезду не написал несколько строчек: «Да, товарищи, я ошибался и ошибки свои признаю» («Правда», 5 июля 1930 г.). Член Политбюро Рудзутак привел выдержку из «платформы трех»: «„Мы против того, чтобы единолично решались вопросы партийного руководства. Мы против того, чтобы вопрос контроля со стороны коллектива заменялся вопросом контроля со стороны лица...“ Бухарин пытается обратиться в великого молчальника и просто ничего не говорит» («Правда», 3 июля 1930 г.). Секретарь ЦК Бауман сказал: «Мы видим, как на практике наблюдаются такие явления, когда говорят: мы за ЦК, но с тем условием, что надо, мол, сменить Сталина. Против Сталина оппортунисты всех мастей ведут травлю» («Правда», 3 июля 1930 г.). (Этих своих защитников Сталин расстрелял в том же году, что и Бухарина и Рыкова, а Орджоникидзе заставил покончить жизнь самоубийством.) Член президиума ЦКК Ем. Ярославский сообщил: «Члены партии из правых договорились до таких вещей, что-де напрасно Угланов сдал власть, что надо было воспользоваться тем, что он секретарь МК, противопоставить МК – ЦК, надо было действовать как следует. Вот до каких разговоров люди договорились» («Правда», 6 июля 1930 г.).

Член Политбюро Киров сказал: «Нам необходимо было услышать из уст Рыкова и Томского не только признание своих ошибок и отказ от платформы, а признание ее как кулацкой программы... Что хотела слышать партия, основного, решающего, главного, она от товарищей Томского и Рыкова не слышала... Говорят, Бухарин болен, может быть, но он мог бы как-нибудь подать свой голос... Они должны были вести борьбу с правоуклонистскими элементами... Видел ли кто-нибудь выполнение ими партийного долга? Ни в малейшей степени, несмотря на то, что *сторонники их взглядов выступали*

в «Дискуссионном листке» «Правды»... Дал ли кто-нибудь отвод защитникам их оппортунистических взглядов?» («Правда», 2 июля 1930 г.).

Последовали десятки таких же речей, но рекорд побил все-таки наш северокавказский секретарь Андреев, когда он, выслушав Рыкова и Томского, сослался на Ленина: «Надо помнить предостережение Ленина насчет того, что будет круглым идиотом тот, кто поверит на слово» («Правда», 2 июля 1930 г.). Все без исключения потребовали от партии перманентной критики правых, а от самих правых – унизительной самокритики. Председатель высшего партийного суда Орджоникидзе доложил съезду точку зрения Троцкого на этот счет. В письме к своим сторонникам в СССР Троцкий требует: «...осудить сталинскую самокритику, как самую развратную форму партийного бюрократического плебисцита», а вот старый большевик, металлист, заместитель председателя ЦК металлистов Б. Козелев написал самому Орджоникидзе: «Для меня ясно, что лозунг самокритики для Сталина такой же громоотвод, каким когда-то для царизма был еврейский погром...». Орджоникидзе добавил: «ЦКК за такую оценку сочла необходимым исключить его из партии» («Правда», 5 июля 1930 г.).

Атмосфера лжи, ненависти и изуверства, царившая на съезде, скоро перекинулась и на низы. Началась повальная кампания ловли и наказания тех, кто когда-либо допускал, что Сталин и его партия могли в чем-нибудь ошибиться. Особенно яростно искали бывших, настоящих и будущих сторонников правых взглядов, если они даже тысячу раз отрекались от них. Я нигде не защищал каких-либо оппозиций, хотя программе правых я глубоко сочувствовал, а на деле писал против них резолюции на партийных собраниях (это оборонительное двуличие советского человека – органическое порождение самой сталинской системы). Но теперь в

авторитетном органе ЦК меня назвали сторонником «ликвидаторской и правооппортунистической теории». И, конечно, в ИКП на меня набросились, как шакалы на дохлятину: кайся, кайся, кайся! Бичуй, бичуй, бичуй себя. Живо, даешь «шахси-вахси»! Дело доходило до хулиганских актов. Каждый раз, когда я появлялся в ИКП, толпа слушателей окружала меня и поносила оскорбительными кличками. На одном из таких «спектаклей», которые устраивал секретарь нашей ячейки, добравшийся в 1952 г. до сталинского президиума ЦК, Павел Юдин, я просто потерял самообладание. На этот раз юдины особенно свирепствовали: «Товарищ правых дел мастер, сколько тебе платит Бухарин?», «товарищ Лопоухов, покажи свои предательские уши», – один даже вплотную подошел ко мне и, приставив растопыренные пальцы к собственным ушам, начал кричать по-ослиному. Раздался издевательский хохот толпы. Я со всего размаха заехал по его, давно ставшей мне постылой, морде. Трус мне не ответил, и толпа институтских ослов перестала хохотать. Конечно, я погорячился и поступил опрометчиво, совершенно не подозревая того, что меня намеренно провоцировали, чтобы потом объявить хулиганом.

Мой личный опыт в партии был слишком мал, чтобы постичь все тайны криминального искусства Сталина в политике. Я долго считал его тем, за кого он себя выдавал. Его необыкновенную способность сказать нужное слово в нужное время и нужном месте я принимал за его программу, а это оказалось гениальной маскировкой его истинных намерений. Он одинаково был мастером великих преступлений и мелкого трюкачества. Такой мелкий трюк Сталин пустил в ход, открывая дискуссию к XVI съезду; люди узнали о нем после того, как Сталин уже достиг своей цели. Чтобы прощупать настроение в активе партии и заодно выявить потенциальных сторонников бывших лидеров правой оппозиции, Сталин

предложил Мехлису пустить в «Дискуссионном листке» «Правды» анонимную заметку в защиту правых, подписав ее псевдонимом «Мамаев» (намеренно без инициалов). Почему же «Мамаев», а не «Иванов»? Потом Мехлис рассказывал одному своему однокашнику по ИКП:

– Сталин гениальный психолог, он сказал, что воспоминания о татарском иге сидят в мозгах костей каждого русского, поэтому уже одно имя «Мамай» вызовет ярость и злобу против правых.

Сама заметка была составлена нарочито примитивно. В ней подчеркивалось, что представители правой оппозиции в своей критике линии ЦК оказались правы, в этой связи цитировался Рыков, а Центральному Комитету указывалось, что «нечего наводить тень на плетень»! И вот тогда пошла писать губерния: в редакцию посыпались тысячи статей, писем, телеграмм и даже стихи с осуждением и великим возмущением против правых лидеров, которые порождают таких уродов, как «Мамаев». Поэт Александр Безыменский даже написал целую поэму под названием «Мамаево побоище», которую он огласил на съезде. Несомненно, были и такие письма, хотя бы анонимные, которые поддерживали «Мамаева», но ни одно из них не было напечатано, для них редакция «Правды» служила транзитным пунктом: отсюда они попадали прямо в ЦКК для партийного суда над их авторами. Таким образом, кроме анонимной критики мифического «Мамаева», чтобы возмутить партию против правых, и моей критики тезисов Политбюро, «Правда» за всю предсъездовскую дискуссию не напечатала ни одной критической статьи или письма. Тем не менее, Киров обвинял Рыкова, Бухарина и Томского в том, что они не дали отпор сторонникам их взглядов в «Дискуссионном листке» «Правды» («Правда», 2 июля 1930 г.). Вот когда сам член Политбюро Киров, что называется, прямо пальцем указал на меня, услужливый

Юдин срочно созвал расширенное заседание бюро партийной ячейки с повесткой дня: 1) О правооппортунистическом выступлении т. Авторханова в «Правде», 2) О хулиганском поступке т. Авторханова в ИКП.

На инквизиции, устроенной надо мною на заседании бюро, от меня потребовали полного разоружения и искреннего раскаяния в проповеди «преступных взглядов» правого оппортунизма. Поскольку саму постановку вопроса я считал провокационной, а обвинение ложным, я решительно отказался выступить с «самокритикой». Тогда на бюро ячейки повторился XVI съезд в миниатюре – на меня посыпался такой град обвинений и угроз, словно я только что взорвал Кремль со всем его содержимым. Только один Сорокин встал на мою защиту. Но суд был скорый и, может быть, даже правый: меня исключили из партии, а Сорокину объявили выговор, как «примиренцу».

Второй вопрос повестки дня отпал автоматически.

На следующий день Сорокин потащил меня в ЦК.

– Этим ослам зададут взбучку, увидишь, – уверенно сказал Сорокин.

И в самом деле, в приемной культпропа ЦК нас приняли чуть ли не как «героев». Невозмутимый Сорокин, которого хорошо знали здесь, меня представил как редкий экзотический экземпляр:

– Хотите видеть живого оппортуниста, вот он, полюбуйтесь!

Из реплики одного инструктора я заключил, что сочувствие моей беде скорее объяснялось ненавистью к Юдину:

– Мы здесь годами потеем над сочинением циркуляров и не можем попасть даже в кандидаты ЦК, а Юдин лезет прямо в Политбюро.

Скоро пришел завкультпропом Стецкий и принял своего друга Сорокина вне очереди. Через несколько минут вызвали

и меня. Стецкий начал с цитаты из резолюции XVI съезда: «XVI съезд поручает ЦК партии... неуклонно проводить ликвидацию кулачества, как класса, на основе сплошной коллективизации *по всему Советскому Союзу*... съезд объявляет взгляды правой оппозиции несовместимыми с принадлежностью к ВКП (б)». Стецкий в дружеских тонах, но довольно внушительно сообщил мне, что Сталин имел в виду мою статью, когда заявил «партия пересмотрела метод землеустройства в пользу колхозного движения», а съезд добавил, что сплошная коллективизация и ликвидация кулачества будут проводиться «по всему СССР».

– Идите в редакцию «Правды» и откажитесь от вашей грубейшей «правооппортунистической ошибки».

Не спросив даже, согласен ли я это сделать, Стецкий продиктовал телефонограмму секретарю ячейки ИКП, чтобы протокол о моем исключении из партии был уничтожен. В тот же день я посетил редакцию. Мехлис был страшно удивлен, когда увидел меня, не менее удивлены были и члены редакции. Оказывается, они представляли себе, что в моем лице партия имеет дело с каким-нибудь старым закоренелым националистом с мусульманского Востока, а увидев меня, были не только удивлены, но и разочарованы: стоило ли из-за этого шпингалета заводить весь этот сыр-бор, – читал я в их глазах. Этим, наверно, объяснялось и то, что Мехлис с пренебрежением бросил мне обратно тот проект письма, с которым я пришел в редакцию.

– Такие шутки ты можешь писать в «Крокодил», а не в «Правду», – раздраженно сказал он (Стецкий говорил на «вы», а редактор «Правды» сразу перешел на «ты»). Письмо мое состояло из двух частей – в первой части я утверждал свою правоту по поводу того, что партия должна выполнить собственные директивы по национальному вопросу, во второй части я признавал, что допустил правооппортунистиче-

скую ошибку, отвергая колхозы и требуя землеустройства для национальных областей и республик. Такое половинчатое признание звучало в ушах бдительного Мехлиса, как вызов. Он предложил мне переделать письмо, полностью признавая и решительно осуждая мои правооппортунистические взгляды и националистические ошибки. Я тут же переписал письмо, признав «правооппортунистическую ошибку» и обойдя мои мнимые «националистические ошибки». Быстро пробежав новый вариант письма, Мехлис так громко заорал на меня, что в кабинет ворвались его сотрудники, думая, наверное, что я зарезал их редактора. Воспользовавшись этим, я счел за лучшее покинуть его кабинет, оставив письмо на столе. На второй день я прочел в «Правде» «Письмо в редакцию» – так, как я его оставил:

«Тов. редактор! В своей статье «За выполнение директив партии по национальному вопросу» (см. «Правда», «Дискуссионный листок» № 17) я допустил грубейшую правооппортунистическую ошибку, утверждая, что подготовка к колхозному движению в национальных районах и окраинах должна начаться с землеустройства. От этого своего тезиса я отказываюсь. Совершенно правильно ставит вопрос относительно национальных окраин и районов т. Яковлев, сказав, что «наряду с артелью в некоторых районах незернового характера, а также в национальных районах Востока, может получать на первое время массовое распространение товарищество по общественной обработке земли, как переходная форма к артели», тем более, что «партия пересмотрела метод землеустройства в пользу колхозного строительства» (из доклада т. Сталина на XVI съезде партии). В правильности генеральной линии партии как в области индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и решительной борьбы на два фронта – в первую очередь против главной опасности – правого уклона, так и в области национальной политики у меня никаких колебаний и сомнений нет. С

коммунистическим приветом А. Авторханов («Правда», 4 июля 1930 г.).

Возвратимся к съезду.

Люди, внимательно следившие за прениями на XVI съезде, на котором все члены Политбюро и президиума ЦКК, все секретари обкомов, крайкомов и центральных комитетов национальных республик единодушно заявляли, что Бухарин, Рыков и Томский не разоружились и держат свое предательское оружие за пазухой, были поражены, когда прочли в «Правде»: все трое избраны членами ЦК, а Рыков даже членом Политбюро, оставаясь главой правительства.

Это было еще одно новое доказательство «миролюбия» генсека, и – агрессивности его соратников. Во всех дискуссиях и расправах против оппозиций – «левой оппозиции», «новой оппозиции», «правой оппозиции» – Сталин всегда берет на себя роль «миротворца», предоставляя роль инквизиторов своим соратникам. Когда в 1924 г. Зиновьев и Каменев потребовали, а Ленинградский губком партии постановил исключить из партии Троцкого, то как раз Сталин возразил против этого, заявив: «Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым потому, что знали, что политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови – а они требовали крови – опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего, – что же у нас останется в партии?» На этом месте протокол отмечает: «аплодисменты» (Сталин, Соч., т. 7, с. 380). Сталин достиг своей тактической цели: партия видит, что ее генсек не хочет, чтобы в партии восторжествовал «метод отсечения» и «пускания крови» сегодня Троцкому, завтра Зиновьеву, послезавтра Бухарину, но именно таков был его стратегический план еще тогда. Если Сталин продолжал на XVI съезде все еще творить «мир», то для этого у него была только одна причина: элита партии была за его лидерство, но

против его диктатуры. Поэтому игра в «миролюбие» была маскировкой подготовки будущей ликвидации этой самой элиты. Сталин увидел из единодушной аргументации своих соратников против бухаринцев о «коллективности руководства» в ЦК, что, пока его окружает большинство вот этих соратников, не быть ему единоличным диктатором. Они его защищали как исполнителя их коллективной воли, тогда как ему они нужны были как исполнители его личной воли.

8. На Курсах марксизма при ЦК

Как-то прочел я в «Правде», что на Курсах марксизма-ленинизма при ЦК открыто редакторское отделение, куда принимают руководящих работников партийной печати. Ознакомившись повнимательнее с условиями приема туда, я увидел, что главным условием (партийный стаж, печатные работы, опыт руководящей работы в печати) отвечаю, но есть и одно, не от меня зависящее: обком должен дать мне положительную партийную характеристику. Человек, который заведовал агитпропом обкома, считал меня своим личным врагом, думая, что я мечу на его место, хотя никаких оснований у него для этого не было, поскольку я избегал работы в партийном и советском аппарате. В нормальных условиях характеристику должен был составить он, но я знал, что он этого не сделает и даже сорвет мне ее выдачу (директором партиздата я был назначен вопреки его протесту). Я решил обойти его. Вторым секретарем обкома работал Хаси Вахаев, которого я, будучи зав. орготделом, выдвинул инструктором обкома. Из-за интриг заведующего агитпропом наши отношения перестали быть дружескими, но все еще оставались нормальными. Уловив подходящее время, я ему подсунул характеристику, которую сам на себя составил. Никаких дифирамбов я себе не пел, в ней просто пересказывалась моя биография и отмечалось обязательное в таких случаях положение, что я в каких-либо оппозициях не участвовал, антипартийных уклонов не было, в «примиренцах» не числился и колебаний от «генеральной линии» не проявлял (не мог же я писать, как тот герой из анекдота: «колебался вместе с генеральной линией»). Когда я Вахаеву положил на стол характеристику, он, вопреки ожиданию, даже не удивился (вероятно, подобные бумаги он часто подписывал) и, собираясь ее под-

писать, только, как бы между прочим, спросил: «Зачем она тебе понадобилась?»

Чтобы скрыть свою истинную цель, я решил отделаться шуткой: – хочу ее представить товарищу Окуеву (тот и был зав. агитпропом). Вахаев тоже ответил шуткой, которая звучала как правда: «Тут тебе не поможет характеристика, подписанная даже самим товарищем Сталиным!»

Сразу же после этого я направил в Мандатную комиссию ЦК заявление – с приложением характеристики и своих книг – о принятии меня на редакторское отделение. Кроме того, я написал и личное письмо на имя Александра Щербакова. С Щербаковым я был знаком по ИКП и даже оказал ему несколько услуг, когда он приезжал на Кавказ. Он теперь был заместителем заведующего Орготделом ЦК. Я не очень верил в свой успех, ибо конкурентов должно было быть много, а Щербаков, теперь уже высокий чиновник, наверно, давно забыл о моем существовании.

Прошло довольно много времени – явный признак отказа. Я примирился было с этой мыслью, но как-то звонит ко мне в партиздат (он находился в здании обкома) Вахаев и просит меня подняться к нему наверх. Как раз в это время у меня было издательское совещание. Поэтому спрашиваю его, можно ли явиться к нему после совещания. Вахаев отвечает, что явиться надо сейчас же.

– У нас в обкоме переполох, не знаю, что сие может означать, – говорит Вахаев и протягивает мне телеграмму: «Срочно откомандируйте Авторханова в распоряжение ЦК. Щербаков».

– Понятия не имею, – застраховал я себя от Окуева.

Окуев был весьма способный человек и серьезный работник, но болел той болезнью, которую можно назвать патологической завистью к чужим возможностям, вроде героя О'Генри, считавшего «доллар в чужом кармане личным

оскорблением для себя». Хотя подписью под моей характеристикой я связал судьбу второго секретаря с моей, и он уже не может поддержать шефа агитпропа, если тот вздумает послать в ЦК отвод против моей кандидатуры на курсы, но все же я посчитал за лучшее молчать обо всем, пока меня не оформят в Москве. И оказался прав. Окончательное оформление произошло лишь после беседы с Щербаковым. Я сразу подал телеграмму в обком с просьбой освободить меня от работы в партиздате, так как остаюсь в Москве учиться на курсах марксизма при ЦК.

Удивительное дело: в «Правде» меня уж объявляли «правых дел мастером», в ИКП травили как бездомную собаку, в обкоме, в Грозном, я был под постоянным подозрением, правда, не без собственной вины (иные головотяпские решения обкома я критиковал в центральной печати, так как в местной мне это не разрешалось), а вот аппарат ЦК на меня определенно делал ставку, – иначе чем объяснить отмену постановления ячейки ИКП о моем исключении из партии, мою работу в секторе печати в ЦК, назначение директором партиздата области, теперь принятие на курсы марксизма?.. На вершине власти, где никто не верил уже ни в Бога, ни в Маркса с Лениным, смотрели более хладнокровно и более трезво на то, что творилось и говорилось внизу. ЦК намеренно накалял политическую атмосферу и с бешеной злобой натравлял актив против партии, партию против народа, народ друг против друга («классовая борьба»), планируя свое очередное преступление против всех – тогда с низов беспрерывным потоком двигались «встречные планы»: «бей!», «уничтожь!», «вырви с корнем!». Намеренная клевета, дикие измышления, ложные доносы были легализованы самим же Сталиным, когда он заявил, как уже указывалось, что нам нужна критика и самокритика, если в ней содержится даже только «5–10% правды». Наверху хорошо знали цену этой

собственной системе и поэтому пользовались ее преимуществами только в тех случаях и в том масштабе, если решили избавиться от определенных лиц или социальных групп. Будь на вас тысяча доносов, с правдой не на 5–10, а на все 100 процентов, но если вы уже заранее не включены в список обреченных, то можете спать спокойно. Впоследствии на допросах мой следователь мне сказал: мы уже дважды старались вас арестовать, но ЦК оба раза не разрешил. Вот это и называется – очередь не дошла. У товарища Сталина все ведь делалось по плану. План – государственный закон, говорил Сталин, а нарушение плана, добавлял он, государственное преступление.

Да, ЦК делал на меня ставку как на бывшего и будущего партаппаратчика, что подтвердил еще раз факт моего зачисления на курсы при ЦК. Все остальное зависело от меня самого. В ЦК не забыли, конечно, моего «грехопадения» во время дискуссии в «Правде» три года назад. Там считали это «грехопадение» результатом не злого умысла с моей стороны, а политической незрелости, когда молодой коммунист созерцает мир через розовые очки, принимая тактические маневры партии за ее стратегические замыслы. Такой простак – идеальное сырье для выделки из него рафинированного «винтика» партаппарата, правда, при условии, что он податлив, в собственных же интересах. Если «сопромат» пересилит «диамат» – знай, что ты уже сгорел во время «обработки», если же «диамат» э тебе победил – тогда ты уж получаешь аттестат партийной зрелости и попадаешь в «партию в партии» – в актив партии. В нормальном государстве, демократическое оно или абсолютистско-монархистское, актив – это просто бюрократия, нужная для управления делами аппарата государственной власти. Такая была бы роль актива и в советском государстве, если бы оно было нормальным. Поскольку советское государство, по мнению Ленина, – государство «нового типа», «диктатура пролетариата», иначе

говоря, не государство в классическом смысле, а «тоталитарная партократия», то управляют ею не вообще чиновники, а чиновники тоже «нового типа» – «партократы». Партократы – это актив, рекрутируемый из социальных низов общества, актив, пропущенный через фильтр обесчеловечивания, чтобы освободить его от морального тормоза и эмоциональной нагрузки, актив, перекованный в кузнице партии в бездушных мастеров власти. Активисты при Сталине приходили к власти через миллионы трупов своих соотечественников, кто этим начинал тяготиться, тот сам оказывался среди трупов. И все-таки сотни тысяч, миллионы рвались в актив. Вовсе не для преступления, а для человеческой жизни. Власть и есть источник такой жизни. В другой книге я сделал сравнение между коммунистическим государством и государством капиталистическим как раз в этом вопросе и пришел к выводу, который сам по себе очевиден: при капитализме деньги дают власть, а при коммунизме власть дает деньги. В основе обеих экономических систем даже лежит один общий закон – пренебречь человеческой моралью, если это необходимо для собственного благополучия. Вот отсюда движущей силой партийного актива стала карьера, жажда власти, которой нельзя достичь иначе, как через потерю самого себя как человека. Сталин, несомненно, был великим психологом человеческого дна и его социальной клоаки. Он и вербовал там своих активистов, одаряя их властью и привилегиями прямо пропорционально содеянным ими преступлениям, для увеличения и расширения его абсолютной власти. Поскольку мы знаем еще со времен лорда Актона, что «власть портит, абсолютная власть портит абсолютно», то советское партократическое государство оказалось уникальным и вне конкуренции по своей коррупционности.

Я был бы несправедлив, если бы объявил всех, кто шел в партию и партактив, сплошь продажными типами. Многие

интеллигентные люди не шли в партию – их вербовали туда. Если выдающиеся люди из среды ученых вообще не поддавались такой вербовке, то их вызывали в ЦК и требовали, чтобы они в интересах «науки и родины» согласились быть зачисленными в партию непосредственно ЦК (академик Деборин, Марр и др.), а выдающимся советским полководцам ЦК торжественно сообщал, что они имеют честь быть принятыми заочно в партию самим ЦК, минуя обычные в таких случаях инстанции (заместитель наркома обороны СССР Сергей Каменев, маршалы Шапошников, Говоров и др.). Известны и примеры, когда академиков с мировыми именами вызывали из их лабораторий, торжественно вручали им партбилеты и тут же назначали министрами СССР! Попробуйте отказаться от такой чести – быть зачисленным в «партийный актив» самим Центральным Комитетом! У советского академика или полководца не было даже и того выбора, который был у американского полководца, героя американской гражданской войны У. Т. Шермана. В ответ на настойчивые уговоры выставить свою кандидатуру в президенты Шерман писал: «Если меня выдвинут кандидатом в президенты, то я убегу в Мексику, если же меня изберут, то я буду бороться против моей выдачи». Из СССР не убежишь, ведь «страна на замке», как хвалятся чекисты.

Если ты уж в «актив» попал – безразлично по собственной воле или против нее, – отныне ты принадлежишь не себе, а партии, ты не рассуждающий человек, а функционирующий инструмент, ты микроскопический винтик в исполинском механизме партии. «Винтиком» тебя нарек сам Сталин. Если же ты «винтик» не просто механический, служащий безупречному функционированию машины власти, а «идеологический», «творческий» винтик, обязанный оправдывать преступления самой машины, то ты должен усвоить всеспасающую и всеобъясняющую науку партии – «диалектику».

Здесь я хочу подробно остановиться на том, что значит «диалектика в политике» по-большевистски. Впрочем, что такое эта таинственная «диалектика», наглядно объяснил один чех: два студента на семинаре высшей партийной школы в Праге стараются понять, что такое «диалектика», и никак не могут разобраться. Подходит еврей, который в юности посещал семинар по талмуду, и объясняет им «диалектику» на практических примерах:

– Представьте себе двух людей, которые упали в камин. Один весь в саже, а другой остался чистым. Кто из них моется?

– Конечно, грязный.

– Неправильно. Грязный смотрит на чистого и думает, что он тоже чистый. Напротив, чистый смотрит на грязного и думает, что он тоже грязный, и поэтому он моется. Сейчас я вам поставлю второй вопрос: оба падают в камин, кто же моется теперь?

– Теперь мне ясно – моется тот из них, кто остался чистым, – отвечает второй студент.

– Заблуждение. Чистый, когда мылся, установил, что он был чист, а грязный, который видел, что даже чистый мылся, последовал его примеру. Теперь я ставлю вам третий вопрос: оба уже третий раз падают в камин. Кто же моется?

– Отныне всегда моется тот, кто грязный.

– Опять неверно. Видели вы когда-нибудь, чтобы двое упали в одну и ту же печку, при этом один остался чистым, а другой вымазался? Вот теперь, товарищи, вы видите, что такое диалектика!

Мы помним, что Ленин в своем «Завещании» заметил о Бухарине, что Бухарин «никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики». Что значит, по Ленину, не понимать диалектики в политике? Это значит нарушить ведущий закон диалектики в политике – «лавирование и маневрирование», который Ленин пояснял в следующих словах:

«Надо уметь... пойти на все и всякие жертвы, даже в случае надобности – на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды» (Ленин, т. XXV, с. 194); это значит проспать гениального Макиавелли, который учил политиков давать любые обещания и подписывать любые договоры, но тут же предупреждал, что «благоразумный государь не может держать свое слово, когда это вредно для него»; это значит, наконец, игнорировать достижения «диалектики» ученика Ленина, самого Сталина, который даже святотатство совершал в маске святого. Этих качеств Бухарин был лишен начисто, что он доказал в двух важных дискуссиях с Лениным: в 1918 г. во время обсуждения Брест-Литовского мира с Германий и в 1920 г. во время профсоюзной дискуссии.

После всего сказанного должно быть понятно, что «душой» учебной программы курсов марксизма при ЦК тоже была «диалектика в политике» вообще и «ленинская диалектика в партийном строительстве» в особенности.

Герцен называл диалектику Гегеля «алгеброй революции», большевики превратили ее в «алгебру партии» для растления душ, в орудие партии для камуфляжа своих преступлений, в философию лжи для их оправдания. Первое просветление в этом направлении и началось у меня на курсах марксизма-ленинизма при ЦК (Садово-Кудринская ул. 9, там ныне Академия общественных наук при ЦК КПСС).

Начну свой рассказ об этих Курсах с их начальства, состава слушателей и профессоров. Начальником курсов был член партии с 1912 г. Д. Н. Булатов. Эту должность он совмещал со своей основной работой – начальника отдела кадров НКВД СССР. Это тоже была по существу фиктивная должность. Он был личным представителем Сталина в аппарате НКВД, чтобы надзирать за сетью его кадров изнутри. Раньше он входил во «внутренний кабинет» Сталина, после стоял ряд лет, еще

до Маленкова и Ежова, во главе орготдела ЦК, входил в состав ЦК тоже раньше их обоих – с 1930 г. Сталин его знал лично еще с 1910 г. по совместной ссылке в Сибири, где Булатов, по его собственным словам, выполнял роль «мальчика на побегушках» у Сталина-Коба. Благодарный Сталин всячески выдвигал Булатова, пока на горизонте не появились Ежов и Маленков. Однако «благодарность» Сталина тоже была категорией «диалектической». Когда в 1936 г. Ежова назначили наркомом внутренних дел вместо Ягоды, то он убедил Сталина, что Булатов в заговоре с Ягодой, и поэтому чистку в аппарате НКВД начал с ареста Булатова. Дело Булатова долго тянулось. Видимо, его не смогли «оформить» для суда, и у семьи – после ареста самого Ежова в 1939 г. – даже появилась надежда на его освобождение. О его дальнейшей судьбе рассказывает самиздатский историк:

Арестованного Булатова «поместили в Лефортово, но от пыток воздержались... В своем письме Булатов напомнил Сталину о Сольвычегодске, где оказал будущему вождю не одну услугу. Ему сообщили, что назначено переследствие... в товарище Сталине заговорила совесть. В тот же вечер Булатова вызвали с вещами. Прошло несколько лет. В один из июльских дней 1941 г. в общей камере Бутырской тюрьмы встретились два друга, старых партийца. Булатова было не узнать: мертвенно бледный, слабый, он еле передвигался... Оказывается, тогда его из Лефортовской тюрьмы не освободили, а перевели на «дачу пыток» в Сухановскую тюрьму. На него дали 73 показания, 73-е было показание Ежова. Что касается судьбы Булатова, то утро заседания бригады Ульриха стало для него «последним» (А. Антонов-Овсеенко, «Портрет тирана». Издательство «Хроника», Нью-Йорк, 1980, с. 217).

Мог ли думать о такой судьбе самоуверенный и самовластный, до мозга костей от Сталина и под Сталина, приземистый крепыш во цвете лет (Булатову было 45 лет), когда он

заезжал к нам на Курсы в форме генерала НКВД и наставлял нас учиться у Сталина «ленинской диалектике бить и побеждать врагов!». Оказывается, он учил нас той науке, о которой сам имел лишь смутное представление. Его заместителем по учебной части и фактическим руководителем курсов был Семенов. Как человеческий тип он был полнейшим антиподом Булатова, а как образованный марксист во много раз превосходил его. Мягкий и предупредительный в обращении, терпеливый и толерантный в теоретических спорах (качества, которые Сталин и его клика беспощадно изгоняли из партийной среды – как атрибуты «гнилого либерализма»), Семенов старался внедрить в учебный процесс побольше познавательных элементов как из области «трех источников марксизма» (немецкая классическая философия, английская классическая политэкономия и французский социализм), так и из области русской классической литературы и искусства. Он постоянно внушал слушателям, что два года, которые они проведут здесь, – это их последняя возможность заглянуть в сокровищницу буржуазной культуры, без овладения которой человек не может считать себя образованным. Для этого в распоряжении слушателей было все: академики и профессора с мировыми именами, богатая библиотека с «буржуазной» литературой, недоступной обыкновенному советскому человеку, опера, музыка, музеи, всюду с бесплатным входом; а чтобы не бегать по магазинам для приобретения «барахла», – постоянные пропуски в закрытый распределитель Кремля. Что же еще нужно, чтобы человек всерьез взялся за овладение «буржуазной» культурой?

И все же заботы Семенова были не только напрасны, но и бесцельны. Объяснялось это специфическим составом его слушателей. По первоначальному замыслу, курсы марксизма, созданные в начале двадцатых годов при Комакадемии, служили для пополнения знаний в области марксистской

теории у высших резервных и «опальных» кадров, чтобы они, дожидаясь новых назначений, зря не шлялись по Москве (посланный, или, вернее, сосланный сюда глава Грузии Буду Мдивани возмущался: «Никак не могу понять, почему Сталин посадил меня не в тюрьму, а сюда: ведь марксизму я могу учить его самого и всех его Кагановичей!»). В конце двадцатых годов курсы марксизма были переименованы в Курсы марксизма-ленинизма при ЦК с двухгодичным обучением. «Опальные» на них уже больше не посылались (их путь давно уже лежал в Сибирь). Отныне сюда попадали отборные и «перспективные» – секретари обкомов, крайкомов и Центральных Комитетов республик, заведующие их ведущими отделами, редакторы их газет. Приемы на Курсы в начале тридцатых годов (после XVI съезда) поразили меня одной специфической особенностью, которой я тогда не придавал никакого значения: в составе принятых впервые появились руководящие чекисты из областей и республик. В приеме 1933 года, в котором и я попал на Курсы, они составляли уже значительный процент. Я понял, в чем дело, тогда только, когда Сталин начал назначать чекистов, пропущенных через Курсы марксизма, первыми секретарями обкомов, крайкомов и Центральных Комитетов республик. Всех перечислять незачем, назову только трех, которых я знал лично и которых знает история сталинщины: начальник областного управления ГПУ Н. Игнатов стал первым секретарем обкома, после войны секретарем ЦК и членом Политбюро (Президиума); начальник краевого ГПУ Е. Евдокимов стал первым секретарем Северокавказского крайкома; начальник республиканского ГПУ Д. Багиров стал первым секретарем ЦК Азербайджана. Другой наиболее выдающийся чекист, который воистину мог учить марксизму самого Сталина, был назначен, минуя наши курсы, первым секретарем ЦК Грузии – Л. Берия.

Вот только теперь понял я, почему шеф наш – не какой-нибудь партийный профессор, а сам начальник кадров НКВД СССР. Булатов, изучая своих чекистов «по косточкам», как любил выражаться Сталин, вероятно, делал и соответствующие рекомендации Сталину, кого из них можно назначать секретарями партии. Семинары «Партийное строительство», которые он вел, служили той же цели: выявлению характера, способностей и образа мышления каждого его участника. Все другие дисциплины, за которые болел Семенов, а также те, которые касались чистой теории марксизма, имели побочное значение.

Конечно, на Курсах были не только чекисты, но и порядочные люди. Таким был старый революционер, член партии с 1906 г., председатель Комиссии партконтроля при ЦК Белоруссии З. Г. Иоанисиани. Это был обаятельный и добрый человек, который никак не подходил к своей полуполицейской работе (эту работу ему навязал первый секретарь ЦК Белоруссии Гикало). Я его знал еще по Кавказу, а на Курсах мы даже подружились, несмотря на разницу в возрасте. Его сюда прислали с советско-хозяйственной работы, чтобы «переквалифицировать» на должность партийного судьи. Он, как любой армянин, очень любил музыку, и меня, полного профана в этом искусстве, умудрялся брать на каждую премьеру в Большой театр, а часто и на концерты в Музыкальную консерваторию. Были на Курсах и свои, советские «Пу-и» (император Пу-и был ставленником Японии в Маньчжурии). Этой кличкой я наградил председателей «автономных» правительств Бурято-Монголии Дабаина и Чечни – Омарова. Одного я называл «монгольским Пу-и», другого «чеченским Пу-и». Они не обижались и отзывались на кличку, совершенно не догадываясь о заключенной в ней иронии.

Среди немногих женщин на Курсах «ферст леди», конечно, считалась жена Жданова. Не знаю, почему ей вздумалось

учиться марксизму у наших профессоров, а не у своего всезнающего мужа. Впрочем, ее никто не учил, а она учила всех: и профессоров, и начальство, и нас, слушателей. Так как в ее «эрудиции» что-то могло быть и из сведений, почерпнутых от окружения Политбюро, а главное – она могла замолвить словечко перед своим всемогущим мужем в пользу поддакивающих ей любимчиков, то недостатка в подхалимах у нее не было. К ним принадлежали и мои «Пу-и». Скоро Жданова стала наиболее часто цитируемым авторитетом даже в вопросах мировой политики: «Товарищ Жданова сказала, что если мы захотим, то займем Маньчжурию в два часа», – эту цитату я слышал от одного слушателя, спорившего с другим, а ведь это была опасная болтовня. Я только удивлялся, как она, ставшая, наверное, по старости лет еще более болтливой, умудрилась не быть арестованной Сталиным, который ведь загонял в тюрьмы просто из-за бабских сплетен жен других своих соратников – Молотова, Ворошилова, Андреева, Поскребышева... Ни одна из жен «вождей» не была так виновна перед Сталиным, если речь идет о распространении «контрреволюционных измышлений», как именно Жданова. Сталин этого, конечно, не знал, ибо никто из нас, даже из среды чекистов, не осмелился бы сообщить в ЦК о болтовне жены секретаря ЦК, – например, о причине убийства Кирова. Между тем ее версия о мотивах убийства Кирова Николаевым на романической почве была более правдоподобна, чем та, которую сочинил для Николаева сам Сталин (об этом – в следующей главе).

На Курсах читали лекции профессора трех категорий: партийные профессора, одни – о теории марксизма-ленинизма, другие – об управлении партией и государством; беспартийные – по западной истории и культуре; партийные и беспартийные профессора – по истории Руси, России, СССР. К третьей категории принадлежали приглашенные читать лекции или делать доклады по текущей политике, по

литературе и искусству. На редакторском отделении были и специальные дисциплины, связанные с техникой редактирования, профилем газеты, специфическими требованиями и законами партийной журналистики.

Ведущей кафедрой была кафедра «партийного строительства». Что же такое «партийное строительство»? В своей уже мною упоминавшейся книге «The Communist Party Apparatus» (1966) я целиком принял советское определение этой дисциплины – это ленинское учение об управлении партией и государством, но назвал такое государство «нового типа» уникальной в истории формой правления – «тоталитарной партократией».

«Партийное строительство» – прикладная и универсальная наука, но это наука секретная, закрытая, доступная не всякому члену партии, а только ее избранной элите – партактиву. Поэтому ее изучают в закрытых высших партийных школах (как я отмечал в предисловии названной книги, в западных книгах, объявленных учебниками по изучению КПСС, нет даже упоминания о науке «партийное строительство», настолько она оказалась секретной даже для советологов Запада!). В основе этой науки лежит тезис Ленина:

1. Дайте нам организацию революционеров и мы перевернем Россию» («Что делать?», 1902);

2. «Мы Россию завоевали... Теперь мы должны управлять Россией» («Ближайшие задачи Советской власти», 1918).

Тотальное руководство над обществом и тотальный контроль над поведением каждого его члена – таков основной смысл этой науки. Поэтому свое исследование я и начал с тезиса:

«Большевизм есть не идеология, а организация. Идеологией ему служит марксизм, постоянно подвергаемый ревизии в интересах этой организации. Большевизм и не политическая партия в обычном смысле этого слова. Большевики сами себя называют

партией, но с многозначительной оговоркой – партией «нового типа». Большевизм не является также и «движением», основанным на мозаике представительства разных классов, аморфных организационных принципах, эмоциональном непостоянстве масс и импровизированном руководстве. Большевизм есть иерархическая организация, созданная сверху вниз, на основе точно разработанной теории и умелого ее применения на практике. Организационные формы большевизма находятся в постоянном движении в соответствии с меняющимися условиями места и времени, но его внутренняя структурная система остается неизменной. Она сегодня такая же, какой она была до прихода большевиков к власти» (A. Avtorkhanov. The Communist Party Apparatus. Regnery, Chicago, 1966, p. 1).

Это был основной вывод, который вытекал из наших теоретических занятий по кафедре «партийное строительство» и который подтверждается всей историей большевизма.

Мои полезные занятия по «партийному строительству» через год прервались совершенно неожиданно для меня. В конце учебного года (это было в мае 1934 г.) Семенов вызвал меня к себе и сообщил, что мне незачем тратить еще один год на Курсах, поэтому Булатов договорился в ЦК, чтобы меня допустили к конкурсным экзаменам на основной курс Института красной профессуры. ИКП так-таки и стал моей судьбой, на этот раз без малейших стараний с моей стороны Я давно перестал о нем думать, да и вообще думать о высшей школе. Сколь рьяно я стремился в школу в дни детства и юности, столь же теперь мною овладела полнейшая апатия ко всему.

На Курсы я подал заявление, чтобы, став газетчиком, разъезжать по стране, писать очерки, попробовать свои возможности в области публицистики. После Курсов марксизма по редакторскому отделению дорога мне была открыта в любую газету. Все остальное зависело от меня и от моих талантов... нет, не писать, а приспособляться, хотя по этой части

конкуренция была велика, но шансы выбиться в литературные лакеи неограниченны.

Я без всякого энтузиазма принял к сведению сообщение Семенова и получил трехмесячный отпуск для подготовки к экзаменам.

Некоторые воспоминания сохранились в моей памяти и от посещения заседаний первого съезда Союза писателей СССР в августе 1934 г., когда я был еще на Курсах. Я был членом СП СССР по секции критиков (на моем членском билете СП СССР красовались подписи М. Горького и Л. Щербакова), имел гостевой билет на съезд, но посещал только те заседания, на которых с докладом и заключительным словом о советской поэзии выступал Н. И. Бухарин. Ходили упорные слухи, что Сталин сам предложил Бухарину выступить с таким докладом, с тем чтобы напустить на него с критикой малоразборчивую свору из цеха «пролетарских поэтов», которыми дирижировала на этом съезде, как, впрочем, и самим председателем съезда Максимом Горьким, «тройка» «писателей» – А. Щербаков, П. Юдин и В. Ставский. Съезд все-таки был не только интересным, но и весьма колоритным. Редко кто, кроме докладчиков, держал речь по шпаргалке. Унификация мысли советских писателей все еще не достигла той вершины бессмысленной жвачки пустого и трафаретного словоблудия, как на нынешних съездах. Даже речи «пролетарских поэтов», нападавших на Бухарина, выслушивались с огромным интересом. Горький был плохим докладчиком, зато симпатичным председателем из-за своей беспомощности. Поэтому не он руководил собранием, а собрание руководило им. Это была последняя явочная свобода советских писателей, выступавших как творческие личности, а не роботы агитпропа, как сейчас. Горская делегация очень гордилась, что в президиуме съезда рядом с всемирно прославленным Горьким восседает лезгинский ашуг, седовласый Сулейман

Стальский, которого Горький назвал на этом съезде «Гомером двадцатого века». Это был гениальный самородок, импровизатор поэзии и фольклорист, который не умел ни читать, ни писать, и именно поэтому партийные идеологи успешно проституировали его творчество, поставив его на службу самых омерзительных акций сталинщины. Насколько Сулейман был далек от понимания советской идеологии, свидетельствовал случай, о котором мне рассказывал бывший нарком просвещения Дагестана Алибек Тахо-Годи. В связи с предстоящими празднествами к десятилетию автономии Дагестана, говорил Тахо-Годи, мы попросили Сулеймана сочинить стихи о том, «как раньше было плохо, как теперь хорошо, как после будет еще лучше». Заодно растолковали ему, что мы идем к другому, высшему обществу, которое называется «коммунизм». При коммунизме будет, как в раю. Там не будет ни государства, ни Советов, ни даже большевистской партии. Это сообщение, видно, очень вдохновило ашуга, и на торжественном собрании Сулейман продекламировал чуть ли не целую поэму, но повторяющийся через каждое четверостишие рефрен оказался катастрофическим:

«При злых царях было плохо,
при милых большевиках хорошо,
но при коммунизме будет лучше,
что не будет ни Советов, ни большевиков».

Таким и был подлинный «Гомер XX века».

Если центральной идеей доклада Максима Горького была продиктованная Сталиным узурпация творческой свободы писателей и большевизация их художественно-эстетической мысли под антихудожественным девизом «соцреализм», то основная идея доклада Бухарина была абсолютно противоположной. Обращаясь к поэтам, он выдвинул лозунг: «Нуж-

но дерзать!». Как на поэта, умеющего «дерзать», он указал на Пастернака. «Соцреализм» партия как раз и придумала, чтобы писатели и поэты перестали «дерзать», чтобы Пастернаки и Сельвинские равнялись по Бедным и Безыменским, а Бухарин твердит: ни в коем случае, все должно быть наоборот – «нужно дерзать!». Вот тогда «тройка» напустила на Бухарина «оскорбленных и униженных» «пролетарских поэтов».

Большая группа поэтов во главе с А. Сурковым (он учился тогда в ИКП) начала нападки на Бухарина, применяя совершенно нечистоплотные приемы. В полемике партии против ее противников все приемы считаются дозволенными: приписывать противнику мысли, которых он не высказывал, чтобы было легче его «разоблачать»; приписывать ему действия, которых он не совершал, чтобы успешно дискредитировать его; наносить ему личные оскорбления, чтобы унизить его в глазах других. Все эти приемы, поднятые на уровень «генеральной линии» партии, сыпались на голову Бухарина, будто он не главный редактор «Известий», а какой-нибудь «продажный борзописец» из «Последних новостей» Милюкова в Париже. Все это, конечно, как я уже говорил, не было скучно, но в устах представителей русской «изящной словесности» – невыносимо и гадко. Бухарин в заключительном слове ответил им всем достойно и смело. К сожалению, я не помню всего заключительного слова Бухарина, но даже и по тем отрывкам, которые приведены из него в «Правде», читатель может оценить его достоинства. Бухарин сказал, что Сурков его обвиняет, что «Бухарин-де ликвидировал пролетарскую поэзию. Я ее ликвидировал, очевидно, потому, что не сказал: «Безыменский – Шекспир, Жаров – Гете, Светлов – Гейне», – но я и не хочу это говорить... Сурков обвиняет меня, что я на вершину советской поэзии выдвинул Пастернака, Сельвинского (о Тихонове он почему-то не упомянул...)». «Правда» продолжает: «Бухарин обвиняет и Кирсанова за выдумки и неквалифицированную критику и напоминает свой лозунг в

докладе «нужно дерзать!». Бухарин приводит выдержку из «обвинительной речи» Кирсанова: «...выходит, по Бухарину, что если страна спасла челюскинцев, то ты не высказывай свою радость, покопайся в себе, нет ли в тебе сукина сына». Где я говорил такие пошлости? Где я давал т. Кирсанову такие странные советы? Просто непонятна эта ультрастранная аргументация. Даже в бреду я не мог бы себе представить, что найдется товарищ, который мне сделает упрек, будто я запрещаю радоваться по поводу спасения челюскинцев» (это экипаж советского парохода имени Челюскина, который затонул в Чукотском море в феврале 1934 г., а «челюскинцы», 111 человек, были спасены советскими летчиками. – А. А.). Бухарин продолжал: «Я настаиваю на необходимости повышать качество поэтической продукции, охватывая гигантскую тематику и усовершенствуя форму, отсюда лозунг: «учиться и дерзать», а мои оппоненты считают себя чуть ли не гениями и не особенно восхищены проблемой напряженного труда» («Правда», 3.9.1934).

Помню, к концу съезда кто-то пустил в обращение анекдот: один иностранный корреспондент спросил у Горького: «Кто же победил в дискуссии о советской поэзии: поэты или Бухарин?» Горький быстро нашелся: «В «Правде» победили поэты, а в «Известиях» – Бухарин!» Автор анекдота бил в правильную точку: «пролетарские поэты» выступали на съезде литературными диверсантами «Правды», а «Правда» имела задание периодически напоминать партии, что Бухарин – липовый теоретик. Только этим объяснялось, что, вопреки неизменной практике утверждать тексты докладов на любых съездах в Москве, на заседании одного из органов ЦК, текст доклада Бухарина был утвержден лишь на заседании Оргкомитета Союза писателей. Это означало: доклад Бухарина может критиковать всякий, поскольку доклад не прошел через верховное святилище партии – через ЦК.

9. Как я свел абрека с Орджоникидзе

Здесь я хочу рассказать, как я свел с Серго Орджоникидзе одного чеченца, посетившего меня на Курсах. Мой гость приехал ко мне типично по-чеченски: не спросив меня предварительно, могу ли я его принять, и не предупредив о времени своего приезда. Чеченский адат не предусматривает таких деталей. По этому адату каждый гость – лицо желанное, священное и неприкосновенное. С тех пор как он переступил порог вашего дома, вся забота о нем переходит к вам. Никакой роли при этом не играет, какой он веры, национальности и сословия. Священно в чеченском доме и право убежища – как кровники, которых преследуют враги, так и политически преследуемые органами власти лица, вступив в ваш дом, становятся как бы членами вашей семьи, и адат обязывает вас отвечать за их безопасность и благополучие. Во время гражданской войны сколько чечено-ингушских аулов было сожжено белыми за то, что они не выдавали красных, потом сколько их было сожжено красными за то, что они не выдавали белых! Любой человек на Кавказе, преследуемый советской властью, знал, что нет лучшего убежища, как Чечено-Ингушетия... Сегодня я должен был играть роль гостеприимного хозяина.

Еще во время занятий секретарша Курсов вызвала меня в учебную часть, где меня ждал совершенно не знакомый мне человек, судя по внешности, горец, довольно пожилой. Одетый по-кавказски, подтянутый и проворный, гость все же выглядел молодцом и после обычного «салам-алейкум» выразил пожелание, чтобы, окончив такую «большую школу», я стал бы полезным чеченскому народу, и, как верующий мусульманин, добавил неизменное: «инш-Аллах», «да будет на то Божья воля!». Он все еще ни слова не говорил, какая

забота его занесла сюда, в Москву, из далекой Чечни, а я, если он сам не заговорит об этом, по тому же адату имел право задать ему такой вопрос только через три дня его пребывания у меня в гостях, в форме, принятой в таких случаях:

– Вероятно, у вас есть дела в здешних краях, могу ли я быть вам полезным?

Но это долг вежливости самого гостя – не обременять хозяина лишними заботами и не быть ему в тягость, если обстоятельства не чрезвычайные. Однако обстоятельства, которые привели его ко мне, были и чрезвычайные, и для человека в моем положении весьма неприятные. Когда мы поднялись в том же здании в мою комнату, гость задал мне вопрос, которого я меньше всего ожидал:

– Мой сын Абдурахман, ты слышал, что у нас в Чечне появился новый абрек – Ибрагим Курчалоевский?

– Как не слышать, он теперь самый знаменитый человек у нас, ведь НКВД назначил за него «премию»: кто поймает или убьет Ибрагима, сразу получит три награды – орден Красного Знамени, верхового коня и маузер!

– Мой сын Абдурахман, ты можешь все это заработать без труда: вот тебе револьвер, я сам и есть Ибрагим Курчалоевский.

При этих словах он положил револьвер на стол и испытующе посмотрел мне в глаза. В моих глазах он мог прочесть глубокое удивление, граничащее с беспомощной озадаченностью. Видимо, довольный впечатлением, которое он произвел на меня этим жестом, гость изложил суть дела:

– Мой сын Абдурахман, у тебя есть и другая возможность: помочь мне встретиться с Орджоникидзе и его женой Зиной. Как только я их увижу, в Чечне не будет «абрека Ибрагима», а тебя вознаградит Аллах как правоверного мусульманина.

Но эта просьба еще больше озадачила меня своей абсолютной фантастичностью. Я слишком хорошо знал, что у нас

с Ибрагимом больше шансов встретиться с самим Аллахом, чем с Орджоникидзе. В последние годы советские лидеры так глубоко спрятались от народа за высокими стенами Кремля или за высоченными заборами их подмосковных дач, что до них добираются только чекисты и вольные пташки. Когда я начал просматривать документы Ибрагима и выслушал его рассказ, мне показалось, что желание его не столь уж фантастично. К документам была приложена и краткая записка ко мне от Магомета Бектемирова, секретаря Ножай-юртовского окружкома партии, человека исключительного мужества, честности и независимости, – качеств, за которые его глубоко ненавидели чекисты. Бектемиров писал, что «легализованные бандиты из ГПУ объявили честного красного партизана Ибрагима бандитом, чтобы заработать на его преследовании очередную дюжину орденов. Надо сорвать эту затею провокаторов. Помоги в этом».

Когда я познакомился поближе с документами, мне стало ясно, почему Ибрагим был уверен, что его спасет Орджоникидзе: при Деникине Ибрагим был в личной охране чрезвычайного комиссара Москвы Орджоникидзе в горах Чечни. Он от него ездил с поручениями через фронт белых то в Баку, то в Тифлис, а то и в Астрахань к Шляпникову и Кирову. Выполнил и одно «семейное» задание Орджоникидзе: Ибрагим доставил к нему его жену Зинаиду Гавриловну из Тифлиса через военно-осетинскую дорогу, которую контролировали белые.

Моя спасательная идея заключалась в том, чтобы искать встречи не с Орджоникидзе, а с его женой, которой – за ее спасение, – по чечено-ингушским законам, Ибрагим приходился «присяжным братом». Предусмотрительный, как бывший конспиратор, Ибрагим приехал в Москву с удостоверением личности на чужое имя, но если его возьмут под подозрение и сделают обыск, то тогда мы оба окажемся не в

Кремле, а на Лубянке, – он как «бандит», а я как «бандопособник». Поэтому я первым делом забрал у него револьвер и документы, оставив ему только фальшивое удостоверение. На следующий день утром мы уже были в комендатуре Кремля. Охрана проверила наши документы, записала наши имена и потом только выслушала наше желание. Я объяснил, что мой гость очень близкий Зинаиде Гавриловне человек и приехал к ней по личному делу. Я добавил, что она знает его не по настоящему имени, как в удостоверении, а по его партизанской кличке во время гражданской войны на Северном Кавказе, – как «Зелимхана». Я умышленно упустил продолжение клички – «Курчалоевский», – чтобы в НКВД не догадались, о ком идет речь. Если даже догадаются, то в 1933 г. НКВД не осмелился бы арестовать человека, который записался на прием к жене члена Политбюро, не запросив ее (через три года тот же НКВД расстрелял родного брата Орджоникидзе безо всяких запросов).

После долгого ожидания чиновник сообщил нам, что Зинаида Орджоникидзе уехала. Напрасно было бы задавать вопросы, куда уехала и когда вернется. Мы вновь пришли на второй день, но ушли с тем же результатом. На третий день, часа в три, мы стояли у ГУМа и колебались, куда теперь отправиться: опять в комендатуру Кремля или в находящуюся неподалеку приемную «всесоюзного старосты» – Калинина. Единственным доступным для рядового человека высшим учреждением в стране была тогда приемная М. И. Калинина, председателя Президиума ЦИК СССР. Это совсем не означало, что каждого посетителя принимает сам Калинин, но если посетитель был принят им лично, то считалось, что жалобщик уже наполовину выиграл свое дело. К тому же сам Калинин хорошо знал Кавказ, после революции 1905 г. скрывался в доме чеченца Арсаева из Алхан-Юрта, а во время своего правительственного визита в 1923 г. в Чечню отмечал, что

чеченцы шли в «авангарде пролетарской революции на Кавказе». Я и хотел повести к Калинину одного из этих «авангардистов», хотя и не был уверен, что его тут же не арестуют, если охрана Калинина узнает подлинное имя моего гостя. Пока я растолковывал Ибрагиму выгоду и риск нашего возможного обращения к Калинину, на помощь пришел Его Величество «случай», вернее, кавказская шапка Ибрагима: к Ибрагиму подошел выходивший из ГУМа в такой же кавказской шапке человек и поздоровался с моим гостем по-грузински: – Гамар джоба!, явно приняв его за грузина, Ибрагим ответил ему тоже по-грузински, добавив, что хотя он и не грузин, но сосед грузин – чеченец, некоторое время жил в Грузии, где немного и научился грузинскому языку. Это еще больше заинтересовало нашего знакомого. Это оказался представитель какой-то грузинской организации в Москве Шалва Махаури. Всеми признанное грузинское гостеприимство основано на том, что грузин испытывает настоящую радость, если он может вас угостить или оказать вам какую-нибудь услугу. Черта, которая роднит всех нас, кавказцев. Шалва тут же пригласил нас пообедать вместе с ним в известном грузинском ресторане – духане, на Тверской. Мы отказались, поблагодарив его за приглашение и объяснив ему заодно причину, почему мой гость оказался в Москве. Лучше меня осведомленный Шалва добродушно улыбнулся, явно тронутый нашей наивностью – попытками попасть к семье Орджоникидзе через комендатуру Кремля, и, протянув руку в сторону мавзолея Ленина, вымолвил:

– Вот тот, который там лежит, воскреснет раньше, чем вы нормальным путем попадете к вождям его партии. Поедем, покушаем шашлык, выпьем вина, а потом я вам расскажу, как попасть к Зинаиде Орджоникидзе.

Разумеется, мы тотчас же последовали его приглашению. Он повел нас к своей шикарной американской машине (что

резко подняло его вес в наших глазах, ибо в то время персональные машины имели только наркомы и высокие «шишки») и через несколько минут мы уже сидели в духане. Даже по тому, как Шалву приняли в духане, а приняли его именно как «наркома», мы уверились в успехе нашего дела. В духане, оказывается, его ожидали еще два его друга – оба грузины. Грузины любят не только угостить, но они знают также, как угостить. Сначала подали разные острые закуски, которые даже у сытого вызывают волчий аппетит, подали также всякую зелень, специальный «кобинский сыр», вино марки «Наркомзем Грузии» номер шесть (эта деталь запомнилась из-за исключительного качества этого вина, тут же замечу, что Шалва был очень разочарован, узнав, что Ибрагим не пьет). Потом пошли шашлыки по-кавказски и по-карски из молодого ягненка. Обед незаметно перешел в ужин, появился оркестр и тогда Шалва вызвал шефа ресторана и сказал: «Закрой духан, накрой стол оркестру, за твои потери плачу я». Желание Шалвы было тут же исполнено. Духан закрыли, оркестр получил указание играть только те вещи, которые закажет наш стол. В знак своего уважения к Шалве и его гостям шеф поставил нам бутылку старого кахетинского вина, чуть ли не времен независимой Грузинской республики.

Темпераментный и гостеприимный, Шалва так занял и наше внимание, и наши желудки, что мы с Ибрагимом, словно попавши с корабля на бал, совсем бы забыли о предмете нашей заботы в эти дни, если бы он сам же не вернул нас к этой теме, предварительно позвонив куда-то.

– О Зине сегодня забудьте, завтра вы будете ее гостями. Уверен, что вы будете гостями и Серго. Он настоящий кавказец и никого не боится. Когда он приезжает в Тифлис, он гуляет по проспекту Руставели без охраны и вы можете подойти к нему и попросить: «Серго, угостите московской папиросой!» И он вас угостит, а что Сталин приезжал в Грузию, нам сообщают, когда он уже вернулся в Москву.

Потом Шалва посмотрел по сторонам и шепотом добавил:

– Сталин – герой в Кремле, а как вышел из Кремля – баба. Поэтому он закрыл Кремль, закрыл СССР, хочет закрыть весь мир... Просто стыдно, что он грузин...

Мне было очень неприятно, что он перешел к «высокой политике», тем более, что мы видели его и его друзей в первый раз, а возражать ему – значит засвидетельствовать свое недоверие не только к его словам, но и к нему самому. Это было бы некорректно, оскорбительно и не на пользу нашего дела. Хотя грузины народ очень спаянный и дружный, но все стены страны имели сталинские уши и духан на Тверской не мог быть исключением. Как раз наоборот. Сталинские шпионы постоянно ходили по пятам грузин, живущих в Москве, считая, что если Сталину и грозит какая-либо опасность, то только со стороны грузин. Шалва рассказал о нескольких случаях, когда Сталин выражал недоверие к своим землякам. Однажды, когда грузинский ансамбль танца в Кремле начал танцевать с кинжалами перед Сталиным, то Ворошилов решительно запротестовал, чтобы обнаженными кинжалами жонглировали перед самим Сталиным, но тогда Сталин успокоил его:

– Клим, эти мне ничего не сделают, но в одном ты прав – если меня когда-нибудь укокошат, то только свои, кавказцы.

Из этого краткого диалога между Ворошиловым и Сталиным родилась новая «законотворческая» идея: президиум ЦИК СССР издал декрет об уголовном наказании за ношение кавказских кинжалов. Даже танцорам на сцене разрешалось пользоваться только бутафорскими кинжалами. (Может быть, этим недоверием Сталина к землякам объяснялось, что Сталин, по словам Хрущева, заставил Берия убрать из своей личной охраны всех грузин.) Известен и другой случай, о котором рассказывал тот же Шалва. Как-то московские грузины

устроили в «Новомосковской гостинице» большой бал, на котором присутствовали многие влиятельные гости из Москвы и приезжие наркомы из Тифлиса. Грузинское застолье всегда отличается не только обилием выпивки и еды, но и блеском и остроумием чередующихся тостов. Древний обычай грузин пить вино из рога одновременно символизирует собою рог изобилия как в угощении, так и в неиссякаемости изобретательных тостов. И вот, когда грузины соревновались в этом своем искусстве произносить тосты, рассказывал Шалва, кто-то из русских решил похвалить политический гений грузинского народа за то, что он дал так много государственных деятелей России. Но неразумный тамада, видимо, уже навеселе, отвел непрошенный комплимент:

– Мы России отдаем только тех грузин, которым мы у себя дома не можем доверить даже общественное стадо, – выпалил он под общий хохот зала.

На второй день, по приказу Сталина, который отнес замечание тамады на свой счет, все участники бала, независимо от чина и положения, были погружены в арестантский вагон и в этапном порядке отправлены в Тифлис. Шалва тоже был среди них. В заметке в «Правде» по этому поводу было сказано, что их подвергли такому наказанию, потому что они устроили в гостинице дебош, стреляли из оружия, подвергая опасности жильцов гостиницы. Когда я об этом напомнил, Шалва возмутился:

– Все это чепуха, которую выдумала газета, чтобы оправдать произвол над нами. Нас везли целый месяц в скотском вагоне и по-скотски. Некоторые попали из вагона прямо в больницу, среди них два наркома Грузии.

Было уже за полночь, когда Шалва повез нас домой. Взял все данные об Ибрагиме, мой адрес и телефон Курсов марксизма. Сказал, чтобы мы весь день были дома. К нам позвонит его знакомая дама. Дал нам также свой телефон и домашний адрес. Мы расстались друзьями.

На второй день все слушатели и служащие Курсов говорили о большой сенсации: за моим гостем и за мною приехала на открытой правительственной машине сама жена Орджоникидзе – Зинаида Гавриловна! Если бы они знали, что в общежитии Курсов, которые возглавляет сам начальник кадров НКВД СССР, я укрываю уже четыре дня самого знаменитого в Чечне «бандита», то сенсация была бы полной. Но тогда никто не смог бы понять, почему же жена Орджоникидзе повисла на шее этого «бандита» и радуется встрече с ним, как встрече с родным братом, которого не видела целую вечность.

Сентябрьский погожий день клонится к вечеру, а подмосковный воздух бодрит всех. Еще пару дней назад мрачно настроенный Ибрагим тоже ожил. Мы мчались с Зинаидой в какую-то нелюдимую глушь подмосковного леса по отлично асфальтированной дороге, на всем протяжении которой не встретили ни одной машины, зато – частые посты. Потом я узнал, что по этой дороге ездят только члены Политбюро на свои дачи. Ибрагим по-детски радовался своему неслыханному счастью – доложить лично Серго, что Чечнею давно правят, как он выражался, «не большевики, а разбойники». Когда я сказал Ибрагиму, что Серго теперь не партизан, каким он его знал в горах Чечни, а самый большой начальник после Сталина и поэтому надо быть с ним сдержанным, к тому же в Чечне тоже есть начальники хорошие и плохие, тогда Ибрагим, явно задетый моим нравоучением, – что для младшего по отношению к старшему считается у нас непростительным нарушением адата, – типично по-чеченски сыронизировал:

– Мой сын Абдурахман, я «большому начальнику» скажу, что Чечнею правят разные разбойники – одни хорошие разбойники, другие плохие разбойники, но те и другие – разбойники! – а потом, посмотрев мне в глаза, лукаво улыбнулся

и успокаивающе добавил: – Если я буду говорить глупости, то ты переводи умно.

Солнце уже закатилось, когда мы прибыли на дачу. Пока Зинаида Гавриловна нас угощала чаем, приехал и Орджоникидзе. Надо было видеть эту встречу двух бывших партизан-кавказцев: одного – всесильного члена правительства, другого – рядового горца, затравленного и преследуемого органами этого же правительства. Большой, физически здоровый и сильный, Орджоникидзе легко, как ребенка, начал бросать вверх моего худощавого, но мускулистого Ибрагима, приговаривая: «Ай да молодец, ай да Зелимхан!» Ибрагим сопротивлялся, смеялся и что-то говорил по-грузински и, еле вырвавшись из объятий Орджоникидзе, бросился к Зинаиде, ища спасения.

Успокоившись, Орджоникидзе начал еще во дворе расспрашивать о старых друзьях-партизанах.

– Где такой-то партизан?

– Сидит.

– Что делает такой-то?

– В Сибири.

– Чем занимается такой-то?

– Расстрелян.

Еще несколько вопросов, но ответы такие же.

Орджоникидзе с каждым ответом Ибрагима искренне недоумевал, мрачнел и, вероятно, посчитавши за лучшее дальше не спрашивать, последний вопрос задал о самом Ибрагиме:

– Чем же ты сам занимаешься, Зелимхан?

– Дорогой Серго, я занимаюсь бегством от Советской власти. Вот я и приехал рассказать тебе, почему я бегаю.

После всего слышанного Орджоникидзе это заявление ничуть не удивило. Только сказал:

– Сделаем все по-кавказски – сначала надо кормить гостей, а потом служить им.

При этих словах Орджоникидзе попросил нас следовать за ним на кухню, которая одновременно служила и столовой, надел фартук и начал нанизывать на вертела баранину для шашлыка, спрашивая каждого отдельно (кроме нас, была в гостях еще одна супружеская пара из Грузии), кому какой шашлык – поджаристый, средний, недожаренный. Тут же на чугунке шеф-повар хозяина готовил разные грузинские блюда, один запах которых приводил в движение все слюнные железы. Стол, что называется, ломился от яств – и все было кавказское: кавказские блюда, кавказские зелень и фрукты, кавказские минеральные воды, даже хлеб кавказский – лаваш, а специально для Ибрагима – разные восточные сладости. Тут же батарея отборных кавказских вин, в том числе дореволюционная марка «коньяк Сараджева», который я в первый и последний раз видел в доме Орджоникидзе. Узнав, что Ибрагим все еще оставался непьющим мусульманином, Орджоникидзе и сам не стал пить. Плебей по характеру, дворянин по происхождению, фельдшер по образованию, хозяйственный диктатор СССР по должности, – Орджоникидзе воистину был рыцарем без страха и упрека в партии, которую Сталин намеренно превращал в партию карьеристов, прохвостов и уголовников. Те несколько часов, которые мы провели в обществе Орджоникидзе, сказали мне больше, чем все его речи, казенные биографии и бесчисленные легенды о нем на Кавказе. Только теперь я понял и то, почему ингуши прозвали его «Эрже-кениз» – «Черным князем», князем обездоленных и обиженных. Конечно, он оказал Сталину решающую услугу на посту председателя ЦКК-РКИ по ликвидации ленинской гвардии из разных оппозиций, но Орджоникидзе думал, что выполняет завещание Ленина о недопущении в партии антипартийных фракций, а оказалось, что он был лишь орудием в руках Сталина по уничтожению самой партии революционеров, чтобы Сталин мог

создать новую партию карьеристов на новых основах для обслуживания системы своей личной диктатуры. Когда Орджоникидзе это понял, уже было поздно. Но и тут он руководствовался ложно понятым им рыцарством: вместо того, чтобы пустить пулю в лоб вероломному Сталину, он пустил ее себе в сердце.

Каковы были условия, принудившие его к этому, мы увидим дальше, а теперь продолжим наш рассказ. После ужина Орджоникидзе повел нас в свой кабинет, взял карандаш и бумагу и предложил Ибрагиму рассказать по порядку все, что произошло с красными партизанами, о которых он уже спрашивал его, и почему его самого преследуют местные власти. Меня Орджоникидзе попросил переводить Ибрагима точно, ничего не пропуская. Этот неграмотный чеченец в чекистской политике разбирался лучше иного профессора. Он, еще не начав своего рассказа, сказал:

– Будешь ты, Серго, мне помогать, ГПУ меня убьет, потому что ты мне помог, не будешь ты мне помогать, ГПУ меня все равно убьет, потому что я тебе жаловался. Наше ГПУ хочет, чтобы в Чечне было много-много бандитов, а когда их нет, то ГПУ их делает само, так сделали бандитом и меня.

– Почему? – прервал его Орджоникидзе.

– Серго, за каждого убитого «бандита» Москва дает по одному ордену Красного Знамени. Много бандитов – много орденов, много орденов – много чести. Каждый новый начальник чеченского ГПУ уезжает из Чечни с орденом: Дейч получил орден, Абульян получил орден, Павлов получил орден, Крафт получил орден, Раев получил орден, теперь Дементьев хочет получить орден за меня. Серго, помоги, чтобы он его не скоро получил!

Потом Ибрагим начал рассказывать, как Дементьев сделал «бандита» из него:

– В прошлом году в Грозном была большая свадьба – женился сын моего близкого друга. Меня пригласили туда быть

тамадой. Я ехал ночью из Курчалоя. Поэтому взял с собой «почетное революционное оружие» с именной надписью – маузер, которым ты, Серго, меня наградил. Серго, сам понимаешь, большая свадьба, народ веселится, наш знаменитый Омар Димаев играет на гармошке, наши парни и девушки так хорошо танцуют лезгинку, что я в жизни такого танца еще не видал, и все смотрят на меня и на мой маузер и думают, почему этому тамаде нужно оружие, если он в такой момент из него не стреляет. Серго, тело старое, а сердце – молодое: я вынул маузер и расстрелял сразу всю обойму, совсем так, как ты, Серго, стрелял, помнишь, на свадьбе Тагилевых в Нашхое в 1919 г.

Орджоникидзе, вероятно, это вспомнил, начал хохотать, но потом сделал серьезное лицо, приглашая Ибрагима продолжать рассказ:

– Меня потащили в милицию и предложили сдать оружие, но я сказал, что в моем маузере уже другая обойма и они его получат, когда я буду мертвый. Тогда меня повели в ГПУ к самому Дементьеву. Он меня очень вежливо спросил, почему я стрелял и есть ли у меня разрешение на ношение оружия. Я ему ответил, что стрелять на свадьбе – это чеченский обычай, а право мое вот вам – я показал ему грамоту к маузеру, которую ты, Серго, мне дал. Он спросил, можно сличить номер грамоты с номером маузера? Пожалуйста, сличите – я ему передал маузер. Тогда он маузер положил к себе в стол, а грамоту вернул мне. Я тогда поехал к краевому начальнику – к Евдокимову, с жалобой на Дементьева. Показал ему твою грамоту. Он взял грамоту, прочел и положил ее к себе в стол. «У вас нет оружия – вам не нужна и грамота», – сказал он. Серго, я был очень сердитый. Я ему сказал крепкие слова: «Евдокимов, ты и твой босяк Дементьев – воры, вы украли революцию, которую сделали мы, красные партизаны». Я не знаю, как мой переводчик ему переводил, но он лаял как собака. Значит, правильно переводил.

Когда Ибрагим назвал чекиста Евдокимова «вором», Орджоникидзе невольно улыбнулся, ибо знал то, чего не знал Ибрагим: действительно, во время революции теперешний начальник Северокавказского краевого ГПУ Ефим Евдокимов был знаменитым на всю Россию вором и отчаянным разбойником (так как Евдокимов еще умудрялся воровать ворованное у своей же банды, ему подбили ногу и он сильно хромал), потом большевики его завербовали в партию и записали в отряды ЧОН, где таланты разбойника принесли ему всесоюзную славу: он был единственным чекистом, которого наградили четырежды орденом Красного Знамени, тогда тоже единственным орденом в стране. Евдокимов понял Ибрагима буквально, думая, что он ему напоминает подвиги его первой карьеры – воровской. Дементьев получил обычный в таких случаях приказ: создать уголовное дело на Ибрагима. Нет, не за оскорбление, а как на «турецкого шпиона»! Ибрагим рассказывал, как оно было создано:

– Серго, ты сам нам читал приказ Ленина после революции в Петрограде, что всем мусульманам России – татарам, тюркам, чеченцам – разрешается молиться Аллаху и жить по исламу. Поэтому чеченцы поддержали Ленина и тебя. Я каждую пятницу ходил молиться в мечеть, но теперь начальники закрыли все мечети. Когда мы хотим устроить «джамаат» дома (коллективная молитва), приходят представители власти и разгоняют – говорят, это «тайное собрание против Советской власти». Серго, сам знаешь, теперь паломничать в Мекку, чтобы делать «хаджи», никому не разрешается, но у нас есть святые места Арти-Корт около Ведено. Я каждый год ездил туда молиться. Я там встретил, тоже паломника, дагестанского муллу – очень ученый человек, весь Коран знал наизусть. Он был друг моего друга – самого большого дагестанского партизана Курбана Аварского, он передал мне от него «салам-алейкум». Я его пригласил в Курчалой быть моим гостем. Я устроил в своем доме большой «джамаат».

Народа много пришло, в доме не хватило мест, мы молились во дворе, но мы еще не кончили молиться, нас окружил отряд ГПУ и всех забрал. В Грозном, в тюрьме ГПУ, что на Сунже, нас день и ночь допрашивали. Сказали: если вы признаетесь, что это было контрреволюционное собрание для свержения Советской власти, то вас просто сошлют в Сибирь, а если будете отказываться, то всех перестреляем тут же в подвале. Было нас человек до 50, почти все глубокие старики. Меня допрашивал сам Дементьев. Показывает мне Коран и спрашивает: «Ты эту книгу знаешь?» Говорю, это не книга, а Коран. Спрашивает, чей он?

Я по-арабски читаю, вижу, мой Коран, так и говорю ему: «Мой». Потом он сердито смотрит на меня и кричит – откуда он у тебя? Говорю, его подарил мне мой гость дагестанский мулла. Потом вынимает какую-то бумагу, заложенную между двойными обложками Корана, и еще больше кричит: «От кого ты это письмо получил?» Показывает мне письмо, которое я вижу в первый раз, написано оно по-арабски, на мое имя: «Ибрагим! Ты верующий мусульманин. Ты должен поднять Чечню на газават против гяуров. Турция будет на вашей стороне. Да поможет нам Аллах в нашем святом деле. Турецкий паша Абубекир».

Потом начали мучить. Подпиши, говорят, что ты «турецкий шпион» и хотел поднять в Чечне восстание. Меня связали. Окружили четыре человека, смотрят на часы и по очереди бьют, бьют, бьют. Иногда прекращают и говорят: «Подпиши, не будем бить». А я смотрю через окно на Сунжу и повторяю то, что им сказал с самого начала: «Вот эта река Сунжа скорее потечет обратно, чем вы получите мою подпись. Бейте дальше, бандиты!»

Видно было, что Ибрагиму тяжело да и неловко было рассказывать о тех пытках, и поэтому он закруглил рассказ о ни скороговоркой:

– Серго, человек не лошадь, может выдержать все!

Теперь скажу тебе, Серго, я один раз в жизни нарушил закон, который не есть закон, – во время новых мучений в кабинете следователя Зарубина я бежал, прыгнув со второго этажа в Сунжу, – это было ночью. Поднялась тревога, ловить меня вышел конный отряд, открыли стрельбу, подняли такой большой шум, что, я думаю, они разбудили всех детей Грозного, но Аллах был на моей стороне. Через час я был там, где они меня искать не будут: на квартире старого моего друга, партизана Лукьяненко, помнишь, который по твоему приказу ездил со мною в Астрахань к Шляпникову и Кирову.

Тут же Ибрагим положил на стол письмо Лукьяненко к Орджоникидзе. Лукьяненко писал, что Ибрагим как был, так и остался преданным революции горцем, и что «дагестанский мулла», подаривший Ибрагиму Коран с письмом «турецкого паши», действительно бывший мулла, но уже давно работает сотрудником дагестанского ГПУ. Он просил Орджоникидзе заступиться за Ибрагима.

– Серго, я не нарушил бы закон и не бежал бы, если бы у них была правда. Они убивают людей без суда, потому что на суде нужна правда. Серго, все началось из-за моей стрельбы, но где, Серго, такой закон, чтобы за стрельбу на свадьбе объявить человека «турецким шпионом»? Пусть арестуют меня, но почему арестовали моего старого отца, ему скоро 90 лет, он еще мюридом имама Шамиля был, почему арестовали моих братьев, они самые мирные чеченцы в нашем ауле? Почему арестовали весь «джамаат», который молился у меня Аллаху? Серго, что Аллах – тоже «турецкий шпион»? Серго, я приехал спросить тебя – почему Москва спит, на Кавказе ГПУ давно украло советскую власть? Еще приехал я, Серго, просить тебя, если ты думаешь, что я виноват, то отдай меня под суд, если же ты думаешь, что моя голова больше не работает, то отдай меня в сумасшедший дом, но, дорогой мой

Серго, вели освободить невинных людей, которых преследуют из-за меня.

Когда Ибрагим закончил свою исповедь, Орджоникидзе его крепко обнял. Я понял, что Ибрагим выиграл.

Орджоникидзе отпустил нас в гостиную к другим гостям, через некоторое время пришел и сам с конвертом в руках. Он вручил его Ибрагиму со словами: «Открой его завтра, завтра же я свижусь с северокавказским начальством. Результаты ты узнаешь дома. Никого не бойся, кроме твоего Аллаха, – и, улыбнувшись, добавил: – который вовсе не «турецкий шпион».

Поздно ночью шофер Орджоникидзе нас доставил домой.

Только-только начало светать, как Ибрагим меня разбудил. Вероятно, ему плохо спалось, видно, мучило нетерпение узнать, что содержится в конверте Орджоникидзе. Ему хотелось верить, что там лежит талисман его жизни. Он сказал мусульманское «Бисмиллахир рахманир рахим» («Во имя Аллаха милостивого, милосердного»), и открыл конверт: в нем оказались «Справка», написанная Орджоникидзе на бланке «Председателя ВСНХ СССР», и приличная сумма денег. В «Справке» удостоверялось, что Ибрагим Курчалоевский во время гражданской войны, в тылу генерала Деникина на Кавказе, служил в его штабе и выполнял исключительно важные поручения, за что был награжден почетным революционным оружием от имени советского правительства. Он заслуживает полного доверия. Ибрагим был вне себя от радости и волнения. Только насчет денег с укором заметил: «Это зря, это не по-кавказски» – и даже спросил, как их ему вернуть. Я его успокоил: «Серго – это советское государство, будут ли эти несколько сотен рублей в его кармане или в твоем – для него никакой роли не играет». Он усмехнулся и не очень охотно примирился со свершившимся фактом, только начал настаивать, чтобы мы поделили между собой эту сумму. Мне пришлось употребить много усилий, чтобы доказать

Ибрагиму то, что он знал лучше меня: за гостеприимство кавказцы денег не берут.

В тот же день Ибрагим уехал в Грозный. Через пару недель Бектемиров писал мне, что у «легализованных бандитов» из ГПУ «великий траур»: им пришлось освободить всех арестованных, вернуть Ибрагиму маузер и «грамоту», да еще извиниться перед ним за «ошибку». Боюсь, добавлял он, что за «ошибку» ГПУ Ибрагима ожидают новые неприятности. Чтобы предвидеть это, не надо было быть пророком, ибо официальная философия «легализованных бандитов» давно гласила: «ГПУ не ошибается». Зато невозможно было предвидеть другое: к какому роду подлости и коварства прибегнет это учреждение при очередной его операции, поскольку резервуар его подлостей был бездонным и уголовная фантазия его сотрудников неисчерпаемой. Они это еще раз доказали в трагической судьбе Ибрагима.

Осенью 1933 г. в Чечне произошло событие, которое встревожило всех: между Хасав-Юртом и Гудермесом было совершено нападение на пассажирский поезд, организованное группой вооруженных людей. Однако группа не успела ограбить пассажиров, так как прибывший на помощь отряд чекистов вступил с бандой в бой и разогнал ее. Среди пассажиров нашлись свидетели, которые с поразительной, фотографической точностью описали приметы главаря банды – приметы Ибрагима. Но «автономное» чеченское правительство через своего человека в ГПУ точно узнало, что нападение на поезд инсценировали чекисты, переодевшиеся в кавказскую одежду. Что же касается Ибрагима, то он как раз в день «нападения» на поезд был в составе чеченской делегации на какой-то колхозной конференции в краевом центре – в Ростове-на-Дону. Вернувшись домой, он узнал, что его ищут как организатора «банды». Пришлось опять уйти в подполье. Конец Ибрагима я описал в 1948 г. в меморандуме в ООН по поводу геноцида над чечено-ингушским народом:

«Осень 1933 г. Жители Курчалоя были свидетелями следующего зрелища: уполномоченные ГПУ Славин и Ушаев привязали тяжело раненного в бою Ибрагима к столбу, обложили его сухими дровами, облили бензином и тут же на глазах народа сожгли живого человека дотла. Такая публичная средневековая казнь на кострах вызвала глубокое возмущение не только в простом народе, но и в самом «автономном правительстве» Чечни – председатель Чеченского облисполкома и член ЦИК СССР Х. Мамаев, председатель Областного совета профсоюзов Гроза и секретарь Шалинского окружкома партии Я. Эдиев подали письменный протест против подобного, даже в практике ГПУ неслыханного, акта на имя ЦК партии. В ответ на этот протест все три названных лица были сняты со своих должностей: Мамаев и Эдиев как националисты, а русский Гроза – как правый оппортунист. Славин и Ушаев были переведены на службу в Среднеазиатское ГПУ, где оба этих чекиста получили ордена Красного Знамени «за работу в Чечне» (А. Авторханов. Народоубийство в СССР. Убийство чеченского народа. Мюнхен, издательство «Свободный Кавказ», 1952, сс. 4445).

Ибрагим оказался провидцем своей судьбы: я никогда не забуду его вещих слов при встрече с Орджоникидзе: «Серго, поможешь ты мне – ГПУ меня убьет потом, не поможешь ты мне – ГПУ меня убьет сейчас. Моя пуля давно отлита». Только в одном он ошибся: не пулей его сразили, а на костре сожгли.

Вот эти перманентные убийства невинных людей назывались на языке чекистов боевой «работой» и награждались «боевыми» орденами.

За гостеприимство, оказанное мною Ибрагиму, я попал на специальный учет ГПУ, которое очень скоро дало мне это понять.

10. В Институте Красной профессуры истории

Решающий поворотный период в истории партии и СССР – гибель «коллективной диктатуры» Центрального Комитета и триумф единоличной тирании

Сталина – относится к 1933–1937 годам. Эти годы я провел в Москве, сначала на Курсах марксизма-ленинизма при ЦК, потом в Институте красной профессуры (ИКП) истории, будучи одновременно членом пропгруппы ЦК. Это давало доступ к важнейшим источникам информации, недоступным рядовым коммунистам, не говоря уже о беспартийных. К таким источникам относились: 1) закрытые партийные документы, в том числе Протоколы пленумов ЦК по стенографическим отчетам; 2) печатная информация о текущей политике для руководящего актива со стороны МК и ЦК; 3) «Бюллетень печати ЦК»; 4) эмигрантские издания.

К этому надо добавить устную информацию, которой нас снабжали на партийных собраниях Курсов марксизма, ИКП, а также на разных инструктивных совещаниях ЦК и МК специально для членов пропгруппы ЦК, с которой я работал до самого своего ареста. Ее члены выступали на предприятиях, в учреждениях и воинских частях докладчиками и лекторами по вопросам текущей политики партии, международного и внутреннего положения СССР. Пленумы ЦК всегда бывали закрытыми, и их стенограммы считались строго секретными. Они печатались в одном большом томе в закрытой типографии ЦК. Там же печатался и «Бюллетень печати ЦК». На вторых страницах титульного листа обоих документов сообщалось, кто имеет право ими пользоваться. Перечисление охватывало партийные, советские, военные, чекистские и хозяйственные кадры номенклатуры Оргбюро ЦК и такие

идеологические кадры, как слушатели и партийные преподаватели Красной профессуры и Курсов марксизма. Процедура ознакомления зависела от важности документов, что специально оговаривалось в сопроводительном письме из ЦК. Если речь шла о стенограмме пленума ЦК, то в сопроводительном письме на имя секретаря парткома говорилось: «По поручению тов. Сталина, Секретариат тов. Сталина при сем направляет стенографический отчет пленума ЦК для коллективного ознакомления допущенных к этому лиц. После ознакомления отчет подлежит возвращению в ЦК.

Зав. Секретариата т. Сталина А. Н. Поскребышев».

«Бюллетень печати» не подлежал возвращению, но его надо было сжечь и протокол об этом направить в ЦК. По стенографическим отчетам пленумов ЦК можно было проследить темпы шествия Сталина к единовластию. В ЦК уже давно не было какой-нибудь группы лиц, которые противопоставляли бы себя общей политике партии – «генеральной линии» ее генерального секретаря. Последние представители таких групп уже были убраны оттуда в 1931 г. (Сырцов-Ломинадзе) и в 1933 г. (в 1933 г. из ЦК был исключен секретарь ЦК и член Оргбюро Смирнов, а члены ЦК Томский и Рыков и кандидат в члены ЦК Шмидт предупреждены, что они тоже будут исключены, если продолжат высказывать мнения, расходящиеся со взглядами генсека). Зато бывали заметны деловые расхождения по деловым вопросам. Хотя у Сталина всегда хватало фантазии использовать деловые расхождения для демагогических атак против того или иного неугодного или независимого в своих суждениях члена ЦК, но когда пленум в целом или в своем большинстве становился на сторону аргументов такого члена ЦК и принимал соответствующее решение, то Сталин, как «внутрипартийный демократ», подчинялся большинству, чтобы потом саботировать выполнение неугодного ему решения. Бывало и так, что

Сталин предупреждал принятие такого решения часто применяемым им трюком: «передать данный вопрос для дальнейшего изучения в Политбюро», или «создать комиссию для его доработки», или же «перенести вопрос на следующий пленум ЦК» и т. д. Иные выступавшие не боялись дисквалифицировать Сталина, если он брался рассуждать о вещах, о которых он не имел ясного представления. В этой связи запомнилась речь на одном из пленумов ЦК первого секретаря Днепропетровского обкома, потом второго секретаря ЦК Украины после Постышева – М. Хатаевича. Сталин, который всячески искал повода дискредитировать украинское партийное руководство с тех пор, как оно решительно выступило против исключения Бухарина и Рыкова из ЦК, стал обвинять украинцев, что они совершили преступление, истратив валюту на покупку каких-то американских сельскохозяйственных машин, которые оказались непригодными. С ответом от украинского ЦК выступил Хатаевич. Конечно, я не помню деталей его речи, но общий вывод был такой: наше неумение овладеть американской техникой не свидетельствует о негодности самой американской техники. Главное – Хатаевич открыто обвинил Сталина, что он берется рассуждать о вещах, о которых и понятия не имеет. После таких деловых возражений членов ЦК Сталину по деловым вопросам у читателя создавалось впечатление, что, оказывается, Сталин, ставший на страницах «Правды» давно уже и единоличным вождем, и «корифеем всех наук», все еще не был ни тем, ни другим.

Для членов ЦК до 1937 г. Сталин был политическим лидером, но никак не политическим диктатором. Поэтому аргументированно возражать ему или отвергать его необоснованные требования считалось в порядке вещей и было совершенно нормальным правом суверенного коллективного диктатора – пленума ЦК. Кстати – сам Сталин никогда пле-

нумом ЦК не руководил, председательствование на пленумах он перепоручал почти неизменно Молотову, Ворошилову, Кагановичу и Андрееву. Они направляли ход прений в нужном Сталину направлении, знали, кому и когда предоставить слово, прерывали ораторов, говорящих «не по существу», а то и лишали слова. Роль Сталина в таких случаях сводилась к подаче «реплик», к которым он часто прибегал, но сам выступал редко. У критически настроенных членов ЦК было свое преимущество, которое не давало Сталину возможности прибегнуть к его излюбленному аргументу: «Они ошибаются сегодня, потому что ошибались вчера». Все эти члены ЦК во время различных внутрипартийных оппозиций были со Сталиным и с этой стороны были совершенно неуязвимы (общеизвестно, что если не к чему было придираться к человеку в настоящем, то Сталин начинал копаться в поисках грехов в прошлом). Учитывая опыт прошлого, члены ЦК применяли новую тактику – отстаивали свою точку зрения индивидуально, не составляя групп, фракций и не подавая коллективных заявлений или платформ по дискуссионным вопросам, лишая Сталина повода прибегать к испытанному методу расправы с критиками: объявлять неугодных членов ЦК «антипартийной фракцией» и исключать из ЦК, согласно ленинской резолюции «О единстве» на X съезде (1921). Избавиться от своего нынешнего ЦК легально, на основе Устава партии, Сталин не мог. Чтобы исключить члена или кандидата в члены ЦК, нужно собрать на пленуме $^2/_3$ голосов, что не удавалось в свое время даже Ленину (история с Шляпниковым), но чтобы снять самого Сталина с поста генсека ЦК, нужно только простое большинство на пленуме ЦК. К началу 1937 г. осознанная большинством ЦК дилемма гласила: или Сталин и дальше останется на посту генсека, тогда, в конце концов, будет уничтожен суверенный ЦК, или ЦК должен отстоять свой суверенитет, тогда надо снять Сталина. Вот эта

дилемма, как подтекст, присутствует во всех протоколах пленумов ЦК вплоть до его последнего – февральского 1937 г.

Расскажу немного о «Бюллетене печати ЦК» и об эмигрантской литературе. Содержимое этого «Бюллетеня» за рубежом можно было бы купить за гроши, но в СССР – ни за какие миллионы. «Бюллетень» считался государственной тайной, о которой могла ведать только избранная партийная элита. Он представлял собой тип журнала большого формата, набранного петитом, в серой мягкой обложке. В нем печатались в переводе статьи западных экспертов, публицистов и журналистов, а также наиболее важные выступления зарубежных политических деятелей, посвященные критике советской внешней и внутренней политики. Статьи эти брались из ведущих органов печати в мире – немецких, французских, англо-американских, японских и др. Статьи, вероятно, переводились точно, как бы они резки ни были, никаких комментариев от редакции не бывало. Только в начале каждой статьи стояло примечание – каково направление печатного органа, откуда взята статья, и кто таков сам автор по политическим убеждениям. Положительных статей «прогрессивных писателей» «Бюллетень» не помещал (их печатали в «Известиях» и «Правде»). Главным редактором «Бюллетеня» был Карл Радек, а после его ареста в 1936 г. Клавдия Кирсанова (жена Ем. Ярославского). Странно было читать печатный орган, издаваемый типографией ЦК, в котором встречались выражения: «советская инквизиция», «палачи из НКВД», «коммунистический фашизм», «деспот Сталин». Ударные слова в непривычной комбинации, меткие сравнения, парадоксальные выводы надолго запечатлевались в памяти и вызывали какие-то подсознательные импульсы к критическому осмыслению происходящих событий. Встречались серьезные анализы советской внешней политики и социологические анализы об анатомии советского общества, в которых мы ви-

дели свою действительность глазами ее врагов, а потому – доведенную до ее отвратительной наготы. Человек адаптируется к окружающей его среде не только физически, но и всей своей психикой. Нет лучшего средства держать его в абсолютной покорности, как в герметически закупоренной среде. Если бы страна имела возможность свободно читать хотя бы наш «Бюллетень», то история советской власти кончилась бы где-то в двадцатых годах. Эту истину знал еще до Сталина сам Ленин (я уже об этом упоминал), когда он в ответ на требование старого большевика Мясникова допустить в стране свободную печать, чтобы бороться с непомерно растущей коррупцией партийно-советской бюрократии, ответил: «Мы самоубийством кончать не желаем и поэтому этого не сделаем» (Соч., т. 32, сс. 479–480).

Конечно, в иностранных анализах бывало, как и сейчас, много верхоглядства в понимании механики советской системы и мышления ее руководителей, но в них, в отличие от эмигрантской литературы, было больше трезвости и мало эмоций. Если они вещи называли своими именами, то не ради их качественной оценки, а для констатации факта или фиксации схожести с вещами и явлениями других систем, В этом был и остается органический порок иностранных аналитиков. Они никогда не понимали, как не понимают и сейчас, что советская система власти и общества – явление уникальное, мерить ее обычными мерками «фашизма» или «тоталитаризма», искать ее социально-исторические корни в русском абсолютизме или греко-римских тираниях – значит засвидетельствовать леность нелюбопытного ума. Разумеется, в советской тирании есть элементы каждой из этих систем. Есть в советской тирании и неоспоримое влияние этнографии, географии, истории и духовной культуры той среды, в которой она утвердилась, – русской исторической среды. Но она не идентична ни с этой средой, ни с ее духовными

предшественниками. Повторяю то, что уже говорил: она оригинальна в своей уникальности и уникальна в своей оригинальности.

Не выдержало критики и то распространенное на Западе утверждение, что советская экономическая система, в силу своей неэффективности и невозможности выдержать конкуренцию со свободной экономикой на Западе, обречена на исчезновение. Иные даже утверждали, как утверждают и сейчас, что советские лидеры сами ее пересмотрят. Многие иностранные наблюдатели, воспитанные на рациональных категориях мышления, считали, например, Сталина человеком мира («трубка мира»), «национал-коммунистом», который хочет построить коммунизм только в России и поэтому отказался от стратегии и доктрины «мировой революции», а Троцкий объявлялся злейшим врагом свободного мира, так как он, как и Ленин, по-прежнему проповедует «мировую революцию». Поэтому утверждение в России режима Сталина и поражение всякой оппозиции – в интересах Запада. (Никто не хотел принять Троцкого, даже временно, в свою страну. Троцкий писал о «планете без виз».) Исходя из этого рационального мышления, иностранные эксперты не допускали, чтобы Сталин заключил пакт со своим главным врагом в Азии – Японией, со своим главным врагом в Европе – Гитлером, которых он сам в марте 1939 г., на XVIII съезде партии объявил главными зачинщиками будущей мировой войны.

Эти наблюдатели анализировали иррациональную советскую внешнеполитическую стратегию при помощи рациональных методов, забывая, что лидерам Кремля ничто так не чуждо, как рациональное мышление. В Кремле мыслят, как уже говорилось, «диалектическими категориями»: это значит – перефразируя Гегеля, они считают, что не все полезно, что разумно, точно так же, как не все разумно, что полезно. С точки зрения производительности труда и обеспечения хле-

бом собственного народа – колхозы неразумны и поэтому большевики будут вынуждены их распустить, – писал один из иностранных аграрных экспертов, но он совершенно не понимал, что их «разумность» и «полезность» в Кремле оцениваются по иному масштабу – насколько они эффективны, чтобы через них контролировать крестьянство. Фантастические планы Кремля по индустриализации нереальны из-за отсутствия желающих ехать в суровые края Сибири, Дальнего Севера и Дальнего Востока, – писал другой эксперт, совершенно не подозревая, что он пишет о системе, которая основана не на свободе, а на принуждении.

Все анализы, которые исходят из того, что диктаторские режимы любой ценой заинтересованы в нормальном функционировании своей экономической системы и обогащении своего народа, – неприменимы к советскому режиму. Движущей силой развития большевизма была и остается его концепция власти. Случается, что отдельные граждане какой-нибудь воюющей страны предают интересы своего государства и способствуют победе враждебной державы, но нигде и никогда не бывало, чтобы целая политическая партия работала над организацией поражения собственной страны в войне, в интересах захвата власти, как партия Ленина в первой мировой войне. В современной истории еще не было прецедента, чтобы та или иная политическая партия отказалась бы уйти в отставку, если этой ценой можно спасти цельность своей страны, между тем Ленин и его партия согласились даже на расчленение России, лишь бы самим остаться у власти, как это случилось во время заключения Брест-Литовского сепаратного мира с Германией в 1918 г. Интересы личности, групп, народа, страны, государства в целом подчинены, по концепции большевизма, интересам власти одной партии, ее руководящей клики, ее верховного диктатора.

Власть – это фокус, где сосредоточены все страсти большевизма. Власть – это «либидо» всех его побуждений, стремлений и желаний. Да, совершенно неопровержимо: власть – альфа и омега большевизма, его цель и самоцель. Эта власть не имеет ничего общего ни с абсолютной монархией, ни с классической тиранией. Абсолютизм опирался на порядок, основанный на законах, изданных монархом, обязательных для него тоже, а единоличная власть самых отчаянных тиранов в истории ограничивалась областью правления, но большевистская власть издает законы для проформы, а управляет против собственных же законов. Этого мало: большевистская власть опекает каждого своего гражданина духовно, социально, материально от рождения до смерти. Конечная цель этой опеки – превратить живого человека в бездушный и не рассуждающий винтик механизма власти и ее глобальной экспансии.

Все это оставалось вне поля зрения иностранных наблюдателей. Большевистская власть изучалась лишь как разновидность тоталитаризма, а не как уникальная система новой эпохи. В силу этого западные аналитики не предвидели таких акций советского руководства, как раздел Европы на сферы влияния между Гитлером и Сталиным по пакту Риббентропа – Молотова, раздел Польши, аннексия прибалтийских стран, война с Финляндией, захват Бессарабии – то есть судьбоносный поворот советской внешней политики от обороны своих границ к захвату чужих стран. Да и «великая чистка» в стране, начавшаяся с политических процессов в Москве, выдавалась лишь за чистку от беспокойных троцкистов – соперников Сталина. Черчилль утверждал, что Сталин поступил мудро, очистив свой тыл от врагов к началу войны. Американский посол в Москве Девис даже сообщал в секретных докладах своему правительству, что – во время ежовщины – никаких арестов в Москве он не наблюдал, – как будто

Сталин должен возить арестованных на цепи в клетке, как Пугачева, по московским улицам! Он даже писал, что заговор зиновьевцев и троцкистов против советского правительства доказан на суде.

До того как подружиться с Гитлером, Сталин охотился за знаменитостями на Западе. Завербовывал западных «прогрессивных писателей» в свою пропагандную сеть не только материальным, но и моральным подкупом под знаменем «антифашизма» через всякие там «беспартийные» конгрессы: «Конгресс за мир против фашизма», «Конгресс в защиту культуры против фашизма», – а также изданием их книг в СССР большими тиражами, которые им и не снились в собственных странах, платя им высокие гонорары в валюте, хотя тогдашние советские законы не признавали «копирайта». На все это уходило из советского банка много миллионов валюты, которая вполне себя окупала, служа для выполнения за границей задач идеологических диверсий. Сталин создал из своих знаменитостей нечто вроде «духовной бригады», куда входили Максим Горький, Илья Эренбург, Борис Пастернак, Алексей Толстой, Михаил Кольцов, которые, по поручению Сталина, привлекали к своим акциям Ромена Роллана, Лиона Фейхтвангера, Андре Мальро, первоначально даже Андре Жида. Однако с Андре Жидом у Сталина получился конфуз. В 1936 г., после посещения Советского Союза, Андре Жид написал книгу «Возвращение из СССР», в которой он рассказывал, что «три года назад я объявил о своем восхищении Советским Союзом», но теперь на Кавказе его восхитили Кавказские горы, а «в Ленинграде меня восхитил Санкт-Петербург». Автор классической биографии Сталина Борис Суварин пишет в своих воспоминаниях: «В 1950 г. был издан сборник «Бог тьмы», дающий «великолепное резюме мыслей Андре Жида» о Советском Союзе с использованием текстов писателя. Это резюме остается и сегодня актуальным: «На социальной лестнице, восстановленной сверху донизу, выше

всего ценятся самые услужливые, самые трусливые, самые согбенные и самые подлые»... «Несоразмерно огромные доходы, предложенные мне там, напугали меня... Из московских журналов я узнал, что в течение нескольких месяцев было продано более 400 тысяч экземпляров моих книг. Я оставляю воображению цифру авторского гонорара... Если бы я написал дифирамб СССР и Сталину – какое богатство ждало меня!» Подкупали или старались подкупить не только великих писателей, но даже и богатую буржуазную прессу. Тот же Суварин сообщает, что когда Раковский на своем процессе назвал директора газеты «Ордр» Эмиля Бюре своим соучастником по «преступлениям», то Бюре отказался опровергнуть ложь. Почему же? Суварин узнал причину: «Некоторое время спустя мне стало известно, что «Ордр» субсидируется советским посольством» («Континент», № 29, 1981, сс. 216, 218, 219).

Особенно мастерски Сталин использовал популярность Максима Горького, когда тот был ему нужен, и с неслыханным изуверством покончил с ним, когда Горький начал понимать свою плачевную роль. Заманив его из-за границы, Сталин крепко запряг его в свою пропагандную телегу. И Горький добросовестно выполнял задание Сталина, когда писал в «две руки» – одной рукой для внутренней службы инквизиции – «Если враг не сдается, то его уничтожают», другой рукой для внешних диверсий НКВД – «С кем вы, мастера культуры?». Когда же в последние годы Горький начал отказываться подписывать погромные статьи против арестованных старых большевиков с требованием для них смертной казни, пошли упорные слухи, что Максим Горький готовит бомбу против Сталина, вроде «Не могу молчать» Толстого или «Я обвиняю» Эмиля Золя. Поэтому его поставили под надзор, отказались давать визу, прервали его письменную связь с Р. Ролланом.

Один литературный критик на Западе в своем введении к книге М. Горького, разбирая мемуары его бывшего литературного сотрудника И. Шкапы «Семь лет с Горьким», пишет: «Жалующийся Горький стал для советского правительства опасной обузой. По свидетельству Шкапы, в последние годы жизни Горькому было запрещено выезжать за пределы Москвы–Горок и Крыма, когда он ездил на юг. Вот как реагировал он на этот запрет: «Устал я очень... Сколько раз хотелось побывать в деревне, даже пожить, как в былые времена... Не удается. Словно забором окружили – не перешагнуть!..

Вдруг я услышал:

– Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непривычно сие!

Мне показалось – я ослышался: необычны были голос Горького и смысл его слов. Глаза тоже были другие, не те, которые я хорошо понимал. Сейчас в них проступали надлом и горечь. В ушах звучало: «Непривычно сие».

Критик замечает: «Непривычно и, пожалуй, уникально такое изображение Горького в советской печати, данное одним из его ближайших сотрудников...» Он добавляет: «Мечты о социализме не могли совершенно затмить его взгляд на истинное положение вещей и притупить полностью его отвращение к деспотизму. Он отказался написать хвалебную книгу о Сталине и был противником физического уничтожения партийных оппозиционеров. Существует версия о том, что Горький был отравлен по указанию Сталина» (М. Горький. Несвоевременные мысли. Введение – Г. Ермолаева. Париж, 1971, сс. 16, 17, 18).

Вероятно, это было результатом его протеста против арестов старых большевиков, о чем уже открыто говорили в партийных кругах. Передавали, что Сталин ему рекомендовал помалкивать, ибо все знают, что у Горького самого тоже «рыльце в пушку». Намекал ли Сталин на настоящее или на

прошлое, не было известно. Но прошлое Горького мы все знали хорошо – если до революции он дружил с Лениным и собирал для большевиков деньги в Америке, то после революции Горький в своей променьшевистской газете «Новая жизнь» резко критиковал Октябрьский переворот Ленина и Троцкого. Стоило бы Сталину перепечатать в «Правде» писания Горького из этой его газеты – что он в свое время сделал с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным, – как Горький сам оказался бы во «врагах народа». Ведь среди этих писаний было и следующее страшное пророчество Горького: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились ядом власти... Я верю, что разум рабочего класса скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия... Рабочий класс должен знать, что его ждет голод, длительная кровавая анархия, а за нею – не менее кровавая и мрачная реакция» (газета «Новая жизнь», № 47, 7 (20) ноября 1917 г., Петроград).

Суд над Зиновьевым и Каменевым вплотную надвигался. Если Горький успеет написать «Не могу молчать», то это может взорваться бомбой такой силы, что мобилизует против Сталина весь цивилизованный мир. Поэтому шеф НКВД Ягода, по его же признанию, за два месяца до суда над Зиновьевым и Каменевым отравил Горького, а чтобы замести следы, убил и его сына Максима Пешкова. Сталин же поступил с исполнителями своего задания в обычной его манере: он уничтожил всех исполнителей и свидетелей убийства Горького – самого Ягоду и всех сотрудников Горького, в том числе и секретаря Горького Крючкова, который был агентом НКВД (эту же роль при Горьком долго исполняли, только на более высоком уровне, «писатели» по линии НКВД А. Щербаков и Вл. Ставский).

Вернусь к ИКП. Пользовались мы и эмигрантской литературой – книгами, журналами и газетами. Вся закрытая лите-

ратура содержалась в особом помещении, которое называлось «парткабинетом» (им заведовали особенно доверенные лица ЦК, среди которых была, например, жена Ворошилова). Входя в «парткабинет», вы должны были сдать ваш партбилет заведующему «парткабинетом» и получить нужную вам литературу. Выносить ее вы не имеете права и должны читать ее тут же в кабинете, не делая никаких пометок и выписок. Само собою понятно, что с особым интересом икаписты читали все, что писал за границей Троцкий. Его исторические труды о революции и гражданской войне, его описания закулисных интриг во время борьбы за ленинское наследство были весьма интересны и поучительны, но его публицистические книги и писания из «Бюллетеней оппозиции» – это было сплошное прожектерство в политике. Троцкий до конца своих дней так и не понял, что сталинизм не чужеродный элемент в большевизме, что сталинизм не антиленинское течение в социализме, а, наоборот, субстанциональный ленинизм кристальной чистоты, только доведенный до его логического конца. Страстный романтик революции, который на ее бушующих волнах чувствовал себя как рыба в воде, на скате этих волн Троцкий захлебнулся и утонул. И вот этот политический утопленник с далеких берегов эмиграции, продолжая жить в мире фантазии и миража, пророчил Сталину гибель на новых волнах новой пролетарской революции в СССР. Конечно, Сталина можно было убрать, могли это сделать и живущие в СССР троцкисты, но не «бюллетенями» и не во имя «пролетарской революции», которая давно стала проклятием страны. Зато ошеломляющее впечатление производила книга Троцкого «Моя жизнь», собственно ее вторая часть, где речь идет о революции и о внутрипартийной борьбе – как при Ленине, так и после его смерти. Книга эта выглядела как тряпка и была зачитана, что называется, до дыр в буквальном смысле слова. Страницы были испещрены на

полях мелкими надписями вроде: «врешь», «ложь», «NB», «вон оно что» и т. д. Было много знаков – вопросительных знаков – как возражения автору, восклицательных знаков, которые можно было толковать как согласие с мыслью автора. Я отмечаю эти мелкие детали вот почему: в 1937 г. всю троцкистскую литературу изъяли из «парткабинета» и начали выявлять, кто из нас читал Троцкого, но так как в этом никто не признавался, то пригласили из НКВД специалиста по почеркам и наиболее подозрительным слушателям и преподавателям, раздали листы, в которых было напечатано: «врешь», «ложь», «NB», «вон оно что», «?», «!» – напротив мы должны были написать карандашом эти же слова и знаки. Если вы признались, например, что это вы написали, что Троцкий «врет», – вы уже пропали, ибо из ЦК было указание, что наиболее усердно Троцкого ругают троцкисты, чтобы замаскировать свой собственный троцкизм!

Не только для иностранцев, но и для нас самих наш режим постепенно сделался иррациональным, а его вождь Сталин самой большой иррациональной величиной. Сталин дал преступный приказ: один не выполняет – его расстреливают, другой выполняет – его тоже расстреливают. Вы выразились о каком-нибудь лидере партии нелестно, – вас сажают; лидер сам сел, – но вас не освобождают. Это иррациональное явление даже зафиксировано в известном анекдоте: очередной заключенный приходит в камеру, там уже сидят двое. Он спрашивает одного – за что сидите? Отвечает: «Я ругал Радека». Спрашивает другого, тот отвечает: «Я хвалил Радека». Пришедший представился: «Бог троицу любит – я сам Радек!» Не думайте, что тот, кто ругал Радека, вышел на волю, это было бы слишком рационально.

Нечто подобное происходило и с нами. ЦК партии создал «парткабинет», чтобы мы читали и знали, что о нас пишут враги, а теперь, по приказу того же ЦК, нас НКВД таскал на

допросы, добиваясь признания, что мы читали контрреволюционную троцкистскую литературу в «парткабинете»!

Что же касается эмигрантской литературы в целом, то в ней, по понятным причинам, преобладал эмоциональный подход к большевизму над рассудительным анализом его деяний. Степень накала или ожесточения эмоций бывала прямо пропорциональна той идеологической дистанции, на которой критикующий печатный орган находился по отношению к большевикам. Право-монархическая печать была честна и последовательна в своей бескомпромиссности, но слишком прямолинейна в своей тактике. Либеральные органы, как «Современные записки» и «Последние новости», меньшевистский орган, как «Социалистический вестник» тоже красовались на полках «парткабинета», но я никогда не видел на этих полках заграничных «нейтральных», просоветских или анти-антикоммунистических изданий. Надо заметить одну положительную черту в обычаях большевиков: никого они так глубоко не презирают, как тех, кто, уходя от них, потом, как сучка, виляет хвостом перед ними, чтобы не заслужить страшный жупел «антикоммуниста». (Об одном таком типе, который уж слишком переусердствовал по этой линии, сложился даже анекдот после войны: Сталин вызывает Берия и спрашивает его: «Сколько ты этому типу платишь?» (Сталин назвал известное имя, которое я не хочу здесь приводить.)

Берия: «Ни гроша, товарищ Сталин».

Сталин: «Так все это автор пишет для нас бесплатно?»

Берия: «Так точно, товарищ Сталин».

Сталин: «Ну и проститутка же, бесподобная!»

Как альтернативную силу против своего режима Сталин не рассматривал ни меньшевиков, ни либералов, а только русских монархистов с их программой реставрации и возрождения исторической национальной России. После того

как коммунизм с его социальной демагогией о рае на земле окончательно обанкротился, а сам коммунистический режим выродился в тиранию, русский человек перестал мечтать о будущем, он теперь мечтал о прошлом. Сталин это знал точно. В случае войны опасность справа Сталин считал более реальной, чем слева. Отсюда решение Сталина: обезглавить Белое движение в эмиграции (похищение генералов Кутепова, Миллера), развалить Белое движение изнутри (провокация чекистов в виде «треста») и, не менее важное – поставить идеи национальной России на службу большевизму («патриотическая революция» середины 30-х годов, амнистия русских исторических полководцев и русской православной Церкви во время последней войны). Это все повлияло как на академическую жизнь ИКП, так и на состояние так называемого «исторического фронта» в стране. Перейду к этому.

Обычное представление об Институте красной профессуры следующее: его слушатели днем и ночью «грызут гранит» марксизма и потеют над произведениями его основоположников. Нет ничего более ошибочного: я окончил ИКП истории, не прочитав там ни одной книги Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, ибо знание важнейших их произведений еще до вступления в ИКП считалось само собою разумеющимся, зато читал историографические труды эмигрантов и «Очерки по истории русской культуры» Милюкова, «Очерки русской смуты» генерала Деникина, книги Мякотина, Кизеветтера, Ростовцева, книги «внутренних эмигрантов» Платонова, Грушевского, Любавского, Карсавина, Виппера, так как они входили в список обязательной литературы программы ИКП. Мы читали по-русски источники, книги древних авторов, монографии специалистов по периодам – истории Древнего Востока, античности, по медиевистике, по новой истории Запада. Вся литература по этому циклу была из программы русских дореволюционных университетов, и

сами наши профессора тоже были беспартийные ученые, которые учили русских студентов этим же наукам еще в старых университетах. То же самое относится к литературе и к профессорам, которые преподавали нам историю Древней Руси, Средневековья, новой истории (по советской периодизации, за античностью следует период медиевистики от V до XVII вв., период «новой истории» идет от английской революции XVII в. до Октябрьской революции 1917 г., а дальше начинается период «новейшей истории»). Курсы беспартийных профессоров кончались по новой истории Запада на конце XVIII в., до начала Великой французской революции, а по новой истории России – это был конец царствования Рюриковичей (в конце XVI в.) или начало новой династии Романовых (начало XVII в.). Беспартийные профессора по русской истории умышленно отказывались продолжать свои курсы ближе к новому времени, ибо дальше начиналась эпоха Смутного времени, крестьянских войн (болотниковщина, разинщина, пугачевщина), внешних войн «жандарма Европы» – России, – революционного и социалистического движения, где их ожидали опаснейшие подводные рифы и где уверенно или самоуверенно «плавали» только марксистские профессора из школы Покровского (как увидим дальше, когда произошел «патриотический переворот» в исторической науке и почти все марксистские историки оказались «врагами народа», то к беспартийным перешло преподавание русской истории до конца XIX века).

ИКП, согласно своему привилегированному положению (символично, что ИКП помещался в здании лицея цесаревича Николая, на Остоженке 53), мог отбирать себе лучших профессоров страны с мировыми именами. В ИКП истории было два факультета: один по русской истории, другой по западной истории и одно отделение китайско-японское. Специализация начиналась на последнем курсе. Поэтому все

лекции по русской, западной истории и специальный курс по Древнему Востоку мы слушали сообща.

Курс лекций по античной истории читал проф. В. С. Сергеев, автор известных книг «Очерки истории Древнего Рима» и «Истории Греции». Это был необыкновенный лектор. Выдающийся исследователь истории, философии и искусства античности, он был одновременно и талантливым рассказчиком. Его эпическая манера изложения исторических событий, его запоминающиеся портреты государственных деятелей, его увлекательные рассказы о полководцах и об их военных походах, его поразительные описания быта и нравов древних греков или римлян как бы делали нас живыми свидетелями чудесного мира той далекой эпохи. С особенным благоговением Сергеев описывал расцвет классической Афинской демократии эпохи Перикла и ее культуру. Драмы Эсхила, трагедии Софокла, комедии Аристофана в его захватывающих пересказах уводили вас в вечный мир борения и страстей, любви и коварства, триумфа и падения никем не отгаданного феномена – вечно загадочной души человека. С Сергеевым участвовали мы в бесконечных походах за величие Афин во главе с Периклом. Вместе с Сергеевым переживали мы ход и исход борьбы между Афинами и Коринфом, Пелопоннесские войны между Афинами и Спартой. И когда начиналось преобладание закаленных спартанцев над немножко уже изнеженными афинянами, а богиня Афина Паллада отказывала в покровительстве городу своего имени, то Сергеев тоже начинал переходить на минорный тон, погружая и нас в меланхолию. Это было симпатично и вполне человечно. Немецкий писатель Бенн сказал, что «каждая точка зрения невыносима, но еще невыносимее не иметь никакой точки зрения».

ИКП не навязывал в то время беспартийным «буржуазным специалистам» марксистской точки зрения. Им реко-

мендовалось сообщать в своих лекциях все точки зрения по данным проблемам, в том числе и собственную. От них, однако, ожидали, что они проявят лояльность и не сделают выпадов против официальной идеологии – против марксизма. Это молчаливое соглашение между беспартийными преподавателями и Институтом нарушил коллега Сергеева по древней истории – проф. Преображенский, правда, спровоцированный на это самими слушателями. Это было в 1934 г. на семинаре по теме той же «Афинской демократии». Один из докладчиков на семинаре решил показать не столько знание темы, сколько свою эрудицию в области марксизма – пошли бесконечные цитаты из мимоходных высказываний Маркса и Энгельса. Опираясь на эти цитаты, докладчик начал опровергать и само понятие «Афинская демократия», доказывая, что это была «рабовладельческая демократия». Опровергал он теми же цитатами взгляды известных античных писателей, таких, как Фукидид или современных ученых – Бузескула, Сергеева и самого Преображенского. Профессор все время нервничал и настойчиво старался вернуть докладчика к существу темы. Когда это ему не удалось, профессор крепко ударил своим дрожащим старческим кулаком по столу и как ужаленный соскочил со стула:

– Это скандал, это чудовищно! Вы разводите здесь самую несусветную чепуху. Вы должны запомнить, что Маркс и Энгельс в вопросах древней истории не являются учеными авторитетами. Вы позорите и науку и этих ваших учителей. Конец, хватит, я вам ставлю «неудовлетворительно».

Староста группы, сославшись на усталость профессора и слушателей, перенес продолжение семинара на следующий день. Немедленно было созвано общеинститутское партийное собрание, посвященное «антимарксистской вылазке проф. Преображенского». Собрание решило направить секретаря парторганизации Кудрявцева в ЦК, чтобы доложить о

случившемся и просить убрать из ИКП проф. Преображенского. Завагитпропом ЦК Стецкий выслушал нашего секретаря с тем холодным равнодушием, за которым скрывалась снисходительность осведомленного циника, сказал:

– Профессор Преображенский – буржуазный ученый, об этом ЦК знает и без вас, но что вы такие простофили, ЦК узнаёт впервые. Когда вы будете сильнее Преображенских в фактических знаниях, мы вышибем всех буржуазных специалистов и вас поставим на их место. Идите, продолжайте семинар!

Третий коллега Сергеева и Преображенского, академик В. В. Струве, по праву считался основателем и главой советской школы по истории Древнего Востока. Став с 27-летнего возраста преподавателем Петербургского университета, он проработал там беспрерывно около 50 лет. Ни войны, ни революции, ни смены властей, ни чистки, ни инквизиция Сталина – ничто не тронуло и даже не возмутило его. Это был великий ученый и гениальный оппортунист. Его «История Древнего Востока» – единственная в своем роде работа в русской исторической науке, она охватывает широкий круг тем и стран – от древнего Египта, Шумера, Вавилонии, Ассирии, Палестины, Ирана и до Малой и Средней Азии. Его словесное признание марксизма стояло далеко от понимания им самого марксизма как метода анализа исторического процесса. Именно из-за его непонимания трактовки Марксом роли классовой борьбы как движущей силы исторического развития или тезиса Ленина – «материализм включает в себя партийность, обязывает при всякой оценке событий прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы» (Ленин, Соч., 3-е изд., т. 1, сс. 380–381), академик Струве больше разглагольствовал о марксизме-ленинизме, чем применял его в своих исследованиях. Да и как оперировать марксизмом-ленинизмом в джунглях древ-

ностей Востока, а главное – кто же ревизор, прокурор и судья, чтобы проверить Струве? Но поскольку таких не было, то Струве все, что он делал, выдавал за «марксизм-ленинизм» в истории Древнего Востока, за что благодарное советское правительство допустило его до членов Академии наук СССР (1935 г.). Струве слишком хорошо знал, с кем имеет дело, и умел, если этого требовала политическая конъюнктура, прикидываться наивным. В этой связи запомнилась его одна реплика в непринужденной беседе слушателей и профессоров в комнате отдыха Института. Запомнилась именно потому, что я почувствовал в ней фальшь в устах такого большого ученого. Это было в том же 1935 г. Мы делились впечатлениями о только что опубликованных «Заметках» Сталина, Кирова, Жданова на исторические учебники по Западу акад. Лукина и по России проф. Ванага. Долго молчавший академик Струве под самый конец сказал: «Мы, востоковеды, с величайшим нетерпением ждем и, к нашему величайшему сожалению, никак не дождемся, когда И. В. Сталин найдет время высказаться по тематике Древнего Востока, что явилось бы эпохальным вкладом в советское востоковедение». И тут мне вспомнились слова великого Менделеева по адресу его коллеги, часто ссылавшегося на царя: «В ученых дебатах ссылка на авторитет государя не делает чести ни науке, ни самому государю». Да, Струве был большой ученый, но был и большим оппортунистом. Однако удивительное дело: вступить в партию отказался. Как раз это и доказывало, что его оппортунизм есть цена, которую ученый платит тираническому режиму за ограниченную свободу научных исследований.

Историю западного Средневековья преподавали нам историки-медиевисты академик Е. А. Косминский и проф. Н. П. Грацианский. Основные труды обоих были посвящены аграрным отношениям двух близко стоящих друг к другу

народов и эпох: главный труд Косминского назывался «Английская деревня в XIII веке», а Грацианского – «Бургундская деревня в X-XII столетии». По характеру и в их отношениях к марксизму это были, однако, антиподы.

Потомок польских шляхтичей, Косминский своими изысканными манерами, чопорностью, врожденным чувством социальной дистанции по отношению к нижестоящим и с такой же естественности) озабоченный соблюдением собственного достоинства в обращениях с вышестоящими, всегда в великолепных, но немножко старомодных костюмах и со вкусом подобранных галстуках, скорее походил на английского лендлорда, вотчины которых он так талантливо описывал, чем на советского профессора. Может быть, для полного внешнего подобия не хватало на лацкане пиджака цветка в петлице, а в руках тросточки – во всем остальном истинный лорд, ни дать, ни взять. И этот «лорд» читал лекции на тургеневском языке и в оксфордском стиле бывшим комсомольцам, которые еще вчера кричали «дадим лордам по мордам»! В его лекциях, разумеется, марксизм и не ночевал, но, в отличие от Преображенского, он был доподлинный плюралист англосаксонской школы: у него все научные гипотезы имели право на гражданство, в том числе и марксизм, но едва ли он когда-нибудь заглядывал в «Капитал» Маркса или «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, совсем уже не говоря о Ленине. Поэтому мне просто смешно читать в БСЭ следующие строки: «Косминский сыграл большую роль в создании общей марксистско-ленинской концепции истории западноевропейского средневековья» (т. 13, с. 233, третье издание). Косминский был, как и его коллега Грацианский, выдающимся представителем ученой плеяды западников из старой русской исторической школы, у которых еще можно было учиться фактическим знаниям, не проституированным наукообраз-

ным шарлатанством тоталитарной партократии. Будучи вскормлен той же духовной пищей, что и Косминский, придерживаясь тех же взглядов на общий исторический процесс, Грацианский, как человеческий тип и ученый, был скроен из другого материала. Если «патриций» духа Косминский допускал, чтобы официальная идеология спекулировала его именем, то «плебей» от науки Грацианский был образцом редкой интеллектуальной честности. Для науки он был готов отдать все, но для политики – ничего. Он был лоялен до скрупулезности, о чем хорошо знала сама власть, но чтобы он подал свой «голос беспартийного ученого» в пользу текущих политических кампаний, – лучше к нему было и не обращаться. Как педагог Грацианский был слишком академичен; сухой в области своей специальности, он не любил, чтобы на его семинарах противоречили господствующим взглядам в науке по обсуждаемым темам, особенно его собственным. Слушатели, которые хорошо это поняли, ловко приспособлялись к его взглядам и получали за доклады (письменные) и за выступления (устные) отличные отметки. Прошло более сорока лет, но я и до сих пор с досадой припоминаю, как Грацианский не оценил моего усердия и труда на одном из его семинаров. Мы разбирали тему: «Реформация» или «Крестьянская» война в Германии 1524–26 гг.». Мое выступление было посвящено анализу программы умеренного крыла крестьянского движения, идеологом которого был сторонник Лютера, швейцарский реформатор Цвингли, в противовес левому, революционному крылу Томаса Мюнцера. В основе выступления лежали два документа: так называемое «Статейное письмо» Мюнцера и «Двенадцать статей» (тезисов) умеренного крыла. Я много работал над литературой и был убежден, что «блесну» и перед классом и перед Грацианским своей «эрудицией» и «самостоятельностью». Семинар прошел довольно оживленно. Во время своего

выступления в обычно неподвижном лице профессора я не мог уловить его реакцию, но когда Грацианский поставил оценки выступлениям (их было около десяти), я был ошарашен: девять человек получили «отлично» и один «удовлетворительно». Это «удовлетворительно» получил я. Сокурсники объясняли мне после семинара, в чем были мои ошибки: я доказывал в своем выступлении, ссылаясь на книгу Энгельса «Крестьянская война в Германии», что историческая правда была на стороне Мюнцера – уничтожить феодальные порядки через революцию, а не на стороне реформаторов с их эволюционной программой. Я отрицал возможность эволюционного перерождения тирании и поэтому построил свое выступление вокруг следующей мысли: либо вечное рабство, либо революция. Грацианскому органически был чужд такой прямолинейный взгляд, и этот взгляд, конечно, был ортодоксально марксистский. Поэтому и здесь Грацианский остался верен себе: поставил мне худшую оценку за мой «ура-марксизм»!

Перейду к людям и делам на факультете русской истории ИКП. Тут звездой первого класса был, конечно, академик Б. Д. Греков. Высокий, стройный, едва за 50 лет, он был как лунь седой, что придавало ему, прославленному ученому, лишь дополнительную солидность. Греков приезжал к нам читать лекции из Ленинграда, где он занимал кафедру по русской истории в Ленинградском университете. Я как-то случайно узнал в дирекции Института, сколько Греков у нас получал за лекции. Оказывается, Греков получал (при оплаченной дороге и гостинице) за один час лекции столько, сколько получал тогда средний рабочий за целый месяц – 150 рублей. Вот тебе и «диктатура пролетариата»! Оплата Грекова, конечно, была вполне адекватна его высокой квалификации, но не забудем, что Сталин объявил, что мы уже построили «социализм». Кстати, приезжал к нам также читать

лекции по новой истории коллега Грекова по Ленинградскому университету, старый большевик проф. В. А. Быстрянский. Так этот вызывал нарекания и даже открытую вражду своих партийных коллег за свой слишком уж демонстративный «социалистический альтруизм» – он подписывал очередные ведомости на зарплату, а деньги целиком отдавал в кассу «Международной организации помощи борцам революции» (МОПР). Ученик В. О. Ключевского, Греков не унаследовал у своего учителя ни его таланта художника в исторической науке, ни его манеры говорить парадоксами, ни его редкого остроумия, ни его, наконец, полемического задора (эти качества были даже опасны в эпоху безвременья сталинщины). Грекова, как лектора, отличало, однако, глубокомыслие в общем анализе и фундаментальность в деталях («черт скрывается в детали», – говорят немцы). Его изложение страдало академической сухостью, в нем, вероятно, каждое слово было взвешено, и хотя стиль был лишен блеска Ключевского, но он был так тщательно отделан, что каждая его лекция (он, как и другие его коллеги, говорил не по бумажке, но все лекции всех преподавателей стенографировались) сразу могла быть отдана в типографский набор.

Между прочим, еще одно мое наблюдение: все наши профессора из дореволюционной исторической школы читали свои лекции в спокойном, плавном, повествовательном тоне, как и на Западе, а вот профессора из советской исторической школы, даже люди старшего возраста, читали свои лекции словно речи на массовых митингах (наверно, сказывалась школа митингов революции и гражданской войны). И по западной истории и по истории России слово переходило к ним, начиная с нового времени. Тут они вечно полемизировали, по примеру их учителя, академика М. Н. Покровского, не только со своими предшественниками по исторической науке, но и с самой историей. Особенно

доставалось «еретикам» внутри партии и меньшевикам вне партии. Помню, как один из них, в подкрепление своей критики, приводил стихи, кажется, Демьяна Бедного, из дореволюционной большевистской «Звезды» по вопросу, «кем ты можешь быть на худой конец, но кем нельзя быть при любых условиях». Слов не помню, но хорошо запомнил содержание: – будь анархистом, будь морфинистом, будь негодяем, будь разбойником, будь проституткой, но не будь меньшевиком! На таком уровне были почти все курсы лекций по истории трех русских революций.

Заканчивая свой курс лекций на пороге XVII столетия и обращаясь к этим ученикам Покровского, Греков не без скрытого сарказма замечал: отныне начинается эпоха больших социальных потрясений и тут карты в руки нашим молодым профессорам.

Греков не был оппортунистом, но еще меньше он был революционером. Элементы марксистского понимания истории в его творчестве были данью существующей власти. Греков поступил совершенно так же, как Гегель поступил со своей революционной диалектикой, чтобы не впасть в противоречие с прусским абсолютизмом, когда заявлял, что все сущее – разумно, все разумное – суще.

В своей методологии Греков был и остался позитивистом с некоторой примесью названных выше элементов чужеродного ему марксизма в его позднейших трудах. Это знает каждый, кто близко познакомился с его исследованиями. Ранние его работы посвящены истории вотчинного хозяйства XV–XVIII веков. Первая из его опубликованных работ (1914 г.) носит название «Новгородский дом Св. Софии». До и после революции он был профессором Петроградского университета. В конце 30-х годов профессор Греков делает первые попытки пересмотреть концепции своих учителей по вопросу о происхождении крепостного права и о социальной структуре

самого крепостнического строя. По своей идеологии он принадлежал к тем, кого называют либералами. Его заслуги, выдвинувшие его потом на первый план, лежат, собственно, в прошлом, а именно – в интерпретации им происхождения Киевского государства и социальной структуры киевского общества. Его ранняя советская работа, известная ныне как общая монография под названием «Киевская Русь», выросла из отдельных частей тех исследований, которые он ранее предпринимал по истории киевского периода Русского государства, и из того курса лекций, который он читал у нас, в Институте красной профессуры.

Греков оспаривал теорию великого классика украинской исторической науки академика М. С. Грушевского об украинском происхождении государства «Киевская Русь» и доказывал, что Киевское государство – это государство русских, украинцев и белорусов, но, собственно, русские играют там ведущую роль. При этом объединение восточных славян в Киевском государстве произошло не в результате внешнего вмешательства. Акад. Греков полагает, что первый русский историк, автор «Повести временных лет», писал свою историю «с определенной целью и в определенной политической обстановке». Его заказчик, Владимир Мономах, был заинтересован в том, чтобы Сильвестр (автор «Повести временных лет») положил в основу своей теории о происхождении Киевского государства норманскую легенду. Греков говорит, что «уже Шахматову удалось показать, что на первых страницах «Повести» мы имеем переделку старых преданий о начале русской земли». Летопись «Временных лет» «выводит легенду о начале русского государства с варягов с определенной политической целью, чтобы сказать, что спасение русской земли явилось результатом призвания варяжских князей, в частности Рюрика. Это также оправдывает призвание Мономаха в Киев... Эта схема господствовала в нашей науке до

недавнего времени». Вот против этой теории решительно выступает Греков.

В другой своей работе, изданной во время войны как патриотический вклад в дело «Отечественной войны», «Борьба Руси за создание своего государства», Греков доказывает, что уже в VI веке в Прикарпатье мы имеем первое русское государство, а после него создавался еще ряд других государств, предшествовавших державе Рюриковичей. Греков рассматривает княжение Рюриковичей как династический элемент в истории русского государства. Эта мысль была высказана уже Ключевским, но Греков впервые старается обосновать ее, пользуясь источниками. Он замечает: «Варяги стали русскими князьями потому, что они ославянились, говорили на русском языке и молились русским богам».

Наиболее серьезную попытку марксообразного исследования истории русского народа Греков предпринял в своей последней работе: «Крестьяне на Руси с древнейших времен до конца XVII века». Правда, во всей этой фундаментальной работе (950 страниц) нет ни одной ссылки на Сталина (если не считать упоминаний Сталина в предисловии), а ссылок на Маркса, Энгельса и Ленина имеется всего несколько – местами даже совершенно некстати. В этой работе акад. Греков дополнил и более широко развернул свою схему о социальной структуре Киевской Руси (из «Киевской Руси»), распространив ее на всю русскую историю до начала XVII века.

В этой схеме он предпринимает широкие попытки подвергнуть критическому разбору существующую литературу из классических школ и приводит новую классификацию социальных групп Руси (челядь, рабы, рядовичи, закупы, смерды, изгои и т. д. – для X–XII веков; крестьяне-старожильцы, серебрянники, кабальные люди, половники, крестьяне-бобыли и т. д. – для XV–XVI веков).

Однако в своих анализах Греков не является, хотя бы по видимости, последовательным марксистом сталинского тол-

ка. Он не отводит достижений старой исторической науки; многие из ее положений он принимает почти без оговорок, а некоторые обосновывает лишь новыми фактами и исследованиями, – в частности, из области археологии и этнографии.

Преемственность в методологии исторического исследования со старыми историческими школами сказывается почти на каждом шагу. Многие выводы старых школ находят лишь блестящее подтверждение в исследованиях самого Грекова (может быть, потому, что Греков оказался плохим марксистом).

Однако для «советских патриотов» весьма ценен тот вывод, к которому пришел акад. Греков в своем исследовании. Как польский историк Куштеба доказывал, что изменения во внутренней жизни Польши XV–XVI веков происходили не под влиянием внешней западной торговли и что социальные и экономические процессы внутри Польши шли своими национальными путями, – точно так же и Греков считает, что русские источники приводят к подобному же выводу об образовании в России самостоятельного внутреннего рынка.

Таким образом, главная заслуга акад. Грекова перед современной официальной доктриной заключается в том, что он еще в начале 20-х годов, а в некоторых случаях даже и раньше, предвосхитил «патриотическую концепцию» сталинцев по основным вопросам русской историографии. Греков боролся против западнической теории Милюкова о природе киевских городов, против нигилистических взглядов школы Покровского, против варяжской теории Сильвестра и даже Карамзина и Соловьева, правда, – не в угоду концепции сталинцев, а по убеждению, но его позиция оказалась весьма кстати, когда Сталин решил поставить динамику русского патриотизма на службу своей политике. Вот за эту позицию, которая еще вчера объявлялась реакционной, антимарксистской и великодержавной, Греков, прямо-таки по законам

«диалектики», оказался во главе советской исторической науки.

В биографической заметке БСЭ о другом нашем профессоре – корреспонденте Академии наук СССР С. В. Бахрушине – сказано:

«Ученик Ключевского и Любавского, Бахрушин прошел сложный путь от буржуазного к марксистскому пониманию исторического процесса» (т. 3, с. 55, третье изд.). Что верно, то верно: половину своей творческой жизни академик С. В. Бахрушин провел в чекистской депортации не за контрреволюцию, а просто за глубокую любовь к предмету своего исследования – к русской старине, ее истории, ее культуре, ее величественным религиозно-духовным памятникам. Это был не просто «сложный путь», это был тяжкий, трагический путь по тундрам и тайгам Сибири за чисто научные убеждения. И в конце этого пути не Бахрушин пришел к «марксистскому пониманию», а «марксистское понимание» пришло к Бахрушину, когда Сталин, предав анафеме исторический нигилизм школы Покровского, амнистировал русский «патриотизм». Только тогда Бахрушина вызвали из депортации и сразу назначили профессором ИКП и МГУ (в последнем он преподавал с 1909 г. до ссылки в Сибирь).

О сибирском периоде своей жизни Бахрушин мог бы сказать по известной поговорке: нет худа без добра. В своей сибирской ссылке Бахрушин написал самые капитальные исследования в русской литературе по истории колонизации Сибири в XVI–XVII вв. Некоторые из них еще в рукописи он читал нам (слушателям ИКП, студентам МГУ, профессорам) в Москве, в Историческом музее. Большой мастер реконструкции исторического процесса по региональным летописям, архивам, сказаниям, Бахрушин воссоздал цельную картину русской экспансии и колонизации Сибири в первоначальный ее период. Поскольку новая историческая схема

Бахрушина целиком совпадала с новой «патриотической революцией», то ему отныне не угрожало «нежелательное путешествие в Сибирь», выражаясь по Андрею Амальрику. И все же Бахрушин держался с большой оглядкой, – «как бы чего не вышло». Запуганный вечным преследованием, он словно не верил в прочность своей свободы и поэтому весьма ею дорожил. У него на семинарах можно было цитировать вдоволь всех марксистов на свете и критиковать всех буржуазных историков, в том числе и его, но в рамках, предложенных сверху. «Сверхплановые» выступления вне «заданных рамок», всякие упражнения в «новшестве» его пугали. Только этим я и объясняю один свой провал у него. Между тем я мог бы похвастаться, что как раз в том докладе, который я читал в семинаре Бахрушина, я предугадал мысль Сталина за лет 12 до того, как он ее сам высказал во всеуслышание. Правда, большой заслуги в этом не было – ведь после опубликования «Заметок Сталина, Кирова, Жданова» на учебник Ванага уже ясно чувствовалось, что мы идем от Покровского к Иловайскому. Мой семинарский доклад у Бахрушина назывался: «Иван IV – Грозный». Я составил себе рабочую гипотезу, которую можно было бы выразить словами: «Не так черт страшен, как его малюют»! Иначе говоря, я решил взять под сомнение и подвергнуть критике классический взгляд на царствование Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным. Хорошо помню, что я доклад свой начал с двух цитат: в одной (из Карамзина) говорилось, что царствование Ивана Грозного по своим результатам может быть сравнимо с монгольским игом, а во второй цитате, взятой из Ключевского, знаменитый историк, соглашаясь с Карамзиным, добавлял: «Его можно сравнить с тем ветхозаветным слепым богатырем, который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели». На этих позициях стояли и другие известные историки: Погодин, Устрялов, Костомаров. Марксистские историки – Покровский

и его ученики, – понятно, говорили то же самое. В основе всех оценок лежала легенда, что Иван IV заболел манией преследования или, как выразились бы современные медики, паранойей. Ни у одного историка я не нашел на этот счет какого-либо конкретного указания или свидетельства медиков того времени, окружавших Ивана IV. Как подтверждение душевной болезни Ивана IV приводились его кажущиеся отклонения от «нормы жестокости»: опричнина и многочисленные казни бояр, преследования духовенства (убийство митрополита Филиппа), убийство сына, жестокие расправы над целыми городами (Новгород, Псков), даже чудачество Ивана IV со спектаклем «назначения» бывшего татарского хана Симона Бекбулатовича «царем всея Руси» и т. д. Я выставил против теории о душевной болезни Грозного приблизительно следующие возражения:

1. Незнание истинных причин введения опричнины и недоступные здравому человеческому пониманию масштаб и характер массовых казней породили легенду о сумасшествии Ивана IV.

2. Чтобы Московское государство стало Российским государством, а московский государь русским царем с абсолютной властью, Иван IV решил уничтожить вотчинно-удельный строй на Руси с его возглавителями-сепаратистами из князей, бояр и даже представителей духовенства.

3. Иван IV – физически и духовно самый здоровый русский царь. Как тиран он отвратителен, но как основоположник (в переписке с Курбским) теории русского централизованного самодержавия он велик и прогрессивен, как его первый архитектор он просто гениален.

Когда я читал эти свои тезисы, Бахрушин чуть не свалился со стула. Сначала он вообще потерял дар реакции – не знал, к чему я веду речь, даже задал вопрос: «Это откуда вы цитируете?». Когда я ответил, что это я цитирую самого себя, то он начал беспокойно ерзать на стуле, смотреть по сторонам,

словно спрашивая участников семинара, понимают ли хоть они, что за ахинею разводит этот молодой человек. Я знал точно, что он в душе был со мною согласен, но мы жили в стране, где разумным людям рекомендовалось запереть свою душу на замок. Бахрушин ее давно запер, а я стучал в эту закрытую душу. Когда же я начал приводить цитаты из знаменитого послания Грозного первому русскому эмигранту и «первому изменнику родины» князю Курбскому и по-своему их интерпретировать, то Бахрушин даже сделал поползновение переключить меня на менее взрывчатую тему, но я продолжал цитировать упреки царя Курбскому и боярам: «Вы поколебали благочестие и Богом данную мне державную власть себе похитили» и что «жаловать своих холопов мы вольны, вольны и казнить их». Я пришел к выводу, что в глубоком историческом смысле Грозный был революционером, а Курбский реакционером. Курбский тянул назад, стараясь ограничить власть царя, окружив его боярским советом и даже земским Собором (ведь все это уже было), а царь смотрел вперед. Он хотел дело своего деда и отца – создание и возвеличение Московского государства – завершить созданием централизованного русского государства как основы создания Российской империи. Он же указал и главные направления будущей экспансии: почти за полтораста лет до Петра I он хотел «пробить окно» на Запад, что ему не удалось из-за большой коалиции враждебных ему сил вокруг Балтийского моря; покорив последние татарские ханства, Грозный обеспечил расширение России в глубь Сибири до берегов Амура и Тихого океана; женившись на кабардинской принцессе Марии Темрюковой, Грозный указал и третье направление экспансии – на юг и юго-восток, то есть Крым и Кавказ. То, что было литературным упражнением у его современника монаха Филофея «Москва – третий Рим», у Грозного было политической программой. Без первого русского

царя – Ивана IV – не было бы и первого русского императора – Петра I.

В интересах русского империализма Грозный уничтожил боярский сепаратизм. Но и здесь легенды умножались на легенды. Массовые казни, конечно, происходили, но никто никогда не установил их точного числа. Самый большой враг Грозного князь Курбский говорит в своей «Истории», что было казнено 400 человек. Ключевский пишет, что Грозный по набожности своей заносил имена казненных в синодики и рассылал их по монастырям для поминовения душ покойных, но вот интересно замечание Ключевского: «В некоторых из них число жертв возрастает до 4 тысяч. Но боярских имен в этих мартирологах сравнительно немного, зато сюда заносились *перебитые массами* и совсем не повинные в боярской крамоле дворовые люди, подъячие, псари, монахи и монахини – «скончавшиеся христиане мужского, женского и детского чина, имена коих Ты Сам, Господи, веси» (т. 2, с. 185). Вот так не только казненные опричниной, но и погибшие в междоусобице, «перебитые массами» или даже просто умершие естественной смертью тоже относились на личный счет Грозного. Таким образом этот счет разрастался на этот раз уже в легендах от поколения к поколению до сенсационной, никакими источниками не подкрепленной цифры иностранцев, случайных путешественников по Руси – до десяти тысяч человек. Если даже принять на веру эту легендарную цифру, то Грозный уничтожил людей во время своей опричнины в несколько раз меньше, чем просвещенные французы через 220 лет после этого, во время якобинской диктатуры. Между тем о якобинском терроре историки рассуждают как о нормальном явлении, а об опричнине Грозного – как об акте сумасшествия.

Таков был общий смысл моего понимания личности и деятельности Ивана Грозного. Разумеется, произошло то, на

что я заранее рассчитывал: все участники семинара обрушились на мою концепцию с кучей цитат из Покровского, с избитыми аргументами из учебников и «основополагающими» высказываниями из «классиков марксизма», которые мне были так же хорошо известны, как и им. Один сказал, что, если бы я жил в эпоху Грозного, из меня вышел бы приличный опричник, другой доказывал, что я развернул контрреволюционную теорию министра Уварова о «самодержавии, православии и народности», третий, парторг группы, выразился еще яснее: весь ваш доклад – «апология царизму и гимн Ивану Грозному»! Бахрушин, который ориентировался не на содержание моего доклада, а на реакцию семинара, умоляюще смотрел мне в глаза и я читал его мысль: «Поймите, что мне тяжко идти против совести, но и неохота из-за вас вновь вернуться в Сибирь» – и поставил моему докладу беспрецедентную в ИКП оценку: «неудовлетворительно»!

У Грацианского я получил низшую отметку за «марксизм», а у Бахрушина уничтожающую оценку – за «монархизм». Дело могло бы принять совсем неприятный для меня оборот (меня уже таскали для объяснения в партком и дирекцию), если бы не вмешательство агитпропа ЦК. Там, вероятно, заметили, что я взял правильный тон в свете разрабатываемой тогда в ЦК новой концепции «патриотической революции» в русской исторической науке. Я был просто поражен, когда после войны я прочел статью своего бывшего профессора по Курсам марксизма при ЦК С. М. Дубровского о беседе Сталина с актером Н. К. Черкасовым по поводу Ивана Грозного. Проф. Дубровский писал, что книга народного артиста СССР Черкасова «Записки актера» была издана еще при жизни Сталина. Черкасов цитировал там Сталина: «Говоря о государственной деятельности Ивана Грозного, товарищ Сталин заметил, что Иван IV (Грозный) был великим и мудрым правителем... И. В. Сталин также отметил

прогрессивную роль опричнины, сказав, что руководитель опричнины Малюта Скуратов был крупным русским военачальником... Коснувшись ошибок Ивана Грозного, Сталин отметил, что одни из этих ошибок состояли в том, что он не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семейств, не довел до конца борьбы с феодалами, если бы он это сделал, то на Руси не было бы Смутного времени» (журнал «Вопросы истории», 1956 г., № 8, с. 128). Мой бывший профессор возмущался этой оценкой Сталина, а я, вспомнив наш семинар, нападки на меня и свое «неудовлетворительно», только сожалел, что Сталин не произнес этих слов на второй день после нашего семинара: не потому, что хотел поделиться «славой» «первооткрывателя» Грозного со Сталиным (вообще-то говоря, высказать какую-нибудь оригинальную идею до того, как ее высказал сам Сталин, – было опасно для жизни), а так просто – посмеяться над нашими «ортодоксами» из семинара. После выступления Сталина Бахрушин тоже нашел много положительных сторон у Грозного.

Если наши профессора по древней истории были беспартийными, то наши профессора по новой и новейшей истории были членами партии. Ведущее место среди них занимал академик Н. М. Лукин-Антонов, который окончил Московский университет в 1909 г. и там же преподавал с 1913 г. Он состоял в партии с 1904 г., активно сотрудничал с Лениным в его большевистских изданиях до и после революции. Он был также первым и признанным специалистом среди русских марксистов по новой западной истории. Его монография «Парижская коммуна» и «Очерки по новейшей истории Германии» создали ему европейское имя, а его учебник «Новейшая история Западной Европы» стал настольной книгой каждого студента. К тому времени, когда я кончал ИКП, он уже возглавлял Институт истории Акаде-

мии наук СССР, был главным редактором журнала «Историк-марксист» и входил в узкий состав экспертов-историков при ЦК. Лектор он был выдающийся, но слишком самостоятельный и своенравный, чтобы прийтись по вкусу Сталину: когда ЦК ему поручил составить новый учебник по истории Запада в свете «Письма Сталина» в журнал «Пролетарская революция», то Лукин и его группа добросовестно поработали над заданием и представили в ЦК новый учебник в полном согласии, если не с фактами, то с тем, что писали на этот счет Маркс, Энгельс, Ленин. Но такие «знатоки» западной истории, как Жданов, Киров и сам Сталин, прочитав рукопись, пришли к заключению: Лукин и его коллектив авторов фальсифицируют западную историю. Им дали новое задание: «коренным образом переделать учебник», то есть историю, однако они даже и после этого не поняли задания – переделали учебник, но не историю. Сталину пришлось расстрелять всю эту авторскую группу во главе с Лукиным. То же самое произошло и с авторским коллективом другого нашего профессора по новой и новейшей истории России – СССР проф. Ванагом. Латыш по национальности, бывший петроградский рабочий, член партии со времени революции, автор нашумевшей в свое время монографии «Финансовый капитал в России», автор ряда учебников по русской истории для вузов, проф. Ванаг считался одним из самых талантливых учеников Покровского. Ему и его группе авторов было поручено составить новый учебник истории СССР для средних школ. Ванаг и его группа, так же добросовестно, как и группа Лукина, выполнили задание и представили рукопись учебника ЦК. Те же «историки» – Сталин, Киров, Жданов – прочли рукопись и вынесли свой приговор: «проф. Ванаг и его группа даже не поняли задание ЦК». Ванага и его авторский коллектив тоже расстреляли.

Был у нас и такой профессор, который, хотя и преподавал нам «новейшую историю СССР», но сам страшно отстал от нее. Это был проф. С. А. Пионтковский. Сын профессора, он кончил историко-филологический факультет Казанского университета (1914), в партию вступил в 1919 г., а с 1921 г. работал профессором Коммунистического университета им. Свердлова, с 1922 г. в МГУ, а потом профессором нашего ИКП, состоял заместителем главного редактора злополучного журнала «Пролетарская революция», где в 1930 г. появилась та знаменитая «троцкистская контрабанда» проф. Слуцкого, которая вовсе не была какой-либо «контрабандой». Под нею подписался бы обеими руками сам Ленин, но не Троцкий. Сталину нужен был просто предлог, чтобы дать сигнал и открыть семафор беспримерной даже в эпоху средневековой инквизиции «охоты за ведьмами». Предлог Сталина был смешон (Слуцкий писал, что ему кажется, что Ленин недооценил опасности «централизма» II Интернационала), но вывод Сталина был чудовищен: идеологию марксизма-ленинизма надо чекизировать, а все гуманитарные науки поставить под контроль идеологических чекистов. Малейшее отклонение в общественных науках от заданной линии объявляется государственным преступлением. Вот с этих пор Пионтковский, вероятно, попал на заметку Сталина. Ведь ответная статья Сталина (через год!) в том же журнале, в виде названного выше «письма», кончалась выговором всей редакции, то есть как главному редактору Лукину, так и его заместителю Пионтковскому. Я говорил выше, что Пионтковский явно не понимал, что происходит вокруг него. Каждый, кто слушал его лекции о трех русских революциях и гражданской войне, выносил впечатление, что Пионтковский был и остался рабом исторических документов большевизма и революции. Он бесконечно цитировал неопубликованные документы эпохи, все еще секретные протоколы ЦК большевиков, историческую и мемуарную литературу противников

большевизма и нигде в них мы не слышали имени вождя, стратега и организатора Великой Октябрьской социалистической революции – товарища Сталина! Кто-то однажды ему даже задал вопрос:

– А где же был товарищ Сталин?

Но Сталин очень скоро нашелся: первым из наших профессоров он расстрелял Пионтковского. К концу нашего выпуска в 1937 г. из наших партийных профессоров на воле остался только один: академик И. И. Минц. Из беспартийных профессоров никого не арестовали.

Кроме отечественных профессоров, нам лекции читали и члены Президиума исполкома Коминтерна (по международным отношениям): болгары Димитров и Коларов, поляк Ленский, немец Пик, итальянец Эрколи (Тольятти), венгр Бела Кун, китаец Ван Мин. Почти все говорили по-русски, но самый отличный литературный язык был не у славян, а у итальянца Эрколи. Академик итальянской школы, южанин без южного темперамента, начитанный марксист без советской фразеологической жвачки, Эрколи говорил на том русском языке, на котором писали классики дореволюционной русской публицистики. Его мягкий итальянский акцент делал его речь только мелодичной. Нас восхищало и другое: на каждую новую лекцию он приходил в первоклассном новом костюме, какие можно было видеть только в западных кинокартинах, а иногда также и в ресторане отеля «Метрополь». Я никогда не мог понять, как уцелел у Сталина этот аристократ среди коммунистов и коммунист среди аристократов во время «Великой чистки», когда он стрелял в затылок даже таким своим догматикам и палачам, как Бела Кун. Еще меньше я его себе представляю дающим приказ своему партизанскому помощнику повесить Муссолини без следствия и суда.

Было у нас и несколько преподавателей по иностранным языкам и по церковнославянскому языку. Чтобы мы могли

познакомиться в подлиннике с актами и летописями древности и средневековья, была введена специальная историческая дисциплина – «Дипломатика» (источниковедение), – а чтобы их понимать, надо было изучить церковнославянский язык. Его преподавателем был Н. Н. Гусев, литературовед, большой знаток древней и классической словесности, бывший в свое время литературным секретарем Л. Н. Толстого. Естественно, что мы с ними занимались больше биографией, характером, привычками, вкусами Толстого, чем зубрежкой «русской латыни» – церковнославянского языка. Запомнилось одно замечание Гусева, смысл которого свидетельствовал, что веяние времени он понимал лучше, чем я, без пяти минут «красный профессор». Как-то на занятиях по чтению и разбору, кажется, «Слова о полку Игореве» зашел разговор о разных литературных стилях, потом начали говорить и о стилях в публицистике. Совершенно необдуманно и некстати у меня вырвалось:

– Я считаю, что у Сталина стиль «лапидарный».

Гусев ответил:

– Вы очень ошибаетесь – у Сталина стиль «синтетический».

Я не очень разбирался, как не разбираюсь и сейчас, в стилевых категориях в литературе, но свою ошибку я понял сразу, хотя Гусев и не комментировал ее. Я приписал Сталину не стиль теоретика с глубоким анализом и обобщениями, а односложный стиль оракула, вещающего истины или императивный стиль диктатора, только дающего приказы. Я совсем не это имел в виду, но Гусев, вероятно, так понял меня, поэтому решил выдумать для Сталина мифический «синтетический стиль», чтобы никто не сказал, что он согласился с моим «вольнодумством» или, в лучшем варианте, с моим «невежеством». Полицейская доктрина «революционной бдительности», продукт подозрительного ума Сталина, стала нашим советским «категорическим императивом». Поэтому

недоговоренность мысли порицалась, двусмысленность в словах преследовалась, доносы сына на отца и жены на мужа поощрялись. Но «бдительность» шла дальше: по доктрине чекистов, там, где собралось три человека, один должен был быть сексотом, задача которого не только доносить, но и провоцировать людей на антисоветские высказывания, с тем, чтобы потом доносить на них. Так, если бы Гусев меня не поправил, а среди нас был бы или я сам оказался бы сексотом, Гусев мог сесть в тюрьму с обвинением, что он участвовал в этом антисоветском сборище, где доказывалось, что у Сталина стиль диктатора.

Когда Сталин показал воспитанного в этом «советском стиле» Ивана Западу и Запад Ивану, то даже высокопоставленные Иваны производили впечатление правительствующих дикарей. Припоминается пара случаев: теперешнего советского министра иностранных дел Громыко, только что назначенного послом СССР при ООН, журналисты попросили на аэродроме в Нью-Йорке сказать несколько слов о своей личности. Дипломат Громыко отрезал:

– Моя личность меня интересует меньше всего.

Но это еще считалось ответом «дипломатическим», а вот «военный дипломат», политический генерал-полковник Штыков, назначенный после капитуляции Японии членом контрольной комиссии союзников в Токио, когда журналисты его спросили: «Господин генерал, скажите, пожалуйста, как ваше имя?» – ответил вопросом на вопрос: «Какое ваше дело?»

Да что говорить о рабах Сталина, когда сам рабовладелец никак не мог решиться, как ему быть по одному вопросу, по которому он сам должен был подать пример «бдительности»: один из близких сотрудников Рузвельта, охотник за автографами знаменитых людей, попросил во время Ялтинской конференции Рузвельта, Черчилля и Сталина поставить свои подписи на советской десятирублевке. Рузвельт и Черчилль

сразу это сделали, а вот Сталин, не задумываясь ставивший свои подписи под смертными приговорами миллионов своих граждан, серьезно заколебался – «а нет ли тут подвоха прожженных империалистов?» Рассказывали, что Рузвельту долго пришлось доказывать Сталину, что тут никакого злого умысла нет, да и воспользоваться подписью на бумажных деньгах тоже невозможно.

Страх – вернейший метод правления при тиранической системе, а доктрина «революционной бдительности» – это школа воспитания страха, которая функционирует постоянно, везде и во всем и которую советский человек никогда не кончает. Медицина знает манию преследования, как стихийную душевную болезнь отдельных лиц, а вот манию преследования гигантского государства в целом изобрел и искусственно привил Сталин своему народу именно через школу «бдительности». Сталин, как марксист, делил человечество только на два класса: на шпионов и их нанимателей. Эту доктрину он перенес даже на собственную партию: ко времени ежовщины в партии было около двадцати тысяч большевиков с дореволюционным стажем. Из них Сталин расстрелял около девятнадцати тысяч человек. У каждого из них, как правило, стояло обвинение: шпионаж. Все ближайшие соратники Ленина были пропущены через суды: у каждого из них стояло обвинение: шпионаж. После суда над Зиновьевым и Каменевым чекист высокого класса Агранов с деланным возмущением рассказал нашему профессору Пионтковскому, что «негодяй Зиновьев обвинил Ленина в шпионаже в пользу Германии», дал показания, что он брал в «Социальном Институте» Парвуса деньги для издания и отправки в Россию ленинского журнала «Социал-демократ» и другой литературы, но что это он делал по поручению Ленина. Совершенно ясно, что это не Зиновьев, а Сталин обвинял Ленина. Впрочем, Сталин же через своего помощника

Товстуху впервые и опубликовал письма Ленина к Ганецкому (посреднику между ним и Парвусом) с требованием денег из-за границы; это было, когда Сталин узнал о «Завещании» Ленина насчет его снятия (см. журнал «Пролетарская революция», № 9, 1923). Так что вполне возможно, что в следственном деле Зиновьева и Каменева лежали их показания о шпионаже самого Ленина в пользу Германии (недаром судебные и следственные дела Зиновьева и Каменева уничтожены).

Расскажу и о нашей преподавательнице немецкого языка, интересовавшей нас, благодаря ее «знатному происхождению», хотя и педагогом она была превосходным. Ее учебник по немецкому языку для вузов считался одним из лучших того времени. Она была русская немка во втором поколении, немецкий был ее родным языком, хотя она и по-русски говорила отлично. Как Гусев был интересен нам не своей высокой квалификацией знатока церковнославянского языка, а как секретарь Толстого, так и преподавательница немецкого языка интересовала нас больше своим знаменитым родственником, Фамилия ее (имени ее не помню) была Залежская, ее муж, В. Н. Залежский, был в 1915 г. кооптирован в состав Русского Бюро ЦК большевиков в России. После Февральской революции он был введен в состав нового ЦК. Но не мужем, которого, собственно, кроме историков партии, никто не знает, она была замечательна, а своим двоюродным братом – Лениным. Залежская была урожденная Бланк. Александр Дмитриевич Бланк, немец, был женат на Анне, дочери немецкого купца Иогана-Готлиба Гросскопф. В числе других детей супружеской четы Бланк были две дочери: одна – мать нашей учительницы и другая – мать Ленина. Наша учительница, разумеется, очень гордилась своим знаменитым двоюродным братом, но никогда не называла его так, предпочитая этому сложному русскому определению короткое и звучное

французское слово: «кузен». Она охотно и много рассказывала о молодом и взрослом Ленине (интересно, почему Москва, которая заносит в «Лениниану» всякий чих Ленина, не публиковала никогда чрезвычайно занимательные рассказы Залежской о предках «Володи» и о самом «Володе»?). После войны некоторые еврейские публицисты сочинили теорию о «четверти» еврейской крови у Ленина. Не только сочинили, но и настойчиво стали доказывать бывшему соратнику и биографу Ленина – Н. Валентинову, что он неправ, отрицая наличие у Ленина еврейских предков. Даже такой добросовестный и отличный биограф Ленина, как Давид Шуб, и тот соблазнился этой теорией. Как раз Шуб приводил цитату из Горького – Ленина, которая не может не щекотать самолюбие еврея: «В разговоре с Максимом Горьким Ленин ему как-то сказал: «Умников мало у нас. Мы народ, по преимуществу, талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови» (М. Горький. Собр. соч., т. 17, с. 36).

Шуб комментирует: «Это, несомненно, со стороны Ленина была не случайно оброненная фраза» («Новый журнал», № 63, 1961, с. 290). Вывод напрашивается сам собою: Ленин был умен, потому что у него была примесь еврейской крови. Поэтому к «генеалогии Ленина», предложенной Валентиновым, Шуб внес дополнение: «Валентинов установил, что в Ленине была славянская, немецкая, шведская и калмыцкая кровь. К этому надо прибавить – и еврейскую» (там же, с. 291). Я думаю, что не надо прибавлять Ленину «еврейскую кровь», потому что для этого нет никаких оснований. Сами по себе широкие скулы и раскосые глаза Ленина так же мало говорят о его калмыцкой крови, как его острый ум о еврейской крови. Хотя русские националисты охотно уступили бы евреям всю кровь Ленина, не только «четверть», но не стоит сочинять легенды там, где существуют бесспорные историче-

ские документы. Они говорят, что дед матери Ленина Иоган Гросскопф был немецкий купец, женатый на шведке Анне Беате Эртедт, их дочь Анна Гросскопф была бабушкой Ленина по матери. Дед Ленина по матери Александр Бланк окончил в 1824 г. Петербургскую медико-хирургическую академию, получив звание доктора медицины. Семь лет работал в Петербурге полицейским врачом. Потом работал врачом в разных губерниях, уйдя в отставку, купил имение и крепостных. Обо всем этом рассказывала двоюродная сестра Ленина. Советская писательница Мариэтта Шагинян, которая установила, что у Ленина был дед калмык, пишет, что, заполняя анкету переписи 1922 г., на вопрос, кто был его дед, Ленин ответил: «не знаю». Почему? Чтобы не сказать, что у него один дед был монголом, а другой дед был немцем, ибо хорошо знал, что у народа, во главе которого он стоит, слишком живы были исторические воспоминания как о монгольском иге, так и о немецком засилье при царицах и царях.

Среди преподавателей новой и новейшей истории России один человек – который состоял в партии с 1917 г., был политкомиссаром в гражданской войне, кончил данный ИКП в 1926 г., – занимал самое выдающееся положение. Для этого были, кроме его биографии, две причины: одна – его необыкновенная способность придавать исторической науке максимальную текущую «большевистскую партийность»; другая, еще более важная, – он был личным секретарем Сталина по Главной редакции многотомной «Истории гражданской войны в СССР».

Когда в открытой партийной борьбе между соратниками Ленина за его наследство победил тот, о существовании которого до самой смерти Ленина знало только его ближайшее окружение, – Джугашвили – Коба – Сталин, – то появилась необходимость переписать заново всю историю партии, революций и гражданской войны, чтобы доказать, что триумф

Сталина не каприз истории, а ее закономерность. В истории партии надо было поставить Сталина на один пьедестал с Лениным, скинув оттуда побежденных в мусорный ящик истории («горе побежденным»!), а в политике обосновать тезис: «Сталин – это Ленин сегодня». Доказать и обосновать это в свете и при помощи старых газет, существующих исторических источников, архивов партии, мемуарной литературы ее ветеранов, да и писаний самого Сталина казалось задачей невыполнимой, а усилия в этом направлении бесперспективными. В партии укоренилось твердое убеждение, которое господствовало в советской литературе периода правления Ленина: у истоков большевизма стояли три человека: Ленин, Зиновьев, Каменев. Рулевым Октябрьской революции был один человек: Ленин Вождем Красной армии и организатором победы в гражданской войне был один человек: Троцкий. И вот упомянутый наш преподаватель решил доказать историческую неточность и политическую порочность данной схемы. Он представил в ЦК исследовательский реферат, в котором выдвинул другую схему: большевистскую партию создали два человека: Ленин в эмиграции, как литератор и глава заграничного бюро ЦК, а Сталин в России, как профессиональный революционер и глава русского бюро ЦК; Октябрьской революцией тоже руководили два человека: Ленин как руководитель ЦК и Сталин как руководитель Партийного центра по восстанию; правда, вождем Красной армии и организатором победы в гражданской войне по этой схеме был только один человек: Сталин.

Автор реферата требовал создать коллектив авторов для написания истории по этой новой схеме и сам явно напрашивался на руководство таким коллективом. Под документом стояла подпись: заведующий кафедрой истории СССР ИКП И. Минц. Профессор Ванаг, недолюбливавший Минца как соперника, узнав от какого-то своего друга из ЦК о реак-

ции Сталина на «научное открытие» Минца, торжествовал. Сталин, прочитав доклад Минца, якобы сказал: «Этот местечковый еврейчик просится в первую гильдию»! Но Ванаг торжествовал напрасно: очень скоро появилось постановление ЦК приступить к изданию многотомной монументальной «Истории гражданской войны в СССР». Главным редактором был назначен Сталин, а его секретарем – Минц. Минц читал у нас курс лекций по русской истории XX века и вел семинары по истории Октябрьской революции и гражданской войны. Как лектор Минц – мастер мирового класса. В отличие от буйного «анархиста» в риторике проф. Пионтковского, его конкурента по XX веку, Минца выгодно отличало олимпийское спокойствие суверенного знатока, даже там, где он явно фальсифицировал историю, а его эпическая манера изложения этой фальсификации действовала подкупающе. Совершенным антиподом самому себе выглядит он в своих писаниях: возьмите его послесталинский гигантский труд «Великий Октябрь» в трех томах, более трех тысяч страниц, – это воистину «сизифов труд» абсолютной бессмыслицы. Всю новую информацию их этих трех томов можно изложить на трех страницах. И таким бесплодным трудом занимается человек выдающихся исследовательских и литературных способностей в условиях, когда его повелитель давно умер, и такие люди, как Минц, могли бы реабилитировать и себя и историческую науку, восстановив действительную историю Октябрьской революции. Видно духовно все еще не умирающий мертвец так цепко хватает за фалды неизнашивающегося догматического мундира своего живого ученика, что тот никак не может оторваться от учителя, даже мертвого.

На семинарах Минц вводил нас в закрытую лабораторию редакционного искусства Сталина (несомненно, делая это с разрешения самого Сталина). Минц приносил нам оттиски печатного набора первого тома «Истории гражданской войны», прочитанные и отредактированные лично Сталиным.

Никаких его принципиальных замечаний я не запомнил, но в памяти остались почему-то мелкие исправления Сталина, которые становились потом принципиальными, даже «гениальными», потому что их сделал сам Сталин. Вот некоторые из них: подзаголовок первого тома «Истории гражданской войны в СССР» (почему в «СССР»? Ведь гражданская война была не в СССР, которого тогда еще не существовало, а в России, – но тут Сталин не сделал исправления) гласил: «Подготовка Октябрьской революции», Сталин исправил: «Подготовка Великой Октябрьской революции» (впоследствии Сталин исправил самого себя, добавив еще одно прилагательное: «Великая Октябрьская *социалистическая* революция»). (Кстати тогда же Сталин дал указание больше не писать в советских книгах «Великая французская революция», а писать просто «Французская буржуазная революция».) Далее в тексте стояло: во время мировой империалистической войны среди меньшевиков на левом фланге за поражение царской России в войне стоял Мартов и немножко левее – Троцкий. Сталин выкинул слово «немножко» и исправил фразу о Троцком так: «и чуточку левее Троцкий». Везде в тексте последний русский император Николай II фигурировал только под своим именем без титулов: «Николай приказал», «Николай выступил», «Николай ушел». Сталин сбоку написал и подчеркнул: «Николай не ваш дядя, надо писать: «царь Николай II». Подсознательный пиетет? Скрупулезность историка? Нет, конечно, ибо перед именем того же Троцкого его титулы: «Предреввоенсовета», «нарком по военным и морским делам», – Сталин начисто вычеркивал, или когда приходилось говорить о «вредительском» приказе Предреввоенсовета Троцкого, то титул «Предреввоенсовета» Сталин брал в иронические кавычки и писал с маленькой буквы. Забраковал Сталин и порядок размещения фотографий группы членов и кандидатов в члены ЦК, из-

бранного на IV съезде в июле-августе 1917 г. Этот ЦК руководил Октябрьским переворотом и поэтому Главная редакция решила опубликовать в первом томе его коллективную фотографию, но все еще не совершенный секретарь совершенного генсека – Минц расставил членов ЦК в алфавитном порядке, сделав исключение только для Ленина, который ставился во главе фотографии. Сталин сделал еще одно исключение: для самого себя, поставив себя в крупном плане вне алфавита во главе фотографии рядом с Лениным. Над фотографией сделали еще и другую операцию: размер фото членов ЦК уменьшался по убывающей линии алфавита – поэтому фото Троцкого оказалось в последнем ряду, в самом низу, совсем малюсенькое, рядом с ненавистными Сталину Урицким и Шаумяном. И все же было удивительно, что за два года до «Великой чистки» Сталин согласился на публикацию фотографий действительных руководителей Октябрьского переворота.

Маленький эпилог. Летом 1960 г. я поехал от имени Мюнхенского института по изучению СССР на Международный конгресс историков в Стокгольме, совершенно не догадываясь, что меня ждет большой сюрприз: я встретил там своего бывшего учителя академика Минца в составе советской делегации историков, которую возглавлял тот, кто так безжалостно разносил в 1949 г. Минца как «безродного космополита»: академик милостью Сталина Л. Л. Сидоров. В результате этой кампании Минца лишили постов и работы. Последний раз в СССР я видел Минца в 1937 г. С тех пор прошло почти четверть века, да какая еще четверть: была «Великая чистка», загнавшая сотни тысяч в могилу, миллионы в концлагеря; была великая и ужасная война, унесшая 55 миллионов человеческих жизней, из них в одном только СССР более 20 миллионов, на костях которых Сталин стал «генералиссимусом»;

последовала смерть века – умер бог партии – Сталин, объявленный потом своей же партией лжебогом. Советский Союз шагнул из одной эпохи в другую, надежды на «оттепель» не казались тоже утопией, постоянный спутник каждого советского гражданина – сталинский дамоклов меч над его головой – исчез из виду, а самое примечательное – инфляция хамелеонов в самой сталинской партии побила все рекорды ее предыдущей истории, – словом, все двигалось, менялось, приспособлялось, но оказалось, что не менялся только мой учитель. В одном из разговоров, в предельно учтивой форме, я напомнил Минцу кампанию против «космополитов» и две статьи того времени – его статью «Ленин и историческая наука» за классовый подход в исторической науке, и ответ ему Сидорова «Сталин и развитие исторической науки» – за патриотический подход в науке. Минц слушал внимательно, но на его широком каменном лице я не заметил никакой реакции. Меня это крайне удивило, тем более, что, проживи Сталин еще один год – Минцу бы не быть в живых!

– Но ведь в этой дискуссии ленинская правда была на Вашей стороне, – спровоцировал я Минца на реакцию и получил ответ академика, который должен был засвидетельствовать ущербность моего понимания происходившего тогда:

– Оставьте, это спор между самими славянами, – процитировал Минц «Клеветникам России» Пушкина по поводу польского восстания 1831 г.

У меня чуть было не вырвалось.

– Пардон, мастер, какие же вы там «славяне»?! Сталин – грузин, Минц – еврей, Сидоров – Иванушка-дурачок!

На другой день тот же разговор я намеренно затеял с Сидоровым. Без всяких дипломатических околичностей я прямо спросил Сидорова:

– Не кажется ли вам, что в свете решений XX съезда в вашем споре с Минцем ленинская правда оказалась на стороне Минца?

– Нисколько! Тогда партия думала так, как ее я представлял в той дискуссии, сегодня партия думает иначе, как это записано в решениях XX съезда.

– Вы хотите сказать, что такова диалектика советского развития?

– Совершенно точно! Я вижу, что вас чему-то научили в «Красной профессуре».

В это время подошел «нянька» советского академика и под ручку увел Сидорова «по срочному делу».

Когда я целиком было погрузился в академическую жизнь Института и усердно начал изучать труды классиков моей будущей специальности – русской истории, – меня постиг удар, который парализовал не только мои занятия, но даже мою волю к жизни. Об этом я и хочу рассказать в следующей главе.

11. Под верховным партийным судом

За мое десятилетнее пребывание в партии у меня было несколько столкновений с ее национальной политикой. И все мои столкновения происходили из-за трагического недоразумения: тактику партии в национальном вопросе я принимал за ее стратегию, ее национальную демагогию за ее национальную политику, ее сказки о «национальном суверенитете» за реальность. Когда текущая практика беспощадно опрокидывала красивые теории, я начинал возмущаться: караул, искажают «ленинскую национальную политику»! Значительно позже я начал понимать не только бесполезность, но и опасность кричать «караул». Более того – я начал задумываться, не представляет ли отказ партии от ее национальной программы наиболее яркое доказательство начинающегося политического перерождения самого режима. Анализы из «Бюллетеня печати ЦК» толкали именно к этому выводу. Надо признаться, что, даже находясь внутри партии, мы плохо понимали ее суть, ее возможности, ее далеко идущие цели. Даже сомневающиеся коммунисты отнекивались от любых дискуссий отговоркой: «Я высокой политикой не занимаюсь!» С тех пор как обозначилась тирания Сталина, отговорка «я высокой политикой не занимаюсь» была так же нелепа, как сказать «я воздухом не дышу». Людьми, которые не занимаются политикой, как раз наиболее успешно занимается сама политика. Сталин стал возможным, в конечном счете, из-за того, что при нашей поддержке или при нашей пассивности ему безнаказанно удалось политически кастрировать интеллигенцию и духовно обезглавить народ.

С первых же дней своего прихода к власти большевики и были постоянно заняты перековкой советских людей – от детских яслей до старческих домов – в той социальной кузнице, которая называется «школой коммунистического вос-

питания». Через нее из сознания человека вышибают (или просто заглушают) его гражданскую или, выражаясь по Аристотелю, «разумную душу», в то время как его врожденный животный страх намеренно обостряют через перманентный террор. В основе такой концепции лежит идея, что народ сам по себе – безмозглая толпа, говорящий скот, которым надо править не законом, а бичом.

Вопреки собственной догме, что масса делает историю, а не герои, большевики вместе с Ницше убеждены, что масса – лишь «навоз истории» и что историю делают именно герои, избранные личности. Как большевистскую революцию делает, по Ленину, «сознательное меньшинство», возглавляемое маленьким «ядром профессиональных революционеров», точно так же и большевистским государством тоже правит узкая клика несменяемых «мастеров власти», опирающаяся на гигантскую партийно-полицейскую машину организованного насилия. Но поскольку официальная марксистская философия о «народовластии» находится в очевидном противоречии с практикой правления (неограниченная диктатура маленькой клики над народом), то большевики сняли это «диалектическое» противоречие простейшим образом: клика сама себя назначила «авангардом» народа, обязав народ благодарить этот «авангард» за доверие к народу (не анекдот, а факт – когда на последних «выборах» в Верховный совет СССР генсек Брежнев выставил свою кандидатуру в одном из московских округов, то первый секретарь московского горкома Гришин благодарил Брежнева «за доверие к москвичам»!).

Под конец дело дошло до того, что народ из категории этнографической превратили в категорию партийную, назвав его «советским народом». Согласно этой догме – каждый гражданин СССР сначала «советский человек», а потом только русский, украинец, узбек, грузин и т. д. Скрытый смысл сей философии ясен каждому: это курс на этнический

геноцид, чтобы люди забыли свою историю, культуру, традицию. Только такие Иваны и Ибрагимы, «не помнящие родства», могут быть безотказными роботами в руках претендентов на осуществление мировой революции и создание глобальной империи. Поскольку ведущим народом внутри советской империи является «старший брат» – русский народ, язык которого должен стать в будущем единым и единственным языком для всех нерусских народов, то ему вынуждены давать определенные поблажки. Их характер хорошо определил один «нацменовский» поэт: если русский поэт пишет о величии России, то это считается «патриотизмом», если я пишу то же самое о своем народе, то это объявляют «национализмом».

Среди самих русских коммунистов всегда было и есть много великорусских шовинистов из нерусских, на которых Сталин с самого начала делал ставку. Ставка на великодержавников помогла ему разгромить и грузинскую оппозицию против себя, выдавая ее за антирусскую оппозицию (Сталин сочинил фальшивку: «уклонисты запрещают грузинкам выходить замуж за русских»). Как раз в связи с походом великорусских шовинистов – Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе – против грузинского руководства во главе с Мдивани и Махарадзе Ленин писал: «Известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения» (Ленин, ПСС, т. 45, с. 358). Да и о своих русских учениках Ленин говорил: «Поскрести иного коммуниста и найдешь великорусского шовиниста». Нигде это так наглядно не было продемонстрировано, как на XII съезде партии, где обсуждалось искусственно созданное Сталиным «грузинское дело». Приведу любопытные выдержки из речи Бухарина на этом съезде: «Почему Ленин с такой бешеной энергией стал бить тревогу в грузинском вопросе? Почему Ленин не сказал ни слова в своем письме об ошибках уклони-

стов, и, наоборот, все слова сказал, и четырехаршинные слова сказал против политики, которая велась против уклонистов?.. Он знает, что нужно бить главного врага. Например, на этом съезде нечего говорить о местном шовинизме. Это вторая фаза нашей борьбы... Вы заметьте, что с т. Зиновьевым произошло, когда он говорил против местного шовинизма, – гром аплодисментов отовсюду посыпался. Какая замечательная солидарность... Но когда речь идет о русском шовинизме, там только кончик торчит (*аплодисменты, смех*), и это есть самое опасное» (Двенадцатый съезд РКП(б). Стеногр. отчет», 1923, сс. 563–564). Но в той же речи Бухарин засвидетельствовал и свое полное невежество в «политике дальнего прицела» Сталина как раз в угоду данной аудитории: «Я понимаю, когда наш дорогой друг т. Коба-Сталин не так остро выступает против русского шовинизма и что он, как грузин, выступает против грузинского шовинизма» (там же).

Все это я напоминаю вот почему – я очень поздно понял, что в решении национального вопроса между Лениным и Сталиным не было принципиальной разницы, вся разница была только в тактике: где Сталин предлагал рубить сплеча, Ленин рекомендовал действовать тихой сапой. Назначенный в первом же советском правительстве Ленина наркомом по делам национальностей, Сталин правил национальными окраинами на правах новоявленного вотчинника. Не только физически, но и политически будущий тиран всей страны родился на окраине, которая стала опытным полем задуманной им всероссийской инквизиции. Ведь даже независимую Грузию, признанную советской Россией, он оккупировал на штыках XI Красной армии, вопреки Ленину, требовавшему действовать именно в Грузии «архиосторожно». За оккупацией каждой окраинной национальности следовала ликвидация ее национально-мыслящей интеллигенции. Ленин уничтожил цвет русской интеллигенции в центре, Сталин

уничтожил всю интеллигенцию на окраине. Таково было разделение труда. Уничтожались не только люди, но и идеология, культура, памятники, быт, несозвучные большевизму. Дело дошло до того, что тысячелетняя национальная письменность мусульманских народов Востока на основе арабской графики была уничтожена, как письменность «мракобесов», а сами эти народы были объявлены «бесписьменными народами», чтобы навязать им сначала латинский, а потом русский алфавит, называя их теперь «младописьменными народами».

Мое восприятие большевизма происходило в юношеские годы через увлечение сказочной идиллией его национальной теории – равноправие всех рас и независимость всех народов. Мое разочарование в большевизме началось в зрелые годы, когда, после рассеяния теоретического тумана, начал вырисовываться звериный лик его неоколонизаторской практики. Частный пример маленькой Чечено-Ингушетии давал на этот счет уничтожающие доказательства. Однако разочарования часто чередовались с надеждами. Мудрый Сталин противопоставлялся его местным тупоумным сатрапам. Потом, наоборот, все зло приписывалось одному Сталину, который по «заблуждению» искажает Ленина. Отсюда делались совершенно наивные выводы: надо помочь партии и ее ЦК выправить национальную политику.

О первой моей инициативе в этом вопросе я уже писал, когда рассказывал о моей статье и дискуссии по ней в «Правде». Теперь хочу рассказать о второй моей попытке «открыть глаза ЦК», из-за которой чуть было не закрылись навсегда мои собственные глаза. Из этой второй попытки родилось партийно-уголовное дело на меня. Вели его сразу два учреждения: КПК при ЦК и НКВД СССР. Созданию дела предшествовали подвальные статьи против меня в органе чечено-ингушского обкома партии, в газете «Грозненский рабочий».

Статьи были посвящены моим книгам по истории Чечни, меня обвиняли в «буржуазном национализме». Я спрашивал себя, неужели статьи инспирированы самим обкомом? Но почему? В 1933 г. произошло объединение двух родственных народов – автономных областей Чечни и Ингушетии. По этому поводу я даже написал брошюру: «Объединение, рожденное революцией» (Грозный, Партиздат, 1934), которая вышла из печати в январе 1934 г. ко дню открытия объединенной партийной конференции обеих областей. Я не был делегатом этой конференции, учился в Москве и состоял членом московской партийной организации. Тем не менее, я был избран на конференции в состав пленума нового обкома партии, а вот теперь в конце того же года, такой сюрприз: орган чечено-ингушского обкома партии поместил большую подвальную статью под заглавием: «Ошибки товарища Авторханова». Критиковалась моя книга «Революция и контрреволюция в Чечне» – за якобы «буржуазно-националистические ошибки» в ней. Статья была подписана заведующим агитпропом обкома партии и наполовину состояла из плагиата произведения критикуемого автора. Воздавая дань тогдашней церемонии начинать каждое историческое произведение с коленопреклонения перед Сталиным за его «Письмо в редакцию» журнала «Пролетарская революция», я посвятил этому «письму» несколько страниц в предисловии к названной книге. Моему критику эти страницы, видно, так пришлись по душе, что он их буквально списал без кавычек и даже без изменения порядка слов, выдавая за свое собственное «творчество», направленное против меня. Но плагиат мог быть оправдан тем, что о «письме Сталина» я писал лучше, чем он мог бы написать.

Не то было поразительно, что критик совершал плагиат критикуемого произведения, а другое: обком прислал этот плагиат парткому и дирекции ИКП. Моя книга не была

секретом для ИКП – она была мною представлена при приеме в ИКП вместо обязательной письменной вступительной работы. Проф. Н. Ванагу, которому дирекция поручила дать заключение о «критике», я просто показал украденные у меня места. По его заключению, дирекция сообщила чечено-ингушскому обкому, что критика недобросовестна, к тому же построена на плагиате у самого автора книги (дирекция ИКП в данном случае была моим невольным союзником, ибо она признала мою книгу за марксистскую и приняла как мою вступительную работу в ИКП). Я посчитал все это за обычную интригу завистников, только было непонятно, почему интриганы путают в это дело обком партии. Но через самое непродолжительное время пришлось убедиться, что главный интриган – это сам обком партии. В «Грозненском рабочем» появилась новая статья: «Еще раз об ошибках т. Авторханова». Подписана она была на этот раз членом бюро обкома, заведующим облоно. В ней доказывалось, на основании критики той же книги, но в тонах уже злопыхательских, что ее автор несомненно националист, фальсификатор, может быть, даже злоумышленник, который заслуживает предания анафеме. Теперь стало ясно, что обком объявил мне войну. В напряженной атмосфере в партии, сложившейся после убийства Кирова, обком имел все шансы ее выиграть. Только я решительно не знал, в чем я провинился перед ним. У меня были лишь разные догадки. Первым секретарем обкома был Г. Махарадзе, которого мои недруги настойчиво убеждали, что я в Москве только тем и занимаюсь, что сочиняю разные поклепы на чечено-ингушское руководство, чтобы свергнуть первого секретаря и самому занять его место. Основанием для таких подозрений могли служить частые заметки в «Правде» об извращениях линии партии в Чечено-Ингушетии. В сентябре 1934 г. появилась даже большая статья в «Правде» известного фельетониста

А. Аграновского о таких извращениях с ссылкой на анонимных чечено-ингушских писателей в Москве, которые дали ему сведения на этот счет. Обком, вероятно, решил, что эти сведения дал ему я. Но это была неправда. Их дали писатели из Чечено-Ингушетии, делегаты первого съезда писателей СССР в августе 1934 г. Шамсудин Айсханов, избранный на этом съезде членом Ревизионной комиссии, и Александр Рогов. У меня был гостевой билет на съезд, и они между заседаниями съезда показывали мне привезенные из Грозного материалы о том, какие методы чечено-ингушское начальство применяет в «социалистическом соревновании и ударничестве». Методы были любопытные. По отстающим нефтепромыслам водили буйвола с лентой на шее с надписью: «Вы лентяи, я лентяй – мы родные братья», а по отстающим аулам на сельхозкампаниях водили осла с другой лентой: «Вы ослы – я осел, мы родные братья». Результатом был не «творческий подъем», а волнения русских рабочих на промыслах и невыход на поле оскорбленных чеченцев. Нашему начальству, видимо, не давали покоя лавры изобретательного «князька» Кабардино-Балкарии Бетала Калмыкова, который созвал «Областной съезд лодырей» под лозунгом «Живем на шее трудящихся» и на первом же заседании объявил весь съезд арестованным! Ему это сошло с рук, потому что такой произвол лежал в русле общей политики партии, а наши начальники могли пострадать, так как они не арестовывали, а лишь раздражали лодырей. Я нашим писателям сказал, что их материал просится на страницы «Крокодила», но ввиду его политического значения, им лучше обратиться в «Правду», что они и сделали. К материалам в редакции «Правды» отнеслись с полным доверием, поскольку Ш. Айсханов занимал в Чечено-Ингушетии ответственное положение как председатель Чечено-Ингушского радиокомитета и председатель Союза писателей в Чечено-Ингушетии

(помню, тогда же мы побывали с Айсхановым в ГИХЛ у В. Тарсиса, ставшего позже первым советским диссидентом, который заведовал тогда сектором литературы нерусских народов и редактировал «Антологию чеченской поэзии», составленную Айсхановым).

Я не помню, какие именно факты из материалов писателей были использованы Аграновским, но фельетон его вызвал в партийном руководстве Чечено-Ингушетии целый переполох, если не сказать – панику. Его начали трепать всяческие краевые и центральные комиссии в поисках «головотяпов», а обком партии, в свою очередь, тоже пустился в поиски «доносчиков», разумеется, в величайшей тайне, ибо преследование «критики и самокритики» строго наказывалось (доносоманию намеренно культивировал сам Сталин). В конце концов в обкоме решили, что «доносчик» только один, и это – я. Вот тогда и началось в местной печати разоблачение меня как «буржуазного националиста». Беда заключалась в том, что я не мог заявлением на имя обкома опровергнуть его подозрения против меня, не подводя под удар истинных «доносчиков». Я этого не только не сделал, а, наоборот, в заявлениях в ЦК взял на себя ответственность за инициативу подачи названных материалов в «Правду» и этим объяснил, почему местная печать меня травит. В этом развернутом заявлении в ЦК, которое по существу было историко-политическим очерком развития событий в Чечено-Ингушетии за последние десять лет, я доказал только одно: как я безнадежно проморгал начавшуюся повсеместно чекизацию политики Кремля. Об этом говорил исходный пункт моего анализа: я доказывал, что обком партии самоустранился от политического руководства, что Чечено-Ингушетией поэтому руководят не секретари партии и не председатели Советов, а начальники и уполномоченные НКВД. Периодические восстания в горах и перманентное абречество в Чече-

но-Ингушетии – не результат беспокойного «национального характера» чеченцев и ингушей, а следствие намеренных провокаций карьеристов из НКВД. Почему же применяется такая практика? Мои доводы не были особенно оригинальны, но были неотразимы: за подавление восстаний, ими же спровоцированных, за поимки абреков, ими же созданных, уполномоченные ГПУ-НКВД быстро повышались в чинах и получали ордена. Я приводил факты искусственно организованных восстаний, создания мифических «националистических» групп и «центров» из людей, совершенно лояльных Советской власти, я рассказал, что при чечено-ингушском НКВД имелся даже отдел, беспримерный в других областях: «ББ» («борьба с бандитизмом»), но истинная цель этого отдела была не столько карательная, сколько «творческая»: разрабатывать «сценарии» по «фабрикации бандитов», в первую очередь из бывших красных партизан. Кроме дела Ибрагима Курчалоевского, я приводил и другие примеры, о которых я уже писал выше.

Я цитировал работы Ленина и Сталина и решения съездов и конференций партии по национальному вопросу. Центральные пункты всех этих документов: 1) в национальном вопросе надо проявлять максимальную эластичность и осторожность; 2) во главе национальных автономий надо ставить национальные кадры, знающие местные язык и историю, культуру и быт данного народа («коренизация»).

Я обвинял чечено-ингушское партийное руководство в грубейших извращениях этой ленинской национальной политики и систематическом очковтирательстве перед ЦК партии. Я слишком хорошо знал психологию своих местных «вождей», чтобы строить иллюзии: я шел на безоглядную атаку – «либо пан, либо пропал». Заявление я отнес лично в ЦК и отдал его одному из инструкторов Орготдела с просьбой вручить Щербакову. Прошел месяц, другой, но ответа не

было. Тем временем участились визиты ко мне гостей из Грозного. Каждый приезжал с сенсационной информацией, какие безобразия творятся в Чечено-Ингушетии, но я недооценил подлости людей и коварства местных «вождей»: мои информаторы оказались провокаторами обкома и сексотами НКВД. Один из них сообщил мне, что ему доподлинно известно через его близких людей из НКВД, что разрабатывается новый «план» по организации объединенного чечено-дагестано-грузинского «восстания» в горных районах, но дело до «восстания» не дойдет ввиду «бдительности» НКВД, зато «урожай орденов» будет большой. Поскольку рассказ был весьма правдоподобен, а прецедентов на этот счет было достаточно, то я, конечно, ему поверил и включил эти сведения в свое новое заявление в ЦК. Вызванный потом на очную ставку в КПК, этот тип заявил, что все это он слышит впервые, и даже выразил сомнение, в здравом ли я уме. Другие мои посетители, допрошенные на месте, все в один голос заявили, что они со мной о делах в Чечено-Ингушетии ничего не говорили и все, что я приписываю им, говорил я, а не они. Дело начало принимать серьезный оборот. Оно явно пахло исключением из партии за «клевету».

Но худшее ожидало меня впереди. На этот раз решалась не судьба моей партийности, а судьба моей головы. Бюро чечено-ингушского обкома партии по докладам первого секретаря обкома и начальника областного управления НКВД вынесло решение поставить перед ЦК вопрос об исключении меня из партии за антипартийную и антисоветскую деятельность. Обком и областной НКВД обвинили меня, что я принимаю активное участие в подготовке антисоветского контрреволюционного восстания в Чечено-Ингушетии, для чего я завербовал своих родственников из политзаключенных в концлагере «Волга-Дон канал» под Москвой. Это дикое обвинение имело под собою видимость почвы – на участке

Химки–Дмитров Волго-Донского канала работали мои бывшие друзья, родственники и брат моей жены, осужденные по делу мнимого «контрреволюционного национального центра Чечни», о котором я уже рассказывал. Почти каждую неделю жена ездила туда с продовольственной передачей. В одну из поездок, когда она выкладывала из чемодана продукты в контрольном пункте лагеря, выпал и мой партбилет, который я держал в боковом кармане чемодана (в мае 1935 г. было решение ЦК, угрожающее исключением из партии за потерю партбилетов, которые всегда находили почему-то «шпионы», поэтому рекомендовалось не носить с собою партбилет). Разумеется, это было, выражаясь советским военным языком, «ЧП» – «чрезвычайное происшествие». «ЧП» было запротоколировано и все данные из партбилета были сообщены в ЦК и НКВД СССР. Появилось неожиданное «вещественное доказательство» моих связей с концлагерем. Обком ликовал, считая меня одной ногой в тюрьме, но я сам себя считал там уже обеими ногами – ведь стоял 1935 год, время начиналось жуткое, с его пафосом лжи, клеветы, животного страха и безнадежной обреченности.

У меня было много влиятельных друзей и знакомых в ИКП, на Курсах марксизма, в Комакадемии, среди сотрудников ЦК, но каждый, к кому я обращался за помощью или за советом, как только я начинал рассказывать суть своего дела, отскакивал от меня, как от зачумленного. Осталась в памяти встреча с Григорием Бройдо. Он когда-то был правой рукой Сталина, как его заместитель по наркомнацу, его прямым ставленником по большевизации Туркестана в качестве секретаря его ЦК партии, ректором Коммунистического университета трудящихся Востока им. Сталина, кандидатом в члены ЦК с 1934 г. Бройдо был до моей учебы и моим прямым начальником, как директор партиздата при ЦК партии. Человек широкообразованный (до революции он был

адвокатом), в личных отношениях обаятельный, он имел один недостаток, который у других его коллег оборачивался плюсом: Бройдо некогда был членом партии меньшевиков и даже членом ее ЦК. Этот «балласт» заставлял его вечно быть на страже, обходить опасные ситуации и не мозолить глаза соперникам, выставляя себя на первый план. Как раз в силу этих качеств Бройдо до сих пор и делал карьеру, вершиной которой было его избрание в состав ЦК, первый случай в эпоху Сталина, когда бывший член ЦК меньшевиков попал в состав ЦК большевиков. Однако у Сталина был свой закон: кто становился его соратником, тот должен был стать и его сопреступником. Был у него и другой закон: он всегда искал исполнителей из числа тех, кто имел подмоченную биографию – политическую, бытовую или даже уголовную и, главное, давал им знать, что он хорошо осведомлен об этих изъянах в их биографиях. Такие люди должны были служить ему не за совесть, а за страх. Приведу только некоторые примеры на высшем уровне – генеральным инквизитором на московских процессах против вождей большевизма и Октябрьской революции был бывший меньшевик Вышинский; советником Сталина в годы войны по международным делам и заместителем министра иностранных дел был бывший меньшевик и бывший министр Колчака Майский; начальником ОПТУ после Дзержинского был бывший меньшевик Менжинский, его преемником – бывший уголовник Ягода, преемником Ягоды был прославившийся своими грабежами в лесах Белоруссии во время гражданской войны Бжов, преемником Ежова был муссаватистский и английский агент Берия. Бройдо был слишком порядочен, чтобы воспользоваться, как те, своим «изъяном» для личной карьеры, участвуя в преступлениях Сталина, но и слишком трус, чтобы выступать против этих преступлений. Он принял меня очень любезно, но когда я изложил ему мое дело и попросил его

заступиться за меня перед ЦК, то он сразу же изменился. Бройдо, старый присяжный поверенный, прочел мне почти получасовую нотацию в защиту Сталина, который «высоко поднял знамя революционной бдительности в нашей партии после выстрела бандита Николаева и его вдохновителей негодяев Зиновьева и Каменева. Бройдо меня утешил, что я еще жив:

– Какой катастрофой было бы для вас самих, если бы, воспользовавшись вашим партбилетом, какой-нибудь заключенный контрреволюционер вышел из лагеря и убил бы кого-нибудь из наших вождей? Вас расстреляли бы. Бдительные чекисты вам спасли жизнь.

Я понял, что наше свидание кончилось и что бдительный Бройдо разговаривал не со мною, а со стенами, у которых ведь тоже были уши. Но бдительность не спасла и его: он провел 17 лет в политизоляторах Сталина. В этой связи запомнился и рассказ заслуженного чекиста, бывшего заместителя начальника Владикавказского и Бакинского ГПУ, а потом председателя Верховного суда Чечено-Ингушской АССР М. Ханиева, с которым я сидел в тюрьме. Он рассказывал, что когда в местной печати начали склонять его имя, как «врага народа», то он поехал в Москву к своему прямому шефу – наркому юстиции СССР Крыленко с жалобой на своих бывших коллег из ГПУ за клевету. Крыленко его так же любезно принял, как Бройдо меня. Но, в отличие от Бройдо, Крыленко не стал читать ему лекцию о «бдительности», а прямо перешел к делу:

– Дорогой товарищ, вы ведь знаете, что я член большевистской партии с 1904 г., как член Военно-революционного комитета командовал отрядом, штурмовавшим Зимний дворец и арестовавшим Временное правительство, был членом первого правительства Ленина и первым советским верховно-главнокомандующим Русской армией после переворота, а

сейчас я нарком юстиции СССР. Я абсолютно чист и честен перед партией. Так вот: несмотря на все это, я утром прихожу на работу, не будучи уверен, что следующую ночь я проведу в своей постели дома, а не в тюрьме. Теперь посудите сами, как же я могу вам помочь?

Предчувствие Крыленко скоро сбылось – Сталин его расстрелял в 1938 г.

В отборе своих сотрудников Сталин придерживался тоже какого-то закона контрастной симметричности, который практиковался на всех ступенях иерархии власти: рядом с открытым негодяем ставил негодяя скрытого, к слабовольному сотруднику приставлял головореза, к заведомому мракобесу приставлял мракобеса в «либеральной» маске. Все они – нравственные близнецы, но разнятся в отношении их личных интересов и качеств. Это считалось лучшей гарантией против их антисталинского сговора наверху и антигосударственного сепаратизма внизу. Всем этим требованиям отвечали два человека, которых Сталина бессменно держал во главе высшего партийного суда: Емельян Ярославский и Матвей Шкирятов. Центральная Контрольная комиссия партии была создана на X съезде партии (1921) по инициативе Ленина, как высший независимый партийный суд, в компетенцию которого входил также и контроль над работой аппарата ЦК, с тем чтобы его руководители не злоупотребляли своим положением и чтобы они, как и рядовые члены партии, соблюдали устав и программу партии. Поэтому ЦКК избиралась съездом партии и ЦК не подчинялась. Однако великий комбинатор генсек сумел превратить ЦКК в послушное орудие своего восхождения к личной власти в борьбе с различными внутрипартийными оппозициями. Для достижения этой цели он ставил во главе нее своих сторонников. На XVII съезде (1934) Сталин ликвидировал ЦКК, создав вместо нее подчиненную генсеку «Комиссию партконтроля при ЦК» во главе с Ежо-

вым и Партколлегию при ней во главе с Ярославским и Шкирятовым. Через это партийное судилище – «Партколлегию» – пропускались все, кто подозревался в малейшем инакомыслии, становясь после этого кандидатом в подвал НКВД. На этом суде роль «либерала» (каковым он не был) играл Ярославский, а роль инквизитора – каким он и оказался всеми своими фибрами – Шкирятов.

Мне стало известно, что ЦК решение обкома передал в Партколлегию КПК. Когда, получив вызов к Шкирятову, я поделился этой новостью с одним из близких мне партийных профессоров ИКП, то он дал характеристику, совершенно обескуражившую меня:

– Вы знаете, что наш партаппарат никогда не был беден подлецами, а вот Шкирятов среди них виртуоз.

Секретарь парткома ИКП Чугаев выразился иначе, но по существу подтвердил мнение нашего профессора:

– Шкирятов – справедливый и неподкупный судья партии, но из его кабинета редко кто из двурушников выходит с партбилетом...

Кто-то из присутствующих добавил:

– И редко кто не попадает в НКВД.

Так, морально подготовленный к худшему, поздней осенью 1935 г. я вступил в чистилище Шкирятова с чувством преследуемого средневекового еретика, которого мучит мысль, что его ждет на суде священной инквизиции: сожжение на костре или отпущение грехов.

Первое же знакомство со Шкирятовым оправдало плохое предчувствие. Когда после долгого ожидания меня, наконец, пустили в его кабинет, в котором находились, кроме него самого, еще два его сотрудника, на мое машинальное приветствие никто не отозвался. Я быстро сообразил, что судья с подсудимым не панибратствует. Вместо того, чтобы вытянуться в струнку и ждать, что будет дальше, я подошел к столу и доложил:

– Товарищ Шкирятов, я явился по вашему вызову.

Как бы опровергая мое предубеждение, он тоже машинально протянул мне руку и указал на стул. Прославленный своим хладнокровием и бездушием, временщик Сталина показался мне безжизненным, недоделанным черновиком человека, мысли которого, если они у него есть, витают где-то в другом месте, а здесь он лишь физически присутствует в силу служебного долга. Вероятно, это было внешнее отражение тяжелых душевных издержек его жестокой профессии, если, конечно, вообще можно говорить о душевных качествах таких типов. Справа от Шкирятова сидел мой будущий партследователь Оськин, а слева – человек, с которым я никогда больше не встречался, вероятно, из НКВД. Из лежащего перед ним моего дела Шкирятов взял первый лист и перешел к допросу, предупредив, что, согласно решению съезда партии, член партии за дачу ложных показаний подлежит немедленному исключению из партии.

Первый же вопрос Шкирятова оглушил меня словно ударом молота по голове:

– При участии каких лиц происходили на вашей квартире контрреволюционные, антисоветские сборища по подготовке всеобщего вооруженного восстания в Чечено-Ингушетии?

Помощники Шкирятова уставились в меня натренированным взглядом опытных сыщиков, изучая мою реакцию. Не знаю, что они прочли в моем лице и в моих глазах, может быть, мертвящую оцепенелость всех мускулов лица от ужаса самой постановки вопроса, как это со мною было во время допроса о «покушении» на Троцкого, – но взгляд их шефа выражал все, кроме умственного напряжения и каких-либо человеческих эмоций. Из оцепенения вывел меня Оськин:

– Почему вы не отвечаете на вопрос?

Я решительно не знал, как ответить на этот идиотский вопрос, но возмущал меня не столько сам по себе вопрос,

сколько его постановка, а постановка исходила из доказанности, что такие «сборища» у меня действительно происходили, а сейчас речь идет только об установлении личностей, участвовавших в них (только впоследствии я понял следственную тактику партийно-полицейских органов обвинить подследственного в максимально чудовищном преступлении, чтобы он легко брал на себя минимальные преступления, которых он, разумеется, тоже не совершал).

Придя в себя, я горячо начал доказывать, что ничего подобного в моей квартире никогда не происходило и не могло происходить, ибо я убежденный коммунист и сторонник советской власти. При этом мне даже в голову не приходило, что такое тяжкое обвинение против меня может выдвинуть наше областное партийное руководство, и тем интенсивнее роились в голове мрачные думы, что это наш областной НКВД создает второй «контрреволюционный националистический центр», в котором мне отведена какая-то важная роль. Последующие вопросы только укрепили меня в этом предположении, но они же приподняли завесу над тайной провокацией, значительно облегчив мне защиту:

– Кто из ваших родственников, друзей и близких знакомых репрессирован?

– Кто из них находится в исправительно-трудовом лагере на «Волга-Дон канале» под Москвой?

– Кто из них участвовал на конспиративных сборищах у вас на квартире?

– Следствием установлено, что вы через брата вашей жены инженера Курбанова, заключенного за контрреволюцию, передавали в лагерь фальшивые паспорта и ваш собственный партбилет. С какой целью вы это делали?

Допрос продолжался около часа в том же духе, и оба следователя записывали мои ответы, не задавая мне новых вопросов. Если в начале допроса я был крайне ошеломлен, то в

его конце я почувствовал определенное облегчение – мне показалось из этого допроса, что авторы сценария моего дела из чечено-ингушского обкома и местного НКВД не учли одной «мелочи», которая могла сорвать всю их провокацию: они, сами того не желая, дали мне в тайные «союзники» самое мощное учреждение, не подотчетное никаким Шкирятовым, а прямо подчиненное лично товарищу Сталину, – НКВД СССР. Только провинциальные невежды в собственной профессии не могли догадаться, что они, по существу, создавали дело не на меня, а на руководителей НКВД СССР, которые позволяют или допускают, чтобы политические заключенные с режимом строгой изоляции свободно шлялись по Москве, да еще устраивали подпольные контрреволюционные собрания в здании ИКП при ЦК партии! Но все-таки это было лишь мое смелое предположение и я никак не мог исключить и другой вариант – я могу стать жертвой постоянного междоусобия сотрудников и руководителей этого учреждения, тем более, что с самого его возникновения в нем царит закон хищников: они пожирают друг друга. Воробьи на всех кавказских заборах чирикали, что наш краевой чекист и любимчик Сталина Ефим Евдокимов метит на место Ягоды и поэтому устраивает всяческие подвохи против него – как на Кавказе, так и в Москве.

В дальнейшем мое следствие продолжал один Оськин. Оно постоянно крутилось вокруг одних и тех же, поставленных с самого начала, вопросов. Человек из породы узколобых фанатиков, Оськин был скрупулезный службист, который верил бумагам о человеке больше, чем самому человеку. Если я ссылался на какую-нибудь бумагу или книгу, то я обязан был все это представить ему на следующей встрече, что мне не всегда удавалось, – это его крайне огорчало и не шло мне на пользу. Постоянно преобладала в нем совершенно очевидная уверенность в моей виновности (принцип презумпции невиносности, пока не доказано обратное, был и остается

чуждым и партийному суду). Это мешало ему терпеливо выслушивать мои аргументы. Он никогда не грубил, но всем своим видом давал мне понять, что не верит ни одному моему слову. Я сначала хотел расположить его к себе большей откровенностью и «кооперативностью», но когда увидел, что он этим пользуется против меня же, то резко изменил свою тактику. Придравшись однажды к нему, что он не все записывает, что я ему говорю, я пригрозил ему жалобой... Шкирятову! Надо было видеть, как преобразился мой Оськин: человек, которого я считал почти истуканом, засуетился в явном трепете перед начальством... оно для него было, безусловно, дороже истины. С тех пор Оськин начал предлагать мне записывать ответы собственноручно, но любезнее от этого не стал, стал столько осторожнее.

По многим деталям задаваемых вопросов я начал делать предположения, кто же на меня донес (это, разумеется, Оськин тщательно скрывал). Скоро я заметил, что следователь мой был бы доволен, если бы я просто признал сам факт визитов ко мне заключенных из-под Москвы. Так, один из вопросов Оськина гласил:

– У нас есть свидетели, которые такого-то числа видели брата вашей жены инженера Курбанова на вашей квартире на Остоженке, 53. Подтверждаете вы это?

– Да, подтверждаю, – сказал я четко и решительно.

Впервые за все время следствия на черством и угрюмом лице Оськина я заметил улыбку, больше – он засиял, торжествуя первую победу. Я добавил, что не только подтверждаю этот факт, но даже могу назвать имя того свидетеля, донос которого лежит в его папке (я назвал имя человека, подосланного ко мне НКВД). Однако я быстро вернул Оськина в его всегдашнее мрачное состояние, когда сообщил ему то, что скрыл от него свидетель. Я рассказал ему, что у моей жены несколько братьев, из них два брата инженеры – Иса Курбанов, который сидит, и Осман Курбанов, который работает

инженером на московском заводе «Химэлемент». «Вот с этим Османом Курбановым мы часто бываем в гостях друг у друга. Его только и видел у меня на квартире ваш осведомитель. Вы можете просто поднять трубку телефона и спросить у этого Курбанова, кого он встретил в тот день у меня в квартире. Не сомневаюсь, что он назовет имя вашего осведомителя, с которым он так же хорошо знаком, как и со мною».

Оськин этого не сделал, он еще больше помрачнел, и это был хороший признак. Обвинение в контрреволюционных сборищах на моей квартире, центральной фигурой на которых считали заключенного Курбанова, поколебалось. Такой оборот дела совсем не улыбался обвинителям. Этим, вероятно, объяснялось, что к следствию привлекли новое лицо, куда выше рангом, чем Оськин: члена КПК при ЦК и генерального секретаря Союза писателей СССР Владимира Ставского. Я никогда так и не узнал, почему и в качестве кого выбор пал на него – как на шефа Оськина (но Оськин не находился в прямом его подчинении), как на генерального секретаря Союза писателей (я был членом Союза), или как на нештатного сотрудника НКВД, при помощи которого он сделал столь большую карьеру за короткое время. Но вызывал он меня на допрос не в КПК при ЦК и не в НКВД, а на улицу Воровского, в дом Герцена, в Союз писателей. Ставский долго работал на Северном Кавказе, и мы с ним были старые знакомые в связи с одним его приключением в Грозном, о котором он, может быть, давно забыл, а у меня оно осталось в памяти из-за его неожиданно большой карьеры. Разумеется, я не собирался напоминать ему об этом неприятном для него знакомстве, но на первом же допросе он буквально спровоцировал меня на это, заподозрив, что я пролез в ИКП обманным путем:

– Скажи, как же ты ухитрился попасть в ИКП? – задал он мне первый вопрос, презрительно выпучив на меня свои серые, полные ненависти глаза.

Я не сдержался и напомнил о нашем старом знакомстве:

– Товарищ Ставский, я в ИКП попал не так, как вы попали когда-то ко мне в Грозном в обком с просьбой, чтобы местная милиция уничтожила протокол о вашем дебоше накануне. В протоколе ведь говорилось, что в пьяном виде вы дрались и выкрикивали антисоветские лозунги.

Поразительно, какие мелкие души у великих карьеристов. «Освежая» в памяти Ставского это событие, я думал, что наживаю себе личного врага в самом ареопаге партии, а произошло совершенно невероятное: человек, который еще пять минут назад вел себя как самовластный хам, моментально преобразился в изысканного джентльмена, ну прямо английский лендлорд! Он, кажется, думал, что я о нем больше знаю, и что упомянутый протокол, может быть, находится в моем личном архиве (Ставский начал свою карьеру на Северном Кавказе, был репортером краевой газеты «Советский юг» (потом «Молот»), был на побегушках у сотрудников этой газеты Фадеева и Шолохова, в самой газете писал слабые очерки, а на ее главного редактора Цехера – пламенные доносы, за что и был выгнан из редакции).

Однако чем дальше продолжалось наше «собеседование», тем больше я убеждался, что даже в маске джентльмена хаму, попавшему из «грязи в князи», трудно побороть в себе свое истинное существо. Только теперь, когда началось «собеседование», я понял, что Ставский разговаривает со мною одновременно как от имени ЦК, так и по заданию НКВД. Заодно, вероятно, ему было поручено, как «эксперту» по кавказским народам, составить на меня нечто вроде «психограммы» – кто я, собственно, коммунист, националист, бандит?

Я сидел вплотную к его столу и, когда он начал листать страницы своей папки, заметил, что там лежит и мое заявление в ЦК против партийного и чекистского руководства в Чечено-Ингушетии. Это мне дало возможность сориентироваться, о чем пойдет речь. У меня было и другое преимущество: я, подследственный, знал больше о психологии моих

следователей, чем они могли знать о моей, что же касается истории и теории партии, я, вероятно, и в этом лучше ориентирован, чем Оськины и Ставские.

«Не поддаваться провокации и быть сталинистом больше, чем сам Сталин», – никакая другая линия защиты не могла бы иметь успеха против Ставских. Ее я и держался.

Недаром товарищ Сталин учил нас: бывают ситуации, когда лучше перегибать, чем недогибать, лучше переборщить, чем недоборщить!

Перейдя на вы и едва сдерживая желчь, Ставский начал:

– Вы показали на следствии, что не знали, что ваша жена систематически посещает своего брата в лагере и что она никогда об этом вам не говорила. Как же может чеченка нарушать чеченские законы и действовать без разрешения мужа?

– Товарищ Ставский, вы, вероятно, думаете о чеченках времен Шамиля и Лермонтова. Жена моя – человек грамотный. Да и законы у нас сегодня не чеченские, а советские...

Все «психологические» испытания Ставского были в этом духе. В остальном Ставский повторял те же самые вопросы, которые задавал мне Оськин, ничего не записывал, но в роли ученого «психолога» старался делать вид, что изучает меня. Когда я начал показывать, что его примитивные приемы не производят на меня впечатления, а наоборот, выдают его же невежество, в наигранном «джентльмене» проснулся старый хам. «Мозг выделяет мысли, как печень – желчь», – говорил один немецкий ученый. У Ставского в минуты раздражения и мозг и печень выделяли только желчь. И все-таки он старался не забываться: а что, если, рассердившись, я и всерьез подниму перед ЦК вопрос о его грозненских похождениях с антисоветскими выходками, – карьера ведь может и пострадать. Один из своих сборников Ставский назвал «Сильнее смерти» – это прямо-таки гениальное определении физиономии самого карьериста – феномена Ставского: его страсть к карье-

ре воистину была «сильнее смерти». Во имя карьеры он посадил всех своих коллег по газете «Молот» и краевой писательской организации; во имя карьеры он участвовал в штабе Кагановича в массовом истреблении кубанского казачества – в депортации казачьих станиц под видом разгрома «Кубанского казачьего саботажа» во время коллективизации; во имя карьеры он донес в ЦК, что «кубанским саботажем» руководил какой-то мифический центр из кубанских казаков, живущих в Москве, а Сталин недолго ломая голову себе и НКВД, кто они могли быть, предложил сослать всех кубанцев в Москве – до пяти тысяч человек! Вот за эти выдающиеся «творческие» успехи Ставский был назначен членом КПК при ЦК и генеральным секретарем Союза писателей СССР. И только здесь развернулись подлинные таланты литературного чекиста Ставского. Я читал, как много писали, в том числе и московские писатели, что аресты, расстрелы и гибель в лагерях виднейших русских писателей лежат на совести Фадеева. Какое заблуждение! Ставский был сделан генеральным секретарем Союза писателей СССР как раз накануне ежовщины, чтобы руководить чисткой среди писателей (1936–1941). Когда Сталин вызвал генерального секретаря ЦК комсомола Косарева и предложил ему представить в ЦК партии список членов его ЦК, являющихся «врагами народа», а Косарев ответил, что в комсомольском активе нет «врагов народа», то Сталин его и весь состав его ЦК расстрелял; но когда Сталин то же самое потребовал от Ставского, то в подвалах НКВД оказалось до 700 советских писателей, то есть половина тогдашней писательской организации. Ставский получил за это чин депутата Верховного Совета СССР и свой первый орден Ленина. С тех пор началась его бешеная погоня за орденами. Да, карьеристский зуд Ставского был «сильнее смерти». У нас, на Кавказе, люди, непосредственно видевшие начало его построенной на подлостях карьеры,

ничуть не удивились, узнав, что Ставский поехал на фронт, чтобы заработать новый орден: «на чистке Ставский поменял совесть на первый орден, в финской войне Ставский поменял ногу на второй орден, в Отечественной войне, надеемся, он поменяет голову на третий орден», – язвили кавказцы. Пророчество сбылось – далеко за линией фронта на Ставского, добровольца-писаку в штабах армий, налетел блуждающий осколок снаряда из дальнобойного орудия. На этот раз Ставский получил свой орден посмертно (1943 г.).

Следствие мое продолжалось почти год. Легко себе представить, как губительно это влияло на мои занятия в ИКП. Голова была набита допросами и для профессоров там места совсем не оставалось. Нервы были на пределе. Временами нападала такая хандра, что возникала мысль, а не пустить ли себе пулю в лоб, оставив записку: «В моей смерти виноваты такие-то подлецы». Поскольку к этому времени я уже окончательно убедился, что первый подлец сам товарищ Сталин, то не было смысла даже в этом акте протеста (немного позже, в разгар московских политических процессов, некоторые старые большевики в знак протеста кончали жизнь самоубийством, но Сталин выдумал для них изуверскую формулу – кончили, мол, самоубийством из-за «нечистой совести» или «запутавшись в антисоветских связях»!).

Иной спросит: чего же вы так цепко хватались за партбилет, бросили бы его к ногам ваших партийных следователей и вышли бы из партии? Но дело в том, что партии уже фактически не было, была банда во главе с обербандитом Сталиным. Какая же уважающая себя банда позволит вам дезертировать из ее рядов в преддверии запланированной ею гигантской операции – «Великой чистки»? После убийства Кирова из партии был только один добровольный выход – в концлагерь, если вам повезло; если же вы швыряли партбилет, – вы отправлялись на тот свет. Таких героев тогда

не было. Не был им и я. Мы все походили на кроликов, загипнотизированных удавом. Тут же замечу: в те годы наивысшей опасности, когда я твердо знал, что не миновать мне чекистских подвалов, а может, и пули, мне дважды представилась возможность перейти границу в Турцию и Персию, но я сказал себе: лучше умру дома, в подвалах НКВД, чем скитаться бездомным на чужбине. Надо было, чтобы меня дважды загоняли в эти подвалы, подвергая адским испытаниям, чтобы накануне третьего ареста я все-таки ушел на Запад.

После долгого и мучительного ожидания я наконец получил вызов на партийный суд. Вместе со мною вызвали и секретаря парткома ИКП Д. Чугаева. Заседание партколлегии КПК открылось в малом зале заседаний КПК при ЦК. За столом президиума узнаю Ежова (он тогда был одновременно председателем КПК при ЦК и секретарем ЦК по НКВД); Ярославского, его заместителя и председателя партколлегии; Шкирятова, секретаря партколлегии; члена КПК при ЦК Поспелова. От Чечено-Ингушского обкома партии присутствуют второй секретарь обкома чеченец Х. Вахаев и председатель чечено-ингушского «автономного» правительства ингуш Горчханов, которого я почти не знал. В зале присутствуют еще несколько человек, вероятно, члены коллегии, но я их в лицо не знаю. Председательствует Емельян Ярославский, старый заслуженный большевик, соратник Ленина, но теперь, увы, холуй Сталина. Сидим за длинным столом, расположенным перпендикулярно к столу президиума. Ярославский предоставляет слово Оськину для доклада по моему делу. Оськин сначала формулирует главные пункты обвинения Чечено-Ингушского обкома против меня:

– Первый пункт обвинения: Авторханов связался с заключенными за контрреволюцию в исправительно-трудовом лагере «Волга-Дон канала» под Москвой с целью организа-

ции в Чечено-Ингушетии антисоветского вооруженного восстания...

Тут же его Ярославский прерывает:

– А это подтвердилось?

Секунда, которая прошла между этим вопросом Ярославского и ответом Оськина, показалась мне кошмарной вечностью. И когда последовал ответ, я чуть было не потерял самообладание от его абсолютной неожиданности:

– Нет, не подтвердилось!

Ради этого мига, подумалось мне, стоило все-таки дать терзать свою душу целый год. И вновь проснулась старая иллюзия: может быть, партия все-таки существует, и Сталину никак не удается ее убить? Даже больше: может быть, сам Сталин не так уж Сталин?

Обвинение по второму пункту, а именно – я развернул антипартийную деятельность против чечено-ингушского руководства – Оськин нашел доказанным. Чечено-ингушские «вожди», крайне озабоченные, как бы провал клеветы по первому пункту не имел для них неприятных последствий, ухватились за этот спасательный круг и начали требовать моего исключения из партии как «антипартийного уклониста». Сказки о «великих» успехах «ленинско-сталинской национальной политики» в Чечено-Ингушетии сопровождались грозными обвинениями против «идеологов националистической контрреволюции типа Авторханова». В связи с этим наши местные «вожди» вспомнили и о моей статье в «Правде» и о статьях против меня. Словом, если Авторханов еще не успел связаться с заключенными контрреволюционерами, то он это сделает в будущем, ибо такова «логика классовой борьбы». Окрыленный победой по первому пункту, я не щадил моих земляков по данному обвинению. Не их выступления, пустые и бездоказательные, а моя собственная, не в меру темпераментная речь против руководителей обкома весьма

повредила мне. Ярославский часто напоминал, что я здесь не обвинитель, а обвиняемый, и моя задача только отвечать на обвинения. Для меня было бы лучше, если бы я просто и коротко сказал: «Товарищи члены парткоооллегии, обвинения по второму пункту такая же ложь, как и обвинения по первому», – и сел бы, а я вместо этого пустился в кавказские дебри, в которых московский партийный суд мало что смыслил. Ярославский подвел итоги разбора моего дела. Хорошо запомнил из его выступления две мысли: Чечено-Ингушский обком неправ, когда он требует от т. Авторханова: «не думай о Чечено-Ингушетии!» Если вы накажете человека за то, что он думал о белом медведе и поставите его в угол, сказав «не думай о белом медведе», то он все время только и будет думать о «белом медведе». Авторханов чеченец и не может не думать о Чечне. Что же касается требования обкома об исключении его из партии, то и это требование несправедливо. Он еще молодой, а московская большевистская организация, членом которой он является, организация сильная, испытанная, она исправит его ошибки и его перевоспитает. После выступления Ярославского, во время голосования, мне предложили выйти.

Через несколько минут меня снова позвали в зал. Ярославский огласил решение парткоооллегии КПК при ЦК: «За антипартийные разговоры в отношении руководящих работников Чечено-Ингушского обкома партии объявить т. Авторханову строгий выговор». Д. Чугаев рассказал мне, что когда парткоооллегия не согласилась исключить меня из партии, то чечено-ингушские руководители просили исключить меня хотя бы из ИКП. Ярославский на это ответил: «Это не входит в компетенцию КПК, по этому вопросу вам надо обратиться непосредственно в ЦК». ЦК, однако, отказал им в этом требовании.

12. Как я воспринял убийство Кирова и московские процессы

Чем больше коммунист, опасаясь злодейства со стороны Сталина, возносил его, тем меньше Сталин ему верил. Киров впал в скрытую немилость у Сталина после XVI съезда (1930 г.). Это был период так называемого «развернутого наступления социализма по всему фронту», период искусственного голода на Украине и рабочих волнений в стране из-за нехватки продовольствия, в то время, когда экспорт украинской пшеницы за границу шел полным ходом, а склады военного ведомства были полны продуктами питания. Эти продукты считались принадлежащими к «мобфонду» и поэтому назывались «неприкосновенными фондами». Без личного разрешения Сталина их никто не смел трогать. Миллионы украинцев умирали с голоду, но начальство не смело ни протестовать против экспорта, ни трогать «мобфонда»; когда же в Ленинграде рабочие начали протестовать против нищенского снабжения, то Киров дал указание передать продукты из военных складов в ленинградские ЗРК (закрытые рабочие кооперативы). На Курсах марксизма при ЦК нам стало известно, что на заседании Политбюро Сталин, Ворошилов и Микоян устроили форменный разнос Кирову, который, якобы желая завоевать дешевую «популярность», ставит под удар внешнюю безопасность советского государства. Стал также известен и ответ Кирова: у государства накопилось достаточно запасов продуктов и для снабжения народа и для военных складов. Поэтому он потребовал вообще отменить карточную систему. Это требование Кирова стало широко известно в партийном активе Москвы и Ленинграда. Идейный ленинец, Киров все-таки был наивным сталинцем. Он думал реабилитировать себя перед Сталиным

неумеренными дифирамбами, а Сталин, надо полагать, про себя думал: «Какой же ты двурушник!»

В этой связи стоит упомянуть два выступления Кирова. Первое выступление состоялось сразу же после столкновения на Политбюро – в декабре 1933 г. на ленинградской партийной конференции, перед XVII съездом партии. Киров заявил: «Трудно представить себе фигуру гиганта, каким является Сталин... С того времени, когда мы работаем без Ленина, мы не знаем ни одного поворота в нашей работе, ни одного сколько-нибудь крупного начинания, лозунга, направления в нашей политике, автором которого был бы не товарищ Сталин. Вся основная работа – это должна знать партия – проходит по указанию, по инициативе и под руководством товарища Сталина. Самые большие вопросы международной политики решаются по его указанию, и не только эти большие вопросы, но и, казалось бы, третьестепенные и даже десятистепенные вопросы интересуют его...» (С. Киров. Избранные статьи и речи. 1939, сс. 609–610). Другое выступление Кирова состоялось через полтора месяца на XVII съезде, который был съездом политических похорон и толчком физических похорон самого Кирова. Нарушив ленинскую традицию съездов партии, согласно которой отчету ЦК давались оценки: «одобрить», «одобрить в общем и целом», «одобрить целиком и полностью», – Киров, назвав отчет Сталина «эпохальным документом», предложил на этом съезде не принимать особой резолюции по отчетному докладу, а объявить весь доклад Сталина постановлением съезда партии. Съезд так и постановил: «Предложить всем парторганизациям руководствоваться в своей работе положениями и задачами, выдвинутыми в докладе т. Сталина» (КПСС в резолюциях..., ч. II, с. 744). Это означало: отныне не Политбюро, не ЦК, даже не съезд партии представляют собой закон, а каждое слово Сталина – закон и для этих органов партии, и

для государства в целом. Вот все это ярче и настойчивее всех соратников Сталина формулировал Киров. Это была легализация от имени съезда партии единоличной диктатуры одного Сталина вместо коллективной диктатуры ЦК. Скажите, кому же придет в голову мысль, что этого самого Кирова Сталин решил убить, чтобы: во-первых, убрать кандидата партии на пост генсека, во-вторых, иметь повод для политической и физической ликвидации самой партии? Алиби себе Сталин создавал фактом абсолютной невероятности, чтобы столь ему преданный соратник мог быть им убит, а насчет повода для инквизиции Сталин верно рассчитал, что это будет повод такой взрывчатой силы, который вызовет во всей партии всеобщее возмущение и повсеместное требование мести: «распни, распни убийц», – а убийцами Сталин объявит зиновьевцев, троцкистов, бухаринцев, актив партии, армии, милиции, «блоки партийных и беспартийных», словом всех, кроме подлинного убийцы Кирова – самого себя и своей узкой клики. После докладов Хрущева на XX и XXII съездах партии это доказано точно и бесспорно.

Здесь надо кратко сказать о загадочном докладе Сталина на XVII съезде (январь-февраль 1934 г.), который вызвал самые противоречивые толкования у нас на Курсах марксизма во время очередного семинара Булатова. Если делегат съезда и «диалектик» Булатов сам запутался в интерпретации доклада Сталина, то можно себе представить, как беспомощны были мы, слушатели Курсов. (Все свои доклады, речи, статьи писал лично сам Сталин, ибо только он знал, что надо и чего не надо говорить. Знал он и другое – что надо и чего не надо договаривать.) Трудность состояла в том, что в докладе Сталина по самому основному вопросу – о перспективах борьбы за «социализм» – не было человеческой логики, но зато была логика «диалектическая». Поэтому у слушателя создавалось впечатление: Сталин начал за здравие, а кончил за упокой. В

самом деле, послушайте два взаимоисключающих тезиса Сталина. Первый: «Если на XV съезде партии приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на XVI съезде добивать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде – доказывать нечего, да, пожалуй, и бить некого... Надо признать, что партия сплочена теперь воедино как никогда» (Вопросы ленинизма, с. 465). А вот и второй тезис: «Значит ли это, что у нас все обстоит в партии благополучно?.. Нет, не значит... Левые открыто присоединились к правым, к контрреволюционной программе правых для того, чтобы составить с ними блок и повести совместную борьбу против партии» (там же, сс. 466–467).

Еще года не пройдет, как Сталин, убив Кирова, приступит к оформлению этих «контрреволюционных» лево-правых и право-левых мифических блоков, да еще заработает на этом славу «гениального провидца», который еще в 1934 году, в присутствии Бухарина, Рыкова и Томского, как членов ЦК, и Зиновьева, Каменева, Радека, как гостей съезда, предвидел, что они составят антисоветские блоки против партии. «Недоговоренность» же Сталина свелась к тому, что он не сказал, что все эти «блоки» «убьют» Кирова, зато сказал, что к бою с ними надо приступить сейчас же «путем усиления органов диктатуры пролетариата, путем развертывания классовой борьбы... в боях с врагами как внутренними, так и внешними» (там же, с. 467).

Для того чтобы приступить к расправе со всеми «врагами народа» и их «контрреволюционными» «блоками», Сталин предложил – и незадачливый съезд принял – ряд организационных решений, которые бьют в одну точку: в унификацию и единовластие. Важнейшими и роковыми для судьбы самой партии оказались два решения съезда: 1) Ликвидировать ЦКК (Ленин говорил, что благодаря ЦКК в «нашем ЦК

уменьшится влияние чисто личных и случайных обстоятельств»). Правда, ЦКК, как указывалось, с самого начала оказалась послушным орудием в руках Сталина в борьбе за власть против его соперников, однако в острых ситуациях Сталин любил действовать наверняка и с абсолютной гарантией, а «двоевластие» на вершине партии такой гарантии не давало. Поэтому было важно ликвидировать ЦКК; 2) Другое решение было равнозначно самоубийству партии – съезд отказался, по предложению Сталина, от своей важнейшей привилегии: самому принимать решения о периодических чистках в партии. Съезд указал, что чистки партии в дальнейшем будут проводиться не по решению съезда, а по решению ЦК, то есть аппарата Сталина.

Однако вернемся к Кирову.

Я никогда не видел и не слышал Кирова. Но я много слышал и читал его и о нем. Мы, кавказцы, о нем знали больше, чем в России, ибо предвоенные и предреволюционные годы он провел на Кавказе, редактируя газету «Терек» во Владикавказе, а в 1917–1918 годы принимал участие в установлении советской власти в горских областях Северного Кавказа. (Это участие после смерти Кирова пропаганда начала непомерно возносить, против чего выступил заместитель председателя крайисполкома, старый осетинский революционер Мамсуров на одном из собраний в Ростове: «Товарищи, не перебарщивайте, ведь Киров во Владикавказе был у меня мальчишкой на побегушках». Мамсурова расстреляли.) Видную роль Киров начал играть с 1919 г., когда он был назначен политкомиссаром XI армии в Астрахани. В статье памяти Кирова в «Правде» Н. Гикало рассказывал, как его штаб «снарядил из самых храбрых чеченцев отряд с заданием прорваться через фронт белых, вручить лично Кирову в XI армии в Астрахани письмо и ждать от него распоряжений... Они привезли и деньги и распоряжения...» («Правда», 7.12.1934).

Эхо потрясающих событий врезается в память человека так же надолго, как долго хранит его память и детали собственной реакции на них. Вечером 1 декабря 1934 г., направляясь к друзьям на Курсы марксизма, случайно встречаю на Садово-Кудринской улице знакомую землячку, студентку Академии имени Крупской – Мариам Чентиеву.

– Ты слышал по радио ужасную новость? – спрашивает она, и, заметив мое полное недоумение, тут же сообщает: – Какой-то негодяй убил Кирова...

Эта весть словно бомба взорвалась в моих ушах. Я знаю, что смерть Сталина не была бы для меня такой неожиданной в свете настроений в партии и стране, а вот смерть Кирова потрясла не только своей неожиданностью, но каким-то необъяснимым внутренним предчувствием ее чудовищных последствий. Конечно, я не мог думать, что эта смерть потянет за собою миллионы других смертей, а меня самого бросит в чекистскую преисподнюю, где человек ничего так не жаждет, как именно скорой смерти. Я немедленно вернулся в ИКП, чтобы послушать радио или узнать в партийном комитете подробности убийства.

Официальная версия ЦК, опубликованная в «Правде» от 2 декабря 1934 г., гласила: «1 декабря в 16 часов 30 минут в здании Ленинградского Совета (бывш. Смольный) от руки убийцы, *подосланного врагами рабочего класса*, погиб секретарь ЦК и Ленинградского обкома, член Президиума ЦИК СССР т. С. М. Киров. Стрелявший задержан. Личность его выясняется». Далее указывалось, что светлый пример Кирова «будет вдохновлять миллионы... *за окончательное искоренение всех врагов рабочего класса*». Никто из нас не задавал себе вопроса, как это Сталин узнал, еще не выяснив личность убийцы, что его подослали «враги рабочего класса», и почему он тут же, не выяснив мотивов преступления и даже не начав следствия, предлагает «окончательное искоренение всех врагов рабочего

класса»? Наконец, при всех этих невыясненных обстоятельствах, почему Сталин заставил Президиум ЦИК СССР издать того же первого декабря 1934 г. следующий декрет:

«Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик за террористические дела:

1. Следствие закончить в десять дней.

2. Обвинительное заключение вручить за сутки.

3. Дело слушать без участия сторон.

4. Кассационные жалобы и ходатайства о помиловании не допускать.

5. Приговоры к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговоров».

Председатель Президиума ЦИК СССР М. Калинин Секретарь А. Енукидзе»

(«Правда», 2.XII. 1934)

Под влиянием ужасного шока эти вопросы не приходили в голову даже врагам Сталина. Сталин, вероятно, на это и рассчитывал и поэтому действовал решительно и безоглядно. Только на XX съезде от Хрущева мы узнали, что Сталин тогда действовал в обход Политбюро, даже приведенный текст декрета Сталин диктовал А. Енукидзе по телефону из Ленинграда, не обсудив его на заседании Политбюро.

На экстренном партийном собрании ИКП 2 декабря представитель ЦК сообщил, что нашей партийной организации выпала большая честь – мы будем во внутреннем кольце охраны членов Политбюро во время сопровождения гроба с телом Кирова от Октябрьского вокзала до Колонного зала дома Союзов. Специалист по вопросам госбезопасности из Московского областного управления НКВД дал нам и соответствующий инструктаж. Охранение будет состоять из трех кругов: в первом кругу, в непосредственном соприкосновении

с членами Политбюро, будут находиться их лейб-охранники, за ними, в пяти-шести шагах, во втором кругу, будем находиться мы вместе с такими же, как и мы, подобранными гражданскими лицами, затем пойдет третий круг из войск НКВД. Второй круг внешне должен производить впечатление траурной гражданской процессии, но никто из нас ни на секунду не должен забывать, что мы не траурные гости, а охранники! Чтобы бросить гранату или выстрелить из пистолета в людей, сопровождающих прах Кирова, покушающийся должен проникнуть в кольцо охранения, а если он действует холодным оружием, – то должен прорвать все три круга; за проникновение через ваш круг постороннего человека каждый из вас отвечает головой, – вот приблизительно к чему сводился инструктаж чекиста (потом я думал, что «гражданские лица», составлявшие вместе с нами «второй круг», были те же переодетые чекисты, охранявшие нас, «охранников»).

4 декабря 1934 г. прах Кирова прибыл на Октябрьский вокзал. Все вожди, один за другим, начали прибывать сюда в закрытых машинах. Наверно, уже было около десяти часов, когда вожди вынесли на руках гроб из вокзала. Вокзальная площадь была полна народа, печального и задумчивого. День выпал такой же пасмурный, как и наше настроение. Траурная процессия под звуки похоронного марша медленно двинулась в центр Москвы, к дому Союзов. Все улицы были запружены огромной толпой, гнетущей своей неподвижностью и грозной своей молчаливостью. На глазах у многих мужчин я видел слезы, старые женщины тихо плакали. Даже дети были послушны и молчаливы. В этом народном трауре было что-то глубокое и символическое. Это была не печаль по человеку, которого они никогда и не видели, это было не сочувствие партии, которая потеряла своего «любимца», это было *предчувствие* того, что мы шагаем из одной эпохи в

другую, из эпохи много обещавшей революции в эпоху перманентной инквизиции. Что эту эпоху Сталин открыл выстрелом в своего преданного соратника и фанатика революции – Кирова – об этом никто не мог и подумать. Помню, как я наблюдал за Сталиным, находясь, может быть, в каких-нибудь десяти шагах от него. Последний раз я его видел так близко шесть лет тому назад в ИКП. Мне показалось, что он теперь немного постарел, цвет лица стал желтоватым. Но поразило меня другое: неподдельная печаль, глубокое горе на лице, и я видел несколько раз, как Сталин платком проводил по глазам. Сталин – плачет, значит Сталин не бог. Если хотите, это меня даже очень разочаровало. Но я тут же вспомнил трогательную надпись на титульном листе его книги «Об основах ленинизма»: «Сергею Мироновичу Кирову – брату и другу моему. И. Сталин». Гибель брата и друга в одном лице – это тяжкий двойной удар прощал Сталину его слезы. Я был так глубоко потрясен всем этим, что, помню, написал об этом письмо в Грозный своему двоюродному брату писателю Шамсудину Айсханову (я упоминал уже, что он был избран на первом съезде Союза советских писателей членом Ревизионной комиссии СП СССР; чекисты его расстреляли в 1937 г. в возрасте 29 лет). Наверно, это мое личное впечатление тоже сыграло свою роль, когда я в своей первой книге на Западе («Staline au Pouvoir», Paris, 1951, «Reign of Stalin», London, 1953) уверенно доказывал, что Сталин не убил Кирова.

В ИКП и на Курсах марксизма, кроме официальной информации, циркулировали как точные сведения о самом Николаеве, так и слухи о его мотивах убийства Кирова. От ленинградцев, старых коммунистов, мы знали, что Леонид Васильевич Николаев, 1904 г. рождения, член партии с 1920 г., никогда не участвовал в оппозиции Зиновьева или в каких-либо других оппозициях. Он был и почти единственным

членом Ленинградского губкома комсомола, который голосовал за ЦК против «новой оппозиции» Зиновьева. Поэтому он и сделал партийную карьеру – его избрали членом Ленинградской Губернской Контрольной Комиссии. Тогда ЦКК и РКИ составляли, единое целое, как объединенный партийно-государственный контроль (чтобы скрыть этот факт в биографии Николаева, в печати говорилось, что Николаев работал в «секторе цен РКИ»). По тем же неофициальным данным, жена Николаева, очень красивая женщина, работала в Секретариате Кирова. В 1933 г. в партии происходила мобилизация руководящих работников на чрезвычайную партийно-полицейскую акцию: на работу во вновь созданных политотделах колхозов и совхозов. Начальников этих политотделов назначал непосредственно ЦК, ему же они и подчинялись. Это были чрезвычайные комиссары с неограниченными полномочиями в районах своего действия, не подчинявшиеся даже местным органам партии. Вот в числе этих «лучших сынов партии», как тогда их называли, оказался и Николаев. Он был назначен начальником политотдела лесного совхоза в один из северных районов Ленинградской области. Теперь мы вступаем в область внутрипартийных версий, одна из которых связывала выстрел Николаева с ревностью. Я эту версию опубликовал в своей названной выше первой книге. Я намеренно не называл источника своей информации, чтобы никому не повредить. Теперь можно назвать и этот источник – им была учившаяся с нами Жданова, муж которой был назначен преемником Кирова. Приведу эту версию, как она была опубликована:

«Хотя и обидно было менять Смольный на таежную глушь, Николаев беспрекословно подчинился «воле партии» и принял назначение. Только Николаев попросил Кирова освободить его жену от работы, чтобы он мог забрать ее с собою к месту нового назначения. Киров не проявил готовности

отпустить ее, сама жена не выказала особого желания следовать за мужем. Но по законам партии, членом которой Николаев был, партийные жены прежде всего принадлежат партии, а потом их партийным мужьям. Николаев, как «лучший сын партии», подчинился и в этом случае «воле партии» и уехал на Север без жены. Это было в 1933 году.

Николаев целый год находился на Севере. Он очень часто рвался в столицу, чтобы посетить жену, сделать визит друзьям, разузнать столичные новости, но начальники политотделов не имели права приезжать в Ленинград без специального разрешения или вызова Кирова. А Киров не только не вызывал Николаева, но и не разрешал ему кратковременного отпуска. Приходилось подчиняться, довольствуясь перепиской с друзьями и женой. Но в письмах, полных любви, жена жаловалась мужу на скуку и одиночество. Просила его приезжать.

Наконец, в Николаеве человеческое взяло верх над партийным: он едет без ведома Кирова к любимой жене. Он прибывает глубокой ночью... тихо, чтобы сделать жене приятный сюрприз, пользуясь своими запасными ключами, входит в собственную квартиру. Сюрприз исключительный: Николаев застает в постели своей жены Кирова» (А. Авторханов. Покорение партии. – «Посев», № 42 (229) 1950).

Но Контрольная комиссия вместо того, чтобы предупредить Кирова, чтобы он не бегал за чужими женами (а Киров пользовался тайной славой партийного Дон Жуана), вынесла решение, по форме вполне законное, но по существу издевательское – она постановила в начале 1934 г. исключить из партии Николаева «за нарушение партийной дисциплины», так как он самовольно, без разрешения Ленинградского обкома, приехал в Ленинград (этот факт «нарушения партдисциплины» был указан в «Правде» от 22 декабря 1934 г., но без объяснения). Получив двойной удар – измену жены с Киро-

вым и исключение из партии по требованию того же Кирова – Николаев поклялся Кирову отомстить. Сталин, узнав об этом, решил воспользоваться случаем: организовать убийство негласного «кронпринца» руками Николаева и выдать это убийство за контрреволюционный заговор бывших лидеров зиновьевской оппозиции. Что зиновьевцы убили Кирова, Сталин «знал» уже в день убийства – это подтверждает тот бесспорный факт, о котором рассказал Зиновьев на своем процессе: бывший предшественник Кирова на посту секретаря Ленинградского губкома Евдокимов и он, Зиновьев, послали в «Правду» некрологи, но «Правда» отказалась их печатать («Правда», 15.8.1936). Еще не было суда над Николаевым и его «соучастниками» (всего было арестовано 14 чел.), а в «Правде» уже печатаются разоблачительные статьи против Зиновьева и Каменева. В Москве и Ленинграде заседают партийные активы с требованиями беспощадной расправы с ними. Московский актив по докладу Кагановича выносит резолюцию: «Гнусные, коварные агенты классового врага, подлые подонки бывшей зиновьевской антипартийной группы, вырвали из наших рядов т. Кирова» («Правда», 17.12.1934). По этому образцу развертывается кампания по всей стране. 21 декабря «Правда» печатает очередную погромную статью, специально посвященную биографиям Зиновьева и Каменева: «Подлые изменники и дезертиры Октябрьской революции». После этой статьи Ленин выглядит идиотом, который считал их своими самыми близкими соратниками и после революции Каменева сделал сначала председателем ВЦИК, а потом своим первым заместителем по правительству, а Зиновьева поставил во главе Коминтерна. 22 декабря в «Правде» сообщается, что Киров был убит группой террористов, которой руководил «Ленинградский центр» зиновьевцев во главе с Николаевым, Котолыновым, Мясниковым и др.

27 декабря «Правда» публикует «Обвинительное заключение» по делу этого мнимого «Ленинградского центра». Обвиняемые якобы признались, что они хотели заменить Сталина, Молотова, Кагановича, Кирова Зиновьевым и Каменевым. Само по себе такое желание, если оно действительно высказывалось, нельзя признать контрреволюционным, ибо всю свою сознательную политическую жизнь Зиновьев и Каменев были убежденными большевиками. Более того, вместе с Лениным они были и основоположниками большевизма. Поэтому обвиняемым приписывается не просто желание заменить одно большевистское руководство другим, а создание для этой цели контрреволюционной террористической организации.

Признали ли они себя виновными на предварительном следствии? На этот вопрос «Обвинительное заключение» намеренно не дает ясного ответа. Там сказано, что Николаев признал себя виновным (видимо, в убийстве Кирова), Котолынов признал лишь частично (видимо, что когда-то был в оппозиции Зиновьева), но не признал себя виновным в участии в убийстве Кирова. Другие – одни в чем-то признавались, другие ни в чем не признавались. 28–29 декабря 1934 г. это дело слушалось на Военной коллегии Верховного суда СССР. Суд был закрытый, без присутствия сторон. На суде Николаев будто бы сказал, что он в Ленинграде посетил неназванное консульство и получил от консула 5 тысяч рублей на свою организацию! *На суде ни один из четырнадцати подсудимых, в том числе и Николаев, не признали себя виновными в принадлежности к контрреволюционной террористической организации.* Тем не менее, или именно поэтому, все они были расстреляны сейчас же по окончании суда. Теперь ясно, почему Сталину нужен был декрет президиума ЦИК СССР: не принимать кассационные жалобы подсудимых, а приговоры о расстрелах немедленно приводить в исполнение. Сталину

нужны были мертвые свидетели против Зиновьева и Каменева, как ему нужны будут мертвые Зиновьев и Каменев как свидетели против Бухарина и Рыкова.

Смерть Кирова была решена на XVII съезде. Съезд этот был назван «съездом победителей», но триумфатором на нем был Киров. Киров был единственным из лидеров партии, который прошел во все высшие органы партии единогласно: в Секретариат, Оргбюро, Политбюро. За кулисами делегаты уже поговаривали о необходимости сместить Сталина с должности генсека на другую должность, а генсеком избрать Кирова. Это не досужие фантазии «врагов народа», а свидетельство самой «Правды» устами делегата XVII съезда Л. С. Шаумяна, сына «кавказского Ленина» – Степана Шаумяна. Когда я работал в обкоме, Л. Шаумян был заместителем главного редактора краевой газеты «Молот» и часто приезжал к нам в Грозный. Это был фанатик революции и из глубокого уважения к памяти отца, расстрелянного англичанами, в 1918 г., он отказался от предложения Сталина усыновить его, тогда ему было всего 14 лет, а через год вступил в партию. Из-за этого, несмотря на его заслуги в революции (он сидел вместе с отцом), Сталин не дал ему возможности делать карьеру. Так вот этот самый Шаумян в день двадцатилетия этого съезда писал: «К этому времени уже начал складываться культ личности Сталина... Сталин попирал принципы коллегиального руководства, злоупотреблял своим положением. Ненормальная обстановка, складывающаяся в связи с культом личности, вызывала тревогу у многих коммунистов. У некоторых делегатов съезда, как выяснилось позже, прежде всего у тех, *кто хорошо помнил Ленинское «Завещание» назрела мысль о том, что пришло время переместить Сталина с поста генерального секретаря на другую работу. Это не могло не дойти до Сталина. Он знал, что для дальнейшего укрепления своего положения, для сосредоточения в своих руках*

большей единоличной власти, решающей помехой будут старые ленинские кадры» («Правда», 7 февраля 1964 г.).

Кто же были эти «старые ленинские кадры», которые мешали Сталину в осуществлении его плана единоличной диктатуры? Это был, собственно, весь цвет партии, который Сталин уничтожил только за то, что они хотели передать пост генсека Кирову. Ссылкой на этого «любимца всей партии» Шаумян и подтверждает, что старые большевики хотели видеть на посту генсека именно Кирова. Но Киров был настолько загипнотизирован Сталиным, что и слышать не хотел об этом. С другой стороны, Киров, зная характер Сталина, чувствовал, что, выдвигая его кандидатуру в «генсеки», старые большевики повесили над его головой дамоклов меч, который может в любое время сорваться, если на то будет воля Сталина.

Покушение Николаева на Кирова было подготовлено с гарантией на успех. Им непосредственно руководили три человека – из Москвы Сталин и Ягода, а в Ленинграде специально назначенный сюда для этого (вопреки протестам Кирова и Медведя) заместитель начальника Ленинградского управления, бывший левый эсер и чекист с 1920 г. – Иван Запорожец. Николаев, вероятно, имел свои счеты с Кировым (либо на почве ревности, либо за исключение из партии, а ведь восстановил его в партии сам ЦК!), но совершенно исключалось наличие у него политических мотивов. Мстительный и эмоционально лабильный Николаев оказался слепым орудием в руках Сталина, Ягоды, Запорожца. После рассказов Хрущева на XX и XXII съездах об обстоятельствах убийства Кирова и уничтожении Сталиным всех свидетелей-исполнителей этого убийства совершенно бесспорно, что убийцами Кирова руководил сам Сталин через Ягоду. На процессе Бухарина и Рыкова Ягода признался, что он организовал убийство Кирова, а прокурор Вышинский сказал на

этом же процессе: «Ягода – не простой убийца. Это – убийца с гарантией на неразоблачение» (А. Я. Вышинский. Судебные речи. Москва, 1948, с. 523). Лицемер Вышинский точно знал, что гарантом «на неразоблачение» был сам Сталин.

Надо подчеркнуть, что все признания Ягоды как в убийстве Кирова, так и Горького были объективно доказуемыми в отличие от показаний других обвиняемых на тогдашних политических процессах. Он говорил сущую правду, но не договорил ее – убил он Кирова по поручению Сталина.

Заслуга Ягоды перед Сталиным была не только в блестящей организации убийств Кирова и Горького, но и не менее блестящей организации процесса Зиновьева-Каменева. Кстати, об аресте Зиновьева и Каменева я слышал в середине декабря 1934 г. от жены Ягоды, Авербах, – она тоже училась в ИКП на Остоженке; пользуясь богатым архивом мужа и его НКВД, писала докторскую диссертацию о строительстве ГУЛагом «канала Москва–Волга» (Солженицын цитирует эту работу, но ошибается, думая, что ее автор – мужчина). Рассказ Авербах-Ягоды о сцене, разыгравшейся при аресте Зиновьева, крайне возмутил не только меня, но и всех присутствующих, хотя, конечно, все молчали:

– Вы знаете, когда его брали, он бросился к телефону звонить т. Ягоде, – ему этого не разрешили, а он, негодяй, начал кричать на наших чекистов: «Вы оберфашисты, вы палачи революции...», за что его избили как сукина сына и увезли связанным по ногам и рукам...

Зиновьева, первого ученика Ленина, избивать как собаку и бросить в советскую тюрьму, что это такое и как это возможно? Тогда только я себе сказал: нет в мире преступления, на которое Сталин не был бы способен. Отныне я не верил ни одному его слову, как не верил и ни одному слову «чистосердечных признаний» его несчастных жертв.

Из этого видно, что я все еще противопоставлял Сталина Ленину, в чем глубоко ошибался. Ошибался я и в том, что

считал Зиновьева и Каменева невинными жертвами Сталина, тогда как они были жертвами собственной системы, в создании которой они играли более решающую роль, чем Сталин. Спасая Сталина от «Завещания» Ленина, они использовали его как уголовное орудие борьбы с Троцким за ленинское наследство, но если потом уголовное орудие обрушилось на их же головы, то это уже по логике борьбы, известной еще с библейских времен – «кто посеет ветер, пожнет бурю»!

Однако важнейшее, историческое преступление Зиновьева и Каменева в другом. Чтобы спасти собственные головы, они одолжили свои уста Сталину для организации беспримерной в истории инквизиции. Сценарий ее написал Сталин, но Зиновьев и Каменев так прекрасно сыграли свои роли перед удивленным взором всего мира, что люди, не знающие Сталина и его партийно-полицейского аппарата, должны были поверить Зиновьеву и Каменеву в их лжи и фантазии. Их былые сторонники на процессе Николаева сказали Сталину «нет» и честно умерли, а учителя, еще вчера «вожди мировой революции», сказали Сталину «да» и умерли позорной смертью жалких трусов, потащив за собою миллионы людей. Сталин мог их расстрелять без всякого суда и в любое время (он это им прямо сказал, когда уговаривал их перед узким кругом Политбюро дать добровольно нужные ему показания), но Сталину нужно было расстрелять сотни тысяч и посадить в концлагерь миллионы. Вот чтобы это оправдать, Зиновьев и Каменев должны были одолжить Сталину свои уста.

Разумеется, такой уникальный преступник, как Сталин, мог обойтись и без формальных «доказательств», без «искренних показаний» подсудимых. Но в природе преступника – заранее планировать и свое «алиби». И в этом Сталин превосходил всех преступников в истории. Ведь факт, что в эпоху Сталина никого из политических деятелей не расстре-

ливали без наличия в его следственном деле личного «признания». Он мог на суде от него отказаться, но расстреливали его именно за это признание. Если Сталину было безразлично, что думал собственный народ и что скажут будущие историки, то ему было важно оправдать свои действия перед «прогрессивным человечеством». Это «прогрессивное человечество», начисто отрицающее как произвол Сталина, так и наличие в стране концлагерей с миллионами заключенных, нужно было Сталину для его планов будущей мировой экспансии.

Свою службу Сталину Зиновьев и Каменев сослужили в два приема: на малом процессе в январе 1935 г. и на большом процессе в августе 1936 г. На последний процесс наш ИКП имел несколько пропусков, один из которых достался мне как старшекурснику и редактору институтской газеты. О своем личном впечатлении я расскажу позже, а пока продолжу рассказ, основываясь на официальных документах. Первый процесс стал как бы репетицией будущего большого процесса. На нем перед Военной коллегией Верховного суда СССР предстали 15 человек во главе с Зиновьевым и Каменевым. Их обвиняли, что они в Москве создали «Московский центр» для подготовки убийства Кирова. Однако доказательств этого, хотя бы вымышленных, на суде не фигурировало. Подсудимый Г. Ф. Федоров, старый член ЦК, рабочий, говорил, что «Московский центр» существовал и руководил оппозиционной работой в Москве, Ленинграде и других городах, но и он не говорил о терроре и контрреволюции. На суд притащили, как свидетелей, старых зиновьевцев Бакаева и Сафарова.

Бакаев: «У нас не было никакой другой положительной программы против ЦК, мы скатились в контрреволюционное белогвардейское болото».

Сафаров: «Мы отравляли колодцы...»

Это признание звучало как анекдот, поэтому ни судья, ни прокурор не стали даже допрашивать по этому поводу.

Зиновьев: «Объективный ход событий таков, что с поникшей головой я должен сказать: антипартийная борьба, принявшая в прежние годы в Ленинграде особенно острые формы, не могла не содействовать вырождению этих негодяев. Это гнусное убийство бросило такой зловещий свет на всю предыдущую антипартийную борьбу, что я признаю: партия совершенно права в том, что она говорит по вопросу политической ответственности бывшей антипартийной «зиновьевской» группы за совершившееся убийство»...

Приписав вместе со Сталиным убийство Кирова своим бывшим сторонникам в Ленинграде и взяв на себя политическую ответственность за него, Зиновьев *добровольно*, без физического принуждения со стороны НКВД, вручил Сталину тот магический ключ, при помощи которого Сталин откроет серию новых процессов против всех деятелей бывших оппозиций с тем, чтобы, накалив общую атмосферу в стране, открыть ворота в ад инквизиции – ежовщины-бериевщины. На этом процессе оба достигли своих ближайших целей: Зиновьеву важно было сохранить жизнь, что ему и удалось, получив лишь 10 лет (в приговоре говорилось, что следствием не установлено, что «Московский центр» дал указание убить Кирова, но центр создавал атмосферу для этого убийства). Сталину важно было, чтобы Зиновьев признал, что Кирова убили его бывшие сторонники, за что он добровольно берет на себя политическую ответственность. Остальное доделывают чекисты. Так оно и случилось.

Но второму процессу предшествовал большой торг между Сталиным, с одной стороны, между Зиновьевым и Каменевым, с другой. Этому торгу предшествовало следующее официальное сообщение Прокуратуры СССР: «НКВД СССР в 1936 г. был вскрыт ряд террористических троцкистско-зиновьевских групп, подготовлявших по прямому указанию находящегося за границей Л. Троцкого и под непосредствен-

ным руководством объединенного центра троцкистско-зиновьевского блока ряд террористических актов против руководящих деятелей ВКП(б) и советского государства. Следствием установлено, что троцкистско-зиновьевский блок организовался в 1932 г. по указанию Л. Троцкого и Зиновьева в следующем составе: Зиновьева, Каменева, Евдокимова, Бакаева, Смирнова (И. Н.), Мрачковского, Тер-Ваганяна и др. и что совершенное 1 декабря 1934 г. убийство Кирова было подготовлено и осуществлено по указанию Троцкого и Зиновьева и этого центра» («Правда», 15 августа 1936 г.). Сталин предложил через секретаря ЦК по НКВД Ежова и шефа НКВД Ягоду Зиновьеву и Каменеву следующий план открытого процесса: Зиновьев и Каменев, взяв на себя вину, в первую очередь и главным образом разоблачают предательскую антисоветскую деятельность Троцкого за рубежом и внутри СССР.

Если они примут данный план, Политбюро им устроит открытый процесс и гарантирует им жизнь, если они его отвергнут, то суд будет закрытый и, независимо от их показаний, все они будут расстреляны, а их семьи репрессированы. Но это было не все. Сталину было важно подготовить вслед за зиновьевским процессом процесс бухаринский. Поэтому Зиновьев и Каменев должны были сказать на своем открытом процессе, что они имели контакт с правой группой Бухарина, Рыкова и Томского. В кругах партийного актива этот план не был каким-либо «государственным секретом». О нем рассказывала и жена Ягоды (Авербах), правда, выдавая его за план самого Зиновьева. Об этом плане писалось в тогдашнем «самиздате» об «Очной ставке» между Зиновьевым и Каменевым, с одной стороны, и Бухариным и Рыковым, с другой, в присутствии членов Политбюро. Зиновьев и Каменев условием принятия плана Сталина поставили: 1) свидание с Политбюро для подтверждения условий Ежова и Ягоды; 2) гарантия Сталина, что они не будут расстреляны после суда.

Оба условия Сталин принял, но вместо Политбюро предложил свидание Зиновьева и Каменева с «Комиссией Политбюро» в составе своих ближайших подручных – Молотова, Кагановича, Андреева, Ворошилова, – чтобы не допустить присутствия Косиора, Орджоникидзе, Чубаря, Рудзутака, Постышева, Эйхе, то есть тех, кто заведомо был против создания фальсифицированного дела. Свидание оправдало ожидание Сталина: Зиновьев и Каменев согласились сыграть назначенную им роль. В связи сданной книгой я еще раз пересматривал старые номера «Правды», чтобы восстановить в памяти всю эту трагикомедию. Приведу здесь некоторые места из «Обвинительного заключения», чтобы показать, как скрупулезно обвиняемые выполняли свои обещания:

Зиновьев: «Троцкистско-зиновьевский центр ставил своей главной задачей убить Сталина и Кирова».

Каменев: «Успехи партии вызывали в нас новый прилив ненависти к Сталину».

Мрачковский: «Ввиду успехов партии, нет другого выхода, как террором убрать Сталина. После убийства Кирова Троцкий лично на себя взял подготовку убийства Сталина, Ворошилова и Кагановича. Троцкий перебросил из Берлина Ольберга и других с заданием убить Сталина, Ворошилова и Кагановича».

Каменев: «Смирнов, Мрачковский, Тер-Ваганян имели прямые директивы организовать убийства Сталина и Кирова. Зиновьев сообщил, что он дал директиву Бакаеву убить Кирова, – я к этому присоединился. Объединенный центр еще готовил акты против Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича, Косиора, Орджоникидзе, Постышева» («Правда», 20 августа 1936 г.).

Последние три имени были названы в надежде завербовать их на сторону Сталина в его заговоре против партии и страны.

Если память мне не изменяет, процесс происходил в просторном зале Дома Союзов. Не только в зале, но и вокруг здания и на прилегающих улицах были поставлены вооруженные посты, кроме того, много гражданских лиц вели внешнее наблюдение (накануне кто-то – может быть, сам НКВД, – пустил слух, что якобы подпольная организация троцкистской молодежи решила сорвать процесс). По дороге к залу суда минимум три раза проверяли пропуск, сличая его с вашими документами. Выйдя в зал, вы могли занять только то место, номер которого указан в пропуске. Первые два ряда были целиком отведены чекистам, среди которых я узнал Ягоду, Ежова и Курского. Говорили, что члены Политбюро во главе со Сталиным следили за процессом и слушали подсудимых, сидя за кулисами. Вероятно, это просто слух, так как на балконах я никаких кулис не видел, а сидя за задними кулисами сцены, находившимися далеко от скамьи подсудимых, едва ли что-нибудь можно было видеть и слышать. Мы уже довольно долго сидели в зале, когда часам так к десяти через черный ход гуськом, с понуренными головами в сопровождении солдат с ружьями, направленными на них, вошла в зал процессия бывших вождей партии и правительства, ведомых на суд Сталина, дважды спасенного ими от верной политической смерти – первый раз от Ленина, второй раз от Троцкого. Редкое историческое зрелище приводит в движение даже такую избранную «массу трудящихся» – везде в зале шушукаются, толкают друг друга в бока, догадливые дамы из партийных вельмож, явившиеся сюда с театральными биноклями, не отрывают их от глаз. Подсудимые шепчутся редко (может, это запрещено?), пристально изучают лица в зале, но среди этих лиц они, конечно, не увидят никого из своих родственников или жен – все они также арестованы, несмотря на обещание Сталина не репрессировать их, если подследственные дадут нужные показания (жена Зиновьева – Лилина

была сразу арестована, а жена Каменева – сестра Троцкого – попозже, она жила в паршивой гостинице с громким названием «Международная гостиница» на Тверской, где я ее видел еще в конце 1935 или в начале 1936 г.). Наконец, на сцену вышел комендант и громко крикнул в зал: «Суд идет, прошу встать!»

Явился председатель Военной коллегии Верховного суда СССР Ульрих в сопровождении двух членов суда. Имя этого самого знаменитого судьи сталинской эпохи, по части бездушия и лицемерия с которым в советских судебных комедиях мог соревноваться только один Вышинский, не значится в новой Советской энциклопедии. Настолько оно одиозно, что Кремль решил объявить его не существовавшим. Интеллектуально Ульрих был, конечно, тупой подлец. Поэтому ему было предложено, открыв судебное заседание, ведение самого допроса поручить подлецу интеллектуальному – прокурору Вышинскому. Так и случилось. Ульрих открыл судебное заседание, секретарь зачитал «обвинительное заключение», после этого Ульрих спросил каждого подсудимого, признает ли тот себя виновным. На этом первом открытом судебном заседании 19 августа все 16 подсудимых признали себя виновными во всех приписываемых им преступлениях. Потом Вышинский начал допрос. Тогда только выяснилось, что данный процесс лишь прелюдия к трагедии. Они дали показания, чтобы Сталин мог организовать еще пять новых процессов: Зиновьев и Каменев заявили, что существуют нераскрытые 1) «Параллельный троцкистский центр» во главе с Радеком и Пятаковым; 2) «Военный антисоветский заговор» (это значит «Заговор Тухачевского» и др., но названо пока было только имя военного атташе в Лондоне полковника Путна); 3) бухаринский центр во главе с Бухариным, Рыковым и Томским; 4) контрреволюционная группа Ломинадзе – Шацкина – Стэна; 5) контрреволюционная группа Медведева-Шляпникова.

На все вопросы прокурора СССР Вышинского Зиновьев и Каменев отвечают с непринужденной видимостью кающихся преступников:

«***Вышинский:*** Когда организовался «Объединенный центр»?

Зиновьев: Летом 1932 г.

Вышинский: В течение какого времени вы действовали?

Зиновьев: Фактически до 1936 г.

Вышинский: В чем выражались его действия?

Зиновьев: Главное в его деятельности заключалось в подготовке террористических актов.

Вышинский: Против кого?

Зиновьев: Против руководителей.

Вышинский: То есть против Сталина, Ворошилова и Кагановича? Это ваш центр организовал убийство Кирова? Было ли организовано убийство Кирова вашим центром или какой-нибудь другой организацией?

Зиновьев: Да, нашим центром.

Вышинский: Значит, вы все организовали убийство Кирова?

Зиновьев: Да.

Вышинский: Значит, вы все убили т. Кирова?

Зиновьев: Да.

Вышинский: Садитесь...

Вышинский: Вы дали поручение по подготовке убийства Кирова?

Каменев: Да, осенью... Ставка наша на раскол в руководстве оказалась битой, мы рассчитывали на Бухарина, Рыкова, Томского... Летом 1932 г. я лично переговорил с группой Ломинадзе–Шацкина. В этой группе были готовы к активным решительным действиям, а также в группе Медведева-Шляпнива... Сафонова (жена Смирнова) рассказала нам, что Мрачковский, однажды вернувшись с беседы со Сталиным, сказал, что надо убить Сталина. Мы все согласились (эта

Сафонова выступала свидетелем против своего мужа, потом, по странному стечению обстоятельств, она выступала «научным экспертом» и на моем суде, о чем расскажу потом. – А. А.).

Вышинский: Как оценить ваши статьи и заявления, которые вы писали в 1933 г. и в которых вы выражали преданность партии? Обман?

Каменев: Нет, хуже обмана.

Вышинский: Вероломство?

Каменев: Хуже.

Вышинский: Хуже обмана, хуже вероломства, найдите это слово. Измена?

Каменев: Вы его нашли.

Вышинский: Подсудимый Зиновьев, вы это подтверждаете?

Зиновьев: Да.

Вышинский: Измена, вероломство, двурушничество?

Зиновьев: Да.

Каменев: Я могу признать только одно: поставив перед собою чудовищно-преступную цель дезорганизовать правительство социалистической страны, мы употребляли методы борьбы, которые так же низки и подлы, как и сама цель» («Правда», 20 августа 1936 г.).

Из 16 подсудимых в лицо я знал четырех – Зиновьева, Каменева, Евдокимова и Тер-Ваганяна. Первые два не производили впечатления людей, которых подвергали на следствии физическим пыткам (само собою понятно, что психическим пыткам они подвергались беспрерывно – угрозы расстрелять и т. д.). Некоторые подсудимые явно не оправились еще от шока пыток: они были более рассеяны, пугливо озирались по сторонам и порою отвечали невпопад, ставя не столько себя, сколько Вышинского в смешное положение. Зато Зиновьев и Каменев отвечали суверенно и всегда в тон прокурору. Но я заметил у них элементы той тактики, которую более успеш-

но применял потом Бухарин на своем процессе: признавать себя виновным в контрреволюции, не делая контрреволюцию, признавать себя шпионом, не занимаясь шпионажем, как было, видно, договорено со Сталиным, всю вину за конкретную контрреволюцию, шпионаж и террор возложить на Троцкого. Когда прокурор в упор ставил неприятный вопрос и увильнуть от прямого ответа никак было нельзя, – тогда Каменев, иногда и Зиновьев, просили Вышинского сформулировать ответ, которого он ждет. Вышинский в таких случаях шел навстречу и формулировал «искренние признания» подсудимых в вопросительной форме. Зиновьеву или Каменеву надо было только отвечать:

– Да, это было так.

– Да, мы контрреволюционеры.

– Да, мы убийцы.

– Да, мы надеялись на группу Бухарина.

Этот метод ведения допроса вытекает даже из того подцензурного судебного протокола, который я цитировал выше из «Правды». Я думаю, что здесь существовала договоренность между подсудимыми и Вышинским о «разделении труда»: Зиновьев и Каменев не обязаны говорить конкретно о своих преступлениях (которых они, разумеется, не совершали), но они обязуются отвечать положительно на формулировку этих «преступлений» прокурором.

Особенно запомнилась неудавшаяся часть «кооперации» подсудимых с прокурором: Вышинский несколько раз требовал ответить одним словом «да» на такой вопрос: «Ваш объединенный троцкистско-зиновьевский контрреволюционный центр установил контакт с центром Бухарина, Рыкова, Томского, Угланова?» Да или нет? Ни Зиновьев, ни Каменев не сказали ни да, ни нет. Тогда Вышинский процитировал их утвердительные показания на предварительном следствии и потребовал от них подтверждения их на данном судебном

следствии. В конце концов сошлись на ответе, который дал Каменев: «Мы рассчитывали на Бухарина, Рыкова, Томского», – но другие оппозиционные группы Каменев называл без нажима прокурора.

Какое же впечатление этот процесс в целом производил на присутствующих? Я думаю, что интеллигентные люди знали, что все это спектакль, иностранцы верили (присутствовал дипломатический корпус и представители иностранной прессы), а для простого народа это была слишком высокая материя.

Окончив допрос подсудимых, Вышинский сообщил, что по показаниям Зиновьева, Каменева и Рейнгольда открыто следствие против Бухарина, Рыкова, Томского, Угланова, Радека, Пятакова, Серебрякова, Сокольникова и еще против Путна (для подготовки «военного процесса»). («Правда», 22 августа 1936 г.)

23 августа 1936 г. «Правда» публикует следующее сообщение:

«ЦК ВКП(б) сообщает, что кандидат в члены ЦК М. П. Томский, запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами, 22 августа покончил жизнь самоубийством».

Не имея другой возможности доказать свою невиновность, старый революционер и соратник Ленина Томский кончает жизнь самоубийством, а Сталин продолжает издеваться даже над мертвым: он, мол, «запутался» в своих связях с контрреволюцией.

22 августа подсудимые произнесли свои последние слова, после того как Вышинский в заключении обвинительной речи повторил лозунг, висевший в зале на стене, от имени «трудящихся Москвы»: «Бешеным собакам – собачья смерть!»

Все с напряжением ждали, что же скажут сами «собаки» на это. Вот выдержки из последних слов Каменева и Зиновьева:

Каменев: «Дважды мне была сохранена жизнь, но всему есть предел. Есть предел и великодушию партии, и этот предел мы исчерпали. Я спрашиваю себя, случайно ли то, что рядом с нами сидят эмиссары иностранных охранок... связанные с Гестапо? Нет, не случайно... Мы служили фашизму».

Зиновьев: «Мой дефективный большевизм превратился в антибольшевизм, и я через Троцкого пришел к фашизму. Троцкизм – это разновидность фашизма, а зиновьевщина – разновидность троцкизма... Мы стали заместителями меньшевиков, эсеров, белогвардейцев» («Правда», 23 августа 1936 г.).

Суд Сталина над этими самыми близкими соратниками Ленина, которые вместе с ним заложили основы большевизма, собственно, был судом над историческим большевизмом. Сталин заставил их публично отречься от этого большевизма, объявить себя фашистами, принять на себя чудовищные уголовные преступления, которых они не совершали, оклеветать не только самих себя, но и всех других лидеров большевизма, всех руководителей и героев Октября и гражданской войны, кроме представителя уголовного крыла большевизма – самого Сталина. Я абсолютно не сомневаюсь, что, сиди здесь вместе с Зиновьевым и Каменевым на скамье подсудимых сам Ленин, Сталин и его сумел бы заставить признаться, что он никогда не был большевиком, а всегда был фашистом.

Тому, кто захочет возразить мне, я должен задать лишь один вопрос: если Сталин сумел заставить буквально всех лидеров большевизма до единого и без исключения на всех московских процессах признать себя фашистами, шпионами, вредителями, убийцами, почему же тогда он не сумел бы заставить признаться во всем этом и самого Ленина (заметим в скобках, что Ленин не был наделен природной физической храбростью, он писал в «Детской болезни...», что для сохранения жизни надо уметь пойти на «компромиссы» и

«лавирование», например, бандит угрожает вам убийством, если вы ему не отдадите свою машину, лучше заключить с ним «компромисс» – цена «компромисса»: он сохраняет вам жизнь, а вы за это отдаете ему машину; кстати, такой случай с Лениным и его сопровождавшими был в Москве, в 1918 г.). Исторической заслугой Сталина я считаю то, что он не только перед собственной страной, но и перед всем миром разбил исторический миф о «героическом большевизме» и о его «героических вождях».

Бесконечные легенды об идейных героях царского подполья, трех революций, гражданской войны лопнули, как мыльные пузыри. «Марксистские идеи – сильнее смерти», – этот тезис присутствовал до сих пор во всех пропагандных писаниях большевизма. Московские процессы доказали обратное: животный страх смерти оказался сильнее всех хваленых идей и идейных позиций большевизма. Большевики считали якобинцев своими духовными предшественниками в революционном творчестве, но вспомните свидетельства современников: Дантон, Сен-Жюст, Робеспьер шагали под топор гильотины с гордо поднятыми головами и громкими выкриками «за свободу, равенство и братство!» Вспомните из истории, как мужественно шагали к виселице русские народовольцы. Кто не знает таких мучеников средневековой инквизиции, как Ян Гус и Джироламо Савонарола, которые предпочли быть заживо сожженными, чем изменить своим убеждениям.

Конечно, не каждому дано быть героем, но если уж ты сам полез в герои, так твой нравственный долг, чтобы из тебя не сделали негодяя. Лидеры революционной партии, попав в беду, оплевывают собственные убеждения, клевещут на своих соратников, пресмыкаются перед своими палачами, лишь бы спасти собственную голову, – такие люди никогда не были революционерами, а были авантюристами. Поэтому они и

умирали как презренные трусы. Так умерли и Зиновьев с Каменевым.

Под руководством Ежова, назначенного вместо Ягоды шефом НКВД в сентябре 1936 г., чекистская машина заработала над организацией новых процессов: 1) процесс Пятакова–Радека и др. (январь 1937 г.); 2) военный процесс Тухачевского–Якира и др. (июнь 1937 г.); 3) процесс Бухарина–Рыкова и др. (март 1938 г.). Из них процесс Пятакова–Радека нужен был Сталину для осуществления двух целей: одна явная цель – подготовить будущий процесс против Бухарина; другая, глубоко скрытая цель – подготовить физическую ликвидацию Серго Орджоникидзе, категорически возражавшего как против бухаринского процесса, так и против истребления хозяйственных кадров, которых он хорошо знал как честных, ни в чем не повинных работников (в Наркомате тяжелой промышленности СССР не арестованным остался лишь один человек – сам Орджоникидзе).

20 января 1937 г. «Правда» опубликовала сообщение «Прокуратуры СССР», что закончено следствие по делу «Троцкистского параллельного центра» в составе 17 человек – Пятакова, Радека, Сокольникова, Серебрякова и др. Кроме Радека, друга Бухарина, все другие главные обвиняемые были хозяйственники – близкие сотрудники Орджоникидзе.

24 января «Правда» сообщила, что расстрелянные в 1936 г. Зиновьев и Каменев показали, что Л. Троцкий создал «параллельный запасной центр» на тот случай, если провалится «Объединенный троцкистско-зиновьевский центр» и что туда входили Пятаков, Радек, Сокольников и др. обвиняемые. Из «Обвинительного заключения» приводились выдержки:

Радек: «Троцкий требовал, чтобы мы были готовы допустить реставрацию капитализма, этого требуют японцы и немцы... допустить сдачу ряда предприятий в иностранные концессии, уступить часть территории СССР, во время войны

развернуть диверсии на заводах, связаться с немецким Генштабом. Обо всем этом Троцкий договорился с Гессом (заместителем Гитлера). Придется уступить Японии Приморье и Приамурье, а Германии – Украину. Мы должны допустить Германию к эксплуатации наших природных богатств, Японии уступить Сахалин... Мы не должны мешать Германии захватить придунайские страны и Балканы, а Японии – Китай».

Легко заметить, что примитивная ложь о Троцком соседствует здесь с будущей правдой о Сталине – это не Троцкий связывался с «заместителем фюрера», а Сталин с самим фюрером; это не Троцкий предоставил в распоряжение Гитлера придунайские страны, Балканы плюс Польшу, а сам Сталин («пакт Риббентроп–Молотов», 23 августа 1939 г.); это не Троцкий снабжал Гитлера и его генштаб стратегическим сырьем для ведения войны против Запада и подготовки войны против СССР, а Сталин (торговый «пакт Шнурре–Микоян», 19 августа 1939 г.).

23 января 1937 г. начался и сам процесс. Все подсудимые признали себя виновными по всем пунктам обвинения – измена родине, террор, диверсия, организация (ст. 58, 1а, 8, 9, 11).

Пятаков: «В 1931 г. в Берлине сын Троцкого Лев Седов сказал, что Троцкий имеет точные сведения, что правые, Бухарин, Рыков, Томский, оружия не сложили, временно затихли. С ними надо установить связь».

Это Сталин подготовляет процесс против Бухарина-Рыкова.

Родек: «Вместо советской власти поставить бонапартистскую власть». Это Сталин подготовляет процесс против Тухачевского-Якира.

Из всего хода процесса Пятакова–Радека видно, что Сталин возлагал особые надежды именно на Карла Радека, во-первых, из-за его мировой известности, благодаря которой его показания будут широко цитироваться в мировой печати,

во-вторых, из-за его авантюристической натуры, способной выполнить любые задания, если речь идет о спасении собственной головы. К этому надо еще добавить, что Радек совсем не нуждался в инструкциях Сталина, башибузука Ежова или фарисея Вышинского, чтобы продемонстрировать перед судом и внешним миром шедевры самой необузданной криминальной фантазии.

Редек: Троцкий дал через Пятакова директиву «реставрации капитализма в условиях 1935 г. (после выдуманной НКВД поездки Пятакова в 1935 г. в Осло к Троцкому. – А. А.)... Просто – «за здорово живешь», для прекрасных глаз Троцкого – страна должна возвращаться к капитализму. Когда я это читал, я ощущал это как дом сумасшедших. И, наконец, немаловажный факт: раньше стоял вопрос так, что мы деремся за власть, потому, что мы убеждены, что можем что-то обеспечить стране. Теперь мы должны драться за то, чтобы здесь господствовал иностранный капитал, который нас приберет к рукам раньше, чем даст нам власть. Что означала директива о согласии вредительства с иностранными кругами? Это значит, в нашу организацию вклинивается иностранная резидентура иностранных держав, организация становится прямо экспозитурой иностранных разведок».

«***Вышинский:*** Что вы решили?

Радек: Первый ход – это было идти в ЦК партии, сделать заявление, назвать всех лиц. Я на это не пошел».

После заявления о своем таком благородстве Радек решил даже сострить:

«***Родек:*** Не я пошел в ГПУ, а за мной пришло ГПУ.

Вышинский: Ответ красноречивый.

Радек: Ответ грустный».

(«Правда», 24 января 1937 г.)

Выполняя главное задание Сталина – оклеветать Бухарина, – Радек превратил свое последнее слово в одноактную мелодраму самого дешевого пошиба на провинциальной сцене, в которой трагическое было карикатурно, а сентиментальное – подло:

«Я признаю еще одну свою вину: признав свою вину и раскрыв свою организацию, я упорно отказывался давать показания о Бухарине. Я знал: положение Бухарина такое же безнадежное, как и мое, потому что вина у нас, если не юридическая, то по существу, была та же самая. Мы с ним близкие друзья, а интеллектуальная дружба сильнее, чем все другие дружбы. Я знал, что Бухарин находится в том же потрясении, что и я. Я был убежден, что он даст честные показания Советской власти. Поэтому я не хотел приводить его связанным в НКВД... Это объясняет, почему только к концу, когда я увидел, что суд на носу, я понял, что не могу явиться на суд, скрыв существование другой террористической организации» («Правда», 29 января 1937 г.).

Суд приговорил 15 человек к расстрелу, в том числе двух заместителей Орджоникидзе – соратников Ленина Пятакова и Серебрякова. Приговор немедленно привели в исполнение. Этот суд тоже был открытым, присутствовали дипломаты и иностранные журналисты. На нем был и Лион Фейхтвангер, нашпигованный накануне Сталиным, в течение трехчасовой аудиенции, высокими «идеалами» своей инквизиции, о чем Фейхтвангер написал свою холуйскую книгу «Москва 1937». Радек выиграл жизнь – ему дали десять лет (столько же дали и Сокольникову). Обоих Сталин оставил в живых, чтобы их использовать как свидетелей на очных ставках против бухаринцев. Однако Сталин верен железной логике преступника – радикально ликвидировать следы собственных преступлений. Значит, убирать из жизни сопреступников. Так случилось и с теми, которых он пощадил на процессах: с Ра-

деком, Сокольниковым и Раковским. Вот что рассказывает о них советский самиздатский историк:

«Екатерина II оставила жизнь Радищеву. Николай I помиловал многих декабристов. Кремлевский сиделец ни одним актом милосердия своей репутации не запятнал. Что до Раковского, Сокольнива и Радека, то их потом одного за другим прикончили в запроволочных зонах подосланные и оплаченные Лубянкой уголовники. Эта операция, проведенная под специальным кодовым шифром и отраженная в денежной ведомости финансового управления НКВД, снимает с товарища Сталина недостойное его подозрение в гуманности... Карла Радека убили ударом кирпича по голове» (А. Алтонов-Овсеенко, там же, сс. 171–172).

Теперь, после процесса Пятакова и расстрела близких сотрудников и друзей, репутация Орджоникидзе, члена Политбюро и наркома тяжелой промышленности, была, по мнению Сталина, настолько подмочена, что он больше не посмеет возражать против дальнейших судебных процессов. Но произошло нечто другое: в политинформации в ИКП по поводу дела Бухарина и Рыкова мы узнали, что «у Орджоникидзе происходит опасное колебание от генеральной линии».

Орджоникидзе состоял в партии со дня ее создания – с 1903 г. Активный участник революционного движения, ученик партийной школы Ленина в Лонжюмо под Парижем, Орджоникидзе по поручению Ленина поехал в Россию, организовал Российскую организационную комиссию (РОК) по созыву знаменитой Пражской конференции большевиков 1912 г. На этой конференции был избран ЦК из семи человек (Ленин, Зиновьев, Орджоникидзе, Спандарян, Голощекин, Шварцман и Малиновский, последний оказался провокатором). Сталин писал в своем «Кратком курсе», что он тоже был избран членом ЦК на этой конференции. Но это была ложь. Его Ленин кооптировал в состав ЦК после

конференции за заслуги Коба-Сталина в «эксах» (грабежах) в Закавказье, чтобы добывать финансы в кассу партии. На пленуме этого ЦК было создано Русское бюро ЦК во главе с Орджоникидзе (после смерти Орджоникидзе Сталин присвоил себе этот пост). Сталин и Орджоникидзе были грузины: Сталин был сыном опустившегося сапожника, а Орджоникидзе был сыном дворянина. Сталин всегда рисковал чужими головами, Орджоникидзе рисковал в первую очередь своей головой. Сталин брал препятствия на путях своей уголовной карьеры гениальной хитростью и бездонным коварством, а Орджоникидзе везде и во всем шел напролом с объявленной целью и с открытым забралом. Орджоникидзе шел со Сталиным в самые решающие для Сталина годы – в 1922–1930, став во главе ЦКК, он помог Сталину ликвидировать все оппозиции. Но вот когда Сталин убил самого близкого друга и единомышленника Орджоникидзе, Кирова, и тем самым открыл далеко еще не все свои козырные карты, то Орджоникидзе сказал: нет, хватит, нам дальше не по пути.

По образованию Серго был фельдшером, но по профессии революционером. Он никогда не работал в индустрии, но, уже будучи председателем ЦКК–РКИ и одновременно заместителем председателя Совнаркома СССР и СТО, он так основательно изучил механизм советской экономической системы, что Политбюро ЦК поручило ему в 1930 г. руководить Высшим Советом народного хозяйства СССР в качестве его председателя. Одновременно он был избран и членом Политбюро. Две первые пятилетки были выполнены под его руководством. Во время первой пятилетки (1929–1932) были введены в строй 1500 новых промышленных предприятий, в том числе такие гиганты, как Днепрогэс, Урало-Кузнецкий комбинат, Кузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, первый подшипниковый завод в Москве... Во второй

пятилетке (1933–1937) произошел еще более высокий разворот индустриальной революции: было введено в действие 4500 крупных промышленных предприятий, в том числе такие крупнейшие, как Уральские и Краматорские заводы тяжелого машиностроения, Уральский вагоностроительный и Челябинский тракторный заводы, Криворожский, Новолипецкий, Новотульский металлургические заводы, а также заводы «Азовсталь» и «Запорожсталь». Вся эта великая индустриальная революция в СССР происходила под непосредственным руководством Орджоникидзе и трех его заместителей – Пятакова, Серебрякова и Серебровского, – объявленных теперь «вредителями». Более того, СССР своим спасением во второй мировой войне тоже обязан Орджоникидзе – это он создал высокоразвитую военную индустрию СССР, выдержавшую схватку с немецкой военной индустрией. Конечно, Орджоникидзе индустриализировал страну методами «военно-феодальных грабежей» крестьянства и через принудительный труд миллионов и миллионов, но это разоблачает преступную систему, а не умаляет ее успехов.

И вот сегодня Сталин сажает на скамью подсудимых в Москве весь генеральный штаб советской индустриальной революции, а на местах арестовывают поголовно всех ее ведущих командиров – управляющих, директоров, главных инженеров, обвиняя всех в одном и том же... Обвинения не были случайными. Сталин приступил к физической ликвидации всех бывших оппозиционеров, а они все оказались на службе у Орджоникидзе. У Орджоникидзе была одна человеческая слабость, которая должна была рано или поздно столкнуть его со Сталиным: он был начисто лишен сталинского дара злопамятности и мести. Поэтому оппозиционеров, которые покаялись в своих «грехах» и вернулись обратно в партию, он устраивал – в зависимости от их организаторских талантов – на руководящие хозяйственные должности.

Они не были специалистами, но были выдающимися организаторами, как его заместители Пятаков и Серебряков в Москве, как управляющие комбинатами Муралов и Дробнис в провинции, все бывшие троцкисты. В узком кругу кавказских коммунистов друг Орджоникидзе, директор Макеевского завода Гвахария рассказывал об одной интересной реплике Сталина во время доклада Орджоникидзе на одном из хозяйственных совещаний при ЦК. Сталин исподтишка готовил процесс Пятакова, а на местах уже состоялись первые процессы над «вредителями». Поэтому, вероятно, от Орджоникидзе Сталин ждал «критики и самокритики» по части того, что у него так много оказалось «вредителей». Но Орджоникидзе начал доказывать, что люди, которые успешно выполняют план и творят полезные дела, не могут быть вредителями. В это время Сталин подал неожиданную для всех реплику:

– Чтобы успешно вредить, надо успешно выполнять планы!

Застигнутый этой репликой врасплох, Орджоникидзе недоуменно развел руками и, заметно волнуясь, проговорил:

– Тогда не знаю, не вредитель ли я сам... – и Орджоникидзе вымучил из себя нечто вроде улыбки, нервной улыбки отчаяния.

«Отныне я знал, – говорил Гвахария, – что между Сталиным и Серго все покончено, а выступивший после Каганович, со свойственной ему развязностью, расшифровал и реплику Сталина: вредителей в тяжелой промышленности развелось слишком много, потому они и научились маскироваться под успешных хозяйственников, а мы разучились их разоблачать. Это уже было сказано прямо по адресу Серго. «Если моська смеет лаять на слона, тогда каюк и слону, и нам всем», – пророчил Гвахария. И не ошибся. С этих пор личные отношения между Сталиным и Орджоникидзе практически прервались.

Сталин приступил к ликвидации Орджоникидзе, начав ее с ликвидации его семьи, братьев, родственников, личных дру-

зей. Эту операцию он поручил давнишнему врагу Орджоникидзе – Лаврентию Берия. Эшба рассказывал в Москве своим близким, что Орджоникидзе много раз доказывал Сталину, что Берия негодяй и провокатор, и столько же раз, наверно, Сталин это сообщал самому Берия (после неизменной первой профессии – делать подлости, второй профессией Сталина было натравлять людей друг на друга). Эшба рассказывал мне (мы говорили о книге Берия по истории партии в Закавказье) еще в 1935 г., что Серго признался ему однажды, что он в Тифлисе сделал две ошибки: преследовал Мдивани и не расстрелял Берия. Так этому самому Берия Сталин дал приказ уничтожить всю семью Орджоникидзе. Об этом рассказал и Хрущев на XX съезде, но рассказал, как обычно, не договаривая до конца всей правды. Вот его слова: «Берия жестоко расправился с семьей товарища Орджоникидзе. Почему? Потому что Орджоникидзе пытался помешать Берия осуществлять его гнусные планы. Берия убирал со своего пути всех, кто мог бы ему помешать. Орджоникидзе всегда был противником Берия и говорил об этом Сталину. Но вместо того, чтобы разобраться в этом деле и принять соответствующие меры, Сталин допустил ликвидацию брата Орджоникидзе и довел самого Орджоникидзе до такого состояния, что он был вынужден застрелиться» (Речь Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС. Мюнхен, 1956, с. 44). Хрущев, конечно, великолепно знал, что Берия уничтожил семью Орджоникидзе по личному поручению Сталина. Но Хрущев знал большее: это Сталин послал 18 февраля 1937 г. на квартиру Орджоникидзе чекистов с запасным револьвером для Орджоникидзе и с поручением сообщить ему, что если он не хочет умереть в подвале НКВД, то должен воспользоваться предложением и покончить с собой в своей квартире. Орджоникидзе принял предложение и покончил с собою. Привезенный чекистами для данной акции

профессор медицины Плетнев засвидетельствовал «смерть Орджоникидзе от разрыва сердца» (самого профессора, нежелательного свидетеля, Сталин немедленно арестовал – его судили по процессу Бухарина за «вредительское лечение» Горького, Куйбышева, Менжинского).

Мое тогдашнее впечатление о глубокой скорби Сталина по поводу смерти Орджоникидзе описано в «Технологии власти»: «Через три дня на Красной площади были похороны. На мавзолее Ленина, «печально» свесив головы, стояли друзья-убийцы Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Хрущев, Микоян, Ежов, а срочно вызванный из Грузии Берия проливал крокодиловы слезы по поводу «преждевременной смерти великого революционера, друга и соратника Сталина – Серго Орджоникидзе». Я присутствовал на этом митинге, вблизи мавзолея, в снежный февральский день 1937 года. Я наблюдал за Сталиным – какая великая скорбь, какое тяжкое горе, какая режущая боль были обозначены на его лице! Да, великим артистом был товарищ Сталин!» (второе изд., 1976, с. 422).

Почему же Сталин решил покончить с Орджоникидзе именно 18 февраля? Потому что через неделю был назначен пленум ЦК, на котором должны были быть арестованы Бухарин и Рыков и утверждена стратегия «Великой чистки» во всем государстве. Он был единственным человеком в составе пленума, который, по убеждению многих, мог осмелиться открыто выступить против плана «Великой чистки» и ареста Бухарина и Рыкова. Так это было или нет, но сверхосторожный Сталин был верен себе: он предупредил риск ликвидацией Орджоникидзе.

13. Движение к краю бездны
(Февральско-мартовский пленум ЦК 1937 г.)

Один советолог левого толка на Западе сравнивал исторический смысл злодеяний Сталина и Гитлера. У него получалось: расист Гитлер уничтожал людей во имя возвышения германской расы, а коммунист Сталин уничтожал их для осуществления идеалов социализма. Гитлер – сумасброд, а Сталин, хотя и жестокий, но все же идеалист. Разоблачая преступления Сталина на XX съезде, Хрущев повторил тот же тезис об «идеализме» Сталина.

Хрущев сказал, что на массовые убийства невинных людей «Сталин смотрел с точки зрения интересов рабочего класса, интересов трудящегося народа, интересов победы социализма и коммунизма». Эта каннибальская философия – уничтожать трудящихся в их же собственных интересах – гуляет в советских публикациях и поныне. Человеческая память коротка и логика странна: если произнести слово «фашист», в памяти встают душегубы из гестапо и газовые камеры из концлагерей, а вот если произнесешь слово «сталинист», то это ассоциируется с «догматиками», а не с мясорубками в подвалах чекистов и миллионами замученных людей в концлагерях сталинских палачей. Немецкий диктатор Гитлер убил 6 миллионов евреев, а советский диктатор Сталин убил 66 миллионов русских, украинцев, белорусов, туркестанцев, кавказцев. Интернациональный изверг имел интернациональный размах.

Если абсолютно бесспорно политическое родословие Сталина: «Сталин вышел из Ленина», – то все еще спорными признают мотивы его поведения: кто же это уникальное чудовище в образе человека – социалистический ненасытный садист или обыкновенный параноик у руля гигантской

государственной машины? Если он человек нормальный, тогда в чем же смысл и политическое оправдание его поведения? Эти вопросы я слышал в узких партийных кругах Москвы и на кладбище живых трупов – в камерах НКВД. Слышал их и на Западе уже после разоблачений Сталина. Репрессированные старые большевики в чекистских подвалах отвечали: «Высшая политика»! Удивленный Запад отвечает: «Паранойя»! Большевики хотели понять исторический смысл своей трагедии в догмах марксизма и, не найдя его там, апеллировали к абстракции – «высшей политике», а западные советологи вообще не стали ломать себе голову и так как в нечеловеческих поступках Сталина они ничего не нашли от человеческой логики, то объявили Сталина просто параноиком.

Я думаю, что в своих книгах на Западе я уже дал собственный ответ на эти вопросы. Здесь же я хочу обобщить сказанное и ответить еще на другой вопрос: есть ли в биографии Сталина та знаменитая «красная нить», которая показывает запланированность и преднамеренность его преступлений, как наиболее эффективный метод и наиболее короткий путь восхождения к единоличной власти? Я на этот вопрос отвечаю положительно. После революции Сталин всегда сидел, в отличие от его коллег, сразу в нескольких органах партии и государства, которые представляли собой рычаги власти – в правительстве (дважды нарком), в Политбюро, Оргбюро, Секретариате ЦК партии, во ВЦИК, в Совете труда и обороны (от ЦК), в Реввоенсовете (от ЦК), в коллегии ВЧК (от ЦК), оставляя везде следы своей «творческой деятельности». Ни один из членов Политбюро, включая Ленина и Троцкого, не входил во все эти органы и не имел, как Сталин, столь обширного опыта и знания функционирования партийно-полицейской и военно-государственной машины своей власти. Став генсеком ЦК за два года до смерти Ленина, Сталин

стал фактическим диктатором, каким не был даже Ленин. Отсюда тревога и знаменитое «Письмо» Ленина на имя XII съезда: «...т. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью», и просил съезд снять Сталина. Съезд происходил через три месяца после этого «Письма», и Сталин при помощи членов «Тройки» (Зиновьев, Каменев, Сталин), которая во время болезни Ленина руководила партией и государством, скрыл от съезда «Письмо» Ленина и остался на посту генсека. Сталин в первое время намеренно держался в тени, выдвигая на первое место простофилю Зиновьева и обхаживая фразера Троцкого. Сталин впоследствии даже предлагал и свою отставку, но после того, как окончательно укрепил позиции своей власти. Никто теперь не осмелился бы принять эту отставку. Самое главное и самое решающее: у Сталина с самого начала была ясная, последовательная, но и коварная концепция власти, у его соперников не было никакой. У Сталина была не только «воля к власти», но и способность на самые чудовищные преступления для ее осуществления. Все эти внутрипартийные оппозиции после смерти Ленина – «левая оппозиция», «новая оппозиция», «правая оппозиция» – были намеренно спровоцированы Сталиным (даже названия этих оппозиций были выдуманы самим Сталиным), чтобы преодолеть и убрать с пути к власти важнейшие политические барьеры. Чтобы стать единоличным вождем партии, надо было уничтожить старую партию с ее историческими вождями; чтобы стать «отцом народов», надо было уничтожить десятки миллионов соотечественников. Среди «ленинской гвардии», включая самого Ленина, на это никто не был способен. Только один Сталин был на это способен... «в интересах социализма». Вот как раз это доказывает, во-первых, превосходство Сталина над самим Лениным как мастера

тоталитарной партократии, во-вторых, превосходство Сталина над всей партией в понимании реальностей. Целью Октябрьской революции был «социализм», а власть рассматривалась как средство достижения этой цели. Советская практика доказала, что кабинетная теория Маркса о «научном социализме» – сущая утопия, а захваченная большевиками власть – единственная реальность. Ее надо сделать целью и самоцелью, а мифологию о строительстве социализма превратить в пропагандное средство, поставив его на службу укрепления, расширения и увековечения захваченной власти. Цель и средство поменялись местами. Сталин пошел дальше: теория о «диктатуре пролетариата» была другим мифом. Целый класс никогда не был и не может быть диктатором. Диктатором может быть волевая личность, а если олигархия, – то спевшаяся между собою клика («коллективное руководство»). И вот сейчас же после ликвидации всех внутрипартийных оппозиций Сталин приступает к осуществлению своей затаенной стратегической цели: к захвату единоличной власти. Но как?

В самом начале ежовщины вернулся из-за границы посланный туда Коминтерном с мандатом Наркомвнешторга мой старый друг Сорокин, о котором я рассказывал подробно в «Технологии власти». Мы совершенно случайно встретились на Страстной площади у нового здания газеты «Известия». Конечно, мы сразу заговорили о политике.

– Все идет по Бухарину, – сказал Сорокин, любивший говорить парадоксами.

– Как это так по Бухарину, – удивился я, – если уже охотятся за самим Бухариным (Бухарин тоже только что вернулся из Парижа, куда его ЦК посылал купить там архив Маркса и Энгельса).

– Ты меня не понял – помнишь, почему Бухарин назвал Сталина «Чингисханом с телефоном»? Во время их большой

дружбы Сталин, шутя, сказал ему: «Бухарчик, знаешь, что если уничтожить половину партии и четверть народа, Россией можно управлять по телефону!»

Сорокин уже знал, что ЦК создал две комиссии – одна в ЦК, куда входят Ежов, Мехлис, Маленков, другая в НКВД в составе Фриновского, Агранова и Булатова. Первая комиссия называлась «Комиссия по переучету кадров партии» (почему их надо «переучитывать»?), вторая – «Комиссия по социальному учету населения СССР». В связи с этим шли разные слухи и толки – «Сталин пишет научный труд», «Сталин хочет уточнить сроки перехода от социализма к коммунизму», «Сталин замышляет в связи с новой Конституцией ввести в стране двухпартийную систему».

Когда я начал рассказывать Сорокину об этих слухах в ИКП, то он прервал меня замечанием, что один дошлый и вездесущий наш журналист, одинаково близкий к Мехлису и Агранову (я сразу подумал о члене редколлегии «Правды» Михаиле Кольцове), сказал ему о работе обеих комиссий:

– Хозяин хочет погрузить страну в никогда не кончающуюся Варфоломеевскую ночь, не импровизируя, как парижские дилетанты, а действуя как стратег на точном основании «научной статистики».

– Да, верно, Сталин решил управлять Россией по телефону, – вернулся Сорокин к пророчеству Бухарина.

На другой день мы вновь встретились с Сорокиным в его номере гостиницы «Москва». Это было, помню, после самоубийства Орджоникидзе, но до февральско-мартовского пленума ЦК. О пленуме не было заранее объявлено, но мы знали, что он готовится и что на нем решится судьба не только партии, но и всей страны.

Мы долго обсуждали все проблемы будущей перспективы, еще раз размышляли на тему, которая казалась давным-давно обговоренной – «кем был и кто есть Сталин?» Я должен

упомянуть, что после того как ЦК не разрешил партийному и чекистскому руководству нашей «автономной» республики загнать меня в тюрьму, бывали моменты, когда у меня возникали новые иллюзии – может быть, верно: «царь хорош, да министры поганые». Когда я высказал Сорокину эту мысль, ответ последовал моментально:

– Ошибаешься, в данном случае министры в царя, а царь в министров.

Но оба мы были согласны, что после смерти Ленина Сталин был окружен амбициозными бездарностями в политике (правильно Сталин говорил, что у его соперников много амбиции, но мало амуниции). Зиновьев позировал, Бухарин теоретизировал, Каменев чувствовал себя на седьмом небе в роли «свадебного генерала». Троцкий захлебывался в потоке собственного красноречия. Только один Сталин, скупой на слово, чуткий на слух, зоркий на глаз, без рисовки и важничанья был наделен необыкновенным нюхом политического стратега – он знал, с кем имеет дело, предвидел их реакции на свои действия и в его фокусе находилась только одна постоянная цель: власть. Однако Сталин был готов – по крайней мере, в первые годы после смерти Ленина – делить эту власть со своими коллегами из Политбюро при условии их лояльности к себе, как генсеку, исполняющему отныне роль ведущего лидера партии. Но те смотрели на него все еще как на тифлисского кинто (Троцкий назвал одну из глав своей книги «Сталин» – «Кинто у власти»), которого каждый хотел использовать временно в собственных интересах, а потом отправить восвояси – в Тифлис.

Вот тогда и началась междоусобица партийных бояр, в которой победила не идея, а коварство «альтруиста» и гений злодея.

Что же касается социализма, то и к нему у них были разные отношения: для наивных учеников Ленина социализм

был почти религиозной категорией – вроде «рая на земле» с духовной гармонией, материальным благоденствием и с вечным «миром во человецех», где из-за неограниченных возможностей для расцвета талантов средний человек поднимется, по мнению Бухарина, до уровня гения. Однако Сталин – неповторимый экспонат человека, еще не оторвавшегося от пуповины своей первоначальной натуры – от натуры зверя, – со звериным инстинктом самосохранения, почуял, что идти по пути «научного социализма» Маркса и Энгельса значит идти навстречу неизбежной гибели коммунистической диктатуры. Но социализмом можно и нужно воспользоваться, как «социальным опиумом», чтобы вернуть человека в старое стадное состояние в исполинской «военно-полицейской казарме», назвав это «социализмом в одной стране». Влечение к стадности и само стадное чувство заложены в инстинкте человека. Недаром большой испанский философ Ортега-и-Гассет говорил: «Социализм есть древнейшая ностальгия человека – человек вновь стремится к стаду, к пастуху, к сторожевой собаке», по Ницше – «социализм есть мораль стада, доведенная до ее логического конца». По Черчиллю: «социализм – это философия осечки, кредо невежества и вероисповедание зависти».

Когда же Сталин принял решение провести в стране ежовщину в том масштабе, как мы ее знаем? Решение это, вероятно, было принято сейчас же после XVII съезда (февраль 1934 г.), когда он узнал из тайного голосования на выборах ЦК на этом съезде, как он непопулярен в верхах партии.

Отправной точкой «Великой чистки» стал февральско-мартовский пленум ЦК 1937 г. Ни один пленум ЦК, кроме как до революции, не готовился так конспиративно и в то же время так тщательно, как этот. До самого открытия пленума не только сотрудники ЦК» но даже и сами члены пленума ЦК не знали ни повестки дня пленума, ни фамилий

докладчиков. Шли упорные слухи, что на пленуме будет решена судьба Бухарина и Рыкова и что в связи с этим шла индивидуальная обработка членов пленума. Тут Сталин прибег к тому же методу, к какому прибегал сам Ленин во время серьезного кризиса в ЦК – Ленин вызывал каждого члена ЦК к себе и брал подписку, что данный член ЦК будет поддерживать линию Ленина. Более толковый в подобных комбинациях Сталин поступил иначе. Он разделил весь состав пленума ЦК между своими «верными соратниками и учениками» – Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Калининым, Микояном, Андреевым, Ждановым, Ежовым – и они брали подписки от членов ЦК о поддержке политического курса Политбюро во главе с т. Сталиным. Этот факт стал известным, поскольку некоторые члены пленума отказались дать такую подписку.

Помню одно из партийных собраний, которое происходило в эти же дни у нас в ИКП. Оно тоже было своего рода очень конспиративное, закрытое партийное собрание. Представитель ЦК, которого никто в лицо не знал (потом выяснилось, что он был представителем НКВД), прочел нам информационный доклад. Информация его была необычной. Он ничего не говорил о международной или внутренней политике, как бывало раньше на таких докладах, а лишь о положении в Москве. Из его слов мы поняли, что в Москве орудует какая-то «банда диверсантов и террористов». НКВД напал на ее след, и банда находится накануне ликвидации, но именно поэтому есть опасность, что гнусные враги народа в отчаянии могут пуститься на крайние злодеяния.

«Не исключена возможность, что у них есть союзники и внутри нашей партии, как это показало убийство Кирова», – угрожающе заявил докладчик. Он сообщил, что в связи с этим ЦК и МК объявили московскую партийную организацию «в боевом состоянии», и закончил информацию

указанием, что подробные инструкции мы получим на «оперативном совещании» в нашем Фрунзенском райкоме партии. На этом «оперативном совещании» первый секретарь райкома и уполномоченный НКВД объявили нам, что мы мобилизованы на неделю, и прикрепили нас маленькими группами к важнейшим объектам коммуникации, транспорта, снабжения и к местам массового присутствия людей (спортплощадки, зрелищные предприятия). Мы были чем-то вроде нынешних советских «дружин», без каких-либо повязок, но с пропусками в любые учреждения, кино, театры (мы были особо предупреждены о случаях, когда враги наклеивали антисоветские обращения на заборах или бросали антипартийные листовки в кино, театре, на массовых собраниях). Но самым нелепым было другое: массовое обложение Кремля сотрудниками НКВД, в том числе и «мобилизованными партийцами», внезапная замена охранного батальона в Кремле новыми частями, «маневры» войск НКВД внутри и вокруг Москвы объясняли тоже присутствием в Москве этой неуловимой мифической «банды диверсантов и террористов», Бог весть откуда взявшейся. Ровно через неделю мы узнали, что эта «банда» заседала с конца февраля и до начала марта 1937 г. в Кремле и это заседание называлось «пленумом ЦК». Оказалось, что военно-полицейское особое положение в Москве было объявлено для того, чтобы, в случае несогласия пленума утвердить предложенные ему драконовские решения, арестовать всю его оппозиционную часть.

Повестка дня пленума была составлена по испытанному сталинскому принципу фарисейства: обещание бутафорского «пряника», чтобы усыпить бдительность против большого кнута. Поэтому первым вопросом на повестке дня стоял доклад Жданова о подготовке партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР, которые будут проведены согласно новой Конституции, путем закрытого (тайного)

голосования. Для демократизации самой внутрипартийной жизни было предложено проводить такие же закрытые выборы на всех уровнях партийных органов (первичная организация, райком, горком, обком, крайком, ЦК республик). Причем эти тайные выборы в партии должны были быть закончены не позже 20 мая 1937 г., тогда как выборы в Верховный Совет СССР были назначены на декабрь 1937 г. Даже безнадежные скептики в партии и стране должны были видеть, что Сталин, вопреки пророчеству врагов, хочет окончательно демократизировать как государственную, так и партийную систему в СССР. Однако смущали как раз вопросы, посвященные кнуту:

1. Дело Бухарина и Рыкова.

2. Доклад Ежова о чистке партии и страны от шпионов, вредителей, диверсантов и террористов.

3. Доклад Сталина «О недостатках партийной работы и ликвидации троцкистских и иных двурушников».

Через недели две или три мы читали, как обычно, стенографический отчет этого пленума, по партгруппам в ИКП. Весь материал, связанный с обсуждением «Дела Бухарина и Рыкова», был исключен из стенографического отчета. Только сообщалось, – правда, подробнее, чем в газетах, – постановление об их исключении из партии. Ежов занимал тогда в партии исключительное положение: он был членом Политбюро» Оргбюро и одновременно секретарем ЦК, председателем КПК при ЦК и Наркомом внутренних дел СССР. Сталин, высоко ценя выдающиеся уголовные качества Ежова, возложил на него всю черную работу инквизиции.

Доклад Ежова был настолько удручающим по форме и катастрофическим по содержанию документом, что если бы его опубликовать, страна, уже задетая паникой начавшейся чистки, погрузилась бы во всеобщую истерию. Но он не был предназначен для публикации. Его цель была другая – раз-

бить пленум политическим параличом, чтобы он не мог сопротивляться своему физическому уничтожению. Ежов назвал свой доклад: «Уроки, вытекающие из вредительской деятельности, диверсий и шпионажа японско-германских троцкистских агентов». Собственно, это был не доклад, а подобие некой «геочекистской карты» СССР, где административные районы страны нумеровались по степени их зараженности работой вражеских буржуазных разведок и по количеству предполагаемых там «шпионов, вредителей, диверсантов и террористов». Чтобы предупредить всякие возражения со стороны членов пленума, партийных руководителей с мест, Ежов доложил, что его данные собраны непосредственно его центральным чекистским ведомством («Комиссия по социальному учету населения СССР»!). Но членам пленума внушила ужас, вероятно, не эта часть «геочекистской карты», в которой речь шла о народе вообще, а ее вторая часть, где была выведена степень зараженности аппарата власти – органов партии, государства, профсоюзов, комсомола сверху донизу. Во все органы власти и во все организации без исключения проникли «буржуазные разведки», вербуя там «людей с партбилетами» и пользуясь «ротозейством» и «потерею большевистской бдительности» наших партийных и советских руководителей». Ежов докладывал, что чем важнее был район и чем выше стоял орган власти, тем больше «вражеская разведка» насаждала там «шпионов, вредителей, диверсантов и террористов». Чтобы опять-таки предупредить возражения членов пленума, Ежов указал, что эти данные собраны другим центральным ведомством, где он тоже первый человек после Сталина, – в ЦК («Комиссия по переучету кадров партии»!).

Ежов совсем не занимался теоретизированием на тему об обострении классовой борьбы или морализацией по поводу коварства буржуазных разведок, наводнивших советское

государство миллионами шпионов, вредителей, террористов, а приводил совершенно конкретные примеры, где, когда и какие антисоветские акты совершены и совершаются наемниками иностранных разведок при прямом участии советских и хозяйственных руководителей и при попустительстве партийных руководителей. Ежов доказывал, что само попустительство партийных руководителей не случайно, поскольку во многих местах в аппарат партии сумели пробраться «враги народа». При этом Ежов приводил много примеров, называя обкомы, крайкомы и ЦК союзных республик, где «затесались» эти «враги народа». Первый чекист угрожал пройтись по кабинетам таких комитетов партий с железной метлой. Пропаганда уже пустила в обращение новые лозунги: «С врагами народа будем бороться не в белых перчатках, а в ежовых рукавицах», «Учитесь бороться с врагами у сталинского стального наркома – Николая Ивановича Ежова!» Микоян даже выдвинул совсем нелепый лозунг: «Учитесь сталинскому стилю у тов. Ежова!» – почему же надо учиться «сталинскому стилю» не у самого Сталина, а у его холуя, – Микоян так и не объяснил. В этой обстановке пленум знал, что устами Ежова с пленумом разговаривает сам Сталин. «Геочекистская карта» Ежова не была творением его личной инициативы, а представляла собою стратегический план Сталина. Его суть – совершить государственный и партийный переворот для установления абсолютной личной власти. Однако такой переворот надо обосновать гигантской и исключительной опасностью, нависшей над советским государством со стороны фашистской Германии и милитаристской Японии при явной поддержке демократических стран Запада. Чрезвычайное положение требует чрезвычайных мер, а именно – тотальной чистки тыла СССР: разгром иностранной агентуры внутри СССР, окончательная выкорчевка всех остатков бывших враждебных классов, полная изоляция

враждебно настроенных элементов в самом народе, беспощадная ликвидация во всех звеньях государства и партии «врагов народа», прикрывающих свою вражескую работу партбилетами. Почему именно сейчас, в период победы социализма, размножилось такое огромное количество «врагов народа» как в стране, так и в самой партии и почему надо немедленно провести в жизнь предложенный Ежовым план чистки тыла – вот с ответом на эти вопросы с точки зрения марксизма выступил сам Сталин в своем докладе «О недостатках партийной работы и ликвидации троцкистских и иных двурушников».

Читатель, знакомый с моими книгами по истории партии, знает, как я высоко ценю таланты Сталина – во-первых, его редкое уменье обосновать свои тягчайшие преступления теорией марксизма, во-вторых, его поразительный дар маскировать свою преступную цель философией благонамеренного и жертвенного исполнителя воли партии. Названный доклад Сталина был в обоих отношениях полнейшей его неудачей. Выяснилось, что даже у Сталина «выше лба уши не растут». Самый ответственный, воистину исторический доклад Сталина оказался ниже его виртуозных возможностей фальсифицировать реальность и проституировать политику. Когда мы читали на партгруппе в ИКП текст стенограммы доклада Сталина, то при каждом новом перле его марксистского «глубокомыслия» ошарашенные слушатели вопросительно оглядывались, но как только парторг, читавший текст, задавал вопрос: кто как понимает то или иное место, никто не осмеливался интерпретировать новые марксистские идеи Сталина. Вероятно, сам Сталин был не очень доволен своими «теоретическими новшествами», призванными обосновать открытие тотального террора в стране, которую он объявил еще в прошлом году страной бесклассовой, социалистической. Этим мы объясняли, что доклад Сталина был

опубликован в «Правде» почти только через месяц, со значительными сокращениями и совершенно очевидными новыми вставками. Интересно тут же отметить, что этот доклад Сталина «О недостатках партийной работы и ликвидации троцкистских и иных двурушников», в отличие от других его докладов, никогда не включался в «Вопросы ленинизма», а сама брошюра с этим докладом вскоре была изъята из обращения и из библиотек.

Однако, как бы ни было важно Сталину подвести теоретическую базу под чудовищный план истребления партии и народа, это была все-таки побочная задача, главное было в другом: убедить пленум в политической необходимости утверждения плана «Великой чистки». Аргументы Сталина на этот счет вошли в опубликованный текст его доклада. Сталин сделал небольшой экскурс в историю Европы, чтобы объяснить пленуму, откуда вообще появились на свет шпионы и почему, с точки зрения марксизма, в Советском Союзе должно быть шпионов в несколько раз больше, чем в капиталистических странах. Со времен Наполеона, сказал Сталин, государства в Европе посылали в тыл друг другу тысячи и тысячи шпионов, как их посылают и сейчас. Но, с точки зрения марксизма, доказывал Сталин, «в тыл советского государства буржуазные государства должны посылать вдвое, втрое больше шпионов, вредителей, диверсантов, убийц» («Правда», 29 марта 1937 г.). Сталин заявил, что так оно и случилось. По Сталину получалось, что в Советском Союзе нет таких хозяйственных объектов, куда бы не проникли шпионы, вредители, диверсанты. Даже больше. Нет или почти нет в СССР как хозяйственных, так и административных и партийных органов управления, где бы не сидели шпионы, вредители, диверсанты. Вот его слова: «Вредительская и диверсионная шпионажная работа агентов иностранных государств задела в той или иной степени *все* или почти все наши организации как хозяйственные, так и административные» («Правда», там

же). Чем же объяснить этот социальный феномен, что при загнивающем и погибающем капитализме меньше шпионов, вредителей, диверсантов, саботажников и убийц, а при растущем и процветающем советском социализме их «вдвое, втрое» больше?

Бесподобный ответ Сталина, составляющий сердцевину его «философии тирании», гласит: «Чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее они будут идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последние средства обреченных» («Правда», там же).

Совершенной новинкой в устах Сталина эта философия не была. Еще в начале борьбы с «правой оппозицией» на июльском пленуме ЦК (1928 г.) Сталин впервые высказал эту идею, на что с возмущением ответил Бухарин, разбиравшийся в теории марксизма куда лучше, чем Сталин. Сталин, сказал Бухарин, утверждает, что «чем больше растет социализм, тем выше и больше будет сопротивление против него... Это же идиотская безграмотность» (А. Авторханов, «Происхождение партократии», т. 2, с. 399). Сталину было в высшей степени безразлично, грамотно ли такое утверждение с точки марксизма. Ему было важно, что это вполне грамотно с позиции его тоталитарной философии, а именно: наступательное движение социализма к его высшей фазе – коммунизму – есть триединый последовательный процесс: рост социализма, отсюда рост сопротивления, как следствие – рост репрессий. Поэтому вполне логично, что Сталин открыто выступил против основ марксистской философии права об отмирании государства.

Энгельс в «Анти-Дюринге» утверждал, что первый акт нового пролетарского государства – закон о национализации

средств производства – будет, вместе с тем, и его последним актом в качестве государства. Государство отмирает. Вместо управления людьми будет управление вещами. Ничто не было Сталину так чуждо в марксизме-ленинизме, как именно теория о постепенном отмирании государства. Его цель – увековечение, усиление, расширение диктатуры как тоталитарной системы власти – требовала радикального пересмотра этой теории. Этот пересмотр он совершил как бы мимоходом, в докладе об итогах первой пятилетки, на январском пленуме ЦК в 1933 г.: «Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее *максимальное* усиление» (Сталин. Вопросы ленинизма», с. 394). Тогда никто не думал о единоличной тирании Сталина и поэтому, вероятно, не обратили внимание на этот его тезис, а вот Сталин как раз думал об этом. Недаром он говорил: «Чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть не назад, а вперед». Иначе говоря, не оглядываться, как бы чего не перепутать в марксизме, как делали все эти Троцкие, Зиновьевы, Бухарины, не копаться в историческом хламе былых решений большевизма, как это хотели бы нынешние его собственные ученики, а ломать все и вся, если этого требует поставленная цель, – таково было направление мысли Сталина.

До сих пор было принято, что о честном работнике и преданном советской власти руководителе можно было судить по двум критериям:

1) честный работник показывает успехи в своей работе,

2) преданный руководитель систематически выполняет производственные планы.

К удивлению пленума, Сталин категорически отвел оба критерия, как совершенно несостоятельные. Оказывается, наоборот, как раз скрытые «вредители» стараются добиться успехов в работе, систематически выполняя планы. Вот рассуждения Сталина: «Ни один вредитель не будет все время

вредить, если он не хочет быть разоблаченным. Наоборот, настоящий вредитель должен время от времени показывать успехи в своей работе, ибо это единственное средство ему сохраниться, как вредителю, втереться в доверие и продолжать свою вражескую работу» («Правда», там же). Какая удивительная «диалектическая» логика: ведь отсюда вытекает, что если ты не хочешь, чтобы тебя заподозрили во вредительстве, никогда не выказывай успехов в работе.

Отвел Сталин и «систематическое выполнение планов» руководителями как доказательство отсутствия «вредительства» с их стороны. Сталин выставил и тут весьма оригинальный аргумент: оказывается, «вредители» приурочивают свое главное «вредительство» к началу войны и поэтому они стараются сейчас выполнять планы! («Правда», там же). Заодно Сталин предупредил тех из своих соратников, которые думают, что «вредительство» в СССР не имеет перспектив, ибо у него нет резервов. Нет, сказал Сталин, оно «имеет резервы – это остатки разбитых классов» («Правда», там же). По новой теории Сталина, ни один из сидящих в зале пленума партийных административных и хозяйственных руководителей не знал, «вредитель» он или честный советский гражданин. Новая теория открыла дорогу для произвола над каждым человеком, независимо от любых его заслуг в прошлом и отличной работы в настоящем. Сталин дал понять, что он хочет очистить весь аппарат управления от старых большевиков и заменить их покорными и нерассуждающими исполнителями, молодыми выпускниками технических вузов: «Можно было бы назвать тясячи и десятки тысяч технических выросших большевистских руководителей, по сравнению с которыми все эти Пятаковы, Мураловы, Дробнисы являются пустыми болтунами. Их сила состоит в партбилете» («Правда», там же). Здесь Сталин пел гимн по адресу всех этих будущих брежневых, которые как инженеры были «пустыми

болтунами», но вот как «винтики» механизма личной власти Сталина – его гениальной находкой (о них-то Сталин и говорил на XVIII съезде в 1939 г., что после уничтожения старых кадров ЦК выдвинул «на руководящие посты по государственной и партийной линии более 500 тысяч молодых большевиков», – см. «Вопросы ленинизма», с. 597).

Сталин поставил в своем докладе еще один вопрос чистки: будут сняты с высоких партийных должностей и те лица, которые, хотя честны и преданны, но не прислушиваются к сигналам рядовых коммунистов и не чутки к ним. В этой связи Сталин рассказал о «чудовищном примере», как Косиор и Постышев исключили из партии честную рядовую коммунистку Николаенко за ее правдивый сигнал, что в аппарате украинского ЦК партии работают «враги народа», вроде одного из друзей и помощников Постышева–Карпова. Постышев был секретарем ЦК, кандидатом в члены Политбюро в Москве, а на Украине – вторым секретарем ЦК, после Косиора. Постышев был весьма своенравным человеком, никогда не считал Сталина безгрешным и поэтому давно мозолил Сталину глаза. Сталин решил его убрать, но, как всегда, начал подкопы под него не прямо, а косвенно – с дискредитации его ближайшего окружения. Отсюда доносы Николаенко, оказавшейся сексотом НКВД, на близких людей Постышева. За это ЦК Украины ее исключил из партии, но ЦК в Москве ее восстановил, Постышева снял (он временно был переведен на Волгу), украинское окружение Постышева было репрессировано (от них потом под пытками брали показания на «врага народа» Постышева). Так был дан зеленый свет армии доносчиков – отныне доносить и оклеветать можно было любого человека до самой вершины пирамиды власти, исключая лишь одного Сталина (это же факт: в «показаниях» «врагов народа» из высшей бюрократии назывались почти все члены Политбюро, кроме Сталина; обвиняя их во «вреди-

тельстве» и «шпионаже», предъявляя такие «показания» своим соратникам, Сталин шантажировал их, чтобы они безмолвно подписывали вместе с ним знаменитые «списки врагов народа» Ежова на расстрел, кто из них не подписывал, того Сталин приказывал расстрелять).

Сталин выдвинул на пленуме также новый, но явно нелепый лозунг: большевики должны «овладеть большевизмом»! Но Сталин хотел замаскировать новым лозунгом весьма прозаическую вещь: большевики должны овладеть техникой доносов, называемых на партийном жаргоне проявлением «высокой революционной бдительности». Отсюда – намеренное и систематическое культивирование «шпиономании» и «доносомании», как доказательство «овладения большевизмом». Впервые на этом пленуме Сталин дал понять, какую партию он хочет иметь. Партия большевиков со дня своего создания была и оставалась кадровой партией, созданной по иерархическому принципу, «с централизацией руководства и децентрализацией ответственности», как выражался Ленин. Ее централизм был абсолютным, демократизм относительным. Ее штаб – ЦК – назначал сам себя на очередном сборе – съезде ее ведущих функционеров, а потом этот Центральный комитет назначал региональные комитеты. Внутренняя работа всех иерархии была и оставалась строго законспирированной. Сталин пришел к убеждению, что вот эта самая партия недостаточно абсолютистская и конспиративная, поэтому надо ее ликвидировать и создать партию «новейшего типа» на «новейших принципах». Схему такой партии Сталин и предложил февральско-мартовскому пленуму, разумеется, не раскрывая всех своих карт. При этом его теперь мало интересовала членская партийная масса (он однажды сказал, что, если ему нужно, в партию запишутся люди целыми цехами и даже заводами). Главное и решающее для него сейчас – это сам партаппарат. Об этом аппарате

он и рассуждал вслух, прибегая к терминологии, которая считалась до сих пор контрреволюционной и реакционной. Но терминология точно соответствовала тому, что планировал Сталин: превратить большевистскую партию в «военно-полицейскую» партию с ясно очерченной субординацией – на вершине сам генсек, как верховнокомандующий, потом идут генералы, офицеры, унтер-офицеры. Солдат (членов партии) Сталин даже не удостоил упоминания.

Новая партия, собственно, и есть партия кадров, партия партаппаратчиков, партия военизированных исполнителей приказов сверху. Поэтому-то Сталин и классифицировал членов новой партии точным военно-полицейским языком, когда сообщил удивленному пленуму, что наши кадры – это «3–4 тысячи высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет партии. Далее идут 30–40 тысяч средних руководителей. Это наше партийное офицерство. Дальше идут около 100–150 тысяч низшего партийного командного состава. Это наше партийное унтер-офицерство» («Правда», там же). Назвать секретаря обкома партии «партийным генералом» считалось до сих пор оскорблением. За это людей привлекали к уголовной ответственности. Сталин реабилитировал «партийных генералов», «офицеров» и «унтер-офицеров». Даже шли упорные разговоры, почти открытые, что в ЦК решают вопрос о введении для них новых форм и знаков отличия, как у Гитлера в его национал-социалистической партии. Эта затея была, видимо, сорвана неожиданно отрицательной реакцией в партии на столь скандальную для тогдашних советских ушей терминологию. Этим, видимо, и объяснялось, что мы, члены пропгруппы ЦК, получили указание это место из Сталина не цитировать!

Какова же была реакция пленума на доклады Ежова и Сталина? Я не помню, чтобы в стенографическом отчете было бы отражено серьезное сопротивление пленума планам

Ежова и Сталина. Запомнил поразившую нас всех одну деталь: в стенограмме после доклада Сталина не было указано, что были «аплодисменты», а в «Правде» они появились. Критические замечания были, серьезного сопротивления против планируемой инквизиции не было. Все, говорившееся о «врагах народа», сидящие в зале уверенно считали не относящимся к себе, ибо никто из них никогда не состоял ни в «троцкистах», ни в «бухаринцах», ни, наконец, в «иных» «двурушниках», поэтому они думали, что им ничего не грозит. Резко выступал только Постышев, но не против Сталина, а против Ежова, по распоряжению которого были арестованы и сидели в подвалах НКВД его близкие сотрудники. Участник пленума Хрущев в своем знаменитом докладе на XX съезде о преступлениях Сталина утверждает, что не один Постышев, но и многие другие члены пленума не были согласны с новым курсом.

Озлобленный разоблачением Постышевым методов своего ставленника Ежова, Сталин подал реплику из президиума:

Сталин: – Кто ты, собственно, говоря?

Постышев: – Большевик я, товарищ Сталин, большевик!

Хрущев замечает, что многие нашли такой ответ Постышева «невежливым»!

Пленум принял резолюцию, оказавшуюся смертным приговором для двух третей его членов: одобрить практику Ежова и политику Сталина по расширению и углублению массового террора в партии и стране. В резолюции даже подчеркивалось, что НКВД опоздал с развертыванием террора на целых четыре года, с тем чтобы чекисты энергичнее взялись наверстать упущенное. Поскольку по обоим докладам все-таки были критические замечания, а позиции некоторых членов Политбюро тоже считали критическими, то было интересно знать результаты голосования по вышеупомянутой резолюции. Однако это осталось тайной

кремлевских протоколистов. Текст резолюции не был опубликован, и это наводило на размышления.

Через некоторое время после публикации доклада Сталина состоялось инструктивное совещание всех пропгрупп ЦК. Такие совещания всегда созывались, когда надо было инструктировать пропагандистов, как комментировать или интерпретировать перед местными партийными активами важнейшие решения партии или речи Сталина. При этом делалась разница между тем, что сами пропагандисты должны были знать, и тем, что можно активу сообщить. Совещанием руководил наш непосредственный шеф – заведующий агитпропом ЦК Алексей Иванович Стецкий. Здесь надо о нем сказать несколько слов. Стецкий учился в Петроградском политехническом институте и там же в возрасте 19 лет вступил в партию большевиков, был делегатом VI съезда партии (июль 1917), активным участником октябрьского вооруженного восстания 1917 г. в Петрограде, участником гражданской войны; в 1923 г. окончил ИКП и с того времени работал в партаппарате, был членом ЦК с 1930 по 1938 г. Стецкий несомненно принадлежал к идейно убежденным коммунистам. Но с ним произошло то же самое, что произошло со всей его партией – его испортила власть. Это началось еще в годы внутрипартийных оппозиций. В борьбе с Троцким Сталин подкупал людей всеми способами – лестью, привилегиями, постами, угрозой, шантажом, подлостью, террором, смотря с кем имеет дело. Стецкого он подкупил перспективой карьеры идеолога партии. Во время борьбы с Троцким и троцкистами Сталин опирался на Бухарина, как на ведущего теоретика партии со времени Ленина, а Стецкий был прямым учеником Бухарина. Его неразлучным напарником был другой ученик и биограф Бухарина – Д. Марецкий. В походе Сталина-Бухарина против Троцкого эта теоретическая, двойка» принимала в печати наиболее шумное участие. Троцкий

в эти годы, явно застигнутый врасплох появлением на сталинском небосклоне столь «ярких звезд», пустил в ход язвительное замечание: «Кто такие эти Стецкие–Марецкие – почему о них ничего не было слышно до революции?». Сегодня на Стецком лежала далеко не легкая задача – теоретически обосновать основной тезис Сталина: чем ближе мы к коммунизму, тем больше у нас врагов. Решительно не помню, как Стецкий обосновал это новое «открытие» Сталина в марксизме. Запомнил только ответы, которые Стецкий дал на два вопроса: первый вопрос гласил – есть ли в трудах классиков марксизма что-нибудь такое, на чем основано высказывание Сталина? Стецкий ответил так, как должны были отвечать и мы перед своей будущей аудиторией: каждое высказывание Сталина и есть классический марксизм.

Второй вопрос задал я – была ли резолюция пленума принята единогласно, за что мой сосед резко толкнул меня в бок, шепнув на ухо: «Такие вопросы не задают». Однако Стецкий ответил и на это:

– С тех пор как под руководством товарища Сталина партия выбросила из своего ЦК двурушников всех мастей, решения всех пленумов ЦК принимаются единогласно.

Я же подумал: при Сталине все решения принимаются единогласно, ибо принимает их он один. Так было принято решение об аресте и расстреле как Стецкого, так и 70% членов данного пленума, и это при криках ура и восхищении всего сброда, который назывался «партией». Прав был Шопенгауэр: «Тиран и сброд, дед и внук – естественные союзники».

14. Из ИКП в НКВД

Никакой Новый год так торжественно не встречали в нашем Институте, как навеки проклятый 1937. По заранее составленной программе был приготовлен тот прославленный русский стол, бедный изысками философов французской кулинарии, зато богатый отстоявшимися веками традиционными национальными блюдами варки, жарки и печения, один лишь запах которых вызывает неудержимый аппетит. Тут было все – начиная от разнообразнейших закусок и кончая гусями и дичью, заправленными всякой всячиной. Вдоволь напекли кулебяки, пирогов с начинкой. Из кремлевского распределителя навезли дефицитные продукты – сыры, свежие фрукты и овощи из южных стран, французский коньяк, баварское пиво, русскую водку, которая, правда, никогда не была «дефицитным» товаром в России, но в распределителе ее отпускали по себестоимости, то есть почти бесплатно.

Не забыли и о духовной «пище»: пригласили мастеров русского фольклорного искусства из Ансамбля Александрова, которые были виртуозны в русской пляске и восхитительны в русской песне. Среди почетных гостей были Качалов и Мейерхольд с его очаровательной женой Зинаидой Райх. Над портретом Ленина на всю стену красовалось: «С Новым Годом, с новым счастьем, товарищи!».

Однако торжество явно не клеилось, именно потому, что от Нового года даже в этом зале идеологической элиты партии мало кто ожидал счастья. Бодрящая музыка и веселые песни звучали издевательски, как прелюдия к «пиру во время чумы». В глазах многих наших партийных профессоров, более осведомленных, чем мы, я читал тревогу; они были подавленны и молчаливы. Тостов они никаких не произносили и на чужие тосты очень вяло реагировали. На некоторое вре-

мя и они ожили, когда по единодушному требованию зала Василий Иванович Качалов прочел в числе других знаменитые стихи Есенина «Собаке Качалова»... когда же музыканты и певцы исполнили его «Письмо матери» (Есенин был запрещен для народа, но для элиты типография ЦК издала большой том его избранных стихов), – то это принималось всеми благодарно, словно бальзам, обезболивающий тяжкие роды сталинщины. За столами места занимали свободно. Я очутился между проф. Фридляндом и проф. Ванагом. С Ванагом у меня отношения были хорошие, с Фридляндом напротив – сухие, наверное, из-за того, что я не был «западником». Не помню, шагнули мы уже в Новый год или только вот-вот подходили к его роковой черте, но под влиянием уже выпитого во мне проснулось страстное желание произнести тост (на что мы, кавказцы, неутомимые охотники) за этих наших двух ведущих партийных профессоров. Разумеется, я не скупился на похвалы по поводу их научных достижений, потревожил даже тени их великих предшественников Тацита (Фридлянд) и Нестора (Ванаг). Едва я кончил свой тост, а аплодисменты еще продолжались, как в зал бурно ворвалась, словно хазары, группа штатских лиц, набросилась сперва на Фридлянда[1] а потом и на других партийных профессоров. Надели на них медные наручники и вывели на улицу. Я вышел на улицу – наш институт, оказывается, был окружен вооруженными чекистами.

Через несколько недель мы читали, что Фридлянд и Ванаг хотели «убить» Сталина, а Пионтковский и другие оказались «шпионами». Минца не было среди арестованных, беспартийных профессоров вообще не тронули. Так как то же самое происходило и в других академических учреждениях

---

[1] В неопубликованной рукописи Ф. Светов, сын проф. Г. С. Фридлянда, со слов своей покойной матери пишет, что отец был арестован 31 мая, а не 31 декабря 1936 г. Может быть, это был первый арест? Или я его перепутал с кем-нибудь. – А. А.

Москвы, то ЦК ничего не оставалось, как назначать нас, слушателей выпускных курсов, преподавателями младших курсов ИКП. Через год, когда начали арестовывать почти всех старых икапистов, тогда вообще ликвидировали ИКП. В Институте мы должны были «разоблачать» арестованных как «врагов народа», хотя даже самые закоренелые сталинцы среди нас этому не верили. Сам факт ареста людей органами НКВД уже считался бесспорным доказательством их вины. Не было никакой возможности выступать на собраниях в их защиту или воздержаться при голосовании за их исключение задним числом из партии. В тех условиях в этом не было и резона. Сомнение в мудрости Сталина и безошибочности действий чекистов каралось тюрьмой, лагерем, а то и смертью. У нас в Институте нашелся только один человек, слушательница западного отделения, которая на общеинститутском партийном собрании заявила: все, что сейчас происходит, – это дикий кошмар, который своими духовными корнями уходит в фашизм, а не марксизм. Ее никогда мы больше не видели. Для отчаявшихся в жизни самоубийц, искавших героической смерти не от своих, а от чужих рук, сталинский режим был идеальной находкой! Смелое и организованное сопротивление против сталинизма было возможно и имело смысл в двадцатые и до середины тридцатых годов. Любое сопротивление – индивидуальное и коллективное – кроме террористического акта против самого Сталина, со второй половины тридцатых годов было уже пусть и героическим, но безрассудным подвигом самопожертвования. Самая безобидная критика действий чекистов считалась изменой Родине и каралась смертью. Поэтому у Сталина не водились и диссиденты.

Наш последний учебный год приближался к концу. На май были назначены государственные экзамены. Подготовка к ним происходила в исключительно неблагоприятных условиях: на первом курсе на мои занятия сильно повлияло мое

партийное дело, о котором я уже рассказывал; на последнем курсе тревожила столь бурно начавшаяся ежовщина, я толком и не знал, где придется держать экзамен – перед Государственной комиссией ЦИК СССР (ИКП фактически подчинялся агитпропу ЦК, но юридически ЦИК СССР), или перед следователями в кабинете НКВД. Мы как-то с товарищем подсчитали, сколько важных дат и фактов из хронологии исторических событий, сколько имен исторических деятелей, сколько войн, восстаний и их программ надо знать наизусть к экзамену по Всеобщей истории (древней, средней, новой и новейшей) и русской истории (древней, средней, новой и новейшей) и пришли в ужас: наш индекс набрал несколько тысяч мест, имен, событий и дат. Если все это мы должны знать наизусть, то нет никакой надежды на сдачу государственного экзамена. Смешно, но – сущая правда: мне невольно приходила в голову мысль – если арест, то лучше уж до экзамена! Почему же я думал, что буду арестован? Был ли я в чем-нибудь виновен? Нет, я не был в чем-либо виновен в действиях, но я был виновен в мыслях – я принадлежал к тем людям, которые пришли к мысленному заключению: Сталин – тиран, а его чекисты – изверги, каких история человечества еще не знала. Эту мысль я разделял как с 8–10 миллионами арестованных в ежовщину, так и с тем абсолютным большинством народа, которое осталось на так называемой «воле». На этой стадии развития тирании Сталина партийность или беспартийность советского человека никакой роли не играла.

Наконец настали дни государственных экзаменов. Вывешены списки выпускников, расписания порядка и времени вызова экзаменующихся. Почти все члены Государственной экзаменационной комиссии – из Московского университета. Для оценки знаний установлена трехбалльная система – «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «отлично». Некоторые провалились, иным назначили переэкзаменовки, но

были и круглые отличники. Мои оценки были средние, но я был все-таки доволен, что сдал экзамены: немецкий язык – удовлетворительно, Всеобщая история – удовлетворительно, История России–СССР – отлично.

Через недели две выпускники ИКП истории принял в ЦК заместитель Стецкого – Марьин. Запомнил его комплимент: «Товарищ Авторханов, говорят, что из вас выйдет хороший историк». – «Товарищ Марьин, я это еще должен доказать».

Изверги Сталина не дали мне это доказать.

Спрос на выпускников был большой, так как чекисты нещадно опустошали не только кафедры в университетах, но и кабинеты центральных и местных шефов идеологических учреждений. Многие из выпускников были назначены секретарями обкомов и крайкомов по идеологии, некоторые были забраны в аппарат ЦК. Один из них сразу получил должность заведующего школьным отделом ЦК (Яковлев). Намеченную на эту должность, глубоко мною уважаемую, Зою Васильевну Мосину, женщину выдающихся способностей, исключительной порядочности и больших заслуг в гражданской войне, отставили и направили членом редколлегии журнала «Историк-марксист», когда расстреляли ее столь же заслуженную сестру, работавшую торгпредом СССР в Англии. Остальные получили назначения на преподавательскую работу.

Мне сказали, что меня намечено сделать преподавателем межобластных курсов секретарей райкомов и горкомов партии в Куйбышеве, где заодно я буду преподавать историю в Университете. Пока будет принято решение, я остаюсь в резерве кадров ЦК. Проходил месяц за месяцем, но решения никакого нет и нет, в ЦК никто не вызывает, а спрашивать у ЦК, в чем дело, не только бесполезно, но и неразумно. Я уехал на несколько дней в Грозный. Тем временем читаю в «Правде»: «Буржуазно-националистический клубок в

Чечено-Ингушетии». Те же самые руководители Чечено-Ингушского обкома партии, которые обвиняли меня перед партколлегией КПК при ЦК в «буржуазном национализме», из-за которых я получил от Ярославского «строгий выговор», теперь сами обвиняются и в «буржуазном национализме» и во вражеской деятельности. Ясно, что они кандидаты во «врагов народа» и их дни на свободе сочтены. Злорадствовал ли я? Абсолютно нет. Я слишком хорошо знал, что они так же мало виноваты во вражеской деятельности, как был виноват я, когда они создавали дело на меня. После февральско-мартовского пленума ЦК началась другая эпоха – раньше, когда местные комитеты партии обвиняли в «контрреволюции» того или иного коммуниста, это еще надо было доказать фактами перед верховным партийным судом, но теперь сам Сталин объявил миллионы партийных и беспартийных потенциальными «вредителями» и «врагами народа». Бессмысленно было опровергать обвинения Сталина «фактами» против Сталина, как бессмысленно было бы жаловаться Сталину на Сталина. Это я, немножко в иной форме, и сказал второму секретарю Чечено-Ингушского обкома Вахаеву (мы с ним уже помирились), когда он обратился ко мне с просьбой помочь ему написать «опровержение» статьи «Правды». Он снабдил меня фактами и документами, опровергающими измышления авторов корреспонденции в «Правде». Основываясь на них и на личных объяснениях Вахаева, я написал развернутое заявление на имя Сталина. Только после этого я объяснил Вахаеву, что из этого заявления, видимо, ничего не выйдет, ибо речь идет о шаблонных обвинениях против всех руководств всех автономных и союзных республик, которые ежедневно появляются на страницах «Правды», меняются только названия республик и имена их руководителей, но полностью повторяется стереотип обвинения. Значит, состоялось какое-то общее решение Политбюро радикально менять руководство на местах.

Через несколько дней Вахаев пригласил меня на обед. На обеде присутствовали прокурор республики Хасан Мехтиев, ряд наркомов. Я заметил, что он очень бодро настроен. И быстро узнал причину:

– Я по прямому проводу говорил с Маленковым, он был вежлив и пригласил меня на личный разговор. Поедешь со мною, я хочу заодно просить его, чтобы тебя отправили не на Волгу, а к нам, в Чечено-Ингушетию (характерная деталь – когда мы обедали и оживленно говорили о политических вещах, пришла в столовую жена Вахаева и доложила мужу, что пришел такой-то член «автономного» правительства, – Вахаев приложил палец к губам и сказал: «Ни слова о политике, он сексот НКВД». «Вот тебе знамение времени – секретарь обкома партии боится сексота НКВД», – подумал я). Я принял предложение Вахаева и вместе с ним вернулся в Москву, тем более, что это давало мне возможность узнать что-нибудь о своей перспективе (ведь все назначения всех отделов ЦК были действительны, если завизированы Маленковым, шефом отдела кадров ЦК).

В Москве мы остановились в новой гостинице «Москва», где секретарь обкома получил обширные апартаменты («тем теснее потом будет в тюремной камере», – подумалось мне).

До свидания с Маленковым у нас был еще один день, поэтому мы решили проштудировать материалы обкома, чтобы Вахаев мог отвечать на любые вопросы грозного для партаппаратчиков верховного шефа кадров. Маленков имел, не будучи даже членом или кандидатом в члены ЦК, такую власть, что по его личному указанию снимали любого секретаря обкома партии (раньше на это требовалось решение Оргбюро); ведь это Маленков, еще до начала ежовщины, в 1936 г., поехал в Тбилиси, вызвал туда первого секретаря ЦК партии Армении Ходжаняна и предложил тогдашнему секретарю ЦК Грузии – Берия – тут же, в своем кабинете

застрелить Ходжаняна. Вспоминая об этом, Вахаев, шутя, спрашивал меня:

– Как ты думаешь, Абдурахман, не хочет ли Маленков отправить меня к Ходжаняну?

Я его успокоил, сказав что-то вроде: «На Старой площади такими вещами не занимаются. Для этого существует недалеко отсюда другая площадь – Лубянка!»

На второй день ровно в назначенное время мы были в приемной Маленкова. Как я и ожидал, заведующий приемной (абсолютный Маленков, только в миниатюре) пустил к Маленкову лишь одного Вахаева, а мне сказал, проверив список посетителей на этот день, «мы вас не вызывали». Не помогли и объяснения Вахаева, что он привел меня, чтобы поговорить с Маленковым о моем откомандировании в Чечено-Ингушетию. Аудиенция Вахаева у Маленкова продолжалась ровно десять минут, и ни одной минуты, оказывается, Маленков не дал ему говорить.

Страшно расстроенный, но силясь сохранить внешнее спокойствие, Вахаев еще при выходе из здания ЦК начал мне рассказывать, конечно, по-чеченски, почему он был вызван:

– Маленков говорит, что в Чечено-Ингушетии каждый второй коммунист «враг народа», а каждый третий чеченец или ингуш «бандит». Он мне дал один месяц срока, чтобы я представил в ЦК список тех и других. Он не дал мне сказать ни слова и указал на дверь.

В тот же день Вахаев вернулся в Грозный, а я остался в Москве, все еще в ожидании решения ЦК. Вот уже шестой месяц как я был «резервистом» ЦК; давно начался и учебный год в вузах. Государственный Педагогический институт имени Бубнова в Москве, в котором я вел семинары, учась в ИКП, пригласил меня на кафедру по истории народов СССР, но ЦК не дал согласия. Наконец, в начале октября 1937 г. меня вызывают в ЦК и вручают путевку:

«Решением Оргбюро ЦК от 28 августа 1937 г. т. А. Авторханов командируется в распоряжение Чечено-Ингушского обкома партии. Секретарь ЦК А. Андреев. Заведующий Агитпропом ЦК А. Стецкий».

Я не знаю, почему отпал Куйбышев, не знаю также, почему направляют именно в Чечено-Ингушетию, – ведь хотя Вахаев и хотел просить об этом, но ему же Маленков не дал и рта открыть.

В полном недоумении – радоваться ли или печалиться этому назначению на свою родину, выезжаю в Грозный. Прибыл в воскресенье 10 октября. В тот же день вечером за мною присылают машину, чтобы я приехал на пленум обкома партии в заводском районе, на котором будет «важное выступление т. Шкирятова». Поскольку имя Шкирятова в делах человеческой мясорубки достойно стоит рядом с именами Сталина и Ежова, то от его «важного выступления» явно попахивает кровью. Но моя «путевка» подписана столь важными лицами – один шеф-идеолог партии, другой член Политбюро, – поэтому Шкирятов, думаю, не может быть на этот раз моим судьей. Это не уверенность, а просто самоуспокоение, которое выдает мое внутреннее состояние. Прибываю около четырех-пяти часов во Дворец культуры», где заседает пленум. Вход в зал пленума не по пропускам обкома или по членским билетам пленума, а по специальным пропускам комендатуры НКВД в том же здании. Вообще поражает чекистское наводнение – половина зала состоит из чекистов, по сторонам и между рядами стоят чекисты, на балконах сидят чекисты, за спиной президиума стоят чекисты. «Не может быть, чтобы все они охраняли только одну важную особу – Шкирятова», – думаю про себя.

Приехавший вместе со Шкирятовым из Москвы первый секретарь обкома Быков предоставляет первое слово (которое

оказалось и последним) товарищу Шкирятову. Зал замер, чекисты вытянулись, но Шкирятов был предельно краток – пропитым голосом закоренелого пьяницы он сообщил: «ЦК партии выражает всему составу данного пленума Чечено-Ингушского обкома партии свое политическое недоверие!» И доблестные чекисты сразу приступили к работе: начались аресты, в результате которых в президиуме остались Шкирятов и Быков, а в зале – лишь обслуживающий персонал. Я хорошо все это видел, ибо сидел среди приглашенных на балконе. Подавленный этим зрелищем, редким даже в ежовское время, когда людей арестовывали все-таки индивидуально, а не коллективами, я двинулся к выходу. Только я вышел и направился к машине, кто-то меня зовет. Оборачиваюсь – подходит чекист и просит меня следовать за ним в комендатуру. Заходим. Чекист сообщает новость, которую я ожидал в последние два года каждый день: «Авторханов, вы задержаны!» (какая юридическая тонкость – по новой «сталинской Конституции» нельзя «арестовать» без ордера прокурора, но можно «задержать»).

Читатель может мне поверить, что арест не произвел на меня такого уж катастрофического впечатления после того, что я видел пять минут тому назад, да еще и потому, что я психологически давно уже сидел в тюрьме (феномен: почти во всех снах я оказывался либо в подвалах НКВД, либо в бегах от преследования чекистов). Кроме того, массовые аресты стали обычным явлением жизни, и если человека, выделявшегося чем-нибудь из общей массы, не арестовывали, то как раз это считалось необычным, даже подозрительным. На такого указывали пальцем: ишь, почему его не арестовывают? наверно, продажная душа! Конечно, это было несправедливо. Может, человеку выпал лотерейный билет, как выражался Эренбург, остаться на воле, к тому же не мог Сталин арестовать весь советский народ и заменить его другим. И все-таки

какое-то волнение, очевидно, меня охватило, ибо очень ясно припоминаю: после сообщения об аресте я машинально полез в карман за папиросой, а чекисты со всех сторон набросились на меня, думая, что я полез за наганом. Довольный тем, что хоть на миг напугал чекистов, шучу, хотя в моем положении это смахивает на юмор висельника:

– Я умею стрелять только из пушки, а она в карман не лезет.

На всякий случай сначала на меня надевают медные наручники, а потом шарят по карманам, словно ищут иголку, забирают деньги, партбилет и путевку ЦК, которая на них производит не больше впечатления, чем если бы она была бумажкой от сельсовета. В это время заходит старший чин, изучающе смотрит на меня, но ни слова не говорит, забирает мои документы и, сказав своим помощникам «ждите меня», исчезает. Он долго не возвращается. Может быть, путевка ЦК все-таки «сюрприз» для них и надо получить санкцию на мой арест от Шкирятова. Я достаточно хорошо знаю биографию Шкирятова и имею некоторый личный опыт общения с ним, чтобы не поддаваться эфемерной надежде. И оказываюсь прав. Начальник наконец возвращается и дает команду: «В тюрьму его!» Меня сажают в легковой автомобиль и в сопровождении четырех отборных башибузуков везут в город, а там едем по «Проспекту революции», проезжаем мимо «Пятого жилстроя», где остановилась моя семья. Она приехала вместе со мною из Москвы и, ничего не подозревая, ждет меня на ужин; погода отличная, много публики на гулянье, около городского сада цветочницы бойко торгуют цветами, а у меня мгновенная ассоциация: «Цветы мне говорят прощай!» Уже в голове составил себе план, как вступлю в камеру, полную народа. У чеченцев был знаменитый на весь край «народный медик», лечивший душевнобольных. Лечение было очень простое: в январский мороз он делал прорубь в замерзшем Аргуне и пускал своих пациентов под лед. Иные – в

результате шока – у него вылечивались, у других, вероятно, к душевному недугу прибавлялся еще и физический. Так вот. Когда только что приведенный больной обратился к «старожилам»: «Нет Бога кроме Бога и я его пророк», – то вскочил один из пациентов и разоблачил лжепророка: «Клянусь моим величием – я сам Аллах, и пророком сюда я тебя не назначал».

Почему-то вспомнился этот анекдот (или быль?), и я решил заявить жильцам моей будущей камеры: «Асалам алейкум, милостивый и всемогущий Аллах назначил меня вашим пророком!»

Когда мы прибыли в тюрьму и надзиратель не очень вежливо толкнул меня в камеру 79, то мой новый «юмор висельника» не потребовался – камера была пустая. Зловещий признак, – если в переполненной тюрьме я удостаиваюсь чести занимать отдельную камеру. Только теперь я почувствовал тяжесть психологической нагрузки: вероятно, было около семи часов, когда я лег в кровать и довольно быстро заснул. Спал, наверное, подряд одиннадцать-двенадцать часов – просыпаюсь очень медленно, отлично помню, как в полусонном состоянии мелькнула мысль, что мне опять снился кошмарный сон, будто я в тюрьме. Осторожно, как заядлый картежник очко карты, открываю глаза: кошмар оказался действительностью – через железные решетки был виден только кусочек неба.

Не дожидаясь первого допроса, принял решение: умереть в пытках, но лжи не подписывать. Я знаю, на что иду. Однако во мне проснулся какой-то зуд самоубийства, но самоубийства руками вот этих негодяев. Я не был врагом советской власти, я, собственно, духовное дитя этой власти. Без нее, может быть, я не получил бы и высшего образования. Да, я был врагом Сталина, но врагом без вражеских действий, врагом «платоническим», врагом в мыслях, а за невысказанные

мысли даже советские законы не судят. Чтобы изложить свое решение письменно, я попросил у надзирателя бумагу и карандаш. К моему удивлению, просимое я получил без задержки. Заявление я написал на имя Андреева и Стецкого. Я помню свои основные тезисы: я был и остаюсь убежденным коммунистом; я не совершил никаких преступлений против советского государства и коммунистической партии; я знаю, что на допросах применяют методы физического воздействия, но готов скорее умереть на этих допросах, чем подписывать ложь. Таков был общий смысл моего заявления в ЦК. Конечно, я был не очень уверен, что НКВД пропустит его. Но это было неважно. Оно, собственно, было написано для чекистов, а не для ЦК.

Мне предстоит теперь рассказать, как и в каких условиях я боролся за верность своему решению. Заранее скажу, что я не собираюсь ни «смаковать» общеизвестные пытки на следствиях, ни играть в «героя», не подписавшего признаний. Многие подписывали «признания», руководствуясь принципом «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас»; иные подписывали, считая бессмысленным всякое длительное сопротивление столь безжалостной террористической машине; третьи подписывали даже без всяких пыток, когда в их камеру доставляли на носилках измученных и истерзанных подследственных, с исполосованными телами, сломанными ребрами, разбухшими ногами; наконец, были и такие, которых, как у нас в грозненском НКВД, прямо с допросов везли в тюремный морг, – туда были доставлены, в числе других, умершие от пыток бывшие председатели чеченского «автономного» правительства Мамаев и Мачукаев, члены правительства Исламов, Гисаев, Эльдарханов, бывший первый секретарь ингушского обкома партии Зязиков.

Через три дня меня вызвали из камеры в кабинет к следователю Минкаилову. Он задал мне в письменном виде один

вопрос: «Вы арестованы по обвинению, что состояли членом антисоветской националистической, контрреволюционной вредительской организации. Признаете себя виновным?» Я ответил: «Нет, не признаю». Он это точно записал, мы оба подписали протокол, и допрос кончился. Меня увели обратно в камеру. Что это могло означать? Будет все так легко и нормально? Может быть, преувеличены сведения с воли, что в стенах НКВД творится беспримерная инквизиция и что этим объясняются фантастические «признания» подсудимых на больших московских, да и на провинциальных судебных процессах? Судить об этом рано, личного опыта нет и делиться не с кем – сижу один. В Грозном были две тюрьмы: одна – «внутренняя тюрьма» НКВД в городе на реке Сунжа, другая – «внешняя тюрьма» – на окраине города. В этой «внешней тюрьме» НКВД имел свой так называемый «спецкорпус», изолированный от общей тюрьмы. «Спецкорпус» имел три или четыре этажа и до ста камер для подследственных, а весь подвал был отведен под камеры для смертников-уголовников (там люди ждали месяцами утверждения или отмены Москвой смертных приговоров). Я сидел в этом «спецкорпусе» на третьем этаже, северная сторона. Из маленького окошка моей камеры номер 79, встав на тумбочку, можно было обозревать две достопримечательности: часового на вышке и осла, который одиноко пасся на поле, вне тюремного двора.

Как бы я ни старался освоиться со своим новым положением и сохранить спокойствие, моя тюремная акклиматизация все-таки продвигалась туго, а депрессию от шока, вызванного всем происшедшим, по-настоящему я почувствовал только в одиночке. Первым признаком была потеря аппетита. Правда, у человека, только что посаженного с нормальной пищи на бурду неопределенного происхождения и на хлеб, явно испеченный в тюремной пекарне из

смеси муки с мякиной, особенного аппетита и не будет. Но не то было со мною. Я даже не пробовал тюремной пищи, по крайней мере в первые дни. Бурду выливал в парашу, но «хлеб» не выбрасывал. Я знал, что желудок очень скоро перестанет «бастовать» и пайки мне пригодятся. Через некоторое время вот этот самый, отвратительный хлеб казался мне вкуснее всех кулебяк и пирогов на встрече Нового года в ИКП!

Проходят недели, месяцы, но на допрос меня больше не вызывают. И это меня совсем не утешает, наоборот, я чувствую, чечено-ингушский НКВД все еще в поисках «материалов» на меня, хотя один из его уполномоченных Гридасов открыто заявил: «Материал на человека всегда найдется, лишь бы на нем была кавказская шапка!» (Фамилию этого типа я запомнил из-за этого «оригинального» лозунга.)

Утверждение, что «одиночное заключение – род психологических пыток», казалось мне раньше неубедительным. Какая тут разница – сидишь один или сидишь вместе с кем-нибудь: все равно ведь – сидишь. Более года одиночки была слишком высокой ценой для понимания разницы. С самого начала начальник «спецкорпуса» мне объяснил мои обязанности, как заключенного, но ни о каких моих правах он ничего не сказал. Только через год я узнал, что заключенным полагаются ежедневные прогулки, вещевые и денежные передачи с воли. Ничего этого я не знал, а не зная, не можешь ведь и требовать. Зато аккуратно водили в баню и на дезинфекцию, ибо чекисты боялись, что в сверхпереполненной тюрьме (в такой маленькой камере, как у меня, оказывается, сидело по 6–8 человек) могут появиться тифозные болезни и начнут косить всех, не считаясь с тем, заключенные это или чекисты. Четыре раза в день полагалась так называемая «оправка» – это водили в уборную. Единственное «развлечение» одиночного заключенного – это хождение по камере. Я

подсчитал, что за год я свободно обошел пешком весь Кавказ из конца в конец. Если, устав, я ложился, то надзиратель открывал глазок: «Лежать нельзя!» Так как такому приказу я не всегда подчинялся, то надзиратель однажды привел разъяренного начальника «спецкорпуса», который грубо, но толково объяснил мне разницу между тюрьмой и больницей: «Гражданин арестованный, запомните навсегда: лежат в больнице, а в тюрьме сидят! Если вы не способны понять эту разницу, то я вас закрою в карцер, а там вы можете и лежать, но разницу между тюрьмой и больницей поймете быстро!» Я, правда, еще не знал, что такое карцер в натуре, но по объяснению начальника понял, что это нечто вроде «тюрьмы в тюрьме».

Самое страшное в одиночке начинается с потери счета времени: вы довольно скоро начинаете забывать названия дней, счет числам месяца, даже и самим месяцам; о сезоне или временах года можно было судить, и то приблизительно, глядя через окошко на мой кусочек неба и земли. Однажды я спросил у одного из надзирателей, который явно выглядел человеком: «Скажите, пожалуйста, какое сегодня число и месяц?» Он пристально посмотрел на меня, словно стараясь понять, не свихнулся ли я, а потом, вместо ответа, пожал плечами. Этим жестом он меня действительно озадачил: неужели я начинаю сходить с ума? Откуда мне было знать, что надзирателям одиночных камер в их общении с нами разрешается произносить в день только три слова: подъем, оправка, отбой! Но этот надзиратель, кажется, все-таки обратил на меня внимание. Книг никаких не давали, сокамерников нет, надзиратель не хочет разговаривать, а человек ведь животное социальное, наделенное языком. Ему хочется разговаривать. Так я хожу по камере и тихо декламирую стихи, правда, неправильно, но их смысл вполне созвучен моему настроению:

Темна, темна моя дорога,
Все ночь и ночь,
Истратил я сил душевных много,
А исхода из тьмы нет,
Когда же рассвет?

(из Надсона, по памяти)

Но так как я этого «рассвета» совсем не жду, то декламирую другого поэта, Маяковского: «Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду, я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду»...

Каждый стих кончаю «рефреном», – тоже из Маяковского (привожу по памяти):

...Как астрагал охватит меня ложь,
Я сыт, я доволен судьбою,
Прошу покорно: уничтожь!

Я вижу, как надзиратель часто открывает глазок, прикладывает ухо к двери и, видимо, хочет понять, о чем это я сам с собою разговариваю. Об этом своем наблюдении он, по всей вероятности, сообщил и другим надзирателям, так как я заметил, что, когда меня водили на «оправку», не только он, но и другие надзиратели, поглядывая на меня исподтишка, держались на почтительном расстоянии. Надзиратель поймал меня и на другой «странности». Ко мне в камеру повадилась ночью делать визиты совершенно невероятная в этих условиях гостья – мышь. Я ее кормил крошками хлеба, и она со временем так привыкла ко мне, что, убедившись в том, что я не причиню ей вреда, стала подчиняться моей команде: то тянулась за ниткой с кормежкой, то поднималась на стул; но вот в одну из таких наших «игр» надзиратель поймал нас и был страшно озадачен не тем, как мышь попала сюда, а тем, что я «играю» с ней (после освобождения я моей тете, очень

любившей меня, рассказал эту историю с мышью, и потом узнал, что она с того времени перестала ставить мышеловки, а наоборот, бросала им зерна и крошки). Надзиратель, видно, решил, что я так-таки свихнулся, и, должно быть, доложил об этом начальству, иначе я не мог понять, почему вдруг ко мне явился врач, довольно пожилой армянин, и начал задавать идиотские вопросы:

– Как вы себя чувствуете в этом величественном храме?

Приняв вопрос за шутку, я ответил тоже шуткой:

– Как на седьмом небе.

Врач насторожился:

– Извольте поинтересоваться, как долго вы намереваетесь здесь пребывать?

– Извольте вам доложить, что сие от меня не зависит.

После нескольких таких вопросов я понял, куда «психиатр» гнет, и поэтому на его последний вопрос, какая самая высокая должность, которую я сейчас занимаю, ответил довольно развязно:

– Должности у меня сейчас две: я испанский король Фердинанд VIII и турецкий султан Абдурахман I.

Врач ушел, но надзиратель, кажется, остался доволен собою: после многих неудавшихся симулянтов, которые сами лезли в «дурдом», он, наконец, разоблачил доподлинного сумасшедшего, ибо нормальный «враг народа» не может называть себя сразу и королем и султаном.

Через несколько месяцев я сделал открытие, которое свело на нет психологический эффект, ожидаемый чекистами от моего одиночного заключения. Я научился перестуку, то есть разговаривать с моими соседями стуками через стену. В свое время я много читал народовольческих книг, среди которых был и такой мемуарно-литературный шедевр, как «Запечатленный труд» Веры Фигнер. Вера Фигнер была членом исполкома «Народной воли», участвовала в подготовке

покушения на Александра II; приговоренная сначала к смертной казни, она была помилована – сидела в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Она рассказывала, как заключенные связывались между собой через перестукивание. Она писала о факте, но не о технике перестукивания (или, может быть, советская цензура выкинула эти места). Мне вспомнилось это, когда после «отбоя» весь «спецкорпус» погружался в какие-то энергичные, продолжительные стуки. У стуков я уловил определенную чередующуюся «ритмичность» и «целесообразность», что исключало праздное времяпрепровождение. Я решил, что это и есть то тюремное перестукивание, о котором рассказывала Вера Фигнер. Но почему же я не поинтересовался на воле его техникой? Вероятно, я не так уж был уверен, что меня арестуют (то-то: «от тюрьмы и сумы не зарекайся»). Правильно товарищ Сталин говорил: «Беспечность – идиотская болезнь наших людей». Это теперь я испытываю на себе. Весь корпус живет интенсивной внутренней жизнью, а я, бестолковый, вместо того, чтобы хлопать по стене, хлопаю ушами. Когда же мои оба соседа справа и слева начали очень настойчиво стучать ко мне, то я, окончательно убедившись, что это и есть перестукивание, задумался над его расшифровкой. Немцы говорят: «Нужда делает находчивым». Нужда была крайняя – найти ключ! Оказалось, ничего нет проще этого. Мое первое же предположение было: число стуков соответствует порядковому номеру букв в русском алфавите. Один стук – это «А», десять стуков – «К», двадцать семь стуков – это «Я». Решив проверить себя, я постучал своему левому соседу: 10, 18, 14, 3, 9 («кто вы?»), немедленно последовал ответ в стуках: 14, 24, 1, 6, 3, и когда под каждым числом, занесенным мною на стенку, я поставил буквы, то мне показалось, что прямо из стены высунулся знакомый мне человек: Ошаев! Вероятно, Архимед, выскочивший из ванны и голым побежавший домой, повто-

ряя свое знаменитое «эврика!» («нашел!»), когда он решил задачу об определении количества золота в жертвенной короне тирана Сиракуза, так не радовался своему открытию, как радовался я теперь: я победил одиночку!

Я так основательно и энергично включился в перестукивание, что решил провести некоторую «рационализацию» в «стенной азбуке». Это было через года два, когда я, выучившись у одного заключенного телеграфиста (в тюрьме ведь были представлены абсолютно все профессии, часто в лице своих самых талантливых представителей) «азбуке Морзе», провел радикальную реформу – мы начали перестукиваться по Морзе. Наша «производительность труда» по перестуку и его качество сразу выросли более, чем в два раза: раньше, чтобы спросить, «кто вы?» – надо было сделать в общей сложности 54 стука, а при Морзе – только 25.

Прямым следствием овладения техникой перестука был приток ко мне богатой информации о методах пыток. На мой соответствующий вопрос сосед слева (Ошаев) ответил: «Ад», сосед справа (Зязиков): «Инквизиция», сосед снизу (Окуев): «Избили до полусмерти». При дальнейшем расширении зоны моего перестука (а я уже связывался почти с каждой камерой моего ряда сверху донизу, включая и подвал) я узнал о погибших на пытках. В этих условиях я начал завидовать тем, для которых допросы кончились: вот этим погибшим.

Размах массовых арестов, степень озверелости и разнообразие методов физических и психологических пыток достигли своей высшей точки в 1938 г. Свежеарестованные сообщали, что, ввиду нехватки мест в двух грозненских тюрьмах, все гаражи Грознефти, здания пожарных команд, часть казарм, даже дом для сумасшедших приспособлены под тюрьмы и заполнены арестованными. Я еще на воле знал, что действуют суды четырех типов. Первый – «Чрезвычайные тройки» (состав: местный нарком внутренних дел плюс

первый секретарь обкома и прокурор республики). «Тройка» судит заочно, по спискам и без следствия, имеет право приговорить к расстрелу, как к высшей мере, и к 10 годам лагеря, Приговоры не подлежат обжалованию и немедленно приводятся в исполнение. К высшей мере приговаривают даже еще находящихся на воле, которые, разумеется, и понятия не имеют, что они смертники. Сейчас же после ареста таких ночью ведут в расстрельное помещение в подвале НКВД и их там группами расстреливают под грохот заведенного грузовика во дворе (так были убиты основоположники чеченской литературы Саид Бадуев, Шамсудин Айсханов, Ахмет Нажаев, Абади Дудаев). Массовые расстрелы большого числа людей устраивали у подножья Терского хребта (об этом потом). Семьям осужденных «тройкой» к расстрелу давали стандартные, везде по СССР одинаковые справки: «Осужден на десять лет без права переписки». Говорят, эту формулу предложил сам Сталин, объяснив, что за 10 лет человека забудут, а если через 10 лет кто-нибудь потребует справку, так скажите: осужденному продолжили срок еще на 10 лет. Был второй тип суда – военные трибуналы военных округов (для суда над чекистами существовали военные трибуналы чекистских войск). Ему были подсудны дела об измене родине и шпионаже.

Третий тип суда – обыкновенный областной суд и Верховные суды автономных и союзных республик.

Четвертый тип суда – Особое совещание при центральном НКВД (оно имело право давать заочно сначала до восьми, потом до десяти, под конец до 20 лет, именно тем лицам, которым даже любого типа советский нормальный суд не может вынести мало-мальски обоснованного приговора).

Когда меня взяли глубокой ночью на второй допрос из внешней тюрьмы во внутреннюю тюрьму НКВД, то я был хорошо осведомлен о том, что мне предстоит. Везли меня в легковом автомобиле, посадив по сторонам двух тяжеловесов,

оказавшихся, как я потом узнал, курсантами из харьковской школы НКВД. Впереди с шофером сидел тот, кто торжественно надел на меня наручники, – мой следователь младший лейтенант Кураксин. Не скрою, что его столь низкий ранг немножко задел меня: я все-таки «красный профессор», при выпуске, по приказу самого наркома обороны Ворошилова, мне было присвоено звание полкового комиссара запаса, сижу в одиночке, как важный «враг народа», а следователь у меня – «младший лейтенант»! (Тогда у чекистов были странные ранги: майор НКВД равнялся генерал-майору армии, поэтому младший лейтенант НКВД равнялся капитану армии.) Мой следователь, упитанный, низкорослый, круглолицый и с прической а ля Наполеон, внешне действительно походил на Наполеона, но французский император был смуглый, а этот светлейший блондин, которого Гитлер, не задумываясь, записал бы в свою северную «арийскую расу», да еще повысил бы в чине на несколько рангов в своем пресловутом Гестапо, бывшем лишь слабой копией советской инквизиции. Несмотря на то, что Кураксин у меня два года был следователем, я никак не мог определить уровень его образования, – вероятно, оно не было выше той харьковской школы чекистов, где учились его помощники-курсанты. После какой-то стычки во время допроса Кураксин мне грубо заметил:

– Подлец, ты не римский царь и не германский король, веди себя как арестант.

– Вас плохо учили, в Риме были цезари, а в Германии – кайзеры. Хотите, могу вам перечислить тех и других, – похвалился я своими свежими знаниями перед следователем в присутствии его помощников-курсантов. И поступил, безусловно, глупо, ибо я этим спровоцировал его на надбавку мне новой, повышенной порции к уже положенным пыткам.

А начал допрос Кураксин очень доброжелательно, чуть ли не по-дружески:

– Сопротивление вредно для здоровья. Мы вовсе не хотим вас уничтожить. Рука руку моет: вы честно расскажете о вашей контрреволюционной деятельности, а мы сохраним вам жизнь – получите только срок, а там докажете, как профессор Рамзин, что вы честно искупили свою вину перед страной.

После такого доброжелательного введения Кураксин посадил меня за отдельный стол, положил на стол целую стопу бумаги и несколько отточенных карандашей и сказал:

– Перечислите имена всех людей, которых вы когда-нибудь встречали, видели и с которыми вы разговаривали.

– Да ведь это долго и почти невозможно всех вспомнить, – был мой наивный ответ.

Следователь резонно отвел мое сомнение:

– У вас неограниченное время писать и вспоминать. Начните писать.

Первый вопрос, который у меня возник в уме: «Зачем ему нужен такой список?» (Потом только я узнал, что это был стандартный метод: Сталин велел брать показания даже на членов Политбюро, которых он и не собирался арестовывать, но мог шантажировать этими показаниями – так, я читал в «Обвинительном заключении» у сокамерника Рохблата, бывшего начальника треста Грознефть, что у них в Москве на даче наркома нефти Л. Кагановича было контрреволюционное сборище под руководством самого Кагановича.)

Сам себе я объяснил это неправильно: я решил, что следователь хочет установить, в какой среде я вращался («скажи мне, с кем ты водишься – и я скажу, кто ты такой»). Поэтому в свой список я включал только отборных сталинцев (сделав исключение для троцкиста Е. Эшба) или совершенно лояльных к советской власти людей, в том числе профессоров и преподавателей всех школ, в которых я учился, всех студентов, с которыми учился, всех девушек, с которыми когда-либо знакомился. Я не могу сказать, сколько имен у меня набра-

лось, наверное, их было не меньше тысячи. Когда я кончал список, Кураксин, не читая его, в конце собственноручно написал: «Все вышеперечисленные лица мне известны как члены антисоветской, контрреволюционной, террористической, шпионской, вредительской, диверсионной организации, в которой состоял и я сам, в чем и подписываюсь». Когда я это прочел, у меня просто помутилось в голове – мое самое худшее мнение об НКВД было превзойдено новым невероятным открытием: оказывается, человеку недостаточно наговорить на самого себя, он еще должен потащить за собой одной своей подписью сотни или тысячи других людей, единственная вина которых в том, что они были с ним знакомы. Что мое помутнение все еще продолжалось, показывал заданный мною вопрос: я в списке назвал сотни и сотни честных советских людей, среди которых много преданных коммунистов, лояльных советских профессоров, талантливых литераторов, есть там и бывшие мои школьные учительницы или просто знакомые девушки, не имеющие никакого отношения к политике, – так вы хотите, чтобы я не только себя, но и этих людей объявил «врагами народа»? Вы понимаете, что толкаете меня и себя на преступление, которое карается советским законом?

Эта моя тирада не произвела на Кураксина ни малейшего впечатления. Он, начинающий карьерист, несомненно, лучше знал цену советскому закону, чем я, уже кончивший карьеру «красный профессор». Он повторил тогдашнюю стандартную формулу чекистов: «Советские законы писаны не для врагов!»

Тогда я тоже повторил свое заявление в ЦК, если не оригинал, то копия которого, безусловно, лежала в его папке, дополнив его новым опытом:

– Гражданин следователь, если я поставлен вне закона, то разрешите вам заявить следующее: в этом мире нет силы, которая могла бы заставить меня поставить свою подпись под

ложным показанием. Вы можете ломать мне все ребра одно за другим, отрубать части тела, отрезать язык, выколоть глаза, но моей рукой вы можете подписать вашу ложь лишь после того, как вы мне отрубите голову. Запомните это!

Кураксин меня не прерывал, презрительно наблюдая за моим волнением, иногда строил ехидные гримасы, а про себя, вероятно, думал – «видел я таких арапов – скоро запоешь у меня другую песню». В этом духе он и высказался:

– В этом кабинете каждый «враг народа» начинал с таких героических заявлений, а через несколько дней, как миленький, подписывал все, чего мы от него требуем. Даже бывший командующий Московским военным округом Муралов и то выдержал только семь суток. Вы же не Муралов?

– Да, я не Муралов, именно поэтому вы и не получите моей подписи под этим списком.

Я не столько убеждал в этом Кураксина, сколько укреплял самого себя в принятом ранее решении. Я был в состоянии, близком к трансу или самогипнозу, – чувство, близкое к помешательству. Единственно, чего я боялся, – это того, что у НКВД, вероятно, есть какие-то волю ослабляющие химические препараты (о них много говорили в Москве в связи с московскими процессами) и якобы при их помощи легко заставляют людей подписывать ложные показания.

Кураксин приступил к «допросу». Первым делом он поставил меня на «стойку», к стене, в углу. Результат такого допроса начал сказываться скоро. Во рту пересохло, мучает жажда, но воды не дают. Начали отекать ноги, усилилось головокружение, часто падаю, теряя сознание, но тогда «атлеты» из харьковского чекистского училища так старательно бьют меня по наиболее чувствительным местам, что довольно быстро приводит в сознание. Это повторяется по несколько раз в сутки, чем дальше, тем чаще. Придумал маленькую хитрость: часто проситься на «оправку», хотя двигаться с раз-

бухшими, раздувшимися ногами адски больно, но это все-таки какая-то пауза или иллюзия таковой, однако атлеты заметили, что я прошусь на «оправку», не имея в том потребности (как ее иметь, если не дают ни есть, ни пить), и отказывались выводить меня. В моем полусознании данный метод допроса продолжался, по крайней мере, около четырех-пяти суток, дальнейшего я не помню, ибо никакие избиения меня уже не приводят в полное сознание, мне кажется, я их вообще не чувствовал. Когда я пришел в себя – увидел, что лежу на цементном полу в карцере. Только теперь последствия «допроса» дают о себе знать по-настоящему: тело в сплошных ранах, тяжкие боли. Страшит меня все-таки другое – не подписал ли я свой список. Через дня два или три узнаю, что я ничего не подписал, ибо повторяется та же процедура «допроса», которая кончается тем же результатом – в сознание я пришел на этот раз на больничной койке в тюремной больнице. Видавший виды уже знакомый тюремный врач-армянин теперь не интересуется моим самочувствием в этом «величественном храме», а просто спросил: «Молодой человек, зачем себя доводить до этого состояния?», – будто это я сам себя избил, а не его коллеги, форму которых он носил. В больнице я по существу очутился также в одиночке – палата, в которую меня положили, представляла собой маленькую кладовую. В ней лежал только один человек в таком ужасающем состоянии, что при виде его страданий мне показалось, что мой Кураксин – сущий гуманист. Голова, руки, ноги у него были забинтованы, лицо в ранах. Говорить он не мог, беспрестанно стонал, но, кажется, был в сознании, ибо иногда произносил еле-еле слышное: «Аятоллах», «Аятоллах» – это молитвенная формула мусульман-шиитов с призывом о помощи к Аллаху и Али. Значит, мой сосед был азербайджанец или перс. К рассвету он перестал стонать. Я с великим трудом подошел к его койке, чтобы спросить его,

кто он и за что сидит, – но уже было поздно, он умер. Его несколько часов нарочно не выносили, вынесли, когда я отказался есть. Я тогда и не догадывался, что Кураксин посадил меня с умирающим от пыток, чтобы убедить в бесполезности сопротивления. Имел ли право следователь избить подследственного до смерти? Мой опыт показывает, что он этого права не имел и поэтому все время «дозировал» пытки таким образом, чтобы подследственного унесли из кабинета живым, зато он не отвечал, если такой избитый «нормально» умирал в «нормальных условиях» – в больнице. Отсюда постоянная «кооперация» между следователями и чекистскими врачами. Врачи оформляли справки о причинах смерти своих пациентов с ссылкой на всякие общие болезни (инфаркты, кровоизлияния в мозг, скоротечные рак или чахотка). Тем же, которые выдерживали первые пытки, врачи давали «дружеские советы» не подвергать себя новым пыткам, ибо организм в таком состоянии, что их не выдержит.

Через неделю, с таким напутствием моего врача, меня вернули в мою одиночку. Это было неожиданно – не на пытки, а в камеру. Только в сентябре или октябре 1938 г., через семь месяцев после последнего допроса, меня повезли на новый допрос. Вот на этом допросе мне впервые предъявили и юридическое обвинение: статья 58, пункты 1А, 2, 6, 7, 10, 11 УК РСФСР. В расшифровке это означало, что я обвиняюсь в измене родине (высшая мера наказания – расстрел), в участии подготовки вооруженного восстания (расстрел), в шпионаже (расстрел), во вредительстве (расстрел), в ведении контрреволюционной антисоветской пропаганды (10 лет), в участии в контрреволюционной организации (10 лет). Теперь меня не поставили в угол, а посадили на стул. Итак, меня ждут четыре расстрела и дважды по 10 лет. В этой связи никогда не забуду, с каким милосердным предложением снизошел ко мне Кураксин: «У вас самый страшный пункт – это

пункт 1А, я его вам сниму, если вы признаете свою вину по остальным пунктам».

– Гражданин следователь, самый страшный расстрел для меня – это первый расстрел, на остальные расстрелы мне начихать.

За эту дерзость меня ударом сапога сбросили со стула.

В контрреволюционных организациях я оказался сразу в двух: в Чечено-Ингушетии я входил в центральный повстанческий штаб в Грозном, а в Москве – в Московский межнациональный буржуазно-националистический центр из представителей народов Кавказа, Туркестана и Татаро-Башкирии. «Межнациональный центр» ставил своей целью координацию контрреволюционной работы местных повстанческих штабов. В чечено-ингушский повстанческий штаб входил весь обком партии (около 130 человек, во главе с секретарем обкома партии Вахаевым и председателем Совнаркома ЧИАССР Горчхановым), то есть его возглавляли те самые чечено-ингушские руководители, которые еще года два тому назад чуть было не загнали меня сюда, в НКВД. Когда я напомнил это Кураксину и спросил его, где же тут человеческая логика, чтобы люди, готовые съесть друг друга, составили дружеский союз и организовали заговор против советской власти, ответ Кураксина показал мне, что он вполне овладел сталинской диалектикой:

– Троцкий и Бухарин в свое время тоже выдавали себя за непримиримых врагов, а теперь выяснилось, что все это было внешней маскировкой их совместной контрреволюционной работы. В том-то и дело, что вы, «враги народа», хитры и коварны. Вы с Вахаевым и Горчхановым разыгрывали в Москве представление...

– Значит, мы, молодые неопытные работники, обвели вокруг пальца выдающихся деятелей партии – Ежова, Ярославского и Шкирятова?

Я еще не докончил фразу, как помощник Кураксина со всего размаха заехал мне линейкой по голове. Этот «аргумент» показался мне более веским, чем тарабарщина Кураксина о мнимом союзе между Троцким и Бухариным.

В «Московский межнациональный центр» входило около 20 человек, преимущественно те националы, которые работали в Москве. Возглавлял центр заместитель председателя Совнаркома РСФСР первый революционер Казахстана Рыскулов, который был когда-то заместителем Сталина по Наркомнацу. Остальные члены были так подобраны, чтобы в «Межнациональном центре» были представлены все республики советского Востока. Чечено-Ингушетию должен был представлять я, между тем из состава мнимого центра я лично знал, кроме кавказцев (Эшба, Коркмасов, Тахо-Годи, Коста Таболов), только Рыскулова, с которым встречался на Кавказе, а в Москве на одном из совещаний в ЦК по обсуждению вопроса о переходе с латинского на русский алфавит в советских мусульманских республиках. Когда Кураксин предъявил мне список «Межнационального центра» и предложил подчеркнуть фамилии тех из его членов, с которыми я знаком, то я, наученный опытом со своим «списком знакомых» на предыдущем «допросе», уверенно соврал: «Никого из них я не знаю, эти имена знакомы мне лишь по печати». Кураксин, в свою очередь, столь же уверенно заметил:

– Этого вполне достаточно, чтобы вы были с ними связаны по контрреволюции.

Этот цинизм, это откровенное бесстыдство сначала обескуражили меня, но потом я нашелся:

– Гражданин следователь, еще раз: где тут человеческая логика – ведь по газетам мне знакомы японский микадо, абиссинский негус и римский Папа – достаточно ли этого, чтобы я был с ними связан по контрреволюции?

Вместо ответа последовал второй «аргумент»: атлет из харьковского училища своим уже хорошо натренированным

кулаком нанес мне по лицу такой оглушительный удар, что я с кровью и слюной выплюнул свой первый зуб на допросе. Эти два «аргумента» заставили меня заявить, что если вопросы и ответы не будут запротоколированы, то я вообще отказываюсь отвечать на вопросы. Вот на этом месте на сцене появляется новый следователь, который чередуется с Кураксиным. Фамилии его я не запомнил, но он показался мне симпатичнейшим человеком, который в это несимпатичное учреждение попал по недоразумению (я не сразу догадался, что это была психологическая игра на контрастах). Он мне сообщил новость: его коллеги повезут меня в Москву на очные ставки с другими членами «Межнационального центра», единодушно показавшими на меня как на активного члена «центра». В ваших же интересах, сказал он, самому признаться, прежде чем другие начнут вас разоблачать. Саморазоблачившиеся получают только сроки, а кто упорствует, того расстреливают, боюсь, что Кураксин будет только рад, если вы не признаетесь, а я лично хочу спасти вас, ибо не верю, что вы окончательно потеряны для партии и советской власти... – и все в этом духе.

Если Кураксин вздумал прельстить меня перспективой кающегося Рамзина, то новый следователь утешал меня тем, что я на московском процессе «Межнационального центра», сыграв роль Карла Радека, выиграю, как и Радек, свою жизнь. Он даже перефразировал римлян: «Лучше быть в Москве последним, чем в Грозном первым» – ведь рядом с вами там будут сидеть всем известные националистические зубры, а вы молодой и воспитанник советской школы, – все это зачтут в Москве в вашу пользу. А здесь, на республиканском процессе, вы будете первым, и первым же вас расстреляют.

Только теперь я раскусил, что между моим «симпатичнейшим» новым следователем и Кураксиным существует просто «разделение труда». Я ему не дал этого понять, чтобы

не лишиться привилегий, которыми я пользовался при его дежурстве: он не разрешал бить меня, да еще угощал папиросами.

Следователи ночью не дежурили, если не предстояли «допросы», то есть избиения. В одну из таких ночей я страшно напугал харьковского атлета. Случилось это так: я уже сидел третьи сутки, вижу, мой атлет каждую ночь увлеченно читает «Правду» и часто что-то тщательно записывает в тетрадь; во мне заговорило любопытство, и я решил спровоцировать атлета:

– «Правда», вероятно, пишет об очередном силосовании ботвы, а вы с таким увлечением читаете, как будто это криминальный роман!

О, надо было видеть, как его взорвало:

– Ты, матерый враг народа, смеешь называть историю славной коммунистической партии «силосованием» и «криминальным романом», – и во всеоружии своих боксерских кулаков бросился ко мне, но потом, одумавшись (бить он имел право только в присутствии следователя), сел за стол и начал составлять на меня протокол: «Подследственный «враг народа» такой-то назвал «Историю ВКП(б). Краткий курс» «силосованием» и «криминальным романом»...»

Однако я его быстро привел в чувство:

– Если вы этот протокол сейчас же не уничтожите, то я скажу следователю, что вы давали мне по ночам читать «Правду», и он мне поверит, ибо иначе я не мог бы знать, что в «Правде» с продолжениями печатается история партии. Я даже могу пересказать ему новую историю, ведь я догадываюсь, как она написана.

Мой атлет прикусил язык и уничтожил свой протокол. Как мне казалось, на очередных «допросах» бил тоже не так усердно.

Из всех методов пыток бессонница пользовалась, пожалуй, у следователей самой большой популярностью – она со-

четала в себе сразу как физические, так и психологические пытки. К тому же следователь не рисковал, что его подследственный умрет на пытках бессонницей, как это часто случалось при «перевыполнении плана» на чисто физических пытках. Бессонница на «стойке» была более тяжелой пыткой, чем бессонница сидя, но она так быстро выводила человека из строя, что вот эта ее скоротечность лишала следователя достижения своей главной цели – подавить волю подследственного раньше, чем он его подавил физически. Ведь человек, доведенный до бесчувствия, совершенно бесполезен для следствия. Бессонница на стуле в этом отношении более эффективная пытка для достижения целей следователя. Я совершенно точно запомнил, что я беспрерывно, кроме времени на «оправку», сидел на стуле семь суток («норма Муралова», но я все-таки побил его рекорд). Только на восьмые сутки я потерял сознание. Через пару дней я научился спать, не закрывая глаза. Уже десять минут такого сна давали существенное облегчение, если, конечно, в эти десять минут сам охранник вздремнул или увлекся чтением «Краткого курса». Иначе он подходил, смотрел в глаза, стеклянные глаза – получай очередной удар по голове.

Чуть было не заработал я на следствии новый пункт из 58 статьи – пункт восьмой за покушение на следователя. Бессонница сопровождается бесконечными галлюцинациями. Словно по киноэкрану, перед вашими глазами проходит вереница людей самых разных народов, горы, морские берега. В одну из таких галлюцинаций мне показалось, что сидящий за столом помощник следователя Минкаилов только что получил телеграмму из Москвы о немедленном моем освобождении, а он, чтобы скрыть ее от меня, засовывает ее куда-то в ящик стола. Я спрашиваю, почему он прячет эту телеграмму. Он не отвечает. Тогда я подхожу к столу и требую, чтобы он показал ее мне. Он грубо отталкивает меня и приказывает:

«Садись!». Тогда я моментально хватаю со стола ту палку, которой меня били, и со всей силой, которая у меня еще осталась, бью ею по голове помощника следователя.

Скоро появляются «атлеты» и начинают «обрабатывать» меня. Это очень скоро вернуло меня от галлюцинации к действительности. Это кажется невероятным, но описанная сцена, реальная или фантастическая, осталась в моей памяти навсегда. Как я уже упомянул, на восьмые сутки я окончательно потерял сознание. Не знаю, старались ли приводить меня в чувство. Сознание вернулось ко мне, как и после прошлого «допроса», в карцере.

Я не знаю, сколько дали мне спать, но проснулся вполне выспавшимся и не на полу, а на соломенном матрасе. Если не говорить о пуще прежнего разбухших, одеревенелых ногах, бесчисленных кровоподтеках, невероятном шуме в ушах и ералаше в голове, я считал, что на этот раз отделался относительно легко. В том-то и была загадка: каков же будет следующий прием или я все-таки должен сдать полную «норму» бессонницы – 10 суток. Хочу отметить, что пытки эти были не самые тяжелые, поэтому не знаю, что со мною было бы, если бы меня подвергали еще более тяжелым пыткам, формы и методы которых были так многочисленны и разнообразны (в своем «ГУЛаге» А. Солженицын насчитал их до 52).

Какими дилетантами казались мне мастера из Священной испанской инквизиции, которыми возмущался Чернышевский («Эстетические отношения искусства к действительности») из-за того, что они дошли до такой жестокости при допросах еретиков, что не давали иным из них спать подряд трое суток! Смешным кажется, по сравнению со Сталиным, и главный инквизитор – Торквемада, уничтоживший за 18 лет всего лишь 10 тысяч человек, а на смертном одре отклонивший предложение священника простить своим врагам: «У меня нет врагов, я их всех при жизни уничтожил», – сказал он.

Однако меня ожидало новое испытание, под шоком которого я провел долгие годы своей жизни. Травмы физические, если уж вас действительно не сделали калекой, проходят быстро, а травмы психические, связанные с тяжелым нервным потрясением на основе воздействия на вас реальных сцен ужасающей человеческой трагедии, остаются навсегда.

Через несколько дней в карцере меня посетил начальник секретно-политического отдела (СПО) лейтенант (по-армейски значит – майор) Левак. Это был человек, напоминающий хищника, или хищник, напоминающий человека, словом – людозверь. Каждый день он по несколько раз врывался в кабинет следователя и, если заставал следователя за избиением подследственного, то становился прямо против избиваемого и с наслаждением садиста начинал командовать: «Еще, еще, в бок, в морду, вниз...» Потом, бросив следователю: «Выбей из него показания или дух», – летел в следующий кабинет.

Вот этот самый лейтенант Левак явился в мой карцер и сказал мне, что сегодня решается моя судьба и решают ее два человека: нарком майор (по-армейски – генерал-майор) Иванов и вы сами. «Собственно, решаете свою судьбу вы: послушаете наркома – вы спасены, не послушаете – пеняйте на себя!»

После такой нотации он повел меня к Иванову. Я с Ивановым познакомился на заседании бюро Чечено-ингушского обкома летом 1937 г., когда я там делал информационный доклад о своем участии на совещании ЦК в связи с переходом на русский алфавит. Не знаю, какое я произвел тогда впечатление на него (теперь мой арест показывал, что оно было отрицательное), но он на меня – никакого, ибо он не вымолвил ни одного слова на протяжении всего заседания (интересно заметить: хотя с начала тридцатых годов стало законом вводить шефов политической полиции в состав бюро обкомов, крайкомов и ЦК республик, но им не рекомендовали

выступать на их заседаниях). Нарком сидел за столом, пил кофе, лениво листал какие-то бумаги (может быть, мое дело). Лейтенант доложил, что привел меня. Предложив мне сесть, Иванов спросил, почему я не даю показаний. Я повторил свой обычный ответ: не виновен. Иванов посмотрел на часы и сказал:

– Сейчас шесть часов вечера. Я вам даю время подумать до 12 часов ночи. Или вы решитесь дать искренние показания следствию и покаяться в своем преступлении, тогда я вам гарантирую жизнь, или вы будете и дальше упорствовать, тогда ровно в двенадцать я подпишу приговор «Чрезвычайной тройки» о вашем расстреле и он немедленно будет приведен в исполнение.

И, не дав мне сказать ни слова, Левак увел меня обратно в карцер.

Когда вопрос о смерти был сформулирован в столь решительном ультиматуме и на раздумье давались не дни, а часы, то я по-настоящему почувствовал весь ужас своего положения. Ведь говоря, что я лучше умру, но не дам показаний, я все же где-то в глубине подсознания таил надежду, что не умру. Ужас состоял еще в том, что угрожал мне смертью не следователь, а сам председатель «Чрезвычайной тройки», наделенной экстренным правом по своему выбору расстреливать людей. Следователь может только блефовать и бить, а наркому зачем делать это, когда он может убить? Если даже он блефует, чтобы навести на меня страх, то этой цели он уже достиг: мною овладело то непонятное оцепенение, которое овладевает гипнотизируемым. Гипнотическая сила воздействия Иванова на меня объяснялась моей осведомленностью о его абсолютной власти: жить или умереть мне сейчас зависело исключительно от него. Но я знал и другое: если я подпишу требуемые от меня показания, то меня наверняка расстреляют, если же я откажусь и в моем следственном деле не окажутся подписанные мною показания о моей контрре-

волюционной деятельности, то я могу продолжать верить в чудо спасения, поскольку я был не из рядовых советских людей, которых расстреливал Иванов просто по спискам и без «чистосердечных показаний», а номенклатурным работником ЦК; этому ЦК тоже надо сообщить, что я сам себя признал врагом. (Кураксин на допросах как-то необдуманно выдал мне, как уже упоминалось, один секрет: «Мы два раза ставили перед ЦК вопрос о вашем аресте, но нам тогда не разрешили», – вот это вселяло надежду, что, вероятно, и расстрелять меня не так просто.)

Тем временем в моем сознании каждый час летит с быстротой секунды («радость ползет улиткой, у горя бешеный бег», – как сказал Маяковский). Срок ультиматума, должно быть, давно прошел, но палач все-таки не показывается. Уже далеко за полночь в карцер входят Левак, Кураксин и тюремный врач. Врач подходит, щупает пульс и предлагает показать язык. Когда он сказал: «Все в порядке» («ритуал подготовления к казни», – промелькнула мысль), Кураксин надел на меня наручники, и меня повели, но не в расстрельное помещение, о котором я много слышал, а во двор и посадили в закрытый брезентом грузовик. В нем еще несколько арестованных, на каждого арестованного по два охранника. Грузовик выезжает со двора, и нас везут в неопределенном направлении – куда же? Во внешнюю тюрьму? На вокзал для этапа? Или, на самом деле, на расстрел в лесу, в горах? Первые два варианта уже отпали – нас везут слишком долго. Наконец грузовик останавливается. Слышим: наш грузовик не один, останавливаются и другие машины, Через некоторое время начинают выгружать из всех грузовиков людей – человек сто или около того. У всех руки связаны сзади. Начинает рассветать, и я вижу, что мы находимся у подножья Терского хребта. Я хорошо знаю эту местность: правее, километрах в двадцати, идет дорога из Грозного в Старый-юрт, а дальше на Терек, куда я ездил много раз. Бросалось в глаза, что эта

местность огорожена и ее назначение никому не известно, но люди рассказывали, что здесь сооружен питомник для разведения цветов, однако говорили также, что здесь создали стрельбище чекистских войск.

Нас сразу сплошной цепью окружают солдаты с винтовками со штыками, будто они сию же минуту бросятся в штыковую атаку против людей со связанными руками. Нас ставят в строй в две или три шеренги, потом начинается медленное движение, словно похоронная процессия, в сторону небольшой горной долины. Когда, достигнув пункта назначения, чеченцы и ингуши увидели большую свежевырытую яму, началась, как по команде, молитва: «Аллах акбер», «Лаилахаэль-Аллах» – «Бог велик», «Нет Бога, кроме Бога». Ко мне быстро подбегает лейтенант Левак: «Еще не поздно, если подпишете признание, мы вас помилуем». Я не знаю, что я ответил и ответил ли вообще, но помню, как капитан Алексеенко, заместитель наркома, начал читать приговор «тройки». Ему не дали дочитать: чеченцы и ингуши при криках «гяуры, гяуры, газават, газават» сами кидаются на штыки, а в этот миг лейтенант Левак резким броском очутившись рядом (я был поставлен крайним у ямы), вытолкнул меня из строя. Может, прошли секунды, как раздалась громкая команда: «Огонь!». Оглушительный залп разом скосил всех: и тех, кто бросался на штыки, и тех, кто недвижимо стоял у ямы. Тут же появились три новые команды: одна, чтобы не возиться с врачом для освидетельствования наступления смерти, пристреливала почти каждый труп из револьвера («социалистический гуманизм» – нельзя хоронить живого человека); другая тащила за ноги трупы и бросала их в яму; третья команда засыпала яму. Социалистический конвейер массовых казней был в высшей степени рационализирован, работал четко, дешево и следов не оставлял, как газовые камеры нацистов. Через пять минут наши грузовики двинулись в город, чтобы на рассвете

следующего дня привести сюда новую партию арестантов, осужденных «тройкой» к смерти.

Вероятно, никогда не будет известна точная цифра людей, убитых по приговорам «троек» по всему СССР, тем более, что они в документах партаппарата и НКВД фигурировали не как убитые, а под кодовым термином, как «*изъятые* социально-враждебные элементы» (этот кодовый термин, как и «Endlösung» нацистов для евреев, одинаково мог означать как изъятие из общества, так и изъятие из жизни). Но я хорошо помню цифру, которую вывели бывшие ответственные чечено-ингушские работники на основании данных самих же чекистов: за время действия «Чрезвычайной тройки» НКВД с середины 1936 и до конца 1938 года по Чечено-Ингушетии было расстреляно по приговорам «тройки» около 80 тысяч человек. Это очень высокая цифра для маленького народа. Однако высокой была цифра жертв инквизиции и по стране. Так, число расстрелянных за 1935–1940 годы по всему СССР – считается около семи миллионов человек (А. Антонов-Овсеенко. Портрет тирана. 1980, с. 26).

Почему же меня оставили в живых? Левак объяснил это милостью советской власти и тем, что я не присоединился к «восстанию смертников». Выходило, что порядочный «враг народа» должен не протестовать против расстрела, а кричать перед смертью, как командарм Якир, «Да здравствует товарищ Сталин!» Ведь официальная мораль режима беспрецедентна в своем коварстве: тебя убивает власть, чтобы твои дети выросли счастливыми и шагали по очищенной от таких сорняков, как ты, дороге к светлому будущему. Левак так и сказал мне: «Мы убиваем одних, чтобы другие жили лучше».

Конечно, я тогда не мог знать, что тот кошмар, который я только что пережил, входит, как один из элементов, в систему психологических пыток НКВД. Не мог я думать и о том, что это – повторение тех банальных сцен из криминальных

романов, когда приговоренный к смерти получает помилование за какие-нибудь секунды перед казнью. Человека, которого лишь мгновение отделяет от физической смерти, но который мысленно уже на том свете, ничем так не выведешь из равновесия, как вытолкнув его из предназначенной ему смерти. Так вытолкнул меня из нее Левак, вытолкнул и вывел из равновесия. От несостоявшейся смерти я получил такой душераздирающий шок, который иначе не назовешь, как чувством страшнее смерти. Этот душевный шок преследовал меня постоянно и наяву, и во сне все мои последующие тюремные годы. Наверно, такова была и цель чекистских «психологов»: сломить душевно, чтобы сделать податливым. В моем случае, – могу засвидетельствовать это с внутренним удовлетворением, – чекисты достигли противоположного: без трагической сцены массовых убийств у Терского хребта, в уме помноженной мною на такие же сцены во всех уголках советской империи, я, наверное, свои последние дни доживал бы в качестве покорнейшего пенсионера у наследников Сталина.

Возвращенный в свою одиночку прямо с этих убийств, я, вспомнив «Аннибалову клятву» Герцена и Огарева на Воробьевых горах, сказал себе: «Данная политическая система самая проклятая из всех тиранических систем в истории человечества. Если мне суждено еще жить на свете, то эта жизнь будет посвящена борьбе с советской тиранией всеми доступными мне средствами. Аминь».

15. Второй визит Бутыркам

«Психологи» из НКВД, убедившись, что я не любой ценой хватаюсь за жизнь, резко изменили тактику, чтобы добиться все же своей цели, если «не мытьем, так катаньем»: я начал получать передачи, каждую неделю мог пользоваться ларьком, каждый день меня выводили на прогулку и, совсем неожиданное: мне разрешили получать книги из тюремной библиотеки (потом только я узнал, что эти «привилегии» положены по закону и что ими пользуются все заключенные в общих камерах). Что же касается следственного процесса, то меня перестали подвергать физическим пыткам. Все это предшествовало моему второму «свиданию» с наркомом Ивановым. Иванов был на этот раз тошнотворно веж лив, силился показаться искренним, что ему было трудно, а для меня неубедительно. Его первые же слова были: «Благодарите партию и советскую власть, что я вас помиловал. Я решил дать вам возможность доказать, что вы к нам попали по ошибке. Партия вам дала высшее образование, чекисты вам сохранили жизнь – теперь вы должны доказать, что ни партия, ни чекисты в вас не ошиблись».

Это была правда: партия дала мне возможность кончить ИКП, а чекисты не расстреливают до сих пор, хотя и имеют на это полное право. Но что это значит: я должен им доказать, что они во мне не ошибаются? Самое логичное предположение: они меня выпускают на волю и я на работе доказываю свою честность и лояльность. Но это простая человеческая логика, а мы уже знаем из предыдущего, что чекистская логика – логика «диалектическая» или, выражаясь проще, логика преступников. Я с первой же фразы Иванова понял, что готовится какая-то новая подлость, в которой не меня будут обвинять, а я буду обвинять, чтобы «помочь партии».

– Партии можно помогать не только на воле, но и будучи в вашем положении, – сказал Иванов, словно прочитав мою мысль. И сразу перешел к делу: – Вот вы упирались на допросах, утверждая, что ничего не знаете о существовании «Московского межнационального центра», между тем все его члены дали показания на вас, что вы были активным членом центра и выполняли специальные функции связного между «Московским межнациональным центром» и буржуазно-националистическими центрами на Кавказе и в Туркестане. В вашем московском деле лежат убийственные показания против вас матерых врагов народа Икрамова, Файзуллы Ходжаева, Рыскулова, Курбанова, Коркмасова, Буниатзаде, Эшбы, Таболова, Диманштейна, Калмыкова. Вам со всеми ими предстоит на днях очная ставка (только потом я узнал, что с первыми двумя никак не могло быть очной ставки – они уже были расстреляны по делу Бухарина и Рыкова). Этим националистическим зубрам, – продолжал Иванов, – гарантирован смертный приговор, но эти отъявленные негодяи хотят унести с собою в могилу многие тайны своих чудовищных преступлений или перекладывают их на других участников, как вы, попавших в их сеть по молодости и неопытности. Мне советское правительство поручило заявить вам, что вы будете проходить по этому делу лишь как свидетель и после процесса будете освобождены, если вы на суде поможете разоблачить эту банду до конца. Вам дадут читать – доверительно – документы НКВД, из которых вы узнаете многие их показания. Вам надо только повторить и подтвердить то, что уже установлено предварительным следствием.

Все в этом духе. Я сразу вспомнил, как мой второй следователь соблазнял меня ролью «нацменовского» Радека на процессе «Московского межнационального центра». Я тогда думал, что следователь запугивает меня московским процессом, чтобы я согласился на роль провокатора в местном про-

цессе. Теперь я убеждаюсь, что точно существует в планах НКВД СССР сценарий суда над «Московским межнациональным центром» и мне там действительно назначена роль «межнационального» Радека. До сих пор я знал, как себя вести, и свою защиту вел с точки зрения честного, но оклеветанного коммуниста. Поэтому каждое мое заявление в ЦК и Прокуратуру СССР начиналось с этого утверждения. С принятием «Аннибаловой клятвы» я решил отказаться от этой формулы, а на допросах повторять неизменное «не виновен». Та же клятва обязывала меня отвечать следствию в отношении других формулой «не знаю». В данном случае от меня требовали большего: я должен был губить других, чтобы спасти свою шкуру. Мне предстояло доказать чекистам, что такой ценой я не способен спасать ее. Я предвидел новые муки, новые пытки, на этот раз уже у столичных мастеров инквизиции. В логове этих башибузуков, кажется, разговор тоже короткий: не подписываться под ложью у них просто не полагается, кроме тех случаев, когда вы их перехитрили, испустив дух тут же на стойке или на очередной порке. Когда человека пытают, он, пока в сознании, действительно жаждет смерти, но как зажили раны, он опять хочет жить, он опять стремится выиграть время, он опять верит в чудо спасения: Сталин смилостивится, Сталин умрет, Сталина убьют или, наконец, самого Сталина арестуют, а нас всех освободят, – сколько раз я слышал подобные разговоры в общей камере! Но одно пророчество арестантов все же сбылось: «Будет война и она нас освободит». Увы, оно сбылось только не во всем: в каждом городе, к которому приближался фронт, арестованных эвакуировали в глубь страны, а кого не успевали эвакуировать – расстреливали.

Вернусь к Иванову. Будучи убеждены, что они из меня сделают члена «Московского межнационального центра», и в ожидании положенных наград, мои следователи, видимо,

ложно информировали наркома Иванова о ходе моего следствия, а тот, в свою очередь, Москву. Все это начало выясняться только теперь. Из-за того, что я не придал серьезного значения сообщению моего следователя, что меня повезут в Москву, да и признаний на этот счет никаких не подписал, предложение Иванова оказать услугу партии на суде над националами в Москве застало меня врасплох. Не потому, что у меня могли быть какие-либо колебания по существу предлагаемой мне роли, а только я не знал, как правдоподобно отвести это предложение, не задев честь мундира самого Иванова. У Терского хребта я воочию убедился, что Иванов бесконтрольно распоряжается жизнью каждого человека в этой республике. Быть готовым предпочесть смерть бесчестию совсем не означало намеренно рисковать головой, ибо человек не мифическая гидра: отрубят одну голову, другая не вырастет. Поэтому, не долго думая и стараясь избежать гнева Иванова, я намеренно соврал:

– Гражданин нарком! Ни с одним из перечисленных вами людей я никогда в жизни не обменялся ни одним словом. Как же меня могут сделать свидетелем против них?

Мой ответ был для Иванова совершенной неожиданностью. Он грозно посмотрел на начальника секретно-политического отдела Левака, Левак этот взгляд переадресовал моему следователю Кураксину, а Кураксин начал оправдываться, что я на допросе показал, что эти лица числятся среди моих знакомых по Москве.

– Почему же вы отказываетесь от этого вашего показания?

– Гражданин нарком! Следователь Кураксин потребовал от меня составить список всех людей, которых я когда-либо встречал или видел. Они и находятся в том списке, хотя я их только видел, но никогда с ними не разговаривал.

Только теперь я увидел чекиста Иванова в натуре: либо он забыл о моем присутствии, либо считал, что мне осталось не-

долго жить на земле и я не смогу никому рассказать о случившемся, – но в бешеном гневе он обрушился на своих сотрудников с самой отборной руганью:

– Вы срываете правительственное задание; вы – прохвосты, проститутки, вредители, саботажники...

Те стояли навытяжку, как истуканы, а я не без злорадства думал про себя: «Как хорошо знает чекистский нарком своих сотрудников, прямо как самого себя».

К сожалению, мне не дали полюбоваться этой сценой до конца. Иванов, опомнившись, нажал кнопку, вошел охранник, которому он указал на меня. Меня увели. Но все то время, что меня вели по длинному коридору с его могильной тишиной, я все еще слышал, как Иванов бушевал.

Не было сомнения, что за все это перед Леваком и Кураксиным в ответе буду я. Новые пытки из личной мести будут пострашнее всего того, что я видел и пережил. Приходили в голову новые черные думы, как в те дни, когда, еще будучи на воле, я находился под партийным судом и каждый день ожидал ареста. Это были мысли о добровольном уходе из жизни. Тогда это было бы актом отчаяния и протестом против клеветников. Самоубийство в этих условиях было бы спасением чести. Однако теперь я находился в иной ситуации: я сам должен был стать клеветником или умереть под пытками от рук вот этих палачей.

Когда однажды с поля битвы бежали в панике его солдаты, Фридрих Великий крикнул: «Эй, собаки, вы что, вечно хотите жить?» То были времена, когда опоганенные ныне понятия – честь, мораль, мужество, готовность к самопожертвованию – высоко ценились не только на полях сражений армий, но и в общежитии людей. Честь котировалась выше жизни. Клеветников вызывали на дуэль. Тираны редко появлялись в таком мире, а если появлялись, то им было жутко. Большевики начали разрушение «старого мира» с разрушения чести и морали. Бесчестные и аморальные люди – это и

была та все уничтожающая армия Сталина, которая, опираясь на другую армию – обесчещенных и обезволенных клеветников и само клеветников, – наводнила великую страну всеобщим потопом уму непостижимой инквизиции. Я видел и слышал, как под диктовку рупора Сталина – Вышинского – клеветники Зиновьев и Каменев открывали шлюзы этому потопу в трусливой надежде сохранить жизнь. Этих даже и не мучили. Тем не менее, они клеветали на других и на самих себя вместо того, чтобы честно умереть. Я уже упоминал, как Кураксин мне сказал, что Муралов выдержал пытки только семь дней, а потом подписывал все, что от него требовали. Кураксин бил в верную точку: мы, молодые коммунисты, слишком идеализировали наших большевистских идолов. Бели уж и они подписывают, так нет никакого смысла сопротивляться. Уже говорилось, что люди подписывали ложные показания на себя и на других, предпочитая скорую смерть бесконечным мукам. Это понятно, хотя для революционера и непростительно. Но было непонятно и преступно, когда в Москве на открытых судебных процессах, в присутствии иностранных дипломатов и корреспондентов, старые большевики подтверждали свою ложь перед всей страной и миром вместо того, чтобы крикнуть во все горло «не виновны!» и честно умереть. Не сделав этого, они стали и преступниками, и сопреступниками Сталина. Они помогли Сталину, как свидетели самого высокого ранга, с репутацией непосредственных учеников и соратников самого Ленина, организовать суперфашистский заговор против государства и кровавую инквизицию против народа. Сталин их мог расстрелять в любое время, втихомолку, без шума, без всяких процессов (на Западе писали еще до суда над Зиновьевым и Каменевым, что они уже расстреляны), да и сам Сталин сказал им, что их могут расстрелять без всякого суда, но важно, чтобы они разоблачали на открытом судебном процессе не столько себя, сколько... Троцкого! Да, говорил Сталин, Кирова вы не убили,

но нам важно, чтобы, в интересах «социализма и мировой революции», вы его еще раз убили по поручению Троцкого. Мы знаем, что вы никогда не были в дружбе с Бухариным, Рыковым и Томским, но нам важно, в интересах «социализма и мировой революции», чтобы вы признались, что, по поручению Троцкого, вы вошли с ними в контакт. Мы хотим сохранить жизнь вам, старым большевикам, но хотим перед мировым пролетариатом и мировой прогрессивной общественностью разоблачить международного шпиона и агента Гестапо – Троцкого. Поймите, наконец, это и помогите партии большевиков, которую вы сами же создавали.

Это почти дословное изложение аргументов Сталина на известном «собеседовании» членов Политбюро с Зиновьевым и Каменевым, по требованию последних. На этом «собеседовании» они хотели, чтобы Политбюро и Сталин подтвердили гарантию сохранения жизни, которую им дали Ягода и Ежов, если они выполнят на суде требования партии, то есть Сталина. Они требования выполнили. Их разоблачения внутри и вне страны произвели впечатление потрясающей силы. Сталин их через сутки расстрелял и приступил к подготовке новых процессов и кровавой чистки во всех органах государства и во всех слоях народа. Ведь история могла бы пойти по-другому, если бы на этом открытом первом московском процессе основатели и лидеры большевизма Зиновьев и Каменев заявили в один голос:

– Сталин, убивайте нас, но пусть знает мир: мы невиновны!

Когда я начинал обо всем этом думать накануне предстоящих мне новых пыток, я проклинал за судьбу миллионов и за свою личную судьбу не Сталина, а Зиновьева. Я с самого начала ареста часто размышлял о самоубийстве, но возможности покончить с собой в тюремных условиях, да еще в одиночке, были очень ограничены. Я знал случаи, когда заключенные вешались на решетке, свивая что-то вроде «веревки» из собственного белья и простынь, но эта процедура

требовала смекалки, изобретательности и какого-нибудь простейшего инструмента, чего у меня не было. У меня была другая мысль и даже некоторая подготовка к ее осуществлению: выдумывая различные болезни, главным образом головные боли и бессонницу, я накопил, на мой взгляд, вполне достаточное количество таблеток, чтобы ими можно было отравиться. Проглотить эти таблетки и запить их кружкой густого настоя махорки, – таков был мой замысел. В мрачных думах об этом, далеко за полночь, не приняв никакого решения, я незаметно заснул и всю ночь мне снилось то кладбище с массовыми похоронами, то бушующий Иванов, то Левак с Кураксиным – видения явно зловещие, по тюремному «соннику», и еще более ужасные наяву. На второй день после «свидания» с Ивановым, часов в восемь утра, начальник спецкорпуса открыл мою камеру и сказал: «Собирайтесь с вещами».

Что это могло означать? Если вызывали «с вещами» ночью между двумя и четырьмя часами, то это почти всегда означало, что вы осуждены «тройкой» и вас ведут на расстрел. Если же вас вызывают днем с вещами, то тут возможны были варианты: вас отправляют в концлагерь, вас переводят в другую камеру, вас освобождают. Поскольку последний вариант отпадал, то я подумал, что меня переводят в другую камеру или во внутреннюю тюрьму. Меня повезли, однако, в «черном вороне», наглухо закрытом и без соседей. Я не мог сориентироваться, куда же меня везут, но внутреннюю тюрьму, по моим расчетам, мы давно проехали. И оказался прав: меня высадили на вокзале и повели в кабинет начальника железнодорожной охраны. Там сидели, ожидая меня, два чекиста. Меня сдали одному из них под расписку. Человек средних лет, здоровяк, с тупым взглядом и нервными движениями – мой новый повелитель производил отталкивающее впечатление. Его помощник – молодой чекист, по телосложению под стать своему шефу, но с лицом добродушным и

интеллигентным, показался мне человеком незлобным. Шеф, по-военному коротко, объяснил мне цель нашего путешествия, о которой, впрочем, я уже догадался. Мы едем в Москву. Внушительно растолковал мне, как себя вести и что меня ожидает при нарушении его приказа. Вести себя надо, будто я не арестант, а свободный человек. Вступать в разговоры с кондукторами, официантами, пассажирами нельзя. На возможные вопросы со стороны надо отвечать односложно: «да», «нет», «не знаю» – или вообще не отвечать, например, если спросят, куда и откуда едете. Пользуясь туалетом, дверь надо оставлять полуоткрытой. Теперь запомните: при первой же вашей попытке самовольно выйти из купе или из вагона-ресторана вы будете тут же застрелены.

Обязанности эти показались мне пустяковыми, а требование, чтобы я чувствовал себя хотя бы три дня свободным человеком, и намек на то, что в эти три дня меня, живущего на полуголодном тюремном пайке, будут кормить в ресторане, отвлекли меня от тяжких размышлений о предстоящем в Москве.

Через час мы сидели в пассажирском поезде «Баку-Москва» в спальном вагоне, в отдельном купе. В яркий солнечный день хорошо виднелись вершины величественных кавказских гор, которые, быть может, я видел в последний раз. Как я много дал бы, чтобы жить в этих горах, как жили деды и прадеды, свободным человеком, пасти скот по их долинам и умереть естественной смертью в собственной постели. Нас, горцев Кавказа, называли «детьми природы» еще в то время, когда Жан Жак Руссо призывал человечество назад, к «естественному состоянию». Мы жили свободно и сытно на маленьком острове «патриархально-родовой демократии», когда, по словам того же Руссо, в западном мире трубадуры цивилизации покрывали «гирляндами цветов железные цепи, которыми опутаны люди». Эта цивилизация дошла и до

наших гор. По образному выражению Ленина, русский царизм и капитализм «перерядили гордого горца из его поэтического национального костюма в костюм европейского лакея». Но Ленину надо было бы добавить: а мы его раздели догола и надели на него такие тяжелые цепи, какие и не снились Руссо.

Погруженный в эти думы, я и не заметил, что подъехали к Минеральным Водам. На этой узловой станции всегда процветает традиционный привокзальный базар, куда казачки из ближних станиц привозят аппетитных жареных кур, замечательные вина, редиску, малосольные огурцы, пироги, крынки со сметаной, – все это домашнее, и такое вкусное, что редкий пассажир не выскакивает здесь из поезда, чтобы купить что-нибудь. Так и помощник моего шефа притащил две курицы, две бутылки вина и еще всякую всячину. Аппетит у них был волчий. Особенным аппетитом, как Собакевич у Гоголя, отличался шеф, который не только съел большущую курицу, но и обгрыз, обсосал до последней косточки, запивая вином из горлышка бутылки.

Мои охранники отобедали, допили вино и начали играть в подкидного дурака. Им теперь никакой вагон-ресторан не нужен, да и упоминание шефа о вагоне-ресторане я, вероятно, неправильно понял. Может быть, он не сказал: «... когда мы пойдем в вагон-ресторан», – а сказал: «... когда мы пойдем через ресторан»... Как бы там ни было, я решил покончить с остатком моего пайка – нам давали в день пятьсот граммов хлеба, у меня было еще граммов триста. Я попросил у шефа разрешения встать и взять его из сумки, он кивнул головой, не отрываясь от игры. Я тоже «отобедал». Уже стемнело, и мы были за Ростовом, когда мой шеф приказал «пойдем»: он впереди, я за ним и за мной его помощник. Мы гуськом двинулись, переходя из одного вагона в другой, и действительно очутились, наконец, в ресторане. Внимательно изучив меню, шеф придвинул его ко мне и сказал: «Выбирайте себе ужин».

Меню было довольно разнообразным, были и изысканные блюда, но я выбрал знакомое и сытное: котлеты, стакан молока и на десерт мороженое. Чекисты заказали себе острые закуски и большой графин водки. На третьем графине они явно начали пьянеть, а когда российский человек пьяный, то он или по морде бьет, или в морду целует... эти же, слава Богу, вопреки своей профессии, по морде не били, а наоборот, начали со мною панибратствовать, настойчиво предлагая с ними выпить. Я попросил вместо водки разрешить мне заказать еще один ужин.

– Да закажи себе хоть всю кухню, но выпей стакан водки, я это приказываю, – сказал, заикаясь почти на каждом слове, мой шеф. Так как между лобзанием и мордобоем дистанция не очень велика, пришлось подчиниться. Водка сразу ударила в голову. Если бы не второй ужин, меня с моим ослабленным организмом, вероятно, сильно развезло бы. Уже было довольно поздно, люди начали расходиться по своим вагонам, помощник моего шефа, положив голову на стол, храпел во всю ивановскую, скоро его примеру последовал и сам шеф. Подошел официант со счетом. Я указал на шефа, он его толкнул, шеф упал со стула, но не проснулся. Тогда я указал на его помощника, помощник не падал, даже поднял голову и осовелым взглядом бормотал какие-то непонятные слова. «Великий комбинатор» Остап Бендер любил повторять: командую парадом я, в случае моей гибели командование переходит к моему помощнику – «бывшему дворянину, ныне трудящемуся Востока». Такого приказа шеф не отдавал, но поскольку оба шефа вышли из строя, командование парадом само собой перешло ко мне: «бывшему трудящемуся Востока», ныне «врагу народа». Я объяснил официанту и заведующему вагоном-рестораном, что у меня нет денег платить, я их гость, но они очень важные люди. Мы находимся в таком-то вагоне и купе, едем в Москву. Я прошу помочь мне довести

их до нашего купе. Утром счет будет оплачен с хорошими чаевыми. Однако бывалый, видно, «зав», здоровенный дядя с повадками боксера, оказывается, умел быстро приводит в чувство своих пьяных гостей – он бесцеремонно начал «обрабатывать» моего шефа, пока, взявши его за воротник, не поставил на ноги, да еще прочел нравоучение:

– Ты здесь не в гостях у тещи, плати деньги и вываливайся!

Шеф молча оплатил счет, тем временем «зав» разбудил и его помощника. Шатаясь, падая и поднимаясь, мой «парад», в котором я уже был не «командиром», а «поводырем», еле добрел до нашего купе. Не раздеваясь, они бросились спать на нижние полки и сразу заснули. Я вышел из купе, долго стоял в проходе у открытого окна, дыша свежим воздухом. Весь вагон спал, спал и мои НКВД, платформы встречных вокзалов были безлюдны, небо обволокли мрачные грозовые тучи, – такой же мрак был и у меня на душе. Ностальгия по воле невыносимо тяжка, когда вы эту волю так близко чувствуете, как чувствовал ее я. Ведь я мог забрать оружие, деньги и документы моих охранников и на ближайшей станции покинуть поезд.

То-то, – скажет читатель, – почему же вы, еще вчера думавший о самоубийстве, не решились на это? Вопрос законный, но человеку свойственно цепляться до последнего вздоха за жизнь в надежде, что произойдет чудо. Да и куда бежать? Я не вор, не грабитель, не бандит, которые сразу найдут своих на воле; я даже не революционер, который мог бы присоединиться к своему подполью, ибо такого подполья нет; я, наконец, не в царской России, из которой можно было не только бежать, но и свободно уехать за границу, – я в России советской, то есть в необъятной «тюрьме трудящихся», где можно бежать только из одного угла в другой угол, из преисподней в чистилище, из чистилища обратно в преисподнюю, если ты не имел счастья отдать Богу душу в этом вечном круговороте.

Я долго-долго стоял у окна, и потом подумал – неровен час, шеф вдруг проснется, злой и полупьяный, застрелит меня за нарушение его приказа и заодно избавится от лишнего свидетеля, видевшего, как он сам нарушил устав своего учреждения. Я зашел в купе, полез на верхнюю полку и сразу заснул. Когда я проснулся довольно поздно, моя охрана была при исполнении своих обязанностей: чекисты, как ни в чем не бывало, дули вино и играли в подкидного дурака. Я попросился в туалет. Не поднимая головы, шеф велел помощнику повести меня, а сам, вопреки правилу, остался сидеть. Помощник повел меня и сказал, что я могу закрыть туалет изнутри. Ослабление моего арестантского режима сопровождалось усилением моего кормления. Правда, в ресторане на второй день мы не показались, но на обед, на большой остановке, помощник притащил на этот раз три курицы, соленые огурцы, большую буханку белого хлеба, вино, лимонад. Мне вручили целую курицу, завернутую в газету, ломоть хлеба и лимонад. Я знал, что все это вознаграждение за «пережитки» «пролетарской сознательности» у «врага народа». Они, безусловно, ничего не помнили: как добрались до купе и как себя вели в ресторане. Они намеренно не спрашивали меня, а я нашел за лучшее промолчать об этом. Я съел курицу, выпил лимонад и обратился к шефу с вопросом, можно ли просмотреть газету, в которую была завернута курица. Шеф не отозвался, что могло означать: «Читай, мол, но я этого не видел», – тем более, что помощник подвинул ко мне и свои газеты, которых они, собственно, не читали. Они действительно ничего не видели, ибо я полез к себе на верхнюю полку и преспокойно начал читать газеты, я их в руках не держал уже больше года.

Газеты были – «Правда», «Комсомольская правда» и какая-то еще местная «Правда». Я узнал, что в Испании Франко пришел к власти, – интересно, какова судьба мужественной

Пассионарии («Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»)? Гитлер присоединил Австрию к Германии, в Мюнхене произошла встреча между Гитлером, Муссолини, Даладье и Чемберленом, на которой решено оторвать от Чехословакии Судетскую область и передать ее Гитлеру. В Европе командует Германия, в Азии – Япония, а Сталин устроил кровавое побоище над собственным народом. Газеты полны разоблачениями «врагов народа»: оказывается, был новый процесс в Москве – расстреляны Бухарин, Рыков, даже Ягода. Расстреляно все бюро ЦК комсомола во главе с Косаревым. Чистке конца не видно. Газетные шапки прямо-таки каннибальские: «Беспощадно бить по ротозеям – пособникам вражеских разведок», «Вырвать с корнем охвостье контрреволюции», «К стенке врагов народа – лазутчиков фашизма», «Бешеным собакам империализма – собачья смерть», а когда читаешь соответствующие корреспонденции, то, конечно, выясняется, что все они до единого старые большевики, которые делали революцию, выиграли гражданскую войну, двадцать лет строили вместе со Сталиным «социализм в одной стране».

Где же тут логика? Логика здесь есть только в том случае, если Ленин и Зиновьев были немецкими агентами, а их партия – «шпионской бандой» в России. Тогда встает другой вопрос: почему же эта «шпионская банда» избрала после смерти Ленина своим вождем единственного не шпиона из ленинского ЦК и его Политбюро – Сталина, вместо того, чтобы избрать шпионов Троцкого, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Бухарина. Тут у Сталина всегда был готов ответ: «Такова диалектика нашей революции!» Она, по нуждам и обстоятельствам, выступает у большевиков в разных ролях: то как универсальная отмычка ко всем тайнам мира; то как надежная затычка, чтобы закрыть вам рот, когда ваше опасное любопытство начинает апеллировать к человеческой логике; то просто как фокус-покус, чтобы заворожить вас при очеред-

ном злодеянии. Если все это вместе взятое не помогает, – тогда вам затыкают рот свинцом. Вот это и происходит сейчас. Что же касается советской печати, то она выполняла в те годы, как выполняет и сейчас, роль Марксова «опиума для народа» – одурманивать, оглуплять и дезинформировать народ, доказывая, в полном согласии со сталинской «диалектикой», что каждый советский человек – потенциальный негодяй, чтобы этот человек, до предела обескураженный и загипнотизированный, сам тянулся в пасть Дракона из Кремля.

Ведь был же тогда принятый обязательный ритуал – каждый ответственный работник на партсобрании, каждый ученый в области общественных наук на научных конференциях начинал свое выступление с самобичевания за потерю «большевистской бдительности», за искажение «марксизма-ленинизма», за якшание с «врагами народа», а потом НКВД забирал их в подвалы и, показывая им их же выступления, пришивал обвинение в контрреволюции.

С народом было проще: я видел в 1937 г. в нашем обкоме, как я упоминал, инструкцию, подписанную Сталиным от ЦК, Ежовым от НКВД СССР, Вышинским от Прокуратуры СССР, о порядке «изъятия классово-чуждых и социально-враждебных элементов по СССР». В «инструкции» были установлены точные процентные нормы изъятия людей по областям, краям и республикам, колебавшиеся между тремя и четырьмя процентами населения данной административной единицы. До сих пор такая разверстка существовала на заготовку скота. Теперь спустили вниз планы по «заготовке людей». По моим тогдашним расчетам, это должно было составить до 5–6 миллионов «врагов народа». Поскольку каждый план сверху вызывает «встречный план» снизу, да и сам план всегда должен перевыполняться, то число миллионов арестованных доходило до двухзначного (некоторые специалисты называют от 10 до 18 миллионов

арестованных в период ежовщины). Так как не было никакой возможности пропустить такое количество людей через нормальные, пусть даже советские, суды, то в той же «инструкции» предлагалось создать на местах названные выше «чрезвычайные тройки» при НКВД и основную массу этих арестованных судить по спискам заочно через «тройки». Хрущев, который всю ответственность за чистку возлагал на Сталина и его Политбюро, всегда тщательно обходил вопрос о «тройках», чтобы что-нибудь о них не узнал внешний мир, ибо смертные приговоры и заключения в лагеря миллионов подписывали не только чекисты, но и все местные партийные секретари, такие, как он. Когда об этих «тройках» я первым писал в своей первой книге еще при жизни Сталина, то западные советологи говорили, что мои данные не подтверждаются советскими официальными источниками, – как будто Сталин, Хрущев, Брежнев и вся эта компания должны предъявлять западным советологам государственные акты из тайников Кремля о собственных государственных преступлениях!

Вернусь к своему рассказу.

Кормили меня чекисты до самой Москвы как на убой (может быть, и везут меня «на убой»?) не из жалости ко мне, а боясь, что я донесу на них. Ведь все подлецы искренне убеждены, что мир состоит из одних подлецов. Главное – подлость в их глазах не порок, а какая-то азартная игра или даже вид спорта. Из таких подлецов Сталин и создал свою тайную полицию, где служебное рвение ценилось по шкале изобретательности в преступных методах и виртуозности в совершаемых подлостях. Только этим я объяснил себе, что мой шеф, который за всю дорогу не разговаривал со мной, теперь, на третьи сутки, при приближении к Москве, совершенно преобразился. Он не выдержал молчания о пьянке в вагоне-ресторане. Извиняюще объяснил случившееся крайней усталостью, справлялся, не наделали ли они чего-либо

недозволенного. Подтвердил мне, что он и его помощник убеждены в моей «порядочности» (это, конечно, был намек на то, что я не убежал, когда они были пьяны), и даже пожелал мне, чтобы я остался в живых. Из последних слов я понял, что они были предупреждены в Грозном, что везут опаснейшего «государственного преступника», которого ждет расстрел, иначе шеф, при его старании завоевать мою симпатию, должен был бы пожелать мне не остаться в живых, а выйти на свободу.

Когда мы подъехали к Курскому вокзалу, еще в купе шеф надел на меня медные наручники. Пассажиры, считавшие меня всю поездку свободным человеком, а моих сопроводителей – обыкновенными людьми, ужаснулись, когда увидели, что их соседями были два чекиста и один «преступник». Меня привели опять в комендатуру вокзального НКВД. Шеф позвонил куда-то, требуя транспорта. Звонил он еще много раз, но транспорт не прибывал. Кончилось тем, что пришлось меня везти на такси. Ехали мы довольно долго, но не на Лубянку. Пошли незнакомые улицы и бесконечные переулки Москвы, даже вспомнилось: «На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог». Вот, наконец, и прибыли. Перед моим взором стала моя старая, давно забытая угрюмая знакомка – Бутырская тюрьма. Свою карьеру я начал в Москве в 1927 г. с принудительного визита ей. Может, суждено мне вторым визитом и кончить карьеру. Если мои шефы думали, быстро сдав меня в Бутырки, пойти гулять, их ожидало разочарование. Пришлось убедиться, что московские тюрьмы страдают из-за кризиса перепроизводства «врагов народа». Ведь вся стотысячная московская бюрократия была переселена в тюрьмы, камеры были переполнены до отказа. Опять начались бесконечные звонки, и все безрезультатно. Мой шеф был в отчаянии, он хотел скорее сбыть меня с рук, а это ему не удавалось. Кажется, последовало распоряжение «высокого чиновника» по «нарядам», и начальник

приемной тюрьмы, наконец, дал расписку шефу о моем принятии. Я вступил в столичную обитель советской инквизиции без иллюзий и надежд.

Несмотря на обгоняющие темпы роста «заготовки людей» по сравнению с ростом арестантской жилплощади, тем не менее, я думал, что и в Москве меня ждет одиночка. Приятное разочарование все же было удручающим, когда надзиратель открыл передо мною камеру бутырского «спецкорпуса»: смесь едкого запаха людского пота, вони от параши и густого махорочного дыма потоком хлынула мне в лицо. В камере, рассчитанной на 10–12 человек, было в три-четыре раза больше людей. Почти все были голые, в одних трусах, и казались не людьми, а призраками. Появление нового человека моментально привело в движение этих «призраков» – толпой бросились ко мне узнать «новости с воли». Чтобы их не разочаровывать, начал подробно пересказывать содержание вчерашних газет, а потом только сказал, что я не «с воли», а «враг народа» призыва 1937 г. Это только повысило мой авторитет, ибо большинство в камере оказалось «призывниками» 1938 года. Вернулись к газетам и хотели от меня узнать побольше деталей. Очень настойчиво и упорно добивался этих деталей один старик с длинной полуседой бородой, в вопросах которого чувствовался суверенный политик. Кто-то меня спросил, а вы этого старика знаете? Хотя профиль его лица мне показался знакомым, но это ни о чем не говорило, и я ответил, что не знаю. «Как же вы не знаете Павла Петровича, если вы кончили ИКП»? – удивился его сосед. Меня вывел из положения сам старик, который совсем не был стариком (ему было всего 50 лет):

– Я – Постышев Павел Петрович, – сказал он.

Теперь была моя очередь удивляться, что в этой тесной, душной и зловонной камере я встречаю вчерашнего кандидата в члены Политбюро. Конечно, я его сразу узнал бы, если бы он не отрастил бороду.

Почти вся камера состояла из бывших ответственных работников партии. Поэтому камера напоминала «дискуссионный клуб». Люди обсуждали одну и ту же тему, которой жила и вся страна: что произошло, что происходит и что же будет дальше? Это и понятно. Здесь сидели чистые политики, многие из которых хорошо были известны в стране. Как они отвечали на эти вопросы, чем они объясняли причины и смысл того, что от большевизма к фашизму оказался только один шаг? Одни говорили, что сие есть «высокая политика» и методом рационального мышления ее не постичь. Большинство стояло на точке зрения Рудзутака, бывшего председателя ЦКК, который, как впоследствии рассказывал Хрущев на XX съезде, писал Сталину, что в аппарат НКВД пробрались скрытые враги, и все, что происходит сейчас, – дело их рук. Все винили Ежова, но никто не винил Сталина. Верили ли эти люди тому, что они говорили? Ведь это были люди с верхнего этажа партии – здесь сидели бывшие члены ЦК и ЦКК Варейкис, Голощекин (убийца царя и царской семьи), бывший нарком Антипов. В центре внимания, конечно, находился Постышев, и к его мнению чутко прислушивались. (Рассказывали, что, когда его перевели сюда из Лубянки, Постышев был до такой степени избит и искалечен, что люди поражались, что он еще жив. Постышев не подписал «признание», поэтому находился на режиме перманентных пыток.) Из сидевших в камере я встречался на воле только с Варейкисом, когда он был секретарем Воронежского обкома партии, куда я ездил с серией докладов по поручению пропгруппы ЦК. Он, конечно, меня забыл, но когда я ему рассказал об этом, то сразу вспомнил. Был я знаком и с младшим братом Постышева, с которым провел месяц в правительственном санатории в Кисловодске. Это был молодой, очень скромный человек, который мало интересовался политикой, да, кажется, и образование имел скромное. Мне стало

неловко, что я напомнил Постышеву о нем – он заметно изменился в лице, а потом тихо сказал: «Загубили парня зря, – вздохнув, добавил: – Дикость, какая дикость...» Говорят, чтобы узнать характер человека, надо съесть с ним пуд соли, но так было, наверно, в блаженные времена Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича, – в бешеный век Сталина людей узнавали быстро, особенно в условиях сталинских мясорубок. Человек, пропущенный через винт этих мясорубок в ежовскую эпоху, превращался в какую-то рыхлую аморфную массу. Урки нашли и образное выражение для этого человека: «Из него сделали котлету»! Перемолов физически, его перемололи и духовно: из него сделали одновременно и воск. Прокурорам и судьям оставалось слепить из такого воска образцового «врага народа» во всех нужных им лицах, образах, деяниях и, нажав на воображаемую кнопку, заставить его изрекать все то, что вложили в него «программисты» из НКВД. Чекисты – материалисты, они уж знали: чтобы убить дух и перековать характер, надо «бить, бить, бить» тело, как учил товарищ Сталин. И все-таки – один удивительный феномен политических процессов тридцатых годов: почти все старые революционеры, бывшие лидеры и члены антисталинских оппозиций двадцатых годов признавали себя виновными в инкриминируемых им преступлениях и подтверждали все, как один, свои признания на открытых судебных процессах, тогда как те старые революционеры, у которых мясорубка вынудила такие же ложные показания на предварительном следствии, но которые никогда не участвовали в каких-либо оппозициях, резко и категорически отказывались от своих показаний на судебных заседаниях. Чем это объяснялось? Я не знаю ответа, но констатирую факт: 70% членов ЦК было арестовано и расстреляно, однако Сталин не осмелился устроить открытый суд ни над одним из них. Но выводы, которые делали из своей трагедии эти старые рево-

люционеры, были разные; это объяснялось, может быть, борьбой двух начал в старом идеалисте: бывшего фанатика революции и нынешнего свидетеля ее краха. В моей камере были представлены все варианты таких людей: оставшиеся верными своим старым убеждениям революционеры, кающиеся ренегаты, безнадежно опустившиеся как физически, так и духовно доходяги и даже такие, которых можно назвать «выживальщиками», – им было важно «выжить» до тех дней, пока развязанная Сталиным стихия фашизма не задушит его самого.

Убежденным революционером оставался Постышев, его антиподом был Варейкис, Антипову было важно «выжить» любой ценой, Голощекин был одновременно и физическим и духовным доходягой. Я узнал, что до переброски в камеру Постышева имя Сталина в дискуссиях было табу. Во всем винили его коварных помощников-карьеристов, которые сочинили чудовищный план заговора внутри партии и внутри ЦК, чтобы, уничтожив старых революционеров, легче было уничтожить и самого Сталина, а потом установить в стране фашистско-полицейскую диктатуру. Особенно доставалось трем помощникам Сталина – Ежову, Маленкову, Шкирятову. Об этом некоторые писали Сталину в своих письмах.

Такая легенда – «стрелочник виноват» – была удобна во всех отношениях: Сталин мог шантажировать такими письмами своих помощников, а авторам писем было тактически выгодно показывать себя верноподданными революционерами, озабоченными судьбой Сталина. Наиболее рьяно такую теорию развивал Варейкис (Варейкис претендовал на роль теоретика и в двадцатых годах работал в агитпропе ЦК) в лаконичном тезисе: «Заговор Ежова против Сталина» (впоследствии Сталин так-таки принял этот тезис Варейкиса против Ежова, но расстрелял их обоих). Навсегда запомнилась реакция Постышева на этот тезис – высказанная как

парадокс, она оказалась пророческой: «Твоя формула будет правильной, если ее перевернуть: „заговор Сталина против Ежова“». «Ежов – охотничий пес на поводке у Сталина, но пес преданный и разборчивый, который по воле своего хозяина уничтожает партию и терроризирует народ. Как только собака кончит свою охоту (а нас тогда уже не будет в живых), Сталин объявит ее бешеной и уничтожит. Никого так не презирают великие преступники, как исполнителей, которые умели заглядывать в их преступную душу. Таким я и знал Ежова при Сталине». «Оба они морально-политически братья-близнецы. Кто же не знал в узких кругах партии, что Ежов в белорусских лесах в 1917–1918 годах занимался тем, чем занимался Сталин в Закавказье после первой русской революции – бандитизмом и грабежами». Постышев слишком хорошо понимал как свою обреченность, так и то, что мосты назад к Сталину сожжены, и поэтому был безогляден и беспощаден в своей критике.

В тюрьме впервые я узнал от самих членов ЦК, как ЦК в 1936 г. дважды сорвал попытку Сталина – в сентябре и ноябре – вывести Бухарина и Рыкова из кандидатов в члены ЦК, чтобы их арестовать и судить, как он арестовал и судил Зиновьева и Каменева. Последние давно уже не были членами ЦК, поэтому для ареста и суда над ними не требовалось разрешение пленума ЦК. Иначе обстояло дело с Бухариным и Рыковым. Для ареста кандидатов и членов ЦК требовалось решение всех членов и кандидатов пленума ЦК не простым большинством, а квалифицированным большинством $^{2}/_{3}$ голосов. Так гласило требование устава, записанное рукой Ленина на X съезде. Когда третий раз, в феврале 1937 г., Ежов представил пленуму ЦК подробные показания Радека, Сокольникова, Раковского, бывших в свое время членами ЦК, об их совместной с группой Бухарина контрреволюционной работе, то Постышев был единственным членом ЦК, заявив-

шим на пленуме, что поверит этим показаниям только в том случае, если эти бывшие члены ЦК будут приведены на пленум и здесь подвергнуты перекрестному допросу. Выступил Сталин с краткой справкой: все названные заключенные на очной ставке с Бухариным и Рыковым подтвердили на заседании Политбюро свои показания. Если пленум ЦК доверяет своему Политбюро, то он, Сталин, считает излишним вызывать на пленум ЦК «осужденных врагов народа». Таким образом, вопрос о выяснении правдивости показаний арестованных против Бухарина и Рыкова Сталин сделал вопросом доверия или недоверия пленума ЦК Политбюро (ведь в то время никто не знал, что в самом Политбюро было несколько человек, которые выступали против суда над Бухариным и Рыковым – Орджоникидзе, Косиор, Чубарь, Рудзутак, сам Постышев). Поскольку никто не осмелился выразить недоверие Политбюро, генсеку Сталину и наркому Ежову, то Бухарина и Рыкова тут же арестовали без голосования, хотя большинство выступавших не верили ни фальшивкам Ежова, ни лояльности Сталина.

«Партия умерла на февральском пленуме из-за того, что не убила своих двух уголовников – Сталина и Ежова», – заявил Постышев в одной из камерных дискуссий. Такой вывод никто не оспаривал, но в политической оценке происходящих событий высказывались разные, порой противоположные суждения. Многие из этих суждения доказывали только то, насколько закоренелыми доктринерами были и остались старые большевики, даже после того исторического урока, который так наглядно им преподали Сталин и Ежов. В самом деле, соглашаясь с тем, что Сталин – гробовщик партии и ликвидатор советской демократии, взрослые и серьезные люди с пеной у рта спорили по абсолютно пустому вопросу: какая судьба ожидает «победивший социализм», если Сталин станет единоличным диктатором? Когда кто-то сунулся в

дискуссию с замечанием вроде «снявши голову, по волосам не плачут», то его резко оборвал Варейкис: «Дорогой товарищ, так может рассуждать не большевик, а мещанин: «после нас – хоть потоп». Если цена сохранения социализма в стране – это наша гибель, то большевик должен быть готовым идти и на такую жертву». Такая философия Варей киса получила неожиданно суровый отпор того же Постышева. Постышев был неотразимый полемист и проницательный политик, который прощал людям все их слабости, кроме лицемерия. На этом лицемерии он и поймал Варейкиса: «Дорогой Иосиф, ты меня, старого грешника, прости, но если цена сохранения социализма – это казнь партии, которая им руководила, и каторга миллионов, которые его строили, тогда мне наплевать на такой социализм. К тому же никакого социализма мы еще не построили, это Сталин выдумал, что мы его построили. Если огосударствление средств производства, земли и людей означает «социализм», то первое социалистическое общество у нас было при опричнине Ивана Грозного, когда все это принадлежало одному Грозному, как теперь одному Сталину. Да, Ильич говорил, что у нас есть все необходимое, чтобы построить социализм, но Сталин доказал, что у нас было, оказывается, и все необходимое, чтобы создать его единоличную тиранию, опирающуюся на палачей из НКВД, проституток из партии и уголовников из общества. Стыдно, дорогой Иосиф, проявлять малодушие перед самой смертью и не иметь мужества признать то, что произошло на наших глазах. Некоторые говорят, что Сталин произвел просто фашистский переворот. Но, друзья мои, это же комплимент Гитлеру и Муссолини. Поймите, произошло неожиданное и чудовищное, что верующие люди назвали бы по Апокалипсису «концом света» и появлением «Антихриста». Это мы с вами помогли Сталину стать «коммунистическим антихристом» и навсегда убить веру России и человечества в победу великих идей социализма.

И пусть Варейкис не беспокоится за тот «победивший социализм», который мы оставили на воле. Он никуда не денется, он не только останется, но от имени его интересов Сталин оправдает как данную инквизицию, так и все свои будущие преступления. Я умру счастливым, – сказал Постышев, – что не буду ему в этом больше помогать».

Гневные слова Постышева дышали физической ненавистью к Сталину и суровым осуждением собственных заблуждений.

Понятно, что таких революционеров, как Постышев, напоминавших мне русских народовольцев прошлого столетия, Сталин не допускал до открытого суда, хотя бы наподобие суда над Зиновьевым и Каменевым. Это был революционный динамит, способный взорваться в зале суда с оглушительной силой разоблачений преступного режима Сталина. Поэтому Сталин убил его без суда.

В Москве меня никто не вызывал, никто не допрашивал. Потом вдруг, недели через две, меня вызвали с вещами, повезли на вокзал, посадили в арестантский вагон, курсирующий между Москвой и Тифлисом, и, высадив в Грозном, вручили моему «родному» НКВД. «Межнациональный центр», видимо, не состоялся. Причины я узнал позже. Берия, сменивший Ежова, «распустил» «Межнациональный центр», а его мнимых членов предложил судить в их национальных республиках.

16. Суд

С вокзала меня повезли в «черном вороне». «Черный ворон» – это маленькая «тюрьма на колесах», герметически закупоренная для звуконепроницаемости и разбитая на отдельные камеры, похожие на высокие узкие шкафы, чтобы изолировать арестантов друг от друга. Ни зги не видно: судить, куда тебя везут, можно только по качеству дороги. Если в «черном вороне» трясет, значит ты едешь по грунтовой дороге за город во внешнюю тюрьму, если же едешь по асфальту – значит тебя везут во внутреннюю тюрьму. Мне это важно знать, ибо на пытки возят во внутреннюю тюрьму. Меня нещадно трясет, несколько раз ударяюсь лбом о стенку шкафа, иногда больно, но я доволен: везут во внешнюю тюрьму. Теперь бы узнать: опять в одиночку или в общую камеру? По тому, куда меня заведут, я могу догадаться о судьбе моего «Московского межнационального центра». Когда мы прибыли и надзиратель открыл дверь камеры, на мгновение я почувствовал себя цезарем: «пришел, увидел, победил»! – меня пустили в камеру, набитую людьми, как селедками в бочке.

Почему же «победил»?

Потому что «Московский межнациональный центр» отпал и пыток больше не будет, иначе не перевели бы из одиночки в общую камеру. В этой камере я находился до весны 1940 года. В камере было около 50 человек. Представители всех профессий: профессора, управляющие нефтепромыслами, директора заводов и фабрик, инженеры, агрономы, зоотехники, преподаватели средних школ – химики, физики, биологи, астрономы, историки; были также высококвалифицированные и закоренелые урки, с которыми я постарался установить отношения «мирного сосуществования», так как многие из них, возвращаясь с допроса, приносили мне клочки газеты или даже целую газету.

Это был очень интересный новый мир для меня. Их рассказы были занимательны, их уркаческая техника очень высока. Запомнился один их трюк: в неделю два-три раза в камере делали обыск, ища игральные карты, и никогда их не находили, хотя блатные ими играли беспрерывно. Когда я, крайне удивленный этим, спросил Алешу, атамана блатных между Ростовом и Баку (из 20 лет советской власти 18 лет он провел в тюрьмах и лагерях), как они умудряются прятать свои карты, он ответил: «Очень просто: когда начинается обыск, то я их кладу в карман кого-нибудь из надзирателей, когда же обыск кончается, то я их вынимаю оттуда; как это мне удается?» «Дело мастера боится».

Но они постепенно начали терроризировать всю камеру. В карты они, конечно, играли на чужое имущество. Подходит к вам здоровенный дылда и говорит: «Снимай пиджак – я его проиграл!». Или человек только что получил хорошую продуктовую передачу с воли. Алеша к нему посылает «парламентера»: «Раздели передачу на две половины – отдай нашу половину!». Или вот у нас очередной ларек. Алеша со своими ребятами обкладывает камеру «продразверстками»: одни должны им купить курево, другие разные продукты в ущерб себе – ведь все продается ограниченно. Не подчиняться нет смысла – иначе потеряешь все барахло, всю передачу, все купленное в ларьке. Никакие жалобы на кражу или «реквизицию» начальству не помогают: блатные – свои, «социально-близкие люди», а жалобщики – «враги народа».

Однако вскоре в камере произошла «революция». Урки в своей распоясанности и безнаказанности не учли своеобразия «тюремной этнографии» – большинство сидевших в камере были чеченцы и ингуши. Русские интеллигенты, когда их грабили и терроризировали, друг друга не поддерживали и молча переносили издевательства «социально-близких», хорошо зная, что за ними стоят на воле их большие

родственники во главе блатного правительства. Не то было с горцами. Когда блатные попытались распространить свою практику «реквизиции» на чечено-ингушскую часть камеры и украли у одного чеченца всю передачу за то, что он не согласился разделить ее с ними, произошел взрыв. Чеченцы, как один, восстали, избили блатных, многих из них выносили на носилках. С этих пор для блатных отвели отдельную камеру, почему-то запомнился даже ее номер – «48» (потом пошла такая практика: кого из политзаключенных хотели «проучить», того на сутки сажали с вещами в камеру «48» – он оттуда возвращался избитый и голый).

Камера жила интенсивной духовной жизнью. В отличие от Бутырской камеры, здесь не было никаких политических дискуссий. Объяснялось это составом камеры – здесь сидели преимущественно представители точных наук и инженерно-технической интеллигенции. Зато каждый вечер у нас бывали интересные научные лекции. Суды происходили редко, мы сидели по три-четыре года под следствием, каждый боялся, что его расстреляют, поэтому многие жаждали попасть хоть на Колыму, лишь бы остаться в живых и дышать свежим воздухом. Никогда не забыть, как один инженер сияющим вернулся с суда: «Ребята, поздравьте, остаюсь в живых, дали только срок!». Когда его спросили, какой же срок ему дали, то он даже растерялся: «Кажется, 20 лет, но я так волновался во время чтения приговора, что точно не запомнил».

Постоянная тема утренних разговоров – это разгадка снов. В этой связи надо заметить: если вы сидите годами и каждую ночь ждете, что вас могут повести на расстрел, – это деформирует ваше сознание, психику, убеждения. Я наблюдал, как сталинская тюрьма эпохи ежовщины превращала атеистов в верующих, верующих в суеверных, суеверных в безрассудных мистиков. Поэтому понятно, что в тюрьме был большой спрос на хороших разгадчиков снов, а «хорошим» призна-

вался тот, кто обещал вам волю. В этом деле считались выдающимися мастерами в нашей камере один мулла и один ленинградский инженер, который, оказывается, увлекался на воле проблемами хиромантии и телепатии (по вечерам он напевал нам душеспасительную «Ленинградскую тюремную»: «Там за решеткой небо голубое, голубое, как твои глаза...»). Здравомыслящий смертник (а мы все были кандидатами в смертники) не может верить в сны, но если вы ему начинаете доказывать, что сон, который он видел, – сон вещий, предвещающий волю, это ему приятно слышать. Но, естественно, голодному снится хлеб, невольнику – воля (один старик-чеченец в камере говорил: «Как только я закрываю глаза, я тотчас же дома и ем плов...» – а его односельчанин, вместо того, чтобы сказать – «значит, ты будешь на воле», внушает: «Старик, ты тогда вообще не открывай глаза!»). Поэтому, чтобы разгадывать наши сны, ни сонника, ни разгадчика не требовалось.

Бывали, однако, странные, занимательные сны, которые слушаешь, как сказки. Один такой сон видел я точно 17 января 1942 г. Если бы я его рассказал нашему мулле – он тут же объявил бы меня «гяуром» и отлучил от ислама. Я рассказал его ленинградцу: я очутился в каком-то величественном дворце, он пустой, но там, в глубине, у кафедры стоят служители культа в золотисто-серебряном одеянии. Меня ведут или я сам иду к ним. В то же самое время подсознательно я чувствую, что они не служители моей веры, и это как-то страшит. Когда я вплотную подошел к главному служителю, то он торжественно преподнес мне две сушеные рыбы и серебряный кинжал и отпустил без слов. Ленинградец сказал, что большой дворец – это воля, я непременно буду на воле, при этом поменяю свою коммунистическую веру на веру антикоммунистическую. Что он сказал о сушеных рыбах не помню, но насчет кинжала разгадал мой сон явно

по-советски: «Кинжал – символ разбоя и оружие разбойника... вы, вероятно, будете разбойником пера»! Я сказал выше, что этот сон я видел 17 января 1942 г. Почему я запомнил точную дату какого-то бессмысленного сна, тогда как даты многих серьезных событий наяву совершенно забыл? Причина была следующая: ленинградец внушительно наказал мне запомнить сон, который я увижу ровно через год – 17 января 1943 г. В этот день, пояснил он, окончательно определится и ваша судьба. Поэтому не без любопытства поджидал я сон 17 января 1943 г. И не дождался: всю ночь этого числа я не спал, так как находился в переполненном солдатами вагоне на пути между Варшавой и Берлином...

Однако – назад, к хронологии.

Стоял декабрь 1938 г. Сокамерник, вернувшись с очередного допроса, сообщил, что в кабинете его следователя исчез портрет Ежова. Он думает, что Ежова больше нет. Его подняли на смех. Дня через два, один за другим, два сокамерника сообщили, что, кажется, Ежова сняли, ибо в кабинетах их следователей тоже исчезли портреты Ежова. Всех их успокоил один наш камерный циник: видно, в НКВД происходит побелка, а когда происходит побелка, то убирают даже портрет Сталина. На другой день сам циник был взят на суд и вернулся оттуда с той же новостью – защитник ему шепнул на ухо: Ежова сняли, на его место назначен Берия. Вот теперь не только наша камера, но и вся тюрьма превратилась в «научно-исследовательский институт». Мы интенсивно перестукивались, клали в туалете записки друг другу, изучали поведение наших следователей и представителей тюремной администрации, да и самих надзирателей, чтобы уловить смысл происшедших перемен. Мучивший всех вопрос гласил: «Будет хуже или лучше?» Если будет то же самое, то незачем было бы и снимать Ежова. Когда камера потребовала от меня высказать свое мнение по этому вопросу, я невольно

вспомнил недавнее пророчество Постышева о «заговоре Сталина против Ежова». На этот же вопрос, предупредив меня, очень оригинально ответил упомянутый наш камерный циник, инженер-химик:

– При Берия лучше будет только в одном случае, если он, отменив практику массовых расстрелов Ежова, чтобы сэкономить свинец, начнет массовые повешения, тогда он сорвется – в стране не наберется столько веревок...

В этой политической гиперболе была рациональная мысль: худшее невозможно себе представить.

Я, кажется, уловил методологию Сталина в политических кампаниях: заставлять своих подчиненных для скорого достижения поставленной цели максимально перегибать палку, а когда цель достигнута и возвращение к «статус-кво» не дано в силу характера происшедших событий и создавшейся новой ситуации, объявить этих своих усердных исполнителей «левыми загибщиками» и ликвидировать их, зарабатывая себе на этом еще и «моральный капитал». Народ должен думать: «Вот негодяи, подвели товарища Сталина, но уже исправить это невозможно». В соответствии с этим я выдвинул гипотезу: правление Берия во внутренней политике может ознаменовать «весну либерализма» путем исправления «левых загибов» и наказания «левых загибщиков». Ежова и ежовцев посадят сюда, а нас освободят. Прогноз оказался слишком оптимистическим: ежовцев, правда, посадили, но нас не освободили.

Но изменения при Берия все-таки произошли. Важнейшими из них были прекращения массовых пыток на допросах и роспуск «Чрезвычайных троек». С тех пор как Берия возглавил НКВД, в НКВД в Грозном не было ни одного случая избиения. Против этого утверждения могут возразить, сославшись на известную телеграмму Сталина в секретном докладе Хрущева на XX съезде. Однако присмотримся более внимательно к этой телеграмме. 20 января 1939 г., после

назначения Берия, в ответ на жалобы секретарей обкомов, крайкомов и ЦК республик, что у них продолжают применять к арестованным физические пытки, Сталин ответил:

«ЦК поясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 г., было разрешено ЦК ВКП(б)... ЦК считает, что методы физического воздействия должны, *как исключение,* и впредь применяться по отношению *к известным* **и** *отъявленным врагам народа».*

Из жалоб секретарей партии с несомненной достоверностью вытекает, что, когда снимали Ежова, его обвинили в применении массовых физических пыток, ибо иначе местные секретари никогда бы не посмели жаловаться Сталину на продолжение этих пыток. А из ответа, в свою очередь, вытекает: «методы физического воздействия» при Берия допускаются только «как исключение», и то только по отношению к «известным и отъявленным врагам народа» – то есть к представителям бывшей элиты партии: к членам ЦК, к первым секретарям обкомов, крайкомов и ЦК республик, наркомам и к ответственным («известным») сотрудникам ежовского НКВД. (В связи с этим я расскажу потом, как меня вызывали свидетелем на военный трибунал для дачи показаний о том, как бывшие следователи НКВД периода Ежова применяли ко мне на допросах физические пытки.) В нашей республике такие «известные враги народа» были уже побиты и перебиты, а к новым арестованным таких пыток не применяли. Основные процессы в республике тоже были проведены при Ежове. Главный процесс – над партийным и советским руководством – кончился относительно мягким приговором (если иметь в виду массовые расстрелы через «тройки»): три бывших руководителя республики были приговорены к расстрелу, замененному потом сроками заключения (Саламов, Горчханов, Тучаев), а около сотни ответственных работников, приговоренных к срокам, вообще были освобождены.

Когда в начале 1939 г. меня перевели во внутреннюю тюрьму и начались новые допросы, тут я тоже заметил важные перемены: подследственный и надзиратель должны были ставить свои подписи в специальном журнале дежурного по коридору, в какие часы и минуты брали подследственного на допрос, то же самое повторялось, когда его возвращали в камеру.

В кабинете сидел новый следователь и без харьковских «атлетов». Он тоже начинал протокол допроса с указанием часов и минут, а в конце протокола указывал, когда допрос кончился. Сам допрос теперь велся без каких-либо насилий или угроз. Следователь сообщил мне, что он начинает мое следствие заново, что пункт «1А» статьи 58 у меня снят, а по остальным пунктам я должен дать честные показания; он предупредил, что за ложные показания я буду привлечен к уголовной ответственности, что я в этом учреждении слышал впервые.

Следователь ставил по каждому пункту один и тот же вопрос: признаете вы себя виновным? Мои ответы – «не признаю» – тут же записывал, не вступая со мною в дискуссию и не настаивая, чтобы я в чем-нибудь признался. Он сообщил мне, что на меня есть два десятка показаний других арестованных, которые утверждают, что я состоял с ними в одной контрреволюционной организации. Я потребовал немедленной очной ставки с теми, кто это утверждает. Мне дали только одну очную ставку с человеком, которого я меньше всего ожидал видеть в такой роли, – с моим старым учителем Халидом Яндаровым. Когда его привели в кабинет и посадили против меня, я искренне простил ему, что он подписал клевету против меня: это был не мой старый учитель, а его скелет. Безжизненные, мутные глаза ничего не выражали, кроме пережитого ужаса и безнадежной обреченности. Во рту, насколько можно было видеть, не осталось ни одного зуба.

На лице виднелись шрамы, следы от недавних избиений, а правая рука, видно, не двигалась, и я видел, как он с трудом подписывал протокол левой рукой, хотя и не был левшой.

Следователь предложил ему повторить свое показание против меня на предварительном следствии. Яндаров еле слышным голосом сказал:

– Я ничего не помню, я ничего не знаю, – и потом, как бы вспомнив, что его могут подвергнуть новым пыткам, добавил: – У вас там в бумагах что-то записано, читайте уж вы сами.

Следователь прочел: «В 1931 году, на квартире у Авторханова, в доме «Жилстрой, номер пять», у нас состоялось нелегальное собрание, на котором Авторханов предложил создать независимую Северокавказскую республику под протекторатом Турции и Англии, а чтобы эта республика была признана Россией, надо вызвать Троцкого из-за границы и поставить его на место Сталина. Мы так и постановили».

Следователь теперь спросил, что я на это отвечу. Я запротестовал против такого способа ведения очной ставки.

– Во-первых, Яндаров должен мне в лицо подтвердить свое клеветническое показание, потому ведь и называется данная встреча «очной ставкой», во-вторых, если он не в состоянии это сделать и вы зачитываете его прежнее показание, то ваш первый вопрос должен быть обращен не ко мне, а к нему: подтверждает ли он свои показания на предварительном следствии? В-третьих, вы сочинили за Яндарова совершенно смехотворную чушь – как может маленькая Чечня вызвать из-за границы Троцкого да еще свергнуть Сталина?

Первый раз новый следователь дал мне понять, чтобы я не слишком обманывался насчет происходящих в этом учреждении перемен:

– Здесь следователь я, а не вы. Не вам меня учить, как проводить «очную ставку»!

– В этом случае я отвечаю: все, что вы прочли от имени этого несчастного человека, ложь, ложь, ложь!

Я добавляю и требую точно записать в протокол: в 1931 г. «Жилстрой, номер пять» еще не существовал, так что хотя бы поэтому там не могло состояться какое-либо собрание.

Ответ следователя был обезоруживающе циничен:

– Совершенно неважно, где состоялось собрание, а важно, что оно когда-то и где-то состоялось.

«Очная ставка» кончилась. Я вернулся в камеру, освободившись от преувеличенных иллюзий. Кажется, в марте 1940 г. меня вызвали подписать протокол об окончании следствия. Мне дали сначала прочесть дело, причем невероятно торопили, чтобы я читал быстрее. Но я так долго жаждал узнать, на основании каких данных меня арестовали и какие показания стоят за каждым пунктом обвинения, что вовсе не торопился и с великим любопытством читал каждый лист. Показаний на меня было около 18–19. Один арестованный показывал, что, когда заседал повстанческий штаб Чечено-Ингушетии, я был уполномочен руководить восстанием в Гудермесском районе (единственный район Чечни, где я никогда не бывал). Другой арестованный, инструктор Северокавказского крайкома Тлюняев показал, что, будучи в командировке в Москве, он встретился со мною. На вопрос – что нового, Авторханов сказал, что за один прошлый год, во время восстания в горах, в Чечне, было убито больше людей, чем за всю двадцатипятилетнюю Русско-кавказскую войну под руководством имама Шамиля (это было единственное правдивое показание, и я этот разговор хорошо помню, но я мог это отрицать, так как к этому показанию была приложена справка – «Тлюняев приговорен Северокавказским военным трибуналом к расстрелу, и приговор приведен в исполнение»). Наш бывший руководитель областной партийной организации, друг Орджоникидзе и его заместителя Пятакова Ефрем Эшба показал, что он от меня получал секретные сведения о состоянии экономики Кавказа и что он эти

сведения передавал Пятакову, а Пятаков английской разведке (тут тоже была приложена справка, что автор показания приговорен к расстрелу и приговор приведен в исполнение). В том, что такое показание вообще могли вынудить у бывшего троцкиста Эшбы, виноват был я сам – я занес его в тот список моих знакомых, который я составил по требованию Кураксина, думая, что мои связи с ним НКВД должны быть известны. Все другие показания были составлены по шаблону: мне мол известно, что такой-то является членом контрреволюционной организации (к каждому такому показанию тоже приложена справка: «Впоследствии отказался от своих показаний»).

Только один арестованный, бывший завагитпропом обкома, автор одной из статей против меня во время партийного дела в Москве, утверждал, что все книги, которые я писал по истории Чечни, – точно вредительские, только ему неизвестно, писал ли я их по заданию контрреволюционной организации, ибо сам он в такой организации не состоял (это был единственный свидетель, который и на суде не отказывался от своего показания).

Через месяц я получил «Обвинительное заключение», утвержденное спецпрокурором республики («спецпрокурор» – это чекист, который снял чекистский мундир, чтобы проводить линию НКВД изнутри самой прокуратуры). В «Обвинительном заключении» перечислялись 12 человек, дело которых должна была слушать уголовная коллегия Верховного Суда ЧИАССР. Список начинался с Мамакаева, бывшего члена бюро обкома партии, и кончался мною. Только мы с ним и были бывшими коммунистами, а остальные десять человек – беспартийные научные работники в области языка и литературы, старые культурные деятели Чечено-Ингушетии Х. Яндаров, А. Мациев, Д. Мальсагов и др. В «Обвинительном заключении» приводились большие выдержки

из взятых под пытками признаний обвиняемых на предварительном следствии. Я был указан как не признавший себя виновным. Поэтому наши камерные «специалисты» от чекистской юриспруденции твердо обещали мне волю. Желанное казалось таким невероятным, что я совсем не лелеял надежду на такой исход: если отделаюсь десятью годами и то лафа (потом, читая лагерный рассказ, кажется, Солженицына, смеялся: охранник, обращаясь к заключенному:

– За что тебе дали 20 лет?

-Да ни за что!

– Брешешь, ни за что дают только 10 лет!).

В мае 1940 г. открылся наш процесс. Председательствовал сам председатель Верховного суда Чечено-Ингушской АССР, русский по национальности. Обвинение поддерживает спецпрокурор республики. Есть несколько адвокатов, назначенных судом. Суд открытый, и зал полон нашими родственниками, друзьями и любопытными. Мы видим друг друга впервые за эти ужасные три года. Жестоко и непростительно, что старики заставили наших жен привести на суд детей, некоторые из них еще помнят отцов и с криками радости бросаются к ним, но охрана им грубо загораживает дорогу, а комендант дает приказ вывести из зала женщин, которые пришли с детьми. Этот инцидент тронул всех, я даже думаю, и самого судью с заседателями, так как не суд дал приказ вывести детей. Суд начинается с соблюдения всех формальностей: есть ли отвод суду, есть ли ходатайства сторон и т. д. Когда начинается допрос подсудимых, наш местный Вышинский приходит в раж и с основанием: все одиннадцать подсудимых, признавших себя виновными на допросах в НКВД, теперь на судебном следствии на вопрос председателя суда, признают ли они себя виновными, один за другим перед полным залом заявляют, что они отказываются от своих признаний, ибо они были взяты под мучительными пытками и

нечеловеческими избиениями. Зал возмущается подробностями пыток, но еще больше возмущается прокурор, который требует от суда, чтобы он не разрешал «матерым врагам народа» заниматься в этом зале контрреволюционной пропагандой и клеветой на НКВД. Но это не помогает. Судья старается заставить подсудимых коротко отвечать на вопрос о своей виновности или невиновности, но это ему явно не удается. Постепенно ведение допроса переходит от судьи к прокурору (эталоном ведь служили большие московские процессы, когда не судья Ульрих, а прокурор Вышинский допрашивал подсудимых). Но лучше бы для самого же НКВД, если бы прокурор от этой роли отказался. Прокурор перелистывает дело каждого и начинает широко цитировать показания подсудимых на предварительном следствии, как они, «пойманные с поличным», вынуждены были разоружиться, а теперь они решили вновь вооружиться давно заржавленным оружием контрреволюции... Но на красноречие и цитаты прокурора подсудимые отвечают подробными рассказами о пытках. Сам бывший прокурор Чечни, потом заведующий отделом обкома партии Магомет Мамакаев напомнил прокурору:

– Гражданин прокурор, я никаких показаний не давал, все, что вы цитируете, – это сочинения моих следователей. Я их подписал под адскими пытками, когда нарком Иванов дал мне честное чекистское слово, что через час после моей подписи меня расстреляют, но он меня обманул. Вероятно, вы хотите с таким опозданием выполнить обещание Иванова, но теперь не моя задача облегчить вам эту миссию. Я вчера видел своих детей, и если мне придется умереть, то я не хочу покрыть их будущее позором, чтобы говорили, что их отец умер как трус и предатель чеченского народа.

Поскольку процесс был основан лишь на личных признаниях подсудимых, от которых они теперь отказывались, а так

называемых вещественных доказательств и в помине не было, то он свелся к цитатам прокурора и подробным рассказам подсудимых о пытках.

Наступил последний день суда. Прения сторон открылись, как обычно, речью прокурора. Мы все с величайшим нетерпением ожидали, что думает о нашей судьбе НКВД головой этого местного Вышинского. Но наш провинциальный Вышинский, в отличие от московского, был крайне примитивен. Против отказавшихся от своих признаний он нашел только один аргумент: «Что написано пером – не вырубишь топором». В отношении меня, кроме тех показаний, от которых свидетели отказались, прокурор привел «два весьма важных показания», от которых эти свидетели не отказались: показание Тлюняева и Эшбы, «ныне расстрелянных врагов народа». Прокурор кончил речь, повторив изуверскую фразу московского Вышинского, ставшую теперь штампом прокуроров на местных процессах: «Я предлагаю всех подсудимых расстрелять как бешеных собак!»

А наши защитники себя вели так, как рассказывает чеченский анекдот о советском защитнике того времени: после суда чеченца возвращают в тюрьму, сокамерники спрашивают, чем кончился его суд?

– Мне дали 20 лет, а защитник так хорошо говорил против меня, что его оправдали!

Так и наши защитники: с одной стороны, это, конечно, нехорошо заниматься контрреволюцией, но, с другой стороны, велик советский социалистический гуманизм.

В коротких последних словах мы все просили суд вернуть нам волю и дать возможность работать на пользу нашего народа.

Мучительны были часы ожидания, когда суд удалился в совещательную комнату. В смертные приговоры я мало верил, но если дадут сроки, то они будут высокие, на пределе, судя по поведению прокурора. И вот 19 мая 1940 г., около

пяти часов вечера, председатель начинает читать: «Уголовная коллегия Верховного суда Чечено-Ингушской АССР именем... приговорила: считать всех подсудимых по суду оправданными и из-под стражи немедленно освободить». Матери, сестры, жены, словно по команде, зарыдали от радости, мужчины кричали «ура» и «браво», а мы, остолбеневшие от неожиданности, даже и не пытались выйти из-под стражи – настолько невероятным нам казался этот первый оправдательный приговор не только в Чечено-Ингушетии, но и на всем Кавказе. Толпа вынесла нас буквально на руках на улицу.

Представьте себе состояние человека, которого из этого кошмарного небытия выставили прямо на волю. Я рассказывал, что 11 октября 1937 г. на рассвете, еще в полусне и полусознании, я открывал медленно глаза в надежде, что пережитое накануне было только страшным сном, но решетки на окне быстро рассеяли мою иллюзию. 20 мая 1940 г., на другое утро после освобождения, я, просыпаясь в неопределенных чувствах, думал, а не было ли вчерашнее освобождение тоже очередным сновидением в тюрьме.

Нашу квартиру, конечно, в первый же месяц после моего ареста отобрали. Жена с дочерью ютились в маленькой комнате у своей матери, я временно устроился у своих друзей. Правительство не спешило дать мне квартиру и работу. Милиция отказалась выдать паспорт, так что я даже не мог уехать куда-нибудь в поисках работы. Причины всего этого я узнал позже, но главное – я был на воле, хотя эта воля и была советской, то есть условной.

В эти дни из гор приехал поздравить меня мой друг со времени Детского дома – Хасан Исраилов. Он был юрист по образованию, раньше меня успел посидеть в НКВД. Теперь работал адвокатом в горном Галанчожском районе. Это была человеческая натура поразительных контрастов: мягкий и сентиментальный в личном обращении, он был человеком непреклонных принципов и необыкновенного мужества в от-

ношениях общественных. Когда ему предложили второй раз вступить в партию (он был исключен из партии), чтобы назначить его судьей, он отказался, заявив, что в дальнейшем намерен зарабатывать хлеб головой, а не партбилетом. Он писал по-чеченски лирические стихи о любви, а по-русски – желчные корреспонденции в «Крестьянской газете» против произвола местных властей, за что и был арестован в начале кровавой коллективизации. Хасан приехал ко мне через неделю после моего освобождения и привез много масла, сыра и целого барана.

Наши продолжительные беседы имели свое влияние на мое дальнейшее поведение. Хасан начал с предупреждения:

– Запомни, отныне твоя личная и семейная жизнь кончилась, ты весь во власти НКВД, и по твоим пятам будут ходить его агенты. Горцам, которые думают о судьбе своего народа, чекисты никогда не давали и не дадут умереть своей смертью – назови хоть один пример!

– Это думаю я и сам, но какой же отсюда вывод?

Хасан ответил, что, если мы дорожим своей историей и своей независимостью, нам надо организовать во всей горной Чечено-Ингушетии силы самообороны. Я сразу понял, что он имеет в виду. Чтобы Хасан не подумал, что я слишком дорожу своей головой, я рассказал ему о массовом расстреле чеченцев под Терским хребтом и о своей клятве бороться против режима. Потом ответил по существу: силы самообороны надо организовать только тогда, когда сам режим окажется в кризисе. Иначе будут бессмысленные жертвы:

– Хасан, Чечня – капля, советская Россия – океан.

– А Шамиль? – напомнил Хасан.

– Хасан, в век Шамиля сражались люди, а теперь сражаются машины, которых у нас нет.

Я его не убедил, мы решили вернуться к этой теме в другой раз. Но другого раза не получилось. Меня ожидали новые испытания.

17. Новый арест и новый суд

На волю я вышел, но сколько ни старался, ни работы, ни квартиры мне не давали. Даже когда местный Педагогический институт пригласил меня работать преподавателем по кафедре истории, обком партии не дал на это своего согласия.

Тогда я решил уехать из Грозного и обратился в Грозненский паспортный стол с просьбой выдать мне паспорт. Мне сказали, что я должен получить паспорт по месту рождения – в Нижнем Науре. Там мне ответили, что паспорт я могу получить только по месту жительства – в Грозном. Три или четыре раза я без толку курсировал между моим аулом и Грозным, совершенно не догадываясь, что мне намеренно морочат голову. Возвращаясь из одной из таких поездок, я зашел в Научно-исследовательский институт по истории, культуре и языку, чтобы узнать, нет ли у них нужды в авторах для их «Вестника института», в котором я сотрудничал до ареста.

Страшно удивленный моим появлением, сотрудник института задал вопрос, который меня самого удивил еще больше:

– О, слава Богу, значит это неправда, что вас арестовали?

Заметив мое полное недоумение, он объяснил, в чем дело:

– Сегодня утром я был в обкоме и там рассказывали, что Москва отменила оправдательный приговор в отношении Авторханова, Яндарова, Мамакаева и Мациева, и что всех вас четверых прошлой ночью арестовали.

Следующие десять минут, которые я провел в его кабинете, показались мне вечностью. Я понял, почему мне не давали работы, квартиры или паспорта. Не было сомнения, что мои названные подельники арестованы, а меня ищут. При выходе, в приемной института, я столкнулся лицом к лицу и с тем шпиком, который под предлогом наведения у меня «истори-

ческой справки» по поводу родовых отношений в Чечено-Ингушетии, посетил меня в Москве, а потом неотлучно ходил там за мною до самого моего возвращения в Грозный. Это был писатель Л. Пасынков, автор романа об ингушах «Тайпа». Я после Москвы так много пережил и так много мерзавцев видел, что о нем совсем забыл, а вот теперь он стоит передо мною и спрашивает у сотрудников Института, не заходил ли сюда Яндаров. Шпик, конечно, искал не Яндарова, а меня. Получив отрицательный ответ, он быстро вышел. За какие-нибудь минуты, пока я вышел вслед за ним, он очутился в конце длинной Первомайской улицы, по направлению к центру города, – вероятно, спешил доложить своему начальству, что я вернулся в Грозный. У меня были считанные минуты, чтобы принять решение: как быть? Заезжать к семье уже было опасно. Я сел на трамвай, поехал за город в рабочий поселок к одному своему родственнику, который жил там нелегально, как «чуждый элемент». Родственник был очень удручен моим сообщением, запретил мне выходить из дому, а своего сына сделал «связным» между мною и моими друзьями в городе, чтобы узнать подробности по поводу отмены оправдательного приговора и обсудить положение, как мне быть дальше: явиться самому в НКВД или скрыться?

Мой родственник был человек бывалый и опытный. Во время нэпа он разбогател на казенных подрядах, после, объявленный «чуждым элементом», он спасался от репрессий тем, что вечно кочевал с одного места в другое и в то же время умудрялся быть состоятельным. Свое мнение, как мне быть, он выразил недвусмысленно:

– В свою пасть змея может заманить только существо жалкое и презренное.

Этим он только укрепил меня в том решении, которое я уже принял: скрыться. Старый «подпольщик» с солидным стажем, «явками» и богатыми связями в народе, он дал мне и совет: начать совершенно новую жизнь, где-нибудь в других

краях. Такой трезвый и умный в практической жизни, родственник мой жил в том же мире политических иллюзий, как и весь народ: скоро все изменится, и тогда ты вернешься на родину. «Если погибнешь в борьбе со злом, то народ будет тебя чтить как героя», – утешил он меня (когда в дни черного пессимизма я таким же образом начал утешать в камере моего подельника Мациева, что лет через сто наш народ нам поставит памятник за все эти страдания, то обычно сдержанный и молчаливый Мациев отозвался резко: наплевать мне на памятник через сто лет, я хотел бы сейчас съесть буханку хлеба!).

На второй день вечером я послал своего «связного» к одному из своих друзей, который занимал в республике высокое положение. Друг явился в тот же вечер и предложил мне немедленно переселиться на его квартиру, где мне легче связаться с нужными людьми и обсудить мое положение. Он подтвердил, что арестованы мои подельники и что меня ищут. Мой друг, как и мой родственник, думал, что мне лучше выждать исхода дела уже арестованных. Теперь все стало ясно. Я отклонил предложение друга поселиться у него, чтобы не подвергать его самого опасности. Я решил скрыться, – но куда? СССР занимает одну шестую часть земного шара, но в нем нет ни одного метра земли, где преследуемому по политическим мотивам можно было бы скрыться.

В ту же ночь, на верховом коне моего родственника, я двинулся в горы, чтобы искать убежища у Хасана Исраилова. На второй день я прибыл в Галанчож, но, к своему великому огорчению, Хасана дома не застал. Оказалось, что по своим адвокатским делам он уехал в Москву, и никто из семьи не знал, когда он вернется.

Что бывают встречи для человека судьбоносные – это явление нередкое, но что несостоявшаяся встреча тоже может оказаться таковой – я убедился на своем примере. Если бы я застал Хасана дома, моя судьба могла бы сложиться иначе. Я

не могу сказать, мог ли бы он меня уговорить участвовать в том восстании, которое он поднял через несколько месяцев, но шансов у него на это было сейчас больше, чем месяца два тому назад, когда он меня вербовал для организации «сил самообороны».

Долго оставаться в Галанчоже было небезопасно. Маленький горный аул, расположенный в чудесной лощине пологих гор, Галанчож был районным центром, в котором не только люди, но и каждая собака должны были быть известны районному уполномоченному НКВД. Поэтому я немедленно двинулся дальше, в тот аул у подножия Кавказского хребта, в котором жил друг моего грозненского родственника – Джабраил. Джабраил меня принял как родного сына, а узнавши, что я друг Хасана и в бегах от властей, молча повел в хлев, а там в землянку, оказавшуюся чем-то вроде «цейхгауза» оружия разного калибра. Указывая на этот самый «цейхгауз», Джабраил сказал:

– Абдурахман, нас шесть братьев, в нашей тайпе все вооружены, пока мы живы, с твоей головы не упадет ни один волос. Ты должен остаться у нас.

Чеченцы горды своим гостеприимством, но если гость ищет убежища от своих врагов, то они считают, что такого гостя им послал Сам Бог и тем больше ему почета и внимания.

Я решил остаться у Джабраила, пока вернется Хасан.

У горцев есть обычай приглашать гостя в каждый дом членов «тайпы», у которой он остановился, и на его глазах зарезать для него ягненка или барана, если даже в доме есть вдоволь мяса. Такая церемония приема гостя существует испокон веков, и ее нарушение считается оскорблением не гостя, а самой «тайпы». И вот меня начали таскать каждый день, а то и два раза в день, по разным домам, даже по разным аулам, где жили родственники Джабраила. Конечно, на такое приглашение приходит масса сородичей, чтобы лицезреть

гостя, расспрашивать его, что делается в его краях, а если гость читает газеты, то узнать у него, когда «русские уйдут с Кавказа». Мой пессимистический ответ на последний вопрос всегда вызывал страстные дискуссии, достойные именно свободолюбивых до безрассудства горцев. Написав эти строки, я вспомнил одно высказывание о горцах известного и талантливого поэта Наума Коржавина. Стараясь понять смысл или бессмысленность преступлений Сталина, советский поэт Коржавин отважился, как мне передавали, выставить следующий, в сталинское время самоубийственный «философский тезис»: «Жители гор по рождению склонны к кретинизму, а Сталин, как известно, родился в горах»! Поэт легко отделался, его только заключили в концлагерь. Однако я утверждаю: храбрый, но безрассудный поступок Коржавина роднит его больше с кавказскими горцами, чем былого «горца» – тирана из Кремля, вечно дрожавшего за свою голову. Благородная черта – готовность рисковать своей жизнью во имя общего блага – ведь тоже есть своего рода безрассудство. В конце каждой дискуссии безрассудные горцы Галанчожа вносили предложение: все горцы Кавказа должны восстать против кавказского царя в Москве, как мы восставали при Шамиле против русского царя. Трудно, да и невозможно было их убедить: горсточка горцев не может разгромить великую империю. Мне, поклявшемуся бороться с советской властью, пришлось ее защищать против безрассудства вот этих моих соотечественников. В начале данной работы я цитировал русского историка начала XIX века, который при всей своей необъективности к чеченцам, сделал о них, однако, и одно глубоко правильное замечание за 40 лет до их покорения царской Россией и за 120 лет до их депортации советской Россией: «Только чеченцы отличаются от всех кавказских народов оплошным непредвидением, ведущим их к явной гибели».

На все мои предупреждения, чем может кончиться для Чечни восстание, мне отвечали чеченской поговоркой: «Трус умирает много раз, а герой только один раз». Против моего призыва к благоразумию приводили и другой аргумент, который никто не осмелился бы оспаривать. Чеченцы, как мусульмане, – фаталисты. Поэтому и проблема смерти ставится у них по-другому. Судьба неотвратима. Человек может провести всю свою жизнь на войне, но он не умрет раньше того дня, который Аллах ему предназначил. Человек может провести всю свою жизнь за чтением Корана, но он не проживет ни одного дня больше, чем назначил ему Аллах. Непримиримый антисоветизм горных чеченцев даже трудно было понять, ибо им жилось гораздо лучше, чем на плоскости. Например, мой Джабраил был богатый овцевод, который формально числился в животноводческом колхозе, а на самом деле был, как и все горцы, единоличником. Поскольку по уставу животноводческой «артели» колхозник имел право держать в индивидуальном пользовании только до трех десятков овец, то он свою отару в несколько сот овец распределил между своими родственниками как их «собственность». Так делали и другие крупные овцеводы. Власти это знали, но поскольку все попытки создать настоящие колхозы наталкивались на упорное сопротивление, которое часто приводило и к восстаниям, то приходилось ограничиваться «бумажными колхозами», правда, делая раз в год в буквальном смысле «вооруженные налеты» в горы, чтобы выполнить мясозаготовительный план. Тогда у горцев бывал черный день: уполномоченные обкома партии, прибывшие сюда в сопровождении частей милиции и НКВД, забирали часть скота, который попадался под руки, а потом так же внезапно исчезали, как и внезапно налетали. Такие налеты делались только в такие горные районы, которые, как Галанчож, считались «трудными». В «легкие» районы посылались уполномоченные выполнять планы «мирными средствами»,

апеллируя к политической сознательности массы. Но что это были за «мирные средства»? Хорошо помню, как в 1932 г., за год до моего отъезда в Москву, нас, два десятка уполномоченных обкома, разослали по всем районам Чечни, чтобы мы, соревнуясь между собой и призывая к сознательности массы, «мирно» выполнили планы мясозаготовки во всех районах, в том числе и в «трудных». Среди нас был и ответственный секретарь областного исполкома, интеллигент, мягкотелый и беспомощный, как дитя, он был к тому же совершенно бездарен как агитатор. Никто толком не знал, как этому недотепе достался столь ответственный пост. Именно его назначили в один из самых «трудных» горных районов – в Итумкале. Мы все пророчили ему позорный провал и потерю кресла в исполкоме. Но получилось иначе: он опозорил нас всех. Через какую-нибудь неделю, когда мы только-только приступили к выполнению плана, он подал в обком рапорт: «План мясозаготовки по Итумкале выполнен на сто процентов, поступление скота по встречному плану продолжается». Через пару месяцев мы сидели в узкой компании на квартире секретаря обкома Вахаева. Вахаев, человек с юмором, попросил ответственного секретаря областного исполкома открыть секрет столь невероятно быстрого выполнения плана по такому безнадежному району, как Итумкале.

– Останется между нами? – спросил исполкомский секретарь.

– Гарантирую, – ответил обкомовский секретарь.

– План я выполнил так. Я поехал в самый антисоветский аул Итумкалинского района и назначил там районное собрание всех авторитетных стариков и мулл. Я их спросил, получили ли они задания по мясозаготовке. Все ответили утвердительно. Тогда я им сказал, что правительство прислало меня уговорить вас, чтобы вы это задание выполнили. Но вы люди умнее меня и уговаривать вас незачем. Я вам хочу

только по секрету сообщить, что будет, если вы не выполните задания.

– Просим, просим, – раздались голоса.

Тогда я их спросил – вы почитаете Коран?

– О, как можно так спрашивать, как Аллах не отнимет у тебя язык?

Тогда я вытащил из кармана Коран и, положив на него указательный палец, начал клясться:

– Валлейхи, биллайхи, таллайхи, клянусь этим Кораном: советская власть решила, если вы не выполните задания, забрать у вас весь скот, вас самих сослать в Сибирь, а ваши дома сжечь дотла. Я кончил.

Один за другим начали выступать старики. Все в один голос заявили:

– Первый раз мы слышали представителя советской власти, который не врет, а правду говорит. Начинайте с завтрашнего дня принимать от нас скот.

Действительно, за неделю я выполнил план, но когда обком мне предложил передать мой опыт «социалистического соревнования» другим районам, то я ужасно заболел.

Вернусь к Галанчожу. В ожидании возвращения Хасана я уже недели две находился в гостях у Джабраила, успел побывать на приглашениях почти всех его сородичей, но Хасан не возвращался, и мое дальнейшее нахождение здесь становилось для меня опасным. К Джабраилу начали приезжать люди из дальних аулов, чтобы обсуждать со мною свои проблемы, будто я член правительства, а на майданах, наоборот, как я узнал, только и говорили, что у Джабраила живет «таинственный гость», который хочет объявить газават. Правда, в горах существовал еще со времен Шамиля закон убивать лазутчиков, и поэтому чекисты не сумели создать здесь своей агентурной сети, но исключения были возможны. Я очень осторожно, чтобы его не обидеть, объяснил Джабраилу, что

мне надо посетить одного моего друга в районе, пограничном с Грузией, если будет угодно Аллаху, мы еще встретимся. Он неохотно отпустил меня в сопровождении своего сына Рашида, который показал себя отличным проводником.

Мы двинулись на низкорослых горских лошадях – это особая порода альпийских лошадей-«вездеходов» (я лошадь своего родственника отправил обратно в Грозный через знакомых Джабраила). Мне, плоскостному чеченцу, путешествие на такой лошади по узким тропинкам на склонах крутых гор, нависших над бездонными пропастями, было делом непривычным, даже страшным. У меня было такое чувство, что если бы мне нужно было идти по этим тропинкам пешком, то я давно провалился бы в пропасть от одного только головокружения, а альпийская лошадь везет уверенно, иногда перепрыгивая, как дикая коза, если встречались препятствия, и балансируя, как акробат на канате, если тропинка становилась слишком уж «узкоколейной». Мой молодой, но опытный проводник, шедший впереди, если переход становился слишком крутым, а я начинал неуверенно править лошадью, оглядывался и, еле сдерживая ироническую улыбку, поучал меня:

– Абдурахман, у вас там внизу человек ведет лошадь, а у нас в горах наша лошадь сама ведет человека. Не трогайте уздечку и держитесь за холку.

Однако, чем дальше на юг, к Кавказскому хребту, тем уже и опаснее становились наши тропинки. Участились и горные оползни. Много раз Рашиду приходилось своей, предусмотрительно захваченной им, альпийской киркой прокладывать для нас новую тропинку по этим оползням. Однако главная беда нас ждала впереди – начиналась зона массивных ледников. Наше путешествие было путешествием через ландшафтные и климатические контрасты: на вершинах – холодище, как в январе (стоял август), на тропинках по их

склонам встречались довольно крупные камни, словно «бетонированные» льдом, которые туго поддавались кирке Рашида, а там внизу, в долине, через каких-нибудь две тысячи метров, во всем величии цвела природа и грело солнце.

Рашид был не только храбрый малый, но и парень с философским складом ума. Когда, изрядно замерзшие, мы спустились с одной очень высокой и холодной вершины в теплую солнечную долину, Рашид вспомнил, какой вопрос он однажды задал мулле:

– Мулла, ты человек ученый, скажи, почему это так, чем ближе к Богу, тем холоднее?

– И что же мулла ответил?

– Он сказал, что я шайтан, и у Бога мне не будет холодно – Бог меня изжарит на большой сковороде.

В долине мы хорошо отдохнули, подзакусили и двинулись преодолеть последнюю и самую тяжелую вершину к конечному пункту нашего путешествия. Поздно вечером мы достигли и этого пункта, одно название которого символизировало что-то необычное и страшное: «Белличи-шахар», что значит «Город мертвых». Рядом возвышается и аул из живых людей, но стоящих в стороне от истории и даже от советской власти. Аул этот – Малхиста, что буквально и значит: «в стороне от солнца». Его возглавлял член тайпы Джабраила – Осман, к которому мы и заехали. Глава аула называется так, как он назывался еще в древние времена: «юрт-да», что значит «отец аула». Вероятно, Осман был самый счастливый «отец аула», ибо об «отце народов» Осман не имел даже приблизительного представления; газет и радио не было, в городе никогда никто не бывал, а от советской власти сюда приезжал в три года один раз районный фининспектор собирать налоги.

В отличие от плоскостной, горная Чечено-Ингушетия представляет собой нечто вроде археологического музея

древних азиатских культур и христианского средневековья. Следы этой культуры вы встречаете повсюду в горах в виде склепов, мавзолеев, остатков разных архитектурных стилей. Вот какую справку дает по этому поводу специалист по археологии: «Древнейшие образцы художественной культуры на территории Чечено-Ингушетии восходят к 3–1-му тыс. до н. э.... Скифо-сарматское время (7 в. до н. э. – 4 в. н. э.) представлено произв. *звериного стиля*, аланский период (8–13 вв.) – катакомбными могильниками... монг.-тат. время (13 – нач. 15 вв.) – мавзолеем Борга-Каш близ с. Плиево. В христ. культовой архитектуре 11–13 вв.... сочетавшей грузинские и местные строит, традиции, преобладали геометрич. простота форм и строгое изящество декора. В горных р-нах Чечено-Ингушетии в средние века из грубо отесанных камней строились заградительные стены... жилые (2–3-ярусные, с плоской кровлей и арочными проемами) и боевые (4–5-ярусные с бойницами, *машикулями* и пирамидально-ступенчатой крышей) башни, иногда образующие величественные комплексы... Рядом с горными селениями, составляющими живописные террасообразные композиции на склонах, размещались многочисленные надземные, полуподземные и подземные... склепы, а также надмогильные стелы» (БСЭ, т. 29, третье изд., сс. 176–177, статья В. Б. Бесолова). Вот к этим памятникам принадлежал и «город мертвых». Меня больше всего интересовала история жилых и боевых башен в горах, которые строили сами чеченцы и ингуши. Особенно славились в этом искусстве ингушские архитекторы. Их приглашали строить такие башни даже в соседних грузинских княжествах.

Боевую башню в горах имела каждая чеченская тайпа, если даже она живет на плоскости. Боевая башня тайпы считалась одновременно и символом престижа тайпы и доказательством того, где находилась ее последняя «линия

обороны» при очередном нашествии иноземных завоевателей, которые вечно двигались через «геостратегические ворота» между Азией и Европой – через Кавказ.

Перед нашим выездом сюда Рашид навьючил наших лошадей сумками с солью. А я совершенно не знал, что соль на Кавказском хребте – валюта. За деньги мало что можно было купить, а за соль – все, что здесь имеется. Керосин и спички тоже высоко ценились, но без них легко обходились при помощи огнива и свечек домашнего производства. Все, что нужно для одежды, обуви и домашнего обихода, производили сами. Главное хозяйство – скотоводство, преимущественно курдючное овцеводство; может показаться странным, но иные курдюки весили почти столько же, сколько сама овца (тогда под них делают маленькие тележки, чтобы овца могла тащить собственный курдюк). Несмотря на отсутствие земли под зерновые культуры, люди умудряются сеять хлеб на «лоскутках земли» в лощине, на скате горы и даже на скате чужой крыши, с которой начинается их собственная сакля. «Коммуникация» осталась такая же, какая она была со дня сотворения мира: вот ваш сосед, он на противоположном скате горы. Если вы достаточно горластый и с хорошим слухом, то вы с ним легко обмениваетесь новостями, но чтобы добраться до него, вам нужно идти полдня по извилистой тропинке цепи гор, с их бесконечными спусками и подъемами. Двигаясь по этим брошенным Богом и цивилизацией горам, по скатам которых гнездились жалкие сакли Малхисты, я много задумывался над тем, как велика должна была быть любовь к свободе и независимости моих предков, если они предпочитали суровую жизнь отшельников в этих диких горах всем жизненным удобствам на плоскости, где хозяйничали чужеземные завоеватели.

Рашид утром начал свой спуск, а я остался жить у Османа. Часто ходил вместе с ним к его отаре, которую он гнал то на

плато, то вниз к ущелью, куда солнце заглядывало на час-два, видимо, это и называлось «жизнью в стороне от солнца».

Я не объяснил, почему после Джабраила я выбрал местом убежища именно Малхисту. После моего освобождения я встретил друга, которого не видел лет десять. Он происходил из «чуждой семьи», поэтому был исключен из высшей школы, а чтобы спастись от репрессий, исчез из города. Вот после выхода из тюрьмы его я встречаю в Грозном. Полусерьезно-полушутя, друг говорит:

– Абдурахман, если у тебя будут новые трудности с советской властью, то приезжай ко мне в Малхисту, там Богу душу отдашь раньше, чем встретишь чекиста.

Друг рассказывал о своей новой жизни, о нравах и обычаях тамошних жителей, об их исторических легендах и очень много о памятниках старины. Все это меня так заинтересовало, что я обещал ему побывать у него в гостях даже без «трудностей с советской властью».

Но надо же было случиться этим «трудностям» так быстро, что я прибыл к нему в гости раньше, чем он вернулся из Грозного. Это была моя вторая неудача (или удача), когда я после Хасана не застал дома и его.

Не прошло и двух недель, как я сказал себе: в этих суровых условиях климата и жизни, в этой абсолютной изолированности от внешнего мира может пребывать только человек, который здесь родился, вырос и никогда не бывал на плоскости. Здесь царила девственная свобода патриархально-родовой демократии, но выяснилось, что человек, уже затронутый городской цивилизацией, не может жить такой свободой. Я решил лучше рисковать встречами с чекистами, чем прозябать в этом небытии, Осман, который принял меня очень хорошо, но понимающе следил за моей ностальгией, ничуть не удивился, когда я его попросил организовать мое возвращение в Галанчож. Я надеялся, что Хасан уже, должно

быть, вернулся и он сумеет создать мне более сносное убежище. Мы с Османом на другой день на таких же горных лошадях, как у Рашида, благополучно спустились с Малхисты и к вечеру прибыли к моему Джабраилу. Хасан, оказывается, все еще не вернулся. Несмотря на все уговоры Джабраила оставаться у него, я все-таки решил через Ингушетию добраться до Орджоникидзе, а оттуда по железной дороге поехать в Кизляр. Так и сделал. Из Кизляра я держал путь в кара-ногайские пески. Там, недалеко от Терекли, в песках жила сестра моего отца тетя Деци, та, которая нас с Мумадом снабдила провизией на дорогу, когда я бежал из дому. Здесь образовалось среди ногайцев несколько небольших чеченских аулов из Надтеречных чеченцев, бежавших сюда от преследований местных властей. Деци жила у своих женатых сыновей, простых, редкостно трудолюбивых крестьян – Саид-Эми, моего ровесника, и младшего – Виси. Оставшись вдовой очень рано, когда дети были совсем маленькими, Деци их вырастила, счастливо поженила, появились внуки и внучки, которым она безропотно отдавала свою старость. Она была слишком горда, чтобы жить на их иждивении. Поэтому завела себе собственный очаг, имела корову, несколько коз, купила в Грозном «сепаратор» – пахтать масло из молока, что приносило ей хороший доход; пешком ходила до Грозного, чтобы принести оттуда несколько кирпичей калмыцкого чая (ногайцы заболевали без этого чая и поэтому давали за кирпич целого барана). Все, что она получала от этой своей «предпринимательской» изобретательности, она отдавала на украшение жизни внуков и внучек. Когда близкие родственники упрекали Деци, что достаточно она горбила на своих детей, пусть теперь за внуками ухаживают родители, Деци обычно отвечала:

– Мои дети не знали счастья детства, пусть уж почувствуют это счастье мои внуки.

Поэтому, хотя внуки и росли в песках, но дома у них были все игрушки, какие только продавались в кизлярских и грозненских магазинах.

Вот к этой моей тете меня и доставил ногаец за небольшие деньги на своей скрипучей допотопной арбе и всю дорогу пел мне одну и ту же песню с назидательным припевом: «яман арба йол бузар – яман мулла дин бузар» («плохая арба дорогу портит, плохой мулла веру портит»).

Я не погрешу против совести, если скажу, что Деци любила меня, как любила собственных детей. Она недавно была в Грозном, узнала от родственников, что я исчез, но ни родственники, ни друзья не знали, на воле ли я, сижу ли я или, может быть, даже погиб. Поэтому мое внезапное появление произвело такое впечатление, словно я вернулся с того света. Радости тети не было конца, радовались братья, их жены, дети, которым я не забыл купить подарки в Орджоникидзе. К сожалению, я должен был их разочаровать – они думали, что приехал к ним как свободный человек, а пришлось сообщить, что я в бегах. Наказал заодно, что никто, даже родственники, даже семья не должны знать, что я живу у них, ибо если меня арестуют, могут арестовать и тех, кто меня принял в свой дом. Я с первых же дней бегства отпустил усы, бороду, переоделся по-простецки, снял очки, избегал встреч. Мне казалось, что я довел себя до такой степени неузнаваемости, что хоть гуляй по Проспекту революции в Грозном.

Местность, как и в горах, была довольно дикая, но по-другому – люди жили в небольших оазисах, а дальше шли бесконечные пески, иногда чередующиеся с камышами. Разумеется, здесь тоже не было ни радио, ни газет. Ведь эти люди тоже бежали от советской «цивилизации». Деци видела, как тяжело я переживаю отсутствие связи с семьей, друзьями, да и вообще с внешним миром. Однажды Деци предложила мне неожиданный план моего «выкупа» у «грозненских

начальников». Она наслышалась от людей, что все грозненские начальники – взяточники, что за деньги они освобождают даже разбойников.

– Абдурахман, – обратилась ко мне моя добрая тетя, – скажи, как имя твоего судьи, я продам свой «сепаратор», корову, коз, соберу много денег, поеду в Грозный и отдам их ему, чтобы он разрешил тебе жить на воле.

Трудно было растолковать моей тете, что ее план нереален и что судья, который меня хочет судить, ни в чем не нуждается: ему принадлежат все «сепараторы», все коровы, все люди, все государство.

Хотя я строго наказывал родственникам держать незнакомых людей подальше от меня, я сам первым же начал нарушать требования осторожности, тем более, что вот уже два месяца я в бегах, а от якобы вездесущего НКВД ни слуху, ни духу. Это, естественно, предрасполагало к беспечности.

Через свои связи тетя узнала, что жена моя ожидает второго ребенка, по-прежнему живет у своей старой матери; перспектива кормить двух детей, когда я в бегах, а все ее три брата арестованы, была ужасная. Я принял отчаянное решение: добраться до Грозного, встретиться где-нибудь с семьей и постараться организовать ей какую-нибудь помощь.

Добираться до Грозного через пески к Тереку или в обход через Кизляр было очень утомительно, но я слышал, что между Терекли и Грозным курсируют местные самолеты. Я посетил Терекли, и первый же человек, что-то вроде маленького чиновника с большим портфелем, к которому я обратился за справкой о расписании полетов, сказал мне, что эти полеты отменены. Разочарованный, я вернулся домой и начал думать о новом маршруте. Так, в думах, как попасть в Грозный, прошло пять-шесть дней. Оказалось, что ничего нет проще, если за вас думают и другие.

Поздно вечером, в ноябре 1940 года, моего брата Виси, у которого я жил, посетил его односельчанин с просьбой ко

мне написать заявление его гостям из Чечни, у которых завтра суд в Терекли, а они по-русски не говорят. Это заявление будет их показанием. Только я успел переступить порог его гостевой комнаты, раздалась команда: «Руки вверх!». Со всех сторон – через окна, через дверь и из самой комнаты люди в чекистских формах на меня наставили дула винтовок, только один из них был в гражданской форме: тот, у которого я спрашивал шесть дней тому назад расписание самолетов, – Саид-Салих. Почему столько дней прошло после этого до ареста, объяснялось тем, что арестовать меня приехал грозненский НКВД. (Через три года я Саид-Салиха встретил в других условиях, на немецкой стороне, в Северокавказском легионе, куда я ездил с докладом. Он растерялся, встретив меня, но я не счел нужным сообщать о нем командованию.)

Один из офицеров чекистской команды, арестовавшей меня, предложил, чтобы я их повел в дом, где я жил. Я жил в доме Виси, там у меня хранились разные документы, письма друзей, наброски исторических очерков. Я не хотел, чтобы все это попало в руки НКВД. Поэтому я двинулся в противоположном направлении, в дом старшего брата. Офицер резко остановил меня, обложил звучным русским матом и, направив на меня револьвер, скомандовал: веди туда, откуда ты только что пришел. И каждое второе слово – матерщина. Лучше бы он выстрелил в меня, чем в присутствии всего аула, который успел набежать сюда, оскорблять. Мне уже нечего было терять. Я вернул офицеру всю его матерщину, пропустил не только его самого, но и его родителей, товарищей, его присных через все падежи с сочными прилагательными виртуозной русской ругани, которой я наслышался от уркачей за три года в тюрьме. Он, не привыкший к такой взаимности, хотел заехать мне по голове рукояткой револьвера, но старший офицер его вовремя остановил. Меня повели туда, куда я хотел – к старшему брату, в доме которого жила тетя.

Старший офицер, в туго завернутом башлыке, из-под которого едва видны были его глаза, от обыска отказался и предложил мне потребовать мои личные вещи. Через окно, у мерцающей керосиновой лампы, я увидел Деци, которая что-то вязала своим внукам. Я постучал в окно, чтобы она вынесла мои вещи. Она вышла, но, увидев меня в окружении чекистов, подняла дикий крик, начала рыдать и рвать на себе платье, волосы, ее снохи присоединились к ней, громко начали кричать дети, потому что кричали их матери и их бабушка. Чекисты хотели увести меня без вещей, но я попросил старшего, того, кто в башлыке:

– Подойдите, пожалуйста, к моей тете и скажите ей просто, что вы берете меня на проверку, если я окажусь невиновным, то меня освободят, но сейчас она должна дать мне мои вещи.

Он так и поступил. Это сразу помогло. Я получил все нужное. Я страшно боялся, что арестуют братьев, но их не тронули. Меня увезли на ночь в тюрьму Терекли. Там старший офицер снял свой башлык. Передо мной стоял оперуполномоченный НКВД Умалат Эльмурзаев, с которым мы сидели в детстве на одной школьной скамье. Кажется, импульсы как к добродетельной, так и к злодейской деятельности пробуждаются в человеке еще с раннего детства. Друзья детства Сталина писали, что мальчиком будущий «отец народов» имел странное хобби: он любил мучить животных. Мой Умалат животных не мучил, но увлекался реликвиями, которых страшились другие ученики: он составлял альбомы из старых фотографий и зарисовок, в которых были запечатлены разные сцены казней с обеих сторон во время гражданской войны. Не окончив и средней школы, он поступил на работу в ГПУ и сразу оказался в своей стихии. В начале тридцатых годов в ГПУ была негласная, но мирная чистка по признаку «профессиональному». Дело в том, что со времени

Дзержинского в системе Чека-ГПУ существовала должность коменданта, вроде «завхоза», но этот «завхоз» одновременно выполнял и обязанности палача, когда надо было приводить в исполнение смертные приговоры коллегии Чека-ГПУ. Сталин посчитал такой порядок ненормальным. Обязанности палача должны выполняться по очереди всеми чекистами. Это только закалит их характер в борьбе с врагами советской власти. Кто этого не может, того надо просто освободить от работы в «органах». Когда последовал соответствующий приказ, почти все, кто был направлен из нашей областной партийной школы в порядке «коренизации» в ГПУ, ушли оттуда. Остался только Умалат.

Здесь я хочу добавить несколько слов о трагической судьбе моей тети и ее детей. Через два года, летом 1942 г., немцы заняли Кара-Ногайский район Ставропольского края, где в чеченском ауле и жила тетя с детьми. Ногайцы и чеченцы приняли немцев с хлебом-солью. Осенью немцы ушли, а следом прибыл карательный отряд НКВД. Очевидцы рассказывали мне, что когда все взрослое мужское население аула со связанными назад руками выставили на площади перед расстрельной командой, то обезумевшая от ужаса тетя Деци бросилась в строй смертников спасать своих сыновей, но залп пулеметов по строю уложил и ее рядом с ними.

Вернусь к хронологии.

Через двое суток меня доставили в Грозный во внутреннюю тюрьму НКВД.

Началось новое следствие, но без физических или психологических пыток. Те же самые вопросы – те же самые ответы. Произошло событие, которое привело в тюрьму новую волну репрессированных: началась война. Тюремно-концлагерное население СССР поднялось до 10 миллионов человек. Кто может этой миллионной массе измученных, истерзанных, голодных рабов бросить обвинение, если они от

всей души желали сталинской тирании поражения и скорой гибели? Наша камера – около 70–80 человек – встретила войну с нескрываемой радостью и надеждой. Наши камерные «стратеги» и «политические мыслители» делали, на основе той информации, которую новые арестованные приносили с воли, расчеты и анализы, как может кончиться война. Разумеется, все аналитики были единодушны, что Сталин, как и Пугачев, кончит свою карьеру на Красной площади, только спорили о несущественных деталях – отрубят Сталину голову или его повесят. Хорошо помню содержание своего доклада. Мне камера предложила высказать соображения, почему западные демократические державы поддерживают Сталина. Эта тема была мне явно не под силу. Тюремные годы оторвали меня от текущей политики, а прибывающие с воли люди сами толком не понимали, на каких основах образовался союз между СССР, Англией и Америкой. Главное, однако, было в другом: я не понимал, не понимал это очень долго, даже будучи на Западе, что так называемая либеральная демократия никогда не ставила своей целью уничтожение большевизма, тогда как глобальной стратегической целью большевизма всегда было и оставалось уничтожение вот этой самой демократии. Поэтому я свой анализ строил на предположении, что в основе нового «тройственного союза» лежит не единая стратегия победить Германию и этим кончить войну, а две стратегические концепции – одна советская: победив своего врага номер один на этом этапе – Германию, готовиться к победе над врагом номер два на втором этапе – над Англией и Америкой. Англо-американская концепция другая – так маневрировать в этой начавшейся войне, чтобы к ее концу оба диктатора – Сталин и Гитлер – от взаимного ослабления и истощения погубили друг друга. Вот тогда в Германии и России англосаксы восстановят демократию. Если в отношении большевиков я в своем анализе не ошибся

(тут заслуга невелика: предполагай о большевиках самое худшее – и никогда не ошибешься), то в оценке стратегии Запада я оказался жалким невеждой: я переоценил стратегический ум и политическую дальновидность западных руководителей. Мое невежество было основано и на дезинформации со стороны самих же западных лидеров: ведь говорил же Черчилль еще в 1919 г., что он не успокоится, пока не уничтожит большевизма в России; ведь утверждал же Рузвельт, что советская тирания ничем не отличается от тирании нацистской; ведь требовал же Трумэн (тогда сенатор) так регулировать ход войны между Германией и СССР, попеременно помогая каждый раз наиболее ослабевшей стороне, чтобы в конце войны оба – и Гитлер и Сталин – погибли от взаимного истощения.

В тюрьму пришла потрясшая меня весть: Хасан Исраилов поднял в январе 1941 г. всеобщее восстание в Галанчоже. Весть принес майор Красной армии, который командовал одним из батальонов, посланных на подавление этого восстания. Его арестовали по обвинению в предательстве. «Предательство» заключалось, по его рассказу, в следующем: дав батальону спуститься в лощину районного центра – Галанчожа, ставшего теперь центром восстания, Исраилов обложил батальон со всех сторон тесным кольцом превосходящих сил повстанцев. Чтобы батальон не думал, что он окружен безоружной толпой, повстанцы открыли довольно внушительный огонь по батальону. После прекращения огня Исраилов направил к штабу батальона парламентера с ультиматумом: если батальон не сложит оружия к такому-то часу, то он будет уничтожен, если сложит – всем, кроме чеченцев, находящихся в рядах батальона, дадут уйти. Майор говорил, что положение создалось безнадежное, а поскольку и съестных запасов больше не было, ничего не оставалось, как сложить оружие. Тогда на конях подъехала к штабу батальо-

на группа повстанцев и предложила выстроить обезоруженный батальон. Перед батальоном выступил высокий, стройный, очень интеллигентный мужчина лет около тридцати. На чистом русском языке он заявил: моя фамилия Исраилов. Я возглавляю временное народное правительство независимой горной Чечни. Наша программа имеет только один пункт: чтобы большевики ушли с Кавказа и оставили нас спокойно жить в этих каменистых горах, как жили наши предки. Вы – рабы Сталина и враги самим себе, ибо терпите такую тиранию, какую не вытерпел бы ни один народ в истории, в том числе и ваши собственные деды. Исраилов закончил выступление сообщением: вы наши военнопленные, но мы вас освобождаем еще до окончания войны, согласно данному слову, что же касается чеченцев из вашей среды, то они останутся и должны будут отвечать перед революционным судом как предатели чеченского народа.

– Когда мы прибыли в Грозный, то нас всех арестовали, как изменников, – закончил майор свой рассказ.

В сентябре 1941 г. меня вызвали подписать протокол об окончании нового следствия. От старого обвинения против меня остался только один все еще модный тогда «пункт семь» (вредительство) из ст. 58. В качестве доказательства была приложена к делу экспертиза профессора Чечено-Ингушского государственного пединститута Сафоновой-Смирновой. Эта подпись меня поразила высотой ранга профессионального провокатора и совершенно невероятным милосердием Сталина к раз уж использованному свидетелю из числа «агентов-провокаторов», которых он, как правило, расстреливал после выполнения ими задания на открытых процессах. Дело в том, что эта Сафонова-Смирнова была женой соратника Ленина – И. Н. Смирнова, которого в августе 1936 г. судили вместе с Зиновьевым и Каменевым, а показания на суде, как свидетельница обвинения, против Зиновьева,

Каменева и против своего мужа давала именно она. Поскольку я присутствовал на этом суде как зритель, я видел, что сама Сафонова-Смирнова была свидетельницей из числа арестованных, которых приводили и уводили под стражей. Я ее давно считал переселенной на тот свет, а она, оказывается, профессор в Грозном и одновременно выполняет свою старую роль – роль провокаторши. Вместе с ней подписал «экспертизу» еще один тип, фамилии которого я не запомнил. Экспертиза содержала около 20–30 страниц и была посвящена разбору моих книг о Чечне.

В них, вероятно, были просто ученические ошибки, но в них не было ни одной политической или исторической ошибки с точки зрения марксистской схоластики. Поэтому «экспертам» приходилось приписывать мне то, чего нет в моих книгах.

В октябре 1941 г. начался второй суд надо мной. (Мои подельники уже были осуждены через Особое совещание за их старые «признания», а меня спасло от этого отсутствие такого «признания».) Время для меня было явно неблагоприятное. Немцы подошли к Москве, в горах Чечни бушевали два параллельных народных восстания, возглавляемых моими друзьями – Майербеком Шериповым в Шатое и Хасаном Исраиловым в Галанчоже (названия обоих районных центров, как и мой Нижний Наур, вычеркнуты ныне из административной карты Чечено-Ингушетии). Поэтому я шел на суд без какой-либо надежды на вторичное освобождение. Единственно, чего я не боялся, это то, что меня могут расстрелять. Даже Сталин не расстреливал за плохие книги, хотя, правда, расстреливал без всяких книг. Судил новый председатель Верховного суда Чечено-Ингушетии дагестанец Мусаев (старый был снят за то, что он нас оправдал), прокурором был ингуш Бузуртанов и адвокатом чеченец из Урус-Мартана, фамилию которого я забыл. Он был симпатичный малый –

еще до начала суда он подошел ко мне и сказал: по существу обвинения никто не может вас так хорошо защищать, как вы сами, поэтому я на себя беру только юридическую сторону вашего дела. Я ответил, что с таким разделением ролей я вполне согласен.

Весь мой процесс свелся к разбору упомянутой «экспертизы» и допросу единственного свидетеля против меня, одного из авторов статей в газете «Грозненский рабочий», когда на меня создалось уже описанное мною партийное дело в Москве. Его привезли чуть ли не с Колымы, чтобы он повторил содержание той статьи, что мои книги «буржуазно-националистические» и «вредительские», что он и сделал. Отказавшись от своего главного обвинения, взятого у него под пытками, что я известен ему как член контрреволюционной организации, он продолжал доказывать теперь, что я «вредитель-одиночка». Некоторые из обвинений «экспертизы», которые представила суду Сафонова-Смирнова, запомнились из-за их абсурдности. У меня в книге «Революция и контрреволюция в Чечне» говорилось: во время Октябрьской революции 1917 г. в Терской области образовались два лагеря, с одной стороны, революционная горская масса, которая поддерживала большевиков, с другой стороны, контрреволюционное казачество, которое боролось против большевиков. На самом деле так и было. «Экспертиза» утверждала, что я проповедую «вредительскую теорию» о «едином потоке» и намеренно, во «вредительских целях», фальсифицирую историю гражданской войны, ибо все горцы тогда не были за революцию и все казачество тогда не было против революции. Всякий грамотный человек мог видеть, что я говорю не о всех горцах, а только о революционной массе среди них, и не о всех казаках, а только о контрреволюционной их части. Причем все это так и расшифровывалось в дальнейшем изложении фактов и событий. Для идеологических чекистов факты, которые их опровергают, не играли никакой роли,

ибо сам Сталин учил: «Если факты против нас – тем хуже для самих фактов»!

В «экспертизе» было и такое утверждение: автор книги намеренно выпячивает ныне разоблаченных «врагов народа» – Шляпникова, Фигатнера, Гикало, Костерина, Шеболдаева и др.

На мой вопрос: откуда я мог узнать в 1930 и 1933 годах, что эти люди в 1937 г. могут оказаться «врагами народа», тем более, что они занимали в партии высокое положение? – мне отвечали, что в том-то и дело, что вы сами как «враг народа» не были заинтересованы распознавать «лицо классовых врагов», как учит нас товарищ Сталин.

Сверхабсурдным было утверждение на суде Сафоновой-Смирновой по поводу «грамматики чеченского языка» Яндарова, Мациева и Авторханова. Она заявила, что эта грамматика, тоже «вредительская». Тут же я задал ей вопрос:

– Вы умеете читать по-чеченски?

– Нет, не умею.

– Тогда откуда вы знаете, что эта грамматика вредительская, ведь она написана исключительно на чеченском языке, а вы по-чеченски не читаете?

– Мне и не надо ее читать, мне достаточно, что ее авторы «враги народа».

Выступил прокурор, который, рассказав о коварных планах Гитлера уничтожить советскую власть и расчленить СССР и о его союзниках в горах Чечено-Ингушетии, поднявших восстание, потребовал от суда вынести мне суровый приговор. Защитник, напротив, заявил, что ни на предварительном, ни на данном судебном следствии не доказано, что я повинен во вредительстве. Поэтому из-за отсутствия состава преступления он просит суд меня оправдать. Мое последнее слово было коротким. Я категорически отрицал, что мои книги написаны с вредительской целью. «Эксперты» не могли привести из книг ни одного предложения, ни одной мысли,

которые могли доказать их утверждения о моем «идеологическом вредительстве». Поскольку они, наперекор научной совести, решили оклеветать мои книги, то им ничего не остается, как прибегать к передержкам и фальсификациям.

В этой связи я вспомнил один исторический анекдот. Я сказал, что мои эксперты поступают с моими книгами так, как выражался один русский либеральный цензор: «Дайте мне «Отче наш» и позвольте мне вырвать оттуда одну фразу – и я докажу вам, что его автора следовало бы повесить».

Я просил суд, ввиду доказанности моей невиновности, оправдать меня.

Через час или два председатель огласил приговор: «Считать обвинение А. Авторханова по ст. 58, п. 7 доказанным и приговорить его к трем годам лишения свободы, но так как он уже отсидел четыре года, то освободить его из-под стражи». (На воле я узнал, что к этому приговору было приложено заявление председателя суда: я вынес данный обвинительный приговор, вопреки своей судейской совести, под давлением местных властей. Поэтому прошу Верховный Суд РСФСР отменить мой приговор и подсудимого считать по суду оправданным.) Председатель суда сказал мне, что завтра воскресенье и это задержит мое освобождение, но в понедельник меня освободят. Прошел понедельник, прошла вся неделя, проходили месяцы, но меня не выпускали. Только после моих настойчивых требований с угрозой голодовки мне сообщили, что спецпрокурор и НКВД подали протест в Верховный суд РСФСР против мягкого приговора по моему делу. Надо ждать решения Верховного суда РСФСР.

Здесь я хочу перенестись в другую эпоху и сообщить, что писала советская печать о тех же книгах, когда ей нужно было доказать, как я низко пал, став врагом советской власти. Доктор философских наук и заведующий кафедрой Дагестанского университета Абдулаев пишет в московской газете «Советская культура» от 23 марта 1976 г.:

«Антикоммунисты на Западе стремятся извратить социальный смысл и значение наших завоеваний... Вопреки действительности, антикоммунисты пытаются представить Советский Союз колониальной державой... В этой гнусной клевете упражняются многие буржуазные советологи, в рядах которых предатели, выходцы с Северного Кавказа. Один из них – А. Авторханов, он же профессор Темиров. Он считается ведущим «специалистом» по национальным отношениям в СССР. В годы войны этот прихлебатель перешел на сторону врага... В тридцатые годы, когда он еще не пал столь низко, Авторханов писал о роли и значении советской власти в судьбах народов Северного Кавказа так: «Октябрь дал трудовому чеченскому народу не только национальное и социальное освобождение, но и открыл путь широкого экономического возрождения на социалистической основе». Далее: «Наша партия и советская власть дали угнетенным народностям возможности широчайшего культурного развития. Чеченцы получили родную письменность, их язык стал государственным языком области... Чечня стала на путь широчайшего развития своей культуры». Чечено-Ингушетия действительно на этом пути давно достигла многого. Однако Авторханов, служа сегодня врагам СССР, говорит совсем по-другому».

Да, сегодня я говорю «по-другому», но чтобы я начал говорить «по-другому», советской власти пришлось загнать всю советскую чечено-ингушскую интеллигенцию, в том числе и меня, в тюрьму, половину чечено-ингушского народа уничтожить на месте, а другую половину, поголовно, включая женщин, детей, стариков, депортировать в гибельные пески Средней Азии, где половина из этой половины тоже погибла. По запоздалому свидетельству советского доктора наук, оказывается, мои книги были вполне просоветские, а осудили меня ведь, объявив их антисоветскими. Только жаль, что автор не пришел с этими цитатами на мой суд сорок лет назад, чтобы опровергнуть цитаты «экспертизы» Сафоновой-Смирновой.

В тюрьме участились случаи, когда людям пришивали новое обвинение: «камерная антисоветская агитация во время

войны» (рассказывали, что за это давали расстрел). Я в этом отношении был крайне неосторожен. Старые арестанты, хорошо знавшие друг друга за долгие годы совместного сидения, были между собой совершенно откровенны, что, разумеется, они не позволили бы себе на воле.

Люди, у которых так безжалостно отняли свободу, как раз в тюрьме делались самыми свободными людьми в стране: камеры превращались в дискуссионные клубы, а тюрьма – в какой-то Гайд-парк. В некотором отношении это было и результатом отражения национальных традиций сидящих – здесь сидели преимущественно кавказцы, у которых самым тягчайшим преступлением считается донос.

У чеченцев и ингушей вообще существовал негласный закон: сексотов убивать. В этом случае, в нарушение векового обычая кровной мести, они кровников не преследовали. Но НКВД систематически прибегал к вербовке сексотов и среди них методом, необычным в русской среде, – он выпускал на волю казнокрадов, взяточников, разбойников и даже убийц, если они соглашались быть его сексотами. Поскольку такие типы сидели и с нами, политическими, то опасность доносов и пришивания «камерной агитации» существовала постоянно. Я нисколько не сомневался, что НКВД может и, видимо, захочет завести на меня новое дело, поскольку мое старое дело явно не клеилось. Тем не менее я не был осторожен.

Никогда за всю мою пятилетнюю тюремную жизнь я не позволял себе так открыто на всю камеру и с такой желчью разносить товарища Сталина и его тиранию, как в ту позднюю ночь, когда надзиратель, открыв окошко в камеру, крикнул: «Авторханов, с вещами!» Сокамерники показали сочувственную подавленность, а я про себя сказал: «Ну вот, допрыгался и до „камерной агитации“!» Это было под 22 апреля 1942 г. (день рождения Ильича!). Меня повезли во внутреннюю тюрьму. Там подвергли такому тщательному обыску, как никогда ранее. Поэтому даже нашли иголку,

которую я тщательно спрятал в пиджаке, сказав себе (это была моя дань суеверию!): «Когда на обыске надзиратели ее найдут, решится и моя судьба». Завели в камеру – там два человека. Один тяжелораненный повстанец из отряда Исраилова и другой старый знакомый из соседней камеры общей тюрьмы – ему предъявили новое обвинение: «камерная агитация»! Это была тяжелая ночь, я долго не мог заснуть. Значит, на меня создают новое дело. Я вновь пришел в отчаяние: «Когда же конец этим терзаниям? Да, я враг вам, но врагом меня и мой народ сделали вы – свора палачей. Так расстреляйте, задушите, утопите, наконец, сожгите на костре, но кончайте терзать душу, великие негодяи...»

Я был все еще погружен в эти мрачные мысли, когда открылась дверь камеры и какой-то чиновник мне сказал: «Следуйте за мною». Я оказался в кабинете чекиста, которого видел впервые. Чекист был необыкновенно корректен и предупредителен, – как раз от таких и ждешь самой крайней подлости. Однако на этот раз он сообщил мне вещь, которая казалась мне абсолютно невероятной еще пять минут тому назад:

– «Верховный суд РСФСР отменил обвинительный приговор Верховного суда Чечено-Ингушской АССР против вас и предложил освободить вас из-под стражи».

В это время в кабинет пришел нарком госбезопасности ЧИАССР Султан Албагачиев. Это была редкостно преступная натура даже в чекистском мире. Можно себе представить, через сколько трупов своих земляков этому ингушу надо было перешагнуть, чтобы добраться до такого исключительного поста, и это в Чечено-Ингушской республике, где даже пост первого секретаря обкома никогда не доверяли, как не доверяют и сейчас, чеченцу или ингушу. А ведь в сталинскую эпоху шефы безопасности были поставлены фактически над местными партийными секретарями.

Он мне задал только один вопрос:

– Вы за или против советской власти?

Я ответил «за», имея в виду «против».

Тогда он подписал какую-то бумагу и быстро вышел (вероятно, это была бумага о моем освобождении). Мой чиновник сообщил мне, что я буду освобожден вечером. За это время меня поведут к парикмахеру, а мою жену он попросит принести мне приличный костюм. Заодно предупредил, чтобы я не говорил в камере о моем предстоящем освобождении.

Я сказал чиновнику, что в камерах существует традиция сообщать друг другу, почему заключенного вызвал следователь. Я не могу нарушить эту традицию. Если он настаивает на своем предложении, то он должен посадить меня в одиночку. Чиновник не стал настаивать, и меня вернули обратно в мою камеру. К парикмахеру меня повели, но жена, вызванная в НКВД, заявила чиновнику, по его словам, что все костюмы мужа она продала, чтобы покупать молоко детям, и вообще она не понимает, почему освобождают мужа, «ведь НКВД влюблен в моего мужа больше, чем я, и никак не может без него жить».

– Ну и строгая же у вас жена, – заметил чиновник.

– Все жены такие, недаром их называют домашними НКВД, – ответил я.

Около семи часов вечера меня выставили из внутренней тюрьмы через черный ход.

18. Грозный – Берлин

В предисловии ко второму изданию «Технологии власти» я писал: «Выпуская меня на волю, НКВД думал, что он использует меня как провокатора против чеченского народа; поэтому в обкоме партии мне торжественно сообщили, что я даже не исключался из партии за все эти пять лет моего сидения (стр. 12, изд-во «Посев», 1976). Здесь я хочу раскрыть скобки, что сие означало. НКВД точно знал, что мы с организатором антисоветского восстания в горной Чечне Исраиловым школьные товарищи и близкие друзья. Знал НКВД и то, что после моего первого освобождения Исраилов приезжал ко мне с подарками, о чем я уже рассказывал. Вот теперь, освобождая меня второй раз, чекисты предложили мне поехать к Исраилову в двух ролях: в роли официального представителя правительства, чтобы уговорить Исраилова явиться добровольно к властям, и в роли негласного представителя НКВД, чтобы помочь агентам НКВД похитить его, если он откажется. К немалому удивлению чекистов, я немедленно принял предложение, имея на этот счет собственные планы. Я, несомненно, сделал тактическую ошибку, которая не могла не навести чекистов на размышления далеко не в мою пользу. После своего первого освобождения я узнал от многих ответственных работников, освобожденных после ареста Ежова, что почти каждый из них должен был давать подписку о сотрудничестве с НКВД, иначе чекисты угрожали ссылкой через Особое совещание НКВД. Но давали такую подписку только после долгого сопротивления, а выйдя на волю, подавали в обком заявления, рассказывая, как следователи шантажировали их, бывших наркомов республики или секретарей райкомов партии, чтобы сделать их своими мелкими шпиками. Это «саморазоблачение» считалось, по чекистским законам, разглашением «государственной тайны» и

поэтому уголовно-наказуемым деянием и соответственно каралось тюремным заключением. Но не посадишь обратно в тюрьму сотни «реабилитированных» людей из актива республики, которые выдали «тайну» не врагу, а своему обкому партии. Пришлось замазать дело, чекисты, потеряв лицо, прикусили язык и стали еще подлее. Но меня хотели сделать не мелким шпиком, а провокатором НКВД по решению самого обкома и по мандату правительства. Мое спонтанное согласие стать им, вероятно, не согласовывалось с тем представлением, которое у чекистов сложилось обо мне за время моего сидения. Отсюда подозрение: не хочу ли я сам присоединиться к Исраилову или уйти к немцам? Иначе говоря, не хочу ли я перехитрить НКВД? Отсюда же и решение: проверить меня на воле путем ряда трюков и провокаций. Стоит сказать несколько слов о двух из них, связанных как раз с названными подозрениями. Я о чекистах знал теперь больше, чем знал о них на воле, еще больше, чем они думали, что я о них знаю. Давным-давно прошли времена, когда чекисты Дзержинского старались брать умом и фантазией, умело маскируя подлость под «культурность», к тому же и сама свора чекистов была тогда ограничена прямо по-ленински: «лучше меньше да лучше». Сталин, наоборот, брал не умением чекистов, а их массой, не фантазией чекистов, а их дубинкой. Сталинские чекисты были натуральные подлецы без масок, даже не старающиеся скрывать свою подлость. Поэтому, как только меня выпустили со «специальным правительственным заданием», я сказал себе: до того как направить меня на выполнение задания, меня должны много раз провоцировать. Вспомнил я и нотацию чиновника НКВД Мицюка перед освобождением:

– Когда человек попадает сюда третий раз, то он остается здесь навсегда. Смотрите, из-за того, что вы сидели у нас, националистическая контрреволюция постарается сделать из

вас свое знамя. Да и немецкие агенты будут искать к вам дорогу.

И действительно – очень скоро заявился ко мне один «немец» из... нашего аула. Молодой человек лет 20, которого я совсем не знал, представился мне, назвав своего старшего брата, моего ровесника. Это была плохая рекомендация, о его старшем брате люди говорили, что он сотрудничает с НКВД. Молодой человек без всяких предисловий заявил мне, что его прислали ко мне тайные представители немецкого военного командования, которые хотели бы встретиться со мною, и назвал место встречи – у гор в сторону Старого-юрта, куда НКВД меня уже водил с группой чеченцев на расстрел. На мой удивленный вопрос, что хотят от меня эти немцы, молодой человек ответил с уверенностью артиста, отлично выучившего роль: «Они хотят согласовать с вами будущий состав чечено-ингушского правительства!»

Я от НКВД ожидал всего, но не столь наглой и примитивной провокации, ведь надо же считаться хотя бы со своим собственным лозунгом «враг хитер и коварен»! – если враг таков, то не побежит же он по наущению неизвестного ему юнца из чекистского логова прямо к немцам согласовывать состав будущего антисоветского правительства.

Но беда ведь еще вот в чем: вы не можете сказать чекистам: я вижу вашу провокацию – оставьте меня в покое. Поэтому, еле скрывая внутреннюю злобу на НКВД и на его нахального лазутчика, я ответил:

– Молодой человек, иди прямо отсюда же в НКВД и сообщи ему все, что ты мне сейчас говорил, если же ты этого не сделаешь, то сделаю это я сам, а тогда тебе будет хуже.

Больше «немцы» не приставали ко мне. Вторая провокация была не умнее. Ко мне приехал один мой близкий родственник с письмом от... Исраилова. Исраилов писал, что он слышал о моем освобождении и ждет моего присоединения

к нему. Почерк вполне мог сойти за исраиловский, но не само письмо. Письменно повстанцы обращались только к властям, а сторонников вербовали через живую связь. Мой родственник был в отношении его связей с НКВД вне подозрений, да он и не знал, кто автор письма, которое он доставил мне. Это письмо ему вручил для передачи мне его знакомый, односельчанин Исраилова, но шофер НКВД! Я моего родственника тоже направил в НКВД, чтобы он отдал его по назначению – отправителю.

Другое событие вызвало у меня злорадные чувства, хотя, если глубоко подумать о великой трагедии всей страны – от верхов правящего класса до низов угнетенных масс, – то, собственно, и злорадствовать было бесчеловечно. По заданию тирана ты меня губил, – это, конечно, плохо, но по заданию того же тирана я теперь гублю тебя, – это ведь тоже нехорошо. Тиран на том и держится, что его рабы способны уничтожать друг друга, – и злорадствовать здесь не только античеловечно, но даже и неблагоразумно. Все это я говорю, чтобы рассказать о том, о чем никогда не сообщалось, насколько я знаю, в литературе о ежовщине. Думаю, что это было в первых числах мая 1942 г. Мне вручили повестку, что меня вызывают как свидетеля на заседание военного трибунала в здание клуба НКВД. Когда из комнаты ожидания меня вызвали в зал заседания трибунала, перед моими глазами предстала картина, хотя и вызвавшая у меня совершенно естественный прилив чувства морального удовлетворения, но напомнившая мне еще раз: неиссякаемы криминальные возможности Сталина, бездонно его вероломство, безгранична его подлость даже по отношению к отборнейшим подлецам, на которых строилась его власть. В зале суда на скамье подсудимых я увидел весь аппарат ежовского НКВД во главе с Ивановым, Алексеенко, Леваком и Кураксиным. Их бледные измученные лица свидетельствовали, что они тоже прошли

через те пытки, каким они подвергали свои жертвы. Они были в чекистских формах, но без орденов и знаков различия (суд еще не состоялся, а их уже лишили чинов и орденов). После установления моей личности председатель трибунала (северокавказский трибунал войск НКВД) перешел к допросу по существу:

– Кого вы знаете из подсудимых?

Я назвал.

– Вам знакомо требование уголовно-процессуального кодекса РСФСР о запрещении насилия и угроз во время следственного процесса?

– Я имею о нем только общее представление.

– Так послушайте, свидетель, я вам прочту соответствующую статью УПК РСФСР: «Статья 136. Следователь не имеет права домогаться показания или сознания обвиняемого путем насилия и угроз». Теперь я вас спрашиваю, соблюдали ли ваши следователи требование этой статьи во время ваших допросов?

Такая неожиданно «дикая» постановка вопроса чекистским судьей против чекистских подсудимых на чекистском трибунале совершенно непроизвольно вызвала у меня ехидную улыбку, за что я заработал порицание судьи:

– Почему вы смеетесь на суде вместо того, чтобы ответить на поставленный вопрос, что тут смешного?

Я извинился и объяснил, что я улыбнулся, вспомнив ответ, который мне дал Левак на следствии, когда я ссылался на советские законы.

Судья быстро спросил:

– Какой же он дал вам ответ?

– Левак сказал, что наши законы написаны не для врагов, а для дураков.

Мне показалось, что на этот раз улыбка обозначилась на лице самого судьи.

На повторный вопрос судьи я ответил, что требования статьи 136 УПК по отношению ко мне мои следователи не соблюдали.

Тогда последовал главный вопрос:

– Расскажите военному трибуналу, какие контрреволюционные, вредительские, террористические методы ведения следствия применяли к вам ваши следователи Иванов, Левак и Кураксин?

Я рассказал о пытках, которые уже известны читателю, без чувства мести, без возмущения, без торжества победителя, а потому, не вдаваясь в излишние подробности, упуская многие детали, ибо слишком хорошо знал цену всей этой судебной трагикомедии. Сталин просто убирал очередных «мавров», которые уже сделали свое дело. Об этом знал суд, знали подсудимые, знал и я, свидетель.

Всех подсудимых приговорили по ст. 58, пункты 7, 8 и 11 (вредительство, террор и участие в контрреволюционной организации) – одних к расстрелу, других к длительным срокам заключения в лагерях, Потом я узнал, что такие же закрытые процессы происходили над чекистами ежовского правления и во всех других областях и республиках. Их всех обвиняли, что они создали в системе органов госбезопасности контрреволюционную террористическую организацию под руководством Ежова с целью уничтожения партийных, военных и хозяйственных кадров и таким образом собирались подготовить поражение СССР в случае войны. Сталин свою собственную вину в организации тотального террора в стране возложил на лояльнейшего исполнителя, заявляя: видите, я ни при чем, все организовал мерзавец Ежов.

Заместитель министра авиации А. Яковлев даже после разоблачения Сталина был убежден, что Сталин действительно не виноват, а виноват во всем Ежов и ежовцы. Я уже приводил его высказывание в другой книге, но стоит вспомнить его и здесь:

«Однажды за ужином Сталин заговорил:

– Ежов – мерзавец! Погубил наши лучшие кадры. Разложившийся человек. Звонишь к нему в наркомат – говорят: уехал в ЦК. Звонишь в ЦК – говорят: уехал на работу. Посылаешь к нему на дом – оказывается, лежит на кровати мертвецки пьяным. Многих невинных погубил. Мы его за это расстреляли» (А. Яковлев. Цель жизни. Москва, 1970, с. 509).

Однако из доклада Хрущева на XX и XXII съездах мы знаем, что Ежов не расстрелял ни одного человека из высших кадров без подписей Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Жданова, Андреева, Калинина, Микояна, – а их было расстреляно около восьми тысяч человек. Сотни тысяч местных кадров Ежов расстреливал по мандату и поручению Сталина, что же касается от 8 до 10 миллионов рядовых граждан, загнанных Ежовым в концлагерь, Сталин ничего не сказал Яковлеву. Это тоже было в характере Сталина: совершить преступление, а вину за него возложить на исполнителя, тем самым на собственном преступлении еще заработать себе «моральный капитал». Даже в этом Сталин был предусмотрителен и наперед создавал себе алиби – в январе 1938 г. пленум ЦК вынес решение, осуждающее «массовое избиение невинных людей», но тогда только массовый террор и принял масштабы и формы, неслыханные до этого. Я не сомневаюсь, что Сталин принял это решение, чтобы воспользоваться им не в 1938 году, а в 1940 году, когда он расстрелял Ежова и начал расстреливать ежовцев. Мое выступление на процессе грозненских ежовцев было моей последней службой Сталину, которую я выполнил, отлично зная, что преступниками этих людей сделал сам Сталин, но ни я, ни они не смели это говорить. Чтобы как-нибудь придать правдоподобие обвинению против ежовцев, что они свои злодеяния совершали без ведома Сталина, в тюрьме прекратили массовые пытки, многие дела пересматривались, возвращали уже осуж-

денных и находившихся в концлагерях на переследствия; ограниченное число кадров, которым посчастливилось остаться в живых, даже выпустили на волю. В их числе был и я.

С моим вторым освобождением началась и моя вторая жизнь. Люди, выпустившие меня из тюрьмы, строили свои собственные планы в отношении меня, которые счастливо совпадали с моими затаенными планами, конечно, не по целям, но по «маршруту». Узнал я также и то, почему мне так спешно вручили партбилет.

К началу 1942 г. Исраилов и Шерипов договорились о координации действий обоих повстанческих отрядов, что привело к полному освобождению всей горной Чечено-Ингушетии. Советское правительство узнало через своих агентов, что оба руководителя восстания планируют расширение зоны восстания за пределы горной Чечено-Ингушетии в соседнюю горную Грузию и горный Дагестан, а то и на других соседей – Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачай. Обеспокоенное этими тревожными сообщениями и ввиду явного роста антисоветского настроения среди населения названных соседей Чечено-Ингушетии, советское правительство решило принять более крутые меры. Крутые меры сводились к тому, чтобы на место не справившихся сил войск НКВД перебросить в горы крупные армейские соединения. С закавказского и северокавказского фронтов сняли несколько дивизий и ввели в горы с обеих сторон – с юга и с севера. Заодно обком партии получил указание ЦК объявить всю чечено-ингушскую партийную организацию мобилизованной и составленные из ее членов «боевые дружины» поставить под командование армии.

Бюро обкома партии созвало партийный актив республики, чтобы сообщить активу это решение ЦК.

К моему удивлению, я тоже получил пригласительный билет на этот актив. Каждого, без исключения, кто входил в

зал, чекисты подвергали обыску: если кто имел оружие, тот должен был его сдать. Я, уже привыкший к бесконечным обыскам в НКВД, не особенно удивлялся этому, но видел, как смущены были сами активисты. Когда зал был полон и в президиуме появилось начальство, мы узнали, чем объяснялся обыск: рядом с первым секретарем обкома партии появился «сам» Берия. Открыв собрание, первый секретарь тут же предоставил ему слово.

Берия прямо и на этот раз честно заявил:

– Я обращаюсь к чеченским и ингушским коммунистам в этом зале и через них ко всему чечено-ингушскому народу: если в ближайшие недели в горах Чечено-Ингушетии не будет восстановлена советская власть, то весь чечено-ингушский народ навсегда будет изгнан с кавказской земли.

Многие думали, что это только угроза. Не может же марксистское государство вводить «коллективную ответственность» за действия меньшинства народа (во всей горной Чечено-Ингушетии жило не более 25% от общего чечено-ингушского населения республики). Я, наоборот, был убежден, что это будет сделано даже и в том случае, если в горах завтра же восстановится советская власть. Мстительность Сталина была легендарна, а о коварстве Берия на Кавказе знали больше, чем в Москве. Он мог угрожать принять решение, которое на самом деле уже принято. Он хотел его провести в жизнь в горной Чечено-Ингушетии руками самих чеченцев и ингушей. Это подтвердилось в тот же день, когда меня поздно вечером пригласили с маленькой группой чеченских коммунистов на «приват-аудиенцию» к Берия в его салон-вагон на вокзале. Это был, собственно, не «салон-вагон», а целый состав «салон-вагонов» – с зенитками на крышах, с пулеметами, вооруженной охраной в нескольких вагонах. Принимал нас Берия каждого отдельно и каждому давал индивидуальное задание.

Я с Берия встречался второй раз. В первый раз я его видел, когда после XVII съезда в феврале 1934 г. он создал в Москве группу из кавказцев – слушателей ИКП и Курсов марксизма при ЦК, чтобы собрать материалы в «Военно-историческом архиве» и «Архиве Октябрьской революции» для его работы по истории закавказских большевистских организаций. В эту группу был включен и я. Он проинструктировал нас, за какие годы и что мы должны искать в архивах. Тогда Берия был только «царьком» Грузии и ничто не говорило за то, что из него выйдет со временем второй диктатор Советского Союза. (Между прочим я утаил от Берия много ценных документов, которые нашел в этих архивах, для собственной докторской диссертации «Революция 1905 г. на Кавказе». Эту готовую диссертацию конфисковал НКВД при моем аресте и не вернул мне после моего освобождения.)

Берия, которого я видел сейчас, – это был уже другой человек – второе «я» Сталина. Несомненно, Берия было доложено о моей личности и что я согласился уговорить Исраилова сдаться властям. Его первый вопрос был: как близко вы знаете Хасана Исраилова и Майербека Шерипова?

Я ответил, что обоих знаю хорошо, с детства.

– Так вот. От имени советского правительства я поручаю вам поехать к Исраилову и передать ему следующее: если он не сложит оружия в течение десяти дней после вашей встречи, то начнется наступление Красной армии, которая снесет с лица земли все аулы и истребит все население. Если он подчинится этому требованию, то я гарантирую ему жизнь. Если же он не подчинится, то вы должны остаться там, войти в его полное доверие и искать возможности его ликвидации. В этом случае я вам гарантирую орден Ленина и высокий пост «за выполнение специального задания правительства». Подробную инструкцию вам даст один из моих сотрудников.

Сотрудник Берия в соседнем вагоне (штаб его в основном состоял из грузин) подробно проинструктировал меня, как я

должен себя вести в «лагере врага», назвал пароли для встреч с тамошними агентами НКВД, каналы связи с внешним миром. Словом, из меня сделали доподлинного лазутчика времен Шамиля. Надо было делать огромные усилия, чтобы не выдать себя во время всей этой фальшивой игры.

Я говорил о своих собственных планах. План, собственно, был один: пробраться в горы и присоединиться к Исраилову. Как я уже рассказывал выше, я принципиально был против восстания и при нашей встрече в 1940 г. предупреждал Исраилова против этого, доказывая ему безнадежность такого предприятия без общего кризиса Советского Союза, под которым я подразумевал возможность возникновения войны. С другой стороны, я связывал организацию освободительного движения в горах с созданием единого фронта с другими народами Кавказа. Вне этих факторов я считал всякие попытки провозгласить локальную «независимость» гибельным авантюризмом. Однако Исраилов сделал свои собственные выводы, изложенные в его Декларации», которую он направил в обком партии в ответ на предложение восстановиться в партии. Этот документ я включил в свой Меморандум о геноциде над горцами Кавказа, который я подал в 1948 году в ООН через английскую миссию при содействии бывшего советского полковника проф. Лондонского университета Г. А. Токаева. Вот что писал в ней Исраилов: «Уже двадцать лет, как советская власть ведет войну против моего народа, уничтожая его по частям – то как кулаков и мулл, то как «бандитов» и «буржуазных националистов». Теперь я убедился, что война отныне ведется на истребление всего народа. Поэтому я решил встать во главе Освободительной войны моего народа. Я слишком хорошо понимаю, – писал Исраилов, – не только одной Чечено-Ингушетии, но даже и всему Северному Кавказу трудно будет освободиться от тяжелого ярма красного империализма, но фанатичная вера в спра-

ведливость и законная надежда на помощь остальных свободолюбивых народов Кавказа и всего мира вдохновляют меня на этот в ваших глазах дерзкий и бессмысленный, а по моему убеждению единственно правильный, исторический шаг. Храбрые финны доказали, что великая рабовладельческая империя бессильна против маленького, но свободолюбивого народа. На Кавказе вы будете иметь вторую Финляндию, а за нами последуют другие угнетенные народы советской империи» (А. Авторханов. Народоубийство в СССР. Издательство «Свободный Кавказ», Мюнхен, 1952, сс. 61–62).

Я хорошо знал, что в начавшейся игре с НКВД я на карту поставил собственную жизнь. Малейший промах с моей стороны – и игра кончится в его пользу еще до того, как я сделаю первый ход. А первый ход означал: с согласия или без согласия выйти из-под контроля НКВД. Однако в этой игре у меня было и преимущество, которое НКВД, вероятно, и в мыслях не допускал: его оба сексота, один по внешнему, другой по внутреннему наблюдению, явились ко мне, каждый в отдельности, и сообщили, что они приставлены ко мне, чтобы информировать НКВД о моем передвижении, встречах, разговорах. Внешнего наблюдателя я совсем не знал и поэтому сказал ему, что он честно должен исполнять возложенные на него обязанности; что же касается внутреннего наблюдателя, то ему я верил, что он не способен на предательство, но, угрожая арестом, его принудили дать подписку информировать НКВД о моих встречах, разговорах, мыслях. Он говорил, что все будет писать в мою пользу, но он знает, что готовится мой новый арест, поэтому мне лучше уехать в какую-нибудь далекую республику. Я его легко убедил, что, если я и переселюсь куда-нибудь, хоть бы и на Колыму, это только ускорит мой арест, а вот если он примет мое предложение, то у меня есть шансы еще долго оставаться на воле. Он, не задумываясь, согласился. Тогда я начал диктовать ему его почти ежедневные донесения в НКВД обо мне, в своей основной части –

липовые, в своих деталях – дезинформационные, в бытовых мелочах – пикантные, с тем, чтобы убедить НКВД, что он имеет дело не с врагом власти, а мещанином самой низкой пробы! Я убежден, что эти мои «доносы» на самого себя еще до сих пор лежат в моем личном деле в КГБ (я пишу об этом потому, что их мнимый автор умер, хотя я не хочу называть его имени – у него есть дети). Думаю, что эти «доносы» задали чекистам некоторые головоломные загадки, дезориентирующие их как в отношении моей истинной личности, так и моих намерений на будущее.

Теперь о том, как подготовлялся упомянутый «первый шаг» к свободе. Многие, которые помогали мне в этом, еще живы. Есть также и некоторые обстоятельства, которые НКВД не должен знать даже по истечении столького времени. Поэтому я вынужден в дальнейшем изложении говорить обще и предельно кратко.

НКВД не спешил с моей отправкой к Исраилову, а у меня связи с Исраиловым уже установились по тем каналам, о которых мы договорились после моего первого освобождения. По этим каналам я сообщил ему, как Берия обещал мне орден Ленина за его голову. По этому поводу он прислал мне стихи, достойные пера автора «Письма турецкому султану», посвященные Берия. Но главное послание было другое: наш общий доверенный человек передал мне Меморандум «Временного народно-революционного правительства Чечено-Ингушетии» на имя правительства Германии, в Берлин, Главное содержание Меморандума сводилось к следующему:

1. Чечено-Ингушетия восстала, чтобы избавиться от тирании Сталина и освободиться от ярма советского империализма для восстановления своей былой свободы и независимости;

2. мы ожидаем, что в ближайшее время к нам присоединится весь свободолюбивый Кавказ;

3. мы считаем, что враг Сталина – наш друг. Поэтому мы предлагаем Германии военно-политический союз против большевизма;

4. в ответ на это Германия, в свою очередь, признает независимость и территориальную целостность Кавказа.

В начале лета 1942 года Исраилов предложил мне пробраться к немцам и вручить им этот Меморандум. Почти одновременно началось и немецкое наступление от Таганрога в сторону Ростова и Кавказа. Я даже читал немецкую листовку, в которой говорилось: «Ростов возьмем бомбежкой, Кавказ возьмем гармошкой». Я сейчас же уехал из Грозного и перешел на нелегальное положение. Враг Сталина был нашим союзником, и у нас другого выбора не было: злополучная демократия и ее апостолы Рузвельт и Черчилль находились в объятиях Сталина, а мой народ – в его кровавых когтях. Должен ли был я помочь Сталину и Берия совершить геноцид над моим народом из-за того, что их врагом был Гитлер? Повторись подобная же ситуация еще раз, я поступил бы совершенно так же. Конечно, с первой же встречи с гитлеровской администрацией я почувствовал, что нарвался на фальшивого союзника. Еще живет в Мюнхене адвокат из немецкого штаба, который на мое заявление и Меморандум Исраилова, что независимый Кавказ хочет быть союзником германской армии в борьбе против большевизма, хладнокровно ответил: «Германия не нуждается в каких-либо союзниках внутри советской России. Мы сами дойдем до самой Индии». Потом выяснилось, что это была официальная точка зрения Берлина. Но что же мне было делать – не идти же обратно, к Сталину, с жалобой на политическое тупоумие Гитлера.

Ликвидируя Чечено-Ингушскую республику и депортируя ее народ в Среднюю Азию, советское правительство утверждало, что это делается потому, что чечено-ингушский

народ во время войны коллаборировал с немцами, между тем все знают, что ноги немецкого солдата на чечено-ингушской земле вообще не было. Чечено-ингуши восстали еще в то время, когда Сталин снабжал Гитлера стратегическим сырьем, согласно пакту Риббентропа–Молотова, для ведения войны против Запада и, как оказалось, для ее подготовки против самого Советского Союза.

Но мой переход на сторону немцев мог вообще для меня плохо кончиться. Со своими личными документами я привез, чтобы доказать немцам, что я враг советского режима, и копию приговора Верховного суда РСФСР по моему делу. Из него было видно, что я сидел в тюрьме НКВД пять лет, но из него видно было и другое: я был членом партии, занимал ответственные должности, окончил ИКП. Немцы решили, что я советский шпион с фальшивыми документами. Меня изолировали и начались интенсивные допросы. Меня спасла моя группа, с которой я перешел линию фронта. Они убедили немцев в своих свидетельских показаниях, что их предположение ложное.

Я вместе с моими друзьями подали немцам новый Меморандум – о разрешении издавать серию брошюр об антисоветских восстаниях в национальных областях Северного Кавказа. Немцы заинтересовались не столько этой идеей, сколько моей личностью, и пригласили меня в штаб пропаганды Кавказского фронта. В этом штабе я встретился с князем Накашидзе. Это был европейски образованный человек, патриот Кавказа и ярый враг большевизма. Он меня убедил в том, что, если я хочу добиться понимания немцами кавказской проблемы, то я должен поехать в Берлин и там доказывать свою правоту. Договорившись со своим шефом, он мне вручил так называемый «маршбефель» в Берлин, бывший одновременно и железнодорожным билетом, и документом для получения продуктов.

17 января 1943 г. я прибыл в Берлин и явился в учреждение, которое было указано в «маршбефеле». В Берлине я находился безотлучно до 12 апреля 1945 г., с немецким паспортом для иностранцев («фремденпасс») на имя Авторханова. О моем пребывании и о характере моей деятельности в Германии во время войны советские пропагандисты сочинили несколько легенд, одна лживее другой. Вот отрывки из последнего варианта моей биографии по журналу «Неделя» (№ 6, 2–8 февраля 1981):

«Авторханов Абдурахман Геназович... с высшим образованием и даже занимал до войны ряд «начальственных» должностей... Как участник антисоветской организации, протаскивавший в своих трудах националистические идеи, был арестован и осужден. Отсидел срок к началу войны, и, попав на фронт в 1942 г., перешел на сторону гитлеровцев... Авторханов числился официальным сотрудником немецкой военно-морской разведки в звании обер-лейтенанта... Авторханов неоднократно премировался немцами и был награжден «Железным крестом»... До недавнего времени он преподавал в американской разведшколе в Гармиш-Партенкирхене. Будучи платным агентом ЦРУ, Авторханов ведет негласное наблюдение за рядом сотрудников «Свободы», а также за находящимися на Западе отщепенцами, с которыми он поддерживает контакты на базе «родства душ» и общеполитических убеждений».

Совершенно новыми в этом новом варианте моей биографии для меня были два «открытия» журналистов из «Недели»: в ранних советских писаниях я числился по штату Гестапо и карательных отрядов СС, а теперь я получил «повышение» и более «приличную работу» – чин обер-лейтенанта в военно-морской разведке, да и орден «Железный крест», такой, как у Гитлера со времен первой мировой войны (какое дело лжецам, что «Железный крест» «унтерменшам» вообще не давали). Второе «открытие» еще более оригинальное: оказывается, на старости лет, будучи на

пенсии, я не мог найти себе более полезного занятия, как бегать «платным агентом ЦРУ» за сотрудниками радиостанции «Свобода» и диссидентами из Советского Союза. О действительной причине злобы на меня упомянуто вскользь: «Участвуя в деятельности многочисленных зарубежных антисоветских организаций, Авторханов написал и опубликовал большое количество статей и брошюр злобного, клеветнического характера, содержащих выпады против СССР и его миролюбивой политики». Одна намеренная ложь присутствует во всех моих чекистских «биография»: «Попав на фронт в 1942 г., перешел на сторону гитлеровцев». Я ни одного дня в армии не служил, на фронте не был. Поэтому перейти оттуда к немцам я не мог. Хотя при выпуске из ИКП приказом наркома обороны СССР Ворошилова в мае 1937 г. мне было присвоено звание полкового комиссара, но после освобождения из НКВД меня в армию не взяли.

Однако пора вернуться к хронологии и к тому, чем я в действительности занимался в Берлине. В моем «маршбефеле» стояло название того учреждения, куда я должен был заявиться (по русско-немецкому жаргону: «замельдоваться») по прибытии в Берлин: Vineta, на Александерплаце. Это было очень оригинальное учреждение, в котором, как в библейском ковчеге, собралось всякой твари по паре – спасаясь от Сталина, здесь были научные работники, писатели, журналисты, артисты, музыканты, художники, цирковые артисты – представители разных народов СССР. Деятели искусства находили себе применение, выезжая на гастроли в районы сосредоточения «остарбайтеров»; журналисты переводили для радио с немецкого на русский, с русского на национальные языки народов СССР новости, которые никогда не передавались, ученые писали книги, которые не издавались; художники писали натюрморты и батальные сцены, которые нигде не выставлялись. Зато все получали какую-то зарплату,

продовольственные карточки и койку в общежитии. Учреждение возглавлял пожилой профессор, весьма симпатичный немец из Румынии, секретаршей у него была немка под 60 лет, которую, к моему удивлению, все называли «фрейлейн» (оказывается, будь женщине и сто лет, но если она не была замужем, ее надо называть «девушкой», – теперь закон это оставляет на усмотрение самой «девушки»). В этом учреждении я встретил одного старого чеченского интеллигента, бывшего сотрудника Деникина, о котором ГПУ дало официальную справку семье, что он расстрелян по приговору коллегии ОГПУ.

Получив такое известие, жена его застрелилась. Оказывается, ГПУ его отправило на Запад для подрывной работы среди кавказской эмиграции, а он сам стал эмигрантом. О нем я уже писал – это шеф Облоно, который принял меня 20 лет назад в Детский дом – Ибрагим Чуликов.

Старик переводил новости дня прямо с немецкого на чеченский язык, аккуратно подшивал их в папки и сдавал в архив. Я так и не признался ему, кто я такой, ибо моя совесть перед ним была нечиста: в моей «Революции и контрреволюции в Чечне» ему доставалось больше, чем самому Деникину, поскольку таковы были архивные документы. Я был уверен, что он об этой книге ничего не знает, но однажды он ошарашил меня вопросом:

– Скажите, Абдурахман, не приходится ли вам родственником тот негодяй, который написал книгу «Революция и контрреволюция в Чечне»?

Я преспокойно соврал:

– Нет, тот Авторханов с гор, а я с Терека.

– Простите, что я вас заподозрил в родстве с уж столь отвратительной большевистской сволочью.

Я на старика не обижался: ведь речь шла о бывшей «сволочи», которой он сам дал «зеленую улицу» двадцать лет тому назад.

Месяца два я аккуратно приходил на работу, но никакого задания не получал. Читал газеты, пил эрзац-кофе, иногда играл в шахматы с такими же бездельниками, как и я. Обедать ходили тут же за углом, там вдоволь давали конину, мушельн (ракушки), множество разных трав неизвестных названий, но некоторые и известные – шпинат, кольраби, кольрюбен (брюква), и все это безо всяких карточек. Мой старик однажды пошутил: пока в море водится всякая дрянь, а на немецкой земле растут какие-либо травы, – немец с голоду не помрет. Пива тоже много – прямо из бочки, пенистое, вкус тот же самый, но крепость издевательски мизерна – один или два градуса. Однако какой же все-таки у немцев замечательный порядок: все, что вам положено по карточкам, вы обязательно и получите, и никаких очередей вы нигде не увидите. Даже поезда дальнего и ближнего следования ходят точно по расписанию, секунда в секунду.

Все это – несмотря на систематические воздушные бомбежки, которые только в начальной стадии имели целью военно-стратегические объекты. К концу войны доблестная демократия бомбила по системе «теппих» (ковер) все немецкие города, квартал за кварталом, район за районом, в том числе и те города, в которых не было никакой промышленности. Немецкие фронтовики, которые приезжали в Берлин в отпуск, спешили обратно, на фронт, – так жутко было в немецком тылу. Я здесь не хочу вдаваться в рассуждения, нужен ли был этот террор против гражданского населения, чтобы заставить Гитлера капитулировать, но я, как тогдашний житель и очевидец бомбежек Берлина и других городов Германии, свидетельствую: западные союзники Сталина действовали словно по лозунгу сталинского лауреата Ильи Эренбурга: «В Германии не виноваты собаки и неродившиеся дети». И несмотря на весь этот ад, или может быть именно поэтому, рядовой немец не ворчал, а выполнял свой долг перед страной так, как он его понимал.

Но и здесь надо видеть разницу между жертвенностью немца и его преступным правительством, которое начало эту войну и по-зверски ее вело. Правительство Гитлера подвергло геноциду европейских евреев, а в лагерях советских военнопленных устроило искусственный голод, в результате которого погибло несколько миллионов человек, остальные были спасены генералом Власовым. Я имею в виду не только тех, которые записались в его армию, но и тех, которые остались в лагерях. Власов добился значительного улучшения как правового, так и материального положения этих несчастных людей, объявленных Сталиным «изменниками родины». Я сказал, что снабжение немцев было нормальным для военного времени, но этого нельзя сказать о миллионах «остарбейтеров», главным образом девушек, которые жили в неблагоустроенных деревянных бараках и впроголодь, – хотя и гораздо лучше, чем им пришлось жить потом в советских концлагерях.

Наконец, пришла и моя очередь заняться делом. Наш руководитель, немецко-румынский профессор, предложил мне написать исторический очерк на основании личного опыта: «Что я видел, слышал, читал за десять лет пребывания в партии и пять лет нахождения в тюрьме». Профессор сказал, что очерк ему заказал «Остфоршунг» («Востоковедение»). Он нужен только для внутреннего потребления. Срок мне дали шесть-семь месяцев. Я приступил к работе с большим интересом и к концу 1943 г. сдал профессору объемистую рукопись под названием «Мои советские годы». Весьма строгие педанты из немецкой профессуры нашли мой очерк очень важным, как «татзахенберихт» (фактическое сообщение), и предложили опубликовать его как материал для востоковедов. На это я не согласился, так как из очерка чекисты сразу могли бы установить личность его автора и никакой псевдоним тут меня не спас бы. Между тем профессору пришла

мысль: все действие в очерке перенести с Кавказа в Туркестан, кавказцев переименовать в туркестанцев, Москву оставить как есть и, подписав псевдонимом, издать рукопись в виде книги. На эту операцию потребовалось еще месяца два. Когда я ожидал, что вот-вот получу первую корректуру, издательство разбомбили, погибла и рукопись, и набор. От всей этой затеи осталось одно положительное – мои черновые наброски, без которых очень трудно было бы писать данные воспоминания.

Этим не ограничивалась моя работа в Берлине. Я сотрудничал во многих русских, власовских, легионерских органах печати, иногда мои статьи появлялись и по-немецки. Все статьи я подписывал псевдонимом, но никогда, хотя бы две статьи подряд, не подписывал одним и тем же псевдонимом, так что не только чекистам, но и мне самому было бы сейчас трудно установить, где, что и под каким псевдонимом я печатал. А о чем же я писал? Совершенно о том же, о чем и сейчас.

Берлин был полезен мне в двух отношениях: во-первых, я мог исследовать и писать все, что я знаю и думаю о коммунистической идеологии и коммунистической системе властвования (то, что в Германии тоже существовала тоталитарная власть, только низшей формы, – была не моя проблема, а немецкая); во-вторых, мне была доступна вся богатая – как немецкая, так и эмигрантская – литература довоенных лет (философская, историческая, социологическая), которая помогла мне преодолеть «узкие места» моего советского исторического образования. Был в курсе мировой политики и хода войны. Читал «Ангрифф», «Бёрзенцайтунг» (у нее было много корреспондентов в нейтральных органах), еженедельник «Рейх» (этот орган доктора Геббельса с его постоянными передовыми статьями имел то преимущество, что в нем всегда бывал богатейший культурно-исторический, социологический и информационный материал), читал, хотя и неаккуратно, швейцарские газеты. По вечерам слушал ново-

сти и комментарии немецкой службы Би-Би-Си (это каралось законом, но я ни разу не попался). Впервые из передач Би-Би-Си я узнал и о таких абсолютно невероятных, по моим понятиям, вещах: оказывается, сейчас же после начала войны Черчилль и Рузвельт заявили о безусловной поддержке Сталина против Гитлера, которой Сталин даже не просил. В июле 1941 г. Рузвельт направил в Москву своего специального помощника Гопкинса с миссией предложить Сталину все, что ему нужно, за ним последовали Черчилль, Иден, Криппс с таким же предложением. Правда, у них тоже была одна просьба к Сталину: дать немного свободы религии, хотя бы на бумаге!

О причинах обозначившейся катастрофы Германии нечего много рассуждать. Основные причины были ясны уже тогда: античеловеческая практика расизма в тылу Германии и в завоеванных ею странах, с одной стороны, и, как указывалось выше, дремучее тупоумие в политической стратегии ведения войны, с другой. Войну, стратегически близкую к выигрышу уже в октябре 1941 года, Гитлер политически проиграл сразу после того, когда выяснилось, что война ведется не на уничтожение большевизма и за освобождение народов СССР из-под его ига, а за их превращение в колониальных рабов «третьей империи». Советский человек сказал себе: «Сталин, несомненно, сволочь, но, оказывается, и Гитлер тоже сволочь, только другого цвета, – в таком случае отечественная сволочь предпочтительнее чужеземной» (редкий случай, когда русский человек отдает предпочтение отечественному «товару» (твари) перед заграничным). Но даже и в этом случае у Германии были шансы уничтожить Сталина, если бы Сталин не пользовался безусловной поддержкой Америки и Англии, что вынуждало ее воевать на два фронта. Близорукая демократия упустила уникальный в истории шанс попасть прямо с панихиды по Гитлеру на похороны Сталина. Насколько эта

демократия была ослеплена политически и загипнотизирована психологически Сталиным, показали две конференции «Великих трех» в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г. и в Ялте 4–11 февраля 1945 г. Несмотря на исключительную сверхсекретность решений обеих конференций (изданы ведь были только краткие коммюнике), немецкая печать была хорошо информирована, но все, что немцы писали, считалось демагогией доктора Геббельса – настолько невероятным казалось, чтобы западные союзники отдали во власть Сталина всю Восточную Европу. Увы, конец войны доказал, что все это так и было.

Эти встречи назывались встречами «Великих трех», а на деле они были встречами одного великого и двух карликов. Умный во внутренней политике, Рузвельт был невинным младенцем в понимании большевизма и криминальной природы Сталина, а Черчилль, прожженный макиавеллист, понимал и то и другое, но понимал «по-британски», то есть как сохранить Британскую империю от развала при помощи Сталина, подарив ему за это полдюжины чужих государств в Восточной Европе, в том числе и Польшу, из-за которой Англия, собственное объявила войну Германии. Зато Сталин отлично изучил и «натуру» своих партнеров, и жизненные интересы их государств (наш один профессор в ИКП рассказывал, как он и его коллеги неделями готовили Сталина к встрече с министром иностранных дел Англии Иденом в 1935 г., а Идеи потом признавался, что коммуникации Британской империи Сталин знает лучше, чем ее министр иностранных дел). Хорошо готовился он и к своей первой встрече с союзниками в Тегеране. Для такой подготовки исключительную психологическую роль сыграл один выдающийся трюк Сталина, которого никто не ожидал: Сталин «распустил» Коминтерн. Одним росчерком пера Сталин освободил Рузвельта от давления американской антикоммунистической общественности и заодно выставил себе свидетельство перед

всем миром, что он, Сталин, окончательно отказался от ленинской стратегии «мировой революции».

Историки и политики приписывают европейскую трагедию исключительно Ялтинской конференции, тогда как все началось с Тегерана. Прежде всего о сроках обеих конференций: кардинальная ошибка западных союзников заключалась в том, что сроки и место конференции диктовал им Сталин. Если они вообще хотели связать Сталина какими-либо условиями послевоенного устройства Европы, то первую конференцию надо было созвать, когда Гитлер триумфальным маршем двигался к Москве, когда Кремль открыто заявлял народу, что существование советского государства находится под угрозой, а сам Сталин в великой панике укрылся в своей подмосковной крепости-даче в Кунцево. Теперь же, после выигрыша Красной армией трех битв глубокого стратегического значения (Подмосковной, Сталинградской и Курской), Сталин был уже «на боевом коне», как льстиво выражался о нем Черчилль, произнося тост по его адресу. Теперь он мог легко диктовать свои условия Рузвельту и Черчиллю, тем более, что западные союзники и в мыслях не допускали, что они все еще могут оказать на него давление, пугая хотя бы сепаратным миром с Германией, как его заключил Ленин во время первой мировой войны, имея тех же союзников.

Соответствующими были и решения Тегеранской конференции. Западные союзники признали за Сталиным территорию той части довоенной Польши, которая ему досталась в результате раздела Польши между ним и Гитлером, добавив к этому еще Кёнигсберг и Мемель. Что касается самой национальной Польши, то ее фактически перевели из бывшей сферы «государственных интересов Германии» (как Польша была обозначена на советской географической карте) в сферу государственных интересов Советского Союза, только Сталин дал пустые обещания провести в Польше свободные выборы и не строить там коммунизм (Сталин: «Для Польши

коммунизм не подходит, поляки индивидуалисты и националисты»), но отказался включить в свой «Люблинский комитет» поляков из Лондона. Однако Сталину одной Польши было мало. Поэтому Черчилль, как он рассказывает в своих воспоминаниях, во время заседания передал Сталину записку на клочке бумаги с предложением, как разделить между СССР и Англией Юго-Восточную Европу, которое Сталин с небольшой корректурой принял: Советскому Союзу достаются: 1) Румыния на 90% (остающиеся проценты – Англии и др.), 2) Болгария – на 90%, 3) Венгрия на 75%, 4) Югославия на 50%, 5) Греция на 10% (на 90% – Англии). Сталин на записке поставил знак согласия. Рузвельт обосновывал политику одаривания Сталина чужими государствами следующей оригинальной философией: «Если я Сталину дам все, что в моей власти, не требуя от него за это ничего, тогда он не прибегнет к аннексиям и будет действовать на благо демократии и мира во всем мире»; а на Ялтинской конференции Рузвельт еще добавил: «Дядя Джо (Сталин) мне очень нравится, думаю, что я ему тоже нравлюсь» (Сталин делал все, чтобы укрепить его в этом заблуждении: когда Рузвельт сказал, что он сионист, Сталин заметил – «я тоже»). На Тегеранской конференции было решено открыть в мае 1944 г. «второй фронт» против Германии на Западе (план «Оверлорд»). Сталин тоже сделал уступки: 1) согласился на создание ООН (зарезервировав за собой три места вместо полагающегося одного); 2) согласился объявить войну Японии – (зарезервировав за собою права аннексировать японские (Курильские острова, Южный Сахалин) и китайские территории (Дайрен), осуществлять фактический контроль над Маньчжурией и присвоить себе КВЖД, которую до войны он продал Японии. Однако Сталин отверг планы Рузвельта и Черчилля разбить Германию на пять государств под контролем ООН (Рузвельт) или создать «Дунайскую федерацию» с включением в нее всех южногер-

манских провинций (Черчилль). Отвел Сталин и идиотский план Моргентау – превратить Германию в аграрное государство. Но и тут Сталин преследовал политику дальнего прицела – со временем большевизировать всю Германию, ибо, как завещал Ленин, «русский серп и германский молот победят весь мир» (правда, с «серпом» до сих пор ничего не выходит).

Ялтинская конференция завершила торг судьбами народов Европы. Ей предшествовали длинные переговоры о месте конференции. Сталин был готов встречаться только на той территории, на которую распространяется его власть (ведь и в Персии тогда стояла Красная армия). Черчилль писал потом, что, если даже искать десять лет, нельзя было бы найти худшего места для конференции, чем Ялта. Зато этот недостаток Сталин компенсировал гарантированной безопасностью и изобилием икры. Для участников конференции было доставлено 16 тонн икры в трех вагонах (одна западная делегация состояла из 700 человек, прилетевших из Мальты на 25 самолетах). Рузвельт, декларировавший в «Атлантической хартии» пресловутые «четыре свободы» для всех малых и больших народов, заседал со Сталиным на территории малого народа, который Сталин за год до этого поголовно депортировал в Среднюю Азию, – на исконной территории крымских татар. Но этот факт ему, вероятно, не был известен, да едва ли известие об этом его и тронуло бы. То же самое надо сказать и о Черчилле. Когда шеф его военной миссии в партизанском штабе Тито генерал Маклин однажды сказал ему, что Тито собирается после войны превратить Югославию в коммунистическое государство, то Черчилль ответил: а почему вас это беспокоит, вы же не собираетесь жить в Югославии после войны.

Никаких форменных соглашений в Ялте принято не было, не велись также и настоящие протоколы. Соглашения были больше устные. То, что давалось Сталину, им уже было взято.

Сталин еще раз обещал провести в Польше и других завоеванных им странах свободные выборы. И провел их под руководством своей политической полиции и местных коммунистов. Германию решили разделить на четыре зоны. Постановили создать ООН. Сталин согласился, вероломно нарушив свой договор с Японией в 1941 г. о нейтралитете, вступить в войну с Японией через два-три месяца после победы над Германией. Сталин потребовал и союзники согласились, что судьбы мира и народов отныне будут решать только три державы: СССР, США и Англия. Когда Рузвельт и Черчилль в Ялте в своих тостах хотели бы быть более снисходительными в отношении малых народов, Сталин в ответном тосте сказал: «Югославия, Албания и им подобные малые страны не имеют права сидеть за этим столом. Или вы хотите дать Албании такой же статус, как Америке... Мы втроем должны обеспечивать сохранение мира». В другом тосте Сталин сказал: «Я никогда не допущу, чтобы действия какой-либо великой державы подлежали суду малых держав». Вот таково подлинное лицо советского великодержавного империализма, который стал «большим братом» за счет поглощения «малых братьев». Удивительная легкость победы Сталина над союзниками объяснялась еще и его хорошей осведомленностью о том, что делается в главных штабах этих союзников – у Рузвельта координатором всей его внешней политики был советский шпион Алгер Хисс (он получил только пять лет), у англичан на ответственных правительственных и разведывательных постах оказалось четыре советских шпиона – Маклин, Бёрдже с, Блюнт и сам заместитель шефа английской разведки Ким Фильби, позже учитель Юрия Андропова по западным делам.

Кончилась война. Выполняя свои обещания о свободных выборах, Сталин провел их в Польше в 1947 г. Результат: коммунисты получили 93,3%, 6,7% получила крестьянская

партия. Вопреки «пессимизму» Сталина (см. выше), Польша стала коммунистической. Но так как сам Сталин хорошо знал цену такому коммунизму, то он поставил политическую полицию и польскую армию под прямой контроль Москвы, назначив во главе их советских генералов. Говорят, что когда только что назначенный военным министром Польши советский маршал Рокоссовский пожаловался Сталину, что он не хотел бы надевать польскую форму, то Сталин ответил ему: «Мне легче надеть на тебя одного польскую форму, чем на всю польскую армию советскую форму!».

Вернусь к воспоминаниям.

В Берлине я познакомился со многими представителями мусульманской, кавказской и русской эмиграций. Почти у всех были свои «национальные комитеты» и свои национальные формирования – так называемые «восточные легионы», созданные немцами из бывших военнопленных разных народов СССР. Эти «легионы» входили в состав вермахта как восточные добровольческие войска. «Национальные комитеты» никакого влияния на них не имели. «Национальные комитеты» упорно добивались, чтобы Германия официально заявила, что она признает право народов СССР на независимость и, соответственно, предоставит председателям «комитетов» дипломатический статус послов, аккредитованных при немецком правительстве. Гитлер об этом и слышать не хотел и, в отличие от Сталина, был честен: он не обещал того, чего не собирался делать. Поэтому он, хотя и терпел «национальные комитеты», но отдал их в ведение «Восточного министерства» Розенберга, прочно закрыв их представителям доступ к «национальным легионам». Ведущие представители кавказских, как, впрочем, и других эмигрантских политических организаций, отказались по этой причине сотрудничать с немецким правительством. Так поступили и два ведущих лидера народов Северного Кавказа из двух конкурирующих

между собою национально-политических организаций – группа Саид-бека Шамиля (внука имама Шамиля), имевшая до войны резиденцию в Варшаве и издававшая журнал «Северный Кавказ» (главный редактор Барасби Байтуган); другую группу возглавлял Гайдар Баммат, бывший министр иностранных дел независимой «Республики Северного Кавказа» 1918–1919 гг., резиденция этой группы находилась в Париже. Вместе с другими кавказцами – грузинами, армянами и азербайджанцами – группа Баммата издавала там общекавказский журнал «Кавказ» (главный редактор Гайдар Баммат). Те и другие выдвигали своей программной целью создание Кавказской федерации. Когда названные лидеры Северного Кавказа отказались от сотрудничества с Германией, была создана третья группа «Северокавказское национальное единение» во главе с Алиханом Кантемиром (бывший посол Республики Северного Кавказа в муссаватистском Азербайджане) и Ахмет-Наби Магома (бывший руководитель Аварского округа Республики Северного Кавказа). Эта группа создала в Берлине «Северокавказский национальный комитет», который считал своими важнейшими задачами: во-первых, освобождение из лагерей военнопленных всех северокавказцев, во-вторых, проповедовать и дальше идею национальной независимости и добиваться ее признания Германией. Первую задачу комитет этот выполнил – тысячи северокавказцев были спасены от неминуемой смерти в лагерях военнопленных и освобождены оттуда; успехи по осуществлению второй задачи свелись лишь к многочисленным меморандумам, которые никто не читал, а если и читал, то тут же выбрасывал в мусорный ящик.

Сейчас же по прибытии моем в Берлин в январе 1943 года меня ввели в состав «Северокавказского национального комитета». Кроме Кантемира (Осетия), Магома (Дагестан), в его состав входили бывшие генералы Русской императорской

армии Султан Келеч Гирей (Черкесия) и Улугай (Адыгей), бывший офицер французского иностранного легиона Дайдаш Тукаев (Чечня), Албагачиев (Ингушетия), Муратханов (Дагестан), Байтуган (Осетия). Жили в Германии и старые национальные деятели Северного Кавказа – Васангирей Джабаги (ингуш, быв. председатель Северокавказского парламента), проф. Айтек Намиток (черкес), Ибрагим Чуликов (чеченец, бывший председатель Чеченского национального комитета при правителе Чечни генерале-от-артиллерии Эрисхане Алиеве), генерал Бичерахов (осетин), – они не входили в комитет, но я с ними часто встречался, и эти встречи, видимо, были взаимно полезны: они мне рассказывали о национально-политических движениях периода революции и гражданской войны на Кавказе, а я им – историю советского режима там. Там же я познакомился с Кабарда Тамби, из кабардинской княжеской семьи, который после войны возглавил устройство и эмиграцию за океан северокавказцев.

Наиболее резко гитлеровское правительство демонстрировало свою враждебность к идее свободы и независимости народов в отношении тех, кто от слов переходил к делу. Приведу на этот счет два примера в отношении Украины и России. В первые дни войны украинские националисты Бандеры провозгласили независимость Украины, создали во Львове украинское национальное правительство с антибольшевистской программой и предложили Германии военно-политический союз – Гитлер арестовал это правительство во главе со Стецко. Лидеры российских солидаристов (НТС), которые проповедовали антибольшевистскую и антинацистскую программу «третьей силы» под знаменем сохранения независимой России, тоже были арестованы (Байдалаков, Поремский, Романов, Глеб Рар, Околович и др.). Было много случаев преследования и представителей других народов за такие же действия. Конечно, после всего сказанного встает

вопрос: почему же тогда как русские, так и националы искали сотрудничества с Германией? Философия антибольшевиков в этом вопросе известна всем: «хоть с дьяволом, но против Сталина» и плюс обоснованная надежда: перехитрить ослабленного в войне Гитлера и провозгласить свою независимость против его воли. Такова была цель и Власовского движения. Я с А. А. Власовым встречался до того, как он стал во главе Русской Освободительной Армии (РОА). Это было в начале 1943 г. в ОКВ (Oberkommando der Wehrmacht), где нас познакомил капитан фон Гроте (фон Гроте родился в России и в первую мировую войну служил адъютантом командира Ингушского полка в составе «Туземной» или, как ее иначе называли «Дикой дивизии», которой командовал брат Императора – Великий князь Михаил Александрович). Потом мы встретились дважды в русском ресторане «Медведь» и немецком «Фатерланд». Власов был редкий советский генерал с высокоразвитым чувством критического политического мышления. Он был в этом отношении полнейшим антиподом генералу, потом маршалу Жукову, заместителем которого он был во время обороны Москвы. Запомнилась его краткая, но меткая характеристика Жукова: «В военной стратегии – первоклассный ум, а в политике – глуп, как дуб» (впоследствии, может быть, чтобы соблазнить немцев, Власов называл его в числе потенциальных сторонников РОА). В политическом прошлом у меня с ним было много общего – в партию мы оба вступили в одном и том же году (1927 г.), во время оппозиций держались «генеральной линии», во время чистки были сами «оппозиционерами», правда, только в мыслях, оба считали, что советская власть сама по себе хороша, но ее опоганил Сталин. Были у нас и общие знакомые из бывших выпускников ИКП, которые работали по линии политаппарата в армии. Власов был и выдающимся дипломатом (недаром он был и на военно-дипломатической работе в

Китае). Но немцы его слишком поздно «открыли», когда война уже практически была проиграна. Бели бы ему дали возможность еще в 1942 г., во время его «Смоленского обращения» к Красной армии и народу, создать русское правительство в том же Смоленске и организовать тогда же Русскую Освободительную Армию, Россия сейчас была бы правовым государством, треть человечества не находилась бы под коммунизмом, а мир – под вечным «атомным шахом» Кремля. Единственно, что удалось Власову, и это останется его исторической заслугой, – он спас от верной гибели миллионы советских военнопленных, и своей борьбой засвидетельствовал перед историей, что, кроме России сталинской, есть еще Россия национальная, антисталинская.

Власов был не только дипломатом, но он был и мужественным человеком. Он не согласился созвать учредительный съезд своего движения в немецкой столице – в Берлине, а настоял на том, чтобы созвать его в древнеславянской столице – в Праге. Он ввел в свою декларацию пункт о праве народов СССР на национальное самоопределение и на независимость, но отказался включить в нее пункт против евреев.

Ко мне обращались с предложением войти в состав Комитета Освобождения Народов России (КОНР), созданного в Праге (от Северного Кавказа туда вошли проф. Цаголов – осетин и Сижаж – кабардинец), но я считал, что такой комитет должен быть создан на другой основе и в иной форме, и не по персональному признаку, а по договору между собой независимых национально-политических организаций. К сожалению, даже для Власова оказалось невозможным создать такой Комитет, да и немцы противодействовали этому.

К Власовскому движению среди самой русской эмиграции было разное отношение. Крайне правые и крайне левые осуждали его даже после войны, пока не выступили в его защиту Д. Ю. Далии и Б. И. Николаевский. В западной печати господствовала советская концепция о «предателе» Власове.

Как в отношении РОА ген. Власова, так и «национальных легионов», один советский историк, правда, будучи еще в СССР, написал следующее: «Те, кто поднял оружие против своей родины... ренегаты и предатели своих собственных народов» (A. Nekrich. The punished peoples, p. 9, Norton, New York, 1977). От этой оценки А. Некрич отказался в своей новой работе, – см. «Утопия у власти», т. II (Лондон, 1982).

Здесь возникает принципиальный, исторической и политической важности вопрос: правомерна ли борьба против тоталитарного, деспотического режима в собственной стране, если страна находится в войне с другим государством? Послевоенная Германия ответила на этот вопрос положительно – отсюда ежегодные траурные собрания, посвященные жертвам заговора 1944 г. против Гитлера, отсюда же и выдвижение в руководство новой Германии тех, «кто поднял оружие против своей родины» (самые известные примеры: майор норвежской армии Вилли Брандт из социалистов, немецкий комментатор Би-Би-Си барон Гуттенберг из христианских демократов, эмигрантский публицист Герберт Венер из коммунистов).

В двух войнах с той же Германией двое русских ответили на поставленный вопрос тоже положительно: Ленин и Власов. Оба организовали на немецкие деньги, – деньги, взятые Лениным через «черный ход» (об этом неопровержимо свидетельствуют документы из архива Министерства иностранных дел Германии, опубликованные в Лондоне в 1958 г.), и Власовым совершенно официально – по кредитному соглашению между Германией и КОНР (Комитет Освобождения Народов России).

В ноябре 1914 года, через четыре месяца после начала войны, Ленин писал в «Манифесте ЦК РСДРП»:

«Для нас, русских с.-д., не может подлежать сомнению, что... наименьшим злом было бы поражение царской монархии» («КПСС в резолюциях...», ч. I, 1954, с. 323).

Через семь месяцев, когда, разбив две русских армии в Восточной Пруссии, немцы через Польшу двинулись к этническим границам России, Ленин писал в резолюции конференции своих заграничных организаций:

«Больше чем когда бы то ни было верны теперь слова «Коммунистического Манифеста», что «*рабочие не имеют отечества*»... *Победа России влечет за собою усиление реакции внутри страны*... *В силу этого поражение России при всех условиях представляется наименьшим злом*» (там же, сс. 326, 329).

Значит, для Ленина и большевиков Россия не была «родиной» и они «при всех условиях» стояли за ее поражение и активно боролись за это – хотя Россия 1914 г. Николая II представляла собой сверхдемократию по сравнению с Россией 1941 г. (ведь большевистские газеты, журналы, книги выходили в России легально, а депутаты всех политических партий, в том числе и большевики, сидели в Государственной Думе).

Через 27 лет началась вторая война с Германией – после того как ученик Ленина, Сталин, разделил Польшу с Германией, захватил прибалтийские страны, аннексировал части Финляндии и Румынии. Началась она в условиях, когда в России был не просто реакционный, а тиранический режим беспрецедентной в истории инквизиции. К началу этой войны Сталин уже успел:

1) по его же собственному признанию в беседе с Черчиллем, – уничтожить во время коллективизации около 10 миллионов крестьян как «кулаков»;

2) уморить искусственным голодом в 1931–32 гг. около 5–6 миллионов украинцев; столько же и туркестанцев;

3) убить, искалечить и загнать в концлагеря в 1937–1939 гг., во время ежовщины-бериевщины, около 8–10 миллионов человек;

а к концу войны:

4) подверг геноциду к концу войны около трех миллионов детей, женщин и стариков из национальных меньшинств;

5) объявил «изменниками родины» около пяти миллионов советских военнопленных, обрекая их на голодную смерть без поддержки через Красный Крест;

6) объявил «изменниками родины» несколько миллионов русских, украинских, белорусских, прибалтийских «остарбайтеров», преимущественно девушек, насильственно завербованных немцами на принудительные работы в Германию;

7) одного мусульманского населения СССР погибло, по данным советской статистики, от террора и голода около 6 млн. человек (подробно об этом см. «Der Islam und die mohamedanischen Volker der Sowjetunion» von A. Avtorchanov, «Glaube in der 2. Welt», Zollikon 1980, S. 15).

Вот такова была обстановка, когда храбрый защитник Москвы в 1941 г., один из ближайших помощников Жукова – генерал Власов – пришел к выводу: только поражение этой сталинской России и заключение почетного мира с Германией спасет свободную, независимую Россию от сталинской инквизиции, а весь мир от коммунизма. Спрашивается: почему же тогда Ленин не изменник, а Власов изменник?

Сталин стоял у Одера, на подступах к Берлину, его башибузуки из Смерша почти свободно орудовали в Берлине, и перспектива попасть в их руки в третий раз – означала верную смерть. Я решил уехать из Берлина.

Гибель «третьей империи» застала меня на пути к кавказским беженцам в северной Италии в какой-то альпийской деревушке. Там я настиг и большую группу наших кавказцев.

Дальше движения поездов не было – разбомбило железнодорожные пути. Наши беженцы тем временем спустились с итальянских гор в Австрию и обосновались в долине реки Дравы под Лиенцем. Тут же рядом обосновались и казаки-беженцы. Долина Дравы стала для них «долиной смерти». Английское правительство Черчилля – Идена выдало Сталину на растерзание десятки тысяч казаков и горцев с семьями, а тех, кто сопротивлялся или пытался бежать в горы, тут же пристреливали. Это преступление Англии история уже занесла в анналы преступлений гитлеровско-сталинского класса. В этой массовой трагедии сыграли свою роль как обман англичан, так и самообман беженцев. Руководители беженских масс – со стороны казаков генерал Краснов, со стороны горцев – генерал Султан Келеч Гирей – поверили честному слову английского командования, что их совместно со всеми офицерами приглашают в штаб командования для переговоров о дальнейшей судьбе беженцев, а повезли их прямо к Советам и выдали на убийство Сталину (Краснов и Султан Келеч Гирей вместе с группой других офицеров были повешены в Москве в 1947 г.) - Та же судьба постигла Власова и его штаб. Власов и члены его штаба рассматривали себя потенциальными союзниками западной демократии в ее будущем неизбежном поединке с коммунизмом, а саму западную демократию считали неспособной выдать Сталину патриотов-антикоммунистов, и обманулись: американцы их выдали. В том же 1947 г. Сталин повесил Власова и его соратников.

В нашей небольшой кавказской группе в Альпах тоже была своя трагедия. Еще не зная о происшедшем в «долине смерти» под Лиенцем, мы устроили совещание группы, чтобы решить, как быть дальше? В совещании участвовали члены Северокавказского Национального Комитета – его председатель Магома, Албагачиев, майор Калмук, из нечленов комитета – генерал Бичерахов, я (я вышел из комитета

еще в 1944 г.), потом несколько армянских деятелей во главе с бывшим командиром Армянского легиона полковником Саркисяном. Обсуждались два предложения – создать общий Кавказский комитет и от его имени подать американскому командованию Меморандум, что Кавказ хочет заключить с Америкой военно-политический союз и воевать с большевизмом (Магома, Саркисян), и мое: сделать себе фальшивые документы и немедленно расходиться по одному, по два человека. Генерал Бичерахов долго колебался между этими двумя предложениями. Каковы были мотивы первого? Те же самые, что и у Краснова, Султана Келеч Гирея, Власова: столкновение между коммунизмом и демократией неизбежно, поэтому этой демократии надо предложить свои услуги. Я единственный в этой группе был в курсе текущих событий. Правда, в Германии и Австрии никакие газеты тогда не выходили и иностранные газеты сюда не доходили, но зато я систематически слушал передачи Би-Би-Си на немецком языке, в которых исторические заслуги Советского Союза и величие Сталина в победе над Германией превозносились до небес. Такими же были американские комментарии, которые цитировались в этих передачах. Английское радио на немецком языке подготовляло людей не к конфронтации с коммунизмом, а к кооперации с ним как с русской формой западной демократии. Если бы Запад думал повернуть оружие к концу войны против Сталина, то он принял бы предложение нового рейхсканцлера гроссадмирала фон Дёница о заключении мира с Западом и продолжении войны против Сталина. Америка и Англия ответили повторением старого требования «безусловной капитуляции Германии» как перед западными державами, так и перед СССР. Да, верно, говорил я, столкновения и конфликты между Западом и Востоком неизбежны, но не по вине Запада, а по вине Сталина. И это будет не сейчас, а через несколько лет, когда Запад сам, на собственном опыте, убедится в неограниченности аппетита

Сталина на путях к мировому господству. Поэтому я был против обращения в штаб Американской армии. Большинство собрания отвергло мои доводы и послало человека в американский батальон, который стоял в Цель-ам-Зее, с сообщением, что у нас здесь генералы и политики Кавказа и что мы вместе с американцами хотим освободить Кавказ от большевизма. Придет же в голову взрослым людям такая несусветная чушь! Я тут же порвал свой немецкий паспорт (в нем стояла моя подлинная фамилия – Авторханов) и составил себе «справку» на фальшивое имя за подписью Комитета, что я паспорт потерял. В тот же день примчались на джипах американские офицеры. Они сообщили: большие политические вопросы у них решаются в штабе дивизии, который стоит в Зальцбурге. Поэтому надо поехать туда. Через час руководители Комитета Магома, генерал Бичерахов, полковник Саркисян, майор Калмук и лейтенант Магомет Абдулкадыров уехали вместе с американцами. Через дня три мы получили от Ахмет-Наби Магома записку, которая начиналась словами: «Молитесь за нас, мы сидим в американской тюрьме»! Магома и Бичерахов отсидели по два года, а Саркисяна выдали Советам.

Годы 1945–1948 были годами большой охоты англо-американо-советских борзых за нами, за «зайчиками», которых Советы по-чекистски называли «предателями родины», а американцы нарекли курьезным именем «displaced persons» – «ди-пи» («перемещенные лица»), не беженцы и не эмигранты, а «перемещенцы», которые, согласно Ялтинскому соглашению, должны вернуться туда, откуда их «переместили», – в СССР. Начали выдавать людей целыми лагерями. Никакие доводы, что их никто не «перемещал», а они сами бежали от Сталина, и поэтому они политические беженцы и дома им грозит верная смерть, – во внимание не принимались. «Притчей во языцех» стал диалог между американским

чиновником, агитировавшим «ди-пи» добровольно вернуться на родину, и одним из этих «ди-пи»:

– Сталин – бандит, и в его империю я не вернусь, – сказал «ди-пи».

Чиновник, походя отвесив ему пощечину за оскорбление «главы дружественной державы», ответил:

– Уезжайте домой, и если вам Сталин не нравится, то выбирайте себе другого человека!

О, святая простота, до чего ты живуча!

В этой были или небылице приблизительно воспроизведено понимание политической природы «советской демократии» средним американцем во время войны и сейчас же после нее. Не лучше обстояло дело и на верхах американского правительства, как это показали конференции в Тегеране и Ялте. Уверенность в советской добропорядочности у американцев была так велика, что Рузвельт даже собирался после войны очень скоро увести свою армию из Европы. Когда Сталин, не без задней мысли, спросил Рузвельта, сколько времени американская армия будет находиться в Европе, то президент ответил: «Максимум два года». Но вот война кончилась. При других обстоятельствах очень осторожный и терпеливый, Сталин в послевоенной Европе проявил опрометчивую спешку и крайнюю нетерпимость: он форсирует большевизацию Восточной Европы; он не хочет уходить из Персии; он предъявляет претензии на турецкие земли и на контроль в районе проливов; он хочет установить контроль над Ливией, пользуясь уходом оттуда Италии; он поддерживает гражданскую войну коммунистов в Греции; он устраивает Берлинскую блокаду – все это решительно отрезвило американцев.

После войны я узнал и о подробностях трагической судьбы своего народа. Ограничусь здесь на этот счет лишь некоторыми справками и свидетельствами.

15 января 1939 года в центральном органе советского правительства, в газете «Известия», было опубликовано следующее сообщение советского официального агентства – ТАСС: «Пятилетие Чечено-Ингушетии». Грозный. 14 января (ТАСС). Пять лет тому назад, 13 января 1934 года, две народности Кавказа – чеченцы и ингуши, родственные по своему языку, культуре и быту, объединились в одну автономную Чечено-Ингушскую область. 5 декабря 1936 года область была преобразована в автономную советскую социалистическую республику. История Чечено-Ингушетии – это десятилетия кровавой борьбы свободолюбивого народа против колонизаторов...»

23 февраля 1944 года, т. е. ровно через пять лет после этого сообщения ТАСС, в течение буквально двух-трех часов, данных на сборы, поголовно все чеченцы и ингуши Чечено-Ингушской Республики арестовываются и начинается их погрузка в арестантские эшелоны для отправки в неизвестном направлении. Еще через два года и четыре месяца – 25 июня 1946 г. – в том же центральном органе советского правительства – «Известиях» был издан «Указ президиума Верховного Совета РСФСР» «О ликвидации Чечено-Ингушской советской республики и выселении ее населения». Указ гласит: «Многие из чеченцев и ингушей, подстрекаемые немецкими агентами, присоединились добровольно к организованным немцами формированиям и вместе с немецкими вооруженными силами выступали с оружием в руках против Красной армии».

Официальный мотив уничтожения этого народа – коллаборация с немцами был рассчитан на невежество советского народа и на неосведомленность Запада. 1) Во время второй мировой войны ни разу не было ноги немецкого солдата на территории Чечено-Ингушской республики. 2) Присоединяться к немецким формированиям чеченцы и ингуши и физически не могли, так как на Чечено-Ингушетию не

распространялся закон об обязательной военной службе. Частичная мобилизация во время совето-финской войны была отменена уже в начале немецко-советской войны, с освобождением от службы в Красной армии всех чеченцев и ингушей (приказ по главному командованию Красной армии от февраля 1942-го года мотивировал это освобождение тем, что чеченцы и ингуши по религиозным убеждениям отказываются есть свинину).

Ключ к истинному мотиву указа Верховного Совета РСФСР о выселении чеченцев и ингушей заложен в вышецитированном нами первом советском документе, а именно: «история Чечено-Ингушетии – это десятилетия кровавой борьбы свободолюбивого народа против колонизаторов».

Вот как описывает выселение чеченцев и ингушей один из русских студентов-очевидцев:

«В 1943 году я прибыл в г. Грозный вместе с Грозненским нефтяным институтом из Коканда, который был туда эвакуирован в 1942 году во время немецкого наступления...

Создать настоящие колхозы в Чечне собственно так и не удалось никогда. Хотя в аулах и были представители «Заготзерно» и «Заготскот» и даже колхозные председатели, но в действительности все выглядело так, как будто крестьяне являются самостоятельными.

В горах действовали «банды», которые пользовались поддержкой горных аулов. После ликвидации Чечено-Ингушской республики газета «Грозненская правда» писала, что со времени существования советской власти «банды» на территории Чечено-Ингушетии убили около 20 тысяч красноармейцев и партработников.

Когда во время войны эвакуировалось в горную Чечню Грозненское военное училище, то чеченцы убили 200 человек слушателей этой школы. В конце 1943 года в городе распространился слух, что чеченцы и ингуши будут выселены, но об

этом только шептали друг другу. Во второй половине января и в первой половине февраля в Грозный начали прибывать в большом количестве особые части войск НКВД на трех- и пятитонных американских грузовиках – студебекерах. В газетах появились воззвания к народу: «Приведем дороги и мосты в образцовое состояние!» или «Поддержим нашу дорогую и любимую Красную армию в ее горных маневрах!» Так войска заняли все горы, и каждый аул имел свой маленький гарнизон.

Наступил день Красной армии – 23 февраля 1944 года. Вечером того дня красноармейцы развели огни на площадях аулов и начали пение и танцы, Жители аулов, ни в чем не сомневаясь, собрались на это торжество, как зрители. Когда таким образом большинство жителей собралось на площади, были арестованы все мужчины. Некоторые чеченцы имели оружие, и во многих местах началась стрельба. Но сопротивление скоро было сломлено. Арестованные на площадях мужчины были заперты в сараи, и началась охота за теми, которые не были на площади. Вся акция была проведена в 2–3 часа. Женщины не были арестованы, но их предупредили, чтобы они запаковали вещи и вместе с детьми были готовы на следующий день к выезду.

Одновременно в Грозном была объявлена мобилизация студентов и домохозяек, которые не были заняты на фабриках. Вечером 23 февраля в общежитие института пришел директор, который предложил всем студентам собраться к 6 часам утра у здания института. Мы должны были взять пару лишнего белья и питание на три дня. Появились также студенты Педагогического института. Когда собрались у Института, мы увидели много студебекеров, наполовину нагруженных красноармейцами. Таким образом мы были, по тщательно разработанному плану, распределены по аулам, 20–30 человек на аул. Когда мы 23 февраля прибыли в аулы, нас удивила господствующая всюду тишина. Через полчаса

после нашего прибытия на те же машины были погружены, арестованные накануне, мужчины, женщины и дети. Потом они были пересажены в товарные поезда, которые стояли наготове в Грозном. Чеченцы и ингуши были забраны все без исключения. Дагестанцев оставили в покое, в нашем ауле их было до 7–8 человек.

Задача студентов заключалась в том, чтобы до прибытия переселенцев из Курской и Орловской областей держать хозяйство в порядке. Мы должны были собирать скот, кормить его, принять зерно, инвентарь и т. д. В горных аулах эту акцию провели иначе. Отсюда был эвакуирован весь скот и тогда сожгли аулы, чтобы лишить «бандитов» базы для существования. Днями можно было наблюдать в горах горящие аулы. Одновременно была объявлена амнистия для ушедших в горы, если они явятся добровольно. Фактически некоторые из них и явились, но были также выселены...» («Прометеус», № 3, март 1949 года, Аугсбург. Издатель – Иван Тихойкий).

По свидетельству других очевидцев, определенная часть чечено-ингушского народа была уничтожена на месте (группами расстреляны), а выселили, главным образом, женщин, детей и тех из мужчин, в лояльности которых не было сомнения даже у НКВД. Из имущества только женщинам разрешили забрать ручной багаж. Ужасная трагедия продолжалась и в пути. Погруженные в товарные вагоны люди не получали сутками не только пищи, но и воды. Так как путешествие продолжалось неделями и даже месяцами при отсутствии какой-либо медицинской помощи, в переполненных вагонах, то начались массовые заболевания. По единодушному свидетельству уцелевших, среди депортированных уже в пути вспыхнул тиф, который скосил не менее 50% выселенцев. Власть старалась только – локализовать его на чеченцах и ингушах, чтобы таким «естественным» образом

избавиться от все еще хватающихся за жизнь обреченных людей. Местному населению было категорически запрещено оказывать помощь умирающим подачей пищи, воды или даже медикаментов.

Совершенно такая же расправа была учинена над другими северокавказцами – балкарцами и карачаевцами, а также над калмыками, крымскими татарами и немцами на Волге.

Советский писатель, член редколлегии «Литературной газеты» Георгий Гулиа рассказывал о наблюдениях своего знаменитого отца, просветителя Абхазии, Дмитрия Гулиа и его жены в феврале 1944 г. на одной из железнодорожных станций Кавказа:

«...Они увидели невообразимое: длиннющий железнодорожный состав из теплушек, битком набитый людьми... Их везли куда-то на восток с женщинами, детьми, стариками. Очень грустные, убитые горем... это чеченцы, ингуши, а едут они не по доброй воле. Их выселяют. Они совершили «тягчайшее преступление перед Родиной»...

– И эти дети? – вырвалось у Гулиа.

– Дети едут с родителями...

– А старики и старухи?

– Со своими детьми.

...Значит высылают почти миллион! В чем все-таки их вина? Об этом нигде не писалось и не говорилось» (Г. Гулиа, «Повесть о моем отце», Москва, 1962, сс. 214–215) (Подробно см. А. Некрич, «Наказанные народы», изд-во «Хроника», Нью-Йорк, 1978).

Как вели себя чеченцы и ингуши в ссылке?

Вот наблюдения А. Солженицына в Казахстане:

«Но была одна нация, которая совсем не поддалась психологии покорности – не одиночки, не бунтари, а вся нация целиком. Это – чечены.

Мы уже видели, как они относились к лагерным беглецам. Как одни они изо всей джезказганской ссылки пытались поддержать кенгирское восстание.

Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя зэками по духу.

После того как их однажды предательски сдернули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли – низкие, темные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их, кажется, разваливай. И такое же было все их ссыльное хозяйство – на один этот день, этот месяц, этот год, безо всякого скопа, запаса, дальнего умысла. Они ели, пили, молодые еще и одевались. Проходили годы – и так же ничего у них не было, как и вначале. Никакие чечены нигде не пытались угодить или понравиться начальству – но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Презирая законы всеобуча и те школьные государственные науки, они не пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить там... Женщин своих они не посылали в колхоз. И сами на колхозных полях не горбили. Больше всего они старались устраиваться шоферами: ухаживать за мотором – не унизительно... Они могли угнать скот, обворовать дом, а иногда и просто отнять силою. Местных жителей и тех ссыльных, что так легко подчинились начальству, они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только бунтарей.

И вот диво – все их боялись. Никто не мог помешать им так жить. И власть, уже тридцать лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы» (Архипелаг ГУЛаг, V–VI–VII, сс. 420–421, YMCA-PRESS, Paris).

Таким образом, лишь на поприще грабежей чеченцы оказались до конца верными марксизму-ленинизму: они, словно по Марксу, «экспроприировали экспроприаторов» или просто по Ленину, «грабили награбленное». Но заставить их «уважать» свои людоедские «законы» не мог даже такой людоед, как товарищ Сталин.

На XX съезде Хрущев, думаю, по инициативе Микояна, бывшего руководителя Северного Кавказа, реабилитировал

горцев и калмыков. 9 января 1957 г. была восстановлена Чечено-Ингушская АССР, восстановили автономии балкарцев, карачаевцев и калмыков. Крымские татары и волжские немцы все еще остаются в местах их депортации, хотя формально они и «свободны».

19. Участие в Висбаденской конференции эмигрантов

За недели три до капитуляции Германии умер Рузвельт. Новый американский президент Гарри Трумэн довольно быстро раскусил Сталина. Он спас Западную Европу от уготованной ей Сталиным большевизации, а Средний и Ближний Восток от намеченного советского поглощения четырьмя историческими актами: 1) ультимативно потребовал от Сталина уйти из Персии и распустить созданные им там советские сателлиты под названием «народные республики» Курдистана и Азербайджана, что Сталин и вынужден был сделать; 2) провозгласил «доктрину Трумэна», чем закрыл Сталину дорогу в Турцию и Грецию и на Ближний и Средний Восток; 3) создал «план Маршалла» по экономическому восстановлению и возрождению Европы (по этому плану получить помощь имели право и СССР и восточноевропейские государства, но Сталин не разрешил); 4) организовал НАТО.

Таким образом Трумэн спас от Сталина, что еще можно было спасти после капитулянтской политики Рузвельта и Черчилля, а сам Сталин спас нас, своих бывших рабов, – около одного миллиона «ди-пи» (около пяти миллионов уже было возвращено в СССР) – своей чрезмерной спешкой в агрессивной политике. Теперь мы, не боясь мордобития и насильственной репатриации, кричали на наших бесчисленных «ди-пи»-митингах: «Сталин – бандит!» Но все это было позже. До этого здесь чекисты хозяйничали, как у себя дома.

В соответствии с политикой Трумэна «остановить экспансию коммунизма», Кремль меняет тоже свои методы и формы глобальной экспансии, сочетая фронтальные атаки с атаками с тыла. На первую линию наступления против свободного мира вместо Красной армии выводят гигантскую

тайную армию чекистов. Даже по отношению к «ди-пи» резко меняется чекистская тактика. Создается «Комитет за возвращение на родину» и газета под тем же названием. Вдруг из «предателей родины» они превращаются в «дорогих соотечественников». Советские разведчики наводняют Европу и действуют по методу того пресловутого кавалера, который каждой даме, с которой он танцевал, предлагал идти с ним в постель: в 99 случаях он получал пощечину, а вот сотая, оказавшаяся охочей до авантюр, соглашалась. Этот метод вербовки КГБ применяет и до сих пор. Применялся он в массовом масштабе и среди «ди-пи». Делалось это очень просто. Чекисты навещали в СССР ваших родственников, брали от них к вам теплые сердечные письма с приложением семейных фотографий или письма от ваших бывших друзей с рекомендацией завязать полезное вам «знакомство» с подателями таких писем. Ни одного из более или менее видных «ди-пи» чекисты не оставляли без внимания: авось, один из ста клюнет. К чести «ди-пи» надо сказать, что из миллиона новых эмигрантов чекисты заманили к себе или домой только пару десятков уголовников, которые сидели в тюрьмах за грабежи и убийства. Расскажу и о визите ко мне. Я в 1948 г., когда разогнали наш мнимый «турецкий лагерь» в Миттенвальде, жил в Розенхейме и считал себя глубоко законспирировавшимся «турком» вне досягаемости НКВД. Как раз здесь меня и настигли чекисты. Ко мне пришел немец из восточного Берлина и заявил, что хочет со мною поговорить наедине. Жена вышла из комнаты. Немец вручил мне письмо с фотографией от бывшего наркома Чечено-Ингушетии и Мариам Чентиевой, которая любезно сообщала, что мои две дочери находятся в Казахстане и там учатся. Разумеется, в письме не было сказано, почему они вместо Кавказа очутились в Казахстане, да и само письмо, вероятно, было подложным. Немец добавил устно: «майор Александр» из советской администрации в Берлине просил передать мне, что если я

нуждаюсь в деньгах, то он готов помочь мне. Есть у воспитанников Сталина и у его чекистов один психологический феномен, который не поддается никакому рациональному объяснению: сами будучи лишены элементарной человеческой совести и порядочности, они думают, что и остальной мир состоит сплошь из таких же социальных отбросов общества, как и они. Судите сами: половина моего народа уничтожена еще на Кавказе, другая его часть поголовно депортирована в пески Казахстана, в том числе мой отец, братья, сестры, жена и мои собственные дети; меня терзали пять лет в подвалах НКВД; как только меня выпустили, я добровольно перешел на сторону врагов Сталина, – и несмотря на все это, чекисты считают меня способным продаться им за деньги! Такая глубокая вера в продажность человеческой натуры и всесилие политического шпионажа могли родиться только у той политической организации, основоположники которой брали немецкие деньги для своих целей и со славой немецких шпионов пришли к власти. Потом по тому же шпионскому принципу устроили и свое государство, идеал которого – тотальный шпионаж всех против всех. Новый эмигрант К. Хенкин писал, что 60% еврейских эмигрантов, а ведь их было около 250 тысяч к 1981 г., вынуждены были подписывать бумагу, что они будут на Западе работать на КГБ. Конечно, тот, кто подписал такую бумагу, просто хотел вырваться из СССР, но тут важна сама вера в продажность человека. Вернемся к моему немцу. Вызвать полицию или отвести его туда не было никакого смысла. Таких не только не арестовывали, но иногда даже и не допрашивали. Так было во многих известных мне случаях. Но он мне был важен, чтобы через него сообщить «майору Александру» мое мнение о нем и его работодателях:

– Скажите майору Александру, что есть еще на свете люди, которых невозможно купить за все советское государство, превращенное в валюту, хотя лично я мог бы быть сговорчи-

вым: если у майора есть возможность повесить на Красной площади Берия и Сталина, вот тогда я вернулся бы домой. Точно передайте эти мои слова майору. Если вы этих слов ему не передадите, он вас потом накажет, так как я собираюсь мой разговор с вами опубликовать в свободной русской печати.

Видимо, немец все это передал. Чекистские майоры мне денег больше не предлагали. Как бы я ни храбрился, но благоразумие требовало, чтобы я переменил адрес. Мы переехали в Мюнхен. Заодно я решил приобрести какую-нибудь профессию. Я поступил на двухгодичные курсы автомехаников в Ингольштадте. Где это было возможно, продолжал я и свою публицистическую деятельность. Такие возможности сразу после войны были очень ограничены. Военные правительства в западных зонах Германии (американской, английской и французской) монополизировали всю печать, и без их лицензий никто не имел права издавать какие-нибудь печатные органы, даже бюллетени на ротаторе. Запрещена была всякая антикоммунистическая деятельность. Только две политические организации после окончания войны продолжали свое подпольное существование и издавали подпольные бюллетени. Это украинская организация бандеровцев, которые организовали вокруг себя АБН (Антибольшевистский блок народов), и НТС. Антиподы по национальному вопросу, обе организации имели для меня свои притягательные стороны: АБН был бескомпромиссен в деле отстаивания права каждого народа СССР на независимость, а НТС был столь же бескомпромиссен в деле организации насильственного ниспровержения большевистской тирании, но обе страдали крайней неподвижностью в тактике, что вредило их же собственной большой стратегии – русофобство АБН и великороссийскость НТС. Обе эти линии расходились с моим пониманием тактики и стратегии в борьбе с большевизмом. Моим идеалом был бы синтез национальной стратегии по

самоопределению народов одной организации и революционной стратегии по уничтожению тирании по всему СССР – другой.

Еще в «турецком лагере» Миттенвальда я связался с украинскими националистами Бандеры из соседнего украинского лагеря, имел встречи со Стецко, договорились о сотрудничестве. Мое предложение издавать на русском языке общий орган с программой организации единого фронта всех народов СССР, включая и русский народ, против большевизма нашло полную поддержку. Такой журнал я и начал издавать вместе с одним из украинских публицистов, которого друзья называли за его большой теоретический талант «украинским Бухариным». Журналу я дал название «Набат», апеллируя к памяти Герцена. Вышло несколько его номеров на ротаторе с серией моих статей «Философия тирании». Я там подписывался как «Суровцев». Потом сотрудничество с АБН как-то прекратилось, и мне хотелось пробиться к более широкой эмигрантской публике, читающей по-русски. Отсюда началось мое сотрудничество в русской печати. Я близко познакомился с главным редактором тогдашнего еженедельника «Посев» Евгением Романовичем Романовым, передовые статьи которого производили на меня глубокое впечатление. Там начала печататься с октября 1950 г. моя первая книга – «Покорение партии». Несколько статей по вопросам советской системы мне удалось напечатать и на немецком языке в газете «Нойе цайтунг», которую издавала американская военная администрация. Там работал молодой талантливый и симпатичный журналист. Он впоследствии у Шпрингера сделал большую карьеру – был главным редактором газет «Бильд» и «Вельт» – Петер Бёниш. Он охотно принимал мои статьи (помню, особенно он хвалил статью о Вышинском). Тем временем я усердно продолжал учиться на курсах автомехаников.

В том же 1949 году я познакомился в Мюнхене с известным русско-американским публицистом Д. Ю. Далиным. Это знакомство предопределило направление моей дальнейшей карьеры – как служебной, так и литературной. Он поинтересовался, есть ли у меня что-нибудь написанное о моем опыте в СССР. Только случайно я был в состоянии ответить на этот вопрос положительно. В 1948 г. в Розенхейме один мой земляк приносит мне толстую конторскую книгу для записей в 500–600 чистых листов (в это время нельзя было достать даже ученической тетради) и говорит:

– Абдурахман, напиши сердитую книгу о большевиках!

Он был убежден, что для того, чтобы написать «сердитую книгу» о большевиках, достаточно его бумаги и моей памяти. Ведь никаких источников под руками не было, все библиотеки лежали в руинах, негде было достать даже простого справочника об СССР. Когда я ему объяснил все это, земляк не растерялся, а двинулся на поиски «справочной литературы». Через пару дней он вернулся сияющим от счастья: он притащил мне откуда-то «Краткий курс» товарища Сталина! Он был убежден, впрочем, как и Сталин, что это есть справочник всех справочников, и мне теперь остается только приступить к делу. Это похвальное усердие земляка приободрило меня, и я начал писать свою первую книгу на Западе. Через месяца три я исчерпал свой «бумажный фонд». Мне удалось перепечатать рукопись в двух экземплярах. Один из этих экземпляров я дал Далину, а другой переслал в еженедельник «Посев». Далин заинтересовал моей рукописью Бориса Суварина, который и помог ее издать по-французски под названием «Staline au pouvoir» (Париж, 1951). Потом она вышла по-английски, по-итальянски, по-испански.

Я дорожил этой книгой именно потому, что она вышла при жизни Сталина и, может быть, была когда-нибудь положена на его рабочий стол (ее переиздали в Америке в 1977 г.)

(Hyperion Press Inc., Westport, Connecticut). Д. Ю. Далин рассказывал мне, что во Франции она даже попала в число бестселлеров. Что же касается гонорара, то издатель заплатил мне за французское издание двести долларов и за все иностранные издания двадцать франков! Еще хуже поступил со мною мой издатель «The Communist Party Apparatus» Генри Регнери (Чикаго, 1966). Он издал ее одновременно в Англии и Канаде. Согласно договору, я имел право на редакционные исправления на десять процентов, но я исправлял и того меньше, только терминологию и явные искажения в переводе. При этом я имел неосторожность сообщить ему в письме, что очень важно для репутации самого же издательства не пропускать такие ошибки и что я согласен сделать эти исправления за собственный счет. И издатель, умолчав, сколько это будет мне стоить, после выхода книги прислал счет: весь мой гонорар удерживается за авторскую корректуру! Только за карманное ее издание другим издательством в Нью-Йорке Регнери прислал мне двести долларов. Между тем этой книгой пользовались в университетах, о ней были хорошие отзывы в научных журналах Америки, в том числе и в еженедельнике «Тайм». Я не стал судиться ни с тем, ни с другим, исходя из убеждения, что с миллионерами судятся только идиоты. (Поведение Регнери мне было понятно: он купил «копирайт» мемуаров Аденауэра за 600 тысяч долларов (тогда около двух миллионов марок) и прогорел: великий канцлер, по натуре своей дисциплинированный прусский чиновник, был лишен литературного дара Де Голля и чужд сенсационного зуда американцев.) К тому же та эмиграция, к которой я принадлежу, при всей своей бедности, не придавала никакого значения деньгам или приобретению известности. Для нас главное было: рассказать свободному миру, с кем он имеет дело в лице сталинской тирании.

Вернусь к своим курсам автомехаников. Новая профессия давалась мне туго. Когда от чистой теории надо было перехо-

дить к практике – разбирать и собирать мотор – да еще запоминать названия тысяч деталей на нескольких языках (еще неизвестно было, куда удастся эмигрировать из Германии), то я вообще пришел в ужас. Но, как говорится, «взялся гуж, не говори, что не дюж». Я героически старался преодолеть трудности новой профессии и в моем классе был не из самых последних, как вдруг получаю от жены – Людмилы Петровны – из Мюнхена письмо: срочно, мол, приезжай домой, есть серьезное дело. Приезжаю, и жена подает мне телеграмму от американского полковника Гоффмана. Полковник предлагает приехать в Гармиш прочесть несколько лекций о Советском Союзе в американской военной школе. Я и понятия не имел, что это за школа или что я там должен читать. Зато в те же дни газеты писали, что в Австрии выявлено несколько случаев, когда какой-то американский разведчик продавал «ди-пи» советским разведчикам. Было сказано, что виновник наказан, но от этого пострадавшим «ди-пи» легче не было. Поэтому я решил не рисковать. Купил билет не в Гармиш, а дальше, в Миттенвальд. Там осели некоторые наши «турки», и я хотел узнать от них, слышали ли они что-нибудь об американской школе по русским делам в Гармише? Мне сказали: да, такая школа есть, приезжали американские студенты собирать новые советские термины среди «ди-пи» в Миттенвальд. Я тогда вернулся в Гармиш и явился к полковнику. Полковник очень вежливо принял меня и сообщил, что я рекомендован ему господином Далиным, рассказал об общей программе школы, которая тогда называлась «Детачмент Р», и попросил меня составить список тем, по которым я мог бы у них читать лекции. Я набросал приблизительную тематику, преимущественно историческую, а из истории советского периода предложил несколько политических портретов ведущих советских лидеров. Полковник Гоффман одобрил предложенные мною темы. Я приступил к чтению лекций. Я

читал их по-русски, и по реакции студентов видел, что они меня хорошо понимают (в эту школу зачислялись только офицеры и дипломаты, которые уже прошли в Америке двухгодичную подготовку по русскому языку). Вероятно, я имел успех, ибо в следующем, 1949, году (к этому времени школа переехала в Регенсбург) полковник Гоффман пригласил меня на штатную должность преподавателя. Он подверг меня принятой в таких случаях проверке. Помню его первый вопрос:

– Какую форму государственного правления вы предпочитаете?

Я ответил:

– Любую форму государства, правительство которого я могу критиковать, не рискуя лишиться личной свободы.

В данной мне для заполнения анкете были и такие вопросы, на которые я считал невозможным отвечать правдиво, не подвергая себя опасности. Таких вопросов было три: моя подлинная фамилия, моя бывшая партийность, школа, которую я окончил. Я полковнику прямо сказал: если на эти вопросы обязательны письменные ответы, то мне придется отказаться от столь интересной и важной для меня работы. Полковник, человек большого политического кругозора и отличный знаток той системы, от которой я бежал, нашел выход из этого затруднительного положения: напишите против каждого из этих вопросов так: «на этот вопрос я отвечу устно». Я так и заполнил свою первую американскую анкету. Так началась моя тридцатилетняя преподавательская работа в «Русском институте Американской армии», как сейчас называется эта школа. Советские газеты и журналы создали вокруг этой школы миф, будто это институт подготовки шпионов и диверсантов и ставя мое имя в центре этого мифа. Между тем «Русский институт Американской армии» – самая обыкновенная по учебной программе, но уникальная в си-

стеме американского образования школа повышения квалификации военных и гражданских дипломатов по русским делам. Здесь изучают русский язык и литературу, историю России, историю и организацию советского государства, его политику и экономику, его физическую и экономическую географию, идеологию и структуру КПСС, то есть все те учебные дисциплины, которые изучаются во всякой нормальной советской школе. В этой школе никогда не преподавались и не преподаются дисциплины, которые нужны для профиля разведывательной школы, здесь нет даже дисциплины по истории или о методах работы советской полицейской машины. В «Русском институте» я был профессором по политическим наукам и с самого начала и до ухода в отставку преподавал следующие предметы: 1) политическую историю России–СССР в XIX–XX столетиях; 2) историю и организацию КПСС; 3) идеологию и доктрину советского коммунизма. Одновременно я заведовал кафедрой политических наук и был председателем Академического Совета Института. Не прерывая преподавательской работы, написал и защитил докторскую диссертацию и получил звание Dr. rer. pol. («доктор политических наук»). Однако я не забывал, что ушел на Запад не ради куска хлеба, а чтобы бороться с системой, превратившейся у меня на глазах из квазисоциалистического государства в тоталитарную тиранию, по сравнению с которой немецкий нацизм и итальянский фашизм были политическими конструкциями сущих дилетантов. Эту борьбу я мыслил себе не в качестве политического деятеля, а в роли историка Советского Союза и аналитика его политической системы. Это было и мое настоящее призвание. Я мечтал о профессии исследователя в каком-нибудь из американских исследовательских институтов по советским делам, но, как бывшему коммунисту, дорога для меня в Америку оказалась закрытой. Отпали и смелые исследовательские замыслы,

которые я собирался осуществить, если бы удалось работать на этом поприще. Поэтому, когда ко мне в Регенсбург приехал из Мюнхена Борис Александрович Яковлев (Троицкий), тогда руководитель Власовской организации, с предложением создать совместно эмигрантский Институт по изучению СССР, я немедленно дал согласие быть одним из его учредителей.

Учредительное собрание состоялось в 1950 г. в Богенхаузене в русской библиотеке. Нас было несколько бывших советских научных работников – Яковлев, проф. К. Штепа, проф. А. Филиппов, проф. К. Криптон, проф. Ниман, полковник Генерального штаба Советской армии Нерянин и автор этих строк. Мы торжественно объявили себя «Институтом по изучению истории и культуры СССР». Избрали директором Б. А. Яковлева, заместителем директора А. Авторханова и ученым секретарем В. Марченко. Позже к нам присоединились проф. Миллер, проф. Кованковский, проф. Буданов, проф. Иванов, проф. Давлетшин, доктор Шульц. Разумеется, не было у нас ни помещения для Института, ни копейки денег, ни высокого покровителя или богатого мецената. Было только неистощимое и искреннее желание рассказать Западу о теории и практике советской системы, которую Запад до сих пор знал только по советским книгам, журналам и газетам. Была у нас и нескрываемая надежда, что если мы собственными усилиями начнем делать что-нибудь полезное и нужное для понимания советского прошлого и настоящего, то появится и меценат. Действительно, получилось так, что организация Института совпала с приездом в Мюнхен так называемой «Гарвардской экспедиции» по изучению советского общества. «Экспедиция» предложила Институту сотрудничество, и мы его с энтузиазмом приняли. Но мы в своей бездонной наивности и не догадывались, что в глазах американских либеральных профессоров, руководив-

ших этой «экспедицией», точь-в-точь как и в глазах Сталина, каждый из нас, политических эмигрантов военного времени, носил на лбу клеймо «изменника родины» и «отброса советского общества».

Передо мною лежит один любопытный документ хорошо осведомленного советского эксперта с радиостанции «Свобода», который, видно, внимательно изучил данную проблему. Автор подал данный документ администрации Рейгана. В нем он точно воспроизводит тогдашнюю картину: «Когда в конце 40-х годов, осознав угрозу, исходящую от СССР, союзники прекратили насильственную выдачу советских беженцев и перебежчиков, оказавшихся на Западе, и решили искать себе в советских народах союзников, группа социологов и психологов Гарвардского университета провела среди беженцев исследование под названием «Гарвардская экспедиция», на предмет их использования в интересах борьбы с СССР. Из-за определенной политической убежденности организаторов этого мероприятия система опросов была составлена так, что в ней были обойдены вопросы, которые раскрывали бы политическую технологию советской власти и формы ее проявления: массовые репрессии, ГУЛаг, номенклатурные привилегии, система тотального агентурного проникновения во все сферы жизни общества и человека... В результате подобным образом проведенного исследования «Гарвардская экспедиция» сделала соответствующие выводы: советские беженцы, а многие из них участвовали и во Власовском освободительном движении – это отбросы советского общества или немецкие коллаборанты, сотрудничавшие с нацистами ради каких-то личных интересов, или бежавшие на Запад темные личности – и в том и в другом случае предавшие свою родину «изменники». Ясное дело, что отношение к бывшим советским гражданам, теми или иными путями попавшим на Запад, во многом определялось

результатами «Гарвардской экспедиции»; их можно использовать для всякой «грязной» работы (пропаганды), но считаться с их мнением – недопустимо».

Вот ведя эту работу совместно с Гарвардской экспедицией, мы, Институт, оказывается, помогали ей собирать «грязь» и лить ее на самих же себя!

Через год началась политическая акция американских друзей народов СССР. Весной 1951 г. в Регенсбург приехал по поводу этой акции известный американский публицист Исаак Дон Левин. У нас состоялась длительная беседа, во время которой он мне рассказал, что в Нью-Йорке создан «Американский комитет освобождения от большевизма». В его состав входят виднейшие американские публицисты и эксперты по советским делам – Евгений Лайонс (председатель), Дон Левин, Спенсер Вильямс, Чемберлен, Роберт Келли (впоследствии председателями были адмиралы Керк и Стивенс, Сарджент). Программа Американского комитета была изложена в книге Лайонса: «Наши тайные союзники» (народы СССР). Это было явное доказательство, что в Америке подул другой ветер – ветер отрезвления, былая беззаботность в оценке советской политики и игнорирование политической эмиграции как потенциального посредника между народами СССР и Америкой начинают проходить. До полного понимания природы советского империализма и программы его глобальной экспансии, конечно, было еще далеко, но лед тронулся: думающие американцы так-таки додумались – советский коммунизм открыто метит в гробовщики демократии. Дон Левин рассказывал, что он и Лайонс принадлежали к той маленькой группе специалистов по советским делам (они оба были до войны американскими корреспондентами в Москве), которые еще во время войны и сразу же после нее предупреждали Америку об истинных

целях Сталина. Но тогда этого никто не хотел и слышать, и их статьи редко печатали.

Дон Левин был автором дюжины книг о Советском Союзе. Он был и первым биографом Сталина на Западе (его книга «Сталин» вышла по-немецки в 1931 г.). Ни один западный исследователь не произвел на меня такого впечатления по глубине знания и тонкости анализа советской системы, как Дон Левин. Он был далек от университетских академиков, сочиняющих всякие модные теории, от «деидеологизации» и до «конвергенции», лишь бы доказать, что и в Кремле тоже сидят порядочные люди. Если собрать воедино псевдоученые пророчества западных советологов и публицистов о перспективах развития большевизма, получится такой клубок благоглупостей, что совсем неудивительно, что западная политика во время второй мировой войны, основанная на советах таких «экспертов», только способствовала экспансии большевизма. Западные ученые никогда не понимали, что иррациональная природа большевизма не поддается изучению при помощи рационального метода. Большевики называют свою партию партией «нового типа», свое государство государством «нового типа», а свою политическую глобальную стратегию стратегией создания во всем мире вот таких партий и государств «нового типа», а университетские либеральные профессора, которые в свое время толкнули Рузвельта на союз со Сталиным, теперь ударились в другую крайность и стали сочинять новые теории, что советская глобальная стратегия – всего лишь повторение русского империализма, игнорируя тот элементарный исторический факт, что русский империализм по своей природе и по своим стремлениям был империализмом *региональным* – евроазиатским, а советский империализм – интерконтинентальный, внерасовый, идеологический, а потому *глобальный*. Некоторые договорились даже до того, что идеалом русского человека от самой

древности было и остается духовное и физическое рабство и что даже само первоначальное название русских – «славяне» – рабского происхождения, ибо, доказывал один из таких «специалистов по России», сам по себе этноним «славяне», «slave», означает по-английски «раб». Другой автор с серьезным видом знатока доказывал: агрессивная природа советской политики объясняется тем, что русские матери слишком туго пеленают своих младенцев. Может быть, история и не повторяется дважды, но глупости повторяются многократно. Этим объясняется то, что и ныне тоже пришли к единодушному мнению, что советская политика глобальной экспансии ничего общего не имеет ни с Марксом, ни с Лениным, ни с идеологией вообще. Она пошла от Ивана Грозного и от русских матерей, туго пеленавших своих детей. Даже антикоммунисты из штаба Маккарти были осведомлены о коммунизме не лучше. Один из его советников начинал свою книгу о коммунизме с утверждения: «Николай Ленин совершил в 1916 г. революцию...» Счастливый невежда из Тбилиси и тот лучше разбирался в датах, когда он простодушно спросил у приезжего русского: «Кацо, у вас там в России в 1917 г. была заваруха, скажи, чем она кончилась?».

Дон Левин был слишком умен, чтобы идти по этому модному в пятидесятых годах поветрию. Он знал вместе с Жан Жаком Руссо, что человек родится свободным, но только потом тираны его заковывают в цепи рабства. Так было со всеми народами в истории. Так было и с народами в советской империи. На этом была основана и концепция Американкой) комитета по созданию единого фронта всех народов СССР для их освобождения от большевистской тирании внутренними силами этих народов. Дон Левин сделал мне предложение вступить в эту акцию, став во главе северокавказцев. При всем моем согласии с целями Американского комитета, я все же считал, что я буду более полезен по линии

«Института по изучению истории и культуры СССР» в Мюнхене (который теперь поддерживал Американский комитет), и поэтому отклонил предложение Дон Левина об участии в его политической акции. К тому же, будучи штатным преподавателем в Школе, я не мог уделить достаточно времени всем тем хлопотам, с которыми связано создание эмигрантского политического центра. Дон Левин был очень разочарован, но поскольку я ему обещал приложить лично все усилия, чтобы северокавказцы поддержали Американский комитет, то мы расстались друзьями. Однако все мои старания свести наших эмигрантских политиков старшего поколения с Американским комитетом оказались тщетными. Меня безоговорочно поддержали только бывший председатель парламента независимой республики Северного Кавказа Васан-Гирей Джабаги, генерал Л. Ф. Бичерахов, Бексултан Батырхан (впоследствии и Барисби Байтуган). Новая эмиграция поддерживала меня почти вся. Так как я был связан обещанием, данным Дон Левину, об организации ему северокавказской поддержки, то я созвал съезд северокавказцев, и на этом съезде мы создали Северокавказское антибольшевистское национальное объединение (СКАНО) с программой поддержки идеи организации единого фронта политической эмиграции из СССР. Мы начали издавать и свой собственный орган – журнал «Свободный Кавказ».

В годы пребывания в Берлине, под впечатлением античеловеческой национальной политики Гитлера в оккупированных русских районах и национальных республиках (Украина, Белоруссия, балтийские страны, автономные области и республики Северного Кавказа), с одной стороны, и в результате глубокого разочарования в западной политике безусловной поддержки Сталина, с другой, у меня выработалась собственная политическая концепция о путях освобождения народов СССР от большевиков. Я ее начал проповедовать в

Берлине, я ее продолжал проповедовать и после капитуляции Германии. Я исходил из того, что никакая внешняя сила завоевателей никогда не приносила и не приносит свободы чужим народам Гитлер хотел убить большевизм, но на его место поставить свой национал социализм. Рузвельт же и Черчилль вообще не хотели убить большевизм, а только умиротворить его, подарив Сталину дюжину чужих государств. Свобода никогда не приходила и не приходит извне, свободу завоевывают изнутри. Для этого надо создать «единый и неделимый фронт» народов СССР против большевизма. Эту свою концепцию я изложил конспективно в первом номере журнала «Свободный Кавказ». Сколько ядовитых стрел летели в мою сторону из-за этой концепции от некоторых ура-патриотов Кавказа, объявивших меня чуть ли не изменником Кавказа. Сколько нареканий я слышал и от русских «квасных патриотов», обвинявших меня в злостных намерениях «расчленить Россию», которая сейчас даже не существовала. Однако тезисы, опубликованные мною тогда, кажутся мне верными и до сих пор. Позволю себе их процитировать:

«Существуют непреложные истины, которые мы должны усвоить твердо.

Истина первая: пока Сталин сидит в Москве, не бывать нам на Кавказе.

Истина вторая: путь в Тбилиси, Владикавказ, Ташкент, Киев – лежит через Москву.

Истина третья: чтобы объявить национальную независимость, нужно завоевать условия для ее объявления, то есть политическую свободу.

Истина четвертая: чтобы завоевать эту политическую свободу, нужно разгромить и уничтожить существующую в СССР политическую и социальную систему. Короче, нужно похоронить большевизм идейно, политически и физически.

В сфере своего влияния большевизм не знает локальных свобод. Сегодня история подсказывает, что свобода русского народа есть предварительное условие свободы других народов СССР. Будет русский народ свободен свободны будем и мы; будет он под ярмом Сталина и впредь, – тогда уж тянуть нам это ярмо вместе. Сталинская тюрьма народов – единая и неделимая. Чтобы освободить узников из одной ее камеры, надо взорвать крепостную стену со всей ее стражей. Вот почему большевизм враг номер один для всех. На этом, собственно, кончается наша революционная, разрушительная историческая миссия. На второй же день после гибели большевизма мы приступаем к нашей творческой национальной миссии – к созданию Свободного Кавказа. Одни, видимо, выйдут из состава будущей России, другие с нею будут федерироваться, третьи получат национально-культурную автономию. Но эти вопросы о национальной независимости, формах государственного строя или о взаимоотношениях с бывшей метрополией будут решать сами нерусские народы. Воля этих народов должна быть священна и для русских... Должны ли угнетенные большевизмом народы получить право на независимость – этот вопрос вне дискуссии. Судьи Сталина и зодчие нового общежития находятся там, – в горах Кавказа, шахтах Украины, кишлаках Туркестана, селах Тамбова и тюрьмах «необъятной родины». Кто имеет смелость признать эти истины – является самым мужественным человеком в нашу «сталинскую» эпоху. Таковы наши общие задачи в отношении консолидации общего единого фронта народов СССР» («Свободный Кавказ», № 1, октябрь 1951, Мюнхен).

Оказалось, что эти мои «истины» не устраивали ни националов, ни русских. Националы развели демагогию, говоря, будто я утверждаю, что национальное самоопределение может быть объявлено только по разрешению Москвы («дорога через Москву»), тогда как из всего контекста видно, что я

утверждаю другое: без уничтожения большевистской системы в ее центре невозможна никакая свобода, в том числе и национальная, ибо «в сфере своего влияния большевизм не признает локальных свобод» – насколько это соответствует действительности, показали последующие события в советских сателлитах Восточной Европы: в Венгрии, Чехословакии и Польше. Только очень наивные люди в политике могут представлять себе, что рядом с большевистской Россией могут существовать свободная Украина, свободный Кавказ, свободный Туркестан. Утописты и те, кто думает, что будущая свободная Россия будет повторением «России единой и неделимой».

Такова была моя национально-политическая концепция, когда я включился в американскую акцию и участвовал в Висбаденской конференции пяти русских и шести национальных политических организаций. Опыт, который я получил на четырех конференциях в Висбадене, Мюнхене, Тегернзее, Штарнбергзее в попытках создать единый фронт эмигрантских политических организаций против советской тирании, очень разочаровал меня в эмигрантской политике. Опыт этот, лишенный значения исторического события, все же интересен в плане политико-психологическом – как интеллигентные и убежденные враги большевизма могут оказаться в позиции его невольных пособников, если их захлестывает стихия великодержавного и националистического угара.

Важнейшей из наших конференций была учредительная конференция в Висбадене 3–7 ноября 1951 г. В ней участвовали следующие русские и национальные организации:

I. Русские организации:

1. НТС (российские солидаристы) (делегаты: В. М. Байдалаков, Я. В. Буданов, Е. Р. Романов и А. Н. Артемов).

2. Союз борьбы за свободу России (С. П. Мельгунов, Соловьев).

3. Российское демократическое движение (А. Керенский, И. А. Курганов).

4. Союз борьбы за освобождение народов России – СБОНР (Б. А. Яковлев (Троицкий), Г. И. Антонов, Ю. Диков).

5. Лига борьбы за свободу народов (Б. И. Николаевский, В. М. Зензинов, Никитин).

II. Национальные организации:

1. Совет Белорусской народной республики (Рагуля).

2. Азербайджанский Национальный совет (Милли Бирлик Меджелиси) (Дж. Хаджибейли, Акбер, Шейх-уль-Ислам).

3. Грузинский Национальный совет (Н. К. Цинцадзе, Скиртладзе).

4. Туркестанский национальный комитет – Тюркели (К. Канатбай, А. Бердимурат, Б. Давлет).

5. Союз за свободу Армении (Сааруни, Шауни).

6. Северокавказское антибольшевистское национальное объединение (СКАНО) (А. Авторханов, Гаппо).

Конференция открылась вступительной речью Исаака Дон Левина, представителя «Американского комитета освобождения от большевизма» с призывом создать единый фронт народов СССР против большевистской тирании. Потом развернулись длинные прения, кого избрать председателем конференции. Вносились предложения избрать двух председателей – одного русского, другого национала. Представитель делегации НТС Е. Р. Романов предложил избрать одного председателя и выдвинул таковым Цинцадзе. Предложение приняли единогласно. Это великодушие со стороны русских националы сочли за счастливое предзнаменование.

Прежде чем анализировать работу этой своего рода беспрецедентной конференции за все время существования многонациональной политической эмиграции из России – СССР, скажу несколько слов о ее ведущих участниках. В мою задачу не входит попытка нарисовать здесь их политические портреты. То, что я о них скажу, это рассуждения историка плюс

впечатления от личных встреч. Центральными фигурами среди русских участников Висбаденской конференции были известные деятели времен русской революции 1917 г. А. Ф. Керенский, С. П. Мельгунов и Б. И. Николаевский, а среди националов – деятели периода кавказской независимости 1918–1921 годов Н. К. Цинцадзе и Дж. Хаджибейли. О Керенском каждый политически мыслящий человек имеет свое собственное суждение, а в истории за ним укрепилась репутация мостостроителя, способствовавшего приходу большевизма к власти. Однако беда Керенского была в том, что он был слишком честен, слишком искренен, слишком благороден, рыцарские качества, противопоказанные успешному политику. «Верность», «долг», «демократия» – это были для него абсолютные ценности, но они тоже были в тех условиях всеобщего разложения в армии и хаоса в тылу противопоказаны успешному политику. Поэтому он отвергал немедленный выход из войны, как «измену» союзникам, поэтому он не провел земельной реформы, считая, что это правомочно сделать лишь Учредительное собрание, поэтому он не запретил партию большевиков и не ликвидировал ее лидеров, считая это нарушением норм демократии.

Имеются воспоминания А. Ф. Керенского, посвященные 1917 году. Разбирая эти воспоминания, С. П. Мельгунов сделал ряд важных замечаний:

«Память Керенского так же сумбурна, как сумбурны сами события, в которых ему пришлось играть активнейшую роль, когда он падал в обморок от напряжения и усталости и когда, по его собственным словам, он действовал как бы в тумане и руководствовался больше инстинктом, нежели разумом... Нет ничего удивительного, что тогда у него не было ни времени, ни возможности вдумываться в происходящие события. В воспоминаниях он пытается объяснить свое равнодушие к программным вопросам тем, что никакие программы не могли изменить ход событий...» (С. П. Мельгунов.

Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961, с. 9). Увы, программные документы самих большевиков, демагогические по форме и лживые по существу, а именно «Апрельские тезисы» Ленина, «Декрет о мире», «Декрет о земле» (украденный у эсеров) второго съезда Советов доказали, как глубоко заблуждался Керенский.

Талантливый адвокат, выдающийся оратор, враг деспотизма, но эмоциональный «правозащитник» народа, Керенский в возрасте 36 лет оказался во главе величайшего в мире государства на рубеже двух эпох в его истории, когда оно нуждалось не в «правозащитнике», а в «правотворце» – в русском Бонапарте. И такой Бонапарт был налицо – генерал Корнилов, который двинулся на Петроград, чтобы очистить его от авгиевых конюшен большевизма за два месяца до большевистского переворота. Для спасения ягненка – злополучной русской демократии – Керенский обратился за помощью к Советам, то есть по существу к большевистскому волку. Большевистский волк проглотил и «ягненка», и Россию, точь-в-точь как наблюдал Роман Гуль у немецких двойников большевизма:

«Идут бараны в ряд,
Бьют барабаны!
Шкуры для них дают
Сами бараны!»

(Роман Гуль, «Я унес Россию»)

Именно то, что он предотвратил приход Корнилова в Петроград, переоценив опасность реставрации справа (а ведь Корнилов был республиканцем) и недооценив опасность большевизации слева, было самой страшной и самой трагической из всех ошибок Керенского. Конечно, мы все крепки задним умом, однако тот, кто решил возглавить великое государство в период его эпохального кризиса, – не имеет права

пользоваться привилегией «заднего ума». Таково было мое общее представление о Керенском, когда мне посчастливилось позже обсуждать с ним много раз причины исторической катастрофы России. Если он, при всех моих расспросах с пристрастием «самоуверенного» историка о «вечных загадках» русской катастрофы, все же оставался невозмутимым, то тут сказывалась просто школа высокой политической культуры, столь чуждая советскому воспитанию. Это сразу завоевало мое человеческое расположение к нему. Человечной показалась мне и одна мелочь трогательного внимания к незнакомым людям: это было при нашей первой встрече осенью 1951 г. в американской школе в Регенсбурге. Керенский приехал из Парижа читать нам лекцию и в купленной на дорогу газете «Фигаро» попалась ему случайно рецензия на только что вышедшую мою книгу «Staline au pouvoir». Он ее аккуратно вырезал, поставил дату и название газеты и при этой нашей встрече торжественно вручил мне. От Керенского узнал я и о древнем русском обычае: при встрече нельзя здороваться, стоя на пороге! Я сидел в кабинете, когда постучали, открываю дверь – стоит Керенский в сопровождении нашего начальника. Начальник меня представляет, и я, конечно, тут же, на пороге, подаю руку знаменитому гостю. Александр Федорович руки не принимает, заводит меня в кабинет и тогда, пожав мне руку, улыбаясь, объясняет: здороваться через порог – это значит скоро расстаться навсегда. С тех пор я подражаю Александру Федоровичу. Конечно, предрассудок, но какой он человечный!

На конференции Керенский выступал с обоснованием согласованной позиции русских групп. Его поддерживал справа Мельгунов, а слева Николаевский.

Керенский продемонстрировал на этой конференции свой пламенный патриотизм и любовь к великой России, но и трагическое непонимание психологии ее нерусских народов. Он справедливо возмущался, когда на Западе русский

народ отождествляли с большевиками, но он столь же искренне недоумевал, почему народы Кавказа и Туркестана свою зависимость от советской Москвы считают зависимостью от России, а не от большевиков. Убеждая нас, националов, он аргументировал как юрист, а не политик, как государственник, а не как психолог. С возрастом он стал менее гибким, но более консервативным как раз по вопросу, которому будущее, вероятно, отведет роль исторического оселка великого испытания единства или распада России – национальному вопросу в многонациональной империи. Помощь Керенскому справа – со стороны Мельгунова – только губила его в глазах националов. Историк большого формата, выдающийся знаток революционной эпохи (но больше эмпирик, чем аналитик), Сергей Петрович Мельгунов в политике «рубил с плеча» и всегда в императивном тоне. Надо было с ним сидеть за столом на десятках заседаний, чтобы убедиться, что человек он милейший, но политик – негибкий, в ущерб собственной же позиции. Этот старый русский либерал, по недоразумению оказавшийся когда-то в русских «народных социалистах», ничего так больше не боялся на свете, как слова «самоопределение». Поэтому он болезненно реагировал, когда националы начинали доказывать, что право на национальное самоопределение вытекает из существа демократии. После одной такой горячей дискуссии Сергей Петрович угрожающе сказал мне: «Я о вас напишу в своем дневнике!» Другой раз сообщил, что в рецензии на мою книгу в редактируемом им журнале «Возрождение» было написано: ««Авторханов стоит на российских позициях», а я к этой фразе добавил «по крайней мере в данной книге». Что вы на это скажете?»

– Дорогой Сергей Петрович, я никогда не стоял на антироссийских позициях, а вот вы совсем не скрываете, что вы стоите на антинациональных позициях. Вы даже не замечаете, что после последней войны в мире осталась только одна империя – СССР.

То, что Керенскому портил справа Мельгунов, старался исправить слева Борис Иванович Николаевский. Николаевский, доподлинный социал-демократ в прямом смысле этого словосочетания, входил в состав Заграничной делегации РСДРП (меньшевиков) и в редакцию ее политического органа «Социалистический вестник». В свое время Николаевский имел хорошие связи в информированных кругах Москвы. Не говоря о его родственных связях (его сестра была замужем за Рыковым), он был близок к директору Института Маркса-Энгельса Д. Рязанову и был сотрудником этого Института в Берлине. После прихода к власти нацистов правление немецких социал-демократов передало ему для хранения и спасения архив Маркса и Энгельса, который он вывез из Германии. Еще в начале 1936 г. Кремль командировал Н. И. Бухарина в Париж для переговоров о покупке этого архива. Переговоры, кажется, не имели успеха, но очень пригодились Сталину во время процесса над Бухариным и Рыковым в 1938 г. – Бухарина обвинили, что он связывался в Париже с Николаевским в контрреволюционных целях!

По вопросу о политической оценке Власовского движения среди меньшевиков образовались два крыла – крайне догматическое крыло (Аронсон, Сапир) в своих писаниях объявляло власовцев «коллаборантами», «предателями», «фашистами», отчего рекомендовалась тактика бойкота послевоенного власовского движения, а также и тех русских политических организаций, которые сотрудничали с генералом Власовым (НТС). Другое, умеренное крыло, которое возглавлял Борис Иванович Николаевский и Давид Юльевич Далин, решительно выступило против таких чисто советских обвинений. К счастью, время уже работало на власовцев. Постепенно происходит моральная и политическая реабилитация борьбы власовского движения в глазах западной общественности. В этом помогают теперь уже всем очевидные покуше-

ния Сталина на чужие страны. Сами владыки Запада, вчерашние его союзники, тоже начинают возмущаться вслух: Черчилль где-то сказал, что, кажется, не ту свинью мы зарезали, а Трумэн по-простецки заявил: «На Сталина надо было бы бросить атомную бомбу!».

Борис Иванович Николаевский и представлял на нашей конференции то течение среди меньшевиков, которое помогло разъяснить Западу исторический смысл всей второй эмиграции как массового антикоммунистического движения. Николаевский был и гибким политиком и проницательным знатоком советской системы, но метод его анализа был скорее интуитивным, чем строго научным. Он был одним из основоположников западной школы «кремленологии». Эта школа выработала определенную систему критериев, по которым она судит о движении дел и личностей в Кремле, но поскольку само движение не прямолинейное, а зигзагообразное, то «кремленологи» очень часто попадают со своими прогнозами впросак. Меня лично всегда раздражала манера Николаевского говорить и писать о делах Политбюро с таким апломбом, словно он сидел под тем столом, за которым заседало это Политбюро. Тем не менее, я должен подтвердить, что менее ошибочными и более плодотворными всегда оказывались диагнозы и прогнозы Николаевского именно из-за его глубокого знания функционирования советской машины. Из всех русских представителей на конференции Николаевский вместе с председателем СБОНР Борисом Александровичем Яковлевым (Н. Троицким) стояли без оговорок за признание права народов СССР на самоопределение. Поэтому им часто удавалось играть роль «миротворцев», когда «высокие договаривающиеся стороны», не договорившись о главном для настоящего (создать ли общий фронт против большевизма), начинали ссоры из-за деталей будущего – то, что трезвые люди называют «делить шкуру неубитого

медведя». Организация НТС (российских солидаристов) в национальном вопросе занимала особую «российскую позицию», непримиримее не только Керенского, но и самого Мельгунова, но позиция НТС в русском зарубежье была так сильна и популярна, что все остальные русские группы были вынуждены прислушиваться к требованиям солидаристов.

С моими национальными коллегами по конференции – Цинцадзе и Хаджибейли – я не был ранее знаком. В ходе работы конференции, и не без частых столкновений, я научился ценить их политический талант и глубокий кавказский патриотизм. Как человеческие типы, они были разные люди. Цинцадзе, как всякий грузин, всеми фибрами своего существа был политиком, еще студентом в Московском университете примкнул к социал-демократам и был арестован в 1915 г. Входил в состав правительства независимой Грузинской республики. В эмиграции примыкал к группе Е. П. Гегечкори. Для Хаджибейли, образованного и по-русски и по-европейски интеллигента, политика была просто «хобби», – думаю, даже тогда, когда он был министром независимой республики Азербайджан в 1918 г. Он был сноб и аристократ по происхождению. И, как представитель устоявшихся симпатий и непреложных принципов, был чужд самому понятию «гибкость».

До нашей общей встречи названные выше русские организации уже имели две конференции – одну в Фюссене, другую в Штутгарте. На Штутгартской конференции был создан политический центр под названием: «Совет освобождения народов России». В основном политическом «документе номер два», пункт четвертый гласил: «Признание равноправия всех народов, признание за ними права, на основе всенародного голосования, определить свою судьбу, а также реальное обеспечение этого права».

Теперь нам, национальным организациям, желающим сотрудничать с русскими, предлагалось принять как само название организации, так и ее национальную программу. Выступая по этому вопросу, Керенский заявил: «Я должен

сделать разъяснение, чтобы не было недоразумения. То, что было оглашено, – это есть окончательное решение пяти русских организаций... Мы приглашаем к участию в этих решениях те национальные группы, которые согласны работать на базе этих постановлений... Мы считаем, что можно вносить какие-либо поправки, но параллельно обсуждать другие проекты на равных основаниях с этим проектом нельзя, ибо этот проект не есть проект, а это есть тот статут, который предлагается сегодня всем присутствующим, как база нашей работы» («Стенографические записи заседаний пленума пяти политических организаций с представителями национальностей», с. 18. Висбаден, 3–7 ноября 1951 г.).

Это выступление А. Ф. Керенского ошарашило националов и по тону и по существу. Оно звучало как диктат, и мы приглашались только подписывать «статут», который уже был утвержден. Председательствующий Н. К. Цинцадзе заметил, что он рассматривает представленный документ не как диктат, а как проект, который «может быть изменен, но может быть и не изменен». Б. И. Николаевский несколько разрядил атмосферу, заявив, что Керенский просто огласил «российскую точку зрения, которую мы не хотим скрывать». Я, в свою очередь, тоже сделал следующее замечание: «Я считаю, что выступление Александра Федоровича было неудачным. По существу он, может быть, даже прав, но в наших взаимоотношениях внешний этикет также играет свою роль и создает предпосылки для совместной работы. В документе № 2, § 4 сказано: «Первый пленум Совета Освобождения Народов России может либо утвердить настоящую политическую платформу, либо изменить, либо выработать новую». Хочется надеяться, что этот параграф, под которым подписался Керенский, относится и к данному совещанию» (там же, с. 20). Керенский, вероятно, сам почувствовал, что его речь была неудачной, и сейчас же после меня заявил: «С тем,

что говорил г. Авторханов, мы по существу согласны. Я только сказал, что эти документы есть база для нашей работы, и все поправки, которые будут внесены представителями делегаций нынешнего собрания, должны быть внесены, как поправки к этим документам» (с. 21). Это уже открыло дорогу свободному обсуждению основных документов русских организаций по национальному вопросу. После почти трехдневных обсуждений как по группам делегаций, так и на пленарных заседаниях, были доложены компромиссные предложения по главному вопросу расхождений между русскими и националами: как сформулировать в основном документе право народов на самоопределение. Докладчиками были от русских Керенский и от националов Авторханов.

После внимательного изучения и обсуждения всех компромиссных предложений национальные делегации на своем частном совещании приняли единогласно общую формулу по национальному вопросу, которую на общем пленарном заседании огласила наша Северокавказская делегация: «Исходя из принципа национального самоопределения, мы, вступившие в организацию (*имя будет названо*), признаем за народами, населяющими нынешнюю территорию Советского Союза, безусловное право свободно, на основе демократического волеизъявления, либо путем плебисцита, либо решением национальных учредительных собраний, либо через всероссийское учредительное собрание определить свою судьбу, а также реальное обеспечение этого права» (с. 117). «***Авторханов:*** Единственный конкретный результат, которого мы добивались и к которому мы подходим сейчас – это (данная главная) формула... и я буду очень просить руководителей (русских) делегаций высказаться в принципе по поводу принятого нами решения» (с. 118).

Итоги голосования русских организаций:

«***Мельгунов:*** Я только могу приветствовать.

Керенский: Мы принимаем.

Романов: Мы тоже.

Яковлев: Нам этот текст вполне приемлем.

Николаевский: Согласны.

Керенский: Принято всеми единогласно (аплодисменты)» (с. 118).

В отношении названия будущего политического центра национальные организации предлагали: «Совет Освобождения народов Советского Союза» или, в крайнем случае, «Совет Освобождения народов СССР (России) «. Русские группы хотели видеть в названии слово «Россия» вместо «Советского Союза». Обосновывая точку зрения националов, я говорил:

«Мы считаем, что существует Россия, да, существует историческая. Однако мы вынуждены считаться и с другим фактом: существует Россия юридическая, в государственной форме, под названием «СССР». Поэтому, как бы нам ни хотелось с вами согласиться, что мы будем говорить пока об исторической России, мы не можем игнорировать факта международного института права, что сейчас есть не Россия, а СССР... Если бы вы даже взяли на себя обязательства только в отношении СССР, – они для нас были бы недостаточны, точно так же, как если бы вы взяли обязательства только по отношению к России. Поэтому мы говорили на нашем совещании, что там, где вы хотели сказать только «СССР», мы добавляли бы «Россию», потому что юридическое не всегда совпадает с историческим... Поэтому мы говорим: «признание равноправия всех народов СССР (России)» (с. 103).

Мы достигли согласия по главному программному вопросу, а в тупик завело нас само название того политического центра, который мы хотим создать. Русские группы категорически настаивали на своем названии: «Совет Освобождения народов России». Националы предлагали: «Совет Освобождения народов СССР». Потом, после нескольких

обсуждений по делегациям, нашли новые варианты названия: русские предложили – «Совет Освобождения народов России (СССР)», националы то же самое, но за скобками поставить «СССР», а в скобках «Россию». Лично мне была приемлема любая из этих формул, но стороны так уперлись каждая на своем, что совещанию угрожал явный крах. Я вновь взял слово: «У нас идет академический спор. Хотя я не голосовал за резолюцию националов, я не противопоставляю себя ей, но все-таки спор у нас чисто академический. В скобках ли Россия? Я русских друзей сегодня просил разрешить поставить «Россию» в скобки хотя бы на полтора месяца (до новой встречи), но, видимо, они не согласны. Вполне понятно это, непонятно другое: из-за этих скобок должны ли мы идти на разрыв? Рабы ли мы самой формы, а не существа дела... Сидят ли за этим столом ответственные политические деятели – и национальные и русские?.. Конечно, каждая сторона права, если говорить с точки зрения чувства. Какому русскому человеку не дорога Россия! Я люблю Россию совершенно искренно, но еще больше люблю свой Кавказ, и это совершенно понятно. И вы, предположим, жители Тамбовской губернии, любите эту Тамбовскую губернию, но, наверное, еще больше любите деревню Ивановку, в которой вы родились. Но вот, именно потому, что мы любим и Россию, и Кавказ, и эти народы – неужели нельзя перестать быть рабами этих скобок и пунктов? Я категорически заявляю, что мы находимся на ложном пути!

Прав был Дон Левин, когда он полушутя-полусерьезно сказал, что пошлет поздравительную телеграмму Сталину: его враги никак не могут договориться между собою о совместной борьбе против него» (с. 137).

По данному вопросу разногласия происходили не только между русскими и националами, но и внутри самих этих групп. Сказывались и прошлые закоренелые национальные предрассудки, и совершенно очевидное давление «эмигрант-

ской улицы», когда, выражаясь по-парламентски, делегаты вынуждены были «говорить через окно», чтобы одних не обвиняли, что они «расчленяют Россию», а других – что они «продались русским». Таких демагогов в обоих лагерях было предостаточно. Кроме того, сказывался опыт разных поколений. Мы, тогда новые эмигранты, имели другой опыт, чем старшие как среди русских, так и среди националов. Два делегата НТС – Е. Р. Романов и А. Н. Артемов – были новыми эмигрантами и как таковые великолепно понимали позицию новых эмигрантов из среды националов, но как представители старой русской организации, в которой очень сильно было представлено консервативно-национальное направление, они должны были считаться со своей «эмигрантской улицей». Это даже отразилось в одном из выступлений А. Н. Артемова: «Та общественность, которая над нами всеми висит, она в значительной мере способствовала той атмосфере, которая здесь была. Я должен сказать, что в особенности мы, новые эмигранты, чувствуем в атмосфере эмиграции вообще, с чрезвычайным сожалением и скорбью, отсутствие этого единодушия и контакта, которые, как нам казалось там, в условиях диктатуры, так легко можно было бы осуществить в условиях свободы» (с. 152).

Когда дискуссия о названии окончательно завела нас в тупик, по существу раскололись и оба фронта: НТС и организация Мельгунова отклонили всякий компромисс, организация Керенского заняла нейтралистскую позицию, организации Николаевского и Яковлева искали компромисс с националами. То же самое произошло и у националов. Организации Цинцадзе, Хаджибейли и Рагули решительно заявили, что на какие-либо новые уступки они не пойдут. В этих условиях я заявил, что в ущерб форме, но в интересах дела я временно принимаю русскую формулу названия центра: «Совет Освобождения народов России (СССР)», оставляя за собой право бороться за другое название.

Терпеливо выслушав мое довольно подробное обоснование, председательствующий (им был Цинцадзе, с которым мы потом стали большими друзьями) позволил себе не заслуженный мною выпад: «Я думаю, что это заявление мы обсуждать не будем, чтобы не создать такого состояния, что мы отсюда выйдем и разойдемся, потому что оно абсолютно не соответствует тому, что полчаса назад уважаемый г. Авторханов заявлял при других условиях здесь» (с. 139). После такого заявления председателя руководители армянской и туркестанской делегаций (обе новоэмигрантские организации) Саруни и Канатбай демонстративно присоединились к моей позиции. Тогда председатель объявил заседание закрытым. Однако никто не расходился. Выступил Николаевский: «Я принадлежу к той русской организации, которая на вопрос о названии смотрит так же, как Канатбай и Авторханов. Мы за это название не держимся. Мы готовы согласиться на название «Советский Союз (Россия)» или даже скобок не будет. Но мы согласны, что нам так или иначе надо сговориться. Если справедливы те упреки, которые обращаются к нам, что в русской организации есть сторонники неуступчивости: если идет спор из-за буквы, когда часть наших организаций не соглашается уступать, то это относится и к вам. Подводя итоги сделанному за эти дни, я должен сказать, что мы сделали очень много в отношении сближения... Мы должны сговориться о продолжении нашей работы» (с. 141). Хаджибейли поддержал это заявление Николаевского, но он добавил, что слово «Россия» для русских имеет принципиальное значение в смысле моральном, а для националов это слово имеет юридическое и формальное значение, «ибо мы не можем отказываться от своей независимости, которую мы в свое время объявили. Но я хочу сказать, что в своих статьях в европейской печати я никогда ни единого слова против русского народа не говорил, я служил общей работе, общему делу. Я

все-таки человек русской культуры… (Название) отложить до будущего пленарного заседания. Что же касается (уже подготовленной) декларации, то я готов обеими руками подписать ее, чтобы наши враги почувствовали, что у нас есть общая воля к объединенной борьбе с ними» (с. 142). Но раздражение председателя против меня не улеглось. Оно запечатлено в протоколе заседания:

«***Авторханов:*** Господин председатель, разрешите сказать.
Председатель: Председателя нет!
Авторханов: Тогда давайте изберем председателя заседания.
Председатель: Никакого заседания нет!»

Вот тогда раздражение председателя передалось и мне, кавказцу, не менее темпераментному, чем наш председатель Цинцадзе. Я не мог и не хотел оставить без ответа его упрек в моей беспринципности из-за моей, может быть, ошибочной, но продиктованной интересами дела, тактики примирения непримиримых и объединения необъединимых.

Когда, в годы оппозиций, на одном из пленумов ЦК Троцкий начал нападать на Сталина, то Сталин вышел из зала со всем своим пленумом, но Троцкий повернулся к стенографистке и сказал: «Продолжайте стенографировать, я имею дело с мировым пролетариатом!» Когда председатель, отказав мне в слове, закрыл собрание, то я в миниатюре как бы повторил жест Троцкого:

«***Авторханов:*** Прошу застенографировать. Я не считаю, как меня упрекнул бывший председатель, что я в какой-то мере противоречу своему же поведению. Не только полчаса тому назад, но и полтора дня, даже 15 лет тому назад я не противоречил себе. Во-первых, за эту (национальную) резолюцию я не голосовал. Во-вторых, о существовании этой резолюции я слышал только здесь. В-третьих, идти на сближение ценой уступок формальных,

добиваясь при этом соглашения по линии существенной, – такова была моя тактика с самого начала заседаний. Но, принимая во внимание: во-первых, что в нынешней атмосфере, во всяком случае в составе национальной делегации, вопрос о создании единого фронта народов Советского Союза невозможно разрешить; во-вторых, что русская делегация, при всей своей толерантности в отношении содержания программы единого фронта, не сочла возможным пойти навстречу желаниям национальной делегации по форме, – принимая все это во внимание, я покидаю этот зал и надеюсь, что когда-нибудь в другой обстановке мы будем бороться единым фронтом всех народов...» (сс. 142–143).

Настойчивые требования почти всего пленума, что нашло свое отражение и в стенографическом отчете, заставили меня отказаться от намерения покинуть пленум и уехать. Люди, близкие мне, знали, что я не разыгрываю представление и в деле личной чести бескомпромиссен так же, как бескомпромиссен в вопросах священного права любого народа на самоопределение и независимость.

Совещание кончилось принятием общей декларации. Название решили обсудить на следующем Совещании в Мюнхене. Была избрана межнациональная комиссия с правом созыва этого совещания и ведения текущих дел. После деловой части мы с Артемовым выступили со спонтанными речами.

«***Артемов:*** ...Я выражу мнение, по крайней мере, наших российских организаций: это совещание не было пустым, оно не прошло даром. Даже те точки зрения, которые мне представлялись и представляются абсолютно невероятными, требуют того, чтобы над ними подумать. Например, в беседе с г. Рагулей я получил совершенно другое освещение и обоснование некоторых вещей. Я не буду думать о сепаратистах так, как раньше думал, и г. Рагуля сказал мне то же самое – что можно установить контакт... Должен сказать, что и у нас (русских) есть расхождения: не нужно этого скрывать... и

у представителей национальностей тоже не всегда было все согласовано. На то здесь демократия, а не тоталитаризм. Но здесь не было какого-то блока, которому противостоял бы другой блок. Мы защищали свои интересы, но цель у нас одна. Мы можем разойтись с более теплым чувством... И в этих теплых человеческих чувствах заложена гарантия того, что мы оставшиеся нерешенными проблемы, в конце концов, разрешим, этот единый фронт в той или другой форме создадим и объединенными усилиями пойдем против нашего общего врага! (аплодисменты)» (сс. 153–154).

«***Авторханов:*** Я думаю, что действительно то, что произошло, беспрецедентно в истории нашей эмиграции. Но в русском демократическом лагере были гениальные люди, которые провозглашали то, к чему мы сегодня пришли. Около 80 лет тому назад, обращаясь к восставшим полякам, Герцен сказал: «Будем бороться за вашу и нашу свободу». Сталин до сих пор имел успех по срыву наших начинаний. И вот единственный раз в день Октябрьской революции мы преподносим ему подарок – единение народов Советского Союза, которые полны решимости не только срывать его планы, но и вырвать из его рук власть и вернуть ее народам нашей родины. Я думаю, что этот подарок имеет символическое значение. Этим подарком мы обязаны не только нашей доброй воле к совместной работе, но и нашей жертвенности во имя этой великой миссии. Я считаю нужным выразить нашу благодарность Сергею Петровичу Мельгунову, Александру Федоровичу Керенскому, Виктору Михайловичу Байдалакову, представителю СБОНРа Борису Александровичу Яковлеву и представителю Лиги Борису Ивановичу Николаевскому. Я должен присовокупить к этой благодарности нашу особую благодарность национальным представителям на этом Совещании – господам Цинцадзе, Хаджибейли и Канатбаю. Я думаю, что то начало, которое здесь заложено, настолько многообещающее, что мы уезжаем отсюда с абсолютной верой в наше святое дело.

Да погибнет большевизм!

Да восторжествуют наши народы!

(аплодисменты)» (сс. 154–155).

Закрывая Совещание, председатель подвел общий положительный итог. Он добавил также: «Были недоразумения... В некоторых я, возможно, – автор этих недоразумений. Если хотите, я прошу у этого совещания прощения. Да здравствует наше общее начинание! (аплодисменты)» (с. 156).

Печать правых как в русской, так и сепаратистской среде, встретила соглашения в Висбадене крайне враждебно. Причем те и другие были далеки от аргументированной и деловой критики. Для них большевизм как общий враг номер один вообще не существовал. Для сепаратистов врагом номер один была Россия, безотносительно к тому, большевистская она или демократическая, а для русских великодержавников в России была только одна нация – русская, а все остальные – «мелюзга», как выражался Пуришкевич. Мои кавказские противники писали обо мне не только в своей прессе, но и в своих доносах в разные разведки (копии этих доносов передавали мне их же сотрудники), что я при Советах был коммунистом, занимал «крупный административный пост», при Гитлере входил в Северокавказский комитет в Берлине, и это писали те, кто как раз возглавлял названный комитет! Я издавал в это время журнал «Свободный Кавказ» и принципиально не отвечал на такую «критику» (большевики потом широко пользовались тем, что эти кавказцы, несомненные антикоммунисты, в своем озлоблении сочиняли по моему адресу). Русская правая печать не прибегала к личным инсинуациям, но угрожала мощным русским кулаком и... Красной армией. Газета Ивана Солоневича (автора книги «Россия в концлагере») посвятила Висбадену передовую: «Либо» – «либо». В ней Солоневич писал: «В „Свободном Кавказе“ А. Авторханов продолжает воевать за «единый фронт против единого врага». Он описывает свои сомнения при начале Висбаденской конференции и свое радостное разочарование, когда участники этой конференции нашли формулу и все единодушно... ухватились за спасательный круг чуть было не

потонувшего висбаденского корабля. Потом оказалось, что хвататься не стоило: корабль потонул сам. Чудодейственная формула гласила: „Мы признаем, что народы нынешнего СССР получат самоопределение либо путем плебисцита, либо Всероссийского учредительного собрания, либо национальных учредительных собраний“».

Солоневич продолжал: «А. Авторханов все-таки не совсем уж «беспартийная скотинка». Он должен был бы с первых же слов понять, что одно «либо» с другим «либо» не вяжется никак... Чудодейственную формулу, за которую ухватились жаждущие долларов руки, можно перевести на общероссийский язык так: «Мы будем бороться с коммунизмом. И при этом либо оставим Российскую государственность, либо ликвидируем ее». Кто уж кто, а господин Авторханов в этом «либо – либо» должен был бы разобраться». Наконец, Солоневич приводит и довольно весомый материальный аргумент: «Я бы на месте А. Керенского и А. Авторханова просто не рискнул оперировать такими терминами... Авторханов не может не понимать того очень простого факта, что согласие А. Керенского, А. Авторханова и И. Солоневича на разбазаривание России не имеет никакого значения. Имеет значение согласие Советской армии» (газета «Наша страна», 23 августа 1952 г., Буэнос-Айрес).

Мы продолжали думать, что заложили фундамент большого межнационального здания в эмиграции, как вдруг обозначилась первая трещина: Национально-Трудовой Союз (российские солидаристы) вынес от 1 июня 1952 г. совершенно неожиданное для всех решение о программе будущего политического центра. В этом решении было сказано: «Деятельность центра не может быть направлена на расчленение России». Посланному на переговоры с НТС проф. И. А. Курганову было сообщено, что:

«1) *национальный вопрос*. Известное «либо, либо, либо», за которое НТС голосовал в Висбадене, считается отпавшим... и,

значит, все решения (Висбадена) потеряли смысл. Эту формулу надо заменить по образцу Штутгарта;

2) *название* центра должно быть «Совет Освобождения Народов России»;

3) *состав политического центра* – НТС полагает, что в состав политического центра могут входить только те организации, которые считают, что их народы входили и входят в состав России» («Стенограмма Временной межнациональной подготовительной комиссии». 3–6 августа 1952 г., Мюнхен, с. 6).

НТС соглашался участвовать в дальнейшей совместной работе при условии принятия этих его требований. Таким образом, Политический центр, который еще не был создан, оказался между двух огней: русские организации начали обвинять нас в «расчленении России», а национальные организации – в измене своим народам, те и другие – в продажности за доллары, в полном согласии с большевиками. Так как обвинители были в крикливом большинстве в обоих лагерях, то судьба всего этого предприятия была предрешена. Решение НТС было тем более странным, что председатель Исполбюро В. Д. Поремский, а также делегаты НТС Е. Р. Романов и А. Н. Артемов относились с наибольшим пониманием к необходимости создания единого центра, а делегация НТС без оговорок голосовала за решения в Висбадене. Я подумал, что, вероятно, большинство Совета НТС дезавуировало своих делегатов на Совещании в Висбадене, а теперь нам, националам, оно по существу предъявило ультиматум. Свое неудовольствие по этому поводу я высказал на Совещании «Межнациональной комиссии»:

«***Авторханов:*** Курганов вел переговоры с искренним желанием, чтобы НТС участвовал (в нашей работе). Но здесь не просто вопрос об участии или неучастии НТС, а вопрос принципиальный. (Я лично очень сожалею, что НТС не участвует в Совещании с самого начала.) Говорить о том, что только те организации могут участвовать в политическом центре, которые считают себя органической,

составной частью России, – это невозможно. Этим мы разрушаем то здание, которое начали создавать. С этих позиций возможность для разговоров отпадает. Я был ярым сторонником приглашения НТС, но теперь считаю, что нам об этом нечего говорить.

Мельгунов: Вы говорите по существу, и это преждевременно. Тогда вам придется говорить так же и по поводу меня.

Авторханов: Я еще не кончил.

На условиях Висбадена НТС должен быть приглашен, но не на тех условиях, которые НТС хочет навязать национальным участникам Совещания. Мне кажется, что НТС сделал не только шаг назад, но с тактической точки зрения шаг очень неосторожный» («Протокол Совещания Межнациональной комиссии», сс. 34).

Организация «Белорусская народная республика» отказалась ратифицировать решения Висбадена (ее представитель г. Рагуля, голосуя за это решение, оговаривал за своей организацией право на ратификацию, что не сделали представители НТС). Мотивы белорусов были противоположны мотивам НТС: они находили, что мы хотим спасти России от расчленения!

Обе эти организации не участвовали и на весьма важном Совещании от 21 июня 1952 г., где были вынесены следующие решения:

1. создать радиостанцию будущего Политического центра под названием «Освобождение» (ее потом переименовали в «Свободу»);

2. создать «Радиокомиссию» для руководства ее программой и для подбора ее кадров;

3. каждый народ, представленный в Политическом центре, создает свою собственную радиоредакцию на национальном языке.

На заседании Совещания Межнациональной комиссии от 29 августа 1952 г. новый представитель «Американского комитета освобождения от большевизма», который возглавлял

теперь адмирал Стивенс вместо адмирала Керка, господин Свифт, заявил:

«Мне очень приятно сообщить вам, что после многих трудов, после затраты больших средств, в конце концов наша радиостанция в Визенфельде готова для работы. Я знаю, что вы очень много работали на многих заседаниях и совещаниях, чтобы создать Центр.

В Нью-Йорке я говорил с членами правления, которые так же, как и я, очень обеспокоены результатом вашей работы. Теперь настало время, чтобы этот Центр был создан, чтобы и вы и мы совместно могли начать это великое дело, на которое мы с вами решили идти. Благодарю вас» («Стенограмма Временной межнациональной подготовительной комиссии», 29–30–31 августа и 1 сентября 1952, Мюнхену. 1).

Радиостанция «Освобождение», как свободный голос порабощенных народов СССР, начала транслировать свои передачи на второй день после смерти

Сталина – 6 марта 1953 г. Новый политический Центр получил название: «Координационный Центр Антибольшевистской Борьбы» (КЦАБ). Вот тогда только и началась самая отчаянная борьба по разложению этого Центра как изнутри, так и извне. Грузинский Национальный Совет во главе с Е. П. Гегечкори и Цинцадзе и Комитет Азербайджанского Национального объединения во главе с Хаджибейли повели переговоры с радами Украины и Белоруссии о расширении Координационного Центра, но эти переговоры велись за спиной самого Центра. В результате был создан так называемый «Парижский блок» как противовес Координационному Центру. Причем грузины умудрились состоять одновременно, в лице одних и тех же представителей, и в «Парижском блоке» и в КЦАБе. Так как Американский комитет считал целесообразным и возможным объединить обе эти организации, то в конце мая 1953 г. в Тегернзее было создано новое

совещание КЦАБ для обсуждения этого вопроса. Собрание превратилось в арену бесконечной дуэли между двумя депутатами бывшей Государственной Думы: Керенским и Гегечкори. Если темперамент оратора в какой-то мере определяется географией, то в Тегернзее Север и Юг поменялись местами – северянин Керенский был пламенно красноречивым, а южанин Гегечкори холодно-рассудительным. Убежденные демократы в общей политике, «народники» и «социалисты» по мировоззрению, активные организаторы и участники краха великой русской империи, жертвы и изгнанники большевистской тирании – оба они остались «российскими бурбонами», которые ничего не забыли, но и ничему не научились. Керенский в удобоваримой форме убежденного патриота России упорно тянул в сторону «великодержавия», а Гегечкори с завидным талантом убежденного адвоката малых народов столь же упорно тянул в сторону «младодержавия», но ни тот, ни другой не проявляли ни малейшего понимания, что сначала все-таки надо убрать Сталина, прежде чем делить его наследство. Они говорили и о настоящем, но мыслили категориями прошлого.

– Помните, Александр Федорович, – говорил Гегечкори, – что в Думе Пуришкевич намеренно сидел в последнем ряду вплотную к правой стене, повторяя: «правее меня только эта стена», а когда двигался к трибуне, кричал: «Эй, мелюзга, расходись, идет великая Русь!», – ведь, Александр Федорович, эти времена давно прошли».

Керенский любезно соглашался, что эти времена давно прошли, но никак не мог понять, почему он несет ответственность за варварство большевиков, а историк Мельгунов еще добавлял: пусть в этой банде Ленин был русским, но Троцкий был евреем, Дзержинский поляком, а Сталин – грузином! Комментаторы по «национальному вопросу» в своих анонимках шли дальше: «Октябрьская революция была

сделана русским дураком, латышским штыком и еврейским умом». Когда на Висбаденском совещании я начал доказывать, что русские политические организации несут психологически невыгодный груз в том отношении, что рядовая масса нерусских народов не разбирается в тонкостях природы коммунистической диктатуры и поэтому, например, когда чекисты на улицах Ленинграда и Москвы раздевали чеченцев-офицеров, потому что они чеченцы, то естественно, рядовые кавказцы винили в этом просто русских. Тут же подал реплику Мельгунов: «А меня раздевал чеченец!»

Если известный русский историк, да еще «народный социалист», ведет дискуссию на таком политическом уровне, то не очень надо винить и сепаратистов, когда они, теряя из виду врага номер один для всех – большевизм, начинают обвинять во всех своих бедах русский народ. Вообще говоря, народ никогда ничего не решал и не решает, кроме, может быть, двух исключений «прямой демократии» – в древности в афинских полисах и в наше время в швейцарских кантонах. Решают верхи народа, элита, которая раньше называлась аристократией, а ныне эти верхи называются партиями (коммунистическая тоталитарная партократия на Востоке и демократическая партократия на Западе).

Из Тегернзее мы разошлись, создав комиссию для переговоров с «Парижским блоком». В нее вошли руководители всех русских организаций из Координационного Центра. Как и надо было ожидать, на первой же встрече идея нового объединенного центра провалилась. Зато все оказались единодушны в одном: отказаться от Висбадена. Керенский и Мельгунов создали свой новый «КЦАБ»; «Парижский блок» вместе с Николаевским и частью СБОНРа создали новый Межнациональный Антибольшевистский Координационный Центр» (МАКЦ). Причем «ортодоксы» из «Парижского блока» – МАКЦ, так критиковавшие мою компромиссную фор-

мулу в Висбадене «либо, либо, либо», даже не поставили национального вопроса в своем уставе. Там только сказано: «участники центра, имеющие различные взгляды на способы решения межнациональных отношений народов СССР, сохраняют за собою право защищать свои личные взгляды» – если бы так ставили этот вопрос в Висбадене, то мы решили бы его за пять минут, а не спорили бы пять дней! Я не вошел ни в тот, ни в другой Центр.

Оба Центра обратились к Американскому комитету с меморандумами, в которых каждый из Центров доказывал, что именно он – наиболее представительный орган своих народов и поэтому претендует на признание его Американским комитетом. Началась длительная «холодная война» между двумя Центрами за влияние на Американский комитет. Однако деловые американцы, после долгих блужданий и надежд, поняли, с кем имеют дело, и отреагировали почти по Крылову: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Американцы отказали в признании обоим Центрам. Это внесло коренное изменение и в статут радио «Освобождение», которое, перестав быть «Свободным голосом народов СССР», стало «Голосом Америки» нового варианта. Соответственно, бывшие американские советники при эмигрантских начальниках стали начальниками, а эти бывшие начальники их советниками. Это был уникальный случай, когда от перемещения места слагаемых сумма изменилась в пользу Кремля. Общий Политический центр погиб. До чего странна человеческая природа: все торжествовали по поводу его гибели: русские и националы, монархисты и сепаратисты, коммунисты и антикоммунисты. Член делегации Мельгунова А. Михайловский даже написал пламенный «некролог», который кончался цитатой: «Была без радости любовь, разлука будет без печали!»

Вывод, сделанный мною из крушения идеи создания Политического центра, был – переключиться на исследование советской системы и политики. Я начал систематически печатать результаты своих исследований в органах «Института по изучению СССР». Он издавал свои анализы и исследования на многих языках – русском, английском, немецком, французском, испанском, турецком, арабском. Это был коллективный вклад второй русской и национальной эмиграций в советологию. Его издания высоко ценились как в университетских, так и в публицистических кругах Запада. Институт устраивал международные конференции и симпозиумы по советским проблемам, которые привлекали много ученых и специалистов со всех стран мира. В Институт приезжала даже делегация из Академии наук СССР, чтобы, изучив наш опыт, открыть свой собственный «Институт по изучению Америки и Канады». И тогда история еще раз решила поиздеваться над нами, эмигрантами, на этот раз уже без нашей вины: почти одновременно, в порядке «разрядки», в Москве открылся «Институт по изучению США и Канады», а в Мюнхене закрылся «Институт по изучению СССР»!

20. Под советским молотом на американской наковальне

В американском журнале «Saga» за август 1966 г. перечислялись бывшие граждане СССР, убитые Советами: Виктор Кравченко (автор нашумевшей книги «Я избрал свободу»), генерал Виктор Кривицкий (невозвращенец-чекист) и «Абдурахман Авторханов, русский эмигрант, который работал для Американской армии» (с. 50).

В отношении моей смерти сведения эти оказались, как выражался Марк Твен, преувеличенными. Я пишу эти строчки – значит, я еще живу. Но сказано: «Нет дыма без огня». Был огонь, который, по счастливому стечению обстоятельств, меня миловал, оставив лишь один дым. Надо заметить, что, кроме указанных лиц, чекистами были убиты в пятидесятых годах в Мюнхене украинские национальные деятели С. Бандера, проф. Ребет, главный редактор Азербайджанской редакции радио «Свобода» мой друг А. Фаталибейли; в Берлине был украден один из руководителей НТС доктор А. Трушнович, а капитан Н. Хохлов, присланный убить руководителя НТС Г. Околовича, сдался американцам. Так же поступил и другой советский агент, присланный убить В. Поремского.

23 января 1955 г., около 11 часов вечера, ко мне на квартиру в Регенсбурге приехал начальник нашей школы, американский полковник польского происхождения – г. Масловский. Он сказал, что мне нужно по серьезному делу поехать с ним в главную квартиру американской контрразведки (Си-Ай-Си). Через полчаса мы были там. Чиновник контрразведки задал моему начальнику вопрос, в курсе ли я дела? Когда последовал отрицательный ответ, чиновник быстро вытащил из ящика стола револьвер и, показывая его

мне, довольно торжественно заявил: «Мы вчера поймали советского террориста, который хотел вас убить из этого револьвера!»

Это сообщение, обставленное столь торжественно, да еще поздней ночью, на меня, бывавшего в худших переплетах и от чекистов ничего другого не ожидавшего, не произвело никакого впечатления. Я хладнокровно принял это к сведению и, кажется, с этого момента, собственно, и началась моя трагедия. Чиновник, видно, был очень озадачен моим хладнокровием и начал внушать мне, от какой ужасной участи я спасен и что я должен быть, если не благодарен его учреждению, то осторожен. Тут я ему высказал запоздалую благодарность, но присовокупил, что я политический эмигрант из СССР и в попытке покушения на меня со стороны НКВД ничего неожиданного для меня нет. До часа ночи меня допрашивали, потом отпустили домой с решительным предупреждением об осторожности.

Через два-три дня в школу приехал американский майор из главной квартиры армии и в присутствии моего начальника сказал: ввиду того, что опасность, которая мне угрожает, более серьезна, чем я думаю, он уполномочен командованием армии просить меня, чтобы я согласился, во-первых, поставить себя под личную охрану американской военной полиции, и, во-вторых, дать американской контрразведке исчерпывающие сведения о себе. Я, не колеблясь, согласился на оба эти условия. Майор взял с меня расписку, что я добровольно ставлю себя под охрану и без ее сопровождения не могу никуда отлучиться – ни на работу, ни в город. Под этой охраной я находился более двух месяцев – до конца марта. Когда я увидел, что американцы придают делу серьезное значение и очень заинтересовались моим прошлым, то я до малейших подробностей рассказал им всю свою жизнь, ничего не утаивая, что я делал в СССР, что делал в Берлине, что делаю сейчас. Рассказал также, как Советы хотели завербо-

вать меня. Допросы все еще продолжались, но меня совсем не информировали, какие показания дает арестованный террорист, оказавшийся немцем из Восточной Германии. Скоро у меня появился новый следователь, который сказал, что этот арестованный немец, террорист, вовсе не был пойман, а сам добровольно явился в контрразведку, что он был не один, а со своим шефом, но шеф успел удрать. Немец показал, что он уже ранее два раза приезжал меня убить, но оба раза не мог застать меня одного – то я гулял с женой и детьми, то в какой-нибудь компании знакомых. За убийство ему предложили солидную сумму денег и освобождение от уголовного наказания за какое-то преступление. Когда он прибыл в Регенсбург в третий раз, то отказался привести в исполнение террористический акт и сдался американцам. Следователь сообщил мне, что, благодаря сведениям, полученным от этого немца, арестован в Берлине и его бывший шеф. После первых пяти-шести допросов в моем следствии произошел резкий поворот и по тону и по существу. Я обвинялся ни больше ни меньше как в том, что я переброшен на Запад в качестве советского разведчика!.. Я понял, что охрана приставлена не для того, чтобы защищать меня от новых террористов, а чтобы я не сбежал в СССР. Новый следователь, собственно, начал весьма осторожно:

– Почему это большевики должны были убить именно вас, вы ведь один из сотни тысяч безвестных эмигрантов? (Я не помню, сказал ли следователю, что не такой уж я «безвестный» – я издал еще при жизни Сталина книгу о нем на главных европейских языках, написал другую книгу «Народоубийство в СССР», четыре года издавал журнал «Свободный Кавказ», активно участвовал в создании Политического Центра и радиостанции «Освобождение».)

– Если вы так ставите вопрос, то я вам облегчу переход к существу ваших будущих вопросов: или – или – 1) или я действительно вредный для советских интересов антибольшевик,

поэтому меня надо убить; 2) или я действительно советский агент и поэтому надо поднять мою цену в глазах американцев, разыграв комедию покушения на меня. Я стою на первом ответе, вы можете думать о втором. Теперь продолжайте ваш допрос.

И вот дальнейшее следствие велось с целью выяснения, не советский ли я разведчик на американской службе. Тогда, ввиду чудовищности подозрения, я слишком возмущался и очень грубо отвечал (это, наверное, шло мне на пользу), но, если говорить по существу, то мои следователи, по долгу своей службы, должны были изучить и расследовать оба, мною же поставленных вопроса: «или – или». Но меня ожидал новый повод для возмущения: мне сообщили, что у американцев есть такая удивительная машина, которая безошибочно устанавливает: говорит ли подследственный ложь, когда следователь его допрашивает. Машина эта называется «детектор лжи» – «Люгендетектор» (допрос велся по-немецки). От меня потребовали расписку, что я добровольно соглашаюсь подвергаться испытаниям на этой машине. Одной «добровольной» распиской я уже подверг себя аресту, пусть даже домашнему, второй распиской, может быть, я себя вообще загублю: если человек врет, то почему не может врать созданная им и неизвестная мне машина? Я заявил моим следователям (их теперь стало несколько), что дал исчерпывающие показания, которые поддаются объективной проверке, но ставить свою честь и, может быть, свою судьбу в зависимость от колебания электроволн в неизвестной мне матине я отказываюсь. Допросы кончились, но охрана продолжала меня «охранять». Через некоторое время она вдруг исчезла. Я заявился к моим следователям с «претензией» – куда исчезла моя «лейб-гвардия»? Каковы результаты следствия? Как я себя должен вести дальше? Мне сказали, что охрана исчезла по воле высокого начальства, а на другие вопросы они ответить не могут. Тогда я попросил адрес высоко-

го начальства. Мне его тоже не дали. Так кончился двухмесячный домашний арест. Через несколько дней в местных газетах, а потом по радио «Би-Би-Си» и «Голосу Америки» сообщалось, что в Регенсбурге чекисты хотели убить одного эмигранта из СССР. Убить должен был советский агент-немец из Восточного Берлина. Ни мое, ни его имя не назывались. Но речь шла обо мне.

Этим дело кончилось. Ровно через год, 20 января 1956 года, по настойчивому совету моего начальника, который, вероятно, боялся потерять меня как преподавателя, я дал согласие подвергнуться допросу на «Люгендетекторе». Я подписал бумагу, что добровольно подвергаюсь этой процедуре, заодно сделал заявление, что я, однако, не признаю ни положительных, ни отрицательных результатов данной проверки. Сначала меня накормили казенной пищей, хотя я решительно отказывался, ибо в том нервном состоянии, в каком я находился, у меня не было никакого аппетита, но мне сказали, что принять эту пищу в моих же интересах. После этого меня обмотали с ног до головы бесконечными проводами и шнурами со всякими к ним закорючками и плитками, соединенными с «детектором лжи». Для начала провели «маленькую игру», как выразился чиновник-«машинист». Он предложил мне выбрать из пятнадцати «номеров-карточек» какой-нибудь номер и держать его в руках. Он будет перечислять номера, а я должен отвечать, стоя к нему спиной, неизменное «нет». Он угадает, какой у меня номер. Когда сеанс кончился, он сказал, что у меня номер десять, а я ему показал номер один. Он объяснил свою неудачу тем, что я шевелил пальцем. Он предложил повторить проверку, на этот раз я ни пальцем не шевелил, ни глазом не моргал. Проверка кончилась, и «машинист» (лжист!), торжествуя на этот раз в предчувствии победы, сказал, что я в руке держу номер девять. Я ему показал номер одиннадцать! Таким образом, после того как на моих же глазах «детектор лжи» дважды

соврал (специалисты утверждают, что он правдив на 90%), мы приступили к самому допросу (на каждый вопрос я должен был отвечать односложно: «да» или «нет»). Главные «разведывательные» вопросы, вперемежку с вопросами бытовыми, гласили:

– Были вы в комсомоле?

– Были вы в партии?

– Являетесь ли вы сейчас членом КПСС?

– Послал ли вас НКВД во время войны работать с немцами в пользу Советов?

– Являетесь ли вы сейчас агентом советской разведки?

– Предложили ли вам Советы изменить данные о себе после войны?

– Даете ли вы советской разведке сведения об американской школе?

– Били ли вы свою жену?

– Организовала ли советская разведка покушение на вас в Регенсбурге, чтобы поднять вашу репутацию у американцев?

– Можете ли вы покорять женщин?

– Предложила ли вам советская разведка не подвергаться проверке через «детектор лжи»?

– Изменяли ли вы своей жене?

После трехкратных «тестов» на протяжении трех часов, «машинист» сказал, что ему нужно сходить в туалет, и ушел, оставив меня привязанным к машине. Вернулся только минут через сорок. Формально извинившись, он сказал, что хочет прервать проверку ввиду моей усталости, с тем, чтобы продолжить ее в другой раз. Я ответил, что мне было обещано окончить проверку за четыре часа и за оставшийся час со мною ничего не случится, да и за здоровье мое ему не надо беспокоиться.

Он очень неохотно провел еще пару проверок, потом прекратил их, сославшись на то, что из-за моей усталости, машина показывает плохую для меня реакцию («пожалел

волк кобылу»!). Несмотря на мои настойчивые требования закончить проверку сегодня, он наотрез отказался ее продолжать. Я попрощался с ним, сообщив ему, что больше мы никогда не увидимся.

Вернувшись в школу, я заявил полковнику, что если моя работа в этой школе зависит от моего согласия на продолжение проверки на «детекторе лжи», то он может уволить меня сейчас же.

На следующий вызов я ответил отказом, и полковник меня не уволил.

За эти десять лет после войны чекисты провели в отношении меня четыре операции: 1) сначала хотели завербовать – не вышло; 2) тогда решили убить – сорвалось; 3) потом подкинули американцам провокационный материал, рисуя меня своим агентом, – не вышло, и под конец 4) прибегли к самому дьявольскому приему – заставили мою дочь, депортированную со всей семьей и народом в Казахстан, подписать следующее письмо:

«Отцу Абдурахману Геназовичу Авторханову от дочери Зары.

Папа, прежде всего о себе и о нашей семье. Я успешно учусь на пятом курсе медицинского института, получаю стипендию. В следующем году буду уже врачом. Комета учится в восьмом классе. Мама работает. Как видишь, папа, мой жизненный путь определился. Теперь буду помогать Комете, она хорошо учится и тоже хочет получить высшее образование. Нам дорого твое имя, папа! Я не могу смириться с тем, что ты находишься не на Родине, которая тебя вырастила, дала высшее образование и сейчас заботится о твоих детях. Мне кажется, что ты мог бы приехать на Родину и честно трудиться для ее блага. Мы ждем тебя, папа!

Мой адрес: г. Алма-Ата, ул. Шевченко, дом 114.

Твоя дочь Зара»

(газета «За возвращение на Родину», № 10, март 1956.)

Но как было объяснить моей дочери, которую власти заставили не только отказаться от отца, но и от того, чтобы носить его имя, что она была для меня дороже всего на свете и что разъединил нас, как и миллионы других отцов и детей, самый сатанинский в истории человечества режим?! Я вспомнил все. Был глубоко тронут, больше – душевно потрясен. (Эти чувства живы во мне до сих пор. По моим рассказам полюбившая свою падчерицу моя вторая жена дала нашей дочери здесь тоже имя – Зара, – она подарила уже нам двух очаровательных внучек: Наташу и Таню.) Я мысленно еще раз повторил свою «Аннибалову клятву» после расстрела у Терского хребта. По отношению к режиму, который заставляет детей проклинать своих родителей, у меня даже при последнем вздохе найдется сила, чтобы, перефразируя римского сенатора Катона, крикнуть: «И все же я полагаю, чекистский Карфаген должен быть разрушен!» Будучи как раз в этом настроении, в 1957 г. я кончил писать новую книгу – «Технология власти». В ней я поставил перед собою одну лишь узкую задачу: рассказать на личном опыте и на документах самой партии, как происходил процесс становления сталинской тирании. Я ставил своей целью не ругать, а рассказать и показать эту тиранию в развитии. Этого требовала и так называемая «научно-историческая объективность» западной историографии. Однако человек не машина и советский политический эмигрант не гарвардский либеральный профессор, который одинаково объективно может рассуждать как о движении небесных тел, так и о движении дел в советской империи. Обычный довод против нас, эмигрантских исследователей, был и остается: «вы бежали от режима, потому ваше отношение к нему не может быть объективным». Словом, жертвы не могут быть объективными, только палачам доступно это чувство. Даже после разоблачений Хрущева, что Сталин сам организовал убийство Кирова, послужившее

прелюдией ко всеобщей инквизиции, один из этих либеральных профессоров, считающийся звездой в советологии, писал, что утверждение Хрущева бездоказательно и необъективно. Выходит, что почтенный профессор, сидя где-то под Бостоном, знает об этом лучше, чем вождь Кремля, который располагает архивами КГБ и ЦК, да и докладывает об этом на двух съездах высшей элиты партии. Судите поэтому, как трудно было нам, эмигрантам, рассказывать на Западе правду о советской системе. Лично мне все-таки повезло – на мои книги, которые выходили даже только по-русски, появлялись положительные рецензии в ведущих американских журналах по советским и восточноевропейским делам, хотя я не скрывал своего антикоммунизма. В предисловии к «Технологии власти» я заранее ответил своим будущим советским и западным критикам: «Что скажет об этой книге казенная критика диктатуры – мне безразлично, а на возможные упреки ученых скептиков в «пристрастии» к событиям и лицам можно ответить словами великого Гете: «Быть искренним я обещаю, быть безучастным – не могу». Эти слова относятся и к данной книге. «Технология власти» по-английски вышла в Нью-Йорке у Прегера в 1959 г.

В Америке советологию монополизировала узкая группа профессоров нескольких университетов, плотно закрывая туда дверь для посторонних, особенно эмигрантских исследователей. Если из этой среды кто-нибудь прочел две книги о Советском Союзе, то третью писал он сам, вознося до небес своих коллег, намеренно замалчивая труды врагов советской системы. Плоды политики, которая ориентировалась на информацию этих профессоров, хорошо видны сегодня. Если же в советологии приходилось так или иначе обращаться, например, к моим книгам, то иные либеральные профессора брали мои данные или мой анализ под сомнение, – особенно это касалось моей первой книги. Я решил

нарушить молчание и некоторым из них ответить в американском межуниверситетском квартальнике по советским и восточноевропейским исследованиям – «Slavic Review» (декабрь 1966, т. XXVI, № 4). Статья называлась «Ответ моим критикам», а поводом для нее послужила рецензия проф. Роберта М. Шлюссера на книгу проф. Роберта Таккера и Стефена Коэна о «Великой чистке». В этой книге была ссылка на мои данные о том, как сентябрьский пленум ЦК 1936 г. отказался выдать Сталину на расправу Бухарина и Рыкова. Рецензент писал, что проф. Таккер следует рассказу «эмигрантского автора Абдурахмана Авторханова», да еще пишет: «Большинство западных специалистов считает, что этот рассказ вполне правдив, тогда как Джон Армстронг говорит, что в свете доклада Хрущева рассказ Авторханова ненадежен» (с. 665). Я ответил Шлюссеру, что его главный авторитет проф. Армстронг в своей книге «Политика тоталитаризма», критикуя меня, сам допускает ученические ошибки. Что же касается Хрущева, то он всегда был осторожен в критике Сталина там, где он сам был наиболее последовательным исполнителем его воли (смотрите выступление Хрущева против Бухарина и бухаринцев в конце августа 1936 г. в «Правде», после суда над Зиновьевым и Каменевым). В числе «ученических ошибок» Армстронга в критике против меня было и такое его утверждение, что Сталин, сняв Ягоду в сентябре 1936 г. с поста наркома внутренних дел, не снимал его до января 1937 г. с «активного поста генерального комиссара госбезопасности». Тогда только этот пост занял Ежов. Я объяснил Армстронгу, что «генеральный комиссар госбезопасности» не пост, а ранг, соответствующий по званию маршалу или генералу армии. После этого объяснения Армстронг в своем ответе мне меланхолично заметил, внизу в маленьком примечании: «Хотя я не вижу важности этого пункта, я принимаю критику Авторханова, что я должен употреблять тер-

мин «ранг», а не «пост» (с. 673). Между тем автор доказывал наличие у Сталина полного контроля над ЦК еще в 1936 г., до ареста 70% его членов в 1937–38 гг. как раз «фактом» «постепенного снятия» Ягоды с двух постов. Незадачливому профессору не приходила в голову такая простая мысль: зачем же Сталину нужно было почти тотальное уничтожение ЦК, над которым он имел полный контроль? Однако «ученические ошибки» ничего не стоят по сравнению с фундаментальными ошибками автора, которые вытекают из незнания структуры и функционирования партийной машины. Бели у автора есть какое-либо представление об этом, то оно взято из написанного в «уставе партии» или в газете «Правда», а если же там ничего не сказано о тех или иных фактах и событиях, то, стало быть, ни этих событий, ни этих фактов не было. Укажу только на два примера из обеих областей:

1) автор утверждал, что Сталин, который лишь одной телеграммой из Сочи снял такую «ключевую фигуру» (с. 666), как Ягода, легко мог выкинуть такую теперь «не ключевую фигуру», как Бухарин, но автор совершенно не знает, что для того, чтобы снять наркома (министра), нужна только подпись «президента» Калинина, которую можно организовать по телефону или при помощи телеграммы, но чтобы исключить из кандидатов ЦК Бухарина или из членов ЦК Ягоду, нужно получить $^{2}/_{3}$ голосов пленума ЦК при тайном голосовании!

2) Кажется, я был первым, кто писал в той же книге («Staline au pouvoir», 1951), что партию и ее ЦК уничтожал сам Сталин, но народ до пяти миллионов человек (потом выяснилось, что это было до 8–10 миллионов) уничтожал местный партаппарат – ЦК республик, обкомы, крайкомы через «Чрезвычайные тройки» НКВД, куда входили местный начальник НКВД, местный прокурор и местный первый секретарь партии. Суд заочный по спискам. Приговоры двух типов – расстрел (родственникам давалась справка, что такой-то

сослан на 10 лет «без права переписки») и 10 лет без права обжалования. Хрущев не говорил об этих преступлениях ни одного слова, партия и правительство никогда не упоминали о них, а о советской печати и говорить нечего. Мой критик, книгу которого проф. Шлюссер называет «наиболее детальной и наиболее достоверной» из всех книг, посвященных годам «Великой чистки», обошел абсолютным молчанием существование этих «троек» потому, что, мол, Хрущев о них ничего не сказал (не будет же он сам себя разоблачать), а рассказы эмигрантов «сомнительны»! Как раз в споре – был или не был названный пленум ЦК, я Армстронга поставил в неприятное положение – я привел цитату из книги «Russia and the West under Lenin and Stalin» Джорджа Кеннана (1960, с. 307), где он утверждает об этом пленуме то же самое, что и я. Храбрый против меня, Армстронг не осмелился противоречить американскому главному авторитету по советологии. Запрошенный проф. Шлюссером, проф. Кеннан вывел его из неловкой ситуации: «Навряд ли Авторханов был моим источником... Его отчет, рисующий присутствие Сталина на сентябрьском пленуме, противоречит тому, что я писал... Я подозреваю, что какие-то основания для его отчета о таком пленуме все-таки были, только я думаю, что он перепутал дату пленума» (с. 676). Понимай каждый, как хочет. Подводя итоги дискуссии по данному вопросу, проф. Шлюссер стал в своих новых суждениях более осторожным: «Полная и точная история «Великой чистки» крайне необходима. Подвергая сомнению отчет г. Авторханова о сентябрьском пленуме 1936 г., я хотел помочь достижению этой цели и не имел никакого желания подвергать сомнению его общую компетенцию как ученого»; он добавил, что «господин Джордж Кеннан, вероятнее всего, опирался на данные г. Авторханова» (с. 675). В этой дискуссии я добился, как мне казалось, того, чтобы американские профессора более серьезно относились

все-таки и к тому, что пишут эмигрантские исследователи. Здесь я хочу указать и на одну советскую ученую критику моих исследований.

Как уже упоминалось, в своей книге, изданной по-английски, я писал, что «большевизм есть не идеология, а организация. Идеологией ему служит марксизм, постоянно подвергаемый ревизии в интересах этой организации. Большевизм и не политическая партия в обычном смысле этого слова. Большевизм не является также и «движением», основанным на мозаике представительства разных классов, аморфных организационных принципах, эмоциональном непостоянстве масс и импровизированном руководстве. Большевизм есть иерархическая организация, созданная сверху вниз, на основе точно разработанной теории и умелого ее применения на практике. Организационные формы большевизма находятся в постоянном движении в соответствии с меняющимися условиями места и времени, но его внутренняя структурная система остается неизменной. Она сегодня такая же конспиративная, какой она была в царском подполье до прихода большевиков к власти» (A. Avtorkhanov, The Communist Party Apparatus, Regnery, Chicago, 1966, p. 1).

Это был основной вывод, который вытекал из наших теоретических занятий по кафедре «партийное строительство» на Курсах марксизма при ЦК, подтверждаемый всей историей большевизма. Нарушив незыблемый закон замолчать и не цитировать меня в советской исследовательской литературе, советский профессор В. А. Молибошко выступил как раз против этого моего тезиса: «Изображая В. И. Ленина «бескомпромиссным централистом», буржуазные идеологи всячески стараются оторвать ленинские идейные принципы от организационных, придать последним некое мифическое, самодовлеющее значение. «Большевизм, – заявляет один из

западногерманских «советологов» профессор А. Авторханов, – не есть идеология, он есть организация... Большевизм не есть политическая партия в обычном значении этого термина... Большевизм не есть «движение»... Большевизм есть иерархическая организация» (журнал «Вопросы истории КПСС», № 6, 1977, Москва, стр. 71).

Конечно, если так бесцеремонно ампутировать чужую мысль, то противнику можно приписать любую бессмыслицу, но даже и после такой операции над цитатой проф. Молибошко не сумел поколебать мой вывод. Не лучше обстоит и с другим его возражением против меня. В той книге я констатирую всем известный факт: вождей Советского Союза, вождей КПСС нельзя критиковать. Я доказывал, что существуют два «права» партии – писаное «уставное право», по которому можно критиковать любого работника партии, и неписаное «партаппаратное право», по которому нельзя критиковать генерального секретаря ЦК, членов Политбюро, членов ЦК (критиковать, конечно, можно, если ты не боишься тюрьмы). Советский профессор пишет: «Упомянутый выше А. Авторханов заявляет даже о существовании якобы каких-то «неписаных партийных законов», которые запрещают коммунистам критиковать партийных руководителей» (там же, стр. 77). На этот раз профессор ампутировал не «конечности» цитаты, а попросту говоря, снял ей голову. В самом деле, посмотрите, что же получается – на цитируемой автором странице моей книги сказано, что по уставу член партии имеет пять прав, в том числе и «право критиковать любого коммуниста», «Но некоторые из этих прав иллюзорны, неписаное партийное право запрещает членам партии критиковать ЦК и вождей партии (the party leaders)» («The Communist Party Apparatus», p. 109). «Партийных руководителей», конечно, можно критиковать (напр., секретарей первичных партийных организаций), но нельзя критиковать

«руководителей партии». Это гигантская разница. Об этом у меня идет речь. Приемы автора напомнили мне анекдот, который гулял в оккупированной союзниками Вене после войны как раз по вопросу, можно ли критиковать своих вождей. Поспорили два «союзных» солдата – американский и советский о демократических порядках в их странах. Американский солдат говорит, что у нас в Америке самая высшая демократия, например, я могу пойти в Белый дом и сказать президенту Трумэну: «Президент Трумэн, ты – дурак» и мне ничего не будет. Советский солдат отвечает: «Подумаешь, какая демократия! Я тоже могу пойти в Кремль и сказать Сталину: «Товарищ Сталин, президент Трумэн – дурак» и мне тоже ничего не будет!» Однако дело не в этом обычном для советской критической литературы приеме, интеллектуально нечестном, а в отношении фактов дезинформационном (моему критику, например, точно известно, что я никакой не «западногерманский советолог», а советский политический эмигрант, но цитировать эмигранта запрещено), дело в другом: в его поразительном невежестве в «партийном строительстве» (если, конечно, он не притворяется невеждой). Он утверждает, что я придаю ленинскому плану организации «мифическое, самодовлеющее значение». Да, я придаю ему «самодовлеющее», но не мифическое значение. Не идея коммунизма, а идея власти двигала Лениным. Ленин не говорил: «дайте нам идею коммунизма, мы перевернем Россию», а, наоборот, «дайте нам *организацию* революционеров, мы перевернем Россию». Я не отрицаю, что у Ленина были идейные убеждения, но они были не оригинальные, а заимствованные. Поэтому он не принадлежал к тем гениальным личностям, которые силой своей религии, идеологии, философии разрыхляли историческую целину или пленяли чувство, воображение, умы народов, как Конфуций, Будда, Магомет, Лютер, Савонарола, Руссо, Ганди, даже, наконец, Маркс.

Сила Ленина была в другом: в поразительном политическом нюхе, в «диалектической» виртуозности в действиях и в необыкновенном таланте организатора, чтобы управлять историческими событиями в интересах своей партии. В моих рассуждениях об организационных принципах большевизма нет никакой отсебятины. Я воспроизвожу лишь схему Ленина, изложенную в его книгах «Что делать?» и «Шаг вперед, два шага назад», а также в его выступлениях на втором съезде партии. Даже терминология принадлежит Ленину. Это ведь Ленин ругал меньшевиков за «их вражду к построению партии сверху вниз» (Ленин, «О партийном строительстве», М., 1956, с. 142); это ведь Ленин напомнил меньшевикам, что в основе его плана создания партии лежит «первая идея централизма», она «должна проникать собою весь устав» (с. 153). Ведь не только идея, но и термин «партия – иерархия» тоже принадлежит Ленину. Соратники Ленина по «Искре» так комментировали план Ленина по созданию партии. Вера Засулич: «Партия для Ленина – это его «план», его воля, руководящая осуществлением плана. Это его идея Людовика XIV. Государство – это я, «партия – это я, Ленин» («Искра», 25 июня 1904 г., № 70).

Мартов: в основе ленинского плана создания партии лежит «гипертрофия централизма».

Аксельрод: Ленин хочет создать «систему самодержавно-бюрократического управления партией» (Ленин, там же, сс. 155, 245).

Акимов: Ленин стремится «внести в наш устав чисто аракчеевский дух» («Второй съезд РСДРП. Протоколы», 1959, М., с. 296).

На все эти обвинения Ленин отвечал: «Нам нужны самые разнообразные организации всех *видов, рангов, оттенков,* начиная от чрезвычайно узких и конспиративных и кончая весьма широкими, свободными...» (там же, с. 272), нам нужна

«централизация руководства и децентрализация ответственности» (Ленин, т. V, с. 189), нам нужна «одна централизованная, дисциплинированная армия» (Ленин, т. IV, с. 226), наконец, «наша партия должна быть *иерархией* не только организаций революционеров, но и массы рабочих организаций» (Ленин, «О партийном строительстве», с. 147). Не о том я спорю с проф. Молибошко, что Ленин создавал свою партию как революционную, конспиративную организацию в условиях царского самодержавия (конечно, нелепо создавать открытые демократические организации при диктатуре), а совершенно о другом: партия Ленина была создана до прихода к власти, как иерархическая конспиративная, заговорщическая организация с абсолютистским централизмом, партия Ленина осталась иерархической конспиративной, заговорщической организацией с абсолютистским централизмом и после прихода к власти. В этом суть. Почему это так, Булатов изложил нам на семинаре «Ленинская диалектика в партийном строительстве». Я не помню хода его рассуждений, помню только их смысл – мы пришли к власти как революционные диктаторы, опираясь на меньшинство, мы держимся у власти как диктаторы, тоже опираясь на меньшинство. Нам надо постоянно «советоваться» с Лениным, но никогда с народом. Народ – безмозглая масса, которую надо оседлать, чтобы она работала, насиловать, чтобы ее осчастливить. Теперь должно быть понятно, почему «партийное строительство» является закрытой наукой, как должно быть понятно и то, почему КПСС и при советской власти осталась такой же конспиративной иерархической ленинской организацией с абсолютистским централизмом, как и до революции. Менялись политические режимы в государстве, менялись партийные диктаторы, менялись партийные поколения, менялись даже формы организации партии и государства, но не менялась структурная система партии. До нее

никто не дотрагивался с целью реформы, модернизации или даже усовершенствования. Она уникальна в своем совершенстве и совершенна в своей уникальности. Все бывшие тиранические режимы от Нерона до Гитлера пребывали по сравнению с нею в «приготовишках», она впервые станет и становится моделью для всех будущих коммунистических и даже антикоммунистических тираний. В изобретении этой системы или новой формы правления XX века – тоталитарной партократии и состоит заслуга Ленина перед коммунизмом.

Много лет мне надо было находиться на Западе, чтобы понять, наконец, следующую элементарную истину: официальный Запад никогда не думал и не думает помогать народам СССР освободиться от тоталитарной тирании; нам сочувствует только его интеллектуальный пролетариат, но помочь нам в чем-либо эффективно он не может – на то он и «пролетариат». Правда, после войны каждая партия в Европе и каждый президент в Америке приходили к власти под громкими лозунгами антикоммунизма, но стоило им добраться до вожделенных кресел президентов и премьер-министров, как они в первую же очередь протягивали руку «кооперации» именно владыкам Кремля, а не угнетенным ими народам. Советский коммунизм для них служил не объектом борьбы – чтобы помочь нашим народам освободиться от него, – а просто-напросто жупелом, чтобы, пугая им свои народы, приходить к власти. В этом их эгоизме есть и своя объективная польза – указывая на бедность народных масс при коммунизме по сравнению со свободным миром и на бесчеловечность самого коммунистического режима, они все еще оберегают Запад от самого коммунизма. Но чтобы, периодически пугая коммунизмом, приходить к власти и сохранять статус-кво собственной социальной системы, им нужен по соседству вечный коммунизм. Лево-либеральные

тугодумы прямо с университетских кафедр воспевают этот коммунизм, но жить предпочитают при капитализме.

Это запоздалое прозрение привело меня к выводу, что надо перестать донкихотствовать и воображать, будто миссия политической эмиграции – «просвещение» Запада в отношении истинной природы коммунизма. Коммунизм невозможно познать, кроме как через собственный опыт. Поэтому у наших народов в исторической перспективе больше шансов избавиться от коммунистической тирании, чем у западных народов противостоять ей. Вот почему я думаю, что, отказавшись от бесплодных усилий «просвещать» Запад, нам полезно взяться за политическое просвещение собственных народов с единственной целью: пользуясь нашими скромными возможностями в эмиграции, методически и систематически рассказывать народам СССР о преимуществах правового демократического строя. Вот уже более 65 лет Советский Союз был и остается рынком сбыта и источником сырья для западных индустриальных стран, а мораль бизнесменов на этот счет провозгласил бывший английский премьер Ллойд-Джордж еще во времена Ленина: «Торговать можно и с людоедами». С гибелью «советского социализма» Запад потерял бы не только гигантский бизнес с его всевозрастающим профитом, но у него появился бы на мировом рынке страшнейший в его истории конкурент, поскольку освобожденная от догматических оков коммунизма экономика великой страны с ее талантливыми народами была бы способна на такие экономические чудеса, которых не знал классический капитализм даже в его лучшие времена.

При этом мы должны перестать винить Запад или Америку в том, что им свои государственные интересы дороже и ближе, чем наша свобода, завоеванная при их помощи. Что же до нашего освобождения военным путем, то оно отпадает по самым очевидным причинам: во-первых, война в атомную

эпоху равносильна самоубийству человечества; во-вторых, Запад не хочет войны ни атомным, ни обычным оружием. Единственно, чего Запад хочет и чего он добивается, – это чтобы советский коммунизм остался в своих имперских границах и по-прежнему служил для него рынком сбыта и источником сырья. (Ничто так наглядно не доказывает банкротство советской экономической системы, как факт всех фактов: после 60-летней форсированной индустриализации Советы экспортируют не машины, а сырье, полуфабрикаты и... оружие.)

Отсюда – у народов СССР нет другого пути к свободе, как преодоление советской тирании своими внутренними силами. Ключ к свободе нам показал исторический опыт Польши: союз интеллектуалов с рабочими. Временная неудача этого опыта в Польше не говорит о его порочности. За спиной генерала Ярузельского стоял Кремль, готовый двинуть советские танки на Польшу. Какие же танки придут на помощь владыкам из Кремля, когда вариант польской мирной революции повторится в Советском Союзе? Китайские? В книге «Сила и бессилие Брежнева», изданной за год до польской революции, я писал: «В любом случае и при любом варианте есть одно кардинальное условие, без которого никогда никакая революция – мирная или насильственная – не происходила: наличие организованного давления народа на правительство для радикального улучшения своего материального и правового положения. И следует считать, что первое слово здесь принадлежит советскому пролетариату. Рабочее движение цивилизованных стран, в том числе и старой России, выработало самую действенную и самую демократическую форму массового сопротивления социальным несправедливостям и административному произволу частного или государственного работодателя – *право рабочих на забастовку*. КГБ и ЦК ничего так смертельно не боятся, как

того, что советский пролетариат и колхозное крестьянство, организованные в свободные профсоюзы, начнут пользоваться этим своим естественным правом» (А. Авторханов. Сила и бессилие Брежнева, с. 56, «Посев», 1979).

В блаженном неведении простофили пребывал я, когда узнал «секрет полишинеля»: оказывается, со времени покушения на меня в 1955 г. я все время находился между советским молотом и американской наковальней. Советские разведчики поставляют, а американские разведчики «разрабатывают» материалы на меня. У чекистов есть известная манера: если они хотят дискредитировать своего противника, но не находят для этого других средств, то просто объявляют его своим агентом.

Люди с Лубянки достаточно умны, чтобы знать, что нельзя наклеить на человека более мерзкого ярлыка, чем ярлык их сотрудника.

Стоит 1973 год. К этому времени в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах прошел ряд политических процессов, на которых диссидентам инкриминировали в числе другой литературы и распространение «Технологии власти», а его автора разные советские печатные органы рисовали отчаянным разбойником. Эта кампания против меня еще продолжается, когда американская разведка меня вызывает и спрашивает:

– Какие у вас связи с советской разведкой? А не есть ли советская шумиха «двойная игра», чтобы поднять престиж своего агента на Западе?..

– Простите, сколько же может продолжаться такая игра? Попытки покушения на меня в 1955 году оценили как «двойную игру», «Технология власти» и кампания против ее автора тоже считаются «двойной игрой». Слов нет – чекисты великие мастера такой игры, но как долго они должны ее играть со мною и какая для них объективная польза от нее?

На первом же допросе я заявил решительный протест, что меня вообще допрашивают после того как я 24 года беспрерывно и под американским наблюдением учу американских офицеров и дипломатов истории, идеологии и практике советского режима. За эту четверть века сменилось много начальников школы, от которых я получил наилучшие характеристики, за это время моими слушателями было много американских офицеров от капитанов, майоров и до полковников, в моем личном деле лежат данные ими высокие положительные оценки. Что же все это, ничего не значит? Или я такой «тихий агент», которого Советы хотят активизировать посмертно? Возмущению моему не было предела.

Допрос кончился поздно вечером. Продолжение перенесли на завтра. В тот же вечер я тяжело заболел. Температура поднялась до 40 градусов. Поэтому я не мог прибыть на продолжение допроса, зато явились ко мне сами следователи, думая, вероятно, что если я не убежал к Советам, то, должно быть, симулирую болезнь. Открыв дверь в мою спальню, они увидели, что я весь горю – я их подозвал к постели и сказал, что могу отвечать на их вопросы, но они быстро закрыли дверь и ушли. Продолжение этого допроса так и не состоялось. Зато ухудшилось мое положение в Институте. В нашем Институте все мои бывшие начальники до единого не только поддерживали и поощряли мои исследования по советским делам, но и разрешили мне работать политическим комментатором радио «Свобода». Этому пожелал положить конец новый начальник (1970–73 гг.). Первым делом он запретил мне выступать по радио, а потом присвоил себе право моего цензора, более того, – ссылаясь на какие-то пункты инструкции правительства об обязанностях его служащих, он начал решать, о чем мне можно писать и что мне можно опубликовывать (ссылка на правительственные инструкции не выдерживала никакой критики, ибо там не было запрещения литературной деятельности, а только, если выступление бы-

ло важное и его могли выдать за мнение правительства или департамента армии, тогда надо было делать к статье такое примечание: «Данное выступление не является выражением мнения американского правительства или армии»).

На мое несчастье, его приход в Институт совпал с началом злополучной «разрядки» между Никсоном и Брежневым, между Киссинджером и Громыко под лозунгом «кооперации вместо конфронтации». Я, конечно, настойчиво доказывал в печати, что «разрядка» – это советский блеф, рассчитанный на осуществление триединой стратегии Кремля: во-первых, морально разоружить Запад против опасности коммунизма; во-вторых, пользуясь психологическим климатом «разрядки», расширить рамки советской политики глобальной экспансии в третьем мире; в-третьих, получать от стран свободного мира кредиты, технику и технологию, чтобы, пользуясь этой помощью, развернуть бешеную гонку вооружения, исходя из своей официальной военно-стратегической доктрины обеспечить постоянное военно-стратегическое превосходство на суше, на море, в воздухе и космосе. Все это, правда, не противоречило фактам и целям скрытой политики Кремля, но противоречило открытым иллюзиям «разрядки» Никсона и Киссинджера. Отсюда легко было сделать вывод, что профессор американской военной школы своими писаниями наносит вред американским государственным интересам, хотя я наносил вред только американским иллюзиям. Все мои статьи были посвящены анализу текущей внутренней и внешней политики Кремля и параллельно дублировались на всех языках, на которых выходили печатные издания мюнхенского «Института по изучению СССР» – на английском, французском, испанском, турецком, арабском языках. Поскольку многие из них из-за злободневности перепечатывались в странах третьего мира, то у меня создалась даже своя аудитория.

Первое распоряжение моего начальника от 21 января 1970 г. было скромным: он ставил мне на вид, что я опубликовал без его ведома пять статей (хотя они были опубликованы по-английски в субсидируемой американским правительством прессе) и что в дальнейшем, в порядке «вежливости», прежде чем послать статьи в печать, я должен их предъявлять ему. «Вежливость» – качество хорошее, но она не должна мешать свободе личного творчества. Поэтому я, пренебрегая такой «вежливостью», продолжал печатать статьи. Узнав об этом, он написал мне новое «предупреждение» – «...не намерен толерировать в будущем Вашу публицистическую деятельность» и что данное предупреждение вносится в мое «личное дело». Это был уже приказ, и мне пришлось, подчиняясь ему, придумывать себе разные псевдонимы, чтобы все-таки продолжать писать. Однако совсем неожиданно всплыл новый вопрос: одно американское полуофициальное издательство в Риме обратилось ко мне с просьбой разрешить ему издать «Технологию власти» вторым изданием. Книга была издана в 1959 г. и, полагая, что «предупреждение» моего начальника не имеет обратной силы, я дал свое согласие на ее второе издание. Мой шеф узнал и об этом. 1 марта 1973 г. последовало его новое распоряжение, что, какими бы ни были материалы, требуется разрешение Департамента армии до их публикации. Шеф добавлял: «Ваша репутация как серьезного ученого по советским делам бесспорна, и я буду поощрять Ваше участие в разрешенных публикациях, но я не буду терпеть несоблюдения данных мной указаний». Я ответил, что уже заключил договор с издательством в Риме и бессилен приостановить переиздание книги. Тогда 27 апреля 1973 г. последовало новейшее и последнее распоряжение: «Департамент армии, после всестороннего анализа потенциальных последствий предполагаемой публикации расширенного издания и распространения «Технологии власти», пришел к выводу, что не в

интересах Департамента армии и Русского института американской армии дать разрешение на печатание и распространение этой книги. Поэтому приказываю Вам поставить в известность Вашего издателя, что Вы берете назад расширенное издание «Технологии власти». Вы должны направить такое письмо не позднее 5 мая 1973 г. Невыполнение приказа приведет к рассмотрению вопроса о Вашей дальнейшей работе в этом Институте». Я был готов уволиться просто из принципа, если в этом случае я не лишусь права на пенсию (ведь не начинать на старости лет работать для новой пенсии). Все наведенные мною справки допускали возможность лишения пенсии, поскольку мой работодатель – армия. Если бы я был одинок, вероятнее всего, я ушел бы, но у меня была семья, а дети еще учились. Пришлось капитулировать. Я написал издателю, что по приказу моего начальства с великим сожалением должен объявить наш договор недействительным. Тот подал жалобу на моего начальника в Вашингтон. На смешанной комиссии Госдепартамента и Департамента армии при участии начальства моего издателя было решено, что запрет остается в силе.

Когда, наконец, сменили этого начальника (он был уволен в отставку), я подал заявление новому начальнику, чтобы он поставил перед Пентагоном вопрос о «реабилитации» «Технологии». В этом заявлении от 28 января 1974 г. я писал:

«Очень просил бы Вас ходатайствовать перед Департаментом армии о разрешении второго издания моей книги «Технология власти». Впервые изданная 15 лет назад, она представляет собой мемуарно-исторические очерки, в которых нет абсолютно ничего, что вредило бы государственным интересам Америки. Если большевики очень злятся на эту книгу, то единственная причина тому – это неопровержимая и документированная правда моей книги о внутрипартийных делах периода правления Сталина.

С искренним уважением

доктор А. Авторханов».

Новый начальник через два года обратился ко мне от имени Вашингтона с запросом, каковы же мои конкретные мотивы для снятия запрета на второе издание «Технологии власти». Тогда я ответил следующим письмом:

«12.2.1976 г.

Начальнику Русского Института Армии США

На запрос Вашингтона, какие у меня имеются мотивы для отмены запрета второго издания «Технологии власти», отвечаю:

1. Сам запрет был бессмысленным, так как он был сделан без ознакомления с книгой и на основании только московской критики против нее.

2. В книге не обсуждается ни американская внешняя политика, ни вопросы взаимоотношений между СССР и США, ни даже текущая политика Кремля, а только история методов и техника прихода к власти Сталина.

3. Второго издания книги настойчиво и постоянно требуют представители интеллектуальной оппозиции из СССР, считая, что «Технология власти» есть объективный источник информации по истории возникновения сталинского режима.

4. Академик Сахаров считает «Технологию власти» даже с точки зрения советских законов книгой «вполне безобидной по существу» (см. его «О стране и мире», сс. 25–26, 1975).

5. Кремль ежедневно повторяет: «детант» не означает конец идеологической борьбы. Более того, Кремль выдвинул новую доктрину: как раз в период разрядки коммунисты должны перейти в развернутое идеологическое наступление против Запада, что они и делают не только на словах, но и на деле путем прямой поддержки финансами и оружием коммунистических акций во всем мире.

С искренним уважением

доктор А. Авторханов».

В конце концов Вашингтон снял запрет, и издательство «Посев» выпустило второе издание «Технологии власти» (свое издательство в Риме Вашингтон закрыл на пользу «разрядки»).

Ленин писал, что допустить свободное слово в советской России означало бы для большевиков совершить самоубийство (это лучшее доказательство того, что большевизм держится не идеей, а насилием). Его ученики из Кремля тоже знают, что если они когда-нибудь погибнут, то не от внешней интервенции, а от свободного слова изнутри. Вот почему советские владыки боятся этого свободного слова больше, чем всех атомных и водородных бомб американцев. Одна лишь мысль, что сама их теперешняя многомиллионная партия может узнать со стороны, из нефальсифицированной истории, свое собственное происхождение, наводит на них ужас (кстати, и моя двухтомная историческая работа «Происхождение партократии», находившаяся в производстве в издательстве «Посев», была также затребована моим начальником на проверку, но издательство отказало). Я продолжал считать, что инициатива запрещения моих писаний исходила от моего начальника и Департамента армии, но теперь я думаю, что инициатива, как и сам запрет, исходила из Госдепартамента по требованию Москвы. Если гигантская «идеологическая фабрика» КПСС в борьбе с историческими трудами эмигрантских одиночек, вроде меня, боится вступать в открытую научную дискуссию, а прибегает к давлению на чужое правительство, чтобы оно, под угрозой лишить работы, привело меня к молчанию, то я воспринял это не только как трагическое заблуждение моего работодателя, но и как идейное банкротство самой «фабрики».

Я тогда не имел также ни малейшего представления о том, как «Технология власти» попала в «Самиздат», а тем более – какое она произвела впечатление на советского читателя, особенно на моих современников-коммунистов, которые вместе со мною пережили описываемую мною эпоху из истории партии. Теперь я узнаю об этом из монументального мемуарного труда бывшего советского генерала Петра Григорьевича Григоренко: «Мне посчастливилось ввести в

обращение и еще один труд, прочно занимающий место в «Самиздате» вплоть до сегодняшнего дня. Я имею в виду «Технологию власти» Авторханова. Мне эта книга попалась на глаза совершенно случайно и неожиданно. Я попросил оставить мне почитать и получил на двое суток. Книга буквально перевернула мое мировоззрение. Автор наглядно и убедительно нарисовал путь Сталина к власти и показал, что у него никогда не было другой цели, кроме власти. Власть – его единственная цель и единственная вера. Все идеи, все разговоры о коммунизме – это все пустое, это для наивных идеалистов. Реальное же только власть, а жизнь – это борьба за нее и за владение ею. Это была самая важная книга из того, что я читал. Если бы наши люди могли прочесть эту книгу, от веры в социализм и коммунизм и во всякие блага, которые обещают правители, не осталось бы и следа. И я решил, в меру моих сил, пропагандировать и распространять эту книгу. Мы, прежде чем вернуть книгу хозяину, сняли с нее копию, а потом начали размножать – фотоспособом и на пишущей машинке... Потребители, по мере того, как расходились сведения о книге, все прибывали, хотя книга из-за отсталых методов размножения стоила очень дорого... 50 рублей. Это была себестоимость» (Петр Григоренко. В подполье можно встретить только крыс..., сс. 595–596, «Детинец», Нью-Йорк, 1981).

Я так подробно остановился на «Технологии власти», чтобы на этом маленьком, но символическом примере показать, как дух Сталина глобально витал над «разрядкой». Сталинисты из Москвы и дилетанты из Вашингтона одинаково были убеждены, что разоблачение Сталина противопоказано успехам «разрядки». Я никогда не понимал, не понимаю и сейчас, почему американцы так беспечны в политике. Может быть, это лежит в национальном характере и пуританской традиции благородной нации Вашингтона и Линкольна, которой органически чужда любая форма макиавеллизма в политике.

Не знаю. Не мне судить об этом. Однако то, что писал на эту тему в 1957 г. искренний друг Америки и знаток американского национального характера знаменитый английский драматург Ноэл Ковард, не может не навести на грустные размышления как раз политических друзей Америки:

«Американцы – дружелюбная, гостеприимная, жизненная раса, и их традиции крепки, но я желал бы, чтобы они не были так раздражительно неуравновешенны, так эмоционально подвержены влиянию, так дьявольски наивны...

Они живут рекламой, быстрым обогащением, большим бизнесом и ужасающей сентиментальностью... Очень обескураживающе и *очень* опасно» (The Noel Coward Diaries, Little Brown Co., New York).

Возможно, что автор слишком сгущает краски и утрирует национальный характер американцев, но одно кажется мне правдоподобным: некоторые истоки ошибок американской политической философии в нашу эпоху нащупаны с невероятной проницательностью, а именно – «дьявольская наивность» в политике. Ведь американская политика в войне за безусловную поддержку Сталина, американская капитуляция перед Сталиным в Тегеране и Ялте, американская капитуляция перед ловушкой – «разрядкой» Кремля, – вехи одного и того же трагического пути заблуждений, изменивших ход мировой истории и поставивших нас всех под вечный шах советских атомных ракет. Все это оказалось возможным в результате взаимодействия двух факторов: советской гениальной дезинформации и американской добросердечной наивности. Выдача по той же дезинформации миллионов «ди-пи» на расправу Сталину не потревожила совесть не только западных союзников Сталина, но и западной общественности (об этом не разрешалось ни писать в газетах, ни передавать по радио, ни показывать на экранах).

Уже сам по себе антикоммунизм бывшего советского гражданина считался достаточным основанием для выдачи его Сталину, ибо антикоммунизм был приравнен к фашизму, а коммунизм – к демократии. Вот до какой виртуозности большевики умеют доводить свою технику дезинформации. Если Западу суждено когда-нибудь погибнуть, то не от советских атомных ракет, а от советской дезинформации, инфильтрации и политико-морального растления. Вот обо всем этом я и писал в своих статьях и книгах.

Я как преподаватель в американской военной школе честно и лояльно выполнял свои обязанности, но как советолог я критиковал ошибочную политику Америки. Человеку, мало-мальски смыслящему в советских делах, нетрудно было представить, куда, например, целит советская «разрядка»: под знаменем «разрядки» Кремль хочет легализовать пути советской глобальной экспансии. В статье, против публикации которой был мой начальник, я писал в 1971 г.:

«Министр обороны США Лэйрд сказал, что Америка не хочет играть роль «мирового полицейского», однако политическая природа тоже не терпит пустоты: откуда будет уходить Америка, туда будут приходить СССР и Китай. Они, конечно, будут приходить и туда, где Америка вообще не бывала. На то коммунистическая стратегия и глобальна» (см.: «Сила и бессилие Брежнева», с. 201).

И что же? Киссинджер и Лэйрд ушли из Индокитая, туда пришел СССР (Киссинджер умудрился даже за эту капитуляцию получить Нобелевскую премию мира), Америка остыла к Латинской Америке, туда пришел СССР, Америка вообще не была в Африке, туда пришел СССР. Никсон и Киссинджер оказали Брежневу еще одну прямо-таки историческую услугу, на которую на Западе не обратили никакого внимания. Администрация Никсона – Киссинджера впервые за все время существования советского государства

признала, что КПСС выше советского государства, ее генсек выше советского главы государства или председателя Совета министров СССР. Что это так де-факто – в этом нет сомнения, но чтобы это признать и де-юре, надо было, чтобы в Белом доме очутились Никсон и Киссинджер. Народы Советского Союза всегда делали разницу между высшими органами государства, призванными представлять весь народ, и высшими органами партии, представляющими каких-нибудь пять-шесть процентов народа. Поэтому, когда Никсон начал заключать серию договоров с Брежневым, подписанных: «Президент США – Никсон, Генеральный секретарь КПСС – Брежнев», – то я послал в Белый дом письмо, в котором доказывал, что эти договоры не имеют иной юридической силы, какой имел бы договор между лидером республиканской партии Никсоном и лидером КПСС Брежневым. Это письмо попало и в печать. Хочу привести ту его часть, которая появилась на первой странице нью-йоркского «Нового Русского Слова» от 16 июня 1972 г.:

«Проживающий в Германии проф. А. Авторханов, специалист по советоведению, автор нескольких книг о Сталине и об аппарате компартии, вышедших по-английски и по-французски, отправил 2 июня 1972 г. президенту Никсону весьма интересное письмо, в котором он доказывает, что соглашение, подписанное в Москве, не имеет никакой юридической силы. Соглашение это подписал генеральный секретарь КПСС Брежнев, тем самым лишив документ юридической силы. По Конституции СССР, международные договоры могут быть подписаны только от имени Президиума Верховного Совета СССР или от имени Совета министров СССР. Нет никакого сомнения, что генсек КПСС фактически является главой советского государства, пишет проф. Авторханов, но де-юре он не имеет никаких прав подписывать международные договоры. Именно потому, что Сталин и Хрущев это отлично понимали, они совмещали должность генсека с должностью председателя Совета

министров, что давало им право подписывать международные договоры, но чтобы генсек подписывал такие договоры или соглашения, еще не было случая в истории советского государства...»

Из Госдепартамента последовала канцелярская отписка, что, мол, Брежнев предъявил соответствующие полномочия при подписании, но как раз эти полномочия и не были указаны после его подписи в договорах. Скоро сам Кремль додумался, что каждый международный договор, даже явно ему выгодный, подписанный лишь генсеком, – филькина грамота. Когда генсеку дали пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, его фактическая власть приобрела силу юридической.

Немного хочу остановиться на своем сотрудничестве с радиостанцией «Свобода». Я систематически сотрудничал с ней с самого начала ее создания. Я был и организатором ее Северокавказской редакции. В разгаре своего любвеобильного «романа» с Громыко Киссинджер, после более чем двадцатилетней успешной работы нашей Северокавказской редакции, – о чем свидетельствовала и многократная советская критика, – закрыл ее с оскорбительным для нас мотивом: незачем тратить даром средства на малые народы. Как раз в эти дни закрытия нашей редакции Киссинджер ездил по Африке и хвалил американскую политику для «малых народов».

С американцами из русской редакции сотрудничать было только приятно – они были не только талантливыми организаторами своего дела, но и отличными экспертами по советским вопросам. В шестидесятых годах я читал курс радиолекций «История культа личности» и вел постоянный раздел «Партия сегодня». Выступал я под псевдонимом «профессор Темиров». Позже «Свобода» передавала весь текст моей «Технологии власти» и двух томов «Происхождения партократии», а потом и «Загадку смерти Сталина». В семидесятых годах меня попросили, чтобы я свои текущие

комментарии делал под своей настоящей фамилией, как Авторханов, поскольку в Советском Союзе меня знают по моим книгам – под этой фамилией, да и чекисты от литературы постарались создать этому имени определенное, хотя и отрицательное «паблисити», что в глазах советского критического читателя является положительной характеристикой. Кажется, в начале 1977 г. директор «Свободы» Френсис Роналдс предложил мне разработать курс радиолекций в помощь изучающим историю КПСС в советских парт- и политшколах. Я представил соответствующий план. Он был одобрен. Курс назывался «История партии, как она была». Я дошел только до 1917 года, когда новое начальство, сменившее Роналдса, сняло мой курс без объяснения причин. На мои несколько писем с настойчивым требованием сообщить причины, меня даже не удостоили ответом. Пришлось обратиться к их верховному шефу г. Гроноуски в Вашингтон, чтобы тот заставил своих подчиненных в Мюнхене, находящихся от меня в ста километрах, ответить на мои повторные письма. Моментально пришел ответ: «Передачи Авторханова не лучшие из авторхановских»! Я вспомнил бессмертного Гоголя с его французской поговоркой: «Самая интересная женщина не может дать больше того, что она имеет», и мысленно добавил: «Вероятно, и мужчина тоже»!

И все же я хорошо знал, что политика «Свободы» делается не в Мюнхене, а в Вашингтоне, и что я вновь стал жертвой «разрядки».

Но иные времена – иные песни. С приходом в Белый дом президента Рейгана подул другой ветер. В связи с XXVI съездом КПСС в 1981 году радиостанция «Свобода» без моего ведома начала передавать мою книгу «Сила и бессилие Брежнева». Когда я узнал об этом, я выразил свое неудовольствие моему издателю, но уже было поздно. Однако «Свобода» решила повторить передачу этой книги в конце

1981 года, на этот раз к 75-летию Брежнева, и в письме ко мне попросила разрешения. Я разрешил, но вспомнил поговорку: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться».

Я собирался уходить в отставку из Института еще в 1978 г., но мой последний начальник, полковник Ладжой, человек редкого юмора и добрейшей души, попросил меня остаться еще один год. Через год мы оба ушли – он уехал военным представителем Америки в Москву, а я удалился в баварское захолустье пенсионером.

Я был чрезвычайно тронут, когда перед уходом в отставку Американская армия высоко оценила мою преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность, наградив меня медалью. Кроме того, два генерала (из Военного министерства и Генерального штаба) – генерал Вильям И. Ролья и генерал Е. Р. Томсон обратились ко мне с официальными письмами, которые я цитирую единственно с той целью, чтобы, из-за моих затруднений с американской разведкой или одним из моих начальников, не создалось ложного впечатления об отношении ко мне Американской армии. Несомненно преувеличивая, как принято в таких случаях, мои заслуги, генералы пишут:

«Дорогой профессор Авторханов!

Мне хочется передать Вам мое личное выражение благодарности в связи с Вашим уходом с правительственной службы после долгой и блестящей карьеры...

Ваши лекции, статьи и книги годами вносили громадный вклад в наши знания о Советском Союзе и его народах. Опыт из первых рук и уникальное умение его передать аудитории, как и Ваши писания сделали Вас живой легендой среди сотен студентов, прошедших через Гармиш. Многие из Ваших студентов теперь сами учат другое поколение студентов, пользуясь проницательностью и подходом к пониманию исторических событий, которыми Вы делились с ними. Я верю, что и будучи в отставке, Вы продолжите

писать о советских делах и иногда будете посещать Русский институт как гость-докладчик. Это позволит будущим учащимся получить хотя бы мимолетное впечатление о человеке, который вошел в предание в Гармише.

Мои лучшие пожелания здоровья и счастья на будущее.

Искренне

Вильям И. Ролья, генерал,
армия Соединенных Штатов»
(21 мая 1979).

«Дорогой доктор Авторханов!

В связи с Вашей отставкой бюро помощника начальника штаба передает Вам выражение благодарности и высокой оценки за Вашу 28-летнюю преданную службу правительству Соединенных Штатов Америки. Будучи старшим профессором политических наук и истории в Русском Институте Американской армии, Вы помогли подготовить целое поколение военных и гражданских специалистов по Советскому Союзу. Ваши выпускники служат ныне на важных постах в Москве, Восточной Европе, Вашингтоне и на других должностях, где требуются обширные знания в отношении коммунистического мира. Кроме Ваших личных свойств, на студентов оказывало воздействие и качество Вашего хорошо известного педагогического мастерства. Ваши книги оказывали влияние также и на широкую аудиторию специалистов и студентов по советским делам. Эти книги, чрезвычайно хорошо принятые в академическом мире, делают большую честь Вам и Американской армии. Потеря Вас будет глубоко ощутима. Русский институт лишается своего ведущего интеллектуального сотрудника. Надо искренне надеяться, что Вы время от времени будете возвращаться в Институт, чтобы делиться Вашим опытом и проницательностью со следующим поколением студентов.

Лучшие пожелания здоровья и успехов в предстоящие годы.

Искренне

Е. Р. Томсон,
генерал армия Соединенных Штатов»
(21 мая 1979).

Какой же учитель не радуется, если из среды его студентов выходят выдающиеся специалисты, да еще если принадлежат они к такой великой, свободной и благородной нации, как американская!..

Люди по-разному писали о поколениях XX века. Одни писали о «потерянном поколении», другие об «обреченном поколении», но я свое поколение назвал бы «бездумным поколением идолопоклонников» и «детьми обманутых отцов». Мы поклонялись фальшивым богам, и они нас обманули. Люди, которые штурмовали 25 октября 1917 г. Зимний дворец, были обмануты Лениным; люди, которые дрались на полях сражений в гражданской войне, были обмануты Троцким. Люди, которые воздвигали «великие стройки коммунизма», были обмануты Сталиным. К последнему поколению принадлежал и я. Ни наши отцы, ни мы в пьяном угаре «пролетарской революции» и за дымовой завесой ее социальной демагогии так и не узрели ее звериного нутра. Мы все были обмануты, и за то, что обманулись, мы все были и наказаны. История не точная наука, в ней нет квазинаучных законов истмата, как нет предупредительных сигналов против заблуждений, но зато у нее есть неистребимая страсть: обманывать жаждущих быть обманутыми.

21. Заключение

Английский философ Бертран Рассел как-то заметил: «Беда человека в том, что дураки слишком самоуверенны, а умные полны сомнений». Эти слова мне вспомнились, когда я прочел в очень полезной и умной рецензии Е. Р. Романова о рукописи данной работы следующее место: «Еще одна особенность, на меня произведшая большое впечатление, это – книга о Сталине. Фигура Сталина и ненависть автора к Сталину – лейт-мотив. Но когда это нарушает меру, то впечатление ослабляется. Поэтому вторая цель моих замечаний – восстановить чувство меры, чтобы усилить впечатление». Несмотря на бесспорную правильность этого замечания с точки зрения норм литературно-психологического мастерства, я все-таки остался при своей «самоуверенности» в трактовке «фигуры Сталина». Ведь у меня свой собственный образ Сталина, к которому я питаю, выражаясь по-немецки, «хасслибе»[2], и отношусь к нему двояко: как палача, я его ненавижу, что лишает меня способности писать о нем, соблюдая «чувство меры», но как технолог власти он меня всегда поражал, чтобы не сказать восхищал. Тут воистину сам Сталин мог бы о себе сказать, подражая поэту: «Ай да Сталин, ай да сукин сын!»

Призадумываясь над феноменальными успехами Сталина по созданию тиранической системы управления, которая безотказно функционирует даже через тридцать лет после его смерти, невольно устремляешь свой взор в глубь веков в поисках других тираний для исторических параллелей, и тогда только выясняется, что у Сталина предшественников нет. Даже самые невероятные фантазии великих мыслителей прошлого о государствах-чудовищах только у Сталина стали былью.

---

[2] «Ненависть – любовь».

Сталин, вероятно, никогда не читал Гоббса, но зато он, питомец духовной семинарии, несомненно, читал «Ветхий Завет», откуда Гоббс заимствовал легенду о морском страшилище «Левиафане» – синониме для обозначения самых жестоких государственных образований в древней истории Вавилонии и Ассирии.

Государственная философия Гоббса в «Левиафане» предвосхитила элементы правового мышления Сталина. Уже в исходном тезисе Гоббса, ставшем народной поговоркой, – «человек человеку – волк» – весь Сталин во всем своем духовном облике. Для Сталина само человечество – сплошная стая волков, каждый из которых тебя съест, если ты не сумеешь его вовремя обезвредить, нещадно уничтожая тех, которые не поддаются этому («волк» есть вообще излюбленная метафора Сталина по отношению к людям; вспомните беседу Сталина с индийским послом в феврале 1953 г.). Но Гоббс думал, как думал позже и Сталин, что человек, собственно, страшнее даже волка, ибо человек не удовлетворяется тем, что утолил голод сегодня, как этим удовлетворяется волк. Человек еще планирует утоление голода на завтра. Он страшнее волка и потому, что он находчив, хитер и коварен. В каждом человеке живет потенциальный негодяй, злодей, убийца. Отсюда Гоббс выдвинул и другой тезис, под которым, не задумываясь, подписался бы и Сталин: история человечества есть история непрерывной «борьбы всех против всех» (Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» немножко модернизировали и «классифицировали» Гоббса – «история всего предшествующего общества есть история борьбы классов»).

Чтобы обуздать волчьи нравы человека, надо надеть на него, так сказать, железный намордник и приковать его пожизненно цепью к сверхмощному абсолютистскому государству. Такое государство Гоббс и называет «Левиафаном». Первое английское издание «Левиафана» было иллюстрировано

пророческой символикой: на титульной странице изображен великан в одежде из роя людишек, в его правой руке – меч завоевателя, в левой – посох проповедника, на голове – корона, над которой – эпиграф из книги Иова: «Никакая власть на земле не сравнима с ним». Так сбылось пророчество: теперь мы уже знаем, что власть Сталина несравнима ни с какой прошлой властью на земле, как сам Сталин несравним с другими тиранами. Сталина можно сравнить только со Сталиным, который возглавил всемирно-исторический процесс умножения изощренных злодеев, усовершенствования искусства физического и духовного убийства людей, массовой практики народоубийств, оправдываемой античеловеческими догмами современных национальных и интернациональных «левиафанов».

Однако историки до сих пор писали только об этой стороне злодеяний Сталина, забывая о постоянном и зловещем: Сталин усовершенствовал уникальную партократическую систему властвования и исполинскую машину *обесчеловечивания* человека.

Сталин точно учел: чтобы превратить человека в живое, но бездушное орудие в руках преступной власти, надо вернуть человека из просвещенного XX века назад, в дремучую эпоху стадного, животного состояния человечества со стадным инстинктом, коллективным ритуалом коллективной работы и даже коллективной круговой порукой.

Энгельс писал, что человек начал философствовать только после того, как он наелся досыта и научился делать запасы на завтра. Это замечание Энгельса стало руководящей идеей «нормального правления» Сталина – он глубоко был убежден, что метод массового террора убивает только тело, но не дух, поэтому нет иного более действенного универсального метода покорения человека машиной власти, как заставить этого человека *думать не головой, а желудком*. Из стадных

коллективов, думающих желудком, бунтовщиков не завербуешь. Постоянное недоедание и круглосуточная борьба советского человека в «очередях» за «хлеб насущный» – это не эпизоды, не упущения нерадивых организаторов снабжения, а продуманная система тотального покорения человека. Но и здесь Сталин сказал свое слово. История знает немало «голодных бунтов» отчаявшихся подданных против тиранических правителей. У Сталина голодные не бунтовали. Они безмолвно умирали. На богатейшей земле Сталин систематически практиковал массовый искусственный голод. Это было продолжение продуманной системы властвования «без террора», «нормальным методом» – *голодом.* Как это делалось, рассказывал сам Хрущев на одном из пленумов ЦК КПСС в 1963 г.: «При Сталине и Молотове мы вывозили хлеб за границу, а советские люди пухли и умирали с голоду».

Это объясняет многое из того, почему Сталину удалось так безнаказанно тиранить великий народ целых три десятилетия.

В чем же секрет его превосходства как политика не только над современными ему деятелями, но и над всеми бывшими до него тиранами? Сталин был первый политик в истории, который синтезировал политическое руководство государством с искусством уголовных методов управления народом. Этот «синтез» ему удался так блестяще, потому что он был наделен от рождения уму непостижимым даром уголовного мышления. Но прежде всего и раньше всего он проделал над собой такую операцию, на которую не способен никакой уголовник, – он убил в самом себе человека со всеми его человеческими слабостями. Поэтому он был свободен от всяких материальных соблазнов людей и безрассудного авантюризма уголовников. Виртуоз в коварстве, но бесчувственный, холодный, точный, расчетливый, он даже не был мизантропом. Он без эмоции гнева, без экстаза садиста, просто и деловито

косил людей, которые не хотели быть его рабами, как пахарь косит сорную траву. Причем никогда не каялся, что поступал так, ибо каяться способен только преступник, который все еще не перестал быть человеком,

Секрет превосходства Сталина над всеми другими тиранами заключался в том, что его учитель Ленин вручил ему такую машину властвования, подобной которой человечество еще не знало. Запомним: в этой машине нет ни одного винтика от Сталина. Сталин ее только усовершенствовал. Зато как водитель этой машины Сталин превзошел ее конструктора. Превзошел Сталин своего учителя и в другом. Уникальный тип машины и политический замысел водителя требовали такого отбора ее обслуживающей команды, в которой каждый способен отрешиться от всех качеств, отличающих человека от волков Гоббса. Сталин не был философом, как Гоббс, но он был величайшим знатоком психологии обитателей дна человеческого общества: он был психологом люмпен-пролетариата. Он не хуже Гоббса знал, что в одном и том же человеке уже в эмбрионе соседствуют антиподные гены – гены добродетели и гены злодейства, как в атомном ядре нейтрон и протон. Величайшая заслуга Сталина перед советским коммунизмом в том и заключается, что Сталин расщепил, подобно ядерному физику, человеческий эмбрион на его составные части, отбросил ненужный ему хлам – добродетель, – дав тем самым колоссальный разворот освобожденной отныне энергии злодейства. Вот носителями этой энергии, созданными Сталиным по его собственному образу мышления и действия, и являются продолжатели его дела.

Содержание

Абдурахман Геназович Авторханов

Мемуары

12+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru